

**НОВЫЙ
МИР**

7-8

1933

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
СЕДЬМАЯ-ВОСЬМАЯ
ИЮЛЬ - АВГУСТ

М О С К В А
4 • 9 • 3 • 3

Статформат В/5 178 × 250.

Уполн. Главл. В—59523. Объем 25¹/₂ печ. лист. по 64.000 эк. Техн. ред. В. Белоконов Зак. 2251.

Ген. инж. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. К. ТРЕНЕВ.—Опыт, пьеса в 4 действиях, 7 картинах	5
2. В. ЗАЗУБРИН.—Горы, роман, продолжение	41
3. Вл. ЛИДИН.—Верность, рассказ	65
4. Г. САННИКОВ.—Каучук, поэма	68
5. Бор. ПИЛЬНЯК.—Камни и корни, комментарии и обвинение писателям, окончание	87
6. Бруно ЯСЕНСКИЙ.—Человек меняет кожу, роман, книга вторая, продолжение	156
7. Макс ЗИНГЕР.—Тагам, повесть, окончание	188
8. Бела ИЛЛЕШ.—Тисса горит, роман, книга третья, окончание	220
9. Ал. ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, роман, книга вторая, продолжение	250
10. А. БЕЛЫЙ.—Из книги «Начало века». I. Валерий Брюсов II. А. Блок	260

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

11. П. ШИРЯЕВ.—Высокая земля, часть первая	292
12. Н. ШКЛЯР.—Повесть о Зоопарке	314
13. Викторин ПОПОВ.—Колхозный блокнот	344

ЗА РУБЕЖОМ:

14. Е. ГНЕДИН.—Германский фашизм у власти, статья вторая .	352
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. Д. ГОРБОВ.—Мастерство жизненной правды (О Новикове-Прибое)	370
16. М. ПОЛЯКОВА.—Об избранных произведениях Веры Инбер	390
17. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.—Роман о Ломоносове	395
18. Инн. ОКСЕНОВ.—Борьба за лирику	399

Опыт

К. ТРЕНЕВ

Пьеса в 4 действиях, 7 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СОБОЛЕВ—профессор университета
ЕЛИЗАВЕТА — его жена
ВЕРА — ассистентка
СКРИПКА } ассистенты
ЧЕЧИРОВА }
ХОЛОДОВ — ректор ун-та
БАЖАНОВ — профессор зоологии
РОЗОВ — профессор частной патологии

НИКИТИН — профессор ботаники.
НИКИТИНА—его жена.
ДОМНА — мать Веры.
ПРИЩЕМИХИН—смотритель зоологического сада
ШЕРСТЕВ—университетский сторож
ПИЧУГИН — гражданин.

Действие — в окраинном ун-те.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Квартира профессора Соболева. Справа двери в детскую и кабинет, прямо — в переднюю, слева — в лабораторию. При поднятии занавеса в доме затихающая тревога. Прошли острые моменты борьбы с катастрофой.

БАЖАНОВ (выводит Елизавету под руку). Ну, ну, успокойтесь, кума, он жив.

ЕЛИЗАВЕТА. Он умрет. Он умрет.

БАЖАНОВ. Все умрем... Во благовремении.

ЕЛИЗАВЕТА. Во благовремении. Но почему мой мальчик должен умереть безвременно? Почему?

БАЖАНОВ. Да откуда вы взяли?

ЕЛИЗАВЕТА. Ведь он у меня один... И больше не будет... Ах, допустите же вы меня к нему наконец.

БАЖАНОВ. Нельзя, нельзя, кума. Немного потерпите.

ЕЛИЗАВЕТА. Не могу. В этой комнате душит запах кроликов и собак. Пустите.

БАЖАНОВ. Но вы обеспокоите мальчика. (*Навстречу выходит Розов.*)

РОЗОВ. Ничего, уже можно. Жив и невредим наш Николай Иванович.

ЕЛИЗАВЕТА. Правда? Но опасность... есть?

РОЗОВ. Абсолютно никакой.

ЕЛИЗАВЕТА. И он вырастет?

РОЗОВ. Выше нас.

ЕЛИЗАВЕТА. И будет долго жить?

РОЗОВ. Дольше нас. Это уж во всяком случае.

БАЖАНОВ. Именно такие вот, с детства обуреваемые болезнями, закаляются.

ЕЛИЗАВЕТА. Слава богу. Спасибо вам. (*Уходит в детскую.*)

РОЗОВ. Самая легкая и успешная работа — лгать матери безнадежно больного сына (*входит Соболев*) и говорить правду отцу, который знает лучше нас. Что ж, на этот раз победили мы.

СОБОЛЕВ. Отбились, отбились безоружные.

РОЗОВ. А в следующий раз — кто кого?

СОБОЛЕВ. Да, кто кого. Играй, играй, матушка. Посмотрим, чья карта будет бита. Делайте вашу игру.

БАЖАНОВ. Кто с тобой играет?

СОБОЛЕВ. Бог, рок, чорт, ауспиции. Это уж по твоей части.

БАЖАНОВ. Будем ждать.

СОБОЛЕВ. Некогда.

БАЖАНОВ. А пока мой совет, не говорить об этом громко, на весь дом.

РОЗОВ. Я думаю, о работе Ивана Федоровича скоро заговорят на весь мир.

СОБОЛЕВ. Ну, это профессор Розов слишком громко выражается. Впрочем нисколько. Ну, до свидания!

БАЖАНОВ. Что же ты гонишь нас?

СОБОЛЕВ. Ах да, я у себя. Выпустил из вида. Ну, очень рад. Иду работать. Посидите. *(Уходит в лабораторию.)*

БАЖАНОВ. Сегодня он слишком кричит.

РОЗОВ. Кричит больше отчаяние отца, чем энтузиазм ученого.

БАЖАНОВ. А зачем же вы уверяете, что скоро заговорит весь мир?

РОЗОВ. А кому вред от моих уверений?

БАЖАНОВ. Всем конечно, как от всякой лжи.

РОЗОВ. Не согласен.

БАЖАНОВ. Иезуитский девиз: в наши дни правда особенно дорога, ее так мало.

РОЗОВ. Ну, об этом мы с вами как-нибудь поспорим.

БАЖАНОВ. Я не люблю с вами спорить. Лесть вредна даже Ивану Федоровичу. Наука — молчаливица, затворница, растет молча, незаметно, как трава. Теперь эта первая заповедь попрана. От науки требуют, чтобы она визжала и лаяла, и прыгала в обруч. Тяжело видеть, как большого ученого окружили мелкие лайки, и я боюсь... *(Входит Скрипка)* Будьте здоровы. *(Уходит.)*

СКРИПКА. Кого это он боится?

РОЗОВ. Вас конечно. Щенки, говорит.

СКРИПКА. Боится, что щенки вырастут.

РОЗОВ. Боится, что вам не вырасти. Вы — карлики.

СКРИПКА. Почему это?

РОЗОВ. Мысль, говорит, ваша карликовая. То-есть, проще сказать, ее совсем нет. Мысль — это критика, а она у советской молодежи на том самом месте, где глаза у крота. Так говорит профессор Бажанов. У вас нет неопределенной тоски.

СКРИПКА. Больше. У нас определенно нет тоски. И это повергает в тоску Бажанова?

РОЗОВ. Как вид самодовольного мещанства, разрешившего все вопросы бытия, далеко вперед — на целую... пятилетку. Таков счет профессора Бажанова.

СКРИПКА. Серьезный счет

РОЗОВ. Вы находите?

СКРИПКА. А вы?

РОЗОВ. Занимательно, как всякая ископаемая вещь. Как мумия.

СКРИПКА. Это — шаблонная отписка. Если мне предъявляют счет, я должен его проверить.

РОЗОВ. Вот этим ответом, товарищ Скрипка, вы уже аннулируете его счет. Вы сделали один шаг, и мумия позади

СКРИПКА. Значит, шагаем дальше *(Уходит в лабораторию.)*

РОЗОВ *(идет к выходу, в дверях встречается с Никитиным)*. А, Алексей Петрович. Что вас не видно? Все с водородослями?

НИКИТИН. Да, представьте. Окончательно выяснилось: спигелла в нашей воде смертельно голодает. Вместо потребных трех граммов железа, она его получает только одну и семь десятых. Совсем умирает.

РОЗОВ. Ну, царство ей небесное *(Уходят. Входят Соболев и Вера.)*

НИКИТИН. Одного и трех десятых грамма, как оно называется, нехватает. Как его здоровые?

СОБОЛЕВ. Как думаете, Вера Алексеевна? Не оборвать ли нам всю эту канитель? Посмотрите, на чем мы застыли. Да отпусти нам половину того, что мы просили, мы бы уже обезьяну оперировали. Я думаю, к чорту все. А?

ВЕРА. Я тоже так думаю.

СОБОЛЕВ. Вы??

ВЕРА. Из колб и реторт все повливать, собак перестрелять, кроликов поесть, а лабораторию — в жилплощадь.

СОБОЛЕВ. Кроликов... в жилплощадь? Так я вам докажу. Я вам обещаю, что в ближайшие месяцы вы будете присутствовать при операции моего сына. А стрелять надо не собак. Ступайте работать.

ВЕРА. Я вам рекомендую тоже. Вместо пустословия.

СОБОЛЕВ. Кто, кто из нас пустословит?

ВЕРА. Оба. *(Идет в лабораторию.)*

СОБОЛЕВ. Послушайте. *(Вера оставилась.)* А что если нам попытаться насчет особого кредита?

ВЕРА. Какого особого?

СОБОЛЕВ. Ну, какой бывает особый кредит. Что, вы не знаете?.. И потом эта манера спокойно держать руки в кармане. Зачем это? Ну, хорошо. Кредита не существует. В таком случае я телеграфирую сейчас: Москва. Кремль.

ВЕРА. Кому?

СОБОЛЕВ. Там найдут. Всем. Позвольте-ка карандаш и бумагу. *(Вера уходит. Соболев ходит, пишет.)* «Сын умирает». *(Зачеркивает.)* При чем тут сын. «Заброшенный на далекой окраине медфак надо разогнать». *(Зачеркивает.)*

НИКИТИН. Вы — очень счастливый человек, если точно верите в Кремль.

СОБОЛЕВ. А вы?

НИКИТИН. Не знаю.

СОБОЛЕВ. Ага, но почему вы тут гуляете?

НИКИТИН. Простите. Я сейчас уйду.

СОБОЛЕВ. Нет, пожалуйста. Я только поинтересовался.

НИКИТИН. На нашем коридоре моя жена сейчас бранится с вашей аспиранткой. Они скоро кончат. Науке придется иметь дело с советскими учреждениями. Это — трагедия духа.

СОБОЛЕВ. Трагедий не существует.

НИКИТИН. А вот я уехал за тысячи верст. Подальше от этой учрежденческой жизни. Микробиология моя никому не нужна и никого не трогает. Но жизнь и здесь трогает мозги и шевелит, как оно называется, волосы на голове.

СОБОЛЕВ. Но их нет на вашей голове.

НИКИТИН. Оттого и нет.

(На лестнице голос Никитиной.)

НИКИТИН. Ну, кончают. До свидания.

СОБОЛЕВ. Я вашу жену не люблю.

НИКИТИН. Это уж объяснитесь ей. *(Входит Никитина.)*

НИКИТИНА. Некультурная дрянь. *(Стучит в дверь к Елизавете.)* Лизочка, можно? *(Уходит.)*

СОБОЛЕВ. Дурное влияние.

НИКИТИН. Диффузия.

СОБОЛЕВ. Осмос. *(Расходятся.)*

(Выходят Елизавета и Никитина.)

ЕЛИЗАВЕТА. Слышите этот кроличий и собачий запах? Когда я подумаю, что он вместе с собаками положит Колю, мне хочется схватить его и бежать, бежать отсюда.

НИКИТИНА. Сбежишь. В его опыты ведь никто не верит, кроме него и его помощников... Особенно помощницы.

ЕЛИЗАВЕТА. Не знаю, меня ведь никогда это не интересовало.

НИКИТИНА. Напрасно. А то как бы другая в интерес не сыграла.

(В дверях Холодов.)

ХОЛОДОВ. Извините, здесь профессор Иван Федорович Соболев?

ЕЛИЗАВЕТА. Да.

ХОЛОДОВ. Вы — супруга Ивана Федоровича? Позвольте представиться Я — новый ректор Мединститута, Холодов.

ЕЛИЗАВЕТА. А-а! Пожалуйста. *(Стучит в дверь.)* Иван Федорович, Иван Федорович, да скорее!

(Выходит Соболев.)

СОБОЛЕВ. Что? Что случилось?

ЕЛИЗАВЕТА. Вот новый ректор *(Никитина и Елизавета уходят.)*

СОБОЛЕВ. Тьфу, чтоб вас. Я думал, с Колей что. Очень... Может быть Рад... Чем могу служить?

ХОЛОДОВ. Приехал вам служить А пока пришел передать вам приветы от центральных учреждений.

СОБОЛЕВ. От учреждений?

ХОЛОДОВ. От научных. От Института экспериментальной медицины, от Института переливания крови.

СОБОЛЕВ. От института переливания из пустого в порожнее.

ХОЛОДОВ. Это вы зря. Вашей работой исключительно заинтересована пролетарская наука.

СОБОЛЕВ. А разве есть такая исключительная наука?

ХОЛОДОВ. Есть.

СОБОЛЕВ. Очень рад. Извините, я очень устал. Была ударная работа с сыном.

ХОЛОДОВ. Вы работаете с сыном?

СОБОЛЕВ. Да, он тоже исключительно заинтересован.

ХОЛОДОВ. Можно побывать в вашей лаборатории?

СОБОЛЕВ. Бывайте, только с порога. Там повернуться негде. А отсюда все-таки горизонты. Вот это — мои помощники. Тут и операционная.

ХОЛОДОВ (знакомится). И все. Да, норка уютная. Если в тесную бабу играть — как-раз.

СОБОЛЕВ. А как же, бывало, в детстве играли. Вообще вы чем-то детство мне напомнили, товарищ Теплов.

ХОЛОДОВ. Холодов.

СОБОЛЕВ. Но от вас таким жаром пышет.

ХОЛОДОВ. Но у вас же тут Африка.

СОБОЛЕВ. Да, позвольте вам поставить на вид ваше установившееся поведение.

ХОЛОДОВ. Как оно могло установиться, если я к вам прямо из вагона?

СОБОЛЕВ. И конечно прямо в вагон.

ХОЛОДОВ. Почему?

СОБОЛЕВ. Так обыкновенно до вас делали.

ХОЛОДОВ. Я обыкновенно так не делаю. А что вы хотели поставить мне на вид?

СОБОЛЕВ. Вот это самое.

ХОЛОДОВ. Отпадает. А это что за приборы?

СОБОЛЕВ. А видите ли, мы не только опыты делаем, мы сами и приборы изобретаем. Вот, особенно Скрипка. Совершенно гениальная дерзость. Возможно, и оттого, что с детства навыки риска — с отмычками и ломиками, из беспризорных... Да... И вот для этих приборов требуется сейчас тридцать тысяч. А нам отпустили тысячу шестьсот рублей. А дайте нам эти приборы сей-

час, и я через месяц приступаю к опыту с шимпанзе.

ХОЛОДОВ. Почему с шимпанзе?

СОБОЛЕВ. Почему? А. Да-да. Родственная человеку группа крови. Только она, подобно человеческой крови, дает сыворотку, преципитирующую белки.

ХОЛОДОВ. Знаю.

СОБОЛЕВ. Вот. Если удастся моим путем обновить кровь обезьяны, значит, тем более — кровь человека.

ХОЛОДОВ. А обезьяна есть?

СОБОЛЕВ. Два экземпляра есть в зоопарке. Да, очень рад. Извините. Невсегда. Но во всякое другое время.

ХОЛОДОВ. Придем и в другое время. До свидания. *(Уходит.)*

СКРИПКА (Соболеву). Позвольте же и вам поставить на вид. С отмычками я действительно работал, но отмычки и взлом — это все равно, что инъекция и трепанация. Разница, профессор.

СОБОЛЕВ. А... Очень рад.

СКРИПКА. Стыдно.

СОБОЛЕВ. Ну, извините, извините.

Занавес.

Картина вторая

Там же, где и первая, но видна часть лаборатории с выходом на передние комнаты. В лаборатории за работой Вера и Чечирова.

ЧЕЧИРОВА (рассматривает колбу на свет). Опять ни черта. Взятые уже самые крайние полюсы, бензо-эктроза — уж такая слабая кислота, как чорт, тромбин — ультраслабое соединение: должна быть самая сильная связь. Так какого же вы чорта не соединяетесь? Гады! Даешь осадок... Ни черта! Три недели бьешь!

ВЕРА. А ты не бейся, спокойно жди.

ЧЕЧИРОВА. Попробую еще амидо-бензойную; если эта подлюка не даст связи, вот провалиться, разобью колбу и...

ВЕРА. И что?

ЧЕЧИРОВА. Сама вступаю в связь.

ВЕРА. С кем?

ЧЕЧИРОВА. Это — деталь. *(Рассматривает свое отражение в стекле.)* Да такую красавицу с руками оторвут.

Губы рукавичкой, нос пуговкой, глаза петелечкой. Гармония матери моей чорт, за такой ассортимент. Знала бы, никогда не позволила бы узбеку жениться на тамбовке.

ВЕРА. Дура, у тебя лоб красивый.

ЧЕЧИРОВА. Этому лбу 24 года, а хоть бы один гад поцеловал. Нет, на лоб их не заманишь. Да оседай же, контра, оседай! (*Входит Скрипка, перебирает лады на бандуре.*) Скрипка, есть осадок? Взгляни.

СКРИПКА. Видишь, занят.

ЧЕЧИРОВА. Не соединяется, чорт, хоть попа зови.

СКРИПКА. А попробуем под бандуру. Вот только-что подобрал.

ВЕРА. Скрипка, не мешайте.

ЧЕЧИРОВА. А ну вас! Тут реакция не выходит, а там, на плите, небось, суп сбежал!.. (*Уходит.*)

СКРИПКА. Во-первых, песню подобрал, во-вторых, трем европейским институтам сообщение о наших работах написал. Извольте просмотреть.

ВЕРА (*просматривая*). Ну, в английском вы что-то захромали. А по-немецки гладко.

СКРИПКА. А вы выправьте.

ВЕРА (*выправляет, выглянула в окно*). А вот и родная мать завтрак несет. Несет... несет ее нелегкая

СКРИПКА. Непочтительно. Мать — это, знаете ли, нечто невиданное. Мною по крайней мере.

ВЕРА. Вы не видали своей матери?

СКРИПКА. Может быть, и видал, да по легкомыслию новорожденного не обратил внимания.

ВЕРА. Счастливчик! А вот моя переживает меня. То-есть умрет-то она, пожалуй, скоро, но от этого не легче. Будет во мне жить со всеми своими добродетелями.

ЧЕЧИРОВА. А их очень много?

ВЕРА. Достаточно. Я отца не помню. Вотчим был. Лодырь, скверный пьяница и хам. Жил на шее матери и походя бил ее, а она больше всего в свете боялась, чтобы он не ушел.

ЧЕЧИРОВА. Любила, значит.

ВЕРА. Ничего подобного. Ревновала к соседке и боялась — уйдет, не на кого будет богу жаловаться. Она все молила

бога, чтоб дал мне в мужья хорошего человека. Назло ей я вышла за плохого.

СКРИПКА. Очень плохо.

ВЕРА. Самое плохое, что он оказался хорошим человеком.

ЧЕЧИРОВА. Значит, вымолила Любил вас?

ВЕРА. Да.

ЧЕЧИРОВА. Значит, вымолила на все сто процентов.

ВЕРА. Одно только забыла вымолить, чтобы я его любила тоже. Я объявила ему, что уйду, а он мне, что застрелится.

СКРИПКА. И что же вы?

ВЕРА. Ушла.

ЧЕЧИРОВА. А он?

ВЕРА. Застрелился.

СКРИПКА. Вы думали — шутит?

ВЕРА. Да, я тогда думала: любовь — шутка.

ЧЕЧИРОВА. Тогда... А теперь?

(*Входит Шерстев.*)

ШЕРСТЕВ. Вот. Это — соленая ки-слота — аш фрол. Это — сернокислый магний, она же — аглицкая слабительная. А это...

ВЕРА. Ладно, ладно. Эрудицию твою знаем. (*Шерстев выходит из лаборатории, затворяет за собою дверь. Входит Домна.*)

ШЕРСТЕВ. Доброго утра, Домна Демьяновна! Здоровье как?

ДОМНА. Вашими молитвами, Лукьяныч.

ШЕРСТЕВ. Да, вот помрем, и молитве конец, на одной шестой земного шара.

ДОМНА. Ученый человек, а говоришь неподобное. Молитва, как вода, не иссякнет.

ШЕРСТЕВ. Это вы, Домна Демьяновна, ученой дочке расскажите

ДОМНА. Что ж, ученые да студенты и раньше против бога бунтовались.

ШЕРСТЕВ. Кому вы говорите? Через мои руки за тридцать два года их тысячи прошли. Положенные пять лет на родительский карман пробунтуют, а как за свой карман ухватятся — и моление за власти предрежащие, и грудь в крестах, как бог велел.

ДОМНА. Да, может, и эти за свою власть своим мощам молятся.

ШЕРСТЕВ. За власть мы должны параллельно молиться, чтоб...

ДОМНА. Чтоб за них черти молились.

ШЕРСТЕВ. Чтоб бог им внушил об'явить декрет всем партийным и беспартийным: кто в бога и пречистую его мать не верит — к чортовой матери из партии и параллельно с должности. Небось, сразу поверили б. В храмах бы пушкой не прошиб, а не то, что рушить.

ДОМНА. Да какой же тебе человек напишет такой декрет невозможный?

ШЕРСТЕВ. Писано есть: от человека невозможно, от бога же все возможно. И также наука доказывает. Не советская конечно, которая все равно, что советский рубль, а настоящая, которую такие ученые, как профессор Бажанов, двигают. *(Выходит Вера.)*

ВЕРА. Здравствуй, старушечка! Что ж ты сегодня плохо выглядишь?

ДОМНА. Уж какая есть.

ВЕРА. Нет, слаба ты у меня.

ДОМНА. Что, что я тебе, змее, такого сделала? *(Вера берет завтрак, ест яблоко.)*

ВЕРА. Чего ты только не сделала! Ну, уходи, матримония. *(Уходит в лабораторию.)*

ДОМНА. Это что еще за матримония? Выругалась, что ли?

ШЕРСТЕВ. Нет, это в роде, как бы сказать, ну, гармония или церемония. Одобрение

ДОМНА. Чем же это я на гармошку-то похожа?

ШЕРСТЕВ. Гармошка-то называется гермония, а это — гармония, значит... Ну, порядочная все ж таки женщина.

ДОМНА. Пока бранится — дочь, как ласково заговорила — это уж чорт, а не дочь. Научила на свою голову.

ШЕРСТЕВ. Я, Домна Демьяновна, тридцать три года на-страже науки состою. Просто сказать, наукою весь, как вы, извините, волосами, оброс, и всякую вещь проник с научно-религиозной точки. Называемая космо-ногия. А вот она — кушает яблоко, но без понятия. Я же — в роде Ньютона.

ДОМНА. Это кто еще?

ШЕРСТЕВ. Наивысший ученый. Гуляет это раз по саду, а яблоки конечно порциально падают, и садовник их стремится подобрать. Но Ньютон и говорит: не трогайте, говорит, этея яблоки, как они свяченые. Как же, садовник говорит, ваше высокопревосходительство, они свяченые, когда мы не православные и яблок не святим? Это, Ньютон отвечает, не суть, потому что они знаменуют закон божий всеобщего тяготения рода человеческого в землю. Вон оно куда!

ДОМНА. К чему же оно сказано?

ШЕРСТЕВ. Сказано по писанию: земля еси и в землю отыдеши. И как в писании сказано, это первому человеку через яблоко, так и наука подтверждает.

ДОМНА. Мудро что-то.

ШЕРСТЕВ. Тут не мудрость, а премудрость.

ДОМНА. Ну, слава богу. А вот, что ты за наукой вчера в храм на собрание двадцатки не явился, нехорошо.

ШЕРСТЕВ. Это вы уж на личности переходите. Другая функция.

ДОМНА. Гляди, не финти.

ШЕРСТЕВ. Не был я по нездоровью: абцесс верхнего желудка был.

ДОМНА. Господь видит все твои желудка, а я проверю. *(Уходит.)*

(В дверях Чечирова кричит на коридор.)

ЧЕЧИРОВА. Я тебя отучу чужие кастрюли отставлять! *(Передразнивая.)* У меня муж профессор, я могу на три четверти плиты распространиться. Извини. У твоего мужа в одной инфузории десять уклонов. Тебе и полплиты много. А ты, спирогелла, мне гвозди в ведро не бросай. *(Входят Никитин и Холодов.)*

НИКИТИН. Милая аспирантка, надо же понимать.

ЧЕЧИРОВА. Не желаю. *(Уходит в лабораторию.)*

НИКИТИН. Вот, товарищ ректор, видите? На эту войну иногда и я мобилизуюсь. Источником же являются, простите за каламбур, наши скверные источники. Вода. Вот, товарищ Чечирова — очень приятная соседка, но Сократ сказал: «Добродетель есть знание». Отсюда все дефекты в добродете-

телях Чечировой. Она из упрямства не хочет понять, что гвозди в ведре, сообщая воде окись железа, не дают ей зацветать.

ХОЛОДОВ. Ну, недолго ссориться. Проведут мимо города канал, и вода у нас будет великолепная.

НИКИТИН. Великолепная?

ХОЛОДОВ. А вы не знали?

НИКИТИН. Нет.

ХОЛОДОВ. Жаль. Профессору надо бы интересоваться. По крайней мере присутствовать на таких публичных лекциях, как вчерашняя лекция Розова: о блестящих перспективах нашей санитарии в связи с проведением канала. Блестящая лекция.

НИКИТИН. На блестящих лекциях Розова я, точно, не имею возможности бывать, ибо их слишком много. Но с проектом канала я знаком. Вода в нем будет плоха.

ХОЛОДОВ. Вы полагаете?

НИКИТИН. Я не полагаю, а точно установил. Инженерное оформление игнорировало биологические процессы, и потому вода из верхней части канала будет нести инфекцию, а в нижней зацветет.

ХОЛОДОВ. И вы это можете доказать?

НИКИТИН. Доказано. Спирогелла голодает в главной реке еще больше, чем у нас.

ХОЛОДОВ. Что же, по-вашему, нужно делать?

НИКИТИН. Прежде всего у самого выхода канала нужно переварить главную массу инфекции из реки, нужно развести соответствующую растительность. Это у меня уже проверено. Тогда произойдет самоочистка воды в таких размерах, которых не подозревают инженеры. Затем там, в стороне, стоит гвоздильный завод, он загрязняет маленькую речонку. Его нужно перенести к самому каналу.

ХОЛОДОВ. Зачем?

НИКИТИН. И тогда в канале он даст то, что дают гвозди в ведре Чечировой. Но я ведь это ведро принял за собственное, понимаете?

ХОЛОДОВ. Слушайте, профессор Никитин! Вы что же это?

НИКИТИН. Что?

ХОЛОДОВ. Почему молчите? Скрываете?

НИКИТИН. Я говорю.

ХОЛОДОВ. Кому? Бабам на кухне? Вы немедленно делаете доклад.

НИКИТИН. Кому?

ХОЛОДОВ. Всем заинтересованным учреждениям.

НИКИТИН. Учреждениям?

ХОЛОДОВ. Да. Здесь и в Москве.

НИКИТИН. Нет, нет, только не учреждениям.

ХОЛОДОВ. Хорошо, сделаем на базаре.

НИКИТИН. Дайте же хоть срок.

ХОЛОДОВ. Все сроки вы пропустили. Все последующие доклады Розова заменяются вашими. (Входит Соболев.)

СОБОЛЕВ. Здравствуйте!

ХОЛОДОВ. Здравствуйте! Иван Федорович, можно к вам?

СОБОЛЕВ. Да-да, прошу. (Уходит в лабораторию.)

НИКИТИН (вслед). Товарищ ректор, кажется, прошел уже момент насилья над учеными... (Входит Розов.)

РОЗОВ. Здравствуйте. Что у вас такой вид? Или спирогелла с голоду померла?

НИКИТИН. Нет, чуть меня в гроб..

РОЗОВ (он навеселе). Что так? «Где стол был яств, там гроб стоит». Я только-что из-за стола яств. Торжественный акт Института растительных сыров. Мое детище. Выпили, закусили. Мне — овации. Первым ударником выдвинули.

НИКИТИН. Да, меня вот тоже выдвинули, т.-е., собственно, не выдвинули, а, как оно называется, вытолкнули.

РОЗОВ. Куда?

НИКИТИН. А вот в этот самый шабаш строительства. Доклад читать.

РОЗОВ. О чем? О спирогелле?

НИКИТИН. Да. И о канале.

РОЗОВ. Да не может быть. Ну, что же вы знаете о канале?

НИКИТИН. Ну, я знаю, что вода в нем будет, как оно называется, скверная.

РОЗОВ. Почему?

НИКИТИН. Ну, это легко моими работами доказать.

РОЗОВ. Что же, вы Холодову уже доказали?

НИКИТИН. Да, неосторожность. Главное докладывать различным учреждениям, значит, жизнь хватает за волосы. А я не хочу, не хочу с ними работать!

РОЗОВ. Почему?

НИКИТИН. Я не советский ученый. Ибо мне много еще нужно работать над этой проблемой, а они так сделают, что не будет ни проблемы, ни воды. Голубчик, Леонид Михайлович, спасите, только вы можете!

РОЗОВ. Чем могу?

НИКИТИН. Не отказывайтесь от своих докладов.

РОЗОВ. И не думаю.

НИКИТИН. Вот и отлично. Пожалуйста, читайте. В них — все мое спасение.

РОЗОВ. Очень рад. Но почему?

НИКИТИН. Да ведь Холодов объявил, что ваши доклады о канале, как оно называется, снимаются.

РОЗОВ. Снимаются?

НИКИТИН. И заменяются моими.

РОЗОВ. Это он сказал?

НИКИТИН. Да. Вот сейчас.

РОЗОВ. Хорошо. Беру на себя чтение докладов о ваших работах, но позвольте ознакомиться с ними.

НИКИТИН. О моих работах? Но ведь они аннулируют то, что вы популяризируете.

РОЗОВ. Тем более я обязан исправить свою ошибку.

НИКИТИН. Да, если так...

РОЗОВ. Вот осмотрю мальчика и разрешите, зайду к вам.

НИКИТИН. Ради бога! Жду. *(Уходит. Розов идет в детскую.)*

(Соболев и Холодов в лаборатории.)

СОБОЛЕВ. Добытых вами денег хватило лишь на это. Это — модели. Приборы по ним уже заказаны.

ХОЛОДОВ. Это что?

СОБОЛЕВ. Это — вещь столь простая, как просто все, что подражает природе.

ХОЛОДОВ. То-есть?

СОБОЛЕВ. Она выполняет функции сердца. *(Пускает аппарат.)* Вот вам ритмическое биеение пульса. Эти ртут-

ные столбики показывают частоту, красная ртуть — давление крови. И когда я выключаю сердце и копаюсь в его клапанах, как вот в ваших карманах *(копается в карманах Холодова)*, извините... за него работает вот этот заместитель. Но этого мало, мне нужно за это время не только починить сердце. Это не главное. Главное — я должен удалить из организма всю его кровь.

ХОЛОДОВ. Вся?

СОБОЛЕВ. Абсолютно. Высосав вот этими присосками. Я должен наполнить его новой кровью. Обновленной кровью. Кровь несет жизнь, она же несет и смерть. Борьба на жизнь и смерть. До сих пор человек занимался добрым делом посторонней помощи, помогая жизни сохранить неустойчивое равновесие. Помощь беспомощности. В доме — драка, а сосед через окошко хлопчет о замирении. Не бей смерть до смерти. Надо ворваться в дом в качестве третьего, решающего. Вот с такими приборами мы приступаем к решению проблемы во всей ее человеческой полноте. Вот там за стенкой ждет, ждет пациент. Но сначала с обезьянкой в эту игру поиграем. И вот выходит так... Знаете как?

ХОЛОДОВ. А именно?

СОБОЛЕВ. Именно так. Что месяц тому назад новый ректор постеснялся даже войти в нашу лабораторию. В тесную, мол, бабу играть. А теперь он не стесняется, привык.

ХОЛОДОВ. Бьюсь, Иван Федорович, да вот все никак не выкроим.

СОБОЛЕВ. Так. А средства на выкуп приборов и на оборудование давайте же, пожалуйста.

ХОЛОДОВ. Вы знаете, — не я их даю. Так же прошу, как и вы.

СОБОЛЕВ. А! Ну, очень рад... Извините, очень рад. Больше не могу, некогда. В другое время. *(Затворяет дверь. Холодов за порогом. Входит Розов.)*

РОЗОВ. Выгнал?

ХОЛОДОВ. Подделом. Я-то тут еще не огляделся, а вы должны были найти ему помещение.

РОЗОВ. Надо, Егор Егорович, быть последовательным. Вы урезали ассигнов-

ку ряда кафедр в пользу этой лаборатории, почему же этот принцип актуальности дисциплин вы не проводите и здесь?

ХОЛОДОВ. Например?

РОЗОВ. Например зоологический кабинет профессора Бажанова занимает три больших комнаты, — роскошь. А лаборатория Никитина, правда, занимает одну большую комнату, но для него и этого много.

ХОЛОДОВ. Что вы предлагаете?

РОЗОВ. Простую вещь — кабинет Бажанова в лабораторию Никитина.

ХОЛОДОВ. А Никитина?

РОЗОВ. Дело Никитина маленькое, для его бактерии место найдем.

ХОЛОДОВ. Так что же вы давно не сказали?

РОЗОВ. Меня как будто не спрашивали.

ХОЛОДОВ. Иван Федорович!

СОБОЛЕВ. Занят. В тесную бабу играю.

ХОЛОДОВ. На минутку. Дело. Помещение-то завтра готово.

СОБОЛЕВ (в дверях). Завтра? Честное слово?

ХОЛОДОВ. Честное. Три больших комнаты.

СОБОЛЕВ. Ну, спасибо. Вера Алексеевна, Скрипка, слышите?

ВЕРА (в дверях). Да, товарищ Холодов, правда?

ХОЛОДОВ. Я уже сказал.

СКРИПКА. Где?

ХОЛОДОВ. Оформим — скажу.

ВЕРА. Ура! (Оглянувшись на дверь детской, закрыла себе рот рукой.)

СОБОЛЕВ. Ну, спасибо, спасибо.

ХОЛОДОВ. Пожалуйста. (Идет к выходу.)

СОБОЛЕВ. Послушайте, Егор Егорович. Знаете, а я вспомнил, кого вы мне из детства напоминаете.

ХОЛОДОВ. Кого?

СОБОЛЕВ. Кучера. Катал меня.

ХОЛОДОВ. До кучера я, пожалуй, не дослужился, а в конюхах ходил.

СОБОЛЕВ. Да? Очень рад. А вы извините, что я... когда вы приехали, сказал, что вы скоро уедете. Невежливо. Да.

ХОЛОДОВ. Но с той поры вы стали вежливее.

СОБОЛЕВ. Да? Отлично.

СКРИПКА. Холодов, значит, завтра переходить? Так торогите же с деньгами, а я сегодня беру из зоологического обезьяну. Пора готовить.

ХОЛОДОВ. Желая ей и тебе здоровья.

СОБОЛЕВ. Отлично, отлично.

ВЕРА. Сегодня же возьмем кровь. Только за обезьяной я сама пойду.

СКРИПКА. Это почему?

ВЕРА. Тебе по твоей биографии Прищемихин не доверяет. Крысу, говорит, или гадюку мог бы.

СКРИПКА (играет в лаборатории на бандуре. Вера, подпевая, одевается. Соболев тоже помогает ей. Из комнаты выходят Елизавета и Розов. Певцы сконфужены. Вера убегает).

СОБОЛЕВ. Это мы... по адресу обезьяны.

РОЗОВ. За отсутствием адресата.

ЕЛИЗАВЕТА. В присутствии большого сына!

СОБОЛЕВ. Лиза! Для лаборатории дается большое помещение!

ЕЛИЗАВЕТА. Очень рада за вас обоих. Будет, где повеселиться. Надеюсь, кроликов и собак захватите. (Уходит.)

СОБОЛЕВ. Видите ли...

РОЗОВ. Я ничего не видал.

СОБОЛЕВ. Вы слышали.

РОЗОВ. Ничего не слышал.

СОБОЛЕВ. Помещение предоставляется завтра же. Вообще-то вы — пошляк.

РОЗОВ. С первым горячо поздравляю. Второе холодно отвергаю. А где помещение?

СОБОЛЕВ. Пока секрет.

РОЗОВ. Для вас, но не для меня.

СОБОЛЕВ. Да?

РОЗОВ. Зоологический кабинет Бажанова.

СОБОЛЕВ. Что вы говорите?

РОЗОВ. Бажанов по старой студенческой дружбе очевидно уступает.

СОБОЛЕВ. Да что вы?! Не ожидал от него. И ни слова мне.

РОЗОВ. Хотел порадовать сюрпризом.

СОБОЛЕВ. А куда же его кабинет?

РОЗОВ. Место нашлось.

СОБОЛЕВ. Понимаю. У вас.

РОЗОВ. Почему у меня?

СОБОЛЕВ. У вас так много в городе помещений.

РОЗОВ. Мне тесней, чем вам.

СОБОЛЕВ (*кивая на дверь*). Как здоровье?

РОЗОВ. Все прекрасно. (*Уходит в детскую. Входят Вера и Бажанов.*)

ВЕРА (*продолжая разговор*). А Прищемихин без вашего разрешения не выдает.

БАЖАНОВ. Хорошо, я ему позвоню.

ВЕРА. Требуется письменного распоряжения.

БАЖАНОВ. Можно написать.

ВЕРА. Пожалуйста. (*Подает бумагу и чернила. Бажанов начинает писать. Входит Соболев.*)

СОБОЛЕВ. Ну, вот и ты. Ну, спасибо, дружище.

БАЖАНОВ. Какие пустяки.

СОБОЛЕВ. Хороши пустяки. Даже удивительно. Так когда же ты, чтобы мне завтра и в'ехать?

БАЖАНОВ. Куда?

СОБОЛЕВ. В твой бывший кабинет конечно.

БАЖАНОВ. Это почему же?

СОБОЛЕВ. Как почему? Ты же уступаешь мне.

БАЖАНОВ. Мой кабинет тебе? Что это значит?

СОБОЛЕВ. Гм! Мне на этом самом месте объявлено ректором. (*Проходит Розов.*) Вот ему точнее известно.

РОЗОВ. Да, я слышал. Но разве вас еще не известили?

БАЖАНОВ. Меня не известили? Это что же?

РОЗОВ. Не волнуйтесь, известят. (*Уходит.*)

СОБОЛЕВ. Так это не твое предложение?

БАЖАНОВ. Может быть, твое?

СОБОЛЕВ. Нет, я такого предложения сделать не мог. Но ты мог бы. Давно мог бы.

БАЖАНОВ. Ну, а теперь, когда тебе предложили, возьмешь?

СОБОЛЕВ. Теперь? Возьму. Но дай

и обезьяну. Без нее мне там нечего делать.

БАЖАНОВ. Кто же тебе мешает взять?

ВЕРА (*Соболеву*). Прищемихин без письменного распоряжения Петра Семенича не выдает.

БАЖАНОВ. Нет, я здесь больше не распоряжаюсь. Прощай, Иван.

СОБОЛЕВ. Постой, Петр. Договоримся.

БАЖАНОВ. Договорились.

СОБОЛЕВ. Вот видишь, какой ты этакий старик. А помнишь, как студентом целый семестр кормил меня?

БАЖАНОВ. Ну, я больше помню, как ты не спал две недели надо мной и у тифозной смерти меня отнял. А теперь вот у меня отнял кабинет, который...

СОБОЛЕВ. Который ты не догадался сам мне предложить. Говоришь ты не так.

БАЖАНОВ. Хорошо, давай поговорим, старые студенты, только без молодых. (*Вера уходит в лабораторию.*)

Десять лет я работал в этом кабинете.

СОБОЛЕВ. И не заглянул в мою нору.

БАЖАНОВ. Десять лет.

СОБОЛЕВ. Десятилетняя давность отменена.

БАЖАНОВ. И так, на новоселье ты требуешь с меня обезьяну. Этот символ тебе к лицу.

СОБОЛЕВ. Ну... Ну?

БАЖАНОВ. Ибо ты уже в обезьяньих лапах.

СОБОЛЕВ. Каких?

БАЖАНОВ. В тех, которые, как известно, ласкают до смерти. Меня гонят, а тебя ласкают. Но наука не боится гонений. Ласки же врагов ей пагубны. У других кафедр отняли средства на насущное и отдали на твои туманные искания.

СОБОЛЕВ. Кто сказал — туманные?

БАЖАНОВ. А кто распорядился? Новейшие Шерстевы. Наука, Иван, аристократична.

СОБОЛЕВ. Я этого не понимаю.

БАЖАНОВ. Скоро поймешь и горько пожалеешь об этой «норе». Пока к тебе не заглядывали, ты творил в ней

вечное, ты искал в ней чистую истину. Не нора, а келия, в которой ты возжигал чистый светильник истины.

СОБОЛЕВ. А в большом твоём кабинете светильник истины гухнет, что ли?

БАЖАНОВ. Через мой кабинет тебя влекут на грязную политическую улицу. Где перед тобой будет не истина светить, а пошлые факелы толпы.

СОБОЛЕВ. Стиль твой, о Петр, от юных лет был возвышен, но факелами меня не проймешь. Валяй проще.

БАЖАНОВ. Возвышенный стиль не у меня, а у тех жрецов и магов наших дней, что называют например темпами то, что мы называли просто авантюрой. А вульгарно — очковирательством. Посмотри, вся жизнь — авантюра. Ярмарочное колесо. И лучший сектор этого колеса — науку — завертели темпами, рассчитанными на ярмарочных ротозеев.

СОБОЛЕВ. Да-да, отлично... Очень жаль. Молодец, Петр! Дай обезьяну.

БАЖАНОВ. Вот видишь. Всего какой-нибудь месяц тому назад ты говорил и говорил в порыве тревоги за сына, что в следующем году, заметь — в следующем, ты надеешься получить возможность приступить к работе над обезьяной. Ни природа, ни наука скачков не делают. Тебя же толкают сделать противоестественный скачок, и ты, старый профессор, как мальчишка, свернешь себе шею.

СОБОЛЕВ. Уж и до шеи добрался.

БАЖАНОВ. Я хотел бы спасти тебя, большого, старого ученого, как спас ты меня, юного студента, пока не поздно.

СОБОЛЕВ. Меня спасай. А обезьяну не задерживай. Тут нельзя опаздывать.

БАЖАНОВ. К величайшей своей проблеме — победе над смертью — человек идет через тысячелетия медленно, от века предустановленными шагами, от природы точно отмеченными этапами...

СОБОЛЕВ. Вздор, Петр! Мысль не шагает, сжигает твои этапы, пробивает тысячелетия.

БАЖАНОВ. Нет, Иван, всякий раз, когда она в жажде бессмертия хотела перепрыгнуть через установленные грани, она прибегала к чудесам воскрешения, т.-е. падала в объятия религии.

СОБОЛЕВ. Мне до религии нет дела.

БАЖАНОВ. Как и мне. Но им, им есть до нее дело.

СОБОЛЕВ. Любишь, Петр, отвлеченные разговоры.

БАЖАНОВ. Отвлеченные? А знаешь, кто вместе с тобой возлагает упования на твой опыт с обезьяной? Союз безбожников. Они вместе с тобой делают из науки религию.

СОБОЛЕВ. Борьбу с религией — хочешь сказать?

БАЖАНОВ. Нет, это они хотели бы сказать. Не подозревая по невежеству, что они — тоже религия: с религией воюет только религия. На знамени советской науки я вижу бога.

СОБОЛЕВ. Тебе видение, что ли, было?

БАЖАНОВ. Бога, только с отрицательным знаком. Но верить в бытие или небытие бога, это все равно — религия. Что такое религия? Вчера еще на ее месте стояла причинность, а сегодня взвились кванты, смели причинность и швырнули науку к воротам религии. И мне, мой друг, не видение было, а внушение.

СОБОЛЕВ. Свыше?

БАЖАНОВ. Свыше. От ректора. За то, что у меня в Зоологическом музее не установлено четко родство человека и обезьяны. Не выявлена антирелигиозная идея. Очевидно за это я изгоняюсь из помещения, которое отныне превращается в капище божественного ничто, в коем ты будешь pontifex maximus — верховный жрец.

СОБОЛЕВ. Ишь ты, какая штука.

БАЖАНОВ. Да, штука. Говорят, буржуазная наука — служанка капитала, а советская — политики. Как видишь — неправда. Она, как и полагается средневековой науке, ancilla teologiae — служанка религии. В ее извращенной форме — богохульстве. Но извечная беда России — она открывает новые Америки там, где ветхая Европа. В Европе материалистическая наука уже признала свое банкротство. Ты читал, что написал на-днях Шпенглер?

СОБОЛЕВ. Да, очень красиво написал. К стати, напиши же, голубчик, Прищемихину.

БАЖАНОВ. Я ведь сказал — нет. А слово мое ты знаешь.

СОБОЛЕВ. Нет? Ах, ты, чортов Кащей! Зачем же я слушал твою философию?

БАЖАНОВ. Ну, извини и прощай. Даже папа римский на престоле выше их...

СОБОЛЕВ. Нет, стой. *(Берет телефонную трубку.)* 1-57. Постой, боговидец... Товарищ Холодов! Вот не угодно ли... *(На крик выходят Вера и Скрипка.)* Обезьянку не дает... Да он же, конечно Бажанов. Да, вот он. Видите, как бороду грызет... Брючки в полоску. Ты мне шимпанзе на стол, а не папу римского на престоле. Сию минуту. *(Стучит телефонной трубкой по столу.)* А, не слышно, нас прервали... Ага... Милости прошу... Сию минуту? Очень рад. Жду. *(Кладет трубку.)* А ну-ка, побогословствуй с ним. Он тебе даст папу, маму. Куда? *(Бажанов направляется в переднюю.)*

БАЖАНОВ. Папой, мамой не пугайте, я для вас не мальчик. Если твоему Холодову угодно говорить со мной, прошу ко мне.

СОБОЛЕВ. Стой, я тоже хочу говорить.

БАЖАНОВ. Тоже прошу. *(Скрипка незаметно прячет шляпу.)*

СОБОЛЕВ *(хватая его за руку)*. Подожди. Зачем назначать конференцию, когда все налицо?

БАЖАНОВ. Не могу. *(Ищет шляпу.)* Второсортные профессора тоже имеют право быть заняты своим делом. Где же моя шляпа?

СОБОЛЕВ. Шляпу тебе? А может, тебе и калоши подать?

БАЖАНОВ. Кто здесь взял мою шляпу?

СОБОЛЕВ. Взял! А кошелек?

БАЖАНОВ. Кошелек пока цел.

СОБОЛЕВ. Граждане, ищите оскорбленную шляпу. *(Входит Холодов. Скрипка кладет шляпу на место.)*

СКРИПКА. Да вот она, невидимка.

ХОЛОДОВ. В чем дело?

СКРИПКА. В шляпе.

ХОЛОДОВ. Куда же вы, Петр Семенович?

БАЖАНОВ. Извините, спешу.

ХОЛОДОВ. Но я ведь к вам.

БАЖАНОВ. Прошу.

СОБОЛЕВ. Вот не разрешает обезьяний свекор.

ХОЛОДОВ. Почему, Петр Семенович?

БАЖАНОВ. Не в моей компетенции. Обезьяны имеют в зоологическом саду свое назначение. Эти редкие экземпляры доверены нам не для экспериментов, грозящих им гибелью.

ХОЛОДОВ. Гибелью?

БАЖАНОВ. А вот спросите экспериментатора. Гарантирует ли он ей жизнь?

СОБОЛЕВ. Видите ли, у меня тут как-раз дилемма. Два метода в последовательности препарирования, друг друга исключают. Один из них безусловно правилен, другой напротив. Выбираю один, конечно с риском.

БАЖАНОВ. Значит, животное может погибнуть.

СОБОЛЕВ. Первое возможно. По счастью, их в саду пара. И, если это случится, станет ясно, как день, что правилен именно второй метод. За жизнь второго я ручаюсь.

БАЖАНОВ. А за жизнь первого я в ответе.

ХОЛОДОВ. Ответим все.

БАЖАНОВ. Но сначала эту ответственность надо снять с меня.

ХОЛОДОВ. Снимем.

БАЖАНОВ. Это может только Москва.

ХОЛОДОВ. Снесемся с Москвой.

БАЖАНОВ. Ваше право. А до тех пор у меня нет права подвергать рискованному эксперименту жизнь драгоценного, почти единственного экземпляра.

СОБОЛЕВ *(кричит)*. Ах, ты, Тартюф! *(В дверях Елизавета, Соболев ее не видит. Вера бросается к нему, успокаивает его.)* Я в своем эксперименте рискую жизнью единственного сына. Я так же, как у твоей обезьяны, буду вынимать и резать его сердце, и он так же будет лежать передо мной бездыханным трупом.

БАЖАНОВ. Это дело твое. *(Увидел бледную, еле держащуюся на ногах Елизавету.)* Впрочем не только твое.

СОБОЛЕВ *(тоже оглянулся)*. Это я выражаюсь конечно... поле... мически...

Риска абсолютно никакого не будет, безусловно...

ВЕРА. Да... безусловно... не будет...

СОБОЛЕВ. Ты, Лиза, уйди.

ЕЛИЗАВЕТА. Уйти?.. Я уйду.

СОБОЛЕВ. Ты знаешь, как я сдержан. Но этот, твой кум, меня совершенно взбесил. Иди к Коле... Спокойно.

ЕЛИЗАВЕТА. Я спокойна... А тебя... есть кому успокаивать... *(Уходит. Вера вспыхнула, тоже уходит.)*

БАЖАНОВ. Разрешите же и мне уйти. Из кабинета вы меня ушли, с кафедры я сам уйду.

ХОЛОДОВ. Петр Семенович, куда же пойдете. Очень ценим ваши заслуги и перед наукой, и перед этим институтом, который вы организовали, но я хотел бы думать, что и сейчас интересы института вам также близки. Помещение ваше для Соболева необходимо, а дело его более вашего срочное. Наше общее большое дело, и никто не имеет права уклоняться.

БАЖАНОВ. Скажите, товарищ ректор, а права сомневаться вы тоже лишаете?

ХОЛОДОВ. В чем?

БАЖАНОВ. А вот в этом самом деле Соболева?

ХОЛОДОВ. Ах, так? Пожалуйста. Но имейте в виду, — его дело нам дороже ваших сомнений, и мы вам его не дадим.

БАЖАНОВ. Имейте и вы в виду, что Соболев мне ближе и дороже, чем вам, и я его тоже никому не дам. И обезьяну ему не дам.

ХОЛОДОВ. Это сделается без вас.

БАЖАНОВ. Полагаю. Ибо на зоопарк уже претендует и Академия, и ряд исследовательских институтов. Надо искорить это дело.

ХОЛОДОВ. То-есть запутать? *(В лабораторию.)* Иван Федорович, телеграфирую в Москву. Через два дня получите обезьяну. *(Бажанову.)* А вас прошу немедленно переселяться. *(Уходит. Из-за двери выходит Шерстев.)*

ШЕРСТЕВ *(тихо)*. С нами, ваше превосходительство, бог. Бога и вас изгоняют, я сам уйду: им — аминь. *(Входит Никитин.)*

НИКИТИН. Здравствуйте. Как оно называется, жену не выдали?

БАЖАНОВ. Ну, очищайте, Алексей Петрович, помещение.

НИКИТИН. Хорошо. Когда? Куда?

БАЖАНОВ. Сегодня. А куда, вам укажут.

НИКИТИН. Так не выдали? Послала получить мясо, а там выдают, как оно называется, рыбу. Получать ли?

БАЖАНОВ. Вы меня как зоолога спрашиваете? И вы не возмущаетесь, что вас выселяют?

НИКИТИН. А меня каждый семестр выселяют и вселяют.

БАЖАНОВ. Почему?

НИКИТИН. А вероятно потому, что корней нет. Зацепиться нечем.

БАЖАНОВ. Нас всех с корнем вырывают.

НИКИТИН. Но у вас крепкие корни. Вы вот на скале вашей веры во вселенскую науку вцепились, питаетесь европейским воздухом, и, как оно называется, благо вам. А у меня старое отмерло, а нового не понимаю, жизнь или смерть.

БАЖАНОВ. Вздор, Алексей Петрович, истина, добро и красота бессмертны.

НИКИТИН. В молодости я красиво бил стекла и кричал, как оно называется: «Долой!», и верил, что это — добро. Меня сажали за стекла с решетками, теперь новые люди разрушили и решетки, и старые стены, а мне опять хочется кричать: «Долой!»

БАЖАНОВ. Но вы боитесь кричать, значит, вы должны кричать.

НИКИТИН. Нет, я боюсь, что мой крик — ложь.

БАЖАНОВ. Значит, выселение не опротестовываете?

НИКИТИН. А, батюшки... стекла бить... *(Бажанов, не простившись, уходит.)*

НИКИТИН *(в дверь)*. Простите, Елизавета Петровна, Марфинька не у вас? Марфинька, вместо мяса — рыба. Брат?

ГОЛОС НИКИТИНОЙ. Бери рыбу и мясо. *(В дверях Никитина с чемоданом и кульками.)*

НИКИТИН. Да там уж не осталось, видно, ни рыбы, ни мяса.

НИКИТИНА. Так и знала! Спирогелла голодает, это ему ближе, чем голодная жена! (*Никитин уходит. Выходит Вера.*)

ВЕРА. Что за базар? Шерстев... Куда это тащите?

НИКИТИНА. Не ваше дело. Лизочка, извозчики подехали. Одевай Колюшу. Да продуктовые карточки не забудь.

ВЕРА. Иван Федорович! (*Выходит Соболев.*) Смотрите.

СОБОЛЕВ (*встречаясь в дверях с Елизаветой*). Лиза, что такое?

ЕЛИЗАВЕТА. Я уйду отсюда.

СОБОЛЕВ. То-есть куда?

ЕЛИЗАВЕТА. Неважно. От тебя уйду.

СОБОЛЕВ. Как?

ЕЛИЗАВЕТА. Ну, совсем.

СОБОЛЕВ. Почему?

ЕЛИЗАВЕТА. Так. Не могу я здесь. Чужая.

СОБОЛЕВ. Вздор! Вздор!

ЕЛИЗАВЕТА. Не говори. Я лучше знаю. Прощай.

СОБОЛЕВ. Да что ты знаешь?

ЕЛИЗАВЕТА. Я больше твоего знаю и слышу, что говорят о твоих опытах. Сейчас я слышала здесь Бажанова.

СОБОЛЕВ. Бажанов лжет. Меня надо слушать.

ЕЛИЗАВЕТА. И слышала, что сказал ты... о сердце Коли... о его трупце...

СОБОЛЕВ. Это сказано для Бажанова. Трупца не будет. Будет момент угасания жизни с тем, чтобы она вспыхнула с новой, несравненной силой.

ЕЛИЗАВЕТА. Как у кроликов?

СОБОЛЕВ. Как у нового человека. Наш сын будет первенец среди этих людей: Он скажет людям: радуйтесь, в мир хлынула новая волна всемогущей жизни. Не бойтесь смерти, как кролики удава.

ЕЛИЗАВЕТА. Меня этот фантастический пафос не радует.

СОБОЛЕВ. Это — точная наука

ЕЛИЗАВЕТА. Не знаю.

СОБОЛЕВ. Так верь.

ЕЛИЗАВЕТА. Не верю. Не могу... Извини, Иван Кучка людей в тебя ве-

рит. Большинство — нет. Я в большинстве, — такова, видно, моя дорога. Прощай.

СОБОЛЕВ. Ну, раз не веришь... Что же... Как странно выходит: прожить сердце с сердцем пятнадцать лет и не верить самому заветному.

ЕЛИЗАВЕТА. Мне тяжелей, чем тебе.

СОБОЛЕВ. И как странно на другой стороне: я любил тебя и не знал.

ВЕРА. Да как же вы смеее не верить?

ЕЛИЗАВЕТА. Как смеее так со мною говорить?

ВЕРА. Жена...

ЕЛИЗАВЕТА. Нет. Уйду. Честь и место.

СОБОЛЕВ. Но Колю оставь.

ЕЛИЗАВЕТА. Нет.

ВЕРА. Это невозможно. Иван Федорович, не давайте.

ЕЛИЗАВЕТА. А?! Вот как?.. Ну, нет, довольно с вас мужа. (*Бросается в спальню, оттуда выходит Никитина.*)

НИКИТИНА. Колюша уже на извознике! Опоздали, соколы!

ЕЛИЗАВЕТА. Спасибо. Прощай, Иван Федорович.

ВЕРА (*бросаясь к ней*). Послушайте, Елизавета Павловна... Пойдите! Да что же это? Останьтесь!

ЕЛИЗАВЕТА. Это еще что?

ВЕРА. Умоляю.

ЕЛИЗАВЕТА. Так нужен мой мальчик для эксперимента?

ВЕРА. Нет, нет.

ЕЛИЗАВЕТА. Не я же вам нужна?

ВЕРА. Вы.. Не мне.

ЕЛИЗАВЕТА. Зачем эта ложь?

СОБОЛЕВ. Лиза! Знай, Коля болен безнадежно. Спасти смогу только я.

ЕЛИЗАВЕТА (*поражена. Оправилась*). И ты думаешь, если отнимешь у меня надежду, так... заставишь верить? (*Уходит.*)

СОБОЛЕВ. Вот ушла.

ВЕРА. Да она не приходила.

СОБОЛЕВ. Да... Она думает, мой ребенок мне менее дорог.

ВЕРА. А вы думаете, мне вы... ваш ребенок менее дорог?

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Обстановка первой картины. Входит Домна, за ней в платье и платке Пичугин.

ДОМНА. Входите, Василий Иванович, никого нет. *(Пичугин снимает костюм.)*

ПИЧУГИН. Спаси, Христос, Домна Демьяновна. Отговелся, хотя и в женском виде.

ДОМНА. Ничего, бог уж знает, какого вы полу.

ПИЧУГИН. Хорошо, если, кроме бога, никто не узнал. Узнают, что говел, могут вычистить. А мне год до пенсии.

ДОМНА. Не узнают.

ПИЧУГИН. Вот уж именно первых веков. Будьте кротки, яко голуби, и мудры, яко змии. Где святая Русь, Домна Демьяновна?

ДОМНА. Обезьяна вот наместо святой Руси.

ПИЧУГИН. Получили наконец?

ДОМНА. Нет. И от этого с ума сходят. Он бегает по кабинету, как зверь в клетке, а дочка за ним, тоже сама не своя. А богу-то, видно, это дело не угодно.

ПИЧУГИН. И дело, и брак их — беззаконие. *(В дверях лаборатории Вера.)* Так будьте здоровы, Домна Демьяновна. Жарища-то какая.

ДОМНА. Да у нас в эту пору реки еще подо льдом.

ПИЧУГИН. Климат, имейте в виду. *(Уходит.)*

ВЕРА. Ты, пожалуйста, типов тут не разводи.

ДОМНА. Не разводи? Тараканы тебе, что ли?

ВЕРА. Хуже.

ДОМНА. Вы бы уж всех сразу ошпарили.

ВЕРА. Ошпарим.

ДОМНА. Гляди, как бы кипяток ваш не на голову вам.

ВЕРА. Каркаешь.

ДОМНА. Нет. Я все молюсь за тебя.

ВЕРА. Много ли вымолила?

ДОМНА. А вот всю эту жизнь.

ВЕРА. Это все по твоим молитвам? ДОМНА. Что хорошее, то моими молитвами, плохое — по твоему безбожью.

ВЕРА. А что именно по моему безбожью?

ДОМНА. А вот, что ты, молодая да красивая, старику, как собачонка, в рот глядишь. Думаешь, он ночи не спит через обезьяну? Просто от старости. А ты сдуру себе за ним. *(Вера стучит в окно.)*

ВЕРА. Прищемихин! Эй, Прищемихин! *(Входит Прищемихин.)*

ПРИЩЕМИХИН. Здравствуйте. Кстати, напрасно утруждаете себя стуканием в окно. Обезьяны Анашка и Клера выдаче не подлежат.

ВЕРА. Прищемихин! Третий месяц вы нас мучаете. Дальше — срыв эксперимента.

ПРИЩЕМИХИН. Вы меня, кстати, не расстраивайте, прошу вас: я уже расстроен. До нынешнего числа наш зоопарк оспаривали друг у друга центральные учреждения, а сегодняшнего же дня на упомянутый зоопарк изъявил претензию и краевое правительтельство.

ВЕРА. И отлично. С местными-то мы скорей сговоримся. *(Входит Чечирова.)*

ПРИЩЕМИХИН. Я против. При переводе на местный бюджет все звери, равно, как и я, погибаем от непреодолимого голода.

ЧЕЧИРОВА. Если бы ты от своей непреодолимой глупости давно погиб...

ПРИЩЕМИХИН. Этим меня не расстройте. И, пока я жив, обезьяну зря не выдам. Только через мой труп. *(Уходит.)*

ВЕРА. Это хуже моей матери.

ПРИЩЕМИХИН *(в дверях)*. Не выражайтесь. Стыдно при женственной чечности... *(Уходит.)*

ВЕРА. С деньгами тоже какая-то волюга: обещают и не дают. Иван Федорович не спит, эту ночь — напролет.

ЧЕЧИРОВА. А ты?

ВЕРА. Как же я могу спать? Уж Розову звонила, чтоб прописал что-нибудь. Не ест. Я, говорит, мог бы есть только каши — не то сыро-молочной, не то сыро-молотной.

ЧЕЧИРОВА. Это что же такое?

ВЕРА. Чорт ее знает. Елизавета его так кормила.

ЧЕЧИРОВА. Так и отошли его к Елизавете.

ВЕРА. Он и так слишком много ее вспоминает.

ЧЕЧИРОВА. Не ревнуешь ли, мамина дочка?

ВЕРА. О мальчике тоскует.

ЧЕЧИРОВА. А с обезьяной партком завтра дело устроит.

ВЕРА. Что-то не устраивает.

ЧЕЧИРОВА. Значит, находит ненужным. Ему видней.

ВЕРА. Ну, ты тоже иди к моей матери. У той богу видней, а у тебя — парткому.

ЧЕЧИРОВА. Сравнила! Где же Скрипка?

ВЕРА. Да, вот и Скрипка исчез. Сегодня я видела, с сумкой за плечами ушел из города.

ЧЕЧИРОВА. Ну, так и есть, сбежал.

ВЕРА. Куда?

ЧЕЧИРОВА. Куда угодно. На Севере весна, — беспризорная кровь почуяла и заиграла. Вот корешок. *(Входит Холодов. Чечирова уходит.)*

ХОЛОДОВ. Еще одно здравствуйте.

ВЕРА. Еще однажды соврите. Обещали обезьяну на другой день, а идет второй месяц.

ХОЛОДОВ. А если вокруг нее вся планета завертелась? Вот она. Руку протянуть, а в руки не возьмешь красавицу заколдованную. За Гомера семь городов спорили, за нее — семь канцелярий. Это посерьезней.

ВЕРА. Не нужно было хвастать.

ХОЛОДОВ. Да. За обезьяной-то вчерашние хозяева стоят. На вид — тут кругом пески сыпучие, а на деле — священный лес.

ВЕРА. Какой там лес — старые пни! Вырубить надо.

ХОЛОДОВ. Пни не вырубают, а выкорчевывают. К каждому надо с индивидуальным подходом.

ВЕРА. Значит, ждать, пока вы будете индивидуальные подходы вырабатывать? Ну, хорошо. Обезьяну не дают из центра. А почему здесь с деньгами тянут?! Ведь аппараты готовы! Выку-

пать надо. Я очень боюсь, что получится то же, что с обезьяной.

ХОЛОДОВ. Боюсь, что получится хуже.

ВЕРА. То-есть?!

ХОЛОДОВ. Бюджет урезан. А у вас конкурент.

ВЕРА. Конкурент!.. Какой?!

ХОЛОДОВ. Профессор Никитин. В крае его работу считают более срочной, чем ваша. Канал не ждет.

ВЕРА. Вот как?.. Так на чорта же нам тогда и бажановское помещение?

ХОЛОДОВ. Да, повидимому, помещение тоже Никитину. Для его работ и оно тесно.

ВЕРА. А нам не тесно? *(Входит с колбой Чечирова.)*

ЧЕЧИРОВА. Ура! Соединились! Хлористого натру прибавила!..

ВЕРА. Брось!.. Разбей колбу!.. Все колбы. Запирай лабораторию. Идем на поденщину, канал рыть.

ЧЕЧИРОВА. Что случилось?

ВЕРА. Вот новость принес: все средства и бажановское помещение — все Никитину отдано.

ХОЛОДОВ. Пока еще не отдано.

ЧЕЧИРОВА. И не отдадут. Партком-то на что?

ХОЛОДОВ. Вот партком-то и склонен отдать.

ЧЕЧИРОВА. Склонен? Ну... тогда... ему видней... Хотя жаль. А вы поглядите, какой осадок в колбе!..

ВЕРА. Уйди ты, колба... *(Чечирова уходит в лабораторию. Вера — Холодов.)* Ну, а вам тоже стало теперь видней?

ХОЛОДОВ. Никитина дело вдруг выскочило вперед, и его насущность для всех очевидней.

ВЕРА. Да, вы над этим так бились?

ХОЛОДОВ. Да, я над этим так бился.

ВЕРА. И пришли сообщить об этом?

ХОЛОДОВ. Да. Теперь я бьюсь, чтобы деньги были ассигнованы не Никитину, а Соболеву.

ВЕРА *(иронически)*. Потому, что насущность его теперь для всех очевидней?

ХОЛОДОВ. Именно потому.

ВЕРА. Что-то неясно.

ХОЛОДОВ. Ясно: если ему сегодня не дадут эти средства и это помещение, то завтра същут для него другие. А уж если вам сегодня не дадут, то и завтра будет не до вас. *(Входит Розов.)*

РОЗОВ. Здравствуйте. А где больной?

ВЕРА. Не знаю. Убежал.

РОЗОВ. В чем дело?

ВЕРА. А вот спросите ректора.

ХОЛОДОВ. Вы лучше спросите профессора Розова: он все это отвоевывает у вас для Никитина.

РОЗОВ. Простите, не для Никитина. У края ударная проблема — канал, и мы с Никитиным в меру всех наших сил участвуем в ее решении.

ВЕРА. Вы-то когда в этот канал вошли?

РОЗОВ. Раньше Никитина. Это неважно.

ВЕРА. Значит, нам не дадите возможности работать?

РОЗОВ. Постановка вопроса не диалектическая. Вы знаете, как горячо и искренне я верю в работу Ивана Федоровича, но *amicus Plato, sed veritas...*

ВЕРА. Врите без латыни...

РОЗОВ. Pardon, я никогда не вру. Я — друг Ивана Федоровича, но я — советский ученый.

ВЕРА. А мы — японцы?

РОЗОВ. Все мы — советские ученые. То-есть должны работать в интересах советского строительства.

ВЕРА. А наша работа противоречит им?

РОЗОВ. Ваша работа — великое искание и, может быть, откроет в науке новую эру. Но это — задача будущих дней. Дайте нам разрешить насущную задачу нынешнего дня. Мы здесь, на далекой окраине, — проводники советской культуры, от нас нетерпеливо ждут ощутительных результатов. Спросимте же население края, чего оно от нас ждет ожиданием жаждающего — проведения канала или экспериментов с обезьяной?

ВЕРА. Спросите население не только этого края, но всех концов мира, откуда нас запрашивают о наших работах.

РОЗОВ. Некогда, некогда. Очень уж далеки концы, и очень громоздкий во-

прос. У нас проще вопрос: о здоровье трех миллионов в этом крае.

ВЕРА. А у нас — о жизни... сотен миллионов. Во всем мире.

РОЗОВ. Это прекрасно и поражает воображение. Но мир, может быть, подождет немножко.

ХОЛОДОВ. Миру ждать — не привыкать. Таковский сукин кот.

ВЕРА. Нас здесь тоже к этому учили, но больше ждать нельзя.

РОЗОВ. Вера Алексеевна, давайте же, дорогая, разберемся не в мировых масштабах, а в пределах вашей лаборатории. Вы хотите отнять у нас средства и помещение для опыта с обезьяной, но ведь обезьяны-то у вас еще нет и вопрос так стоит, что ее долго может не быть.

ВЕРА. А если она завтра будет?

РОЗОВ. Так завтра и поговорим. Но боюсь, что это будет значительно позже. Там ведь тоже — на-страже мировой науки.

ВЕРА. Да, заколдованный круг: профессор Бажанов обезьяну не дает, ибо европейская наука выше советской, а профессор Розов средств не дает, ибо советская наука выше европейской.

РОЗОВ. Я не даю? Пожалуйста, возьмите, Вера Алексеевна.

ВЕРА. Возьмем, Валериан Михайлович, не просите. Товарищ Холодов, что происходит? Вы приехали сюда руководить ходом науки. Так что же она у вас сама себе ноги оттаптывает? За хвост себя ловит!

ХОЛОДОВ. Я ее этим фокусам не учил.

ВЕРА. Без вас мы дружно работали в своих лабораториях.

ХОЛОДОВ. Дружно ли?

ВЕРА. Ну, бывала простая, низенькая обывательская гадость. А теперь ведь нас вон на каких высотах лбами сталкивают. А вы молча любуетесь.

ХОЛОДОВ. Зрелище занятное.

РОЗОВ. Егор Егорович так молчит, что, если бы не его молчание, средства уже были бы у нас с Никитиным. Но за нас и советское, и партийное руководство. Не забываете, Егор Егорович, что левацкое проектирование...

ХОЛОДОВ. Не забывайте, профессор Розов.

РОЗОВ. Извините, я — человек прямой, и прежде всего — дело.

ХОЛОДОВ. Жаль, что вам тут сейчас нечего делать.

РОЗОВ. Меня любезно пригласили к больному.

ВЕРА. По ошибке.

РОЗОВ. За врача не обидно, за больного приятно. Будьте и вы здоровы. *(Уходит.)*

ВЕРА. Наглец!

ХОЛОДОВ. Делец. По-своему прав.

ВЕРА. Это — уж не старые пни.

ХОЛОДОВ. Молодые деревья всегда жестоко воюют между собой.

ВЕРА. А для вас это — «занятное зрелище»?

ХОЛОДОВ. Скажите, Вера Алексеевна, почему вы работаете именно с Иваном Федоровичем?

ВЕРА. Я с ним работаю со студенческой скамьи.

ХОЛОДОВ. Но не случайно же. Почему?

ВЕРА. Станный вопрос. Потому, что вижу великое значение этой работы.

ХОЛОДОВ. А когда вы это увидели?

ВЕРА. Когда стала работать. А вы?

ХОЛОДОВ. Я — раньше.

ВЕРА. То-есть?

ХОЛОДОВ. Нас, ребят, поступило на рабфак полсотни, а кончило вуз семеро. Большинство отпало по болезни. Большой процент — за смертью. В новой жизни пролетариат долго еще будет расплачиваться за жизнь старую собственной жизнью. Но пролетарий должен иметь право жить долго! Он многое успел отвоевать у природы. Но себя, себя-то надо отвоевать. Завоевываем пространство, но время, время надо отвоевывать энергичней!.. Смерть надо попытаться выключить... Тут, понимаете ли... Ну, одним словом, когда я узнал о работах Соболева... такая была радость.. *(Выглянув в окно.)* Баюшки! Идет! Злой, во сто тигров! А я еще жить хочу... Проводите черным ходом.

ВЕРА. Что — бежать?!

ХОЛОДОВ. Нет, сражаться. Так и ему скажите. Через полчаса — со щитом или на щите.

(Вера провожает Холодова на черный ход. Возвращается. Входит Соболев.)

ВЕРА. Ты пришел?

СОБОЛЕВ. Для мысли каналы вредны. Она, как вода, пробивает и сдвигает горы. Но должна течь быстро! В этом ее могущество!

ВЕРА. Ты даже кофе не пил. Садись, садись, я сейчас подогрею.

СОБОЛЕВ. Здесь не вода, а мысль застоялась, гнилая тишина, бажановщина! *(Потянул носом.)* Почему мерзавцем пахнет?

ВЕРА. Ну, ничего, кажется, все оборачивается наконец. Сейчас был Холодов, говорит — все будет в порядке.

СОБОЛЕВ. Да?! В порядке?

ВЕРА. Да, да, непременно.

СОБОЛЕВ. Порядок — это очень хорошо. Сам Шерстев одобряет. *(Вера уходит на кухню. Соболев берет рукопись, делает пометки. Домна запела в своей комнате церковное. Соболев поднимает голову, потом, не отрываясь от рукописи, идет к ее двери, открывает.)*

СОБОЛЕВ. Вон! Ах, это вы? Извините. Думал, собака. Очень рад. Простите.

ДОМНА. Бог простит. *(Дверь закрылась. Соболев сел на место. Вера входит с кофе.)*

ВЕРА. Сила мысли — не в движении, а в правде.

СОБОЛЕВ. Так зачем ты лжешь?

ВЕРА. Я?! В чем?

СОБОЛЕВ. Что Холодов тебя успокоил.

ВЕРА *(стихла)*. Разве ты говорил с ним?

СОБОЛЕВ. Я все знаю. Спирогеллу против обезьяны выдвинули. Не смей лгать.

ВЕРА *(кричит)*. А ты не смей кричать! *(Соболев пьет кофе; Вера смотрит на него.)*

СОБОЛЕВ. Скрипка где?

ВЕРА. Не знаю. Не был.

СОБОЛЕВ. А?! Исчез. Крыса с кобля. Хорошо. Даю в газетах об'яв-

ние о наборе новой аспирантуры. И между прочим у меня на лбу эти объявления еще не напечатаны. И на лице никакие плакаты не нарисованы.

ВЕРА. Скажите, пожалуйста, кому-то очень нужно смотреть на старое, злое существо.

СОБОЛЕВ. Ну, хорошо, хорошо. *(Берет ее руку, прислоняет к щеке.)* Обезьяны нет, лаборатории нет, хорошо, что сына нет. Вот и легче. Он сказал бы: «Обедьяна»... «двонок»... У-у...

ВЕРА. Все будет.

СОБОЛЕВ. А разве я говорю, не будет? И Коля прибудет!

ВЕРА. Пей.

СОБОЛЕВ. Не хочу. Никитин, как и я, — подлинный ученый. Мы так же не можем столкнуться, как две птицы в воздухе, — закон природы!

ВЕРА. Конечно. Ну, пойди усни наконец.

СОБОЛЕВ. Не хочу. *(Склонившись на ее руку, заснул. Она стоит, не шевелясь. Свободной рукой перебирает его волосы. В коридоре Чечирова говорит в наружную дверь.)*

ЧЕЧИРОВА. Без гвоздей у меня...

ВЕРА. Тсс...

ЧЕЧИРОВА. А то я этими гвоздями... *(Вера, сняв туфлю, бросает ей в спину. Та оглянулась, Вера грозит ей. Чечирова, взглянув, исчезла в лаборатории. Входит Холодов.)*

ВЕРА. Тсс... *(Холодов остановился в дверях, разговаривает шепотом.)*

ХОЛОДОВ. Какие в этой голове сны бродят... Можно ее поцеловать? *(Вера делает отрицательный жест.)*

ВЕРА. Ну, что?

ХОЛОДОВ. А...

ВЕРА. Дают? *(Холодов отрицательно качает головой.)* Так какого же вы чорта явились?

ХОЛОДОВ. У вас «Условные рефлексы» есть?

ВЕРА. Что?!

ХОЛОДОВ. Павлова, последнее издание.

ВЕРА. Уйдите.

ХОЛОДОВ. Дайте. В вагоне проштудирую. Сейчас еду в Москву.

ВЕРА. Едете?!

ХОЛОДОВ. Да, здесь вопрос решен — бито, надо драться там.

ВЕРА. Ладно, занесу.

ХОЛОДОВ. Через полчаса еду. *(Вера кивает головой. Холодов уходит. Пауза. Выглянула Домна, укоризненно покачала головой. Входит Скрипка.)*

ВЕРА. Тсс... *(Скрипка вынимает из мешка обезьяну.)* Что такое? Не может быть!

СКРИПКА. Анашка. Собственно лично.

ВЕРА. Да как же?

СКРИПКА. Пожелали наконец.

ВЕРА. Как?

СКРИПКА. Я пригласил их, а они: «С удовольствием, давно стремлюсь к науке». *(Вера смеется. Соболев делает движение. Вера машет Скрипке, тот исчезает с обезьяной в комнату.)*

СОБОЛЕВ. В чем дело?

ВЕРА. Да ничего... нет, какое ничего. Обезьяна здесь.

СОБОЛЕВ *(вскочил)*. Где?

ВЕРА. В кабинете.

СОБОЛЕВ *(бросился к кабинету. Увидел обезьяну)*. Он.

СКРИПКА. Персонально.

СОБОЛЕВ. Точно он.

СКРИПКА. Да уж будьте покойны, самозванца не допустим. Но вы его испугали, уходите.

СОБОЛЕВ. Выдали наконец?

СКРИПКА. Выдали, только вы меня не выдавайте: не кричите. Нет, вы взгляните, манеры.

ЧЕЧИРОВА. А! Ах, стерва!

СОБОЛЕВ. Обворожительно.

СКРИПКА. Ну, еще бы, выдвиге-нец на такой пост.

СОБОЛЕВ. Значит, приступаем. Ну, спасибо, голубчик. *(Целует Скрипку. В дверях Домна.)*

ВЕРА И я. *(Целует.)*

СКРИПКА. Не меня, обезьяну целовать надо. *(Целует Чечирову.)*

ЧЕЧИРОВА. Да что ж ты меня?

СКРИПКА. Это все равно.

ЧЕЧИРОВА. Да и стерва ты! Подлец!

ДОМНА. Целуются, как на светлое христово воскресенье.

СКРИПКА. Верно. Вот этот самый антихрист умрет и воскреснет.

ДОМНА. Гляди, деточка, сам с ним не сдохни.

ВЕРА. Уходи вон! Однако, что же мы с обезьяной делать будем?

СКРИПКА. Как — что?

ВЕРА. Денег на аппараты не дают.

СКРИПКА. Не может быть!

СОБОЛЕВ. Именно, не может! Теперь-то уж дадут. Значит, брешь пробита, если с обезьяной пошли навстречу.

СКРИПКА. Ну, это — скорей с нашей стороны шаг.

СОБОЛЕВ. Иду требовать, поставлю на вид.

СКРИПКА. Зачем же — на вид?

СОБОЛЕВ. Необходимо.

ВЕРА. Пожалуй, и в самом деле подождать.

СОБОЛЕВ. Да вы с ума сошли! Деньги! Иначе я им эту обезьяну в лицо! *(Уходит.)*

СКРИПКА. Вера Алексеевна. спасайте Анашку! *(Вера уходит за Соболевым.)*

ЧЕЧИРОВА. Ну, конечно украл. Так и знала.

СКРИПКА. Это делает честь твоим знаниям.

ЧЕЧИРОВА. Ну, прощай, Скрипка, лет пяток пришьют.

СКРИПКА. Ну, прощай! *(Ласкает обезьяну.)* Анашечка! Красота ты моя прародительская. *(Стук в дверь.)*

СКРИПКА. *(закрывает дверь в кабинет).* На стрему! *(Чечирова идет открывать. Возвращается.)*

ЧЕЧИРОВА. Прищемихин!

СКРИПКА. Не пускай.

ЧЕЧИРОВА. Вошел. *(Входит Прищемихин.)*

ПРИЩЕМИХИН. Здравствуйте, товарищи.

СКРИПКА. Здравствуйте, но хозяев дома нет.

ПРИЩЕМИХИН. Как ваше здоровье?

СКРИПКА. Ничего, спасибо, как ваше?

ПРИЩЕМИХИН. Тоже ничего. Но у меня, кстати, расстройство: Анашка похищен.

СКРИПКА. То-есть как похищен?

ПРИЩЕМИХИН. Не знаю как, но украден.

СКРИПКА. То-есть как? Вполне?

ПРИЩЕМИХИН. Да что за вопрос? Живые экземпляры по частям не крадутся.

СКРИПКА. Не может быть!

ПРИЩЕМИХИН. Определенный факт.

СКРИПКА. Ну, так ищите, знаете где? На дамский воротник пошла.

ПРИЩЕМИХИН. Не может быть!

СКРИПКА. Определенный факт.

ПРИЩЕМИХИН. Может быть, вы, кстати, видали?

СКРИПКА. Как я мог видеть?

ПРИЩЕМИХИН. Приблизительно как очевидец.

СКРИПКА. Какой же из меня очевидец?

ПРИЩЕМИХИН. Сторож говорит, что вскоре перед исчезновением его было там явление вас.

СКРИПКА. Возможно.

ПРИЩЕМИХИН. По вашему же уходу не стало и вас...

СКРИПКА. Закономерно.

ПРИЩЕМИХИН. И даже Анашки.

СКРИПКА. Позвольте. Да вы уж не меня ли подозреваете?

ПРИЩЕМИХИН. Напротив. Только, если вы, то, кстати, верните.

СКРИПКА. Да где же я ее возьму, скажите, пожалуйста? Где?

ПРИЩЕМИХИН. Я сам возьму. Лишь скажите, пожалуйста, где.

СКРИПКА. Нет, это уж слишком.

ПРИЩЕМИХИН. Я, кстати, слышал, как вы сейчас в ласковом виде выражались: красавица Анаша.

СКРИПКА. Ослышались. Не Анаша, а Малаша. Это вот — Малаша Ее и красавицей я называл.

ПРИЩЕМИХИН. *(смотрит на Чечирову).* Ее — красавицей?

СКРИПКА. Да, ее.

ПРИЩЕМИХИН. Ну-ну!

СКРИПКА. Что ну?

ПРИЩЕМИХИН. Незакономерно.

ЧЕЧИРОВА. Ах, ты гад! Что же я, хуже обезьяны?

ПРИЩЕМИХИН. Я от сравнения воздерживаюсь. Обезьяна — в своем роде, а вы — в своем.

СКРИПКА. Да вы у меня за оскорбление женщины с лестницы полетите.

ПРИЩЕМИХИН. А вот куда вы за похищение государственного достояния полетите?

СКРИПКА. Уходите.

ПРИЩЕМИХИН. Пока не получу расхищенное священное государственное достояние, с этого криминального места не сойду. *(Входит Бажанов.)*

ПРИЩЕМИХИН. Вот, Петр Семенович, кем украдена народная шимпанзе.

БАЖАНОВ. Что такое?

ПРИЩЕМИХИН. Вот он! А здесь она.

БАЖАНОВ *(заглянув в комнату)*. Что это значит?

ПРИЩЕМИХИН. Спер, то-есть похитил на глазах.

СКРИПКА. Взята открыто во временное пользование для целей науки.

ПРИЩЕМИХИН. Я протестую.

СКРИПКА. А когда я брал, он не протестовал.

ПРИЩЕМИХИН. Я не видал.

СКРИПКА. Надо смотреть.

ПРИЩЕМИХИН. Он украл.

СКРИПКА. Надо доказать.

БАЖАНОВ. Очень неожиданный научный подход. Потрудитесь прежде всего вернуть.

СКРИПКА. После опыта.

БАЖАНОВ. Требую немедленно. Потрудитесь.

СКРИПКА. Мы у вас три месяца требовали. Потрудитесь и вы.

БАЖАНОВ. Нет, вы заблуждаетесь, должен вам заметить.

СКРИПКА. А Гамильтон заметил, что живое заблуждение лучше мертвой истины.

БАЖАНОВ. Мертвой истины, дорогой аспирант, нет. Истина абсолютно жива.

СКРИПКА. Абсолютной истины, дорогой профессор, нет. Это метафизика.

ПРИЩЕМИХИН. Вы лучше — об абсолютном воровстве.

БАЖАНОВ. Да, это ближе к теме.

СКРИПКА. Валяйте. *(Входит Холодов.)*

БАЖАНОВ. Ага! Вот, товарищ ректор, молодой и стремительный аспирант похитил из зоопарка обезьяну...

ХОЛОДОВ. Похитил?! Вот как?! *(Заглянул в лабораторию. Подойдя к Скрипке.)* Зачем ты, боржомец, похитил, если я выдал тебе разрешение взять открыто. *(Все удивлены.)*

БАЖАНОВ. Вы?

СКРИПКА. А если у меня это разрешение украли?

ХОЛОДОВ. Кто?

СКРИПКА. Подозреваю Прищемихина.

ПРИЩЕМИХИН. У меня украсть да меня же подозревать? Нет, уж позвольте!

БАЖАНОВ. Но вы, товарищ ректор, без совета не имели права.

ХОЛОДОВ. Об этом я буду говорить в Москве. До свидания. *(Уходит.)*

ПРИЩЕМИХИН. Дайте же хоть протокол.

ХОЛОДОВ. Дадим.

СКРИПКА. Ну, Анаша, выходи, не бойся. Легализовались. *(Берет его.)* Теперь смело двигай науку!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина четвертая

В большом помещении лаборатории. За дверью опыт с обезьяной. Напряженное молчание. Шерстев у двери, за которой опыт. У входной двери Домна. Из-за нее выглядывает Пичукин. Еще фигура. Вбегает Прищемихин.

ПРИЩЕМИХИН. Уже начали?

ШЕРСТЕВ. Давно.

ПРИЩЕМИХИН. Как же это я опоздал?

ШЕРСТЕВ. Неизвестно. *(Прищемихин хочет пройти в лабораторию, Шерстев не пускает.)* Нельзя.

ПРИЩЕМИХИН. Как нельзя?

ШЕРСТЕВ. Никак нельзя.

ПРИЩЕМИХИН. Пусти. Там моего Анашку, может, зарезали.

ШЕРСТЕВ. Очень просто.

ПРИЩЕМИХИН. Пусти. *(На шум выходит Розов, потом Вера.)*

РОЗОВ. В чем дело?

ПРИЩЕМИХИН. Вот не впускает. В то время, как там подвергается...

ВЕРА. Тише. Входите. (*Прищемин входит. Вера увидела Домну.*) Ты зачем?

ДОМНА. Всем можно, кроме меня.

ВЕРА. То ученые, а ты при чем?

ДОМНА. При дочке, при зяте.

ВЕРА. Уходи.

ДОМНА. Бог с тобой. (*Скрылась.*)

РОЗОВ. Ну вот, поздравляем. Опыт идет блестяще. Через четверть часа в мир войдет новая великая идея.

ВЕРА. Может быть.

РОЗОВ. В ваших устах никакое «может быть» не должно быть. Надо верить.

ВЕРА. Вы-то когда же уверовали?

РОЗОВ. Я всегда верил и знал, что из нашей коллизии будет найден выход. Нужно лишь ставить вопросы во всей остроте их взаимных противоречий. Опыт же должен удался, ибо неудача была бы огромным ударом для советской науки. Бажанов скрылся в тучах собственного величия. Но чуть что — падет здесь молнией. Будьте покойны.

ВЕРА. А ну вас, знаю. (*Уходит в лабораторию.*)

РОЗОВ (*вслед*). И все же будьте покойны. (*Входит Домна.*)

ШЕРСТЕВ. Что же? Кадавер уже мертвый?

РОЗОВ. Да, труп.

ШЕРСТЕВ. И, думаете, воскресят?

РОЗОВ. Непременно.

ШЕРСТЕВ. Значит, потом и человека?

РОЗОВ. Обязательно.

ПИЧУГИН. То-есть именно покойников.

РОЗОВ. Да, не всех, по выбору.

ПИЧУГИН. Кого же выбирать?

РОЗОВ. Стариков это конечно не коснется. В общем же — классовый подход.

ШЕРСТЕВ. Нас господь в день чудный воскресит.

ПИЧУГИН. А позвольте, профессор, знать, что именно этим доказывается?

РОЗОВ. Доказывается, во-первых, что человек — от обезьяны, во-вторых, что он могуч, как бог, т.е. что бог окончательно аннулируется. (*Уходит.*)

ПИЧУГИН. Да, с богом тут разговор крупный будет. Воскрешать живое су-

щество, тем паче человека, может един только бог. Так было от начала мира, и только при конце мира это будет дано ангихристу на его немедленную же погильель.

ШЕРСТЕВ. Так оно и будет им на погильель.

ПИЧУГИН. Непременно, никакого воскрешения допущено быть не может.

ДОМНА. А ежели при советской наглости...

ПИЧУГИН. Ополчиться надо. (*Проходит Чечирова, Пичугин исчезает.*)

ШЕРСТЕВ. Не допускаю. Не таких бог вразумлял. Был древний мудрец Архимедий. Так же вот возомнил прогив бога. Хотя же и по другой линии. Искал я, говорит, бога поверх земли и не нашел. Переверну-ка ее вверх дном. Ежели и со дна не окажется, значит, скрозь пусто.

ДОМНА. Да как же это-возможно?

ШЕРСТЕВ. Рычаг такой придумал. Так и называется Архимедиев.

ДОМНА. Басни, чай?

ШЕРСТЕВ. Кабы я своим глазами не видал, в книжке. Ну, хорошо. Прилаживает это он свой рычаг, смазку там, а народ конечно трезожится. Шутка сказать, такое дело умыслил. Видимая погильель. Спрашивают которые как же, мол, на повороте спастись? Держаться за что или в бегство превращаться? Это, говорит, не моя статья. Моя статья — перевернуть. Апосля наука все установит.

ДОМНА. Ах, вредный!

ШЕРСТЕВ. Ну, да, в роде наших. Вот он приладил все, теперь, говорит, держитесь, братие, каждый своей точки упору. А я, говорит, перед работой на всякий случай обмоюсь в ванне. Вошел это он в ванную да вдруг как выскочит оттуда, ошпаренный, да как закричит: нашел, нашел господа бога, а сам — голышом по улице. (*В тревоге зыбегает Скрипка, потом возвращается.*) Вот в роде этого! (*Выходит Холодов, за ним Розов. Розов смотрит на часы.*)

РОЗОВ. Все сроки истекли.

ДОМНА. А, ну-ну, господи благослови.

ШЕРСТЕВ. Будьте покойны. Да воскреснет бог!

РОЗОВ. Но тем замечательнее будет опыт. *(Входит Никитин.)*

НИКИТИН. А! Товарищ ректор, наконец-то я вас вижу.

ХОЛОДОВ. Это не так трудно.

НИКИТИН. Но вы словно избегаете меня. Вообще странное ко мне отношение. Вы вытащили и подняли мою лабораторию на большую общественную работу, и вы же отнимаете у нее необходимые средства! Вы тормозите работу!

ХОЛОДОВ. Немножко, это ничего. Зато я в Москве исхлопотал вам дополнительные ассигнования.

НИКИТИН. С тем, чтобы опять бросить их сюда на какие-то сомнительные опыты.

ХОЛОДОВ. Кто вам сказал — сомнительные?

НИКИТИН. Многие. Вот профессор Розов.

РОЗОВ. Зачем я? Опыт сейчас сам за себя скажет. *(Выходит Чечирова, потом Скрипка и другие.)*

ЧЕЧИРОВА. Издохла, сволочь.

РОЗОВ. Не может быть!

ДОМНА. Слава тебе, господи!

ШЕРСТЕВ. Христос воскрес, Домна Демьяновна! *(Кивает на Скрипку.)* Краденое-то добро в прок не идет. *(Выходит Прищемихин.)*

ПРИЩЕМИХИН. Что же это вы, товарищи, наделали?! А? Украли, встали, и зарезали троглодитум нигер, как курицу или поросенка! Это — наука?

ШЕРСТЕВ. Живодерство, а не наука.

ПРИЩЕМИХИН. Это же вам не простая обезьяна, а драгоценный предок человека!

ШЕРСТЕВ. Стерва, а не предок.

ПРИЩЕМИХИН. Сам ты стерва, не выражайся.

ШЕРСТЕВ. Обезьяний внучек! А у меня, слава богу, родители и все предки были. Только-что потомством бог не благословил. *(Входит Бажанов.)*

БАЖАНОВ. Ну как? Удались темпы?

ШЕРСТЕВ *(тихо)*. Христос, ваше превосходительство, воскрес! Обезьяна издохла!

БАЖАНОВ. Не удались? Да, наука, друзья мои, — не война, не политика: насилием не верпит.

РОЗОВ. Вы, Петр Семенович, служите науке сорок лет. Я — двадцать. Можно ль было думать, что доживем до такого поругания над ней, когда научные методы заменяются авантюрическими приемами с воровскими трюками? *(Входят Соболев, Вера, Холодов и другие.)*

СОБОЛЕВ. Коллеги, операция не удалась по случайности. Взята неудачная последовательность.

РОЗОВ. Да, неожиданности везде возможны.

СОБОЛЕВ. Никакой неожиданности. Я эту возможность допускал.

ПРИЩЕМИХИН. Так зачем же вы допустили?!

СОБОЛЕВ. Дурак... То-есть, голубчик, видите ли, если бы не это, я не получил бы той уверенности, какую имею теперь. Теперь нам ясно, что на второй обезьяне это даст положительный эффект.

ПРИЩЕМИХИН. Нет, уж это фиг. Получили эффект! Подайте труп.

БАЖАНОВ. Но ты, Иван, мужайся, это — благоприятный кризис болезни.

СОБОЛЕВ. Как сладко утешать врагов в их горе!

БАЖАНОВ. Я — твой друг.

СОБОЛЕВ. Это менее сладко. Но я должен тебя огорчить, Петр: работа продолжается.

БАЖАНОВ. Продолжай, пожалуй. Но напрасно позволил ты своим хватунам оповестить весь мир. Это надо как-то ликвидировать.

НИКИТИН. Значит, вы в свою работу верите?

СОБОЛЕВ. Товарищ ректор, нам необходим второй экземпляр.

ЧЛЕН СОВЕТА. Это — уж наглость.

ХОЛОДОВ. Обождать нельзя?

СОБОЛЕВ. Товарищ ректор, опыт продолжается.

(В стороне в кучке):

РОЗОВ. С дохлой обезьяной! *(Тихий смех.)*

СОБОЛЕВ. Давайте обезьяну.

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА. Дайте ему кошку. Все равно сдохнет. *(Смех громче.)*

НИКИТИН. Как вы смеете? Товарищ ректор, если ученый верит в свою работу, кто смеет, как оно называется, мешать?

ХОЛОДОВ. А неученому, значит, можно мешать?! Слишком много берете, гражданин ученый. Иван Федорович, я не могу своею властью. Москва разрешила выдачу второй обезьяны лишь в случае удачи опыта с первой.

СОБОЛЕВ. А! Полувера — полумера половинчатых мудрецов!

РОЗОВ. Товарищи, надо же определить свое отношение.

ВТОРОЙ ЧЛЕН СОВЕТА. Надо положить конец безобразию!

ТРЕТИЙ ЧЛЕН СОВЕТА. Срочно уведомить Москву!

СОБОЛЕВ *(беседует с Холодовым)*. Я же вас предупреждал: опыт не ждет. Что же я, жену вместо обезьяны на операционный стол положу?

БЕРА. Успокойся. Нужно, — клади. *(Хочет засмеяться, но всхлипнула.)*

ДОМНА. За обезьяной слезу льешь. ШЕРСТЕВ *(Домне)*. Вы скончае-тесь, — не прольет.

ДОМНА. Осекалась, доченька! То-то бог!

БЕРА *(подошла к Домне, тихо)*. Мамочка, сейчас иди домой. Собери свои вещи и уходи прочь от меня. Немедленно. Бойся, чтоб я тебя не застала у себя. Торопись.

ДОМНА. Ну, спасибо, Верочка. А ты зря торопишься. Припадешь еще к теплой мамкиной груди. *(Утирая глаза, уходит.)*

ПРИЩЕМИХИН *(проходит к трюпом обезьяны)*. За невинно загубленную драгоценную для страны жизнь ответите, граждане.

СОБОЛЕВ. Скрипка, украдьте, будьте любезны, и вторую.

СКРИПКА. Украду, Иван Федорович. Чище первой.

ХОЛОДОВ *(кричит)*. Скрипка!

СКРИПКА *(кричит)*. Холодов! Видишь? Терцией выше могу.

ХОЛОДОВ. Ступай сюда. *(Отходит за колонну.)* Ты что?.. Своими боржомскими методами разлагать нас тут?

СКРИПКА. А ты что? У тебя какие методы? Ты в Москву ехал предупре-

жденный, знал, что тут могут взвыть и затоптать. Почему не добился для себя права распорядиться?

ХОЛОДОВ. Добейся! Заслужите его. А на краже, брат, далеко не уйдешь.

СКРИПКА. Попробуй, уйди дальше.

ХОЛОДОВ. Куда?

СКРИПКА. Придумай что-нибудь умнее кражи.

ХОЛОДОВ. Да меня прежде, чем я придумаю, уйдут отсюда. Вот тогда потанцуете перед обезьяной.

СКРИПКА. Так делай же, делай скорей, не танцуй сам.

ХОЛОДОВ. Да ты что? Командовать мной? В обезьянью клетку меня посадил? В клетку да на цепочке водить, уркаган? *(Наступает на Скрипку.)*

СКРИПКА. Ну, ну. Тут — ни клетки, ни лошадиного станка. Гальт строма. Строма!

Занавес.

Картина пятая

Та же обстановка и напряженность ожидания. У двери в лабораторию Шерстев. Входит Пичугин.

ПИЧУГИН. Ну что? Подохла и эта?

ШЕРСТЕВ. Уже зарезали.

ПИЧУГИН. Ну, и слава богу. Эту как же звали? Ту Анашка, полностью можно сказать: Анафема.

ШЕРСТЕВ. Как ни назови, все равно подохнет. Положенный час прошел.

ПИЧУГИН. Да хоть год. Издохла, значит, обдирай. Вот осрамились!

ШЕРСТЕВ. На все Европы. А тут еще скандал с ректором. Та была краденая, а эта — противозаконная. Ректор самочинно за весь совет расписался. Дескать, по постановлению совета выдал. А совет теперь за мошенство дело поднял. Из Москвы ревизия едет.

(За дверью возбужденный разговор, сначала тихо, отрывисто, потом громко. Шерстев приоткрывает дверь: вырываются реплики.)

ЧЕЧИРОВА. Дышит, дышит уже целиком и полностью...

СКРИПКА. Ага, глаз открыла!

ЧЕЧИРОВА. Оба!

СКРИПКА. Мое почтение, товарищ

СОБОЛЕВ. Ток выключить. Стоп! Отсчитывать пульс. Термометр! Вера Алексеевна! Ну? Что же вы... Ну, ну, поддержите ее. Воздуху! Откройте дверь настеж! Шире! Все створы! (Створы открываются, получается одна комната. Веру приводят в чувство. Гул удивления.)

ЧЕЧИРОВА. Она эту неделю не спала.

СОБОЛЕВ (положил руку ей на голову). Ну-ну. Устояли, когда споткнулись, зачем же падать, когда встали.

(Вера плачет, целует ему руки, потом приступает к работе.)

РОЗОВ. Ура. Наша взяла!

ХОЛОДОВ (Соболеву). Ну, дядя Ваня, с праздничком пока. Дай-ка приложиться к лику, пока его фотографией не замусолили. (Целуются.)

СОБОЛЕВ. Спасибо. Вам я должен первому сказать... Впрочем я сейчас всем скажу. (Холодов поздравляет Веру, Чечирову.)

ХОЛОДОВ (Скрипке). Ты — разлагающий элемент. Моя-то покража прочней твоей.

СКРИПКА. Ничего, смеется тот, кто крадет последний.

ХОЛОДОВ. Публика спрашивает, что такое «стрема»? (Входят некоторые члены совета.) Товарищи члены совета, в виду возбужденного вами процесса по поводу моих самочинных действий я должен покаяться.

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН СОВЕТА. Какие пустяки.

ХОЛОДОВ. Вы думаете? Но ведь уже следствие назначено.

ВТОРОЙ ЧЛЕН СОВЕТА. Это же — формальность.

РОЗОВ. Нет, товарищи, тут не формальность. Тут мертвящий формализм со стороны тех среди нас, кто не дорос до понимания темпов советской науки. По отношению же к нашему дорогому ректору, который прежде всех нас понял великое значение происходящего в этой лаборатории, по отношению к нему допущена грубая нетактичность, за которую позволите от имени совета принести искреннее извинение. (Одобрение.)

СКРИПКА. Гальт! Стрема!

ХОЛОДОВ (отвернулся от протянутых к нему рук. Скрипке). Да что значит «стрема»? Чорт!

РОЗОВ. И вместе принести наши поздравления, восторг и благоговейное преклонение Ивану Федоровичу.

СОБОЛЕВ. Благодарю вас, друзья. Но я не вижу среди вас лучшего моего друга — Бажанова.

РОЗОВ. Бажанов, ожидая неудачи, заготовил удачную речь, но в виду удачи опыта речь постигла неудача. Ха-ха-ха!

СОБОЛЕВ. За отсутствием Бажанова позвольте мне сказать. Да, вот видите ли, то-есть все видели. Живое существо, самое главное — ближайший наш родственник, по имени...

ПРИЩЕМИХИН. Клера, то-есть Клеопатра. Женского полу. Погибший же ее супруг был Анаша, то-есть Ананий.

СОБОЛЕВ. Надо было Антоний.

ПРИЩЕМИХИН. Неудобно. У меня ближайший предок, то-есть отец, был Антоний.

СОБОЛЕВ. Так вот эта живая родственница наша, что час и десять минут была абсолютно мертва, теперь видите, с каким любопытством и радостью она озирает мир. Покормите ее, Вера Алексеевна. И она права: мир любопытен и радостен, граждане, ибо он есть живая жизнь и величайшая радость мира и торжество жизни — разум. Но отчего же, друзья мои, эта радость разрешается печалью, вся пропитана, понимаете ли, тоскою? Идут рядом об руку два вечных спутника — разум и смерть, и в этом — невыносимая обида разуму. В человеке есть центр жизни, какого нет у остальных животных и какой лишь в зачаточном виде у нашей, вот этой, как она...

ПРИЩЕМИХИН. Клерочка. (Шаркает.)

СОБОЛЕВ. Да отодвиньте этого дурака... Очень хорошо. С ним, с центром жизни, должен сомкнуться разум, чтобы попать смерть. Но нет, нет какого-то звена. Нет... третьего, ударяющего, отчего воспламенился бы искра. На ее месте — темное пятно, которое, может быть, разум запоздал осветить.

Всегда, всю жизнь я чувствовал сначала смутно, потом всей силой и болью этот разрыв и неотступно, день за ночью, шел к его заполнению. Да. Здесь кое-кто поздравлял меня с «удачей». Крайне неудачное поздравление. Бездарное, извините. В открытиях нет неудач. Нет неудач! Есть только верные, точные итоги. Леверье не на удачу открыл Нептун, а потому, что точные цифры сказали ему: здесь, в этой кажущейся пустоте, обязана быть планета. Я медленно, кругами крался к зияющему провалу, я увидел: здесь, в этом смертном месте, — пересечение. Здесь она таится, могучая искра. Здесь надо ударить в темя смерти всей силой разума, чтобы вспыхнула жизнь. Но где взять этой силы? Нужен некий смертный прыжок. У дерзующего разума есть изнанка — сомнение. Кто победит? Вот, товарищи, кругом нас жизнь. Светлая, хотя и трудная, советская жизнь. Дурак и трус, кто боится это сказать. Страшно крут подъем, много мелких обидных наслаений. Я не политик, но знаю, развязались в недрах и забили какие-то могучие ключи, хлынули и смыли огромные вековечные пласты людской обиды. Развязались какие-то от века связанные силы и творят сказочные чудеса. Вот этот беспризорный воришка украл одну обезьяну, чтобы воскресить другую. Кормят ее. Это вот — кучер, который управляет нами. Извините, очень рад. Вот эти женщины пришли, распоряжаются, их миллионы. Они дают смертный бой старому владыке-миру. Как же не дать смертный бой самой старухе-смерти? *(За колоннами кто-то жалобно всхлипнул.)* У меня огромная радость не оттого, что опыт удался. Нет, он должен был удалться, именно оттого, что у меня всегда радость взлета. *(За колонной чуть слышный плач. Соболев бессознательно начинает пугать.)* Идет к человеку новое торжество крепкой жизни... В чем дело?... Да, идет огромная радость к человеку... То-есть человек идет к ней... И вот мы уже на пороге... Так кто же это там?... ну... плачет?... Ну?... ну?... *(Бросается на плач, слушатели расступаются, перед ним Елизавета.)*

Ну да, Лиза. Я же узнал. Давно слышу... Ты как сюда попала?

ЕЛИЗАВЕТА. Я уже пять дней в городе.

СОБОЛЕВ. А Коля? Колюша где?

ЕЛИЗАВЕТА. Ему очень плохо.

СОБОЛЕВ. Да... Очень хорошо! Теперь-то наша возьмет. Ты видишь, как идет?

ЕЛИЗАВЕТА. Только на это и надежда. *(Соболев отводит ее к колонне.)*

СОБОЛЕВ. Где ты была?

ЕЛИЗАВЕТА. Ты не искал нас.

СОБОЛЕВ. Да, но я не знал твоего адреса.

ЕЛИЗАВЕТА. Я сама его не знаю.

СОБОЛЕВ. Но вы мне снились. Я невыносимо тосковал по Коле... Во сне я находил вас. Но вы убегали все дальше.

ЕЛИЗАВЕТА. Мы от смерти убегали. Я хотела унести Колю от опасности. А она с нами. Я уходила все дальше, а она к нам все ближе.

СОБОЛЕВ. Пусть, пусть раскается!

ЕЛИЗАВЕТА. Прошлым летом мы с ним жили в Коктебеле. Такой есть в Крыму. Там берег моря устлан, как ковром, чудесными разноцветными камешками. Я слушала, как они хрустят под ногами у Коли. Закрою глаза, и сквозь плеск — шажки Коли. Легонькие, неровные... А я их слышу сильнее, чем плеск моря. Вот у сердца... И все я думаю: вот плещется вечность... унесет меня всплеском с этих горячих камней, но Коля будет ходить по ним, и будет жить здесь, на земле, моя тропа. И никогда шаги его не затихнут, я буду вечно слышать их... А шаги затихли. Коля третий месяц уже не ходит.

СОБОЛЕВ. Это ничего. *(Обнял, успокаивает ее. Вера смотрит.)* Ничего, пойдет!

ЕЛИЗАВЕТА. Да? Правда? У тебя ведь вот какие радости. А я — только мать. Только. Вся душа моя и тело. Вот стихли шажки, и настала гробовая тишина. День и ночь я ее слушаю. Все нemo, а я тленю предана. Спаси! *(Плачет. Соболев гладит, целует ее. Вера бросает чашку, из которой кормила.)*

СОБОЛЕВ. Я тебе говорю, мальчик наш будет долго после нас ходить

ЕЛИЗАВЕТА. Да. Мальчик наш... Читает уже. *(Припала к его груди.)* Пойдем к нему.

СОБОЛЕВ. Пойдем, пойдем. *(Направляются к выходу.)*

ВЕРА *(с пробиркой в руках)*. Иван Федорович, я делаю ин'екцию.

СОБОЛЕВ. Да, да.

ВЕРА. А потом?

СОБОЛЕВ. Потом... Водворите ее на место. *(Уходит с Елизаветой. Вера смотрит вслед, путает растворы, роняет пробирку на пол.)*

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина шестая

Обстановка четвертой картины.

ВЕРА *(в дверях детской)*. Колюша, деточка, да некогда же мне, родной. Папа твой бранить меня будет, что бездельничаю. Вот, когда вылечим тебя, загуляем. Все только читать тебе буду, да сказки... Не трогай, же аппарат! Лежи, кутик, смирно. Сейчас твоя мама придет... Скучно с мамой?.. *(Из лаборатории выходит Чечирова.)* Ну, вот, Малаша сейчас тебе почитает.

ЧЕЧИРОВА. Некогда мне с тобой. Лежи смирно. *(Захлопнула дверь в детскую.)* Что вы с ним няньчитесь?! У него мать есть. Впрочем та папашей занялась. Обмен.

ВЕРА. Ну, что? Проверила реакцию?

ЧЕЧИРОВА. И про сына забыла

ВЕРА. Ты не забывай, завтра — первое вливание, послезавтра — операция.

ЧЕЧИРОВА. Я не забываю, в чем дело? *(Входит Скрипка.)*

ВЕРА. А где Иван Федорович?

СКРИПКА. Он с обезьянишками.

ВЕРА. Что же там делать?

СКРИПКА. Очень уж они после воскрешения прожорливы. Словно я в детстве, отрочестве и юности. Особенно эти две новые. Ведь это еще цветики — обезьяны. А если мы людей наво-скрешаем с этаким аппетитом?! Надо специальные пайки для... воскрешенцев.

ВЕРА. Обезьян до него покормили.

СКРИПКА. Ну, центрофугу выверяет.

ЧЕЧИРОВА. Да что ты врешь? На Тополевой улице — центрофуга, у благоверной.

СКРИПКА. Сама врешь. *(Мигает ей.)* Сорока.

ЧЕЧИРОВА. Страус! Что тут мигать, когда она сама знает. А чего не знает, должна знать. Та зашла за ним и увела к себе. Исчерпан вопрос?

ВЕРА. Исчерпан.

СКРИПКА *(вынимая из карманов письма)*. Все сыплются запросы. Это — заграничные. Один так и спрашивает: «Правда ли, что на такой далекой, дикой окраине, за тысячи верст от центра, и вдруг такая штука?» Англичанин. Я ему отвечаю. *(Вера уходит.)*

СКРИПКА. Кто тебя спрашивал? Лягавая!

ЧЕЧИРОВА. Жизнь не спрашивает. Жила баба с мужем — раз, ушла — два, вернулась — три. Диалектика жизни.

СКРИПКА. Раз, два и три, надо драть такую бабу, как ты.

ЧЕЧИРОВА. Врешь, из меня бабу не надерешь. Я люблю человека, пока он не видит во мне женщину.

СКРИПКА. Ну, так ко мне любовь твоя нерушима до гробовой доски!!

ЧЕЧИРОВА. Ну, и накройся этой доской. Нет, Лизка-то какая подлая!? Сюда в дом вернуться не желает, а мужа вернуть желает. Правду им резать надо! *(Входит Розов.)*

СКРИПКА. Язык тебе обрезать.

РОЗОВ. Вот как?! Все еще по-буржуазному, боимся правды?! Я наметил цикл лекций для молодежи о наследственности лжи в крови. И о борьбе с ней.

ЧЕЧИРОВА. Верно. А Скрипка боится правды. Значит, у него какая-то буржуазная наследственность. Родства не помнит. А может, ты дворянин!

СКРИПКА *(перебирая лады бандуры)*. Не знаю.

РОЗОВ. Неправда. В сущности, каждый индивидуум в каждый момент чувствует в себе классовую наследственность.

ЧЕЧИРОВА. Верно. Своих родителей.

СКРИПКА. Ну, что ж, я так и чувствую. В данный момент чувствую в себе сплошное родительское графье.

РОЗОВ. Почему?

СКРИПКА. По собеседнику, которого я рассматриваю, как хама и лакея.

РОЗОВ. Ну, не забываться! Вы...

СКРИПКА. Не я, а сидящие во мне их сиятельства, незабвенные родители.

РОЗОВ. Не слишком ли большой аристократ из вас выходит?

СКРИПКА. И не говорит! Прет. *(Играет.)*

Грахвиня сплять, свеча сгорета,
Но грах гуляют за дверьми.

Вот до чего доходило по фамильным преданиям.

ЧЕЧИРОВА. Почему твоя фамилия Скрипка?

СКРИПКА. По предмету, с которым пойман на месте. Родоначальник новой ветви. *(Звонок в детской. Скрипка, заглянув в детскую.)* Тебе поиграть? Это можно. Подожди минуту.

ЧЕЧИРОВА. Скрипка, здесь лаборатория или эстрада? *(Уходит в лабораторию.)*

РОЗОВ. Вы, Павел Петрович, все не можете мне простить защиту лаборатории Никитина?

СКРИПКА. Да что вы, Валериан Михайлович, игры слов не понимаете?

РОЗОВ. Боюсь, что мы друг друга не понимаем.

СКРИПКА. Напрасно боитесь.

РОЗОВ. Мы с вами, как представители прикладной науки.

СКРИПКА. Такой науки нет.

РОЗОВ. А что же есть?

СКРИПКА. Есть наука и ее приложение.

РОЗОВ. Кто вам эту глупость сказал?

СКРИПКА. Луи Пастер.

РОЗОВ. Отлично, бесполезен спор о словах, но полезно соперничество в делах. *(Направляется к детской. Скрипка стал у дверей.)*

СКРИПКА. Куда изволите?

РОЗОВ. К мальчику.

СКРИПКА. Никак нельзя.

РОЗОВ. Меня мать просила взглянуть.

СКРИПКА. Это она зря. Здесь все в порядке.

РОЗОВ. Порядки новые: делать неслыханную операцию в домашней обстановке.

СКРИПКА. Телеграфируйте в Москву. *(Уходит в детскую. Розов уходит. Входят Соболев и Вера.)*

СОБОЛЕВ. Что бы там ни было, ты была и останешься моим лучшим другом.

ВЕРА. Да, спасибо. Я это ценю и постараюсь оправдать.

СОБОЛЕВ. Никаких оправданий. Ты — человек большой правды. Должна быть справедлива и здесь. Ты — большой ученый, тебе многое дано, а она — несчастная мать, маленькая женщина. Вернулась не та, что ушла. Горе и беспомощность как-то обновили ее. Она горячо верит.

ВЕРА. А что же ей и делать-то? Она не знает, что в твоей вере есть трещина и такая же дилемма...

СОБОЛЕВ. Никакой трещины...

ВЕРА. Как и перед первой обезьяной?

СОБОЛЕВ. Не смей кричать.

ВЕРА. Неправда, я потихоньку. Кашу уже ел?

СОБОЛЕВ. Да. *(Улыбаясь.)* Старые зарубки. Свежих насечек на мне уже нельзя делать. Спускается какая-то мирная сень. А с тобой еще вся молодость и ее радость.

ВЕРА. Да, я очень рада. Мы с тобой теперь так мирно живем.

СОБОЛЕВ. Но мы и раньше не воевали.

ВЕРА. Раньше ты часто бывал нетерпим. Кричал на меня. А теперь тихие опахала веют в этом доме.

СОБОЛЕВ. А ты мне, Вера, прости.

ВЕРА. Что?

СОБОЛЕВ. А вот, что покрикивал. Забудь.

ВЕРА. Ах, за это? Трудно, Иван Федорович. Но я постараюсь. Ты уж никогда не будешь сердиться?

СОБОЛЕВ. Это еще трудней. Но странный какой-то разговор у нас.

ВЕРА. Это оттого, что ты не кричишь. *(Меняя тон.)* Так я буду кричать! Вы что ж, со своей обновленной

прячешься?.. Почему не вводишь ее сюда? А меня уж вон! Семейное благополучие! Наука, Иван Федорович, не знает открытий из видов мещанского семейного благополучия. Развел огонь — думала: весь мир озаришь, оказывается, на подтопку собственного семейного очага. А я вот и потухла, и не верю.

СОБОЛЕВ. Да, метаморфоза. А та не верила раньше, поверила теперь.

ВЕРА. А? Отлично! Давай ее! Честь и место!

СОБОЛЕВ. Ну?! Ты брось это самое. Вы где: на кухне, на базаре? В очереди, Никитиной. *(Надевая халат, бежит в лабораторию и обратно.)* Почему ток не включают? А если никто в мире мне не поверит, ни одна собака... Аш хлор где?.. Чорт!.. Так я чорта заставлю поверить. *(Смотрит раствор, повернувшись спиной к свету.)* Непрозрачен! *(Вера поправляет на нем халат, поворачивает его к свету.)* Ну, то-то, другое дело. Уходишь? Я тебя, дружок, не нанимал. Выходные тебе платить не буду. Усилить ток! И сверхурочные тоже.

ВЕРА. Ладно, уж заплатил, спасибо.

СОБОЛЕВ. Там, в пространстве и времени, делите меня. А здесь ни пространства, ни времени, ни меня, ни тебя, ни отца, ни сына. Вон отсюда все! *(Чечирова выбегает из лаборатории, захлопнув за собой дверь в лабораторию. Вера сидит неподвижно. Чечирова подходит к ней. Молчат.)*

ВЕРА. Ну, вот, Малаша, у порога. Еще несколько дней. Я знаю, он перешагнет... С сыном и женой. А по эту сторону останутся троглодиты нигер и я. Смерть выложит свой капитал, чтоб его сразу отняли.

ЧЕЧИРОВА. Да слышали уж.

ВЕРА. Так и с любовью. Пусть выложит все свое богатство, — ликвидирует и убить ее... насмерть. Они соприкасаются, таков закон судеб. Где конец одной, — начало другой. А есть такой закон, чтобы всей жизнью верить в успех, который несет тебе погибель?

ЧЕЧИРОВА. Что вы сидите, как пень? Никогда раньше не сиделись.

ВЕРА. Я очень устала, Малаша. Ах, хороша, детка, жизнь! Но зачем ее лю-

ди портят? А я ведь никому зла не хотела. Все я прямой тропой шла. А тропа вот и заросла. Это — новая жизнь, а такая же старая.

ЧЕЧИРОВА. Да бросьте вы скулиты! *(Сквозь слезы.)* Чорт бы вас побрал с вашими любвьями. Да, вы вся старая. Выгнала мать из дому, да не из нутра. Я ведь послушала сейчас: вы несчастны оттого, что он вас не бранит. А материнская душа в вас так жаждет полноты блаженства: чтобы он отлупил вас, как сидорову козу, тогда вы побили бы на его голове все колбы, выскочили бы на улицу и в восторге упоения кричали бы: «Православные, ой, убил, Ирод, до смерти, ратуйте, кто в бога верует!» *(Плачет.)*

ВЕРА. Ты-то чего плачешь?

ЧЕЧИРОВА. Жаль... Колб... *(Скрипка вышел из детской. Он и Чечирова, приотворив дверь, пробираются в лабораторию. Оттуда слышен постепенно стихающий рокот Соболева.)*

ВЕРА *(оглянулась: в темноте двери Домна с вещами)*. Ты... зачем... зачем явилась?

ДОМНА. А куда же мне деваться?

ВЕРА. Лжешь! Пришла, потому что мне некуда деваться. Уходи... уходи... сейчас же! *(Упала головой на стол. Домна поправляет ей прическу. Вносит вещи во внутренние комнаты. Входит Бажанов.)*

БАЖАНОВ. Можно?

ВЕРА. Профессор Бажанов?

БАЖАНОВ. Не ожидали?

ВЕРА. Да, вы у нас не бываете.

БАЖАНОВ. Я нигде не бываю, да же здесь.

ВЕРА. Ивана Федоровича, к сожалению, нет здесь.

БАЖАНОВ. Я поэтому и пришел. К вам.

ВЕРА. Ко мне?

БАЖАНОВ. Но речь о нем.

ВЕРА. Но вы это уже доказали.

БАЖАНОВ. К сожалению, доказательства бывают очень сложные и даже не для всех понятные. Сейчас весь город и, кажется, весь мир, урбис эт орбис, очень интересуются здоровьем его обезьян, но никто не обратил внимания на здоровье профессора Соболе-

ва. Он очень плохо выглядит. Состояние сердца его вам конечно известно, обезьянъя же нагрузка обошлась ему слишком дорого.

ВЕРА. С вашей легкой руки. Вы что, пришли сожалеть об этом?

БАЖАНОВ. Нет. Я пришел, чтобы потом не пришлось пожалеть всем нам. Я слышал, операция будет в ближайшие дни.

ВЕРА. Возможно.

БАЖАНОВ. Вот это необходимо отложить. Дать сердцу самый серьезный отдых.

ВЕРА. Ничего, отдохнем после.

БАЖАНОВ. После будет поздно. Сердце может не выдержать удара.

ВЕРА. Какого?

БАЖАНОВ. Двойного. Даже тройного. Провала эксперимента, лишения сына и той немезиды, которая обрушится на него в лице всех вычищенных конюхом Холодовым.

ВЕРА. Ах, вот что! Значит, отменить?

БАЖАНОВ. Я сказал — отложить. Эксперимент же необходим не для исцеления сына, который все равно погибнет, а для исцеления отца. Для торжества научной истины. Ей ошибки и провалы больших людей так же нужны, как их удача.

ВЕРА. Словом, его заблуждение нужно для доказательства от противного вашей истины.

БАЖАНОВ. Истина едина. Иван — ее знамя, и за это знамя я борюсь.

ВЕРА. Хорошие слова, но ведь и факты у нас как будто не дают вам основания сворачивать это знамя.

БАЖАНОВ. Полное основание. Вы считаете, что, переходя от обезьяны к человеку, переступаете через порожек, а между тем тут — замаскированная псевдонаучным хламом огромная, бездонная пропасть.

ВЕРА. Спасибо, что предупредили. Травили, травили да вдруг о здоровье вспомнили.

БАЖАНОВ. Я всегда помнил. А вам напоминаю.

ВЕРА. Напрасно беспокоились.

БАЖАНОВ. Я много дал бы, чтобы не беспокоиться.

ВЕРА. Да подите вы! Покупатели! *(Идет в детскую.)*

БАЖАНОВ. Будьте здоровы.

ВЕРА. Будем, не убивайтесь. И операция будет и на гибель вам удастся. *(Уходит. Входит Розов.)*

БАЖАНОВ. Я не хотел ссоры.

РОЗОВ. Но вы напрасно панику сеете.

БАЖАНОВ. Я говорю правду.

РОЗОВ. Но такую же правду вы говорили и перед опытом с обезьяной.

БАЖАНОВ. И я оказался прав.

РОЗОВ. Только относительно первого опыта.

БАЖАНОВ. Я и здесь говорю о первом опыте.

РОЗОВ. Значит, последующие будут удачны?

БАЖАНОВ. Последующих не будет, ибо не станет профессора Соболева.

РОЗОВ. А если все же они будут?

БАЖАНОВ. Будет катастрофа,

РОЗОВ. А вдруг — триумф?

БАЖАНОВ. Вдруг в науке ничего не происходит.

РОЗОВ. Я именно такое мнение считаю ненаучным.

БАЖАНОВ. Это ваше мнение.

РОЗОВ. Да, и мое мнение: триумф может быть.

БАЖАНОВ. Вот это именно и есть не научный подход, а политический наскок.

РОЗОВ. Да, политический. Опыт Соболева не удастся не потому, что не может, а потому, что не должен.

БАЖАНОВ. Ну, это одно и то же. Раз не может, значит, не должен. И наоборот. Играете словами.

РОЗОВ. Головами, головами играем, Петр Семенович, а не словами.

БАЖАНОВ. Я, Валериан Михайлович, ни в какой игре не участвую.

РОЗОВ. Так вас разыгрывают, помимо вашего желания, ибо вы, стоя на страже истины, не идете единым истинным путем.

БАЖАНОВ. Какой же это единый да еще истинный?

РОЗОВ. Единый, ибо другого нет, а истинный, ибо ложный.

БАЖАНОВ. Простите, я каламбуров и софизмов не понимаю.

РОЗОВ. Нет, это — чистая философия практического разума. Вы ее не понимаете, значит, не понимаете сущности наших дней. Каждая эпоха имеет свой основной двигательный нерв.

БАЖАНОВ. Нерв нашей эпохи?

РОЗОВ. Ложь. Это — альфа и омега всему. Это — единый парус нашего волшебного корабля. Если не хотите утонуть, прыгайте в него и храбро мчитесь по волнам. Люди с беспримерным в истории искусством научились лгать себе.

БАЖАНОВ. Это искусство всегда высоко стояло.

РОЗОВ. Да, лгать другим. Но лгать самому себе, лгать массово, с неслышанной организованностью, такого искусства еще не знала история.

БАЖАНОВ. Я себе не лгу.

РОЗОВ. К вашему сведению, тоже и я.

БАЖАНОВ. Странное у вас «я», Валериан Михайлович. Двудикое, извините.

РОЗОВ. Нет. Но ваше «я» на палубе на карачках и скоро вылетит за борт. Мое же плывет по-темному, то есть в трюме. Тут, на палубе, я ваш, товарищи, действительный член и ударник, а там, в трюме, — мое святое святых. Там я лицом к лицу со своей правдой. «Отречемся от старого мира!» Как только я это услышал, моментально отрекся, отряс прах семидесяти тысяч годового дохода и прыгнул в новый мир. Из старого мира частной и необязательной лжи прыгнул в новый мир лжи всеобщей и обязательной.

БАЖАНОВ. Что ж, прыгайте, а я вот не могу.

РОЗОВ. Вас раздавят. Вас вычистит этот конюх.

БАЖАНОВ. Такова история.

РОЗОВ. Вздор. В старом мире мы плелись вдоль по истории, здесь надо наперерез ей. А на обезьяне обскакать себя не позволим.

БАЖАНОВ. Оригинальный вы историк.

РОЗОВ. Диалектика. (Смеется.) Мой незабвенный учитель Энгельс сказал: в мире нет ничего раз навсегда установленного и безусловно святого. На всем для диалектика печать неизбежного па-

дения. Я так воспринимаю этот мир и в меру сил помогаю ему.

БАЖАНОВ. Но вы помогаете строить канал. Да как! Не побоялись стать в оппозицию к сильным мира.

РОЗОВ. Я становлюсь в оппозицию на закрепленной позиции.

БАЖАНОВ. Но зачем же вы так беззаветно помогаете им строить?

РОЗОВ. Прикажете вредить? То есть разыграть козла отпущения за их грехи? Прорывы на их стройке латать собственной шкурой? А стройка все равно будет выполнена. Нет, по каналу мы подплывем к более важным позициям — к советской науке.

БАЖАНОВ. Такой науки нет.

РОЗОВ. Такой науки нет. Есть приложение чистой науки к их мутному делу. По Пастеру, которым мне здесь сейчас нос утерли. Эти боржомцы — пока плохие ученые, но уже очень образованные разбойники. Разбойные дела свои рекламируют открытиями взятых в заложники мировых ученых.

БАЖАНОВ. Простите, каковы же ваши намерения по отношению к этим ученым?

РОЗОВ. Освободить их. Показать, что прав Бажанов, не Соболев.

БАЖАНОВ. Но вы ведь убеждены в обратном.

РОЗОВ. Диалектика, Петр Семенович, извините за откровенность.

БАЖАНОВ. Вы меня тоже извините. Но я вас, Валериан Михайлович, предупреждаю: если вы Соболеву причините неприятность, вам тоже будет неприятность. Я — ученый не советский, но человек не бесчестный.

РОЗОВ. Вот как? А действия с обезьяной?

БАЖАНОВ. Я действовал открыто, без вашей «диалектики».

РОЗОВ. Ну, не беспокойтесь. Я совсем не буду действовать.

БАЖАНОВ. Смотрите, Валериан Михайлович, не шутите. (Уходит. Входит Скрипка.)

СКРИПКА. Волнуете старика?

РОЗОВ. А вы... разве слышали?

СКРИПКА. Я? Нет, кажется.

РОЗОВ. Отрицает вас.

СКРИПКА. Но вы утвердили?

РОЗОВ. Я утверждаю.

СКРИПКА. С какой позиции? (*Молча смотрят друг на друга.*) Приходилось ли читать, какое недоразумение вышло с Помпейей?

РОЗОВ. То-есть?

СКРИПКА. Десятилетия раскапывали Помпею, а оказался Геркуланум. Истинно-ложный путь. (*Смеется. Розов пытается сделать то же. Скрипка уходит.*)

РОЗОВ (*бледный*). А! Посмотрим, милые, кто тут на вулкане! (*Входит Елизавета.*)

ЕЛИЗАВЕТА. Здравствуйте, Валериан Михайлович. Простите, я не знала, что вы уже здесь. Уходите? Значит, уже выдали Колю?

РОЗОВ. Да, мельком.

ЕЛИЗАВЕТА. Почему же мельком?

РОЗОВ. Здесь посторонние уж нежелательны.

ЕЛИЗАВЕТА. Кто это сказал?

РОЗОВ. Это безразлично, но сказано правильно.

ЕЛИЗАВЕТА. Но вы все же осматрели? Правда, он выглядит уже лучше? Как вы находите?

РОЗОВ. Позвольте, Елизавета Павловна, вас спросить: вы зачем меня спрашиваете?

ЕЛИЗАВЕТА. Как зачем? Вы всегда лечили Колю.

РОЗОВ. Но речь уже не о лечении. Об исцелении, о воскресении, в которое нам всем остается только верить.

ЕЛИЗАВЕТА. Я и верю.

РОЗОВ. Вера спасает. Желая от души и вам спасения.

ЕЛИЗАВЕТА. Вы так говорите, словно сами не верите. Не Бажанов же вы.

РОЗОВ. Дело не в вере или неверии, а в состоянии здоровья Коли.

ЕЛИЗАВЕТА. Что же... что?

РОЗОВ. В его состоянии необходим покой.

ЕЛИЗАВЕТА. Значит... операцию нельзя?..

РОЗОВ. Не знаю, Елизавета Павловна, по совести говоря. Готовится ведь не операция, хотя бы даже самая смелая... А кое-что более... рискованное — дерзкий опыт.

ЕЛИЗАВЕТА. Но ведь Иван Федорович знает, что делает.

РОЗОВ. Полагаю. Иван Федорович — большой, может быть, великий экспериментатор, но не врач.

ЕЛИЗАВЕТА. Но он — отец... Не станет же рисковать жизнью единственного ребенка!

РОЗОВ. Да, но он-то при ребенке не один.

ЕЛИЗАВЕТА. Значит... нельзя?..

РОЗОВ. Не знаю. Не мое дело. Будьте здоровы. (*Идет к выходу.*)

ЕЛИЗАВЕТА. Валериан Михайлович, да что же вы со мной делаете?

РОЗОВ. Елизавета Павловна, дорогая моя, успокойтесь!

ЕЛИЗАВЕТА. Да как же я могу успокоиться?

РОЗОВ. Очень просто. Верьте, как верили, в Ивана Федоровича!

ЕЛИЗАВЕТА. Но ведь я теперь боюсь. Я ведь — мать!..

РОЗОВ. Отлично. Поступайте, как подсказывает вам сердце матери.

ЕЛИЗАВЕТА. Сердце матери... сердце матери... Если его разорвали.

РОЗОВ. Вот что, Елизавета Павловна, я вас умоляю об одном: забудьте мои слова.

ЕЛИЗАВЕТА. Да что же мне? Голову разбить?

РОЗОВ. Во всяком случае прошу вас: никому об этом ни слова, погому что я как врач не должен был говорить вам это.

ЕЛИЗАВЕТА. Хорошо, но вы скажите мне как друг.

РОЗОВ. Как друг? В Москве профессор Иванов раньше Ивана Федоровича работает над этой болезнью и принимает пациентов как таковых, а не как материал для решения всечеловеческих проблем.

ЕЛИЗАВЕТА. Так что же вы советуете?

РОЗОВ. Советовать ничего не могу. А что знаю, считаю долгом сообщить вам. Но опять-таки между нами. Успокойтесь и будьте здоровы. (*Уходит.*)

ЕЛИЗАВЕТА (*в дверях детской*). Коленька!.. Родная моя деточка!.. (*Входит Вера. Некоторое время молча смотрят друг на друга.*)

ВЕРА. Я вас очень прошу не беспокоить мальчика.

ЕЛИЗАВЕТА. Я — мать, мне его покой ближе, чем вам.

ВЕРА. Вам ближе, а нам нужней.

ЕЛИЗАВЕТА. Мне нужней, чем вам, его жизнь.

ВЕРА. Так вот поэтому и не мешайте. *(Закрывает дверь детской.)*

ЕЛИЗАВЕТА. Вот поэтому я вам и не дам его.

ВЕРА. Как... не дадите?

ЕЛИЗАВЕТА. Не позволю делать операцию.

ВЕРА. Что за вздор!

ЕЛИЗАВЕТА. Сейчас же беру его и уезжаю.

ВЕРА. Вы с ума сошли!

ЕЛИЗАВЕТА. Уезжаю, можете радоваться и жить здесь спокойно, не поменяю.

ВЕРА. Уезжайте, но не мешайте нам работать.

ЕЛИЗАВЕТА. Да? Отдать вам и сына, и мужа?!

ВЕРА. После операции возьмете обоих.

ЕЛИЗАВЕТА. Чтоб похоронить? Вам ведь мальчик нужен на роль той обезьяны.

ВЕРА. Да вы что же это?.. Два года тому назад я на этом самом месте чуть ли не на колени умоляла вас не уходить. А теперь... вон отсюда!

ЕЛИЗАВЕТА. Дайте сюда Колю... *(Бросается к двери; Вера заслонила дверь.)* Пустите!

ВЕРА. Тише! Не смейте беспокоить ребенка!

ЕЛИЗАВЕТА. Дайте его сюда.

ВЕРА. Да что же это?! *(Входит Домна с водой в чашке.)*

ДОМНА *(Вере)*. Сердца у тебя нету, окаянная твоя душа! *(Елизавете.)* Успокойся, успокойся, горлинка, выпей святой водички. Отойди от них, проклятых безбожников! Господь от них давно отступился, а тебе невидимо поможет, матушка-страдалица! *(Елизавета пьет воду, плачет.)*

ВЕРА *(бросилась в лабораторию)*. Иван Федорович! *(Входит Соболев.)*

СОБОЛЕВ. Что случилось? Что?

ВЕРА. Хочет увезти Колю!

СОБОЛЕВ. Куда?

ЕЛИЗАВЕТА. Не позволю делать опыта!

СОБОЛЕВ. Как?! Что с тобой?

ЕЛИЗАВЕТА. Здесь ему смерть!

СОБОЛЕВ. Откуда ты взяла?

ЕЛИЗАВЕТА. Я — мать, чувствую.

СОБОЛЕВ. А я — отец, знаю. Все будет прекрасно. Ну, и конечно. Ступай, ступай.

ЕЛИЗАВЕТА. Не дам...

СОБОЛЕВ. Да ты что же это?

Опять... кто тут тебе нашептывает?

ЕЛИЗАВЕТА. Никто... не могу... Ребенка моего убьете, меня выгоните... *(Плачет.)*

СОБОЛЕВ *(мягко)*. Ну, довольно, Лиза. Ребенок наш. Один из древнейших предрассудков, будто дитя ближе матери, чем отцу. Ну, и конечно. Пойдем, пойдем, голубка. *(Ласково уводит ее. Вера смотрит им вслед. Домна подносит ей молча воды.)*

ВЕРА. Ты что за мной ходишь?! Знаю я тебя, знаю с детства, насквозь вижу. *(Уходя в детскую.)* Колюша, родной мой... Нет, нет успокойся!.. Я здесь...

ДОМНА *(вслед ей)*. Ах, Верочка, я-то тебя знаю раньше, чем ты меня, и вижу лучше. Спеленали тебя, да никто, кроме родимой, не распеленает! *(Дверь в лабораторию закрывается. На сцене момент темноты, потом постепенно светлеет. Из двери выходят Елизавета, потом Домна.)*

ЕЛИЗАВЕТА. Господи, научи, господи, помоги...

ДОМНА. Тут, сердечная моя, бога нету. Тут все против бога. Из неповинного деточки антихриста делают.

ЕЛИЗАВЕТА. О чем это вы?

ДОМНА. Умертвить и воскресить, как обезьянку. Человек, мол, от обезьяны, а бога нету!

ЕЛИЗАВЕТА. Зачем вы так говорите?

ДОМНА. Не я, ученые — Бажанов, Розанов. Негодуют.

ЕЛИЗАВЕТА. Но ваша дочь тоже ученая.

ДОМНА. Советская ученость: против бога и людей — себе на погибель. В городе народ кругом волнуется и роп-

щет... Бажанов нынче на коленях ее умоляет: прекратите эту катастрофу. Сына зарежете, отца в гроб вгоните.

ЕЛИЗАВЕТА. Вы... правду говорите?

ДОМНА. Разрази господь!.. Профессор Розов не даст сбрехать. Это, говорит, вам не обезьянка, и ты вы, перенькую, зарезали. А в православном народе какое возмущение! Безбожники доклады да плакаты готовят, по улицам ходить собираются. А господь-то и не допустит.

ЕЛИЗАВЕТА. Как... не допустит?

ДОМНА. Это уж — божья воля. Пути его нам неведомы. В писании сказано: «Да будет дом их пуст».

ЕЛИЗАВЕТА. Так зачем же вы в этом доме живете?

ДОМНА. Ухожу, родимая, замаливать грех за дите свое, что отдала им, польстившись. Молись и ты за свое.

ЕЛИЗАВЕТА. Я не дам...

ДОМНА. Отдала уж. Теперь из лап не вырвешь. Вцепилась, как черти.

ЕЛИЗАВЕТА. Бабушка, пожалуйста, ста, помощи.

ДОМНА. В чем, дитятко?

ЕЛИЗАВЕТА. Я сейчас возьму отсюда Колю... Помогите.

ДОМНА. Не я, господь поможет.

ЕЛИЗАВЕТА. Сейчас...

ДОМНА. Сейчас и надо, пока не налетели. *(Заглянула в детскую.)* Спит, ангельчик. Силыч, гляди, никого нет?

ШЕРСТЕВ. Что? Опять не в свою горбиту лезете? Не касайтесь вы, Домна Демьяновна, до науки.

ДОМНА. Цыц, ученый дурак! Извозчика скорей! Ну?! *(Шерстев уходит. Домна и Елизавета идут в детскую. Где-то стукнула дверь. Домна тревожно выглядывает, но снова тихо, она вернулась в детскую; через минуту обе показываются в дверях с сонным мальчиком.)*

Занавес.

Картина седьмая

Та же обстановка. В комнате Холодов и Бажанов.

БАЖАНОВ. За два дня она успела уехать далеко. Очень хорошо. Предот-

вращена катастрофа, и разрушены не только ваши планы, но и умыслы ваших врагов.

ХОЛОДОВ. Это какие же?

БАЖАНОВ *(спохватившись)*. Нет... это неважно...

ХОЛОДОВ. Важно, но вы не смущайтесь. Умыслы уже разрушены.

БАЖАНОВ. Теперь жизнь успокоится.

ХОЛОДОВ. Не успокойте, Петр Семенович, бессмертия хотим, за это бьемся.

БАЖАНОВ. Да, у меня, товарищ ректор, такое впечатление, словно вы именно за этим сюда приехали.

ХОЛОДОВ. За этим здесь остался. *(Входит Чечирова.)* Человеку неприятно умирать! Как, товарищ Чечирова? Или это — перегиб?

ЧЕЧИРОВА. Несколько, линия генеральная.

ХОЛОДОВ. Ну, спасибо.

БАЖАНОВ *(уходя)*. Жалкая линия насилия над природой, и природа в лице этой бедной матери уклонилась от насилия. Урок! *(Входит Скрипка.)*

СКРИПКА. В городе ее нет, ясно: за два дня обследованы все углы.

ЧЕЧИРОВА. Куда же она могла уехать?

СКРИПКА. Это уж безразлично: очевидно не вернется. Любопытней — с кем она отсюда выехала?

ЧЕЧИРОВА. Сама его не могла вынести.

СКРИПКА. Дура Никитина клянется, что не она.

ЧЕЧИРОВА. Клянется? Ну, она!

СКРИПКА. Нет, здесь некто поумней разыграл. На испуг взял.

ЧЕЧИРОВА. Для испуга довольно у ней собственной глупости. *(Входит Вера.)*

ВЕРА. Где же мать?

СКРИПКА. С ребенком конечно.

ВЕРА. Моя, моя мать.

ЧЕЧИРОВА. Повидимому, в церковь ушла. *(Вера выносит из комнаты Домны ее корзину, узел. Уходит в комнаты. Входит Соболев. Увидел узлы.)*

СОБОЛЕВ. Что? Вернулась?

ЧЕЧИРОВА. Нет, это не она.

СОБОЛЕВ. Не она? А вы куда некоторые, говорит, допрежь хотели своими среднеазиатскими глазами смотрели? (Скрипке.) Вы! Обезьян крадете, а у самого больных из операционной выкрадывают!

СКРИПКА. Не подозревал.

СОБОЛЕВ. А что с операцией медлить нельзя, тоже не подозревали? (Увидая Холодова.) Вы! Вы! Власть! Когда вам нужно, ваше око видит, как под землей трава растет, как под миллионами черепов мысли растут. Когда перед ним мечется мать с умирающим ребенком, око слепло!

ХОЛОДОВ. Найдем, Иван Федорович. Второй ведь день.

СОБОЛЕВ. Два дня... Два века... Я вижу, что вы не имели детей! (Уходит в лабораторию, все за ним. Дверь ее закрыта. Входит Домна. Осматривает свои вещи. Из ее комнаты выходит Вера.)

ДОМНА. Это ты, Верочка, вынесла?

ВЕРА. Я, мамочка.

ДОМНА. Гонишь?

ВЕРА. Гоню.

ДОМНА. А я — ми сном, ни духом.

ВЕРА. Чтоб духу твоего не было.

ДОМНА. Ну, ничего, живи спокойно. А я теперь помру спокойно: вымолила тебе у господа бога.

ВЕРА. Уходи скорей. (Ушла. Домна связывает вещи. В передней Шерстев.)

ШЕРСТЕВ. Опять выгоняет? Ну дочечка! Будь бы вы в старческом слабоумии или без движения внешних конечностей и, как бывает, под себя параллельно ходили, а то старушка в полном же своем соку. Значит, при болезни воды не подает и подвергнет мукам святого Танталю.

ДОМНА. Брось скулить, пес.

ШЕРСТЕВ. Хотя конечно, что выгнать вас давно пора.

ДОМНА. Теперь может: божье дело устроила.

ШЕРСТЕВ. Что божье, а что дочкино, — за одно пошло. Был такой ученый — Галилей...

ДОМНА. Землю, что ли, перевернул?

ШЕРСТЕВ. Совсем напротив. Этого хотели было заставить, чтоб земля вертелась. Он же собрал всех в храм божий, стал на колени: братие, говорит,

вернуть землю, так это только жульничество и обман всеобщего зрения, а я вам без жульничества перед престолом заявляю, что она теперь уже сама вертится. Жертвуйте, говорит, по усердию... (Входит Вера.)

ВЕРА. Ты еще здесь? Я что сказала? Вон!

ДОМНА. Трах-тара-рах! Полегче, милая! Уйду. Делать мне тут больше нечего. Аминь! Ныне отпускаеши рабу твою, владыко. (Уходит.)

ВЕРА. Ты здесь стоял. За дверь отвечаешь.

ШЕРСТЕВ. Токмо перед богом единым отвечу. Сорок лет науку охранял, а это — не наука, но десятая египетская казнь с избиением первенцев.

ВЕРА. Вот ты какой?! Вон!

ШЕРСТЕВ. Не вам служу... Но между прочим давно жажду свободы.

ВЕРА. Вон, болван, сию минуту!

ШЕРСТЕВ. Не кипи, скипа из шестой казни: «Вскипе вода их скипами и жабами».

ВЕРА (подходя к нему). Ну?

ШЕРСТЕВ (направляясь к порогу). «Егда же изгонят, вы отрясите прах от ног ваших». (У порога «отрясает прах», поочередно трясая ногами.) Был еще один такой же ученый... (Вера хлопнула за ним дверь. Скрипка с Колей на руках быстро проходит в детскую. Следом Соболев, Елизавета и Холодов.)

ВЕРА. Коленька! (Бросилась в детскую.)

ЕЛИЗАВЕТА. Ему стало очень плохо, как только сели в вагон.

СОБОЛЕВ. Стало очень плохо, как только ты испугалась. Зачем, жена Лота, оглянулась на долину смерти?

ЕЛИЗАВЕТА. Розов сказал: операция не удалась.

СОБОЛЕВ. А! Он опять, с палкой в колесо наперед забежал! Нет, ему не остановить. Операция сейчас будет. Все по местам, приготовить больного... Мать удалить... (Готовится операция.) У нее мысль никогда не могла побороть страха. Она всегда боялась любить. Испугалась моей большой любви к ребенку, ибо любовь — творческая мысль.

СКРИПКА. Она смерти испугалась.

СОБОЛЕВ. Оттого, что она боится жизни. Так!.. Центрофугу!.. Вот!.. Катится солнце правды, делает мировая центрофуга тысячи оборотов в секунду, и тысячи вольт напряжения разума поймать ее в той точке, где моего крика «стой!» она послушается и даст схватить и вырвать золотой луч, — постигли! Лети дальше! *(Смотрит раствор, повернувшись к свету спиной.)* Почему не прозрачен? *(Скрипка поворачивает его лицом к свету.)* А! Она молча, молча к нему крадется. Для последнего прыжка. Но я тоже! Мы друг друга не замечаем. Кто кого предупредит! Кто?!

ВЕРА *(в дверях детской)*. Коле плохо.

СОБОЛЕВ. Знаю. *(Кричит.)* Знаю! Все узнаем! Игнорабимус? Скрипка, что значит?

СКРИПКА. «Никогда не узнаем».

СОБОЛЕВ. Кто это врёт?

СКРИПКА. Старичок такой, Раймонд Дюбуа.

СОБОЛЕВ. Помню, Раймонд — Бажанов. Бажанов звал обедать. Говорит, я болен. Будет отпаивать меня живыми источниками народной веры. Операция начинается.

(Соболев и другие идут в детскую. Дверь закрывается; на сцене минутная темнота. ГОЛОС СОБОЛЕВА. Вливание... кислород... Свет. Дверь в операционную открыта. На сцене: Холодов, Бажанов, Розов, потом Вера.)

РОЗОВ. Я обмолвился лишь словом предупреждения.

ВЕРА. Лжете. Вы предупредили делом! Еще три дня тому назад операция наверное бы удалась.

РОЗОВ. Это утешение остается вам, но не матери.

ВЕРА. Вы... вы знаете, что все равно не было надежды?..

РОЗОВ. Так и надо было говорить: чем рискуем, когда рисковать было нечем? Вы правы.

ВЕРА. А вы... негодяй!

РОЗОВ. Это — тоже утешение. Отблагодарили.

ХОЛОДОВ. Благодарность вас, профессор Розов, еще ждет...

РОЗОВ. Но знаете ли, товарищ ректор...

ХОЛОДОВ. Все знаю, профессор, будьте добры оставить нас!

(ГОЛОС СОБОЛЕВА. Ну! Розов, пожимая плечами, уходит. Холодов и Вера одни.)

ХОЛОДОВ. Неудача... от них?

ВЕРА. Нет.

ХОЛОДОВ. Значит... Бажанов прав?

ВЕРА. О, нет. Неясна была степень реакции человеческого организма.

ХОЛОДОВ. А теперь?

ВЕРА. Установили.

ХОЛОДОВ. Значит, на следующем?

ВЕРА. Удастся. *(Ушла в детскую. Входит Соболев. К нему подходит Бажанов.)*

ХОЛОДОВ. Профессор Бажанов, вас тоже прошу уйти.

СОБОЛЕВ. Зачем? Зачем вы их гоните с их праздника?! Праздник стабилизированной мысли. Правда, мысли солгавшей. Но подлинную правду мы с Колей нашли! Смерть вырвала у нас Колю, а мы у нее — жало.

БАЖАНОВ. Иван!.. Дай руку.

СОБОЛЕВ. Да-да! Поздравь. И. . уходи. Ваше дело кончилось. Мое начинается... Вон! *(В дверях операционной.)* Ну, что ж? Прощай, Коля, спасибо... Спасибо... Тебе это скажут миллионы и миллионы... А нас прости. извини... идвини... он так говорил — «идвини»... «Дебря, говорит, вышла из зебррей». То-есть зебра из дебрей. «Ткарей треляй!..» Частенько с ним тут по Южной Африке охотились... *(Вера с плачем выходит из детской; за ней в дверях безмолвная фигура Елизаветы. Соболев, беря Веру за руку.)* Довольно, к делу. Мать оставь со скорбью. Оставь со смертью мертвых. У нас ведь радость! Постигли!.. *(Сел. Вера подала ему воду.)* Какой утомительный день!

Занавес.

Горы

Роман

В. ЗАЗУБРИН

(Продолжение ¹)

Анна гладила Безуглого по голове, говорила:
— Поедешь мимо пасеки, вспомнишь. Я каждый раз, как бываю, все вспоминаю.

Она прижалась к нему.

— Бывало, рассказываешь ты мне, ровно ведешь меня на высокую, высокую гору, и вся земля мне с нее — вот она на ладонке подана.

Безуглый поцеловал Анну, ласково отстранил. Он снял со стены винтовку, подошел с ней к окну, вынул затвор. Стальные спирали нарезов заблестели на солнце. Безуглый не нашел ни одного пятнышка ржавчины. Он почувствовал упругий прилив крови в руках, когда представил себе, как его пуля свистнет над безмолвием каменных россыпей и повалит тяжелого зверя.

К окну верхом под'ехал Мартемьян. В поводу он вел оседланную лошадь. Безуглый подтянул ремни у сапог, надел патронташ. Анна вынесла большую корзину шанег и калачей, сунула в сумины мешок с сухарями. Никита подал отцу плетъ.

— Возьми, сгодится, поди, конишку понужать. Сам изладил, бичик-то добрый.

Безуглый схватил сына подмышки, поднял его несколько раз над головой.

— Хозяин ты мой, заботливый.

Никита поправил смятую отцом рубашку.

— Мидвиденка мне привези.

Безуглый поцеловал его в лоб.

— Двух, сынок, привезу.

Мартемьян передал Безуглому повод.

— Тятя с Нефед Никифоровичем ждут вас у поскотины.

Безуглый неловко сел в седло. Он подумал, что ехать с Андроном на охоту накануне хлебозаготовок неудобно. Он рассеянно простился с Анной. На краю села только поднял голову и сам себя успокоил.

— Лучше Андрона никто не знает зверя. Лошадь для охоты в горах надо выносливую. В пахоту такую ни у кого, кроме него, не найдешь..

Безуглый махнул плетью, усмехнулся.

— Неужели я его на хлебозаготовках помилию?

Небольшую остановку сделали на Бадянной сопке. Помольцев поправил седло. Андрон взнуздal своего гнедого. Безуглый посмотрел вниз, на Белые Ключи. Село разлеглось на берегу Талицы. В Талицу около села впадали две реки — Погорелка и Банная. За поскотиной белели ключи — Крутой, Медвежий и Девичий. Долину обступали со всех сторон горы — Чупрачиха, Щебнюха, Воструха и Оградная. На вершине Оградной острые черные камни стояли плотным частоколом. Гора одним крутым боком нависла над Талицей.

¹) См «Новый мир», кн 6 с г

другим уперлась в Чупрачиху. Безуглый подумал, что кержачи недаром так ее назвали. Она, действительно, надежной опрадой отделяла их от всего мира.

На Погорелке у кержаков был бой с войсками Екатерины. Во время сражения деревня и лес на реке выгорели. С тех пор реку и стали звать Погорелкой. На ней загустели малинники и кипрей. В цветочных зарослях обособились пасеки. Безуглый увидел спичечные коробочки ульев и крыши игрушечных избенок.

Долина Банной была мокрая, в мочагах, в ключах. По ключам выгнулись высокие, крепкие изгороди. В них пались стада маралов.

На Талице работала водяная мельница. Около нее стояли подводы с зерном. За ней блестели новые крыши бараков. На работах звонили в рельсу. Стряпки сутились около котлов. Рабочие шли с реки. От бараков через село и Оградную гору новенькими вешками торчали телефонные столбы.

Андрон сказал Безуглому

— Англичане-арендатели, удумали Талицу на горы здымать. Тюрбину становить хочут.

Безуглый пробовал прочность патфеи и нагрудника.

— Где же рыбачить будете, Андрон Агатимыч, если они рыбе дорогу перегородят?

Андрон пренебрежительно шмыгнул носом.

— Захлебнутся, не дастся им река. Ране их, при царской власти, французшки тут хозяйствовали. Денег закопали большие тыщи, машин навезли, и все уплыло. Талица всю ихнюю хитрую механику в одночасье разбуравила.

Андрон засмеялся.

— Мусье главный бегае по берегу и ревет дурноматом: «Мюжики, мюжики, мюжики». Ну, мужики ково сделают, кова вода чертомелит — берега дрожат. Смеху было...

Охотники стали спускаться с сопки. Безуглый оглянулся и увидел в скиту за селом крышу звонницы с колоколами и крестом и длинный палец радиомачты над Белыми Ключами.

На северных склонах лошади шли по колено в мокром, скользком снегу, иногда проваливались по брюхо, опасливо всхрапывали, косились на седоков. Проталины на солнечных спусках цвели кандыком и подснежниками. Лошади топтали розовые и лиловые головки цветов. Деревья, подмытые водой и поваленные ветром, часто преграждали дорогу. Андрон с седла взмахивал топором, и сучья падали обрубленными лапами зверя.

Проехали полусгнившую охотничью избушку. Она косо вспучилась, осела набок большим, старым грибом. Андрон махнул в ее сторону.

— Ране здесь ясашные шибко соболя промышляли. Нонче зверь отшатился.

Помольцов дернул плечами.

— Многолюштво.

Андрон вздохнул.

— Отапываться стали места наши.

Светлые, теплые пальцы солнца шевелились в зеленых сучьях, пробегали по спинам всадников. Безуглый ехал с беспечностью кочевника. Он радовался всему, что видел. Если бы он был один, то наверное пел бы и скакал за солнцем. Солнце быстро уходило из долин на далекие вершины. Безуглый низко нагибался над седлом, тербил гриву коня и смеялся. Душистые ветки пихт хлестали его по лицу.

На закате они расседлали лошадей. Багровые палы пылали в долинах, как жертвенные костры предков. Безуглый думал, что могучие, волосатые охотники недавно покинули свое стойбище, и обильные огни еще не успели потухнуть около земляных жилищ. Они скоро вернутся, сгибаясь под тяжестью теплых кусков сладкого мяса. Может быть, и он пойдет с ними на охоту...

Земля задела за край солнца, загорелась. Облака повисли над ней большими ключьями дыма. От земли вспыхнул воздух и темные волосы лесов. Из скал вылились малиновые реки расплавленных металлов. Крутые лбы гор покрылись лиловыми морщинами ущелий. На горизонте бесшумно обрушивались и исчезали высокие хребты.

Безуглый почувствовал, что почва под ним колеблется, посмотрел себе под но-

ги. Андрон заметил его удивленные глаза, объяснил:

— Вода горы колыбает.

Они остановились недалеко от большого водопада. Шум его был ясно слышен. Тяжелые, стремительные струи сотрясали землю.

Безуглый проснулся среди ночи. Его спутники спали. Лошади лежали недалеко от огня. Земля погасла, почернела. В темноте остатками пожара тлели полосы палов. Кучи гор остывали, потрескивали. Несколько камней прощуршали по сухой траве вниз мимо Безугого. Холодный ветерок ударил ему в ухо и в щеку. Он отодвинулся, приподнялся на локте. Помольцев закашлялся.

— Федорыч, не спишь?

— Нет, а что?

Помольцев промолчал.

В темной тайге таял снег и с шорохом сползал небольшими оплывинами. Под ним звенели ручьи. Вода сочилась из камней, каплями стучала и булькала с круч. Переполненные каменные посуды текли через края. Вода расплескивалась по склонам, лилась из расщелин. В скалистых глубинах гремела Талица. Под ее волнами с ворчаньем катилась вторая река из камней. Горы истекали водой, снегом, льдом, камнями.

— Федорыч, я с тобой согласен, что попы безусловно для трудящегося народа есть религиозный опиум. Бога нет...

Помольцев глубоко вздохнул.

— Ну, а все-таки, куда вода девается?

Безуглый рассказал об извечном круговороте. Помольцев молча закрыл голову полой шубы.

Густые тучи задели за граненые вершины. Зашелестел редкий дождь. Туман осел до земли. Вода висела в воздухе мелкой пылью, падала крупными брызгами. Стало теплее. В мокрой парной темноте набухали корни деревьев и трав.

Безуглый лег на спину.

Поднялся ветер, изорвал в клочья облака. Охотник увидел большой звездопад. Метеоры падали из одного места, около созвездия Лиры, точно золотые ручьи растекались во все стороны с невидимой вершины.

Небо медленно бледнело.

На пихте около утеса завозился глухарь. Птица опустила крылья, веером подняла хвост, вытянула шею, призывно скрипнула клювом. В тайге запели серые дрозды, за ними проснулись черныш, зазвистели рябчики, зачуфыкали тетерева.

Помольцев чихнул. Андрон заскреб бороду. Безуглый набрал в ключе полные пригоршни холодной воды, плеснул себе в лицо, весело фыркнул.

Анчи Ермаков услышал пьяный запах горячей араки, проснулся. Трехногий котел над огнем очага пучил черное круглое брюхо. В нем ворчливо переливался чегень. Арака по деревянному желобу капала в узкогорлую высокую кадку Илабас — жена младшего сына — макала в кадку длинную тряпичную кисть, обсыпала ее с чмоканием и присвистом. Она пробовала крепость вина. Анчи молча протянул к ней руку. Она отвернулась, подала ему кисточку. Сноха не должна смотреть в глаза своему свекру. Анчи помял губами мокрые тряпицы, щелкнул языком. Арака была хороша.

Тойлонг — жена Анчи — стояла на коленях, растирала ручным жерновом зерна ячменя. С ее носа и щек падали крупные капли пота. Старшая сноха — Кысымай — крутила барабан зернодробилки. Старуха-бобылка — Иткоден — толкла в большой ступе просо. Все женщины работали полуголыми. Они спустили до пояса свои тяжелые овчины. Тела их были худы и смуглы.

Анчи набил трубку, закурил. С трубкой в зубах хорошо молчать и думать.

Он ждал гостей. Их сядет много. Он устраивает весеннее камлание Ульгеню. К нему должна приехать дочь Темирбаш и его старый друг Иван Безуглый. Анчи был единственным человеком, который показал отряду Безугого переход на Кобанду через ледяные хребты. Анчи о многом надо спросить настоящего городского коммуниста.

Анчи помнит рассказы стариков. В прежнее время на Алтае народа было мало. Алтайцы тогда здесь жили, русских не знали. Тайга лежала на горах,

как соболя шуба с горностаевым воротником. Так темны были ее чаши, так белы снега вершин. Горы поднимались, как полные груди матери. Из каменных сосцов бежали реки со вкусом молока. Пастбища в обширных долинах не могла перелететь сорока. Стада бродили, как звезды в небе, не знающие счета. В ту пору не было войн, и оружие служило потехой праздным. Анчи знает — обнищал отец Алтай. Шубу его дорогую русские изодрали. Остался от нее один белый воротник. Нагота его прикрыта черным сукном пожарищ. Были алтайцы хозяевами богатыми, стали батраками бедными. Золотом и серебром, стнятым у них, можно замостить весь Чуйский тракт, из слез их собрать вторую многоводную Катунь.

Анчи выколотил догоревшую трубку, вышел из юрты. Солнце остановило его у выхода. Анчи обеими руками закрыл глаза. Сквозь пальцы он видел, как на горах кипел и плавился снег. Он утирал рукавами слезы и тихо смеялся. Весна играла с ним, как с молодым.

Анчи пошел за стойбище. Около последних айлов на него с хохотом и визгом налетели несколько женщин. Серебро пело у них в косах и в ожерельях. Анчи едва успел посторониться. Женщины бежали от молодого кама Калтюбека. Он в страшной маске из бересты гнался за ними с метровым деревянным фаллом, выкрикивал:

Я играл с сорока девицами!
Я играл с сорока старухами!

Он прижимал фалл к низу живота, совал его в руки, в бока, в ноги женщинам. Женщины бросали каму сырчики, курут, ячменные лепешки и разбежались в притворном испуге.

Губы девиц — раскаленные щипцы!
Губы старух — засохшие тряпки!

Калтюбек заскакивал в юрты, обещал оплодотворение женщинам, кобылицам, коровам, овцам, козам. С ним вместе кричали и бегади все молодые мужчины. Солнце лило в их раскрытые глотки свою теплую золотую араку. Они, как пьяные, кидались от юрты к юрте.

Яростная весенняя молитва шумела над стойбищем, как ветер.

Анчи поднимался на гору, пел.

Алтай, разоренный русскими, добр попрежнему к своим детям—алтайцам. Он дает им кандык и чеснок из своих непаханных огородов. Он на тучных пастбищах кормит их белый скот. Он наливает их берестяные ведра молоком. Он наполняет котлы аракой.

— Кайран¹⁾ Алтай...

Анчи сел на камень. Справа от себя он увидел своих соседей — Ястакоба Ороева и Тохпу Тукешева. Они, как и он, сидели на камнях и пели. Может ли человек не петь весной? Анчи пел до заката.

В стойбище с'езжались всадники — гости. Молоко плескалось в подойниках женщин. Облака молоком лились в небо. Дым, как от костров, поднимался от трубок гостей.

Аилы алтайцев стояли в полугоре, дым рос над ними высокими, ширококорукими деревьями. Помольцев наклонился с седла, посмотрел вниз. Он сразу увидел юрты Енмековых. Охотники спустились к стойбищу, когда все мужчины с шаманом Мампыём уже уехали к жертвенникам. В юртах были только женщины и дети. Около аила Анчи стояла оседланная лошадь. Девушка-алтайка в синем халате снимала с седла тяжелые сумины. Безуглый быстро посмотрел на ее стриженую голову, соскочил с коня — Здравствуйте, товарищ Темирбаш. Давно из Кутву?

Девушка тоже узнала Безуголого, протянула ему руку.

— Я теперь работаю в Улале. Кутву кончила.

Около нее суетилась маленькая старая Тойлонг в высокой бараньей шапке, в праздничной голубой сатинетовой шубе и в бархатном черном чегелеке. На поясе у женщины рядом с крысалом и гребнем гремели большие ключи. Темирбаш положила ей на плечо руку

¹⁾ Непереводаемое слово, его смысл — милый и уходящий

— Товарищ Безуглый, посмотрите на мою маму.

Безуглый снял фуражку. Алтайка кивнула ему головой, но руки не подала. Темирбаш показала Безуглому ее ключи.

— Смотрите, какие мы богатые. Сколько у нас сундуков?..

Она быстро сосчитала.

— Целых пять.

Девушка громко засмеялась, подошла к айлу, откинула легкую дверцу из ливневичной коры. Безуглый увидел ломотья, залатанные мешки, закопченные котлы, треног и единственный ящик, некрашенный, старый, без замка.

К жертвенникам они поехали вместе. На переправе через небольшую речку Темирбаш задела своим стремнем стремя Безуглого, показала плетью на воду.

— Вот ключи к нашим богатствам.

Они звенят на поясе у хана Алтая.

Девушка хлестнула споткнувшуюся лошадь, натянула повод.

— Один алтаец-студент пишет мне из Ленинграда, что первым его проектом, когда он кончит вуз, будет проект алтайской гидроэлектростанции.

Безуглый обернулся к своей спутнице.

— Езуй Тантабаров?

Щеки у Темирбаш стали краснее ее комсомольского значка.

— Откуда вы знаете? Вы с ним знакомы?

Безуглый отшутился.

— Я все знаю.



Береза — священное дерево. Она вся белая. На нее никогда не падает огонь молнии. Время ее цветения — весна.

Берез натыкали вокруг жертвенников. К березе привязали жертвенную лошадь. Березу с тремя вырубленными на ней ступенями и четырнадцатью зарубками вкопали перед открытым шалашом шамана.

Анчи и Мампый стояли на белой широкой кошме около костра. Анчи накаливал над огнем бубен. Он пробовал его колотушкой. Бубен звякал и глухо гудел. Мампый из кожаной бутылки наливал в деревянную чашу свежее молочное вино. Алтайцы жались плечом к плечу.

Сзади них валялись кучи седел. Табун стреноженных коней пасся в долине. Гостей было много.

Охотники и Темирбаш сели в стороне. Несколько голов обернулись на них. Эргемей и Эрельдей — сыновья Анчи — молча поклонились Помольцеву. Гости поочередно подходили к шаману с полными бутылками в руках. Шаман араку каждого наливал в чашу, веткой вереска сплескивал ее на огонь и в стороны — Трехвершинной головы Катуня, Золотого Озера и Горы с Изгородью. Мампый был в белом длинном халате с красными нарукавниками, в белой берестяной высокой шапке с красными лентами и в красных мягких броднях. Красные ленты у него спускались до земли и с шапки, и с плеч. На ветру он весь стряслся огнем. Огонь лент бегал и в гриве белой кобылицы, и на веревке, протянутой по березам вокруг жертвенников.

Шаман высоко поднял бубен. Над головами алтайцев лопнуло небо. Голубые стекляшки со звоном посыпались на горы. Люди втянули шеи в плечи. Шаман успокоил их ласковой песней.

На белом море с золотыми песами
белые пены плывут

На синем море с серебряными песами
синие пены льются

Мампый собирался за моря и горы. Он звал оттуда с золотых и серебряных плесов козыина своего бубна — серого гуся с черными крыльями. Мампый медленно, как на волнах, покачивался из стороны в сторону. Он плыл к далекому жилищу Ульгения.

Чистый Алтай, земля вода,
будет ли вечным пламенным очаг в небе?

Темирбаш переводила Безуглому выкрики шамана.

Обширный Алтай с горбами верблюдов
и гривами коней,
положенный огонь будет ли жарким?
Будет ли с нагаром огонь, как толокно?
Зажженный огонь будет ли метать искры?
Даст ли род потомство?

Мампый бил в бубен. Подземные урчащие удары раздирали каменные утро-

бы гор. Горы качались. Над вершинами с шелестом и треском взметывались седые столбы снежной пыли. Лавины и каменные осыпи обрывались вниз тяжелыми скоплениями лавы.

Хранитель шести слег юрты,
стерегуший грозное огнище мое,
малых детей охраняющий,
скот и птицу охраняющий.

Мампый кружился, скакал. Горы гремели у него под ногами, как море. Соленая пена залепляла ему рот, падала на грудь. Он задыхался, косил глаза.

Создатель широкой красоты,
Алтай в красоте создавший,
ты перекатываешь солнце и луну,
ты все измерил ложкой и совком

Шаман поджимал ноги, прыгал. Он шел раскаленными песками красной пустыни. Сразу за ней ему преградила дорогу огромная ледяная гора. Мампый скакнул на первую ступеньку березы, закричал:

— Поднимаюсь!

Анчи, Эргемей, Эрельдей и их гости махали руками, подражая движению птичьих крыльев, повторяли:

— Поднимаемся! Поднимаемся!

Безуглаый закрыл рукою рот. Алтайцы показали ему ребятишками, затеявшими большую игру у огня. Он тронул плечо Темирбаш. Она не оглянулась.

Широкие трещины рвали гору. Шаман нагибался и зашивал их крупными стежками. Он кричал вороном, куковал кукушкой, выл волком, ворчал медведем. От него шел острый запах. Его круглое, красное лицо было иссечено темными полосами пота. Мампый метался в тысячетней тоске земных тварей по крыльям. В его песнях жила древняя и гордая мечта человека о захвате вселенной. Он бормотал:

Смотря глазами сквозь гору,
сквозь землю проникая думой.

За огненным кругом костра начинались сумерки изначального хаоса. Люди-дети беспечно пели свои дерзкие песни на самом краю мира. Они утверждали, что вселенная — только пастбище их коней, звезды — колья золотой коновязи.

Ведь жертвенная кобыла была привязана не к березе, а к Полярной Звезде.

На скользкой ледяной вершине холодные ветры крутили халат шамана. Он бежал мелкими, осторожными шажками. Под ногами у него хрустели кости — птичьи, звериные, человечьи. Тысячи тысяч тварей погибли на последнем перевале. Мампый миновал его, положил бубен.

Эрельдей подошел к шаману с чашей молока первого весеннего удоя. Эргемей зажег пучок вереску, надел его на березовую палку. Шаман вылил молоко на лошадь, окурил ее. В сумерках белые бока животного багровели от огня, точно в них открывались большие кровавые раны. Лошадь тревожно ржала.

Пусть головы наши будут в покое!
Пусть лошади дышат спокойно!
Пусть не стираются наши мясные сердца!

Шаман скакал выше и выше. Его ноги доставили самую верхнюю, семнадцатую зарубку. Одно за одним раскрывались и захлопывались семнадцать железных прохочущих небес. Он проскочил их все. Он встал на березе перед золотыми воротами аила Ульгения. Алтайцы сидели с полураскрытыми ртами. Они сдерживали дыхание. Мампый тихо дунул в одну сторону, повернулся, подул в другую, в третью, в четвертую. Он вдувал жизнь в травы, в деревья, в скот, в людей, во все, что растет под солнцем. Из его бубна на алтайцев смотрели медные луговицы глаз бога.

Алтай даст ли успокаивающее решение,
к скоту моему прибавляя скот,
к головам нашим прибавляя головы?

Шаман просил изобилия молока, ячменя, удачи на охоте, благополучия стойбищам. На небе догорал медно-красный порог юрты Ульгения. Полная, низкая луна поднималась за плечами Мампья круглой желтой тенью бубна.

Мампый опять заколотил в бубен. Шерсть на коже его колотушки зажигалась и падала синими огнями. Он стоял высоко. Он сотрясал небо. С неба сыпались звезды.

Луна потускнела за маленьким облаком. Она стала похожа на медный глаз бога из бубна Мампый. Мампый, как потухшую луну, опустил бубен на белую кошму. Огненные ленты молниями ударили шамана и погасли. Шаман упал на землю, лицом вниз. Он спал. Алтайцы засыпали, отваливаясь на седла. Ломаные линии гор были отчеркнуты на небе густым углем.

Ранним рассветом шаман подошел к жертве. Эргемей и Эрельдей надели на ноги животного четыре длинных волосяных аркана. Несколько человек взялись за их концы. Мампый склонил голову. Безуглый услышал хруст костей и стоны раздираемой лошади. Алтайцы согнулись под тяжестью лямок, как бурлаки. Они тянули дружно в разные стороны. Лошадь оборвала узду, закинула голову на спину, захрипела. Ноги у нее разезжались, точно земля сразу стала скользкой. Трехлетняя кобылица бесильно билась большой белой мухой в крепкой паутине арканов. Шаман подскокил лохматым пауком и впился ей в морду. Она упала на брюхо. Сломанные ноги торчали из-под нее толстыми березовыми палками. Мампый отпустил руки. Жертве распорол грудь. Она дернулась, уронила изо рта большой, темный язык. Кровь вырвалась из нее, как пламя. Ободранная, растянутая, она была громадна. Она легла во весь Алтай у красного порога зари. Кожу ее повесили на березовую жердь, головой на восток. На нее кричали, ее погоняли. Она пошла через высокую голубую скалу, через скользкие черные камни, через великие пески к ведающему ее головой. Шаман в жертву горам разбрызгивал горячую кровь, раскидывал куски мяса. Алтайцы с криками хватили в воздухе невидимое счастье, бросали вверх девять чашек, чтобы никогда не иссякала в них пища.

Шаман сел на кошму. Алтайцы обступили его плотным черноголовым кругом. Он начал рассказ о своем полете на семнадцатое небо.

Худые времена настают. Скоро русские прогонят алтайцев с Алтая. Он видел много крови...

Безуглый, почти не глядя на бумагу, быстро записал:

«Мампый, шаман, очень авторитетен. Дискредитировать и устранить в первую очередь. Кампанию начать через газету из Улалы. Договориться с Темирбаш».

Андрон ткнул в бок Помольцева.

— Мотри, опеть пишет.

Он покачал головой.

— Чует мое сердце, оставит нас без углов этот Безуглый. Взгляд его мне не глянется. Он будто и на тебя глядит, и не гордится, а все свое думает, своя у его думка завсегда, ровно у зверя.

К Безуглому подошла Темирбаш. Она сразу заговорил с ней о Мампые. Глаза ее были пусты. Безуглый заметил.

— Я прошу ответить прямо, согласны вы со мной или нет?

Темирбаш с'ежилась.

— Товарищ Безуглый, я знаю, что шаман наш враг. Бороться с ним я буду.

Девушка робко снизу вверх посмотрела в глаза коммуниста.

— Не знаю почему, только мне иногда нравятся его песни и хочется самой взять бубен, петь, кричать.

Безуглый сдвинул брови.

Алтайцы сидели вокруг дымящихся котлов. Они держали в руках круглые деревянные чаши, полные хмельной арки. На губах и на щеках у них блестел жир.



Охотники остановились на опушке последнего леса. Головы лошадей были выше верхушек низкорослых кедров. У конских копыт лежала морщинистая равнина горной тундры. В ее складках и углублениях белел снег. На ней стались скрюченные бурые стволы карликовых берез.

Эрельдей быстро мелькнул с седла, нагнулся над длинной полосой снега. Андрон грузно опустился с ним рядом. Безуглый с лошади увидел глубокие следы зверей. Они шли двумя цепочками. Одна — на юг, другая — на восток. Безуглому стало трудно дышать. Он не мог отвести взгляда от пятипалых отпечатков на снегу. Он не в первый раз ви-

дел следы медведей. Они всегда волновали его своим сходством с человеческими. Босые предки пробрели тут в утомительных поисках пищи. Он скоро увидит их волосатые мускулистые спины.

Безуглый, Андрон и Помольцев пошли на юг. Эргемей и Эрельдей — на восток.

Алтайцы были уверены, что охота будет добычливой. У них на этот счет имелись очень веские основания. Во-первых, оба они — Эргемей и Эрельдей — в ночь перед выездом из айлов видели один и тот же хороший сон, — им кто-то подарил по шубе. Всякому охотнику известно, что шуба во сне — значит убитый медведь наяву. Во-вторых, Кудан, небороодый начальник, создавший ловушки и самострелы, получил белую овцу. Чаши, брошенные во время жертвоприношения с вопросом об успешности охоты, одна за другой упали дном вниз. В-третьих, сборы и выезд были проведены по нерушимым правилам предков. Дорогой они прошептали обращение к Алтаю:

В старину отцы наши ходили,
теперь мы, молодые, идем,
кружимся и потеем, неумелые парни
Из охотничьей сумы нам часть дай
Из твоей дичи нам хотя бы одну покажи..

На первом перевале около священного або сделали вид, что раскладывают жертвенный костер. Набрали сухой травы, суцьев, сложили все кучкой, но не зажгли. На або бросили по пуге вместо обычных пучков конских волос, ленточек или камешков. Разговаривали шопотом, на особом условном языке, чтобы звери не могли их услышать и понять. Ружье, называли зятем, пулю — подарком невесты, медведя величали прадедом и великим человеком. Наконец, в-четвертых, Эргемей и Эрельдей очень хорошо знали места медвежьих весенних гульбищ и были далеко не такими неопытными на охоте людьми, какими выставляли себя перед Алтаем.

Алтайцы ехали спокойно, развалившись в седлах.

Русские шли пешком медленно и молча. Андрон часто наклонялся, разглядывал смятую и поеденную зелень. На мху

и молодой траве следы были едва заметны. Безуглый задевал за камни, спотыкался, скользил на снегу и с робостью школьника смотрел на спутников. Он только тут заметил свои громоздкие горючие ноги. Полушубок на нем топорщился, расстегивался. Шапка лезла на потный лоб, на глаза. Нож ерзал по поясу и очень мешал. У винтовки слишком громко стучали антабки. Безуглый был хорошим охотником на равнине. В горах он учился ходить. Сердце качалось у него в груди, как тяжелый язык набатного колокола.

Алтайцы первого зверя увидели на кривой луговине. Он щипал траву с низкой опущенной головой. Он был совсем как безрогая и бесхвостая корова. Охотники сошли с лошадей. Эрельдей выгнал из кожаной сумы большой деревянный шар, утыканный длинными, острыми гвоздями с бородачками, как у рыболовных крючков. Эрельдей держал его на короткой веревке. Он блестел иглами, как ёж. Эргемей взвел курок своей шомпольной винтовки. Братя подползли к медведю. Эргемей поставил ружье на сошки, навел его на голову зверя. Эрельдей встал перед зверем с ножом и игольчатым шаром. Его отец, дед и прадед всегда стояли так же — широко и крепко расставив ноги. Зверь с силой потянул в себя воздух. Шерсть поднялась у него на шее и на спине. Эрельдей размахнулся и бросил ему колючий клубок. Он вскочил на дыбы, обеими лапами схватил железного ежа, накололся, заревел, цапнул колючки зубами. Колючки воткнулись ему в пальцы, в небо, в губы, в язык. Задиристые бородачки привязали лапу к лапе и обе их к морде. Он бился, как связанный, сопел, урчал. Эрельдей подбежал к нему и, подпрыгнув, воткнул нож до рукоятки в косматую грудь. Медведь мешком свалился на бок. Задние ноги у него дергались, под шкурой ходили короткие волны. Эрельдей оглянулся на брата, крикнул:

— Вот как колю я, Эрельдей!

Шкуру снимали с шутками, старались ими обмануть убитого. Отделяя кожу от лап, уверяли, что только почешут ему пальчики, добравшись ножами до хребта, говорили, что погладят ему спинку,

и в один голос клялись, что не они его убили, а русские. Ободранную тушу отстегали плетями, выбили у нее все зубы. Эрельдей отрезал голову, насадил ее на кол, опалил на костре. Эргемей звенел шомполами, выкрикивал:

Ходивши по земле с дудками,
подарок от невесты получил де, скажи!
Ходивши по земле с пучками,
голову размозжил-де, скажи!
Видеть не мог — глаза маленькие,
оттого умер, скажи!
Мочиться не мог — он маленький,
оттого умер, скажи!..

Кол с головой воткнули в землю, выстрелили в нее по одному разу. Рядом положили слепленную из глины фигуру медведя. Они знали, что Алтай оживит сделанного ими зверя. Духи поэтому не узнают об убийстве одного из прадедов, не станут преследовать смелых охотников. На всякий случай они впрочем в нескольких местах поломали шомполами свои следы. Ведь духи могут гнаться за людьми, если следы их не тронуты. На испорченных они конечно бессильны. Отважные зверолобы теперь спокойно могут тащить к стану и шкуру, и сало, и мясо медведя.

Русекой группе не повезло. Она не нашла медведей. Снег, твердый с утра, к полдню раскис, перестал держать охотников. Безуглый провалился по пояс, отстал. Снег набился в сапоги, в брюки, в дуло ружья. До твердой проталины ему долго пришлось ползти на животе. Андрон был зол. Неудача черной тенью лежала на его лице. Он оглянулся, увидел Безуглого, посветлел. Безуглый без шапки, разутый, сосредоточенно выворачивал карманы, полные снега.

Алтайцы мясо зарыли в снег, шкуру спрятали в лесу. Люди не должны знать сегодня, что они убили своего великого прадеда. Рассказать об охоте сегодня, показать свою добычу — значит обречь себя на неудачу завтра. Эргемей и Эрельдей это правило твердо помнили. Они не скажут ни слова русским. Русским можно только дать понять, намекнуть, что братья Енмековы вернулись не с пустыми руками. Они сделали из веток кедра большой шалаш, разложили костер, отметили священную восточную

сторону шнуром с девятью цветными лоскутами.

Андрон остановил Помольцева и Безуглого.

— Порядок ихний знаете? Глядите, надулись, ровно петухи, видать, добыли зверишку.

Эргемей и Эрельдей ходили около огня. Движения их были замедленны, спокойствие подчеркнуто. Лица, фигуры обоих преисполнены важности.

Костер горел всю ночь. Охотники лежали под шубами на мягкой хвое. Звуки, которые издавали их носы, губы и глотки, не уступали по силе и густоте храпу пятерки лошадей. Воздух в шалаше держался горячий. Люди не надолго вернулись к одному огню. Они — враги. Войну начали еще их деды...

Дед Андрона Магафор пришел на Алтай с Поморья девяносто лет тому назад. Долину Талицы облюбовали они четвером — Магафор, Киприан и Евлантий с женой Милодорой. Киприану и Евлантию было по тридцати лет. На груди у них черными досками лежали бороды. Милодоре было двадцать два года. У нее на лице никогда не угасал румянец. Магафору было двадцать три. У него на щеках и на подбородке желтел пух. В первую их остановку на берегу Талицы, когда все спали, Магафор встал посмотреть коней. Он разжег жаркий костер. Милодора лежала ближе всех к огню. Магафор неожиданно увидел ее могучие, толстые ноги, оголенные выше колен. Он качнулся, неверными руками схватил топор, со всего размаху воткнул его в высокую пихту. Дерево звонко задрожало. В черни прошумел удар, третий, пятый. Никто не проснулся. Евлантий и Киприан храпели. Милодора чмокала губами, бормотала. Лошадки паслись покойно. Магафор подошел к Евлантию. На лоб спящего упал сверкающий четырехугольник топора. Лезвие лягнуло о камень. В траве зашипела и забулькала кровь. Он подкрался к Киприану и рубнул его по затылку. Милодора лежала, мягкая, теплая. Магафор рухнул на ее круглый живот. Милодора проснулась, тронула руками его щеки,

подбородок и закричала. Магафор впился зубами ей в губы. Она сбросила его с себя. Он схватил ее за горло, стал рвать на ней платье. Милодора грызла у него грудь. Магафор ломал ей ребра. Они двумя темными, большими рыбами возились на траве, горячей и скользкой от крови. Под ними камнями перекатывались убитые. Руки их шлепали, как плавники. Ноги двумя раздвоенными хвостами бешено били землю, разметывали костер. Угли и головни летели кусками крови. Милодора обессилела и стихла. Магафор навалился на нее, засопел. Тайга тысячеверстной черной пещерой сдвинула над ними свои своды.

Утром люди стали рубить избу.

Убитых раздели, рубахи и портки с них выполокали, прибрали. Трупы отволокли в колодник, засыпали мхом и буреломом.

Следом за Магафором и Милодорой на Талицу пришли несколько семей. Они расселились по ключам в щелях на версту, на две друг от друга. Табуны кочевников стали топтать их поля с густыми зелеными хлебами. Переговоры ни к чему не привели. Кочевники не хотели уходить с земли, которую издавна считали своей. Русские взялись за ружья. Алтайцы были отогнаны, часть их табунов осталась у победителей. Новые насельники объявили побитым хозяевам страны, чтоб они не смели подходить к их селениям ближе, чем на сорок верст. Русские стали считать своим правом убийство каждого «остроголового» (алтайца или киргиза), встреченного в запретной полосе.

Земли алтайские были сильны. Они отдавали захватчикам за каждое зерно, брошенное весной, тридцать к концу лета. Чернь хорошо родила зверя. Завоеватели ели сытно, пили сладкую медовую брагу, одевались тепло и нарядно. Из щелей они спустились на дно долины, на чистое место, срубили деревню. Дома были без окон на улицу, с высокими заборами, с громадными воротами, все из белочных, твердых, как кремль, лиственниц. Деревня вражьей крепостью стала на земле вольных кочевников.

Сибирь издавна влекла к себе своим обилием и просторами. Страна, откры-

тая и завоеванная людьми, бежавшими от жестокостей царя Ивана Грозного, стала обетованной землей для всех гонимых. В Сибирь одними из первых пошли раскольники, спасаясь от костров царевны Софьи и от «немецких» порядков Петра. На Алтай раскольники текли с Поморья, с Керженца, с Устюга Великого, с Соли Вычегодской, с Мезени, с Вятки, с Камы, с Волги. За ними шли семьями и селами крестьяне от государевых тягот, от военной службы, от холопией доли, от нищеты, брели беглые колодники и солдаты, полз пестрый сброд бродяг, любителей легкой наживы, искателей приключений, людей «гулящих». Они шли неумоимо, через таежные чащобы, через болота, озера, реки и горы. Они искали сказочное «Беловодье», где «господь бог щедрою рукою рассыпал всякого добра на поживу человека». Им выпало на долю освоить бескрайние богатые пустыни Сибири.

В восемнадцатом веке на Алтае открылись Кольвано-Воскресенские и Барнаульские заводы и Змеиногорские серебряно-свинцовые рудники Акинфия Демидова. Хозяин привез рабочих с Урала, главным образом «беглых» и раскольников. Условия работы были каторжные — длинный рабочий день, ничтожный заработок, недоедание, вонючие казармы, кнут. К заводам приписали большие округа, заставляли крестьян в порядке казенной повинности рубить лес, жечь уголь, возить строительные материалы, топливо. Крестьяне, замученные работами, и «бергалы» (рабочие), доведенные до отчаяния, бежали в «камень» (в горы), к «каменщикам» и к «полякам» (к раскольникам, силою возвращенным из Польши Екатериной Второй, куда они ушли из России в поисках древнего благочестия), основывали с ними новые тайные поселения. Беглецы уходили как можно дальше от страшных высоких труб, «чтобы жить в легкости», «чтобы их никто и нигде не мог сыскать». С заводов за ними снаряжали погони. Солдаты стреляли и ловили беглецов, разоряли и жгли их избушки. «Каменщики» вступали с войсками в бой или забирались со «стариком» в своей «молен-

ной», ругали солдат, плевали на них через оконца, поносили веру антихриста и самосжигались. На предложение офицера сдаться и вернуться на завод обычно отвечали:

— Будем гореть, потому работать нам весьма натужно.

Они исчезали в дыму и огне.

В горах уживались только сильные и безжалостные. Гонимые по ту сторону Урала и в предгорьях Алтая, раскольники далеко в горах сами становились гонителями. Они жили скрытно, разрозненно. Они сходились и с'езжались, как запорожцы на раду, изредка для решения общих дел—для организации походов на алтайцев и киргизов, для поездок за женщинами и солью, для суда и расправы над своими преступниками. Осужденных они привязывали к небольшим плотам и пускали вниз по реке. Преступники погибали на порогах. За солью пробирались тайно, ночами, на озера завода. Женщин подкарауливали в лесах, около деревень и алтайских стойбищ. Им доставались грибницы и ягодницы. Они делали набеги и на поля во время уборки хлеба, хватали себе в седла жниц. Полонянок потом переманивали друг у друга, покупали, продавали, воровали. Из-за женщин на-смерть рубились, резались, стрелялись. Алтайцев и киргизов русские сгоняли с обжитых мест, захватывали их небольшие, но готовые пашни, их пастбища, их скот, лошадей. Ни леса, ни зверя, ни рыбы они не берегли. «Иноверцы» бежали в Китай. Русские переходили границу следом за ними. Горная вольница буйствовала на Алтае до конца восемнадцатого века. Она никому не платила дани, не признавала ни русских, ни китайских властей.

В горах задымилась рудники Бухтарминские, Риддеровские, Зырянские. Жизнь стала опаснее и тяжелее. «Каменщикам» надо было «беречься» и алтайцев, и киргизов, и китайцев, и царских солдат. Они решили проситься под китайского богдыхана. Богдыхан в свое подданство не принял. Раскольники «поклонились» русской царице. Екатерина их «простила», на сто лет освободила от военной службы, обложила ясаком наравне с «иноверцами». Они вышли с зай-

мож, построили деревни. «Каменщики» сблизилась с «поляками», смешались с раскольниками из керженских лесов, стали называться «кержаками».

В девятнадцатом веке Китай и Россия разделили Алтай. Реки, текущие на север, отошли русским, реки на юг — китайцам. Кержаки оказались хозяевами огромной страны, в которой «воды сладчайшая и рыбы различные множество», зверь в изобилии, а «на исходищах рек добрь плодovitа на жатву и скотопитательные места пространны зело...»¹⁾

Долина Талицы была захвачена русскими одной из последних. В меньших размерах история ее слово в слово повторила историю заселения всей страны. В долину вместе с переселенцами из России стекались и беспокорные люди из обжитых углов Алтая. Одни строили прочные дома с расчетом «на век», другие тяпали немудрые избенки, не покрывали их даже крышей в надежде на скорый переезд. Бескрышные жили в селе год, два, три и уходили в Монголию, в Китай, на Мамур-реку (на Амур), на Зеленый Клин (в Приморье). Они упорно разыскивали «Белые Воды». Некоторые из них иногда задерживались на одном месте лет на двадцать, доживали до старости, но жилищ своих так и не покрывали, не оставляли упрямой мечты об уходе в страну, которой не было. Случалось, что мечтатели заражали и старожилы своими страстными стремлениями к поиску чудесной земли. Целые села вдруг бросали дома, пашни, пасеки, маральники и уходили на «Беловодье».

Начало Белым Ключам положили пять родов—Моревы, Чащегоровы, Мамонтовы, Бухтеевы и Пахтины. Все—ревностные поборники древнего благочестия, «святой» отеческой старой веры. Они не употребляли табаку и чаю, не пили из одной чашки с «мирскими», не брили бород, крестились широким двуперстным знаменем. Разбогатели они быстро.

Магафор Морев начал с топора и пули. Топором он взял не только жену, но и деньги, и лучшую землю. Он зарубил богатого проезжего купца, заночевавше-

¹⁾ Сибирский летописец Савва Есипов, 1636 год.

го у него, воспользовался его деньгами. Он засек в пьяной драке своего конкурента мараловода Мамонтова, завладел его звериным «садом» и полем. Пулей Магафор добыл скот на пастбищах алтайцев и пушнину в черни. Односельцы звали его Бясуробом. Он был самым богатым в Белых Ключах, поэтому считал себя «первым» человеком, о себе и родном Поморье говорил всегда с гордостью.

— Город наш Кола — крюк, народ — уда, что ни слово, то и зазубра.

У Магафора было пять сыновей. С отцом остался только старший, Агатим, остальные ушли искать новые земли. Агатим был хитер, жаден и предприимчив. Хозяйство отцовское он приумножил. Агатим не утруждал себя тяжелой охотой за пушным зверем. Он подкарауливал счастливых охотников-алтайцев и одним выстрелом сразу добывал несколько соболей, десятки колонков, сотни белок. Осторожный мужик не подвергал себя случайностям боевых набегов на кочевников-скотоводов. Он предпочитал скучать за бесценной лошадей, угнанных другими. Обобранные туземцы нанимались к нему в батраки. Перед расчетом они часто пропадали без вести, или тонули в Талице. Агатим в таких случаях с простодушием заявлял уряднику:

— На Вонючем Боме голову, чо ли, у ево обнесло, курнулся в воду. С пасеки мы с им ехали.

Агатим недоуменно разводил руками.

— Известно дело, нехристь, души в ем нет, ровно в звере, пар один, а сожалося у меня серсе. Стою, жалкую, гляжу, шапчонку ево бьет волна...

Агатим опускал глаза, складывал руки. Урядник кричал, косился на лагушек с медовухой.

На своей пасеке Агатим охотно давал приют беглым каторжникам и бродягам. Он искал среди них «фабриканта», который умел бы делать «гумажки». «Фабрикант» в конце концов нашелся, и «фабрика» заработала. Агатим покупал на фальшивые деньги скот у доверчивых алтайцев, богател. Он был предусмотрителен и умел прятать концы в воду и в огонь. «Фабрика» со станком

и с мастером у него сгорела накануне обыска. Становой ничего не нашел, но домой вернулся веселый.

Последним делом жизни Агатима была постройка большой молельни. Денег на нее он не жалел. Плотников хорошо кормил, по окончании работ рассчитал честно и сам вызвался вывести их на тракт кратчайшей тропой через свою пасеку. Вечером на пасеке Агатим в последний раз угостил строителей трехлетней медвухой, сладкой, как виноградный сок, и крепкой, как спирт. Сон пьяных был непробуден. Агатим, как у мертвых, выворачивал у спящих карманы, вытаскивал деньги из секретных мешочков, из-за паух. Утром обобранные сволокли сонного Агатима с нар, стали бить. Агатим в краже не сознавался. Плотники выщипали у него по волоску всю бороду, выбили все зубы, курнали его в Талице, подолгу держали под водой. Мокрый, ошипанный, пусторотый, багровый от побоев, он ползал на животе, целовал сапоги своих мучителей, клялся всеми святыми, что никогда в жизни никого не обманывал, молил о пощаде. Деньги он не отдал. Плотники устали. Они подняли его за руки и за ноги, несколько раз ударили поясной о землю и ушли.

Агатима через три дня нашла жена. Он был жив. Муж с трудом сказал жене, где закопал деньги. Она вырыла их из-под улья, принесла ему сверток бумажек и несколько горстей серебра с медью. Он взглянул на деньги, улыбка загорелась у него в глазах. Он с ней и умер, повеселевший и успокоенный.

Сын Агатима Андрон считал, что убивать человека опасно и невыгодно. На людей он смотрел, как на кур, которые при умелом уходе могут нести золотые яйца. Андрон за всю свою жизнь никого не убил, не избил, не обругал, ни с кем не обошелся грубо. С начальством был лстыив, с односельчанами приветлив, с батраками снисходительно ласков. Медовуха часто была для Андрона тем же, чем для Магафора топор и для Агатима денежный станок. Все торговые сделки, прием и увольнение рабочих он проводил со стаканом в руке, с улыбкой и поклоном. Он находил, что

с охмелевшими людьми разговаривать и рассчитываться гораздо легче и прибыльнее, чем с трезвыми. В сенокос, в страду, во время срезки рогов у маралов на него работали десятки «помочан», которые получали за «помочь» только медовуху, дневное пропитание да доброе слово хозяина. Андрон обогатился на широком применении наемного труда, на использовании машин, агрономических знаний и на всяких перекупках-перепродажах. Он первый в селе завел сеялку, жнейку, молотилку, сепаратор, первый стал разводить племенной скот и птицу, кровных лошадей, породистых кроликов. Он ранее других пчеловодов перешел на рамочные ульи. Он один сеял клевер. На сельскохозяйственных выставках и до, и после революции он неоднократно получал награды и похвальные отзывы. Его хозяйство в последнее время было признано культурным и показательным. Революция отняла у Андрона царские и колчаковские бумажки (десятки тысяч рублей), помяла его хозяйство. Андрон выждал, огляделся, рассчитал и начал строить все заново. Основными источниками дохода у него попрежнему остались наемный труд и машины. Разница была только в том, что он «перестал канимать батраков», у него работали теперь только «родственники». Посевы его опять были громадны, но три четверти их он скрывал. Он давал неверные сведения и о количестве своих машин, скота, лошадей. Председатель и секретарь сельсовета были на его полном содержании, поэтому он чувствовал себя в безопасности. Некоторой защитой служила ему и вывеска культурника. Он окреп настолько, что стал задерживать в своих амбарах зерно, рассчитывая таким образом поднять на него цену. Цены не поднялись. В Белые Ключи приехал из города коммунист, объявил, что он — уполномоченный по хлебозаготовкам. Андрон одним из первых получил от него предложение сдать хлебные излишки.

Андрон проснулся с рассветом. Он приподнялся на локте и долго смотрел на спящего Безуглого. Безуглый стонал и морщился. У него болела старая рана. Во сне он снова падал с узкой тропы,

качался в ветвях кедра, наваливался на Андрона. Он слышал, как под ним хрустели сучья и кости. Он задыхался в густой зелени дерева и в длинных волосах Морева. Безуглый с трудом поднял тяжелые веки. Солнце кусками спекшейся крови запуталось в бороде Андрона, размазалось на щеках. Безуглый в первую минуту даже не понял, во сне или наяву он раздавил своего спасителя, окровавил его лохматую голову.



Костер жгли и днем. На горах лежал туман, плотный и серый, как овсяный кисель. Охотиться было нельзя. Безуглый в третий раз разобрал и чистил затвор винтовки. Алтайцы сосали длинные трубки. Помольцев дремал у огня. Андрон грел в дыму руки.

— Глянулся ты мне, Федорыч, в двадцать первом годе. С охотой ходил я за тобой, хорошо ты поправлялся у меня.

Андрон посмотрел на Безуглого.

— Если бы все таки коммунисты да поставили бы тебя над Алтаем.

Безуглый разглядывал пузырек с ружейным маслом.

— Обидно нам, что алтаишка у нас в области председателем. Ужели руйско-го не нашли?

Безуглый не ответил.

— Мы сознаем, што власти без налогу аль без заготовки нельзя. Не к тому я веду беседу. Тягостью хрестьянина не задавишь, порядок был бы.

Андрон подложил в костер дров.

— Не век же, поди, река дурить будет, чертомелить, карежить все?

Безуглый щелкнул затвором.

— Она войдет в берега, Андрон Агатимыч, но потечет по новому руслу.

Андрон не слышал.

— Куропашка-птица, и та за свое гнездо бьется, собственность свою соблюдает, не щадя жисти. Каково же хрестьянину собственности лишаться. Собственности нету, и антиресу нету

Ветер закрыл Андрона дымом. Он перешел на другую сторону.

— Кумыной ни одно восударство не живет, а нам хочется всех догнать и перегнать. Ежели догонять, то зачем

колеблется, у их этого и в заводе нет. Али это перегон-то самый и есть? Товда почему перегон наперед догону стоит? По первости надо образованность такую понять, кака у их, дорог железных на-строить поболее, фабрик.

Андрон говорил быстро Злоба мелкой дрожью била его руки и глотку.

— Шутка в деле догнать. Да нам всюю Америку дай, сломам в один год без остатку. Народ обмелел и скотом, и хлебом.

Андрон подошел к Безуглому.

— А мое мление такое, коль хрестьянину плохо, то и власти не сладко. Как бы власть ни была, а должна она подмогнуть хрестьянину. Не о себе, Федорыч, думам, о восударстве болеем.

Он сел на обрубок рядом с Безуглым.

— Кто у нас будет работать? Нижние коммунисты одно только званье имеют да билеты в карманах трут. В высшем управлении верно есть люди с правильным понятием. Но ково могут сделать верхи без низов?

Андрон плечом прилип к плечу Безуглого.

— Читал я в газетке речу вашего большого коммуниста. Фамилию вот только не вспомню... не то Колбаскин, не то Сырков... золотые слова.

Андрон загнул на левой руке толстый кривой мизинец.

— Слово первое — накаплийте в добрый час.

Он загнул безымянный палец.

— Слово второе — к Тельбесу поедем на корове.

В глазах у Андрона играли липкие медовые блески.

— На чьей корове Сырков-Колбаскин этот собирался ехать? На моей. Кому говорил—накаплийте? Мне. Дурак, он, думаешь, не понимал, што шпане копить неково и ехать не на ком. Он линию умственную вел на крепково, на-стоящего хозяина.

Безуглый дернулся всем телом, вскочил. Андрон хвалил коммуниста. Он конечно помнил его фамилию и перевернул нарочно для издевки. Андрон поднялся следом за ним, стукнул себя кулаком в грудь.

— Кто больше всех давал восударству хлеба? Кто культурный хозяин? Ково первого премировало областное ЗУ и сибирское ЗУ? Чей патрет был напечатан в газетах?

Он почти кричал.

— Меня наградили земельные органы власти. Меня пропечатали и поставили в пример другим. Я завсегда шел с ласковыми глазами навстречу нашему хрестьянскому советскому правительству. Пошто жва теперя на меня удавку ладят?

Они стояли друг против друга со стиснутыми зубами. У обоих кривились губы.

— Мы корчем последние корни капитализма в деревне. Понятно?

— Чо же вы зорить нас, хрестьян, будете?

— Кулаков будем ограничивать.

Андрон передразнил Безуглого.

— Обграничивать, ну и обграничьте на свою шею. На пароходе ехал, видал, поди, сколь хлеба на пристанях навалено?

Он сжал кулаки, удержал в них свою ярость. Глаза его опять стали лживыми и ласковыми.

— Верь моему слову, от тебя, старый ты мне дружек, не таюсь, все со скрытых пашен. На гумаге мы посев увеличили, на фахте сократили. Ране, скажем, иной сеял сорок десятин, показывал пятнадцать. Нонче он посеял двадцать и показал двадцать. По-вашему — увеличение, а по-нашему — уменьшение, потому хрестьянин хлеб со скрытого поля не сам ел, а на базар вез. Вы думаете, мужик будет дожидать, пока к нему на двор придут лишки считать? Он сам свое хозяйство расфуркат.

Андрон помолчал.

— Чо же это будет? Я нарушу хозяйство, другой нарушит. Каково восударству-то придется?

Он снова сел.

— Може, одумаетесь?

— Нет, не одумаемся.

— А мужики все надеются.

— Напрасно.

— И меня зорить будешь?

— Конечно буду.

Андрон осмотрел Безуглого с ног до головы.

— Двадцать первый год забыл? Не минушая тебе смерть, кабы не я. Ужели не помнел Андрон Морев заслуги перед тобой? Сказывай, враг я тебе иль друг?

— Вы — кулак.

Андрон развел руками, опустил голову.

— Виноват я перед вами, товарищи, много работал, много хлеба сдавал во сударству. Бейте, завинен кругом.

— Никто вас бить не собирается, Андрон Агатимыч. Я вам многим объясан, может быть, даже жизнью, но... мы строим социализм.

Андрон спросил с ласковым удивлением.

— Федорыч, ужели ты веришь в экую неумность?

Он не дал ему ответить.

— Отчего же это в кумынах все широким кверху выходит? Ведь были в ей наши мужики, все имущество утопили, вышли наги и босы и сызнова жили спроть всей кумыны вдесятеро.

Андрон замахал на Безуглого обеими руками.

— Обожди, Федорыч, послушай. Мы — люди темные и так располагаю, што от насильства у вас все не ладится. Собака — тварь животная, и та ласку обожает.

Безуглый промок плююул.

— Вам, Иван Федорыч, — плевки, а нам — шлепки. В двадцать первом годе нас, ровно скот, загоняли в кумыну. Вот Нефед Никифорыч и другие партизаны, и добрые партейцы не захотели, потому за имя никакой провинки перед советской властью не было, их не застрашашь. Ну, а которы в Кольчака служили, иль просто богатые за свои головы опасались, те все взошли. Писались без отказу, потому раз начальство велиг и сами про себя знали, што виноваты. Одно только просили объявить, на сколькой срок наказанье назначено. Сроку никому не дали и согнали всех в баракки. Присидатели, сикритаришки, разное кумынное начальство сидели в отдельных избах и паек себе особый брали, на работу не ходили. Жизнь была очень

печальная. Народ страждал в надежде на манафест. Дай бог царство небесное Владимиру Ильичу, выдумал он нову политику.

— Разве и вы в коммуне были?

Андрон спрятал в бороде самодовольную усмешку.

— Я откупился.

— Неужели все коммуны были так созданы?

— Пошто, иные беднота организавала без принуки. Понятия только у их никакого не было. Они думали, што зайдут в кумыну и все будет, и работать никому не надо. Лежи с бабой и жуй пайку. Видали мы всяки ваши хитрушки-мудрушки. В осьмнадцатом годе беглые от голоду из Петрограду рабочие первый почин сделали. Ничего у них не вышло, никакого согласия и распорядку не было. Один пашет, трое пузо на солнце греют, пятеро ложками котел мерют. Держались они, покудов деньжонки да разное барахлишко газматывали, потом разошлись; и тех хрестяне поимали и сдали белым на расстрел.

Андрон сверху вниз посмотрел на Безуглого.

— А ты, Федорыч, говоришь — социализм. Он товда будет, когда обману не будет, а обман товда уничтожить, когда кажный станет столь хигер, што ни ево никто обмануть не сможет, ни он никого. Пока же выходит понашему: не обманешь, не соврешь, — веку не проживешь.

Безуглый назвал ряд коммун, которые существовали с двадцатого гда и имели большое хозяйство. Андрон кивал голозой, почесывал зад, зевал.

— Конечно вам с горы виднея, мы ково знаем, деревня.

Безуглый отошел от огня.

Ночью вызвездило В шалаш лез холодный ветер. Безуглый ежился во сне, жался к горячей спине Андрона. Костер опять горел до утра.



Андрон остановился, вытер со лба пот, показал на следы.

— Ровно имя хто ворота растворил, набродили, как скотина.

Помольцев снял шапку. Голова у него дымилась.

— Дивно следу.

Он развел руками.

— А зверишек и духу нет.

Безуглый наступил на скользкий камень, споткнулся. Из-под ног у него с треском вылетела пара белых куропаток. В первое мгновение он принял их за два комка снега. Самец летел сзади самки, подгонял ее тревожным, резким криком

— Ху-ху-ху, ху-ху.

Птицы исчезли из глаз охотников далеко у кромки вечных льдов. Там дальнорезкий Андрон первый заметил два темных живых пятна.

— Федорыч, давай скорее бинокль.

Помольцев закрыл заслезившиеся глаза.

— Зря, Агатимыч, сомнешься. На факте видать, што звери.

Андрон быстро пошел. Помольцев зашагал за ним. Безуглый вытащил из футляра бинокль и тут же ткнул его обратно, побежал за Андроном.

Медведи бродили по льду. Охотники легли. Андрон решил, что звери двигаются в их сторону. Он установил на сошки свою огромную кремневку.

— Мерена бескопытные, сами на пулю лезут.

Безуглый забыл свои длинные ноги и свою неумелость. Он, припав к земле и затаив дыхание, следил за зверями, сам сильный и ловкий, как зверь. С ним рядом лежали его товарищи — искусные охотники. Они поднялись сюда на землю, отягощенную льдами, чтобы встать на четвереньки и вступить в бой с четвероногими. Внизу, в пещерах у костров, женщины и дети ждали их возвращения и мяса. Только мгновениями запах ружейного масла напоминал Безуглому, что он — человек, в руках которого машина чудовищной силы. Он до боли в пальцах сжимал винтовку.

Звери вставали на задние ноги, вертели головами, смотрели на небо. Они полгода пролежали в темных берлогах. Запах талой земли был вкусен. Они жадно надували свои легочные мешки, хлопали себя по бокам передними лапа-

ми. Из шерсти у них летела зимняя ночная пыль.

Звери сны или волосатые люди?

Один хлопнулся на спину, схватил кусок льда и заиграл им, как мячом. Другой сел на зад, скатился с обледенелого утеса, перекувыркнулся через голову, снова забрался наверх и снова сехал вниз, как озорник-мальчишка с горки.

Охотников душил смех. Ружья тряслись у них в руках.

— Исхуду иху боль, чо вытворяют.

Андрон смеялся и сердился.

— Нажрались, залягут теперя, испрожабь их.

Он встал на колени, осмотрелся.

— С полночной стороны морок идет.

Медведь швырнул льдину, постучал лапой об лапу, перевернулся на брюхо, закрыл глаза. Катающийся забрался на утес и лег на нем. На боках у него белели большие снежные пятна.

— Скрадать нада скорее, не ровен час задурит погода, почнет крутить с мыска на мысок, тогда к зверю не пойдти. Нефед Никифорыч, Иван Федорыч, со восподом полезайте к имя, а я маячить вам буду отсюдов.

Помольцев и Безуглый спустились в широкую трещину. Андрон встал на высокий камень, как капитан на мостик, чтобы следить за зверями и управлять передвижением стрелков.

Ветер рассказал медведям об охотниках. Медведи встали с неохотой, но побежали быстрым, широким, неуклюжим галопом. Медвежья жизнь в последнее время плохо пахла. Медведи стали похожи на зайцев.

Охотники вылезли из трещины к пустым утесам. Безуглый в бинокль осмотрел южные склоны с зелеными пятнами первой травы. В круглые стекла сразу попал большой медведь. Он пробирался рыхлым снегом, скорее нырял, чем шел, и очень напоминал тюленя. На него налетела белая волна лавины. Медведь повернулся к ней мордой и лег. Его захлестнуло, но не снесло. Он исчез в снегу и вынырнул с ловкостью настоящего морского зверя.

Охотники нашли место, где медведя захватила лавина. Камни и снег были в

крови. От огромного напряжения у зверя на лапах лопнула кожа. Помольцев обрадованно показал Безуглому красные пятна.

— Зверь оследился, сыщем в одночасье.

Они пошли по следу.

Зверь, которого преследовали охотники, был черен, силен и острозуб. Он пришел с осинового мыса, от старой лиственницы, на которой из года в год медведи вели свои брачные розыскные записи. Шерсть на загривке у него приподнималась, когда он обнюхивал на дереве свежие следы когтей. Он встал на задние лапы, вытянулся во весь рост и с силой скребнул кору лиственницы всеми своими десятью крючьями. По росту он был вторым. Широкие борозды выше его отметины, ниже и почти наравне с ней были не страшны. По запаху он знал давно всех медведей, сделавших затесы. Самый большой из них — старик, неповоротливый, с тупыми когтями и зубами. Медведи меньше его недавно потеряли молочные зубы, а новые у них были малы, как у щенят. Равный ему по возрасту и по силе не досчитывался одного клыка (жеребец выбил кованым копытом), кроме того, у него плохо действовала лезая передняя лапа (была в капкане). Около лиственницы шла хорошо натоптанная тропа. На нее веснами медведи-самцы выходили искать самок. На тропе он нашел следы знакомой медведицы. Зимой она спала недалеко от его берлоги. Он шел последним. Другие были уже с ней. Лавина не задержала зверя. На пораненные лапы он не обратил никакого внимания.

Медведица и семь медведей ходили на круглой поляне. Медведи вставали на дыбы, шуточно боролись, сталкивали друг друга с небольших утесов. Один светлобурый угрюмый самец держался ближе всех к самке. Он не принимал участия в общей возне. Черный зверь рысью подбежал к медведице. Светлобурый зарычал. Черный оскалил зубы и молча ударил его по уху правой лапой, по морде левой и еще раз правой по шее. Светлобурый отошел в сторону. Нос у него был разодран в кровь.

Черный накинулся на толстого, серого старика, вырвал у него из бока горсть шерсти с салом. Мимоходом он стукнул по затылку темного небольшого медведя со щенячьими зубами. Лапы зверя топорами обрушивались на черепа, на ребра, на хребты соперников. Он, самый черный, оказался и самым сильным. Он занял первое место около самки. Медведица легла на теплый камень. Черный лег рядом. Остальные по ветру друг за другом в затылок. Самцы лежали беспокойно. Они поднимали головы, привставали, ворчали. Их волновал сладостный запах самки.

Медведи жили в одиночку. Они сходились только раз в году, выбирали сильного, отдавали ему самку. Самки тогда пахли сильнее трав и цветов. Самцы забывали голод, кровь набухала в их жилах, как вода в ручьях. Они свирепели и лезли через обледенелые скалы, переплывали реки, продирались сквозь таежные заросли. Самцы находили самок после долгих и трудных поисков. Самка отдавалась тому самцу, который около нее преодолевал последнее препятствие — когти и зубы всех соперников.

Медведица поднялась, расставила задние ноги, оглянулась. Медведи вскочили с ревом. Зубы мелькнули, как белые ножи. Звери сшиблись в одну бурю кучу. Из-под ног у них полетели камни, земля, снег, шерсть.

Безуглый с Помольцевым взбирались на гору. Андрон стоял «на гляденьи», жадными глазами следил за медведями. Ему не нравилось, что охотники шли медленно. Он сжимал кулаки, шептал:

— Скорее, скорее...

Охотники слышали рев, хорканье, сопенье, видели камни, кувыркавшиеся с вершины. У обоих поднимались волосы. Оба часто поправляли шапки. Итти было страшно. На горизонте от темных туч свешивались на землю косые полосы дождя. Тучи, как древние длинноволосые звери на толстых ногах, медленно волокни над горами свои водянистые животы, надвигались на охотников. За камнями, за утесами шевелились тени. Безуглому и облака, и горы казались живыми зверями. Звери шли на него,

ревели, земля трещала под их тяжелыми лапами, осыпалась большими кусками. Безуглый с испугом думал, что он должен будет сейчас вмешаться в дела огромного звериного мира, должен будет останавливать движение и рев стихии. Он — один слабый человек. Охотники малодушно замедлили шаги.

Андрон скрипел зубами, стонал.

— Здымайтесь, рядом звери. Упустите. Уйдут.

Медведи кончили драку. Они стояли длинным рядом. Морды, шеи, плечи у них были окровавлены, языки высунуты. Звери дышали тяжело и жарко. Самка немного отошла от самцов и снова призывно оглянулась. Черный бросился на нее, навалился ей на спину всей грудью и животом. Она устойчивее расставила ноги. Победитель ревел и утрашая, и торжествуя. Остальные ходили около, содрогались, яростно ворчали.

Безуглый преодолел страх, открыл у винтовки предохранитель, мысленно сказал себе:

— Командир, смелее.

Он шагнул вперед. Ему навстречу поднялись волосатые лапы туч. Тучи кувьркались с голубых полян неба на горы, вели первый весенний брачный бой.

Андрон впился себе обеими руками в бороду.

— Стреляйте самою.

Безуглый увидел медведей. Они толпались между туч. Они были велики, толсты и лохматы. На оскаленных мордах у них металось белое пламя зубов.

Охотники почти одновременно подняли ружья. Выстрелы обрушились на зверей длинными раскаленными докрасна прутьями. Медведица ткнулась носом в землю. Светлобурый свалился на бок, захрипел. Помольцев судорожно дергал ржавый затвор берданки. У него завязла раздутая гильза. Молодые медведи зайцами скакали в разные стороны. Одноклакий кинулся на охотников. Помольцев бросил ружье, схватился за нож. Безуглый поймал на мушку короткоухую голову, нажал гашетку. Медведь бессильно лег. Безуглый был спокоен. Он ощущал напористую,

радостную силу во всем теле. Помольцев поднял и зарядил берданку.

Черный остервенело тербил самку за загривок. Самка лежала без движений. Он рванул ее когтями. Она рыхло перевалилась на спину. Он разорвал у нее живот и, мгновенно опьянев от крови, стал пожирать горячие внутренности. Зверь давился.

Охотники оглянулись на Андрона. Он стоял на четвереньках. Они настожились, услышали громкое чавканье. Помольцев пошел на звук. Черный рывкнул. Помольцев вздрогнул и в упор выстрелил в него, не поднимая ружья к плечу. Пуля оторвала у черного средний палец на правой передней лапе. Безуглый заторопился и промахнулся. Медведь шарахнулся от стрелков за утес.

Андрон взволнованно тыкал рукой, направлял охотников на замеченного им зверя и не видел, что черный в сотне шагов бежал прямо к нему. Помольцев замахаля Андрону, закричал:

— Задерет! Гляди!

Андрон не слышал, не понимал. Помольцев с тоской взглянул на Безуглого:

— Федорыч, може, твоя донесет?

Безуглый подумал, что его винтовка бьет на триста метров. До Андрона верных четыреста. Впрочем думать было некогда. Черный свалил охотника, ломал у него кремневку. Безуглый поднял прицельный щиток и наугад выстрелил. Зверь соскочил с Андрона и скрылся. Андрон лежал неподвижно. Безуглый встревоженно вскрикнул:

— Я в Андрона попал?

Помольцев напряженно вглядывался, молчал. Безуглый дрожал. Оба были бледны.

— Неужели он успел его задрать?..

Помольцев побежал. Безуглый бросился за ним.

С Андроном они встретились недалеко от убитых медведей. Он держал в руках ствол и обломки ложи. Шабур и рубаха его были изорваны, болтались длинными лоскутами. Оголенная шерстистая грудь отливала золотом. На ней краснели четыре неглубоких царапины.

— Поиграл со мной зверишка, графь его в копалку.

Андрон говорил немного сконфуженно, точно извинялся за свою оплошность.

— Палец ему средний кто-то из вас отстрелил. Он на меня лапой-то рантой замахнулся, ровно нечистик вилами. Навалился, язва, из рота душина... Андрон плюнул.

— По полюму месту угадал ты, Федорыч. Пуля аж сгукала у ево в ребрах.

Он протянул Безуглому руку, попытался улыбнуться.

— Настоящий ты мне товарищ и друг.

Андрон задергал губами, заморгал.

— Одноментом задрал бы меня зверь...

Он устало сел. Помольцев вздыхал, молчал. Безуглый отвернулся и долго сосредоточенно разглядывал свою винтовку.



Убитые медведи лежали темными круглыми обрубками. Безуглый сядился на них верхом, тербил их за уши, за лапы, мерил длину когтей, разглядывал густоту шерсти. Он был очень серьезен и похож на ребенка, занятого интересными игрушками. Андрон, не отрываясь от работы, поглядывал на него с ласковой усмешкой. Он сидел полуголый и чинил свою рубаху. Помольцев старательно точил ножи.

Безуглый обрадовался, когда Андрон встал, оделся, засучил рукава. Помольцев отложил в сторону точильный брусок, спросил:

— Беловать будем?

Андрон посмотрел на солнце.

— Однако время

Безуглый начал перевертывать одноклыкого на спину. Андрон остановил.

— Помешкай, Федорыч, я сперва сам надрез сделаю.

Он быстро, как опытный закройщик материю, раскрыл шкуру зверя на груди, на брюхе и на лапах. У всех медведей шкуры со внутренней стороны были в рубцах от когтей, зубов и пуль. У светлбурого между двух сломанных и неправильно сросшихся ребер завяз многолетний засаленный комок свинца. Охотники неторопливо работали ножа-

ми. Для них каждый кусок шкуры раскрывался, как страница звериной летописи. Они иногда вонзали свои ножи в туши, определяли толщину мяса и сала. Медведи были мясисты и жирны. Ножи погружались до рукояток. Охотники сладко жмурились, качали головами. Андрон поднял наравне со своим лицом красное сердце одноклыкого.

— Видал, Федорыч, серсе-то у нево маненько не с мою голову? Гляди, машина кака, ни пятнушка, ни полосочки, ровно из чурки выточено. С эдакой колотушкой он на любую гору скачет без задыху.

Капля крови крупной, темной вишнею упала Андрону на рубаху, скользнула вниз. След ее вспыхнул, как царапина. Андрон положил сердце, стал вытягивать кишки.

— Меряй, не меряй: тридцать два аршина у каждого. Очень они для вожжей способны. На морозе не мерзнут.

Андрон разнимал медведя на куски и, как учитель ученику, объяснял Безуглому.

— Ты слыхивал ковда, што главный струмент у нево костяной?

Андрон отрезал и показал ему фалл зверя. Он постучал по нему ножом.

— Без обсечки, паря, навсегда твердой.

Безуглый был искренне уверен, что убил медведей, самых огромных, свирепых и жирных. Никто конечно ранее него не убивал таких. Он вышел на борьбу с ними совершенно один. Разве можно считать Помольцева с его ржавой берданкой? Безуглый с трудом скрывал свою радость. Хорошо бы сюда собрать своих друзей и товарищей. Он всем позволит посмотреть и потрогать медвежьи зубы и когти. Он каждому даст мяса.

Мясо и сало охотники таскали кусками к пещере, в которой решили заночевать. Безуглый гнул под тяжестью медвежьих окороков. Он шагал по камням сейчас так же, как и сто тысяч лет тому назад. Он нес теплую кровавую добычу самке и детенышам. Он, волосатый, пещерный охотник, знал, что человеку хорошо, когда у него много мяса. Он скалил зубы. Он улыбался.

Охотники были утомлены и голодны. У костра они сидели молча. В котле хлопотала седая пена. Кусок грудинки, укрепленный на двух шомполах, шипел, капал в огонь жиром. Андрон заговорил, когда его ложка стукнулась о дно опорожненной посуды.

— Человеку от бога положена в пищу тварь копытная. Я же, грешник, оскверняю брюхо свое зверем когтистым.

Помольцев и Безуглый подавились супом. Андрон посмотрел на них, захохотал, отрезал себе толстый пласт душистого медвежьего шашлыка.

Глаза охотников суживались, рты широко раскрывались. Ели они много. Сытые сидели потом, полуразвалившись. Седла заменяли им спинки кресел. Они отдались любимому занятию всех охотников — беспорядочным рассказам о встречах со зверями и птицами, воспоминаниям. Все виденное на охотах извергалось ими из глубин памяти, может быть, в десятый раз и заново обождалось с медлительностью и смакованием.

Помольцев пытался рассказать о себе.

— Этта стрелил я бельчонку...

Его остановил Безуглый.

— Нефед Никифорыч, вы лучше расскажите, как у вас патрон завяз, когда одноклыкый к нам кинулся.

Безуглому хотелось, чтобы охотники еще раз поговорили о его смелости и искусстве в стрельбе. Помольцев и Андрон стали вспоминать утреннюю охоту. Они разобрали обстановку, в которой произошла встреча с медведями, выяснили достоинства обоих стрелков, отдали должное твердости Безуглого и особенно долго задержались на оценке его дальнобойной винтовки. Много времени ушло на рассказы о том, что каждый во время охоты сделал, подумал, сказал, крикнул. Андрон закончил всестороннее обсуждение вопросом обращением к Безуглому:

— Можно с тобой, Федорыч, зверя промышлять, сотоварищ ты правильный.

Охотники поднялись размять ноги. Помольцев дернул плечами, толкнул. Андрон мотнул головой. Тела их закача-

лись из стороны в сторону. Охотники, как крылья, широко раскинули руки, стали медленно приплясывать. Оба тянули бессловесный припев, похожий на бульканье тетеревов.

— Ле, ле, ле!

Безуглый встал в круг, раскрыл руки. Ему хотелось петь о медведях, об их мясе и шкурах. Он выкрикнул:

— Ле, ле, ле!

Охотники сильнее замахали руками. Пляска их у огня была проста и яростна, как пляска птиц весной.

Спать легли в пещере. Шкуры пахли сырой кровью. Длинная шерсть на них была пушиста и тепла. Безуглый голый бродил по песчаному берегу моря, чрептался среди валунов, каменным топором бил медведей, выламывал у них костяные фаллы. Фаллы были похожи на длинные молочно-розовые жемчужины. Он нанизал их на сухую жилу оленя и отнес в пещеру своей густоволосой самке. Она надела ожерелье. Глаза у нее раскрылись черными крыльями бабочки. Он повалил ее на мохнатое теплое ложе.

Безуглый проснулся, потрясенный сильнейшим желанием. Во рту, как след поцелуя, был солоноватый вкус крови. Под шкурой стало жарко. Безуглый выполз к костру. Горы лежали, белые и голые. Впадины их темнели круглыми кратерами мертвых вулканов. Голубые языки ледников висели над чернотой ущелий. Охотник долго смотрел на небо. Над его головой текли синие реки вселенной. Вечность была занята обычным своим делом — переливала из сосуда в сосуд. Недалеко на озере ветер гонял льдины, бил их о берега. Льдины рассыпались со звоном. В пещере громко капала вода. Звон льда напоминал переливчатую игру курантов. Стук воды был четок и мерен, как стук маятника. Безуглый думал, что ход часов вечности неумолимо точен, они с одинаковым бесстрастием отсчитывают сроки жизни целых миров и каждой ничтожной козявки. Он взял себя правой рукой за левую. Кровь двигалась по жилам размеренными толчками. Он знал, — с годами бег ее будет терять свою правильность, она

станет стыть, портиться. Две круглых пружины кровяных часов рано или поздно сломаются. Безуглый не чувствовал страха перед неизбежным концом. Он был слишком здоров и сыт. Он посмотрел на большие, белые от жира куски медвежьего мяса, ухмыльнулся и громко рыгнул.



Алтайцы сидели в седлах. Русские выючили лошадей. Охота была удачной. Четыре медвежьих шкуры — у Енмекových. Три — у Безуголого с товарищами. Переметные кожаные сумы раздулись от сала и мяса.

Горы до облаков были затоплены прозрачной водой. Облака покачивались на ней, как белые льдины. Вода текла по глазам охотников. Рукава и кулаки не помогали. Охотники ехали по дну моря. Шумы огромного человеческого мира не доходили до обледенелых подводных хребтов. В них была тишина. Безуглый слышал стук своего сердца. Копыта лошадей на донном льду позванивали, как колокольчики. В суминах густо хлюпал медвежий жир.

В сумерки охотники увидели знакомые айлы. Издали очертания стойбища казались рисунком дикаря на скале. Безуглый теперь внимательно разглядел нищенские айлы, ничтожные табуны скота, узкие полосы пашен. На межах лежали кучи камней. Горные земледельцы складывали их годами, расчищая неудобные поля. Деревья около кочевья стояли зарезанные, с белой оголенной древесиной. Кора с них была содрана широкими кольцами от корня на высоту человеческого роста. Ею кочевники покрывали свои жалкие жилища. Летовки и зимовки теснились в одной щели. Алтайцы кочевали на полкилометра в одну сторону, на полкилометра — в другую, на километр — вперед и на километр — назад.

У юрт Енмекových охотники сѣхались с Анчи и его гостями. Они возвращались с камлания — пятого по счету. Пять кобылиц — лучших лошадей стойбища — были разодраны в жертву Ульгеню. В юрте все сели вокруг ча-

га, закурили. Андрон шепнул Безуглому:

— Живут по щелям люди тоже, прости восподи. Заткнут задницу пяткой и сидят целый день, табак жгуг. Тут и вся ихняя 'занятия.

У Безуголого дернулись губы. Он отвернулся от Андрона.

Длинные, окованные медью трубки сопели. Ни гости, ни хозяева не начинали разговора. Люди должны помолчать и подумать.

Первым поднялся хозяин — Анчи. Он вылил в очаг туяс жертвенного лошадиного жира. Дым толстым нефтяным столбом встал над юртой, уперся в синий потолок неба. Звезды в тяжелой копоти метались мелкими искрами костра, зажженного на весь мир. Анчи стоял как старший над всеми людьми и всем равный. Он роздал половну каждому мясо, добытое на охоте его сыновьями. Никто не был обойден: ни старик, ни ребенок, ни фильный, ни слабый. Охотник Анчи знал, что тайга — мать людям, когда они при разделе дичи — братья. Люди будут счастливы, мясо никогда не переведется в их котлах, если они смогут справедливо делить свою добычу. Алтайцы отходили от Анчи с полными руками. В растопыренных пальцах куски сырой медвежатины висели стручками красного перца.

Тойлонг молча наливала гостям чегень. Безуглый отхлебывал из деревянной чашки кислую молочную жижу и слушал Анчи. Алтаец мог бы и не говорить. Безуглый сам знал все. Он думал, что рассказ Анчи повторит и негр, и индеец, и индус. В своих колониях русские, англичане, французы, немцы хозяйничали, как родные братья-разбойники. В Африке, в Америке, на островах Тихого океана, в Туркестане и в Сибири у них было одно оружие — пуля, крест и деньги. Безуглому дома и фабрики сибирских купцов показались кораблями рабовладельцев. Вражеской эскадрой развернулись они вдоль хребтов Алтая. С них высадились и бросились на страну отряды завоевателей. Переселенец шел с топором. Он подсек охотничье хозяйство алтайца. Купец наехал с гро-

шевыми безделушками. Он за пятакое зеркальце брал быка, за нитку стеклянных бус — коня. Туземец сразу оказался у него в кабальном неоплатном долгу. Поп пер с проповедью учения Христа. Крест на его груди был для язычника страшнее ножа грабителя. Лучшие плодороднейшие пахотные и пастбищные земли были захвачены монастырями и духовными миссиями. Войны — мировая и гражданская — расхитили последний скот и лошадей. Анчи в одном не прав: не все русские — враги алтайцам. Революция прогнала попов. Монастыри теперь — школы. В них учатся дети алтайцев. Революция вернула алтайцам земли, отнятые у них белым царем и его слугами. Алтайцы снова стали хозяевами своей страны. Однако большевики, алтайцы и русские, дрались с белогвардейцами, алтайцами и русскими, не для того чтобы в горах вместо чужих купцов, кулаков и попов появились свои баи и ярлыкчи...

Аргамай Кудачинов перебирал пальцами редкие седые волосы своей борденки. Он решительно вмешался в разговор хозяина с гостем. Он ведь давно говорил, что жить надо по-новому. Он еще в двадцать седьмом году хотел организовать колхоз. Все соглашались. Его выбирали председателем. Он — старый, опытный и большой скотовод. Он не понимает, почему облисполком не разрешил живущим в Крутой Щели объединиться. Аргамай Кудачинов много слышал о справедливом коммунисте Безуглом. Слава его на Алтае бела, как вершина Белухи. Может быть, он поможет алтайцам в трудном деле?

Лицо Аргамая Кудачинова, круглое и плоское, напоминало желтую деревянную тарелку. Глаза и рот были пятнами орнамента, положенного черной и малиновой красками. Он сидел в грязном, засаленном синем халате и в вытертой рыжей высокой шапке из лисих лапок. Аргамай Кудачинов при советской власти — полный бедняк. Ранее ни он, ни батраки-пастухи не знали, сколько у него скота. Он был коннозаводчиком двора Николая Второго, ездил в Германию и в Англию. Безуглый

сказал, что в Урале решили правильно. Баи не могут быть в колхозах.

Темирбаш согласна с Безуглым. Алтайцам не нужны баи. Без них каждый будет богатым. Отец говорил: Алтай беден. Неверно. Земля сильна. Ее надо положить себе под ноги, как убитого марала. Надо распороть ей грудь, вынуть из нее жир — золото — и затвердевшую кровь — руду. Надо распилить ее драгоценные рога — горы. Отец жалел: не стало коней. Есть кони. Езуй Тантыбаров оденет железо-бетонные хомуты на миллионы неезженных белогривых скакунов. Они будут вертеть колеса машин в Улале, в Риддере, в Зыряновском руднике.

Аргамай и его родственники закрывали роты рукавами. Они обижены. Девчонка вступила в разговор с мужчинами. Она учила старика. Аргамай не ушел потому только, что не хотел оскорблять Анчи, — покидать его юрту в то время, когда в ней поставлен на огонь котел с аракой. Гордость отца заставила Анчи забыть обычаи своего народа. Его дочь говорила умные слова, которым она научилась в большом русском городе. Анчи не остановил Темирбаш.

Дымящиеся куски вареного мяса и чашки горячего вина положили конец спорам. Безуглому был подан первый самый жирный и почетный кусок грудинки. Он отрезал от него немного и передал соседу Мампью, Мампью — Аргамая, Аргамай — Андрону, Андрон — Анчи. Кусок обошел всех мужчин в юрте. Тойлонг непрерывно подливала им араку. Безуглый улыбался каждый раз, как слышал позвякивание ключей на ее поясе. Он пьянел. Он неожиданно подумал, что папа римский похож на жену Анчи. Папа ведь тоже ходит в громоздкой шапке, в неуклюжем длинном халате. У него такие же ключи от яра, как у этой бедной алтайки от сундуков. Безуглый уткнулся лицом себе в колени. Его спина тряслась от смеха. Он увидел Рим, как большой костер в ночном небе. Над ним торчала черная рубаха Муссолини. «Фашизм спасет мир». Из-за спины диктатора выглядывала рожа Цаппи. Труп Мальм-

грена был распростерт на льду, как красный крест. Ничего у них нет. Их путь — от человека к зверю. Актеры с ключами из бутафории мирового театра.

Собака долго и жадно глодала кость над ухом Безуглого. Безуглый проснулся. Над ним с костью в зубах сидела старуха Иткоден. На юргу сыпался железный лом галопа. Всадник посадил коня на зад у самой двери и закричал на все стойбище.

— Есть новости!

В юрту влез письмоносец-кольцевик Санабас Тукешев. Он едва успел сесть к огню. Люди повисли у него на плечах. Газеты и письма вылетели из сумы белыми птицами, затрепыхались в руках счастливых. Безуглый заметил почтовые штемпеля Москвы и Ленинграда. Дети, братья, сестры писали из школ, с курсов, со службы.

Темирбаш развернула «Кызыл ойрот». В юрте стало тихо. Девушка читала с торжественной медлительностью. Мужчины подкладывали дрова в огонь и даже выходили за ними наружу. Мужчина может унизиться и взять на себя женскую работу, если женщина так хорошо читает.

Безуглый записал у себя в дневнике: «К докладу о национальном возрождении Ойротии. До революции у алтайцев своей письменности не было».

Охотники спускались к Белым Ключам. От села навстречу им поднимался всадник в необыкновенной широкополой шляпе. В усах у Андрона шевельнулась снисходительная улыбка.

— Шалается, мужичонка праздный, камешки все насбирыват. Всюю избенку завалил, самому и лечь некуда.

Помольцев быстро обернулся.

— Напрасно так рассуждаете, Андрон Агатимыч, по мне, товарищ Дитятин — человек очень умственный.

Дитятин подехал, приподнял тяжелую кожаную шляпу. В кожу он был одет с головы до ног. Помольцев подал ему руку, спросил:

— На разгулку по научной линии отправились, Илья Евдокимыч?

Дитятин опустил голову.

— Горы слушать еду, Нефед Никифорович. Каждый год весной ежу.

Андрон бородой закрыл рот. Он смеялся. Дитятин поднял на него спокойные, большие, серые глаза.

— Андрон Агатимыч, разве вы не брали во внимание, что горы не есть мертвое вещество? Вы наверное неоднократно имели свободную возможность наблюдать, как с них сползают камни, валяются деревья?

— Где нам, товарищ Дитятин, мужикам необразованным, про камешки думать. Мы все о хлебе.

Андрон задрал бороду до глаз.

— Опасимся, как бы ученые голодом не замерли.

Безуглому Дитятин сказал о себе:

— Живу своим счастьем — разрисовываю дуги, опечки, пишу декорации, точку самопяхи.

Лошади начали заглядываться на гору. Охотники тоже подняли головы. Высоко над тропой они увидели медведя. Он стоял на голом утесе и, опустив башку, болтал ею из стороны в сторону. Андрон козырьком приложил к глазам руку.

— Однако это — мой дружок, который мял-то меня. Ишь тошнует, рана-то его долит.

Андрон не ошибался. Наверху был беспалый черный зверь с простреленными боками. Он учуял охотников. Голова его остановилась. Снизу полз к нему ненавистный и страшный запах. Он круто повернулся и полез в гору. Охотники не стали его преследовать. Они спешили домой. Дитятин опять поднял шляпу.

— Ну, будем знакомы.

Ветер сдирал с земли последние белые лохмотья снега. Земля, разгоряченная, потная, бесстыдная, лежала с оголенным черным брюхом. Она ждала сеятеля.

Андрон свернул с тропы на поле. Конь под ним сразу погрузился до колен, точно ступил в темную, густую воду. Андрон горестно вскрикнул:

— Пахарь пашню покинул! Земля пустует!

Безуглый привстал на стременах. Незасеянные черные полосы на зелени всходов показались ему следами громадного зверя. Ему опять, как на охоте, нехватало воздуха. Он поправил на плече ремень винтовки и сквозь стиснутые зубы сказал Андрону:

— Засеем.

На своей пашне Андрон слез с коня, опустился на колени. Миллионы слабеньких зеленых ножек торчали из теплой утробы матери. Андрон бережно, как живот беременной женщины, щупал землю.

— Прет пашаничка, ровно хто толкат ее, хоть конем тоичи, так в ту же пору. Погубит она меня, травка христова.

Он снизу вверх посмотрел на Безуглого.

— Федорыч, пошто у нас жизнь какая-то дурная стала? Хозяин урожаю своему не рад. Ране думал — уродилось бы поболее, нонче думашь — посохло бы, градом побилло бы, помха бы пала.

На нем лежала плотная тень Безуглого. Безуглый вместо глаз у него видел мертвые дыры глазниц.

Земля неожиданно содрогнулась под ногами охотников. Над Оградной горой возникла воронка грязного дыма. Скала, висевшая над Талицей, мелькнула крылом птицы и исчезла. На крутом боку горы появилась глубокая зазубрина. Взрыв гремел камнями в ущельях.

Безуглый показал плетью в сторону подорванной горы.

— На нас, Андрон Агатимыч, буржуи работают. Большевикам дорожки расчищают.

Андрон пробормотал:

— Агличаны... тракт...

Он думал:

«Восподи, пошли ты погибель скорую на правителей наших неразумных».

В седло он залез с трудом. Ветер смял его бороду. Андрон уронил на гриву коня две темных, кипящих слезы.

Безуглый услышал свое имя. Из боковой долины шла к нему Анна. Безуглый бросил повод и лошадь. Анна остановилась, опустила глаза.

— Пойду, думаю, может, встречу...

Она, точно защищаясь от него, подняла перед собой руки. Губы ее были горячи и влажны.

(Продолжение следует)

Верность

Рассказ

ВЛ. ЛИДИН

Кресло скрипело колесиком. Равнодушный служитель в халате катил его перед собой. Большой сидел в кресле. У него было виноватое лицо человека, которого посадили в детскую колясочку. Больничный полосатый костюм несвойственно молодил, обнаруживая вместе с тем страшную худобу человека. Колясочка катилась, поскрипывая. Больной сидел боком. Он сохранял еще выправку, чтобы не вызвать сочувствия к своей немощи. Его седые волосы были по-мальчишески коротко подстрижены. Полуулыбка от несвойственности этого жалкого возлежания в креслице дремала на плотных губах. Губы были стиснуты. Тугой желвак напряжения ходил на щеке.

Недуги приходили с годами. Гриппозный ветер времени дул в изношенные легкие, в прокуренные бронхи. Астма, пнеймония, катары, язвы желудка, переходящие в рак, наваливались с прожорливостью предвкушения. Непогоды дружелюбно сопровождали их. Люди поднимались по широкой лестнице входа. Хлопала аптечная дверь. Вертящиеся круглые этажерки уставлялись флаконами, пузырьками, коробочками с порошками, пилюлями. Годы вели свой счет. Аптечный регистр равнодушно отмечал сложную рецептуру поправок к человеческому здоровью. Колесико кресла вертелось, как колесико тачки. За спиной человека были каторга, колесуха, тринадцать лет тюрем, эмиграция, годы гражданской войны — на Украи-

не, под Царицыном, в Астрахани. Время подводило итог. Каторга надела язвой желудка; годы гражданской войны — красноватым рубцом возле уха. Человеку шел пятьдесят третий год. У него были моложавое, смуглое лицо, мальчишеские седые волосики, виноватая полуулыбка. Он сидел в кресле боком, как бы присев по пути. Он должен был двигаться, жить, продолжать работу. Его держали взаперти. На него надели полосатый костюм. Его кормили овсяным киселем. Его возили в колясочке на резиновых шинах.

В коридорах сидели посетители и провозжали его взглядами. Коридоры упирались в широкие окна, налитые, как аквариумы, светом. В стеклянных аквариумах дышала весна. В них качались коричневые ветки деревьев. Большие птицы неподвижно сидели на ветках. С востока дул ветер. Птицы покачивались вместе с ветвями. Снег таял на карнизе окна. Воробьи сидели на сырости и вопили, как в юности. Поколения воробьев сменялись. Человек оставался прежним. Переднее колесико поворачивало, как руль. Опять возникла траншейная глубина коридора. Под потолком были зажжены матовые фонари. Люди оставались по сторонам на диванах, и снова впереди наплывало окно, как выход в мир, как сияющая панорама. Окно было на запад. Аквариум тропически рыжел солнцем, праздничным закатом, расколотой половиной неба с облачками, просвечивающими, как яичные скорлупы.

Солнце заливало загаром, лицо молодого. Птицы на ветках становились рыжими. Темнота коридора ослепляла, как шахта. Матовые фонари уходили неторопливым рядом, согладаясь, освещая обычный путь человеческих недомоганий. Знакомые двери рентгеновских кабинетов. Посетители ожидали своей очереди. Колесико перестало скрипеть. У стены стоял человек в гимнастерке. Длинные, белые валенки были подвернуты на коленях. Мужественный профиль заканчивался разбегом черных, блестящих, молодых волос. Человек курил. Ему разрешили курить. Указательный палец его левой руки был обернут мокрой марлей. Боль набегала в пошевеливании скулы, в поскрипывании зубами. Измятая папироска переходила из угла в угол рта.

— Магидсон,—позвал больной, облокотившись о локотник кресла,—что с вами случилось?

Человек подошел. Он улыбнулся, не смотря на боль. Он смотрел на знакомое молодое лицо с монгольскими глазами, на остриженные седые волосики.

— Товарищ Авдеев... вы тоже здесь? Я прострелил себе палец. Чистил револьвер. Нужен рентген. Кажется, раздроблена кость. А что с вами? Вы похудели.

— Гадость. Язва желудка. — Лицо больного поморщилось. Гримаска искажала его.—В общем—дрянь, Магидсон. Сижу взаперти третий месяц. Кормят кашей. Собираются резать. Я думаю, что дело похуже. Ужасно худею. Доктора отмалчиваются, скрывают конечно. Совершенно зря. Надо говорить напрямую. Старые предрассудки в медицине. — А что же... что?—спросил Магидсон.

— Рак. Разумеется, рак.

Человек отступил.

— Не может быть, товарищ Авдеев.

Руку с пальцем, покрытым мокрой марлей, он попрежнему держал на отлете. Боль в простреленном пальце становилась отчужденнее. Знакомое лицо было на уровне его руки. Непомерно исхудавшее лицо В широком вороте полосатой куртки видны ключицы. Костяк

человека проступает, непрочно завернутый в ветшающую свою оболочку. Ноги, привыкшие к движению, согнуты в коленях. Он помнил его комиссаром дивизии. У комиссара было славное прошлое, когда в подполье и в тюрьмах революция готовила своих командиров. Простреленный палец, обернутый марлей, стал походить на прищемленный палец гимназических лет.

— Не может быть рак...—сказал Магидсон.—У вас бодрый вид, товарищ Авдеев. С язвой желудка люди живут до восьмидесяти лет. Откуда у вас эта гадость?

Папироска потухла. Он мял ожесточенно мундштук. Больной сидел боком, облокотившись. Та же виноватая полуулыбка все еще дремала на его губах.

— Откуда-нибудь да приползла,—сказал он.—Давайте о другом, Магидсон. Как же так—прострелить себе палец. Вы ведь военный. Надо себя беречь. Вам особенно. Вы где работаете теперь?

— В горисполкоме.

— Тем более. Люди нужны нам. Самы знаете, сколько дел впереди!

Дверь кабинета открылась. Сестра стояла на пороге. В кабинете была полутьма, зеленая настольная лампа, блистающая конструкция громадной машины, электромагнитного глаза, которому доступно для обозрения непрочное внутреннее существо человека. Рука легла на кассету. Врач пустил ток. Что-то зашумело и пронеслось электрическим вихрем.

— Готово, — сказал врач и наложил снова марлю на пораненный палец.—Теперь подождите снимка.

Магидсон пошел к двери.

— Да... я хотел спросить еще, доктор. Вы товарища Авдеева знаете? Правда, что у него рак?—спросил он в упор.

Стекла очков не пропускали сквозь себя его взгляда. Зеленые огоньки настольной лампы светились в них, как далекие огни семафоров.

— Похоже на то,—сказал он погодя.—Почему вы интересуетесь?

— Это—мой старший товарищ... Мы были вместе с ним в Красной армии.

— Да, язва желудка... повидимому, все-таки рак, к сожалению. Сестра вынесет вам снимок в приемную.

Окно в конце коридора выцвело. Смуглый огонь отгорел. Сумерки были болезненно растянуты мартом. Палец снова стал ныть. Жалкий придаток, ничтожный отросток в сравнении с большой человеческой жизнью. Следующий посетитель заходил в кабинет, чтобы отдать свой покорный костяк на бесстыдное целлюлоидное обнажение. Сестра вынесла сырой негатив.

— Пройдемте за мной в хирургическое отделение,—сказала она и не показала снимка.

Они пошли коридорами. Окна возникали на переходах. Белый обморочный свет лежал в них. По краю стекол тонко ткались морозные зазубрины. Зима сдавалась туго и нехотя. В хирургическом солнечным, дневным, возбуждающим светом горели лампы. Рефлекторы собирали лучи. Их выпуклые линзы походили на стекла от циклопической близорукости. У хирурга был лысый, сверкающий череп, как розовая, дорогая эмаль.

— Ну-с, итак, снимок,—сказал он, взял у сестры мокрую пленку негатива и стал смотреть на свет. Он читал мутноватую тщедушную пленку, его лицо становилось хищным. Он приближал и отдалял ее от глаз. — Фалангу придется отнять,—сказал он затем,—ничего не поделаешь. Поглядите на снимок.

Магидсон поглядел на серый узенький конус, означавший очертания пальца, и увидел рассованные во всех направлениях темноватые кристаллы раздробленной кости.

— Очень жаль, но фалангу придется отнять,—сказал хирург.—Мы сейчас это сделаем под местной анестезией. Как же вы так неосторожно с оружием? Вы согласны на операцию сейчас?

— Да, я согласен на операцию,—ответил Магидсон.—Но я не согласен на анестезию.

— Новокаин. Безвредно и нечувствительно,—сказал хирург удивленно.—Какие-нибудь пять минут. Аккуратно зашьем.

— Дело не в этом,—ответил Магидсон упрямо.—Я не хочу новокаина. Я не боюсь боли.

— Вы хотите без местной анестезии?

— Да, я хочу без местной анестезии.

— Будет больно.

— Я вытерплю.

— Не понимаю, зачем вам нужно испытывать себя,—сказал хирург.— Впрочем, если вы хотите...

Он отошел и стал готовиться к операции. Жалкий изуродованный отросток попрежнему был на отлете. Его не прикрывала теперь марля. Он был в подсыхающей бурой корке крови и походил на пробку. Что значила эта ничтожная фаланга в сравнении с жизнью Авдеева, который был обречен? Что могла значить боль в сравнении с болью, которую он испытал, глядя на остриженные седые волосики, на монгольские живые глаза, на коричневые худые ключицы человека, за которым он шел в боевом дыму лет?

— Рак желудка...—сказал Магидсон, отдавая свою руку хирургу,—вы делаете также операции рака?

— Разумеется, и операции рака... мы—хирурги. Почему вы спросили про рак?

— Отнимайте сустав,—сказал Магидсон.—Какой пустяк, разве для этого нужна анестезия? Суньте только мне в рот папиросу.

— Курить, к сожалению, нельзя.

— Хорошо. Тогда без папиросы. Знаете, доктор, когда замечательного человека взрезают, как дыню... что может значить палец?

Он стиснул зубы и побледнел.

Полчаса спустя, так же неся на отлете белый слоистый кокон, он вышел из хирургической. Со лба его еще стекал пот. Окна коридоров уже были заставлены сумерками.

— Вы знаете товарища Авдеева?—спросил Магидсон сестру.—Скажите ему, что раненье мое совершенно ничтожное... что я желаю ему так же легко и без боли перенести операцию, как перенес ее я.

Ему помогли в прихожей просунуть одну руку в шинель, другая осталась

снаружи на перевязи. Машина шла через город. Воздвиженка возникла простором, прозрачная от сумерек и синяя, как в кинематографе.

— Какая гнусность... рак,—сказал он вслух.

Пальцы его здоровой руки зашевелились, как бы изображая ядовитые конечности этого пресмыкающегося. В эту минуту Магидсон понял, что он отдал

бы их каждый в отдельности, только бы извлечь из-под полосатой куртки Авдеева, из его запавшей груди это страшное ползучее. Боли в раненой руке было мало. Другая боль была яростней. Она шла из самого нутра, и белый кон сиротливо торчал на отлете, покинутый хозяином и предоставленный своей судьбе.

Март 1933

Каучук

Г. САННИКОВ

Поэма

(Из документов пятилетки)

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогу осилит идущий.

Применить кочевые навыки.
Перед окнами белый флаг —
Луна над городом плавает.

Песня первая

I

Вот страна — зауральская Азия —
Разметнулась, зарей налитая,
От зеленой эмали Каспия
До старинной лазури Китая.
Север — в пашнях, в алтайских
россыпях,
Запад — в промыслах нефти, а Юг —
В золотистой барханной поступи,—
Хлопок и каучук.

II

И фабричная геометрия—
Новостройки по всей стране,
Творческое поветрие
Исторических трудодней.
Каучук и хлопок и цветметзолото,
Нефть и уголь, копи и рудники,
Молодость промышленности, молодость
Отчаянная, трудная.

III

Трудно, когда кругом
Недостатки.
Пятилетка и новый дом,
А дома все в беспорядке.
После юрты не знаешь, как

IV

Песни, песни, кочевья вчерашнего,
Дым аулов и степь без углов.
В новом доме стены крашены,
В новом доме светло.
Перед юртою на паласе
Не дремать за костром в ночи.
Двугорбого сдали на базу
На стройку возить кирпичи.

V

Муж с бумагами да с портфелем,
Человек казенный, а ты..
Казачка, похожая на Офелию,
Перебирает свои мечты.
Женские мечтанья воздушны,
Они ничего не стоят,
Не зажгут огней потушенных
Кочевого строя.

VI

«Когда в пустыне растет трава. —
Небо бывает зеленым.
Когда беднота вступает в права, —
Становится жизнь соленой.
Богатый поет о скакуне,
Бедный поет о любимой,
О кочевьи своем, а у ней
Нет ни песен, ни сладкого дыма».

VII

«А за что отца раскулачили,
Отправили в Караганду?..
Степи молочные, зори горячие,
Прошлое уже не вернуть.
Недостатки да червоточины,
А вольная жизнь далеко...»
Как полагается байской дочери,
Райхан ругает большевиков.

VIII

...И воинственна, и горда,
По вечерам у мужа
Собирается Алаш-орда —
Аксакалы, аткамынеры.
Начинается биш-бармак,
Начинается ужин...
И блекнет луна, как увядший мак,
Над Тимуровой черной химерой.

IX

Наверное скоро, скоро
Всему конец.
Кочевники — люди гордые;
Бедный отец,
Знает ли он, несчастью,
Что Алаш-орда
Вернет ему собственность частную,
Вернет стада.

X

Быть может, по праву рода
Над Казакстаном,
Поставленный волей народа,
Он будет ханом.
О выходах в степи, о буре
Мечтает Райхан.
Под тенью мечети Тимура
Спит Туркестан.

XI

Так спят лишь маленькие дети
Под расписной кошмой тепла,
Так спит великий хан Аблай
В земле под сводами мечети.
Ничто не нарушает сна,
Повсюду шерстяные тени,
И кажет голые колени
Над городом луна...

XII

Кто не знает тот гулкий год,
Когда по партийным заданиям
В Казакстане открылся поход
Раскулачиванья и оседания.
Когда по аулам страны своей,
Кроя баев набѣтмашь, наѣисто,
С хозяевами степей
Расквитывалось батрачество.

XIII

Создавались колхозы и МТС,
Освоились пространства целинные,
Пшеничными делегатами мест
По стране выступали долины.
И, разламывая адат
Полуфеодалного Казакстана,
Поколенья рождались заново
В процессе борьбы и труда.

XIV

От кочевания к социализму.
Весь Казакстан — в пути.
Так народы выходят из дому,
Из романтики паутин.
Так проходят лучи сквозь призму
И в ином направлении горят, —
Минуя стадию капитализма,
Рождается пролетариат.

XV

Будет время, покажут годы.
А пока, чтобы песня не хандрила,
Познакомимся с хондриллой
Каучуковой породы.
Не ботаником открытая,
Среднеазиатская хондрилла
Неожиданно вступила
В план академических работ.
Так вода идет арыками,
Так свершается переворот.

XVI

Травянистое растение,
Куст до метра в поперечнике,
В Казакстане и Туркмении,
Где пески метутся вечные,
И по галечникам густо,
И на почвах лёсса, ила,
Вырабатывая сгустки,
Широко растет хондрилла.

Песня вторая

I

Древний город Туркестан,
 Стан Тимура и Аблая,
 Здесь зарыт Азрет-султан —
 Слава города Аблая.
 Здесь стоит мечеть ему
 Поколениям в назиданье.
 И на тьму столетий тьму
 Громоздит народ сказанья.

II

В этом старом Туркестане,
 За оградой сланцевой,
 Против мечети Азрет-султана
 Приютилась научная станция
 По изучению флоры,
 Подозрительной на каучуконосность.
 Так случилось, что дикие горы
 Победили ученую косность.

III

С открытием в Казакстане хондриллы,
 Отечественного каучуконоса,
 Были мобилизованы научные силы
 Резинотрестом на разрешение вопроса:
 Возможна ли на основе хондриллы
 В Казакстане и Средней Азии
 Сырьевая каучуконосная база,
 Необходимая для автомобиля?

IV

Этому мероприятию
 Сопутствовало постановление СТО,
 Одобряющее необходимые затраты
 На учреждение научных постов —
 Опорных опытных станций
 По заготовке семян и наплывов
 И по закладке весенних плантаций
 Хондриллы.

V

Из Ленинграда, Москвы, Батума
 Понаехали специалисты,
 Ученые тяжелодумы,
 Человек примерно тридцать.
 Биохимики и ботаники,
 Люди всех специальностей био.

Рассыпались по Казакстану
 В поисках растений и наплывов.

VI

Но довольно об экспедициях,
 Изыскательных караванах...
 В мечеть Азрет-султана
 Ходила Райхан молиться. —
 И на могиле прапрадеда —
 Великого хана Аблая —
 Вздыхала и плакала,
 Советскую власть проклиная:

VII

Невыносимая высота мечети,
 Глянцевитые стен просторы.
 На узкие женские плечи
 Падала тень истории.
 Мнились подвиги и сражения,
 Сутулые дни Тамерлановы,
 Разрушенное сооружение,
 Построенное заново.

VIII

Предание говорит: по плану
 Архитектора Муххамед-Шираза,
 Строительство Тамерлана
 Было бедствием, было заразой.
 Из Кызыл-Кумов на кладку мечети,
 За множество километров,
 По живой цепи человечьей
 Камни плыли, подобно ветру.

IX

На трупы ложились трупы,
 И по ним, от раба к рабу,
 По костям, под священный купсел,
 Простирался каменный путь.
 Но во имя Азрет-султана,
 Аллаха и Муххамеда
 Над столетиями победой
 Каменеет дух Тамерлана.

X

... И склоняется снова Райхан
 Над могилую хана Аблая.
 Вдруг почудилось:
 мать молодая
 Перед ней над могилую старой.
 «Молись, Райхан, — произносит

мать, —

За внука его, Кенесара,
Ты — из рода великого хана,
Райхан...»

XI

И молилась, молилась и плакала,
И пред нею в вечернем загаре
За ветрами степей улакало
Восстание Кенесара.
И на унылое плоскогорье,
На склоненные женские плечи
Падала тень истории
Азрет-султана мечети.

XII

А экспедиции шли и шли
По барханым пескам Казакстана,
По гектарам целинной земли,
По старинным путям Тамерлана,
По высоким наплывам снегов
На угрюмых горах Кара-тау,
Собирая промерзшие травы,
Вырывая корни кустов.

XIII

Выбирая участки на богаре,
На поливных, удобренных навозом,
Для питомников и оранжерей,
Для будущих каучукпромхозов.
В Кара-Чокате, в Актырь-Тюбе,
Намечая научные станции...
А в полуденном Туркестане,
Как обычно, сама по себе

XIV

Приближалась весна. Тепло.
И вдали от горы до горы,
По долине, от снега белой,
Проступали, темнея, бугры.
И от солнечного обилия
Ослепительно было вокруг.
Ревели автомобили,
Обгоняя колесный стук.

XV

И однажды в полдень необычайный.
Таяли, сияя, снега вдалеке,
Райхан узнала: отец ее тайно
Снова объявился в Сузаке,
Что вокруг него строятся аулы,
Против Советов готовые в бой...

И мечети суровые скулы
Оживали арабской резьбой.

XVI

И опять собиралась Алаш-орда,
Обсуждала, решала вопросы нации.
Или в этот раз, или никогда,
Смерть равняется коллективизации...
Только под утро, одетая в траур,
С готовым решением выехала Райхан.
Навстречу ей дыбились горы Кара-тау,
Под тенью мечети спал Туркестан.

Песня третья

I

Товарищи, тише!
Слушайте шелест машин
На заводах союзной
промышленности
Автомобильных шин.
Штука за штукой
Катятся, катятся шины.
«Каучука, каучука!» —
Голодные шепчут машины.

II

Железную жалобу жутко
Слушать на фабрике шин.
«Каучука, каучука!» —
Чавкают части машин.
Каучука — до полной загрузки.
Автомобили нужны стране,
А в Советском Союзе
Своего каучука нет.

III

Советский Союз из-за границы
Выменивает тысячи тонн
На нефть и пшеницу,
На бриллианты и тьму икон,
На Рубенсов и Рембрандтов...
И на фабрики, в грохот и стук,
По морям и по океанам
Доставляется каучук.

IV

... В годы гражданской войны,
При интервенции Юга и Севера,

Каучуковый голод страны
 Доходил до невероятных размеров.
 Паралич черноморских портов,
 Ржавый ужас потушенных фабрик.
 На гражданских фронтах городов —
 Рабочая легендарная храбрость.

V

На военные нужды, на фронт
 Истощены каучука запасы.
 При интервенции не пополнишь фонд
 Нужна сырьевая база.
 Чтобы в нашей республике, да,
 Вырастало бы черное золото...
 И впервые, пожалуй, тогда,
 В эти годы фронтов и голода,

VI

В Резинотресте возникла мысль, —
 Так рождается стих из прозы, —
 Хорошо бы акклиматизировать
 Тропические каучуконосы.
 Дело верное и несложное,
 Немного терпения и забот,
 И невозможное возможно,
 И тогда-то вот

VII

В поисках теплого места,
 Цыпленок тоже хочет жить,
 К директору Резинотреста
 Пришел человек по фамилии Шмидт.
 «Все знаю и все умею,
 Многому научу.
 Хотите: и разведу гевею,
 А гевея — свой каучук.

VIII

В Аджаристане откроем Бразилию,
 Устроим Британии бум...»
 И человек с немецкой фамилией
 Командируется в Батум.
 Побережье моря Черного,
 Цихис-Дзири — советский Юг.
 Но ни черенками, ни зернами
 Не прививается каучук.

IX

«Капризное растение — гевея» —
 Сказал человек, уложив чемодан.

И с какою-то новой идеей
 Отправился в Узбекистан.
 Новая фамилия, теплое место;
 Будто бы «фашинами» по Азии шумит...

За счет Резинотреста
 Пробавлялся два года Шмидт.

X

Два года на станции в Цихис-Дзири
 При участии профессоров,
 Кроме тропической малярии,
 Не вывели никаких сортов.
 И фикус-эластика, и фунтумия,
 И сапиум из Кордильеров Америки
 Погибали под ветром Батума,
 В климате нашем умеренном.

XI

И если бы в песках Казакстана
 Кузнецов не открыл хондриллы,
 Ученые по тропическим странам
 И поныне вслепую ходили.
 Занимались бы манихотом,
 Кастилоа или ляндольфией...
 Но как говорится: «Охота
 Пуще неволи».

XII

Воротясь из далекого, заокеанского,
 Изучив в совершенстве вопрос,
 Ботаник, товарищ Разумов
 Семена гуаюлы привез.
 Собирал их на диких зарослях,
 Ежеминутно рискуя попасть
 Мексиканской полиции в пасть
 И сидеть в этой пасти до старости.

XIII

Гуаюла — мексиканский кустарник.
 Быть может, привьется в Кара-Кале,
 В сухом районе Туркменистана.
 В диком виде содержит в коре
 До 10 процентов чистого чаучука.
 Под покровительством Эдисона
 По гуаюле создана наука
 И построен завод в Торреоне.

XIV

А культурная гуаюла
 На плантациях при селекции,

Например в Салинасе, дала
25 — 28 процентов.

— Что это значит? — докладывал
Разумов

На заседании Резинотреста: —
Можно судить по-разному,
Но если в каком-нибудь месте

XV

Гуаюла — единственная из
каучуконосов —

Акклиматизируется на нашем Юге,
Это значит решение вопроса
О своем естественном каучуке.
Это значит, работа с гевеей,
Несмотря на ее утопичность,
Была замечательной идеей,
Реабилитирующей «веселую» личность

XVI

Подозрительного ботаника Шмидта,
Который, к стыду академии,
Явился первым, открывшим виды
На дальнейшее разрешение проблемы.
Геопосевы в первую очередь,
Опытное многообразие...
Отсюда начинается очерк
Деятельности товарища Разумова.

Песня четвертая

I

32 года — возраст точеный,
Молодость, перешедшая в лето,
Возраст, когда из поэта
Вырабатывается ученый;
Из лирика — эпик, из фантазера —
Деятель точной науки,
У которого
Согласованы голова и руки.

II

Вот таким 32-летним
Был Разумов (крепок и крут),
Беря барьеры десятилетий,
Соединяя науку и труд.
Не успокаиваясь на геопосевах
Мексиканской гуаюлы,
Среди ботаников самый левый,
Он выволакивал проблему из мглы.

III

Практически: в ряде лет
На советском Юго-Востоке
Гуаюла привилась в Кара-Кале,
В Маргушевани, но дала невысокие
Результаты по ряду причин.
Взлелеянная в вегетационных
домиках,
Она не решила пока экономики
Советского производства шин.

IV

Дикие семена, незнание, неумение,
Невысокого качества каучук.
Но Разумов тем не менее
Работает, не покладая рук.
Обвитый уже легендами,
Как британский агроном Виккэм¹⁾,
Он прозывается рецензентами
Вожаком каучукпроблем.

V

Он думает: азербайджанское солнце,
В нем достаточно жара и света,
Но хорошо бы от Эдисона
Кое-какие иметь советы.
Мировой ученый наверное
Подделиться опытом не откажет.
И вот от Разумова в Америку
Письмо направляется важное.

VI

«Институт прикладной ботаники,
Многоуважаемый...»
и т. д. — по фасону.
На корабле
по волнам Атлантики
Письмо
плывет
к Эдисону.

VII

«Не откажите в своей любезности
Подделиться с Советским Союзом...»
Качаются
по синей
безбрежности

¹⁾ Генри Виккэм — агроном, вывезший из Бразилии семена гевеи и положивший начало всей каучуковой промышленности Англии и Голландии Умер в 1928 г.

Слова
почтового
груза.

VIII

«Мы нуждаемся в вашем опыте
По гуаюле и по прочим видам...»
Оглушенные
океанским
топотом,

Слова
выгружаются
в знойной Флориде.

IX

И в имение
Эдисоново
По ослепительной
дороге,

Вытканые
бессонницей,
Входят
робко.

X

Тишайшая вилла.
Над солидаго ¹⁾
Сияние ветерка.
К разумовской бумаге
Протягивается рука.
И сразу

Нарушается эфирный сон.
«Ах, эта красная зараза!» —
Отмахивается Эдисон.

XI

«Прошу извинить, я занят» —
Пишет старик.
Потревоженное сияние,
Ветра крик.
Осыпаются рододендры,
Туманится эфир...
А с московского Радиоцентра
Извещается мир:

XII

«Слушайте, слушайте,
говорит Москва.

Важное открытие,
каучуковый клад.
В горном Казакстане,
к Сыр-Дарье, на юг,
Открыт тау-сагыз —
советский каучук.

XIII

Горное растение,
дикое по нраву,
Иначе называется
архарот.
Место открытия —
горы Кара-тау,
1930 год».

Песня пятая

I

«Отец, отец, я очень устала,
Напои, отец, моего коня...»
Перед юртою аксакала
Собиралась родня.
«Здравствуй, балà-сестрица,
Здравствуй, Райхан-балà,
Мы дадим скакуну напиток,
А как дела?..»

II

Что в городе нового?
Что говорит народ?
Выпрямится ли снова
Покривившееся перо —
Вернется ли счастье казакам?..»
Отвечает Райхан-балà:
«Ах, устали глаза мои плакать,
Невеселые дела.

III

В городе пыли много,
В городе райком.
Новые дороги —
Чужое шитье.
Кузнецы берут в руки
Щипцы с молотком.
Кенесаровы внуки
Возьмут ружье.

¹⁾ Салидаго — золотарник — гуттаперченос, открытый и выведенный Эдисоном. При вилле Эдисона имелся опытный участок золотарника.

IV

Отец, отец, Кенехана племянник¹⁾,
 Ах, отец Урузбай-акэ!
 Тайными дорогами, снежными полями
 Скакала я, скакала к тебе налегке.
 Против кафыров, против конестану²⁾,
 Отец, отец, аулы подымай
 В город на молитву, к Азрет-султану,—
 Так приказал Аблай...»

V

Точно бор, зашумели казаки:
 «Райхан-балà
 От великого хана Аблая
 Повеление привезла».
 И пошла молва по Сузаку,
 По степи, из аула в аул,
 На молитву казаков скликая
 К Урузбаю-акэ в караул.

VI

И наутро...
 О, это солнце багряное,
 Ох, и зачем оно степь озарило!..
 В те дни, когда по Казакстану
 Экспедиции разыскивали хондриллу,
 Еще снега в горах не таяли,
 Лишь, вторя северным ветрам,
 Бродили, выли волки стаями
 В пустых горах по вечерам

VII

И устрашали все окрестности,
 И задирали лошадей
 У экспедиций Резинотреста
 В голодном сумраке степей, —
 В те дни, отбившись от товарищей,
 За ним другие не пошли,
 Зимы морозные пожарища
 Цвели, пронизывали, жгли, —

VIII

Один по горному безлюдью
 На тощей лошади верхом,
 На ветер налегая грудью,
 Привыкший к трудностям, краском
 С холма на холм передвигался.

¹⁾ Кенехан — уменьшительное имя Кенесара

²⁾ Кафыр — неверный Конестану — оседание.

От усыпальницы снегов
 Энобило, коченели пальцы.
 Но где же «жвачка» казаков?

IX

То был Зарецкий, о котором...
 Но в общем дело было так:
 Энобило, потухали горы,
 Сжимаясь теменью в кулак:
 Набрав корней, сухих и ломких,
 Зарецкий разводил костер,
 Иплыли дымные потемки,
 И стыли силуэты гор.

X

Пахнуло жженою резиной,
 Уже шипел доспевший чай,
 Вдруг он заметил невзначай:
 Надломленные посередине,
 Соединялись корни снова.
 Он стал надламывать, — чудно:
 В изломе мутно основой
 Натягиваются и вновь

XI

Сжимаются резиновые нити.
 «Да это — чистый каучук,
 Попробуйте-ка потяните!..»
 И в дрожи сердца, в дрожи рук,
 Все время пробующих корни,
 Зарецкий ночью не уснул.
 Вьюжило. Лихомана гул
 Катался по ущельям горным.

XII

На южных склонах Кара-тау
 Открытый им архаров корм,
 Иль жвачка горная, иль тау-сагыз,
 Принадлежал по роду форм
 К растениям типа «скорцонера»,
 Иль проще типа «козельца»:
 При шапке крупного размера
 Листвы игольчатой, с лица

XIII

Он выглядел довольно дико,
 Но дело — в корне (прав народ
 В своих пословицах великих),
 Как оказалось, архарот,
 Иль тау-сагыз Кара-тау,

Ученый, изумляя свет,
Корнями приобрел себе
Совсем нечаянную славу.

XIV

При испытании в Москве,
В лабораториях Резиноцентра,
На сухо-воздушный вес
Мясистые корни дали
До сорока процентов
Чистого каучука, —
Так показал анализ.

XV

Это была мировая сенсация.
Необычайное достижение,
Совпавшее с коллективизацией
И знаменующее поражение
Капиталистической монополии,
Проявляющейся в угрозах.
СССР не нуждается более
В тропических каучуконосах.

XVI

СССР не страшна интервенция
И не нужна эдисоновская наука.
С тау-сагызом в конкуренции
По количеству каучука
Ни гевея и ни ляндолия
Не выдерживают процента.
Живите без удовольствия,
Западные господа интервенты!

Песня шестая

I.

Когда Колумб открывал Америку,
Как рассказывают испанцы
В описаньях чудесного берега ¹⁾,
Он увидел игры и танцы
Гаян с каучуковыми мячами, —
Мог ли думать Колумб тогда,
Что мячи эти станут началом,
Перестроившим все города.

¹⁾ Солахам и Антонио Ферреро — испанские писатели XVII века, описавшие второе путешествие Колумба к землям Америки

II

— Представляем ли мы, что значит
Тау-сагыз, открытый ныне, —
Докладывал Разумов, ставя задачи
По освоению в горах и пустынях
Исключительного каучуконоса,
Культура которого скоро
Каучук иноземного ввоза
Заменит советским сбором.

III

... И до вечера обсуждали
В высоком правительственном
учреждении
Вопросы глубокого изучения
И выявления диких зарослей
Для промышленной эксплуатации
На месте произрастания,
И оборудования в Казакстане
Промывных и рифленных вальцев.

IV

Решение было простое:
Не отказываясь от освоения
хондриллы,
Гуаюлы, а также эйкомии,
Немедленно перестроить
План
И направить все силы,
Кроме того, из крайкома
Выделить ряд работников

V

По сбору семян и организации
Каучуковой пробной добычи.
Затратами не стесняться, —
Таков большевистский обычай:
Редчайшему каучуконосу
Предоставить лучшие земли.
Отметить значение вопроса
Особым постановлением...

VI

Итак: было утро багряное,
Умывались зарею степи.
На железнодорожную станцию
В караванную тишь района
Во главе экспедиции агрономов,
Химиков и инженеров
Вышел ботаник в кепи,
Человек бывалый, видать по манерам.

VII

Так вот она, наша Бразилия!
 Какая выцветшая долина:
 Протянулись дорог сухожилия,
 То ли песчаник, то ли глина.
 Ботаник оглянулся:
 над городом бурым,
 Как верблюд над унылой отарой,
 Куполообразная, беспамятная, старая
 Каменела мечеть Тимура.

VIII

До города долиной легли километры.
 Что за безрассудство железных дорог:
 Прокладывали линии по ветру,
 Брали с населения оброк.
 Шумная тачанка — гражданская
 подруга,
 Ухарство и лихость махновских ночей.
 Тронулся навстречу город полукругом,
 Хмурая Тимурова мечеть.

IX

Веяло раскопками, археологией,
 Пахло очагами «Золотой орды»,
 Солнце обтекало крыши пблогие —
 Рыжие останки монгольских твердынь.
 Пыльные советские условия,
 Шелковая Азия, верблюжьи сны,
 Это ли пестрое средневековье —
 База для промышленной весны?

X

Вспомнились британские колонии —
 Ява, Малакка, Цейлон¹⁾.
 Каучуковая агония,
 Каучуковый стон.
 Нищета под охраной порядка.
 Недаром в колониях говорят:
 «Каучук — это смерть, каучук — это
 яд,
 Каучук — желтая лихорадка».

XI

Только наша страна раскабалена
 От кризисов и тупиков.

¹⁾ Собственно, Ява и Цейлон — колонии голландские, но там доминируют плантации англичан, поэтому тов. Разумов называет их британскими

Непреклонная воля Сталина —
 Жизнедеятельность большевиков.
 «Кроме каучука, всё у нас имеется,
 Но через год-два
 Будет каучук...»

От вокзала
 На запад и на юг
 Непочатая степь колыбалась.

XII

Солнце было древнее, мутное.
 День ли это, вечер?..

Торговые ряды,
 Улицы, грязью обутые,
 Тополевые сады.
 Поскрипывали двери в райкоме
 партии,
 Домики выглядывали пятнами белил.
 Кара-Кумов двугорбая гвардия —
 Караваны степенно текли.

XIII

«Здравствуйте, товарищи хозяева...»
 В комнате секретаря
 За столом, над портретом Исаева —
 Лозунгов заря.
 «Разумов. Из центра.
 Для организации...» И вдруг
 Дверь, как разбитый тендер...
 И на портретах вождей перепуг...

XIV

В комнату ввалился
 пыльный человечина,
 Под окнами
 грохнулся загнанный конь.
 «Все коммунисты вырезаны,
 жены искалечены,
 Дети живыми
 брошены в огонь.

XV

На пятницу
 назначена
 молитва в Туркестане,
 Выход
 из Сузака
 в завтрашний день...»
 И сразу на город шархнула тень
 Мечети Азрет-султана.

XVI

День еще не свертывался,
солнцем увенчанный,
А, казалось, уже настала ночь.
«Бандою
командует
какая-то женщина,
Родовитая байская дочь».

Песня седьмая

I

«Дорогу осилит идущий» —
Так говорит пословица.
Вот он, грядущего грузчик —
Поэт. Ему нездоровится.
Он размышляет: к чему сражения
Между поэзией и наукой?
Обе стороны — отражение
Природы каучука.

II

У науки лабораторию
Для поэзии надо украсть,
У лирики для истории
Экспроприровать страсть.
Не отбрасывать, — утилизировать,
О чем мечтали отцы,
Пользоваться элегией и сатирою,
Докладами и колонками цифр.

III

Балладами и огнем романтики,
Социологией видов,
Опытами ботаники
По выращиванию гибридов.
Не этнография, не геодезия —
Истина посередине.
Раскрепощенная поэзия
Будет вращать турбины,

IV

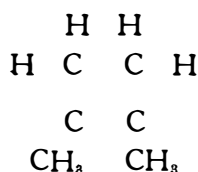
Гидрогениум два, оксигениум —
 $H_2O + H_2O$, открывайте кран:
Произошло химическое соединение,
Молекула воды — океан.
Девяносто два вида атомов,
(C_5H_8) x — каучук,

Сделали химию самой богатой
И самой творческой из наук.

V

Некоторым атомам положено,
Как говорится, несколько рук.
Вещества, простые и сложные,
Синтетический каучук.
Например углерод четырехвалентен,
Одновалентен всегда водород.
Полимеризация дает переворот
Диметилдивинил элементов —

VI



VII

Диметилдивинил, или
 $CH_2 = C(CH_3) - C(CH_3) = CH_2$.
Источник химической силы,
Получаемый из каменного угля,
Ацетилен, нефти, крахмала.
Немецкий метил-каучук —
Это только начало
Творческих мук.

VIII

Может ли химия повторить природу?
Пересоздать материю —
Человеческую свободу?
Раньше не верили.
«Промышленные масштабы
Обречены на крушение...»¹⁾
Но Советский Союз — штаб
Изобретательств и достижений.

IX

Профессор Бызов
И академик Лебедев —
Буржуазному миру вызов,
Пятилетки реальные лебеди.
Полимеризация углеводов.

¹⁾ Мнение Эдисона, высказанное им по поводу советских работ в области синтетического каучука.

Синтетическая Бразилия.
Химия повторила природу,
Создав вторую силу.

X

Для промышленного применения
Через колбы, реторты и сетки, —
Достижение советского гения,
Не предусмотренное пятилеткой.
Точно так же, как с тау-сагызом,
С синтетическим этим сплавом,
Вслед за отъездом Разумова
Был заложен завод в Ярославле.

XI

Там — мобилизованная химия,
Химия, сугубая химия.
Здесь — кусты неповторимые,
Новые по имени.
Дело неосвоенное, горные массивы,
Сложная история вопроса.
Расцветайте же, красивые
Каучуковые розы!

XII

Я ли, запевала,
Не прыток на под'ем.
В новой Калевале
Заливаюсь соловьем.
Песня за песнею —
Поэма — каучук;
Выхаживаю, пестую,
Химию учу.

XIII

Советская промышленность,
Вынь да положь
Потребную норму
Резиновых галош.
Камеры и шины
На тысячи миль.
«Резины, резины!» —
Кричит автомобиль.

XIV

Строятся заводы,
Растут города.
Великие годы
Труда.
Гения
Ленина,

Партии
Разум.

XV

Два промышленных направления:
Цель — сырьевая база.

Песня восьмая

I

... Из Сузака на поклонение,
Безобразная, как проказа,
Как чума чернокожая,
По горам,
Разгораясь и множась,
Орда текла.
Ржали лошади,
вздыхали верблюды,
И люди кричали: «Аблай».

II

Старые джигиты
звали Кенесара,
Пели о походах
дедовы стихи.
Словно
озаренные пожаром,
Голосом народа,
степенны и тихи,

III

Ехали верхами аксакалы,
Похожего на будду
хана караул.
Дальше —
на верблюдах
жены выступали,
За ними —
пешеходный тянулся гул.

IV

Рядом с командиром,
белым офицером,
Точно орлеанская Жанна Д'Арк,
Окруженная
аткамын'ерами,
Женщина
катила
степной пожар.

V

Знамя мусульманское,
 Черное знамя Райхан,
 Покачивалось
 тенью
 над колонною,
 Показывая
 путь
 на Туркестан.

VI

«Во имя аллаха! О, милосердный,
 Ты направляешь течение волны,
 Тебе поклоняются: мрак безмерный,
 Сияние солнца и свет луны.
 О, благосклонный, — зывала
 женщина, —
 Ты — для жаждущих водоем.
 Веди нас в твой дом на служение,
 Победительно имя твое...»

VII

Вдруг на полдороге до города
 Каменная встала стена.
 Караула седые бороды
 Только покачнулись,
 и вмиг сметена,
 Разгромлена всадников тараном,
 Пала под верблюжий бег
 Первая застава Туркестана
 В шестьдесят человек.

VIII

Дорога открыта, но только
 Тронулись в путь аксакалы,
 Вырос отряд комсомольцев,
 Подобный железному валу.
 Всадники осеклись, споткнулись,
 Многие не встали с земли.
 Прямо на железо, на пули
 Мутные волны текли.

IX

Вот уже прорублены ворота,
 Вот уже железо в пыли.
 Как первая каменная рота,
 Все комсомольцы полегли.
 Дальше на город, к могиле Аблая.
 Но третья застава — сталь...

И пошла накручиваться спираль
 Вокруг пулеметного лая.

X

Круг за кругом — мертвые круги
 Человеческих тел.
 А в Туркестане вокзал с перепуга
 Суматохой гудел.
 Охали вагоны военных составов,
 Звякали торцы о торцы,
 Горные орудия — направо,
 Налево — аскеры-бойцы.

XI

Четкая команда, бодрый порядок,
 И с грузовика
 Лозунгом последнему параду
 Вскинулась рука.
 Серая долина, горы Кара-тау,
 А там — каучук.
 На помощь стальной заставе —
 Лес рук.

XII

Грянули отряды
 В поход,
 Разумов рядом
 Идет.
 Далекий ружейный стук...
 Ну что ж! Победить или пасть.
 Борьба за каучук —
 Борьба за советскую власть.

Песня девятая

I

Родина каучука — Бразилия,
 Бассейн реки Амазонки.
 Трубите, трубите, автомобили,
 Бразилии славу громко.
 Пусть каждый знает о дереве,
 Слезы которого ныне
 И по Европе, и по Америке
 Превращены в производство резины.

II

Производство и потребление,
 Узел мировых интересов.
 Американское автомобилестроение —

Под британским прессом.
Кризисы и рестрикции,
На взрыв обреченная память.
Розы за границы
С острыми шипами.

III

Песня перепетая, старая проблема.
Из Бразилии полсотни лет назад
Семена гевеи через мистера Вискэма
Попали в королевский сад.
Из 70.000, кажется,
Вырастил Генри Вискэм
2.500 каучуковых саженцев
Для пересадки в тропики,

а затем

IV

На Малаккском полуострове,
За морями далеко,
Поднялись деревья острые,
Накопляя молоко,
Наполняя чаны млечностью,
Творогом — коагулят —
Из подсек по поперечности,
Как британцы говорят.

V

Азиатские плантации
И Малакка, и Цейлон.
Каучуковые акции,
Лондонский поклон.
Шитс и креп — сорта отменные.
Не сгущенная ли кровь
Иноземных и туземных
Лихорадочных рабов?

VI

«Черное золото, черное золото —
Каучук.
Никуда не уйдешь от голода,
Друг.
Желтые болота, солнце экватора —
Каучук.
Густые тенета, жадный плантатор —
Паук.

VII

Жизнь лихорадкой в дрожь перемолота,
В дрожь рук.
Черное золото, черное золото —

Каучук...» —
Так на плантациях
Пели кули.
А в Лондоне акции
Круто росли.

VIII

Новая промышленность Англии
Аккуратно из года в год,
Являсь «благодетельным ангелом»,
Увеличивала доход.
Разгоралась такой феерией
И постепенно, страну за страной,
Своей каучуковой империи
Подчинила весь шар земной.

IX

Но динамику роста мировой добычи
Определяют не лордов прения,
А американское автомобилестроение,
Увеличившееся необычно.
Оно-то именно и явилось
(Приглашаю взглянуть на табличку¹⁾
Ведущим фактором, главной силой
В динамике роста мировой добычи.

X

	Автомобилестроение
1910 год	— 181.000 машин
1930 »	— 4.000.000 »
	Мировая добыча каучука
1910 год	— 81.000 тонн
1915 »	— 156.000 »
1920 »	— 343.000 »
1925 »	— 602.253 »
1930 »	— 900.000 »

XI

Каа-очу, или «слезы дерева»,
Доведенные до миллиона тонн,
Так Британия завоевывает Америку,
А в колониях — голод и стон, —
Все производство сосредоточено
В руках голландцев и англичан.
Потому-то в Америке по ночам
Не спит Эдисон озабоченный.

XII

Что он скажет своим патронам?
Многолетние опыты и наука,

Увы, увы, не дают каучука,
Необходимого Форду и Фаирстону.
Североамериканская флора,
До полутора тысяч различных объектов,
И никакого промышленного эффекта,
А гуаюла — только капля в море.

XIII

... И вот недавно из Калифорнии
На имя товарища Макогона¹⁾ —
«Расскажите про заросли горные» —
Поступило письмо Эдисона.
Мировой ученый просил поделиться
Советским опытом и семенами...
Но, невзирая на лица,
Мы ответили:
«Извиняемся, очень заняты...»

XIV

Получайте-де вашу монету,
Мы — квиты и впредь не горды.
Семян продажных в Союзе нету,
Кланяйтесь мистеру Форду...
Так, восторженно и заодно,
Мне об этом подробно рассказывал
В Кара-тау на зарослях горных
Профессор ботаники Разумов.

XV

Высота над уровнем моря —
1.400 метров.
Горы
Под солнцем и ветром.
И на склонах поросшей
Высоты —
Хорошие
Игольчатые кусты.

XVI

Тау-сагыз в цветении.
Глядим на орнамент гор:
Свет и тени —
Японский узор.
И весело глазу
Обозревать в часы досуга
Богатейшую семенную базу
Внутрисоюзного каучука.

¹⁾ Макогон В. Н. — управляющий трестом
«Каучуконос».

Песня десятая

I

В барханных песках Казакстана,
Похожих на кладбище предков,
На беспмятные курганы,
Где встречаются редко
Заросли дикой хондриллы,
Где пустыня, как вечность, угрюма,
В барханных песках Кара-Кумов
Райхан обрела могилу.

II

История дней минувших,
О ней позабудут скоро.
У последней заставы споткнувшись,
Вся орава поддалась в горы.
Бедняков не возмешь аллахом,
Не взнуздаешь молитвой аулы.
Кызыл-аскеры под красным флагом
Наваливаются свинцовым гулом.

III

Окружают, обходят с тылу.
На их стороне аулы.
Перепуганные, унылые,
Молятся аткамынёр и муллы...

IV

«О, бесподобный, милостивый, высокный!
Не знающий равных, ты — один.
Ты — на Западе и Востоке
На Юге и Севере господин.
Избавь нас от всякой напасти,
Не делай беспомощными, укрой,
От железа советской власти
Отгороди неприступной стеной!...»

V

«О, благосклонный!...» — взывали
муллы.
Но вслед за рядами кызыл-аскеров
Гексаметрами Гомера
Тронулись степи, поля, аулы.
«За Казакстан, за Советы!
По врагам революции!...» — метко
От рассвета и до рассвета
Грохотали орудия пятилетки.

VI

И, не выдержав сражения
У подножья Кара-тау,
Степная женщина
С растрепанною оравой,
Даже мертвых не погребая,
Ни командира — афганского кума,
Ни отца своего Урузбая,
Отступила в пески Кара-Кумов.

VII

И в те же числа из города Туркестана,
Дабы от ответственности укрыться
За бессмысленное восстание,
По направлению к границе,
В неведомые провинции,
Бежали алаш-ордынцы,
В том числе ее муж —
Айдаулетов Жунус —

VIII

Известный педагог и историк,
Готовивший кадры Светам,
О предательской роли которого
Курамысов писал в газетах.
А Райхан, уличенная родом
В авантюре с именем Кенесара,
Была зарублена своим же народом
У пустого колодца Кара-базара.

IX

Как оказалось, она самозванно
Называла себя и отца Урузбая
Представителями рода Абляя,
Знаменитого в Казакстане.
За нее погибали, страдали, верили...
Вечереющая пустыня немела.
Под ударом упало дикое дерево —
Ее обезглавленное тело.

X

От пустого колодца Кара-базара
Повернули домой джигиты,
Молодые и старые, —
Надо иначе жить.
Лошади в нетерпенье
Копытами били.
За плечами пески шевелились
Вокруг неподвижной тени.

XI

В Туркестане был праздник —
Первое мая —
Исторический день
1930 года.
На станцию Арысь,
Джигитовкою занимаясь,
С'ехалось множество
Разнообразного народа.

XII

Из аулов и городов,
Со всего Казакстана,
Из советских столиц
С пролетарским поклоном.
А также писатели
И корреспонденты иностранные
В международных
Пульмановских вагонах.

XIII

Праздновалось открытие Турксиба —
Казакского первенца пятилетки.
«Советская власть, спасибо,
Спасибо делам советским» —
Говорили казаки, любясь дорогою,
Уходящей степною ширью
Через весь Казакстан по зеленым
отрогам,
Соединяя Азию с хлебной Сибирью.

XIV

Без владетельных баев и аткамынерог
Строилась жизнь Казакстана.
Дефилировали с барабаном
По улицам пионеры.
Юные кадры Востока,
Социалистическое племя...

И наконец немного
О главной проблеме.

Песня одиннадцатая

I

За днями дни — крутые годы,
1931-й и 32-й,
Заводы, заводы, заводы,
Домны, шахты и Днепрострой.

Всего не охватишь, как ни рассказывай.
Встает промышленный Казакстан.
Но что с тобою, товарищ Разумов,
Ты подымаешь наган?

II

Не торопись примеривать
Смерть на горячий лоб.
Знаешь ли ты, что дерево,
Из которого сделают гроб,
Уже растет над тобою высоко?
Что же ты, милый друг,
Безрассудно и одиноко
Из собственных рук?

III

Подобает ли так Колумбу,
Или работа не впрок?
Остановись, безумный,
Не опускай курок.
Минутная слабость, уныние?
Один-на-один?
Оранжевые и синие.
Пред тобою толпятся дни.

IV

Не обрывай их, не укорачивай:
Жизнь коротка.
Замечательные задачи —
В твоих руках.
Творчество и самоубийство
Несовместимы, поверь.
Не торопи же выстрелом
Смерть...

V

Странную я узнал историю.
Она для меня — урок.
Но вернемся в степные просторы
И подведем итог.

VI

Акклиматизация иноземных
каучуконосов
Дала освоенье мексиканской гуаюлы,
Открытие хондриллы поставило
вопросы:
Отменить золотой калым,
Ежегодно выплачиваемый импортерам,
И, времени не тратя зря,

На основе изучения союзной флоры
Поставить добычу своего сырья.

VII

Непреложная логика событий,
Направленность воли людей,
И вот мы подходим к ряду открытий
Последних лет и вчерашних дней.
И из тьмы дооктябрьской погоды
Возникает новая статья:
Новая промышленность, плантации,
заводы.
Что и требовалось доказать.

VIII

Каучук — это гвоздь строительства.
Возьмите любую из отраслей,
По статистическим данным
правительства,
От гигантов промышленности и
до полей,
В автомобилестроении и
электрификации,
В санитарии и обороне страны.
Потребление каучука должно
подниматься
На уровень американской волны.

IX

Без резины нет электричества,
Ни тракторов, танков, противогозов,
Ни аэропланов —
крылатых лечуг.
Управляет промышленным планом
Его величество

Черный король —

К а у ч у к .

X

И здесь начинается Казакстан,
Каучуконосная наша Бразилия,
Самая замечательная из стран
По промышленной стати и стилю.
И здесь начинается драма
Ботаника Разумова, она
Пугает меня, как яма,
Как холодная глубина.

XI

Товарищ Разумов, о тебе,
к сожалению,

Я сказал очень куцо.
 Человек моего поколения,
 Командиров и жертв революции.
 Твердые мускулы, нервы тугие,
 Впору красноармейский шлем.
 О нас напишут другие
 Немало прекрасных поэм.

XII

О нашей молодости, сожженной
 На огне героических лет,
 О наших красивых женах,
 Которых не было и нет.
 О поступи первого строя
 По стропилам крутых дисциплин.
 Быть может, еще с тобою
 Мы пойдем на фашистский Берлин.

XIII

Научно-производственные работы:
 Доклады, итоги, план.
 Но не эти теперь заботы
 Отягощают разумовский талант.
 Здесь выступает иная проблема,
 Обнаженная, как у Золя...
 Итак,
 Начинается драматическая поэма...
 Но до следующего раза. Селям!

XIV

Быть может, скоро, пораздумав
 Над драматизмом наших лет,
 Я к Разумову в Кара-Кумы
 Вернусь дописывать портрет.
 И встанет за штрихами века,
 За лесом строек наш разлад:
 Несовершенство человека,
 Но совершенные дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I

За днями дни — крутые годы,
 И вот за плечами 32-й.
 Заводы, заводы, заводы,
 Домны, шахты и Днепрострой.

II

Тяжелая промышленность и
 электричество,
 Индустриальные дали.
 Каучук синтетический,
 Каучук натуральный.

III

Так рождается будущее
 В сегодняшнем дне упорном.
 Дорогу осилит идущий,
 Трудись — расступятся горы,

IV

Дерзай — завоеешь небо.
 О, человек — борец, пролетарий,
 Не успокаивайся, где бы ты ни был,
 На любом из полушарий.

V

Все достижения преходящи.
 Но ежедневно (твори и помни)
 Над потухнувшим днем вчерашним
 Зажигается новый, светлей и огромней.

Октябрь 1932 г — май 1933 г.

Москва

¹⁾ Примечание К песне девятой, стихам IX и X После 1930 г. в американском автомобилестроении и мировой добыче каучука, как и во всей капиталистической промышленности, произошло резкое падение — кризис Но об этом подробнее другой раз. — Г. С.

Камни и корни

БОР. ПИЛЬЯК

Комментарии и обвинение писателям

(Окончание ¹)

3

У Пильняка в «Корнях» есть следующие рассказы.

«... взбушуются воды океана бурей, утихнет буря, — и волны лягут, вода сравняется. И — поелику земной шар есть шар, омываемый со всех сторон водамц океана, — вода сравняется в шар. Вулканическая деятельность земли накидала на землю горы. Идут века, выветриваются горы, размываются водами, перекапываются человеком, заполняются долины лёссами и песками. И — пройдут века, еще десятки веков — земля будет ровна, как лысина почтенного англичанина.

«Все уравнивается, и идеальная геометрическая форма есть шар, у которого нет никаких углов. Психическая и бытовая геометрии — всегда были, есть и будут построены на началах геометрии евклидовой.

«Поистине земной шар переживает сейчас эпоху окончательного узаконения геометрической формы шара. Ибо — не только пароходами, купцами, миссионерами, машинами и пушками, — но и знанием, знанием — окончательно изборожден земной шар. Ибо заборы и «великие стены» национальных культур руются под железным шагом знания, уравниваясь в знании и труде, расплескиваясь через эти заборы, не считаясь даже с антропологией европейца, негра, япон-

ца, полинезийца. И вот задача — посмотреть, как, какими силами Япония разрушает старые свои заборы и какими умениями сама перебирается через заборы иностранствий.

«Геометрическая форма шара. Сердце японского народа в старом, ум в новом. Пусть останется на совести тех, кто это утверждает, пусть сойдет за хороший образ утверждение, что японский народ надел на столетие маску. Армия, флот, фабрики, заводы, торговля — все это взято с Запада, и говорить о японских пушках, которых, к слову, я не видел, — это то же, что говорить о системах пушек английских, немецких, прочих. Медицину японцы целиком взяли европейскую, с немецкой фармацевтической записью, выкинув гадалкам жен-шени и лю-и. А заводы японцы строили так. Они выписывали из Германии и Англии машины и инженеров. Инженеры ставили машины и руководили ими. С инженерами заключали договоры на три-пять лет. Эти годы проходили, приходил срок договору. И в день срока англичанину или немцу у ворот завода очень вежливо предлагали пройти в контору. В конторе, на полу, за традиционным чаем дирекция благодарила инженера. Ворота завода были заперты для инженера навсегда. Там на его месте стоял японец, тот самый, который в течение этих лет безмолвнейше исполнял все требования инженера и был у него на

¹) См «Новый мир», кн 4 с. г.

побегушках. Инженер навсегда покинул Японию, чтобы всячески ее ругать.

«Геометрическая формула шара складывается из ряда элементов. Искусство всегда есть та «крыса», по которой моряки узнают, как течет корабль¹⁾. В Японии, во всем Токио существует только один театр европейского типа — Цукидзи, театр Осанаи²⁾. Когда, вернувшись, уже в Москве, я показывал фотографии Качалову и Лужскому, они, Качалов и Лужский, находили на этих фотографиях самих себя. Осанаи так ставил вещи Чехова, что взяты были не только декорации, но и мизансцены. Осанаи переиграл почти все постановки Художественного театра. В почтительнейшей рамке у него висит в театре Станиславский. Осанаи считал Художественный театр — лучшим в мире. И работа Осанаи в Японии равнозначна работе Мейерхольда в России (вот еще одно доказательство «наоборот», — ибо девяносто процентов театральной революции Мейерхольда — так же, как Осанаи у Запада, — взято Мейерхольдом у восточного театра). Театр Осанаи — революционный в Японии театр. Когда ж я пришел впервые на классический японский спектакль, в Кабуки, я понял, что многое я уже видел у Мейерхольда. Театр Осанаи — единственный в Японии европейский театр, — и множество есть театров в Японии классической японской трагедии.

¹⁾ И роман Кагава тому свидетель!

²⁾ Глосса Кима Осанаи Каору Родился в 1891 году Окончил литературный факультет Токийского университета Автор ряда романов, новелл, драм и теоретических работ по театру. Организовал вместе с одним из лучших актеров японского классического театра Итикава Садандзи «Свободный театр», который наряду с театром проф. Цубути открыл новую эру в истории японского театра В 1926 году Осанаи руководил театром Цукидзи в Токио На сцене этого маленького театра ставились вещи Стриндберга, Газенклевера, Чехова, Метерлинка, Л. Толстого, Чапека, Пиранделло, Горького, Вильдрака, Кайзера и О'Нэйля Три постановки Осанаи подвергались запрещению со стороны полиции. Осанаи умер в 1927 году.

«В Токио, на холме Кудан, при храме Ясукуни я видел но — те религиозные мистерии, которые суть прародители театрального действия, а в Осака я был в кукольном театре, который также есть прародитель театра теперешнего. На но артисты играют в масках. В кукольном театре играют куклы, величиною в человека, по сцене их двигают люди. И до окончательнейших пределов доведена условность театрального действия, когда зритель, отдавший в прихожей гэта, сидящий на полу, должен не видеть на сцене «никтошек», которые управляют куклами и помогают артистам, — и должен представить, что эти куклы и люди, говорящие и поющие голосами чревоушителей, говорят нормально. Но и кукольный театр окончательно поросли сединою. Мне показывали на но маски, которым пятьсот лет. В театрах же Эмбудзьо, Кабуки, Тэйкоку — в классических японских театрах — у каждого театра есть свой храм, храмик, где курится сандаловая смола и где хранятся священные реликвии театра. А артист Утаэмон Накамура, знаменитейший артист, играющий женщин, восьмидесятилетний старик, — есть тринадцатый в роде артистической династии Утаэмонов. И при мне однажды в театре вышел на сцену старейший из династии артистов, с ним вышел молодой артист, молодой стал на колени, и старик оповестил, что старший в роде молодого умер, этот молодой берет имя умершего и будет честно нести его до конца своих дней. Около сцены в этих театрах выставляются плакаты, на которых написаны имена артистов и благодарность зрителям, посетившим театр.

«И кто знает, что вращающаяся сцена и «дорога цветов» (дорога цветов, в элементарном зачатии, имеется в России только у Мейерхольда и ею пользовался Вахтангов в Турандоте), — что вращающаяся сцена, дорога цветов и использование прожекторного света — взяты европейским театром у восточного!? — при чем у нас на сцене только один вращаю-

щийся круг, а в японском театре — два¹⁾). Женские роли в японском классическом театре играют мужчины. Там, за кулисами, в уборных Утаэмон Накамура, Канья Морита, Байко Оноэ, Косиро Мацумото, Содзюро Савамура — у этих знаменитейших японских артистов — перед уборной надо снять башмаки, надо поклониться артистам в землю. В уборных — аскетическая чистота, монастырская простота. Подушка перед зеркалом. На подушке артист. Сбоку хибати. На столике письменные принадлежности. Столик с гримом. Мацускуэ Оноэ, восьмидесяти четырехлетний человек, надписал мне на память иероглиф счастья, лучшую вещь, которую я вывез из Японии.

«Артисты гримируются так, что их грим похож на маски. Грим остался

¹⁾ Глосса Кима В 1668 году в театрике Каварасакида впервые была устроена деревянная тропа, пересекающая весь зрительный зал, концом перпендикуляра упирающаяся в сцену Тропа была предназначена специально для того, чтобы на ней раскладывали актерам подношения Но вскоре на этой тропе стали шествовать и бегать по ходу действия И она стала незаменимой и неотъемлемой частью сцены Между прочим в театре но, театре асикагской эпохи, фигурирует мост — хасигакари, который может показаться прототипом «дороги цветов» Ныне историками театра непоколебимо установлено, что мост не имеет никакого отношения к «дороге», последняя развила совершенно самостоятельно Уже во втором десятилетии XVIII века на японской сцене стали применяться технические ухищрения История японского театра сохранила имя крупного сценического новатора в Эдо — Накамура Дэнсити, изобретшего движущиеся декорации и परिवорачивающиеся сценические коробки Этот Всеволод Накамура делал полные сборы в театре своего имени — «Накамура-дза», показывая остроумные фокусы сценического оформления В пятидесятых годах XVIII века все театры стали уделять острое внимание технике моментальной смены сцен, и здесь была поставлена проблема о верчении сцены Вначале на самой сцене ставили площадку на колесах, и три-четыре ниточки медленно поворачивали ее, но в 1793 г — в год французской революции — на японской сцене тоже произошел переворот Один из оформителей догадался построить сцену наподобие карусели или волчка Вскоре сцена весело закружилась, и стало навеки возможным мгновенно менять сцену и одновременно показывать два действия, происходящие в разных местах

от веков масок. По гриму, по цвету грима, по тому, как подняты или опущены брови или углы рта, — зритель должен знать, какую роль — благородного человека или злодея, счастливого или несчастного, прочее, — какую роль играет этот человек. Пусть грим будет ступенью в мир театральных условностей, рожденных веками японского театра. Ибо, как грим, костюмы, декорации, свет, — все условно и в этой условности абсолютно строго учтено. Каждый жест актеров, манера его поступи, его движение, его голос — все в своей условности регламентировано. И — какая красота возникает вдруг в этой окончательной условности, где ничто не учтено, где каждый жест, каждая интонация голоса, все выверено так, чтобы нести свои капли в копилку красоты. И как трудно после японского театра первый раз видеть европейский, где актеры слезли с котурн и ходят, кажется, как им бог на душу положит, и ходят во мраке. Во мраке — потому, что такого количества света, который есть в японском театре, нет ни в одном европейском театре, ибо на сцену в Японии бросается столько света, что там можно кинематографировать.

«Я пришел в театр в два часа дня. Я уйду оттуда в десять вечера. Я погружаюсь в мир условностей, где восьмидесятилетний старик играет девушек, где пьесы даже современных авторов (Дубоути — современного японского Шекспира, как его там называют) берут сюжеты из токугавской эпохи бытия самураев, где абсолютная сентиментальность и красивость. На сцену в сопровождении никтошек — дорогой цветов — идет артист. Он идет так, как обыкновенные люди не ходят. По тому, что лицо его мелово-бело, я знаю, что это несчастный герой. По тому, что он в белых одеждах, я знаю, что он благородный, неправильно гибнущий герой. Он идет дорогой цветов минут пятнадцать — вечность в театральном действии. Все глаза устремлены на него. Но вправо от сцены на помосте сидят три музыканта. Они играют на

сямисэнах, и один из них голосом, идущим из желудка, никак не естественным, рассказывает историю героя. Он кончит рассказывать к тому моменту, когда герой пройдет дорогу цветов и придет на сцену. Никтошки, провожающие героя, одеты в черное. Они в масках. Их надо не видеть, как они поправляют костюм на героя, как они из маленького чайника дают промочить ему горло, как они, к тому моменту, когда герой приходит на сцену, перетаскивают декорации. Их не надо видеть, но я слежу за ними, чтобы уловить фокусы того, как они меняют на сцене—на глазах у зрителей—города и замки на морские берега и горные трущобы,—как их волей плывут сампаны и движется целый остров, декорации на котором построены во всех трех измерениях, как они передевают на сцене артистов. Я слежу за ними, за этими черными людьми в масках. Черными своими халатами эти люди должны были бы разрушить красоту света и красок. И я не успеваю проследить за ними в этой самурайской пьесе, действие которой идет за сценой, о действии которой узнается из рассказа сямисэнщика, а на сцене видна только иллюстрация к этой длинной самурайской истории.

«Злой даймио уничтожает весь род своего вассала. Это рассказывает сямисэнщик. Один из сыновей вассала тайно учится в народной школе. Даймио посылает другого своего вассала убить этого мальчика. Сямисэнщик рассказывает, что этот второй вассал поклялся убитому вассалу сохранить жизнь его сына. Дорогой цветов идет вассал, посланный даймио на убийство. На сцене проходит — замок даймио, народная школа. Сямисэнщик рассказывает, что в этой же школе учится и сын идущего убивать. На сцене, пока герой идет по дороге цветов, показано, как мать ласкает своего сына. Все это кончается тем, что отец, чтобы сохранить, как он поклялся, жизнь сыну убитого вассала, вместо этого мальчика убивает своего сына. Он отрубает голову своему ре-

бенку. Мать и отец тоскуют над головой сына. Всеми условными жестами и интонациями голоса отец передает страдания. Сямисэнщик уже молчит. И зрительный зал во мраке рыдает. И я чувствую, что и у меня в носу щекочет от этой наивной мелодрамы.

«Или: сямисэнщик рассказывает, а артисты иллюстрируют, как—в грозу, в молнию — княгиня-мать потеряла сына. Прошли годы. Мать, в тоске и обеднев, сошла с ума. Она ходила всюду, разыскивая сына, нищая старуха, и всюду рассказывала, как в грозу умер ее ребенок. Сын же ее не умирал. Он попал в буддийский монастырь, там рос и учился, и стал первосвященником города Нара. И там старуха-мать и сын-священник встретили друг друга. Сын узнал мать. Мать не узнала сына. И опять в этот момент, когда сын и мать плакали друг около друга, плакал и зрительный зал.

«На мой ум: только наивно. На мой глаз: удивительно, прекрасно, потому, что до Японии мне нигде не приходилось видеть такой продуманнейшей красоты, условности, доведенной до классики, рожденной но, созданной династиями актеров, живущих за маленьким театральным храмиком.

«И для пропорции формулы шара: один европейский театр и десятки классических. Многие писатели, по моей анкете, никогда не ездили на лошадях, сразу с курума (рикша) пересев на автомобиль и электрическую дорогу. Приняв машинную Европу, нация японцев за последние семьдесят лет увеличилась в своем росте на два вершка, — нация, которая столетиями огсживала ноги. И опять надо думать о наобороте и о шуме гэта. Если национальный шум Японии — шум гэта, то национальный запах Японии — запах каракатицы, ибо из каракатицы делается тушь, а каракатица — и свежая, и сушеная — продается в изобилии для еды, и на мой нос каракатицей пахнут даже санталовые курения. Студент Исида,

с которым я познакомился в Японии и который со мной приехал в Россию, на мой вопрос — как он с русскими кушаниями? — ответил:

« — Спасибо, я привык, только, извините, я никак не могу привыкнуть к сметане».

«Сметанного понятия в Японии нет.

«Ну, а мы должны были привыкать жить совершенно без хлеба, есть каракатицу, маринованную редьку, горькое варенье, сладкое соленье, черепах, ракушек, сырую рыбу, сливы в перце, десятки кушаний за обедом, в малюсеньких лакированных мисочках, есть двумя палочками, сидя на полу. Пищу — мастерство кухни — тоже надо считать искусством.

«Всякое искусство — и искусство пища, театра и живописи — все это есть те монументы, которые возникают надстройками над бытом и, перешед бытие, бытие утверждают. Мейерхольд — революционер западного театра. Осанаи — революционер восточного театра. Мейерхольд — в зависимости от восточного театра. Осанаи — в зависимости от западного театра, от Московского Художественного. Японские классические картины в императорском музее, написанные сотни лет назад, есть то, к чему сейчас стремятся революционнейшие, левейшие художники Запада, — есть последнее слово западноевропейского мастерства. А на выставке Национального живописного общества, где были выставлены полотна тридцати с лишним современных японских художников, только у четырех-пяти — у Сахара, у Тамака, у Такаяма, у Мураками — сохранилась старояпонская манера письма. Работа остальных есть французский, голландский, немецкий классический Запад. Иль — американский плакат. Достижения этих последних есть тот канон, от которого на Западе теперь освобождаются — во имя классической восточной живописи.

«Но вот существеннейшее: монументы возникают только тогда, когда фундамент к монументам у нации есть материальные и духовные нако-

пления. И работа Осанаи, работа художника Кавасима, их достижения стоят теперь на такой высоте, что Осанаи был бы желанным режиссером в европейском театре, а картины Кавасима нашли бы себе место на выставках парижского Салона».

Пильняк 32-го года не опровергает этой главы.

Средневековье создавало, создало и оставило не только Рабле, шутки которого напоминают шутки японского классического театра, не только Шекспира, который очень попользовался б японскими классическими сюжетами, — но и этот классический японский театр.

Англичанин в классическом театре услышал бы средневековую английскую историю о горбуне Лосторе. Немец прочитал бы на пилястрах театрального чайного домика германскую балладу. Покинутый родителями, ростом с мизинец, с иголкой вместо меча, ножнами которой служит соломинка, самурай, он приходит в Киото и женится на дочери министра, — разве это не европейский мальчик с пальчик?

Рыбак Урасима в сети поймал черепаху. Рыбак Урасима выпустил черепаху в море. В полночь женщина дивной красоты разбудила рыбака. Она повела его, — куда — об этом рассказано в «Тысяче и одной ночи», это перефразировано Пушкиным в «Сказке о рыбаке и рыбке», по деревням в России рассказывается об этом в сказке о царевне-лягушке.

Храбрый Сусаноо идет войной на дракона — змея-горыныча, поедавшего девушек, — и храбрый Сусаноо повторяет хитроумного Одиссея, опьяняя дракона чудодейным вином. Кольцо-невидимка — Сандрильона, российская Золушка.

Писательница Мурасаки Сикибу написала роман о похождениях знатного юноши Гэндзи Моногатори, — японский Линьон не обладает терпеливостью и сентиментализмом европейского. Идиллии там кульминируют не воздыханиями, но актом совокупления, — но происходит все это в сени кустов, при луне, в цветочных ароматах, и женщи-

ны балдеют в любовной томности не хуже европейских.

Мсть. Материнское самоотвержение. Наказанные измены. Андромаха, продающая свою верность, чтоб приобрести верность мужа. Женевьева Брабантская. Принц, влюбленный в гейшу-куртизанку. Гейша-куртизанка, любящая принца, во имя своей любви, чтобы спасти от себя принца, отдающая себя тюрьме правосудия. Кальдерон. Шекспир. Даже Мольер. Даже чуть-чуть российский Островский. И конечно Сервантэс — милейший Санчо-Пансо, донкихотейший Дон-Кихот. Самурай с честью и самурай без чести. Плутующие бонзы. Воры. Йосивара. Прелюбоден. Чудесные беспутники. Честные купцы и купцы-разбойники, и купцы-новаторы, и ростовщики. Сводни. Рогоносцы. Человечнейшая — и вселюднейшая — средневековая — японская в такой же мере, как и европейская — картина!

Следует заключить, что средневековые у японцев было хорошее, обстоятельное, отстоявшееся.

И следует рассказать коротко содержание пьесы крупнейшего современного японского писателя Кикюти Кана (по глоссе Кима). Тоннель, о котором идет речь, существует в реальности на острове Кюсю. До появления этого тоннеля приходилось проходить, повисая над гулкой пропастью, мостом, который опоясывал отвес скалы. Многие путники, у которых был неудачливый гороскоп, низвергались в бездну этого моста. Один эдосский самурай, после невольного убийства своего владыки, проводивший многогрешную юность, уставший от наслаждений убийств, обрил себе голову и, надев четки, пустился в странствие. Он пришел в деревню, около которой висел смертоносный мост. И он запыхав желанием вооружить жителей окрестных деревень кирками и продолбить через скалу проход. Страстные речи пришельца ударились о скалу недоуменного изумления. Рьокай, так звали самурая, взял кирку и принялся за работу. Вид человека, колотящего по скале, был поистине жалким. Когда Рьокай через год, прорыв около двух сажен, скрылся в скале, его почти все

забыли. Через четыре года пробоина в горе была длиной в семь сажен. На девятом году глубина пещеры уже достигла 54 аршин. Стук кирки из дыры делался все глуше и глуше. Окрестные жители, не читавшие Шекспира, сказали себе: «— Если это и безумие, то довольно систематическое» — и стали по-немногу помогать Рьокаю. Рьокай работал, неутомимый, ровный, безмолвный. На восемнадцатом году после начала работы Рьокай не мог уже ходить. Он мог только стоять на коленях и бить киркой. И тогда в деревню забрел один самурай, который, расспросив словоохотливых жителей о личности Рьокая, вдруг просиял и, схватившись за рукоять меча, бросился в пещеру. Добежав до места работ, он схватил полуслепую бонзу за шиворот и громко назвал себя. Он оказался сыном самурая, павшего когда-то от руки Рьокая. Сыну убитого пришлось, согласно велениям самурайского обычая, по достижении совершеннолетия, пойти разыскивать убийцу отца, чтобы выполнить акт священной мести. Он наконец пришел к цели. Помощники Рьокая камнями отогнали самурая и после долгих увещаний вырвали у него согласие подождать до конца работ, до завершения тоннеля. Первое время самурай зловеще сидел в стороне, наблюдая за работающими, но через несколько дней решил присоединиться к ним, чтобы ускорить хотя бы на минуту приход сладостного мига — удара мечом по шее Рьокая. Самурай взял кирку и, став на колени рядом со смертельным врагом, неистово заколотил по камням. Самурай и бонза бок о бок, плечо в плечо, проработали ровно год и еще шесть месяцев, и в одну сентябрьскую ночь — как-раз на двадцать первый год после первого удара — кирка Рьокая, звякнув, застряла в скале. Открылось звездное небо, огоньки деревень на горах и берег реки. Бонза бросил кирку, хрипло крикнул что-то и упал к ногам самурая, подставив свою голову под его меч. Но тот, потрясенный и смятенный человеческим подвигом, чудовищной победой человеческих рук, торжеством человеческого труда, молча опустил на колени, подняв ры-

дающего старика с земли, и обнял его. Так повествует Кикиути. Если бы Кикиути приехал в Москву и поучился хотя бы месяц в КУТВ'е, что на Страстной площади, он, вне всякого сомнения, написал бы еще раз об этом тоннеле. Кикиути отбросил бы в сторону мелодраматический сюжет с историческим бонзой и всепрощающим самураем и написал бы о том, как крестьяне нескольких деревушек провинции Будзэн двадцать с лишним лет непоколебимо боролись с каменной стихией, о том, как они ее великолепно победили!

Пьеса Кикиути о Рюкае написана лет десять тому назад.

Пильняк 32-го года просит акцентировать, что классических театров в Японии десятки, кукольный театр и но — существуют. Театр Осанаи не погиб после смерти его основателя, окончательно превратившись в революционный театр, в коем разыгрываются не только революционные пьесы, но и революционные трагедии действительной жизни, в роде той, когда в дни пребывания Пильняка в Токио, в мае 32-го года, из помещений театра был разогнан съезд левых писателей, сопровождаемый полицейскими арестами.

Но Пильняк доводит до сведения, что к театру Цукидзи прибавились еще несколько видов европейского театрального действия. Это в частности — пролетарская синяя блуза, рабочие районные театры.

И тоже в частности — Такарадзюку — нечто в роде американских бурлески и европейских мюзик-холльных номеров. Это женская танцовщицкая труппа, балерины, которые танцуют и пачкой по сто человек, и в одиночку. Они танцуют, естественно, в европейских платьях или — точнее — в европейском бесплатии, с ногами выше головы или с сотней ног. Сотней ног они изображают сопение паровоза. Двумя шеренгами полсотен ног они показывают, как японцы неверных и коварных китайцев поражают на полях Маньчжурии. Одинокие пары ног выше головы наслаждаются одиночеством заглядывания под юбки. В Такарадзюку, как в Париже и Чикаго, при помощи ног не только воз-

буждается мужской половой инстинкт, не только подается искусство нового танца, — но и передаются политические новости.

Такарадзюку — дополнены барами вокруг Гиндзы, совершенно естественно. Эстетическое рассуждение Пильняка о геометрической форме шара — пусть существует!

4

И есть у Пильняка в «Корнях» следующее.

«Исследователи строения земного шара говорят, что Японский архипелаг являет собой две складки вулканических цепей, пересекающие друг друга, из которых одна идет со дна океана, другая с Курильских островов, и что не исключена возможность, если обе эти вулканические системы будут действовать одновременно, — не исключена возможность того, что весь Японский архипелаг в громе (или, точнее, беззвучно) землетрясений и вулканических катаклизмов исчезнет с лица земли, провалившись в море. В беззвучии землетрясения: при землетрясении 23-го года шум был так велик, что он не был слышен. Когда люди говорили друг с другом, они видели, что губы двигались кинематографически. В эти дни землетрясения, продолжавшегося четверть часа, на одной из площадей Токио умерло, сгорело, задохлось в дыму сорок тысяч человек. Самым страшным было то, что люди — пролетарии, купцы, мужчины и женщины, министры, шедшие и ехавшие по своим делам, друг почувствовали, как потерялась их воля. Не кто-нибудь иной, а госпожа земля — кинула людей вверх, тряхнула о потолки и стены, швырнула к другим стенам или вон на улицы. Тогда на токийских площадях люди сгорали и задыхались в течение трех дней.

«Первым движением японцев, которое было в момент землетрясения, это было — не двигаться. В Иокогаме разорвало плотины. Вода из моря полезла на землю. Вода из озер за-

ливала парки. Нефть из цистерн горела на воде. Был такой шум, что для человеческого уха он превратился в беззвучие. Министры потеряли свои квартиры. Тогда пришла ночь, пылающая невероятными заревами. Министр Патек оказался в одном из парков, по грудь в воде. Там он встретил нето английского, нето германского посла. По грудь в воде посыл и министр вели соответствующие их рангу разговоры и возмущались обстоятельствами.

«Той ночью между огней, по шею в воде с бумажными фонариками, ходили люди, выкрикивая:

«— Люди, кто может сказать о таком или таком-то, там-то работающем, принадлежащем к такому-то роду и носящем такое-то священное имя?!

«Так одни разыскивали других, дети отцов, отцы детей. И отцы, и дети, матери, мужья и жены, братья и сестры — не находили друг друга. Или находили друг друга. Отец нашел свою дочь. Они не бросились друг другу в объятия, нет. Они поклонились друг другу тем глубоким поклоном, которым кланяется японская вежливость, с руками на коленях и с шипением губ. Они поздравили друг друга добрым вечером. Они не коснулись друг друга.

«Первым движением японцев в землетрясение было — не двигаться, осмотреться, решить, организовать а т ь н е р в ы. Сорок тысяч человек погибли только на одной из токийских площадей. Вокруг горели кварталы. Людей засыпало горящими галками. Они стлевали в огне. Пожар кварталов с'едал кислород. Люди обугливались от сжигающего жара. Кругом горели кварталы. Людям некуда было уйти. — Когда, после пожаров, оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что мертвецы умерли, обуглились—в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами. Живые под мертвецами нашли живых детей. Взрослые, организовано, обугливаясь, умерли без паники, почти без паники и — во всяком случае, обугливаясь, — углем

своих тел спасали детей. Люди обугливались стоя.

«В беззвучии кинематографа в Токио и Йокогаме раскалывались многоэтажные дома, рассыпались, падали вниз. Из расколов, из щелей летели люди, кастрюли, хибати, куски людей.

«Япония еще не окончательно отлила свою форму. Восточные ее берега все время поднимаются, западные — уходят в море. В Токио, в Асакуса, там, где стоит храм Каннон, на памяти человечества было морское дно. Мне показывали деревушку, домики которой наполовину опущены в воду, домики не разрушены, как музейный обиход: десяток лет тому назад они были простой деревушкой, земля под ними уходит. Фудзи-сан, гора, о которой знает каждый человек в мире, и она каждое десятилетие меняет свои очертания. Земля Японских островов, тех островов, на которых живет тысячелетия японский народ, — эта земля движется всегда, постоянно, каждую минуту. Эта земля сотрясается грохотом вулканов. На эту землю в эти грохоты вулканов набрасываются волны океана, чтобы дать новый кусок земли или отнять. На этой земле народ живет тысячелетия. Я летал над Японией от Токио до Осака. Японский архипелаг — красивейшее в мире место, красивейшего моря, красивейших гор, дорог, пагод, храмов, пейзажей, зелений, голубизн, оранжевостей, тишины: все это совершенно верно. Но оттуда, из высот, с тысячи метров над землей, было видно, как эти японские горы выпирают из голубого моря. Сверху это — черный злой камень, или вылезший из глубин, помимо его воли, или — тоже помимо его воли — просыпанный с неба, — злой камень, не нахожу другого слова, — страшная земля, изорванная обрывами и водопадами, разметанная камнями, лысыми вершинами, — злобная желтая земля, желтая, как лицо иссохшего старика-японца. Следовало бы недоумевать, — как у этого солнечного, корней солнца, всегда привеливо улыбающегося народа, народа,

душу самурая отождествляющего с цветком вишни, — как у этого народа могут быть такие страшные, чортоподобные, ужасные боги, покоящиеся в их храмах? — тем паче, что каждый умерший в Японии переселяется в полубогов. С самолета из-за гуч эта страшная земля была совершенно похожа — была судорогой чортоподобных японских богов, страшная, ужасная земля.

«23 марта 1926 года, в 3 часа 20 минут я впервые испытал землетрясение. Было все очень просто. Был подземный толчок. Чуть качнулся, заскрипел и зазвенел стеклами дом. Чуть качнулись вещи на моем столе. Чуть качнуло меня.

«За все недели и месяцы моего пребывания в Японии очень и очень много разговоров, которые велись со мной японцами, начинались фразами:

«— а вот до землетрясения»—

«— а вот после землетрясения»—

точно землетрясения суть исторические эры. Да так, в сущности, и есть для японцев

«Тогда, 23 марта, я принял землетрясение не в плане поломанных костей и сожженного человеческого мяса. Тогда, в ту минуту, когда меня толкнуло не чем иным, как госпожей землей, не остывшей еще от космических действий вселенной, — я повеселел на момент от прикосновения к космосу, к тому великому и неизвестному и таинственному, что именуется Земля, что именуется космическими силами. И мне стало торжественно. Я — бессилен перед гражданином космосом. Но гражданин космос был у меня в гостях. Это он толкает меня сейчас. Это я — участник, пусть пассивный, космических работ!.. — У источников горячих ключей, около гейзеров, наблюдая за дымом вулканов, я всегда торжественно думал о космосе, еще не остывшем для этих островов.

«Но землетрясений было много.

«Однажды нас потрянуло на улице. Улочка качнулась справа налево, сверху вниз, очень похоже на то, как получается на фотографических сним-

ках, если, снимая, толкнули аппарат. Ноги заплелись в беспомощности. Правда, у толпы первым движением было — не двигаться. Зазвенела и посыпалась посуда в соседней лавочке. Черные, пуговицами, вишенки глаз семилетней девочки раскосились в страшной, недетской сосредоточенности.

«И вот, каждое новое землетрясение никак не приучивало меня к себе, никак не делалось привычным. С каждым новым землетрясением все меньше было торжественности в мыслях о космосе. И уже не от мозгов, а со спины, от позвонка, приходил совершенно обыкновенный страх, самый разобыкновенный шкурный страшишко, — перед этим «гражданином» космосом, с которым ничего не поделаешь и который каждую минуту может тебя так тряхнуть, что ты вместе со всей Японией не найдешь себе места во вселенной.

«Я жил в Японии—месяцы. Японский народ живет по соседству с этим космосом—тысячелетия. Стало быть, должен привыкнуть к нему и привыкнул? Стало быть, научился бороться с ним, обходить его, приспособлять к нему свой быт? — Ломанные кости и испепеленные, обугленные человеческие десятки тысяч не даются даром. Легенды японского народа о божественности его происхождения рождены вулканами?

«Социологам надо иной раз посидеть на краешке кратера дымящегося вулкана, посмотреть космическую дыру кратеров и — никак не поплевывать на социологию, рожденную вулканами».

«... Причины, давшие Японии возможность капиталистически развиваться:

1) Наука и техника, готовые из Европы.

2) Дешевый труд.

3) Удачные японо-китайская, японо-русская и мировая войны.

4) Жесткая таможенная политика (в связи с войнами) по отношению ввоза и протекционизм по отношению к национальной промышленности».

«... Главным конкурентом Японии на Дальнем Востоке являются Соединенные Штаты. Япония готовит плацдармы для войны с Америкой. Но Япония сидит под пятой американцев, ибо единственное богатство Японии — шелк-сырец — покупается только Америкой — 40 проц. всего японского экспорта. Это в частности. Железо японцы ввозят, вырабатывая 1/2 проц. того, что вырабатывают U. S. A.».

«... Япония — нищая страна, страна нищего камня, шалашей вместо жилищ, бобовых лепешек вместо хлеба, тряпок вместо одежды, деревяшек вместо обуви.

«Я смотрю направо и налево. И я вижу — удивительнейшее, до сих пор неизвестное мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли, грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуковыми стенами, когда японский домик строится в два дня и в японском доме нет ни одной лишней вещи, вообще нет вещей в европейском понятии вещь, ни стула, ни шкафа, ни кровати, — одно хибати, будда, пара какэмоно: весь свой скарб японцу может снести на плечах. Хибати сохранился от тысячелетий. Оби, тот пояс, который красиво бабочкой висит на спинах женщин, есть рудимент постели, кои носились женщинами на спинах. (Ойран носили постели на спинах еще в семидесятых годах позапрошлого века, — матери носят до сих пор детей на спинах, работая с ними, с детьми, за плечами, в полях¹⁾).

«Живая Япония есть страна мертвецов. Завет японца прожить жизнь так, чтобы быть достойным предков, дощечки с именами коих стоят в алтариках, — завет синто — религия этого безрелигиозного народа. Япон-

ский народ даже в свою безрелигиозную религию, каждый японцу в отдельности внес правило, что всегда, какие бы ни были обстоятельства, пусть надо отказаться от куска хлеба, он должен найти правильный путь, пусть кривой, но всегда такой, который приведет к назначенной цели. Они перехитрили европейцев, этот единственный на земном шаре цветной народ. На площадях землетрясений народ умирал организованно. Я видел однажды, как пожарные лезли на горящую стену, чтобы свалить ее, — было совершенно ясно, что они погибнут под горящими обвалинами, которые собою они хотели повалить; они были совершенно деловиты, они погибли, свалившись вместе со стеной, — толпа приняла это как должное. Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из русских дипломатических работников, об этом писалось в газетах. Вы никогда ничего не узнаете от японца по выражению его лица, — выражение лица японца создано, а не возникло, — так же создано, как освобождение от боязни индивидуальной смерти. Каждый раз, когда я говорил с японцами, даже с моими друзьями, даже в часы отдыха и прогулок, у меня разбалывалась голова. За последние сорок лет нация японцев повысилась в росте на два вершка: это сделано. У японцев есть понятие — сибуй, — трудно перевести — оскоминный вкус, отказ от вещи, доблесть простоты, доведенной до оскомины. Сибуй упирается в бусидо, — в ту честь, которая указывает не иметь денег, быть преданным и доблестным, не бояться смерти и не иметь потребностей. Сделанная психика японцев никак не похожа на психику европейцев. И еще о сделанности. Надо быть врачом, чтобы сказать, чей антропологический тип — японца или европейца — более совершенен. Но без

¹⁾ Матери, работающие в полях с детьми за спиной, оказывается, оби и кимоно не носят, — смотри вышележащие справки — Примечание 32-го г

качества врача можно утверждать, что тип японца более «сделан», чем тип европейца, более отстроен. И в Англии, и во Франции, и в Германии, а в СССР наипаче — есть и рыжие, и беловолосые, и серноволосые, и сероволосые, всех цветов. В Японии — все черноволосые. Иноволосых — нет. Эта особенность распространяется и на все другие антропологические особенности.

«В июле в Японии пойдут дожди. Они будут идти неделями под ряд, в страшной жаре. Они не будут испаряться, все превратив в болото. Все будет покрываться плесенью, все будет истлевать в плесени и гнилы. Солнце будет палить сквозь банные клубы пара в плесени, в многонедельном удушьи, когда ни днем, ни ночью нет человеку отдыха. А в ноябре пойдут с океана ветры, тайфуны, принесут холодную изморозь и туманы, «петербургскую» погоду, когда в японских шалашах за хибатами сидеть — занятие невеселое. Пусть на глаз туриста Япония очень красива.

«У каждого народа есть свой шум.

«Улицы Лондона чопорно шелестят, там не гудят даже рожки автомобилей, толпа там движется с медленной скоростью грузов. В России, в годы революции, национальным шумом были грохоты пушек вдали, шопот в переулках и песнь идущих красноармейцев на площадях. Америка сопит автомобилями и воет джазом рекламы.

«В Японии три шума. Тишина, безмолвие храмов и парков. Шум падающего водопада, шелестящего ручейка в деревне. И — человеческий шум гэта.

«Гэта — это деревянные сандалии, скамеечки, которые японцы надевают на ноги, выходя на улицу. В гэта японцы едут на велосипеде. В гэта детишки прыгают на одной ноге. Гэта прикреплены к ноге двумя бечевками, продетыми между большим и остальными пальцами. Шум гэта тверд, как кость, как голый нерв. Шум гэта

страшен на ухо европейца, когда гэта скрипят деревом по асфальту.

«Шум каждой нации имеет свой смысл. Человеческий шум Японии: это костяной шум гэта.

«Автомобиль идет по улицам, залитым солнцем, цветами, пестрыми кимоно женщин, шумом трамвайных, автобусных, автомобильных рожков, простором площадей перед императорским замком, гамом американских быдлингов Гиндзы и Нихон-басси (японские быдлинги этажей по семь. Примечание 32-го г.), — окончательной теснотой национальных кварталов. И всюду главенствующий шум — шум гэта. В Уэно-парке, — так же, как в Хибиа-парке, как в Сибя-парке в Токио. Здесь в тени деревьев затаились национальный музей, храмы, чайные домики. Здесь под обрывом зарастает священными лотосами озеро. На острове среди озера — синтоистский храм. И здесь — в этом солнечный весенний день — тишина, пустая тишина, в роде той, что на Поочьи бывает в бабье лето.

«Мы едем к озеру Хаконэ. Поезда подходят к перрону каждую минуту, разменивают людей и мчат дальше. Поезд мчит мимо Йогогамы, по берегу моря, под горами, под горы. Мы едем до японо-библейской Одавара. Там мы берем автомобиль. И автомобиль несет в горы. Мы едем древнейшей дорогой самураев, путем из Киото в Эдо (нынешнее Токио), обросшим преданиями тысячелетий. Автомобиль лезет в горы, около обвалов, над обвалами, под обвалами — древним путем, соединяющим Восточную и Западную Японию. Там, внизу, обрывается со скал река. Направо, налево с гор свисли трубы, зажавшие воду для того, чтобы ее энергия превращалась в белый уголь. Через обрывы перекидываются висячие мосты, по ним в горы уходят электрические поезда. Сначала идут леса бамбуков, затем платанов, японской сосны, лиственниц, кедров, криптомерий, просто сосны. Дальше идет ель. И еще дальше — каменные остуженные голье громады. Оттуда, с этих громад,

можно шутить о том, что там за океаном видна Америка. И здесь наверху лежит снег, водопады выложили свои логовища льдом и холодом. Электрическая дорога повисла внизу висячим мостом, уперлась в скалу и ушла под камень, в тоннель. И тогда нам открылось озеро несравненной красоты, с водами, как небо в грозу, пустынными и прозрачными, как русский сентябрь. И в озере опрокинулся Фудзи-сан, раздвоившись, ставший над горами и опрокинувшийся в ледяных водах озера. Фудзи-сан — священная гора — покойствовал, величествовал над окружающими горами и над нами, в белом своем плаще снегов. У озера, где путь самураев огибает озеро стоят ворота, — граница между Западной и Восточной Японией. Тут рядом кладбище, таинственные японские могильные камни. Тут совсем недавно, только несколько десятков лет тому назад, средневековая застава спрашивала прохожих, — куда и зачем они идут мимо этой заставы?

«Мы мчали автомобилем в горах под, над и около обрывов, через пропасти, от жаркого весеннего утра до морозного зимнего дня, от бамбуков до елей и голых скал. Тоннельными и цепными мостами мимо нас уходила дорога, местная дорога, построенная только к тому, чтобы связать горных жителей с долиной и чтобы вывозить с гор леса. Я смотрел кругом и кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолоны, отограны руками от долин до отвесов обвалов. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний громадный труд может так бороться с природой, бороться природу, чтобы охлеть, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только огромный труд может перекинуть через пропасти мосты и врыться тоннелями в земные недра на десятки километров. Это только человеческий труд может так зажать в трубы стихии воды, **горные водопады, чтобы превратить**

их в белый электрический уголь. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнями, — и только одна седьмая отдана природой человеку для того, чтобы он садил рис. Рис может расти только в воде. Все долины Японии разрезаны полями величиной в среднюю нашу комнату. Земля на этих полях выверена по ватерпасу, чтобы вода на ней стояла ровно. Каждое такое поле по краям огорожено насыпью, чтобы не стекала вода. И все поля, все эти комматовеличиные учреждения для проращивания риса соединены между собой сложнейшей и требующей окончательной внимательности оросительной системой. Вся Япония долин выверена по ватерпасу. — Ох, сколь это сложнее, чем европейская триангуляционная — на бумаге — выверка земли!

«Японская земля очень красива еще не остывшая от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя, — пусть так. На самом деле чудесны глазу японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии — нищая я природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку — на зло. И тем с большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обратить и возделывать эти злые камни, землю вулканов, землю плесени и дождей. И — за всей экзотикой и красностью, за всеми поездками, миллионлотиражными газетами и прекрасными книгами — Япония — нищая страна, эта вулканическая держава. И понятно, почему японцы живут в шалашах, — понятно, почему едят ракушек, одеваются в тряпки, ходят босые на деревяшках, — это вулканическая держава организованного нищенства, нищенейшего экзистенциминимума. И — тем с большим уважением следует относиться к японскому народу.

«Национальные богатства государства создаются рудами железа и прочих металлов, каменным углем, нефтью, — тяжелой индустрией. Япония не имеет ни своего железа, ни каустики, ни нефти. Ее уголь не коксует. У Японии нет ничего, что обыкновенно, в стальной наш век, определяет национальную мощь государства. И тем не менее, Япония — великая держава.

«Мистер Смит из Шанхая, американский гражданин, так говорит о Японии:

«— Так это ж не страна, а чорт знает, что такое! — говорит мистер Смит. — Ведь все они — жулики и невежды, хоть и все время улыбаются. И — каждый японец — идиот. Это — чорт знает, что такое! — а как соберется пять японцев, с ними не столкуешься, переговорят.

«— А — если десять?»

«Мистер Смит молчит.

«— Десять японцев вместе — обжурят кого угодно в мире, — говорит сердито мистер Смит. — Но вы смотрите! — восклицает мистер Смит. — Это же не страна, а чорт знает, что такое, у них же ничего нет!.. — Ведь это форменные нищие!.. — у них же все плесневеет, костюма нельзя хорошего привезти.

«Япония — великая держава. Япония не имеет ни железа, ни хромссырья. И я вижу: то место, которое в Англии занимает кардиффский уголь, в Японии заменяется нервами, волей, организованностью. Нервы и воля японского народа и его нищенство есть та необыкновеннейшая рента, организованность своей создающая национальное богатство и национальную мощь. Этого я не видел ни у одного народа. Я слушаю шум гэта, костяной шум обуви. И этот шум есть для меня символ воли и нервов японского народа, нервов, сжавшихся до того, что они стали, как дерево бамбука.

«Старые народы, имеющие многовековую культуру, многовековый быт, —

затруднены в новаторстве. У таких народов их быт, их обычаи, их мораль и их культура, законсервированные веками, теряют гибкость, теряли способности к новаторству. И нации более молодые их обгоняли именно благодаря своей молодости и гибкости, к новаторству способные. Так было с Египтом, Вавилоном, Грецией, Римом, Индией, Китаем. Казалось бы, так же должно было бы быть и с Японией, сверстницей Греции. Япония наша в себе силы стать молодой страной, — силы, указывающие, что у этой страны — очень много молодости.

«Какие это силы?»

«Я смотрю быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетний быт и обычаи, и сознание, перешедшее уже в бытие. И то, что в Японии все грамотны. И то, как организована японская воля. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль, не оказался препятствием для западно-европейской конституции, заводов, машин, пушек.

«Какие это силы?»

«Развитие духовной и материальной культур, оказывается, не идет рука об руку. Далеко ли от Платона и Аристотеля, философов и мыслителей европейской древности, оазов человеческого духа вообще во все эпохи. — Далеко ли от них ушли Кант, Гегель, Толстой? — и можно ли с этими нашими днями сопоставить век Платона, век ручного труда и войн кулаком и камнем — с веком заводов, металлургии, электричества, железных дорог, авиации, радио? — Ребенок, он родился ничего не зная, ему десять лет. Ему показали автомобиль. Он ничего не знает о том, сколько человеческого труда и гения было затрачено на создание этой машины. Он в три дня научился управлять этой машиной. То, что достигнуто материальной культурой — культурой вещей — прежних веков, он принимает как норму, от которой надо идти дальше, и воспринимает устройство автомобиля с таким же трудом, как

устройство сохи. И другое. Ребенок. Для того, чтобы достигнуть культурного уровня его отцов, чтобы иметь право идти дальше в духовной культуре, он должен потратить тридцать лет, он должен потратить долгие годы. Толстого он может изучить не тем, что прочтет о нем, а только тогда, когда прочтет самого Толстого. И — сколько бы Толстых он ни прочитал, сколько бы научных дисциплин ни изучил, сколько бы ни проповедывали ему отцы — он по-своему расшибет себе лоб о любовь и ненависть, по-своему определит свое место под луной, создав свое оправдание своего места и своего назначения. И он все должен накопить сначала — от дикаря до Толстого и Платона. Ибо наследие предков, культура предков — биологическим путем передает культуру отцов — даже не промиллями, но меньшими единицами богатств. И тогда, когда материальная культура делает шаги по европейской сказке сапогами-семиверстами, — культура духовная тянется черепахою. В Америке колоссальная материальная культура, — но культура духовная там еще в пеленках, только сейчас встает на ноги. Черепаха духовной культуры японского народа заползла далеко.

«Ни одного Вестминстера и собора Парижской богородицы в Японии — нет, — ее храмы крыты соломой. Теперешние японские фабрики и заводы — не старше пятидесяти лет. Раньше заводов и фабрик в Японии не было. Японский быт упирается в землетрясение. Землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь. Народ опростался от вещи волей, не остывшей еще от вулканической деятельности земли. Японская материальная культура трансформировалась в волю и в организованные нервы, — жизнеспособнейшая культура «разумности», умеющая бороться даже с невзгодами вулканов. Япония — островная страна, — своей историей знает эпоху Токугава, когда Япония на два с лишком века заперлась от всех остальных на-

родов мира. Это дало Японии чрезвычайно высоко напряженный национальный инстинкт.

«И еще одна предпосылка. Естественно: когда строят завод, его лучше строить по последнему слову техники, — и не всегда, когда есть уже старый завод, пусть отстающий от должного уровня техники, есть возможность его перестроить, ибо издержки на его перестройку не покроют тех преимуществ, которые даст новый завод перед старым. Это обстоятельство ставило очень многие отрасли производства во многих старых странах на колени перед молодежью.

«Я поставил себе вопрос:

«— Какие силы японского народа дали ему возможность, единственному народу на земном шаре не белой расы, стать великой державой, стать в ряд великих держав? —

«И я отвечаю:

— «— Вулканы.

«У Японии не было своей материальной культуры, — и была старая, проверенная веками, духовная культура, — проверенная веками и вулканами, выправленная волей и нервами. Известняки и склероз материальной культуры не связывали руки японского народа (так например, как они связали руки Китаю). Островная психика была подчеркнута националистична, старая духовная культура и воля — нашли силы противостать европейцам. Дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строится по последнему слову техники, — дали право японцам бороться с европейцами. И решающим фактором в этой борьбе были воля и нервы Японии, рожденные вулканами».

... По поводу землетрясения 23-го года следует (Змеями Кима) сделать несколько дополнений. Есть классическая японская поговорка, состоящая из четырех имен существительных: «землетрясение — гром — пожар — отец». Она перечисляет квадригу наиболее грозных для японца явлений, расположенных в нисходящей градации. После землетря-

сения 23-го года японские социалисты, в чьих рядах вместе с катастрофой большое опустошение произвели жандармы и полицейские, пустили в обращение новую поговорку: «дзисин — кэм-пэй—кадзи—дзюнса», что значит: «землетрясение — жандарм — пожар — полицейский». В обоих случаях на первом месте по грозности стоит землетрясение. Великое землетрясение 23-го года избрало своими жертвами пять восточных префектур во главе с Токийской. В одиннадцать часов пятьдесят минут утра 1 сентября 1923 года земля в этих пяти префектурах внезапно прыгнула вверх на четыре вершка, а через несколько минут на побережье Камакуры, Дзуси, Кодзу с мощью, закачавшей вселенную, хлынул вал с Тихого океана, зеленая водяная стена в несколько сажен высотой. Земля стала извиваться и прыгать, как обалдевший дракон. С 12 часов дня 1 сентября до 12 часов дня 2 сентября сейсмологами было насчитано восемьсот пятьдесят шесть толчков. Со 2 по 3 сентября — двести восемьдесят девять судорог. После первых толчков в городах, во главе с Токио и Йокогама, запыхали пожары, и жители этих городов оказались перед двумя бессмысленными стихиями, а жители прибрежной полосы восточных провинций — перед тремя. В Токио сгорело заживо 56.774 человека, утонуло в каналах, реках и прудах 11.222 человека и было раздавлено домами 3.068 человек. Этот бунт безобразия стихий уничтожил двадцатую часть национального богатства Японии.

Следует привести следующую таблицу:

«Газета «Дзи-Дзи»:

Дата катастрофы	Пострадавшие районы	Число разрушенных домов	Количество жертв
11/XI—1855	гор Эдо	50 000	6.757
14/III—1872	Ивами, Хаката	4 049	537
28/X—1891	Мино, Овари	225 000	7 273
22/XI—1894	Ямагата	10 000	726
15/VI—1895	Три северные провинции	13.066	27.122

Дата катастрофы	Пострадавшие районы	Число разрушенных домов	Количество жертв
31/VIII—1896	Сев провинц	10 000	789
1/IX—1923	Вост провинц	558 049	91 344
23/V—1925	Кита-Тадзима	1 700	387
7/III—1927	Кита-Танго	26 607	2.992
26/II—1930	Кановага	6.322	295

Японцы и американцы.

Эти две страны похожи друг на друга, как летучая мышь на буйвола. Эти две страны похожи друг на друга, как японский бонза на велосипедиста, — и так же, как американский дядя Сэм на японского студента.

Американские буйволы сели в автомобиль с тем, чтобы отвезти из городов по деревням — на ряду с «деревенскими» платьями, придуманными в городах, — самоновейший «капиталистический феодализм», эти люди, возникшие в бегах от средневековья и имевшие только две традиции — традицию молодости и традицию отсутствия традиций.

Японцы все еще едут на курума. Везет их курумайя, человек, а не машина. И загружены они на курума так, что их вместе с курамайей не видно из-за этих завалов традиций, преданий, поверий, феодальных реминисценций средневековья. Они едут из провинции в город. Они до суматошливости спешат. Иные из них теряют терпение, — они выпрыгивают, выскакивают из-под багажа, через оглобли курумы, через голову курумайя. — они бегут вперед. И тогда оказывается, что в них, пусть они стары, молодости никак не меньше, чем у американцев.

Деревенская Япония до сих пор похожа на Китай. Из всех стран на земле городская Япония больше всего похожа на Америку, на U. S. A. И больше всего интересуется Америкой эта страна — императорские японские соединенные штаты феодало-империалистов. Недаром эти две страны, Корни Солнца и Юнайтэд Стэйтс, так сердечно любят друг друга вот уже много лет. Не случайно Америка «открыла» Японию для мира, предопределив эпоху Мэйдзи пушками коммодора Пирри!..

Как досадно, как досаднейше досадно Пильняку 32-го года за недоязычие Пильняка «Корней»! — в главах о шуме гэта и о вулканах, где Пильняк «Корней» ставил себе вопрос, каким образом «языческая» Япония стала мировой державой, — в этих главах есть косноязычнейше и неграмотно выраженные истины.

То американское строительство, коим щетинятся в небо Токио, Осака и прочие японо-американские города, — это в очень большой мере не оправдано географическим расположением Японии на земле. Землетрясение 23-го года унесло двадцатую часть японского национального богатства: на Японию феодальную, на Японию деревень в этом разорении выпал всего один процент. Деревенская Япония столетиями приспособлялась к землетрясениям бумажными домами, отсутствием вещей, организованной нищетою. «Господин Космос» бил в решающую очередь привезенное из-за океанов, — многоэтажные дома, тяжелые фабрики, нефтяные цистерны, — и шел пожарами корогких замыканий, самовозгораний свящего газа, разлитого бензина. Феодальная Япония провинциальных городов и до сих пор живет в отказе от вещей. Империалистическая Япония на ряду с быдлингами вещами обзаводится усерднейше. Тут к слову и месту будет вспомнить старое, во всех странах повторявшееся правило о том, что, как всюду, в Японии, цена национальные свои вещи, пусть их немного, — европейские — международные, капиталистические — вещи зачастую употребляют так же, как российский мужик однажды упогреблял зубную щетку для расчесывания бороды.

На обрывах кавказских, альпийских и сиерра-невадских гор и их отрогов целесообразнейше разводить виноград. На севере живут голубоглазые блондины. Голубоглазые германцы, выехавшие из Германии на Нижнее казако-татарское Поволжье, за полтора века монгольского солнца почернели, как киргизы, скулы покрыв азиатско-желтым загаром. На севере Сибири найдено небольшое племя, охотники. Ологники сами себе лили пули из доморощенного свинца.

В их пулях оказалось свинца пятьдесят процентов, серебра — тридцать и — двадцать процентов платины. Платина эта не добывается, ибо прежде, чем ее добывать, надо построить дороги, притащить машины, послать людей и людям создать человеческую жизнь. Но в том же Советском Союзе в те же советские дни облазали все пустыни и горы, очаровываясь и разочаровываясь хондрилой, в поисках каучуконосов. Мысль понятна и не нова. Климатические условия, географические являются очень решающими коррегаторами человеческой жизни, человеческого экономического состояния и человеческих усгремлений, — даже антропологии. В песках пустыни рыбу ловить бессмысленно, ибо ее там нет. На океанских водах пшеницу сеять не стоит, ибо в воде пшеница не произрастает и погонет.

Средневековье отрывало страны друг от друга всяческими стенами. Средневековье имело досуг. Древневековье катастрофически, решаяще зависело от природных соизволений и должно было их слушаться. Средневековой Японии не приходилось трудиться великими китайскими стенами — их заменяло море.

Японцы позволили себе средневековую роскошь — на два с лишком столетия затвориться от мира, как мечтало каждое средневековье. Японское средневековье было средневековьем, так скажем, хорошим, длинным, степенным, неспешащим, от древности подслушавшим вулканы. Вулканы сделали крепкие нервы. Жесткая природа, нищая природа научила трудиться. Феодальная консервация за 200 с лишним лет анабиоза забила крестьян — второе сословие — до вежливости и терпения, до терпения безразличия. В то же состояние была приведена и целая половина человеческого рода — женщины. Феодальным идеалам помогла островная территория Японии.

Но в дни, когда к островам приплыли американские и европейские пушки, — японцев выручили — те же вулканы. Следующим образом. Пирри пришел в Йокогаму весной 1853 года. Путятин пришел в Нагасаки осенью 53-го года. Через пять лет после этих визитов

японцы «заклучили» со всеми странами, с американцами, русскими, англичанами, французами, голландцами, пруссаками, ползавшими тогда по земле колониальным разбоем, такие «договора», как кита́йцы, в коих кита́йцы «благополучествуют» до сих пор, — договора о консульских судах и экстерриториальности иностранцев, о монопольной торговле, о пошлинных гарантиях и прочее, ничем от Китая неогличимое. Но — в том же 853-м Россия, Англия и Франция занялись на два года высокополезным делом Севастопольской кампании, после коей Россия присгнуила «к несчастью» освободительных реформ, а англичане с французами, во-первых, — склокой между собой, а во-вторых, — внедрением в Китай. Победительствовала Англия. Соединенные же Штаты, в успехе калифорнийского золота добравшиеся до Хакодате и Симоды, вдруг впади в гражданскую войну Северных и Южных штатов, надолго отодвинувшую заботы Белого Дома о благополучии Тихого океана и о справедливостях на нем.

Японцы имели передышку. В тихоокеанских водах хозяйничали англичане. И эти ж англичане задушили б японцев, и им помогли бы американцы, если б англичане не прослышали, что японский император, вернувшись из божественного в человеческое состояние, пятым пунктом своей первой человеческой речи за всю тысячелетнюю историю не сказал бы:

«— Новые идеи будут заимствоваться со всего свега, и слава империи от этого выиграет!» —

и если бы, на ряду с этой очень неглупой фразой, англичане не узнали б с достоверностью, что японцы — просто нищие. Англичане первые отказались от неравных договоров с Японией. И англичане первые заключили союз с Японией.

Европейским державам в международных делах, и Англии, владычице морей, в первую очередь, неплохо было иметь на водах Дальнего Востока хорошего сторожа — прогив России, против Германии, да также и прогив Америки, хоть против Германии и России Америка полублокировала с англичанами.

Японцы оказались слишком бедны, чтобы их стонло и можно было б целесообразно грабигь. Японцы оказались не так глупы, чтобы не стать на полстолетия английскими сгорожами. Император сказал, и японцы — на пустое место — поташили к себе европейские штаны, шкафы, комоды, стулья — в гораздо меньшей степени, чем винтовки, пушки, порох, дредноугы, вообще военную промышленность. Неравные договора, расторгнутые англичанами в первую очередь, жили до конца XIX века. И они — бывают парадоксы — помогли экономическому росту Японии. Отсутствие высоких пошлин, оговоренное договорами, удешевляло европейские товары — и раньше всего машины, станки и фабрики. Ограниченная ж деятельность консульств, оговоренная также договорами, помогала свободно трудиться японским купцам и промышленникам. Национальный бюджет Японии строится на сигце. Самое крепкое, что есть в Японии, — это армия.

В Японии — даже в баронских замках — за эти последние годы — в национальном их обиходе — вещей не прибавилось. То же хибати. Те же какэмоно. Те ж бумажные стены, и стены, и двери, и окна одновременно. Шкафы в японских домах поместиться не могут. Стулья на татами ставить бессмысленно. Татами остались на окраинах городов, по всей провинции, — по всей Японии, в сущности. Шкафы и комоды поташили за собой европейские этажи, лифты, швейцаров с галунами, грумов. Они уравниали улицы для автомобилей. Они поселились в столицах, в больших городах. Пословица гласит — дзисин — кэмпэй — кадзи — дзюна — землетрясение и прочее, в 23-м году унесшее двадцатую часть национальных богатств Японии, тряхнув Токио о Йокогаму. Японцы забыли о том, что их земля негодна для тяжелой индустрии!?

Пушки commodора Пирри! — к тем временам токугавский режим создал уже богатейших купцов, знатно торгующих до сих пор. Крестьяне имели сотни восстаний, иногда многотысячными толпами сразу, в остервенении благоприличий нищеты. Ронины — самураи-друзин-

ники, — хоть они и носили две катана, японские сабли, — переселились в города, чтобы на перекрестках у храмов и перед сьогунскими приказами писать молитвы и прошения, чтобы сочинять романы и поэмы о прекрасном прошлом, — чтобы актерствовать, — чтобы учиться на врачей, — понемножку преуспевали в интеллигенцию.

Японский писатель Игрэкава (от слова игрэк) говорил Пильняку в майскую ночь 32-го года, дня через два после майских событий:

— Я с очень большой охотой написал бы повесть о генерале Араки. Вы знаете этого человека большой воли, старинной закваски, японского полковника настоящей самурайской чести. Вы знаете те армейские силы, которые вывели этого рядового и незнатного генерала на пост военного министра, в положение сильнейшего человека империи — этого человека, о котором в газетах пишут, что он каждое утро занимается самурайскими упражнениями с катаной, с нашей национальной саблей. Это армейские капитаны, ваши Максимы Максимовичи, подкрашенные у нас самурайскими традициями. Вы помните обстоятельства, так характерные для Японии, при которых генерал Араки пришел в министерство. Перед его приходом было арестовано 70 человек офицеров его группы. Они конечно освобождены, ибо эти аресты показали правительству силу Араки. Араки пришел в министерство победителем. Он пришел в правительство с решениями самурайской катаной разорвать все узлы наших социальных противоречий, кризиса, крестьянского вопроса, — с решениями воевать. Меморандум барона Танака был его евангелием. Он не прочь был бы воевать со всем миром сразу. Генерал Араки, пришед в министерство и, став министром, прочитав секретное досье, ознакомившись с донесениями контрразведки, — министр Араки понял, что его мечты — есть только мечтанья. 15 мая, в час двадцать минут ночи, группа офицеров, из тех, что кидали бомбы и убили Инукан, приезжала к Араки на дом. Этот ночной визит никак не похож на проявление дружеской заботы о гене-

рале. Газеты сообщили, что генерала не было дома. К министру Араки приезжали люди, которые хотели того же, о чем мечтал генерал Араки.

Не повторилось ли с генералом Араки то же, что с Японией в дни смены сьогуната на императорскую власть?

Под пушками американцев, русских, англичан сьогунат заключал договора с обладателями пушек. Это было вокруг 58-го года, за десять лет до гибели сьогуната. Сьогунаты принимали иностранных консулов и послов.

«Реставраторы», восставшие против сьогуната, поднимали страну лозунгами: — За реставрацию императорской власти!

— Против сношения с иностранцами!

— Против сьогуна, друга иностранных чертей!

Императорские «инсургенты» били династию Токугава именно за признание иностранцев. Если эпоха Мэйдзи (точный перевод — эпоха просвещения) была революцией, то революция опередила революционеров. Через пять лет после Пирри американцы «перезаключили» договор с сьогунатом, открыли новые порты Канагава, Нагасаки, Ниигата, Хього, установив право экстерриториальности для американцев. Самурайство ответило террором против сьогуната. Убили премьера Наосукэ Ии. В Эдо, в токугавской столице, в нынешнем Токио, разгромили и сожгли американское и английское консульства. Били «заморских чертей», стреляли по их кораблям. Англичане вместе с американцами, французами и голландцами послали соединенную эскадру, — погромили порты, разумно конечно корабельной артиллерией, — взяли контрибуции миллионов в пятнадцать долларов, — наказали виноватых скоро, право и милостиво. «Инсургенты» закричали еще громче:

— Долой иностранцев!

— Долой сьогунат!

— Да здравствует реставрированный император!

Были междуусобные бои, возглавленные клановыми вождями, самурайские бои между кланов. Южные кланы при

помощи осакских купеческих рублей победили северян вместе с сьогунатом. Осакских купцов, этих японских ганзейцев, родоначальников нынешних демократов, — во-первых, никак не надо забывать, а во-вторых, они очень боялись превратиться в компрадоров, в лакеев купцов для иностранцев.

Власть оказалась в руках «инсургентов». Императорсвовать стал император. И в первой своей человеческой речи император говорил, на открытии государственного совета — даири:

«— ... мы, император, клянемся... будет введена система совещательного собрания, и все меры будут приниматься в согласии с общественным мнением... предрассудки и вредные обычаи древних времен будут покинута, и справедливость явится единственной мерой поведения в будущем... новые идеи будут заимствоваться со всего света, и слава империи от этого только выиграет...»

Кланона начальники и самураи, осакские и эдоские ганзейцы слушали речь императора с удовлетворением, эти, давшие императору власть. Кланона начальники превращались в юнкерствующую бюрократию. Самураи мечтательно видели впереди дорогу интеллигенции, оседланную бусидо. Эдоские ганзейцы, подпертые властью, подпершие власть, разбавленные самурайскими сооси и кланона начальническими промышленниками, капитализировались, становились демократами, вояды мечтами свои корабли на всех морях. Император переселился из Киото в Эдо, в сьогунскую столицу, в сьогунский замок, переименовав Эдо в Токио. Клан Тьосю взял на себя заботы об армии, на феодально-капиталистический откуп, поставлял вождей и перереорганизовывал, европеизировал солдат и пушки, кормяся на них. Клан Сацума взял себе в откуп моря и морской военный флот. Правительство откупилось от даймио и самураев, заплатив им, вместо натурального средневекового риса, выкупные, отступные, сразу, одновременно, деньгами. Эти феодалы, ставшие капиталистами, сразу получившие большую деньги, но оставившие за собой аристократические припуки, — рублем стакнулись с купчишками, титулами и

«сердцем» остались в кланах. Они первые, побывав в правительстве, организовали оппозицию, образовав партии, родоначальницы нынешних Сэйюкай и Минсэйто, запросив парламент. Партии родились из кланов Тоса и Хидзэн, но поддерживаются рублем и концернами Мицуи и Мицубиси, японские парламентарии. Пошли реформы. Уравнение «четырёх сословий» освободило самураев от двух мечей и косички на голове на все четыре стороны в свободные профессии, в торговлю, в промышленность, на землю. Император высказал пожелание достигнуть в Японии всеобщей грамотности. В 1872 году возникла первая газета. В 77-м году открыт первый университет. Реформы административного управления, суда, денег. Телеграф. Почта. Железные дороги. Пароходство. Европейская медицина. Начинания и обстоятельства были совершенно разумны, прогрессивны и справедливы, — ибо — чем японцы хуже англичан и русских? — Темпы и реформы были колоссальны. Они шли из дворца. Страна баррикадировалась пошлинами, правительственным покровительством, правительственной промышленностью, правительственными идеями. Работали солдаты, купцы и иностранные инженеры. По миру поехали люди, чтобы собирать со всего света «новые идеи». Темпы были колоссальны. Города и дороги строились заново. В первобытном состоянии осталась одна лишь деревня, которой ничего не перепало от Мэйдзи, кроме новых налогов, прессируемая и феодальными традициями, и борзым капитализмом. Иностраный капитал за бедностью Японии в деревни не заглядывал. Иностранцы займы отправлялись на военные заводы. Япония очень быстро освоила германо-американскую технику правительственного управления. Япония сразу научилась у европейцев внешне экспансировать, начиная с 74-го года, когда японцы по тому же методу, как англичане и американцы лет за 15 до этого их самих, «наказали» «виноватую» Формозу, ныне принадлежащую Японии и называемую — Тайван. Тогда же японцы начали «мирно» проникать в Корею. На свои провинции японцам де-

нег нехватало. Японские ганзейцы очень быстро осознались, осознав себя единым целым. Они никак не были оппозицией его величеству, — они были оппозицией его величества, — и то очень недолго. Эти ганзейские американцы, американские демократы. Они запросили власти. Они удвогворились прусским парламентом и американскими партиями, с теми караяями, которые дала им власть. Парламент был дан. Англия была другом, отказавшись от экстерриториальности. Китайцы были побигы. Англия стала твердым другом, заключив военный союз. Российский император был бит. Рабоче-крестьянский, женский, детский труд был каторжно дешев. «Колониальные» колонии были рядом. Феодалные эны капитализировались и концентровались. Капитализм феодально монопогльствовал. Крестьяне разорялись. Демократия — соосиствовала. Япония европеизировалась. Прогрессивная Азия становилась жандармствующей Европой. Неравные договора были сброшены, — за счет вулканов и в благодарности феодально-клановому капитализму, очень неглупому, сумевшему освободить «язычников» от белого рабства до — до жандармского состояния.

Конец мировой войны был принят в Японии национальным бедствием!

Впрочем всеобщая грамотность...

Темпы! Темпы!

Японский парламентаризм теснейше живег с японским феодально-кланством. О японском парламентаризме можно не рассказывать, отослав к рассказам об американских делах, одев американцев в японский фольклор. Фольклор дорисует общий пейзаж. Не стоит искать преимуществ хрена Минсэйто—Сэйюкай перед редькой американско-республиканской. Следует вспомнигь начало романа писателя Кагава, совершенно справедливое, — «Дни, когда возопиют камни». Американская — то бишь японская — демократическая партия постоянных членов не имеет. Членских взносов не собирает. Управляется боссами, которые все могут, и орграспредствует при помощи сооси. Доходы партии покрываются распределением мест, постов, концессий. Расходы

партии покрываются взятками и воровством. Воровать для партии, — с тем, чтобы половина ворованного залибала по частным карманам, — никак не позорно. Субсидировать партию — даже правительственным министерским организациям — совершенно демократично. Места продаются и покупаются — места членов парламента, губернатора, министра, — равно как баронские звания и медали, — по священным традициям феодало-парламентаризма¹⁾.

Американская, то бишь японская — демократическая партия пала вслед за убийством премьера. Новое министерство создано партией конституционных коллег, но в столичном муниципалитете остались демократы. Надо было распределить муниципальные места по рукам коллег. Коллеги уперлись в конституционных демократов, которые имели большинство в столичном муниципалитете. Раньше всего следовало свалить демократического мэра. Это делалось просто, на заседаниях гласных в муниципалитете. Гласные — коллеги вместе со своими сооси, устроили мэру парочку кошачьих концергов, понасагавили десятка два членских фонарей под глазами, свернули набок дюжину членских скул, красноречиво и кроваво обвинили мэра в рогозействе, изломав всю муниципальную мебель. Вообще ломагь муниципальную, равно как и парламентскую мебель, совращать скулы и скромно выражаться — это есть достояние всех демократических неприкосновенностей. Голова у мэра цела осталась случайно. Мэр подал в отставку. Первый шаг был сделан. Теперь следовало придумать способ роспуска парламента и назначения новых выборов. Министерство внутренних дел, которое уже переснастилось на конституционных коллег, послало ревизию. Ревизия установила, что, пункт первый, — полгода тому назад муниципалитет разрешил постройку новой ундергрудной линии, получил от строителей полтора миллиона эн за аренду подземных недр, миллион провел по книгам, а пять-

¹⁾ Смотри об этом в книге Пильняка «О кэй, американский роман» и в прочих сему соответствующих справочниках.

сот тысяч — по своим собственным фуросики (по-японски) или бумажникам (по-американски), — пункт второй, — красильные предприятия столицы требовали с муниципалитета компенсацию за убытки в связи с переменой фасона вывесок, компенсацию получили и половину ее вернули отцам в знак благодарности, — пункт третий, пятый, множество. Демократы в последний день своего существования выдали разрешение на открытие новых двадцати пяти баров, получив за то благодарность вечным правом пребывания в оных и натуральным их пользованием, — назавтра были распущены, человек десять из них посели по кутузкам недели на две. Газеты не исговествовали возмущением. Намечены были новые выборы. Заработали боссы и сооси.

О работе боссов рассказывал лидер Тимура. Лидера Тимуру Пильняк видел в Токио в 32-м году, обедал с ним.

В старину сооси встречались на больших дорогах, чаще в одиночку, изредка артелями, иной раз в лохмотьях, но всегда с гордым видом и с казаной наготове, эти отважные самураи, эти ронины, на которых девушки из Йосивары смотрели с восхищением, которые часто замышляли смерть врагам, но чаще отыскивали себе господина. Теперь по летам они ходят в канотье и в европейских костюмах, эта порода сооси. Они не разбойники и не кондотьеры. Сооси — так скажем — почетная стража парламентаризма. Они ломают стулья на заседаниях. Они охраняют и рекламируют кандидатов. Они охраняют избирателей, воруют их друг у друга, воспитывают, пасут. Иному избирателю некогда пойти поизбирать, да и не охота, — он и улизнул бы от своих священных демократических прав, если бы не сооси. Сооси стерегут у порогов. Под конвоем сооси избиратели ходят к избирательным урнам, защищенные от других сооси, которые эскортируют других избирателей. Сооси бьют иной раз избирателей. Сооси дают им эны. Сооси клеветают на конкурирующих депутатов. Сооси выкрадывают секреты чужих партий. Соосями командуют партийные боссы — «капи-

таны». Капитанами командуют — лидеры.

Лидер Тимура описан писателем Кагава.

Писатель Пильняк был приглашен однажды в японский аргистический дом на обед. К обеду неожиданно приехал человек, о котором прошептали, что он — он друг министров, в его руках судьба парламента. в его воле карафутские концессии и международная политика. Он перегружен работой создания нового кабинета министров. Он — все может сделать. Это был высокий по-японски, сухощавый и подвижной старик, в сером шелковом кимоно, с громадным — по истине министерским — поргфелем. Ему было отведено почетнейшее место, под камэмоно. Он сел за стол на пол первым, и он усерднопил сакэ. Он был очень весел, дружелюбен, подвижен. И сакэ его любило, по японской поговорке. И обед, выражаясь неточно, получился ералашным, — из-за веселья господина лидера. За обедом был единственный европеец — Пильняк. Господин лидер заинтересовался тем, что поражал Пильняка. Он предложил Пильняку написать несколько слов на память и дал ему свое перо. Пильняк развернул автоматическую громадную ручку. Из ручки стремительно выскочил чорт на проволоке. Господин лидер рассыпался, раскололся, покапался смехом. Господин лидер передал Пильняку корбочку в роде тех, в каких хранятся у европейских дам бриллиантовые кольца и сережки, обделанную бархагом. Пильняк стал открывать, открыл, и — вдруг коробочка выстрелила, как пугач. Господин лидер взорвался смехом. Господин лидер в веселейшем смехе и гордости показывал всем, как заряжается пистолем эга коробочка, и просил всех по разику стрельнуть из нее. Господин лидер предложил Пильняку закурить из его портсигара. Пильняк взял сигарету, и — все сигареты выскочили из портсигара, превратившись в длинную палку. Господин лидер блаженствовал хохотом, растирая себе от удовольствия голые стариковские колени, вылезшие из-под кимоно. Господин лидер подsunул Пильняку под локоть бумажную змею. Министерский портфель господина

лидера был неисчерпаем. Господин лидер подарил Пильняку и змею, и портсигар, и автоматическую ручку, сердечно радуясь тому, что Пильняк был поражен. Тросточнообразные сигареты, стреляющая коробочка, автоматические перья с чертями так разблагодусили господина лидера, что он повез всю мужскую компанию после обеда в чайный домик к гейшам для самурайских танцев, при чем сам господин лидер был первым танцором. Господин лидер, любимый сакэ, обещал устроить Пильняку визу, позвонить министру внутренних дел — и, само собою, ничего не сделал.

Все это — совершенно естественно — вещи совершенно европейско-американские. Речь идет о парламентаризме. Если бы в Японии была республика, то ее правительственный режим можно было бы не изучать, отослав к американцам. Но в японской конституции ни слова не говорится о парламентаризме и ни словом не упоминается понятие «кабинета министров». Кабинеты министров в Японии, как известно, заняты главным образом игрой в чехарду. Япония — империя, император которой происходит от бога и породил все японское племя. Американские буйволы развозят ордена и титулы на скорострельных автомобилях из столиц по провинциям, голые от традиций. Японская летучая мышь едет на курума, задавленная орденами, в таком количестве примерг, богов и чертей, от которых европеец впадает в философию потомственного философа Хомы Брута. Японские «инсургенты» от 15 мая 1932 года, подписавшие свои прокламации «офицерами армии и флота, друзьями рабочих и крестьян», в первом абзаце распроклятая капиталистов, в последнем абзаце, как-раз перед подписью, восклицали:

«— Да здравствует император!»

Пильняк 32-го года убежден, что этот крик так же искренен, как вскрики инсургентов 68-го года и как мечты генерала Араки за сутки до министерского кабинета. Речь идет о власти. За 1932 год по тюрьмам в Японии рассеялось 7 тысяч коммунистов. «Офицеры армии и флота, друзья рабочих и кре-

стьян», здравствуемые императором, — недовольны капиталистами и убили премьера Инукаи, подранив хранителя государственной печати, феодала и мракобеса, старейшего в клане Сацума, лорда Макино. Араки был выдвинут на министерский пост капитанами. Армия по-прежнему в руках клана Тьсюю. Военные корабли обшаривают Тихий океан, сильнейшие на нем попрежнему под командой клана Сацума. Армия и флот — сильнейшее в этой стране ситцево-государственного бюджета. Армия и флот заменяют в Японии тяжелую индустрию. Европейцы называют японского императора — микадо — выдуманным словом, ибо слово микадо в японском языке не существует, даже отдаленно созвучающего. Император по-японски — тэнно. Микадо по-японски — европейское вранье.

За императором и за министерской чехардой, за кабинетами и парламентом, существовал конституцией непредусмотренный Генро, инсургентский исполком 68-го года, от которого не помер только один принц Сайондзи. Генро был всемогущим. Сайондзи до сих пор утверждает премьеров. И существовал, и существует конституцией предусмотренный верховный тайный совет. Его название определяет его смысл. Он состоит из 26 стариков. Эти 26 пожизненно назначаются императором и председательствовались членом Генро. Эти двадцать шесть остались от клана нового средневековья. Писатель Кагава начал свои «Камни» фразой:

«Весной пал кабинет Вакацуки под давлением верховного тайного совета» —

Кабинет министров существует по воле принца Сайондзи, последнего Генро. Палата пэров, верхняя палата парламента, существует по воле тайного совета. В ней пожизненно сидит человек тридцать принцев, человек тридцать маркизов, человек двадцать графов, человек шестьдесят виконтов, человек семьдесят баронов, и председательствуется она принцем Токугава, который был бы шестнадцатым сьогунуном его династии, если бы сьогунат его династии существовал.

Но верховная власть не здесь. Хранитель государственной печати лорд Макино — он старейший в клане Сацума, он крупнейший банкир и промышленник, — и он теснейший друг единственного Генро, принца Сайондзи. Верховная власть хранится вместе с государственной печатью.

Принц Токугава, он древен. Пильняк был в 32-м году с визитом у принца Токугава. Он, древний Токугава, кроме палаты пэров, председательствует в Пан-Пасифическом клубе, в клубе японо-американского взаимораспознавания и взаимного понимания. Он вышел к Пильняку — в приемную свою гостиную — всеми веками японского сыгунатства и американским джентльменом, человек в веках и в визитке. Сыгунат жив в японском правительстве 32-го года не только сыгуном-американцем, членом тайного совета и председателем верховной палаты принцем Токугава. Сыгунат первый «признал» европее-американцев. Сыгунат предрекал путь японцам. Путь сыгуната, признавшего европейцев, оказался историческим путем Японии. Сыгунат до сих пор, чего доброго, сильнее парламента, парламентаризма и демократии, правительственной японской демократии! — и не существует ли сыгунат в Японии до сих пор — императоро-концерно-сыгунат!

Поистине рассуждения о геометрической формуле шара, о переплскивающих национальных границах — имеют резон! — шум гэта в Японии заглушает, за шумом машин и парламентаризма, — не поэтому ли вулканы бьют в первую очередь по городам?!

У средневековья была замечательная традиция условностей, лицемерия, гипокритства, пронизавшая быт от дома до правительств. Голых королей полагалось видеть одетыми по штату. Собирались люди в гости. Хозяин готовил, что получше. Гостям хотелось наесться до отвала. Хозяин говорил, — простите, мол, нечем вас угостить, так кой-какие пустяки, — точно вчера и третьего дня он ел и больше, и лучше. Гости кобенились, что-де сыты, забыли, да и пообедали дома. И цветы нюхали, точно

всю жизнь этим делом только и занимались. По всему человечеству прошла этакая ерунда, как парики и иерихонские прически. Ехали в те же гости и прели под париками, стаскивали их с головы до поры до времени, с'езжали они у них при танцах и драках с головы туда и сюда. Людовик XIV назывался королем-Солнцем, — у него из-под парика вши на приемах ползали. Грабила одна страна другую страну, — называлось это войнами, и Лиги наций обсуждали: законно или незаконно происходит грабеж, на основании договоров либо нет?!

Средневековый режим условностей, лицемерности расцветал по многим причинам. Лицемерность в частности возникла производной от забитости, от подозрительности, созданных всяческой полицейщиной. И они вырабатывали «терпение». Человеческая личность, стесненная в правах познания и в праве иметь свою мораль, ограниченная в своем труде, законсервированная традициями и каменностью власти, — не единственный ли у нее, не наилегчайший ли у нее путь — путь отречения и самопожертвования? не заключалась ли гордость средневекового японца в том, что он гордо носил ярмо, которого стряхнуть не мог? вплоть до ярма смерти, ибо и жизнь не принадлежала средневековому японцу! Если так называемая нравственность «народа» состояла у средневековья в покорном подчинении политической воле правителей, то японцы — куда обошли любой европейский народ!.. — при таких обстоятельствах иной раз действительно человеческая личная жизнь начиналась только со смертью: умер отец — старший сын стал жить по своей воле, умер старший брат — второй брат стал хозяином, — женщин личная жизнь не касалась.

Шум гэта!

У японцев есть поговорка:

— «слово сыгуна подобно поту, раз вышел, назад пот не возвращается».

5

В «Корнях» есть следующие рассказы:

«... японцы низкорослы, смуглолицы, черны, крепко скроены. Психическая организация японцев действует на европейца чрезвычайно утомительно. Японцы не любят, когда европейцы говорят на их языке. И европейцы, проживая иногда по нескольку лет в Японии, не научиваются различать индивидуальные черты японского лица. Все лица кажутся им на одно лицо. Индивидуальность стирается. Она стирается и манерой японцев ничего не выражать лицом. У японцев есть манера вежливости шипеть при разговоре, кланяясь и при еде, шипеть, втягивать в себя воздух, как делают европейцы. обжигаясь. И мистеру англичанину начинает иной раз казаться, когда он сидит за обеденным столом или беседует с японцами, когда для него стерта индивидуальность японцев и они шипят, как растревоженный муравейник, эти маленькие люди конденсированной воли и непонятного языка, — европейцу начинает совершенно ясно казаться, что перед ним не люди, а людоподобные — сделанные — муравьи...

«Европеец — американский гражданин мистер Смит или Райт из Шанхая — презирает Японию. Он говорит с величайшим презрением:

«— Это чорт знает, что такое, каждый японец — обязательно идиот, а пять японцев вместе — такие наглые жулики, что с ними ничего невозможно сделать, и они тебя вокруг пальца обведут. Это же не страна, а чорт знает, что такое!

«Никак не разделяя мнения мистера Райта о Японии, тем не менее я очень его понимаю. В общежительном отношении эта страна — европейцу неудобна. Зимой в этой стране холодно и сыро. Летом в этой стране невероятно жарко и — опять сыро, так сыро, что все пиджаки мистера Смита и его ботинки покрываются плесенью. Нельзя достать настоящего сливочного масла, ибо такового нет, и невозможно получить настоящего хлеба, ибо, как европейцы не разбираются в тридцати способах варения риса, так и японцы не имеют толкового поня-

тия о качестве хлеба. Ветчину европейец должен есть в консервах, привезенную из Австралии, квартиры, такой, чтобы не дуло с пола и из окон, в Японии найти невозможно, ибо, хотя там и строят европейские коттеджи, все равно они строятся на японский лад, картонными фонариками, в которых все дрожит и отовсюду дует. Все европейцу в Японии дорого, ибо японский табак ему непривычен, а на английский — баснословные пошлины. Ибо у европейца такие потребности, которых нет у десяти японцев. Ибо — даже в универсальных магазинах — две цены: для японцев и для иностранцев.

«Но все это мелочи перед тем основным, что решает все, — перед тем, что в Японии не уважают европейца, белого человека. С ним совершенно вежливы и совершенно вежливо спрашивают на границе, кто у него бабушка, и неукоснительно просят развязать его чемоданы, — а затем в вагоне (он едет в первом классе, по вагонам идет бой-сан из вагона-ресторана, раздавая билетки на обед) мистер Райт, негодуя, видит, что в вагоне-ресторане сначала перекармят всех японцев, даже гретье-классников, и только потом позовут его, первоклассника. И накормят, чорт знает, какой белибердой, подделанной под английскую кухню. Но и этой белиберды дадут такое количество, что мистер Райт поднимается из-за стола голодным, в горькой обиде от голода и от того, что его не уважают.

«Мистер Смит остановился в Токио в Имперал-отеле, иначе он «потеряет лицо». За номер платит двадцать семь эн в сутки. И ему отовсюду дует. И его не уважают. И кругом него стена вежливейших лиц, — не лиц, а масок, через которые мистер Смит ничего не видит.

«Мистер Смит приехал заключить торговую сделку, и он ее заключит, — но непременно так, что он будет надут. Мистеру Райту вечером скучно, но в театр он не пойдет, ибо в тех местах, где японцы плачут, ему хочет-

ся спать. В ресторан он не пойдет, ибо никаким рублем его не заставишь кушать каракатицу. Хорошую девушку, гейшу из чайного домика, которая любила бы мистера Райта и была бы страстной, мистер Райт достать не может в этой, по его понятиям, развратной стране, — ибо хорошая японка не пожелает иметь интимных дел с европейцем, от которого — на нос японцев — кисло пахнет, а в Йосивару пойти — вся охота пропадет, как только он увидит, что там такая спокойная деловитость и институтственность, что даже выпить нельзя.

«И мистер Смит раздумается о землегрязении. И ночью, когда на самом деле будет маленькое землетрясение, он выскочит в коридор из своего номера мертвецки бледным, без подштанников и с туфлей в руках.

«И мистер Смит презирает Японию, ее камни, ее народ — чистосердечнейше, искреннейше. И если мистер Райт к тому же писатель, он пишет тогда — книги! — книги, интересные только тем, что в них можно проследить расовую ненависть европейца-англичанина к японцу.

«— Это же, черт знает, что такое, — говорит мистер Райт: — это же муравьи, термиты, которых даже землетрясения не унимают!.. Это же, это же, — и мистер Смит в страхе и недоумении склонен предаться метафизике! —

«Я сразу открываю карты потому, что у меня нет ничего, кроме окончательного недоумения и ощущения окончательного идиотства перед японской полицией, — и ничего нет, кроме благоглупости и уважения и даже виновности, — перед японской общественностью.

«... О полиции.

«В японских театрах есть такие «никтошки», которых надо не видеть, но которых все видят и которые в своей невидимости — тоже — играют. Самы японцы своих секретных агентов называют «ину» — собаками. Так вот эти «никтошки-ину», никтошние

собаки, много мне крови испортили.

Китай был мне увертюрой. На китайской границе у меня отобрали все книги, взяли даже Флобера «Саламбо», издание 1897 года: большевистская зараза. В Харбине на моей лекции, когда я открыл рот, чтобы говорить, подошел ко мне китае-офицеро-полицейский чин и сказал, дословно, следующее:

«— Гавари — нельзя. Мала-мала пой, мала-мала танцуй. Читай нельзя.

«Я ничего не понял. Мне перевели: полиция запрещает мне говорить и читать, но разрешает танцевать и петь. — Звонили по властям, волновались, недоумевали. Некоторые советовали даже лекцию мою читать мне нараспев. Петь лекцию я отказался. Этаким добрым Кигай: стоит, смущенно улыбается, вежливый, ничего не понимает и всем объясняет в сотый раз:

«— Гавари нельзя. Мала-мала пой.

«Так и разошлись ни с чем.

«... Удивительнейшая, прекраснейшая на глаз страна — Корея, Страна Утренней Ясности, как она называется по-корейски, пустынная страна гор, долин, голубого моря. В вагоне, кроме нас, ехали японские офицеры, синяя весна благословляла землю. Мы сидели в обсервешэн-кар, в стеклянном вагоне, прикрепленном к концу поезда для того, чтобы из окон его можно было обозревать красоты, поистине прекрасные. Мы сидели на терраске обсервешэн-кар, грелись мартовским солнцем, любовались белыми одеждами корейцев, точно вся Корея — некий средневековый, белоодеждый монастырь. Корейцы, высокие, стройные, в белых одеждах, трудились над рисовыми полями. В вагоне-ресторане бои подавали медленно, в этом солнце и тепле после голубых и отчаянных маньчжурских морозов. Впереди, к ночи, предстояли Фузан, Цусимский пролив, — наутро — Япония, Симонсеки.

«Мои дела начались с Фузана. В тот момент, когда я шел за безмолвным носильщиком, мне в глаза вник

и меня остановил низенький человек, в шляпе, в европейском пальто, сидящем на нем так же, как на мне сидело бы кимоно.

«— Ви — русский, ви говорите по-русски, ви грамоцный? — спросил он меня сурово, по-русски.

«— Да, я русский, — ответил я.

Тогда он стал вежливым, поклонился в пояс, зашипел и сказал:

«— Ви — Пируняку-сан? Ви японский визит? Я ситар в газете.

«Он разыграл, что случайно читал обо мне в газетах, поэтому знает.

«— Ви писи-писи? — ритерацура?!

«— Да, литератор, пишу.

«Чемоданы мои были где-то. Ину повел меня на пароход, он, видите ли, гуляет, и он очень любезен. Организованность у японцев прекрасная, мои чемоданы без меня уже лежали в моей каюте. И сейчас же за мной в мою каюту вошел ину, безо всякого конечно спроса. Сел, вынул листок бумаги. И, — без всякой любезности, с катстрофически-идиотской скукой, с трудом, как если бы я иероглифами, — стал писать.

«— Ви Пируняку-сан? Ви грамоцный? Ви писи-писи ритерацура?

«Допрашивал, как во всех на Земном Шаре участках. Объяснял, что он «полицейский», агент особых поручений при фузанском губернаторе. И стал со мной разговаривать о том, о сем, ловить, не зная языка, расселся удобнее, собака. Я стал соображать, что он проплывет со мной в моей каюте до Симоносек, сказал ему:

«— Вы бы ушли отсюда, здесь женщина едет, ей надо переодеться.

«Когда никтошка не хочет отвечать, он делает вид, что не слышит и не понимает.

«— Вы, что же, поедете со мной до Симоносек?

«— Нет, там вас другой полицейский встретит.

«Мой ину ушел с парохода последним. С ним я встретился еще раз, возвращаясь из Японии. Он встретил меня, как старого знакомого. Он был

гораздо живее, совсем хорошо говорил по-русски, беседовал о «ритерацуре», спросил:

«— Как вам японская пориция?

«Я ответил чистосердечно, что японская полиция произвела на меня впечатление идиотское. Он рассмеялся и сказал:

«— Да, знаете, совершенно собасья дорзность!..

«Цусимский пролив — прекрасен. И пароходы у японцев там ходят отличные. И в третьем классе на пароходах, сообщил мне мистер Смит, общая для мужчин и женщин купальня. В Симоносеках встретили меня — уже не один, а с полдюжины ину. В шипении и в отчаяннейшей, непреклоннейшей вежливости одни записывали мою биографию, другие диктовали мне «объявление», в коем «я, нижеподписавшийся», обязался не нарушать японских правил общественного порядка и не заниматься коммунистической пропагандой. Под надзором ину я ходил в сортирчик. Ину повел меня в ресторан. Ину взял мне билет. Несколько ину всадили меня в пустой вагон, где лежали мои чемоданы. Рыться в вещах ину, шипя из уважения к вещам, могут гениальнейше, по способу Синоби.

«Я был совершенно трезв, но я сам себе казался тем кинематографическим пьяным, который спасается от сорока полицейских. У меня не было ничего нелегального, все документы у меня были в порядке, ехал я по приглашению японской общественности, по приглашению японских газет. Меня обыскали, перерыли мои вещи, ко мне приставили конвой. Все мои действия и желания предупреждались ину, ину даже решил за меня, что я хочу есть. Со мной ехал Викторин Попов. К нему тоже приставили ину, обыскали, только не брали «объявления». Мистер Смит, которого только обыскали и опросили, в нашу сторону и не смотрел.

«В ресторан ввалилось человек пятнадцать корреспондентов. Есть же интернациональное братство работников пера. Я взвыл от полиции перед ними.

И тут я впервые научился различать индивидуальность японских лиц по тому, как опускали в молчании свои головы корреспонденты. Корреспонденты-фотографы просили ину отойти. У меня в бред разрослись слова, с которыми ко мне обращались по-русски ину: «— Ви русский? — ви грамоцный? ви писи-писи ритера-чура?»

«Ину посадили нас в поезд. Поезд понес нас в красоты Японии, в эту невероятную для глаза прелесть, в зеленые рощи, в созревающие апельсины и в такую глубь синих заливов моря и синего неба, и синих гор, — что — — передо мной сидел ину. Ину дал мне свою визитную карточку, — «чиновник особых поручений при симоносекском губернаторе». Ину пытал меня, фантастически арестованного человека. Я не понимал, что такое произошло, по какому поводу я арестован. По наивности я спрашивал об этом ину, они отмалчивались, не слыша. Через каждые два часа ину менялись. Так было до Токио.

«В Токио мы приехали утром. Часа за два до Токио, еще раньше Йокогамы, в моем купе собралось такое большое количество японцев, что я был вынужден с ними перейти в вагон-ресторан. Я ничего не понимал. Теперь я знаю, что те, кто выехал вперед встретить меня, были подлинными моими и русской литературы друзьями, представители различных общественных организаций и газет. Пусть простят они меня: я тогда не понимал, кто полиция и кто не полиция. Представители общественных организаций мне сказали, что на вокзале мне организуется встреча.

«Ну, и встречу ж мне организовала полиция!

«Впоследствии я узнал, что общественным организациям разрешено было меня встретить, но не разрешено было встретить молча. И около нашего вагона выстроилась шеренга полиции, уже настоящей полиции, в форме, при пистолетах. На меня набросились

фотографы, запольхал магний, от которого слепнут глаза. А в это время подходили люди, молча жали руки, передавали визитные карточки и отходили в сторону. Понять ничего возможности не было. Затем по команде полиции мы тронулись к выходу. Тут уже поистине я потерял все, волю, понимание, вещи, друзей. Я ехал в одном автомобиле, вещи в другом. Кто платил носильщикам, за автомобили — не знаю. В одной гостинице нам отказали, в другой тоже. В третьей, когда таскали мои чемоданы, я видел, как спешно в два соседних номера вселялись ину, а внизу у портье размещался наряд полиции. Видел, как репортеры воевали с этой полицией, чтобы проникнуть ко мне. Мне подсунили листок бумаги с вопросами о прабабушках, написанными по-английски. В волнении я стал писать по-русски, — заметив, хотел было начать снова. Мне сказали, что в гостинице живет русский, сибирский атаман Семенов, — он переведет.

«Тут я бросил мои чемоданы и побежал доставать автомобиль. Мой переводчик, который все время был спокоен и успокаивал меня тем, что так, как со мной, в Японии поступают со всеми уважаемыми иностранцами, — вытащил за шиворот от шофера ину. Я поехал в наше полпредство, к полпреду В. А. Коппу. И перед Коппом я взмолился, чтобы он меня спас. В тот же день я переехал на дипломатическую квартиру к секретарю полпредства Л. И. Вольфу. В тот же вечер японской полицией был занят осбняк перед нашим домом, перед моим жильем, — и полиция оттуда выехала вместе со мной. В. А. Копп писал в японское министерство иностранных дел; ему ответили оттуда, что полиция приставлена ко мне, — «чтобы со мной ничего не случилось, охранять меня от опасностей».

«Мне объяснили, что полиции бояться нечего, ее можно даже бить, ину. Моя спутница вскоре привыкла к своему ину, звала его Петей, и он таскал из лавочек ее покупки. У меня же много раз болела голова от этих никто-

шек, которые считали себя в праве поступать иной раз так: — я сидел у приятеля, на улице шел дождь, был двенадцатый час ночи, — в дверь постучали, — мой никтошка, сняв шляпу, в позе из европейской оперы, обратился ко мне:

«— Пируняку-сан, я обращаюсь к вашему человеческим чувствам. На улице идет дождь, уже поздний час. Пожалуйста, ступайте домой, где я смогу передать вас другому полицейскому, а сам обсохнуть...

«И почти ни разу я не существовал без полицейского надзора в Японии. Круглые сутки ни на минуту меня не оставляли никтошки-ину, в городе, в полях, в горах. Когда я летал из Токно в Осака на аэроплане, никтошки расстались со мной на аэродроме, проводив меня головами, задранными вверх, — и осакские никтошки в Осака первые встретили меня густой сетью. Ничего более идиотственного и нелепого, чем эти никтошки, я на своем веку не встречал, эти собачьи рожи, так и ждущие кирпича. Ничего более оскорбительного для Японии, как эти никтошки, в Японии я не встречал.

«И, — чем идиотственней были эти никтошки, собаками ходящие за мной, — тем большее уважение вызывают в моей памяти люди японской общественности, потому что всех японцев, приходящих ко мне, потому что каждого японца, приходившего ко мне, полиция записывала, и каждого японца, выходящего от меня, допрашивала, — допрашивала, никак не стесняясь меня, ибо, если я выходил с моими друзьями-японцами, все равно их сейчас же отзывали в сторону, задерживали и мотали их души. С рядом писателей я так и не мог встретиться, ибо полиция даже к их домам приставила ину.

«А около моего дома была лирическая картина. Мой дом стоял на углу, в тесном переулочке, заросшем тенистыми деревьями. И на другом углу был разобран забор. В заборных

щелях, около хибати, грея руки и кипятя едово, сидели — очень мирно — ину. Я выходил в палисадничек, смотрел на них. Они кланялись и улыбались, очень вежливо.

«... И — о японской общественности.

«За час до Кобэ, по пути в Токно, ко мне пришли представители осакских газет. За два часа до Токно мне пришлось переселиться из своего купе в вагон-ресторан, чтобы беседовать с людьми, встречавшими меня. На станции в Токно — безмолвно — я пережал десятки рук. И в этот день, несмотря на то, что я и полиция окончательно обалдели в погонях за гостиницами, — полиция в погоне за мной, я в бегах от полиции, — через полицейские заставы ко мне пришли Акита, Сигемори, Канэда, — они пришли от Нитиро-гэйдзюцу-кьокай, от Японо-Русского литературно-художественного общества, — поздравить меня и пригласить к себе, и моей спутнице они принесли цветы. В эти дни во всех газетах была моя физиономия, и через полицейские заборы никли ко мне корреспонденты газет. И в газетах едчайше издевались над полицией. На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей японской газеты «Осака-Асахи-симбун», газеты с полуторамилионным тиражом, и сотрудником социалистического журнала «Кайдзо» (на аэроплане «Асахи» я летал над Японией). Меня переприглашали все японские театры и художественные объединения. В театре Осанаи я чувствовал себя таким же своим человеком, как за кулисами дружеских московских театров. А картину Эндосана, подаренную с выставки, я повесил в лучший мой угол. Мое время взяло у меня Нитиро-гэйдзюцу-кьокай, посвятившее мне и моему приезду девятый номер своего журнала, — общество, по отношению к которому у меня нет ничего, кроме глубочайшей благодарности: оно, взяв мое время, не побоялось полезть на рож-

ны полиции, возило меня на Синсю¹⁾, в Коганэи, устраивало банкеты, Сигемори и Канэда были постоянными моими переводчиками.

«Вот декларация Нитиро-гэйдзюу:

«Россия после Октябрьской революции 1917 года показала себя во всей своей сущности, и новое творческое искусство ее привлекло к себе внимание всего мира. Само собой разумеется, что изучение этого нового искусства имеет огромное значение. В то время, как наши так называемые насадители культуры склонны с пренебрежением относиться к развитию современной жизни, наша молодежь из одного угла Дальнего Востока устремляет свой пылкий взор и новым течением мысли всего мира, и немудрено, что она самым серьезным образом интересуется также и русским революционным искусством.

¹⁾ На Синсю Пильняк осматривал ткацкую фабрику, ту, где девушки сравнивают себя с цветком телеграфного столба. Полиция прозвала поездку Пильняка на фабрику, и у Пильняка записано.

«...тогда началась сумятица. Зарявал автомобиль, — мы должны были ехать на хутор, но мы оказались в новой гостинице, не в той, где ночевали. Тут же по непонятным причинам оказались наши чемоданчики. Мы совершенно недавно завтракали, — а тут на столе оказался обед, которого есть мы не хотели и времени которому не было. Кроме нас, за столом оказались посторонние люди, которых я не приглашал. Я ничего не понимал. Вежливость мне не позволяла перейти на истинно-русский язык. Все делалось и очень поспешно, и очень медленно. И во всяком случае очень методично. Из-за стола, что вообще считается неприличным, меня вызвали на улицу, к озеру, фотографироваться —

«И все это кончилось тем, что меня за-мертво везли на вокзал, в поезд, в Токно И, мучаясь отчаяннейшими болями в желудке, я хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, в полпредство, чтобы говорить по-русски и быть среди своих соотечественников. Я не знаю, но мне кажется, что меня отравила полиция, чтобы ликвидировать мою настырность в поисках деревенской Японии и японского быта. Так или иначе, без всяческих дураков, в поезде тогда я, в полубреду, думал уже не о том, как может забалачивать Восток, а о том, как выпирает он, выталкивает из себя пробкой из квасной бутылки, к чортовой матери всех, кто сует нос, куда не следует, — и у меня ко всему — всяческая — пропадала охота

«Так закончилась моя поездка в Синсю».

Как орган, который мог бы содействовать изучению этого искусства, нами было организовано Японо-Русское литературно-художественное общество. Цель общества заключается не только в устройении собраний, изданий печатных трудов и организации лекций, но и в установлении непосредственных связей между литературным миром России и Японии путем командирования членов общества в Россию и приглашения советских художников и литераторов в Японию. Однако для успешного осуществления этой цели прежде всего необходимы взаимное понимание и дружба. Только при таких условиях мы надеемся на возможность целесообразного изучения искусства обеих сторон и на вытекающее отсюда культурное сближение их. Культурное же сближение обоих народов, как мы в том глубоко уверены, принесет крупную пользу не только обеим странам, но и всему вообще миру».

«Учредители Японо-Русского литературно-художественного общества.

Токио, март 1925 г.»

«Я перелистываю книги, только те, в коих сделаны пометки по-русски, ибо по-японски я могу читать только свою фамилию, — и эти книги совсем не все, переведенное и написанное в Японии.

«Выписываю, — переведены:

«Блок, Белый, Брюсов, Каменский, Мандельштам, Полетаев, Есенин, Эренбург, Обрадович, Колоколов, Орешин, Клюев, Князев, Маяковский, Пастернак, Владычина, Демьян Бедный, Рюрик Ивнев, Александровский, Герасимов, Кириллов, Мариенгоф, Хлебников, Вс. Иванов, Зошенко, Яковлев, Федин, Замятин, Буданцев, Касаткин, Лидин, Ляшко, Никитин, Новиков-Прибой, Сейфуллина, Соболев, Шагинян.

«Театр Осанаи-сана издает свой журнал, посвященный главным образом русскому театру. Симфоническое общество Ямада-сана издает журнал, посвященный главным образом рус-

ской музыке. У меня хранятся шесть томов профессора Нобори-Сьому¹⁾. Вот названия этих томов по порядку, названия, выписанные по-русски рукой Нобори-сана: 1. «Мое впечатление от Советской России». 2. «Театр и балет революционной эпохи». 3. «Утренний период новосоветской литературы» (в этой книге, кроме общих статей, даны характеристики следующих писателей: Вяч. Иванова, Брюсова, Кузьмина, Сухотина, Блока, Маяковского, Пастернака, Мариенгофа, Эренбурга, Федина, Вс. Иванова, Пильняка, Толстого). 4. «Первый сборник новосоветских искусств» (посвященный живописи). 5. «Пролетарский театр, кино и музыка».

«Японцами сделано гораздо больше нас для изучения нашего искусства, — гораздо больше даже того, что сделано нами для изучения японской культуры и японского быта. Когда японцы что-нибудь делают, они делают это очень упорно. Японская государственность заботливейше отгораживается от теперешней России всякими способами, и в частности книги, посылаемые почтою в Японию, даже заказною, туда не доходят: это тоже только на мельницу японской общестственности. Я по приглашению, полученному через наше полпредство, был на выпускном акте Токийского института иностранных языков. Там собрался дипломатический корпус посмотреть, как японская молодежь учит иностранные языки. И перед нами прошли студенты, говорившие директору института прощальные речи на русском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, индусском, малайском, английском языках. Юноши, которые окончили

¹⁾ (Глосса Кима) Сьому — псевдоним: «Рассветный сон». Родился в 1878 г. Один из лучших переводчиков Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Куприна. В последнее время переводит большие критические работы, в частности сейчас перелагает на японский все опоязовские опусы и «А все-таки она вертится» Эренбурга. В 1923 г., в конце лета, приехал в Москву, но, пробыв несколько дней, спешно поехал обратно по получении первых телеграмм о гибели Токио, где он оставил свою семью

институт по русскому отделению, приехали уже в Россию и будут здесь совершенствоваться в языке и изучать Россию лет по восемь: и они будут знать Россию.

Я — тоже европеец, сын страны, чуждой Японии. Я только-что рассказывал, как меня встретила Япония, — и о том, как Япония встречает Россию. То, что было со мной, слагается из ряда элементов и — выбрасывает ряд элементов.

«У меня очень часто в Японии болела голова от нервного перенапряжения, от непонимания того, что со мной делалось от насморков: я тоже европеец, сын чужой страны. И ину добились конечно многого: в укромных местах я сидел над записями и книгами, чтобы разобраться в этих укромностях, но я ни разу не исхитрился побывать в рабочих районах, на рабочих собраниях. Однажды я побывал на фабрике и в том, как я поплатился, об этом я рассказал. В укромных местах я узнал, что два года тому назад на площади Тераоном студент Намба первый раз за всю историю Японии стрелял в принца-регента, ведущего род свой от богини солнца Аматаэрасу, — студент Намба, бросивший университет для рабочих казарм. Этого мира японская полиция не дала мне увидеть».

«Я читал роман Эгути. Такие романы писались у нас в 1904 году. Газетный работник ушел в подполье, в революцию, он связался со студенчеством, и он, и студенты его дружба, и его любовь были очень одиноки, одинокий кружок, никак не сумевший связаться с рабочими, с действительными силами. И попустому, в благороднейшей любви к абстракциям и боли, они пошли в тюремные бредни. — Фарфоровым чашкам телеграфного столба, конечно, трудно расцвести!»

Рассуждение о цветении телеграфных столбов — вещь страшная. Вообще вышеприведенные рассказы «Корней» надо расценивать как фотографию, со всеми фотографическими недостатками.

О японской интеллигенции говорилось уже и будет говориться. И фарфоровые цветы телеграфных столбов могут цвести.

В ряду полицейских дел надо вспомнить цитату «Корней» о том, что — «... в морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж: в Японии это не только почетно, но там есть целая наука, называемая синоби или ниндзюу».

И так далее, сопровождаемое цитатами из японского словаря и русского специалиста по шпионажу В. Латынина, подобранное Р. Кимом.

Цитату можно дополнить рядом японских материалов. Громкой памяти генерал и премьер Танака писал в своем «стейтменте», что он, до русско-японской войны, в Санкт-Петербурге (Куприн, как гласит предание, с него писал своего Рыбникова), — молодой офицер Танака, практиковавшийся в русских полках кавалерийскому искусству, обучался танцам в ряде танцевальных школ, через танцклассы разбрасывая свою шпионскую сеть. Нынешний наместник Маньчжурии (официально — посланник в Чань-Чуне) барон Муто в своем стейтменте, вдогонку генералу Танака, сообщил недавно, что он — офицером генерального штаба — был поваром у коменданта крепости Порт-Артур. И прочее.

О японском шпионаже пишется множество.

О японском полицейском пишутся целые научные исследования, — об этом омавари-сан — «господине туда-сюда» (точный перевод — ходящий вокруг), как на японских улицах называются постовые, по аналогии с мерзкой памяти российским городовым. Каждый, побывавший в Японии, может рассказать анекдоты не худшие, чем у Пильняка от 26-го года. Утверждают преданность японцев полиции. И утверждают, что каждый японец — шпион, бои, прачки, лавочники, врачи, журналисты, адвокаты, генералы, адмиралы, — все! — Одни это объясняют мистическими особенностями японского национального харак-

тера. Другие — страшным национализмом. Третьи — историческими традициями. Еще до эпохи Токугава, в японских деревнях возникли, наподобие русским крестьянским «мирам», административно-хозяйственные организации, по пять дворов в каждой, со своими старостой и печатью. Назывались эти миры гонингуми. Гонингумиане обязаны были платить налоги миром в круговой поруке, оказывать мирянам помощь в беде и — следить за поведением каждого из мирян, — все в круговой поруке. За грехи гонингумианина отвечал весь гонингуми. Токугавская эпоха, эпоха идеального полицейского строя, довела полицейское состояние до совершенного блеска и лакировала его двести пятьдесят без малого лет, вогнав шпионаж в японскую плоть всеяпоно-гонингумийских масштабов. Так говорят. Омавари-сан в Японии непреременный член национальных переулков. Он предсказывает погоду. Он обучает детишек самураиству. Он выпивает на похоронах. Он объявляет, когда надо чистить перед нюбаем татами. Он — господин, ходящий вокруг туда-сюда — ни дать, ни взять российский XIX века классический будочник.

Что же, фотографии Пильняка от 26-го года следует расценивать очень просто. В 26-м году в Японии была средневековая полиция, средневековых навыков, и только. И у средневековых японцев было свойственное их возрасту отношение к полиции. Еще раз — и только.

Но Пильняк 32-го года отрицает уходящее в легенду подтверждение того, что вся Япония предана шпионажу и все японцы обязательно шпионы. И не только по одному логическому утверждению того, что всякий шпионаж, даже японский, даже в средневековых отношениях, обязательно вызывает контршпионаж.

Что касается самой полиции, то к 32-му году она очень европеизировалась. Шпика, явно приставленного, Пильняк видел всего один лишь раз. Спутница Пильняка по женскому своему инстинкту в 26-м году поступала правильно, посылая Петю в лавочку. И Пе-

те было легче. И Пильняк в 32-м году поступил по принципам спутницы. Он подсел к гороховому пальто (и в Японии они гороховые!), спросил чисто-сердечно:

— Вы говорите по-русски?

Тот чисто-сердечно ответил:

— Да!

— Кто же вы будете? — спросил Пильняк.

И тот ответил сердечно, гордо, выпятив губы, шопотом:

— Шпиен.

Побольше бы таких «шпиёнов», совравшихся со средневековья!

Но этот случай был единственный. На чемоданы Пильняка набрасывались незаметно. Ни его, ни его гостиницу не насиловали. Двигаться не препятствовали.

В Москве визу Пильняку дали всего на месяц, когда вообще визы японцами даются на год. В Москве Пильняка успокоили, что конечно виза будет ему продлена на месте, в Токио. Пильняк понял, что японцы намерены проверить его поведение, прежде чем дать иль не дать визу. И Пильняк двинулся в одиннадцатитысячекилометровый путь. Приехал, через неделю стал хлопотать о продлении визы перед главной полицией. Ему сказали, что виза будет продлена. Он успокоился. В день, когда месяц его визы истек, Пильняк не выехал из Японии только по той случайности, что его не поймал полицейский телефон, ибо в продлении визы ему было отказано, и полиция ловила его телефоном, чтобы попросить о выезде. Пильняк просил ходатайствовать за него советское полпредство. И сам написал ходатайство господину японскому министру внутренних дел. Советский генеральный консул ездил в министерство иностранных дел. Советскому генеральному консулу было обещано продление визы. Пильняк был полууспокоен. Через десять дней Пильняк получил отказ в продлении визы от господина министра внутренних дел. В этот же день советский генеральный консул получил от японского министерства иностранных дел уведомление, что, в виду того, что господином советским гене-

ральным консулом точно не указывался срок, желательный для продления визы господина Пильняка, ходатайство господина консула конечно удовлетворено и виза господину Пильняку продлена на две недели. Одним словом, Пильняк должен был сложить свои чемоданы в 48 часов и выехать за пределы Японии.

Это—куда умнее, чем в 26-м году!— Пильняк знал, что продление его визы зависит от его японо-полицейской благонадежности — и Пильняк не знал даже часа своего отъезда из Японии. И это — куда «капиталистичнее»! — и это, также, никак не опровергает утверждения того, что японская государственность есть государственность полицейская.

Что же касается утверждения всенародно-японского шпионства, то это утверждение, надо полагать, не будет справедливо по отношению к студенту Намба, который, по всем вероятностям, полиции не докладывался, стреляя в принца-регента, — и не будет справедливым по отношению к тем офицерам и юнкерам, «друзьям рабочих и крестьян», как они подписывали свое воззвание, убившим 15 мая 1932 года премьер-министра Инукаи и кидавшим по Токио бомбы не по любовным чувствам, надо полагать, не с разрешения полиции, хоть они, эти «друзья рабочих и крестьян», были и офицерами, и фашистами, и монархистами.

И не только по отношению к этим неверно утверждение всеяпонского шпионажа. О японцах надо сказать, что именно этот полицейский режим, шпионско-доношницкий, создал колоссальное уменье у японцев конспириваться и очень утвердил различные Моисеевы заповеди. Если японец дал честное слово, он его сдержит так же и при тех же обстоятельствах, как любой европеец и американинец.

У Пильняка в 26-м году то и дело болела от Японии голова. Пьер Лоти, Лавкадио Гэрн, Анри Бельсон напутали о Японии так, что Пильняк в 26-м году приехал в Японию с настроениями в роде тех, что были у философа Хомы Брута перед его путешествиями ко гробу паненки в полунощную церковь, опи-

санными известным русским ученым Николаем Васильевичем Гоголем в его глубоко-научном и философском труде «Вий». Между 26-м годом и 32-м у Пильняка лежали шесть советских лет и северное полушарие земного шара от Токно через Париж—Нью-Йорк до Лос-Анжелоса и обратно.

И Пильняк в 32-м году, приехав в Токно и встретив старых своих приятелей и знакомых, думал о них без философского тумана Хомы Брута, — люди и люди. Зная ж японские полицейские обычаи, зная по газетам, что многие его знакомые писатели, которые в 26-м году допрашивались до и после свидания с Пильняком, а в 32-м — просто сидели по тюрьмам, — зная об этом, встречаясь с уцелевшими от тюрем знакомыми, Пильняк говорил с ними попросту, по-товарищески, по-человечески, как он говорил с русскими, французскими, американскими людьми.

Пильняк говорил и спрашивал примерно следующее:

— Я знаю ваш полицейский режим. Я знаю события Шанхая и Маньчжурии. Мы оба знаем это в одинаковой мере. Я знаю ваши дружеские чувства ко мне. Вы знаете мои дружеские чувства к вам. И я ни в какой мере, именно во имя нашей дружбы, не хочу создавать вам каких-либо неудобств. Мне понятно, что нет никакого удовольствия видеть у себя постоянных визитеров из полиции. Я говорю о том, что, если вам неудобно встречаться со мной, — мои чувства к вам не изменятся, если вы прекратите со мной встречи.

И Пильняку отвечали по существу и попросту. Несколько человек сказали, — да, им опасно встречаться, и они не встречались. Другие сказали, — да, им опасно бывать в гостинице, но они могут встречаться в публичных местах. Третьи просили поселиться подальше от советского полпредства, куда им опасно ходить. Четвертые, а среди них были и третьи, и отчасти вторые, говорили, что, если встречи будут затруднены, они предупредят. Пятые ж, которых Пильняк не видел за эту поездку, через первых, вторых, третьих, четвер-

тых, передавали Пильняку приветы и объясняли свои невстречи полицейскими заборами.

Пильняк выехал из Москвы в Токио 23 апреля 32-го года, в дни, когда особенно густо повисли над Дальним Востоком гнилые тучи войны, готовые разразиться громами пушек и удушья газов. Визные дела Пильняка раскданы. Тем не менее Пильняк читал лекции в университетах, печатался в японских журналах, ходил на китайские банкеты и — пребывал подчеркнуто-советским писателем и гражданином.

Совершенно неверно, что каждый японец — шпион! — и колоссальный японский полицейский режим существует не потому, что он пришел и существует вместе со средневековьем, но именно потому, что не каждый японец — шпион.

В. Латынин, специалист по шпионажу, в своем труде писал:

«... Еще до русско-японской войны — и так далее, парикмахеры, лакеи, лавочники — офицеры японского генерального штаба, — купринский рассказ «Штабс-капитан Рыбников» — теперешний японский наместник Маньчжурии господин Муто — —

Япония эпохи Мэйдзи конечно проделала колоссальный путь, это единственная пока на земле, кроме стран СССР, «цветная», «языческая» страна, в шестидесятых годах прошлого века стрелявшая еще стрелами луков, к эпохе мировой войны ставшая мировой «великой» державой. Для шестидесяти миллионов человек, живущих на Японских островах, конечно эти годы от шестидесятых до сегодняшних, — освобождение от «белого» человечества, европейская медицина, удачные войны, — большой переход к лучшему будущему, расцвет, успех. Утверждение европейцев и убеждение самих японцев в том, что Япония древняя страна, — неверно. Япония — очень, чрезвычайно молодая страна, с очень молодой историей. Ибо историю теперешнего человечества надо считать от развалин средневековых замков, отодвинув все остальное в до-

историю. Эпоха Мэйдзи—начало японской истории.

В 32-м году Пильняк был приглашен в замок к барону Х, японскому дипломату, банкиру, реставратору, промышленнику, сподвижнику императора Мутсухимо. Пейзаж и дорога были чудесны. Поливал нюбай, этот японский июньский дождик «созревания персиков» и бреда для европейцев, когда то ли облака опустились на землю, то ли земля поднялась на облака. Безоблачное небо светило солнцем и — моросил дождик, садился на лицо и на одежду и парил людей, двигавшихся в жарчайшем и липком российском древних времен банном полке. Ехали на поезде с кислым свистком. Уезжали в чудесность гор. На полустанках за проволокой перронов, в мокром зное, цикады стрекали уши крапивой звуков. Приехали. Автомобиль пошел дальше в горы, заехал за забор в лес.

Этот лес и был замком, раскинувшимся от подошвы до вершины горы, со множеством домов, хижин, шалашей, храмов, служб, ферм, плантаций, — средневековья, — феодальное владение. Навстречу вышел очень бодрый, очень подвижной и не очень маленький старик, которому восемьдесят четыре года. За локтями господина барона стояли две молодые, лет по восемнадцати, красавицы в ярких кимоно. Господин барон был в тяжелой визитке, в тугом пластроне. Крахмальный воротник с черным галстуком лежал вокруг его желтой, как воск, сухой из морщин и сухожилий шеи очень плотно. Белые от времени глаза господина барона были веселы. Он весело зашутил. Он попросил пройти в дом, пропустил вперед гостей и бодро зашагал, точно шел на ходулях. Из ушей у господина барона росли белые волосы, аккуратно подстриженные. Мослы его ступней в лаковых туфлях выступали столетием. За господином бароном пошли две девушки. Сначала он принял гостей в европейском дворце, сделанном по всем европейским правилам, в гостиной. На столе лежала папка писем, только-что присланных, со штемпелями Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Калькутты. Прислуживали девушки.

Господин барон предложил прогуляться по замку, по горам и по другим шалэ. Он шел по горам с своими подогнутыми и тем не менее ходулешагающими ногами быстрее и привычнее его гостей, совсем не задыхаясь, поразительно бодрый старик, этот человек-эпоха.

Господин барон охотно рассказывал.

Та-то таинственная и потаенная хижина под крептомериями построена в честь принца такого-то, где барон принимал принца за чайной церемонией. На той-то солнечной площадке, над обрывом, с пейзажем на долину рисовых полей и на океан, он принимал российского и американского послов за месяц до русско-японской войны. Здесь, около этого водопада и прудика с золотыми рыбками, он впервые услышал о мировой войне, которая должна была начаться через две недели, и высказал свое мнение.

На самой вершине горы был храм, казавшийся оставшимся от тысячелетий, храм, посвященный императору Мэйдзи, отцу и покровителю господина барона.

Второй отдых был в японском дворце, съезде которого на самом деле остались от тысячелетия, в котором красавицы приготовили чай, сладости, сигары. Господин барон чуть-чуть отдыхал, в хорошем расположении духа. За спиной его стояли две очень красивые восемнадцатилетние девушки, храня его носовой платок и ожидая его распоряжений.

С русским писателем барон говорил о России. Солнце и нюбай парили до умопомрачения. Цикады стрекали уши до головной боли. Руки господина барона, восковые, состояли из одних мослов. Господин барон, вспоминая, чуть-чуть прикрывал узкие свои глаза, затем они делались веселыми, хитрыми и добрыми.

— Я был на вашей родине, да-да, — когда это было? — я-да-да, — я заезжал туда из Парижа в прошлом веке, кажется, в восьмидесятых годах, да-да, на коронацию императора Александра III... как ужасно тогда ушел император Александр, — Благословенный, не так ли? — но моя судьба вообще связана с Россией. Мой отец был мелким

чиновником на одном из маленьких северных островков. Это было еще в эпоху Токугава, задолго до эпохи реставрации. На этот остров море иногда заносило русских рыбаков, и мой отец знал несколько русских слов. В пятидесятых годах часто уже стали появляться около берегов Хоккайдо американские и русские суда. И именно потому, что мой отец знал несколько русских слов, правительство сьогуната перевело его в Хакодате. Мне было тогда, да-да, восемь лет.

— ... да-да, я был боем у первого американского консула в Японии, мне было четырнадцать лет, я научился у него английскому языку...

Господин барон замолчал, щурясь на солнце, на океан, на половину-третьего дня.

— ... когда во Францию поехала первая японская делегация, я поехал тогда первый раз в Европу. Я не был в штате миссии, я прислуживал ее членам. Но в Шанхае у нас умер штатный сотрудник, произошло передвижение в чинах, и я получил первый чин... да-да. Мы ехали в полном самурайском наряде, в наших национальных мужских прическах, в париках, в парадных кимоно и хаори, каждый с двумя саблями. Наполеон Третий нас встретил военным парадом, да-да... И получился смешной конфуз. Нашей миссии было предложено сесть на коней, чтобы вместе с французским императором проехать мимо полков и принять парад. Мы сели на коней, чтобы не потерять лицо, да-да. Мы плохо владели ими. Не знаю, случайно ли, или это было придумано французами: лошади для нас были собраны из разных полков лейб-гвардии, и, как только прогудели военные сигналы, эти кони марш-маршем разнесли нас по своим полкам... да-да... Вы знаете, что первый лифт, который был устроен в Париже, был в русском посольстве на рю де-Гренэлль? — Там также произошел смешной конфуз. Мы были приглашены к русскому послу. Нас роскошно приняли. Мы прошли по замечательным коврам, посланным по посольскому двору от самой улицы. Мы вошли в вестибюль. Еще два шага,

да-да... и наш посол оказался за решеткой!.. глава нашей миссии схватился за саблю, решив, что мы попали в плен. Члены делегации, не успевшие оказаться за решеткой, также были готовы схватиться за мечи. Клетка с главой нашей миссии поползла вверх. Он признавался потом, что готов был сделать себе харакири, а когда дверь клетки открылась, он боялся выходить из нее, чтобы не попасть еще в какую-нибудь ловушку... Да-да, это был лифт, первый во Франции лифт: да-да, ваши императоры никогда не были нашими друзьями...

Господин барон вспомнил, что перед ним сидит русский писатель. Он на момент прикрыл глаза, они выглянули из седых ресниц старческими и добрыми.

— Да-да... но я больше всего люблю Россию, Америку и Россию. У вас в России нет уже императоров, я слышал. В 1925 году я должен был поехать в Москву в связи с рядом наших экономических проектов, для обретения взаимного понимания. Но я немножко стар, да-да... Я удалился теперь от государственной работы... Одно время я увлекался чайной культурой. У меня есть свои плантации. Моего чая нет в продаже. Я каждый год посылаю его в подарок императору, дарю моим друзьям, да-да, и пью сам... Я увлечен теперь вопросами национального питания. Я ставлю лабораторные опыты. В Европе едят хлеб. В Азии едят рис. Центральная Азия, Россия, Балканы едят баранину, которой почти не едят на севере Франции, на Скандинавах, в Англии и совсем не едят в Юнайтэд-Стэйтс. Человечество вообще употребляет пищи больше, чем следует. В Японии все больше и больше обостряется рисовый вопрос, да-да... Я изучаю рационы для нашей бедноты, чтобы это было самым дешевым и наиболее полезным, да-да... Я ставлю лабораторные опыты на кроликах.

Писатель любопытствовал посмотреть эти опыты. Опять пошли по горе. Пришли на площадку, завитую плющом, диким виноградником, залитую нюбаем и солнцем. К скале прилепились два дома. Один — национальный, грибообразный, под соломенной, рисо-

вой соломы, крышей. Другой — баракообразный, временной постройки, европейский, под цинковым железом. Вошли в барак. Там, в клетках, сидели штук восемьдесят кроликов. Девушки вышли из-за локтей господина барона, чтобы открывать клетки. На широкой скамье, заменяющей лабораторный стол, стояли аптечные весы, лежали книги и спрачочники. Кролики главным образом были тощи. Ничего особенного не было. Вышли обратно.

— А что в этом доме? — полюбопытствовал писатель.

Глаза господина барона на момент закрылись, затем они выглянули из седых ресниц старческими и спокойными.

В национальном доме, грибообразном и под соломенной крышей, на татами рядами сидели за пальцами женщины, в возрасте лет от четырнадцати до тридцати, человек шестьдесят. Женщины пали в ноги господину барону и его гостям. Женщины вышивали на шелку аистов для съодзи и ширм, гору Фудзи, сосны. Женщины вышивали на полотне европейской гладью. Это была маленькая кустарная фабричка, — такими, надо полагать, были российские крепостные и европейские феодальные девицы.

— Это моя школа, — сказал господин барон. — Дети и женщины бедных крестьян приходят ко мне учиться мастерству... да-да.

Пильняк видел живого феодала, человека эпохи Мэйдзи. Господин барон начал свою судьбу без баронского титула, боем у американского консула. И он заканчивает свою судьбу Соломоном, ибо он, подобно Соломону, песчился (не от слова песок, а от библейского слова песчись) о благе народном и для продолжения своей благодостной жизни окружил себя девственницами. Эпоха Мэйдзи создала много таких людей. Такие люди — делали эпоху Мэйдзи. Теперешние дни Японии таких людей не делают, не смогут сделать, ибо эпоха — не та. Встреча с господином бароном — поучительна вообще.

Но в частности Пильняк ее вспомнил в связи с цитатой В. Латынина. Офицеры эпохи Мэйдзи могли быть боями

у русских офицеров, тому свидетельство в действе господина барона и в истории с российским лифтом. Офицеры теперешней эпохи не смогут быть боями, тому свидетельством заботы господина барона о разведении кроликов и его рукодельная школа.

Цитаты ж Пильняка о напряженнейшем японском национализме, правильные для эпохи Мэйдзи, устарели для теперешних дней, — тому свидетельством дальнейшие главы.

6

Пильняк 32-го года вел записную книжку.

— —

Приехал в Цуруга. Всю дорогу, выехав из Москвы 23 апреля, когда газеты были очень щетинисты, не имел никаких сведений о политических новостях. Дул сильный ветер, теплый и очень резкий. Советское консульство, которое было на самом берегу, однажды в бурю снесло ветром, разнесло по морю. В пустом ветре мертвого городишки, в ветреной тишине, поразили крики ястребов. Их было очень много, они летали иной раз стаями. Выяснилось, что ястреба в Японии так же чтимы, как голуби в России и Италии. В орденской японской системе есть орден Золотого Ястреба.

В Цуруга проведена мобилизация запасников в Маньчжурию, — мобилизация цуругской дивизии. За сутки до объявления мобилизации округ являл собой толпище экстренно заболевших и желавших лечиться, а на станции, в переселении народов, исчезли билеты. Первая газетная новость в Цуруга — выстрел Горгулова, газеты сообщали о зверстве большевиков.

— —

Гостиницы, кроме американских, все и везде одинаковы. На пороге надо разуваться, когда европейская обувь очень сиротливо выглядит среди рядов гэта. На пороге в пояс кланяются хозяин и служанки. Голоса служанок похожи на скрип европейских провинциальных дверей. Перед порогом — сад с такими ж фонарями, как в храмах, вытесанными

из камня в рост человека, покрытыми мхом, среди карликовых деревьев и искусственных скал над озером метра в два размером, в котором плавают золотые рыбки. Лестницы полированы, как у европейцев рояли. Прислугу надо звать — через бумажные стены, где слышен каждый шорох,—ударами в ладоши. И прислуга отвечает протяжно и жалобно: «хайй!»

Ямагата — отэл в Токио — точный перевод — горноподобный — считается «резидентским» отэлом, отэлом для приезжающих пожить неделю-другую. Отэл совершенно пуст, по приказу кризиса. За окнами—обрыв, овраг, Хибиан-парк, деревенский пейзаж, полощатся насекомые и птицы в своем семейном гаме. И каждое утро надрывается под горой граммофон одной и тою же пластинкой — «Дубинушкой» Шалапина,— «эй ухнееээем!».

Наем детей в нищенство — по договорам с родителями, — подобно найму в публичные дома и на фабрики. Беспризорники, малолетние бандиты, дети с улицы, — выгнаны голодом и развалом семьи.

Около Мито. Подземные — в пещерах — ночлежки. Целые деревни выкинутых кризисом.

Токио. По каналам в городе, неподалеку от дворцовых каналов, — подобно Кантону, — в лодках живет беднота. В 26-м году этого не было. Полиция идет навстречу: под ночлежки на каналах приспособлены баржи.

Пословица: «Сберегая керосин, прогадаешь на детях».

Газетные рассуждения. На приколе в порту стоят — по приказу кризиса—первоклассные океанские корабли. Предлагается на них открыть американские дансинги и бары.

Продажа волос—женских причесок— для покупки риса. Продажа крови для переливания. Продажа тела в университетские morgi. Человек не хочет уходить

из тюрьмы, просится в тюрьму, делает мелкие преступления, чтобы быть в тюрьме. Семейные самоубийства по социальным причинам, отец, мать, старики, дети, весь род. Самоубийства со-спар. Двойные самоубийства. Очень частое бытовое явление. По поверьям токугавской эпохи, двое влюбленных, умерших вместе, оказываются вдвоем на лепестке лотоса.

Газеты уже несколько дней разрабатывают эту такую двойную смерть. Трупы бедного студента и буржуазной девушки вскрыты. Девушка оказалась девственницей. Студент был из очень бедной, из никакой семьи.

Цветы «Эдо» — страховые поджоги.

Армия спасения.

Били армеек спасения, офицерш и солдатш, за — за агитацию против публичных домов. Стало быть, армия спасения, англо-американская штучка, в Японии имеется.

Рассказ соседа. Две англичанки-спасительницы офицерши-диакониссы раз-агитировали девушку, сироту, сделали ее христианкой и армейкой спасения. Окрестили, попели псалмы, поселили с собою, давали ей в месяц 10 эн. Жили и радовались. И увидели однажды у девушки припрятанными погребальные священные дощечки, те, на которых написаны синтоистские имена предков. Офицерши-спасительницы очень остервенели и потребовали — или утопить дощечки, или они не будут платить жалованья, 10 эн. Девушка бросила души своих родителей в реку. Это видели. Соседи возмутились святотатством. Спасительницы, отработав свой срок, собрались и уехали в Англию. Перед отъездом они разочаровались в девушке. Они поздравляли ее с истинным христом. Девушка плакала, она говорила о том, что ее бойкотируют. Она просила немного денег, чтобы уехать куда-нибудь в провинцию, ибо в Токио она сможет найти себе место только в публичном домѣ. Спасительницы впали в ужас от этаких босых разговоров ужасного существа, потерян-

ной девушки. Они прогнали ее вон. Сосед говорил, девушка улыбнулась, поклонилась англичанкам по-японски в ноги и отправилась в Йосивару. Но ее не взяли даже в Йосивару, святотатку, ибо ее там могли встретить соседи, ибо соседи тогда перестали бы приходить в эти публичные места.

Спасительно!

— — —

32-й, 31-й годы. Десять процентов всех японских человеческих смертей — самоубийства.

— — —

Текстильная промышленность. Голодовка в качестве разновидности забастовки, — голодовка в женских рабочих казармах. Съезд крестьян-родителей текстильных работниц. Их, вместо самих ткачих, протесты. Толпы родителей около заводских ворот, где за воротами голодают, бастуют дочери. Полиция. Газетная корреспонденция.

— — —

Шесть татами — три семьи — нормальная рабочая жилая площадь. «Блохи величينو больше рисового зерна». Первое место среди городов мира по туберкулезу — у Токио. В Токио чудесные громадные парки — «дикие» леса и болота с дикими утками.

— — —

Японское открытие: «университеты — фабрики безработных».

По специальности находят заработок люди с высшим образованием только 20 процентов. 50 приблизительно процентов таких людей вообще никакой работы не имеют. Эпоха Мэйдзи, когда высшее образование обеспечивало место не ниже губернатора, кончена. Теперь, в лучшем случае, университет дает место сельского старосты. Общее высшее образование работает впустую по воле и в результате общественно-государственной системы, понятно. Жажда образования — громадна. Высшие школы переполнены. Студенты одеты немногим лучше рабочих, волосаты, как русские шестидесятники, между собой говорят, примерно, так:

— Тебе нравится Канэко-сан?

— Да, она уже прочитала старика Меринга.

Студенты русских факультетов — отсев, за последнее время главным образом полицейский, со всяческими «благонадежностями», — и тем не менее — большевики, разбойники.

— — —

На такси — в любой конец Токио (Токио сейчас — самый большой по площади город на земле) — полтинник, пол-эны. Шофера-студенты — не редкость. Шофера спят и вообще живут в такси, — бытовое явление. Ночью в такси часто пахнет спальней. На каждой машине всегда два шофера. И всегда газеты и книги.

— — —

Начальник полиции — содержатель публичного дома. Газетная истина.

«Харакири ныне заменяется петлей или газовым краном» — замечает начальник токийской полиции, отмечая значительный рост самоубийств на почве безработицы и истощения. — «За первые шесть месяцев 1932 года покончило самоубийством в Токио свыше тысячи человек. Число самоубийств увеличивается каждый месяц».

— — —

Сэйнэндан — допризывники полупризывного порядка, в полувоенной форме. Пожар. Подожгли допризывники, чтобы нарядиться в форму. Газетная истина. Ходят с американским пробором и здороваются по-американски, с японским произношением, где «л» заменяется «р»:

— Хэрро!

Обязательный союз запасников — продолжение армии, дополнение к полиции — блюстительная функция.

— — —

«Наука и преступление». Журнал. Совершенно европейская похабщина. Синоби и Пинкертон.

— — —

В парламенте на столах нет чернильниц, — убраны, дабы ими не бросались. Бросаются плевательницами. Гости с

хоров принимают в прениях горячее участие, и их перед входом в парламент обыскивают. Были случаи, когда депутатов выносили с заседаний на носилках. Полиция в помещении парламента, в зале заседаний и на хорах, стоит спиной к председательствующему, но не лицом, — дабы лицом быть к публике и быть готовым каждую секунду спастись и спастись. Парламентская полиция специальная — умеющая дзюдзитить, рукопреть.

Голос выборщика — от эны, смотря по надобности и по местности. Таксированная плата за «уступить дорогу».

История японского парламентаризма начата историей железнодорожных скандалов. Сейчас — сахарное дело. Крах. Расхищение. Дутые начинания. Банкротства. Замешаны: налоговый департамент, министерство финансов, прокуратура, суд и вожди обеих партий. Поскольку в «деле» обе партии — дело выяснить невозможно. Газеты витийствуют. Дутая перекупка земли. Дутые дороги. Скупка дутых дорог правительством.

Премьер-министр Вакацуки (тот, что был до Инукаи) судился по публично-домовым делам.

Когда театр Кабуки во главе с актером Садандзи вернулся из Москвы на родину, в Токио, на первом спектакле на сцену бросались, разбрасывались по зрительному залу свертки с живыми змеями. Фашистили. Порицали сочувствие большевикам.

Верхняя палата. «Кенкюкай» — организация баронов. «Косейкай» — организация виконтов.

«Кокусуйкай» — общество национальной чистоты. Фашистско-цеховая организация. Большой процент полурабочих. «Оябун» — «мастер» в феодальном смысле слова. Мастера имеют своих оябун, и так далее до верхушки, до «большого мастера» — «дай-оябун». Самурайствуют. Штрейкбрехерствуют. Нанимаются бить, кого прикажут. Минсэйтовцы нанимают, чтобы бить сэйю-

кайцев. Сэйюкайцы — минсэйтовцев. Бьют первомайские демонстрации. Зарабатывают неплохо.

Газета «Асахи» и др. от 1 июня 1932 года.

«Давление на Про-бунка ренмэи (пролетарская культурная лига) продолжается такими же темпами, как и раньше. 29 мая арестовано 30 человек представителей пролетарского театра. 31 мая арестовано шесть человек представителей издательского отдела союза пролетарских художников и конфискована литература».

Газета «Дзи-Дзи» от 1 июня 1932 года.

«Недавно арестовано семь человек представителей Дзенкио (левый профсоюз Японии), которые после ареста руководителей этой организации организовали столовую, вокруг которой группировали своих членов и собирали средства».

Текстиль. Вербовщики девушек-девочек работниц ездят по провинции с кино, рекламой, проспектами. Конкуренция.

В деревнях во время беспорядков и стычек с полицией орудием борьбы служит гэта, также такэяри, — заостренный бамбук — бамбуковые пики.

На круг по всей Японии на человека в деревне, на день, добавочное к рису питание обходится меньше золотой копейки — около полутора сэн.

Газетная статья по поводу «волны преступлений», все увеличивающейся.

Демонстрация рыбаков. Дороговизна земли в Токио создала концессию по отнятию, как в Голландии и Бельгии, земли у моря. Рыбаки демонстрируют против того, что их сгоняют с воды, где они и прадеды с испокон веков ловили рыбу.

Газетные заметки.

В ряде мест и в ряде случаев на мелких предприятиях — так скажем —

исчезали вывески. Хозяева задерживали жалованье рабочим. Хозяева устраивали сберегательные кассы, удерживая заработки рабочих. В некие паскудные дни рабочие приходили к своим фабрикам. У ворот толпились оябуны из Общества национальной чистоты. На воротах существовала новая вывеска. За воротами был новый хозяин. Это знало, что старый хозяин смылся, что фабрика перепродана и — новый хозяин ничего не знает о прежних хозяйственных расчетах прежнего хозяина с рабочими.

Был случай, когда рабочие залезли на крышу фабрики и сидели там, забаррикадировавшись с лозунгом на плакате:

«Отдайте нам наши деньги!»

Родовое клановое начало. Родовая порука. Скрытая от статистики безработица, когда потерявший работу в городе идет к брату, к отцу, к дяде — или в другой город, или в деревню. Родовая порука не позволяет отказать пришельцу. Пришелец будет принят даже тогда, когда те, к кому он пришел, голодают. Пришелец будет помогать роду. Будут голодать вместе.

Задолженность деревни — около 6 миллиардов эн — растет ежегодно на полмиллиарда. Баланс сельского хозяйства, стало быть, пассивный. Работа дочерей в бардаках и на фабриках — уравнение баланса. Некий экономист додумался и предлагал через газету, как самое выгодное, — удобрять рисовые поля рисом же. Ибо все остальные удобрения монополизированы и безбожно вздуты в цене.

Газетные сообщения.

В ряде мест и в ряде случаев в деревнях арендаторы, не уплатившие помещику арендной платы (арендная плата доходит до 50 процентов стоимости урожая, в товарных исчислениях), — арендаторы судом сгоняются с полей. Арендаторы тогда протестуют. Арендаторы против постановлений суда приходят на землю, безмолвно, дабы нельзя было найти «говорунов», становятся на

рабочие места и безмолвно, без видимой команды, дабы нельзя было найти «зачинщиков», все сразу поднимают и опускают кирки, приступая к обработке своих участков. Это — разновидность бунта.

Положение мелких собственников — не лучше арендаторского. Денежные налоги и их сроки заставляют продавать рис тотчас же после урожая, и в урожайные годы дело обстоит хуже, чем в недородные. Цены на рис и спрос падают, надо бегать и умолять, чтобы продать урожайный рис. Аренда берется в процентном отношении к урожаю, но берется — деньгами.

Неуплата долгов — явление не только деревенское, но всепонское. Неудимки растут повсюду.

Газетные сообщения.

В ряде сельских районов врачи и акушерки раз'ехались из-за неуплаты жалованья. В ряде районов сокращение — и жалованья, и количества учителей. В некоторых местах — восстановление натурального обмена.

Волна крестьянских «мораториумов» — коллективной неуплаты долгов. В связи с этим сельские постановления: детям в школы не ходить, всем селом, дабы оставить одних детей помещиков, которые пусть и платят налоги. Надо помнить, что первоначальное обучение в Японии — обязательно. Кое-где в деревнях возникли «пролетарские» школы, помимо правительственной системы, с выборным учителем, безвозмездным. Одна из деревень ходатайствовала перед правительством о том, чтобы ее не считали деревней, распустили 6, ибо эта деревня не могла платить общинных налогов и не хотела ни школ, ни больницы, ни почты. Одна из деревушек организовала союз по ограничению рождения детей. Председателем союза стал старшина. На членские взносы покупались предохранительные против беременности средства и давалось вспомоществование забеременевшим на аборты, хоть аборты и воспрещены законом.

Газетные корреспонденции.

Ростовщик наложил арест на 72 дома сразу в одной деревне. Полиция помогла правозаконному человеку отобрать весь рис у деревни, отправив деревню в голод.

Газетные сообщения о самогонщиках — гонят целыми деревнями.

Газетные сообщения о краже риса. Полицией установлены факты организованного детского воровства. Дети воровали, чтобы кормить родителей. Дети воровали потому, что ответственность за кражу — детская — меньше родительской.

Ряд газетных статей о ряде голодающих мест на севере и в центре Японии, в коих сообщается о том, что в ряде деревень население питается рыбными жмыхами, теми жмыхами, которые обыкновенно употребляются на удобрение земли.

Газетные сообщения о помещике. Сошел с ума. Не получив арендной платы. Не имел риса. Пришел срок платить поземельный налог. Сошел с ума. Землю продать невозможно, ибо никто не покупает.

Корейский рис удвоил рисовый кризис метрополии. Ввоз корейского риса запрещен. Примерно так же обстоит дело с фушунским каменным углем. В парламенте поднимался вопрос о запрещении его ввоза в метрополию. Надо полагать, будет запрещен.

Поговорка: «Хороший урожай — большое несчастье».

Рекордный процент несчастных случаев в горной промышленности — у японцев. Газетные справки. Пожар в коях. В коях было до сотни рабочих. Пожар потушен радикально: закупорен доступ воздуха, пожар потухнул вместе с задохшимися людьми. Охрана труда, совершенно естественно, отсутствовала.

В Токио шла пьеса аналогичного сюжета. На сцене внизу задыхались рабочие, наверху мучились родственники.

В 26-м году коммунистическое движение выглядело, главным образом, студенчески-интеллигентским. По газетным отчетам 1 мая 32-го года, во время демонстраций были арестованы 1.200 человек. Демонстрации происходили не только на улицах. Служащие кино забастовали в честь 1 мая, забаррикадировались в ряде кино-помещений, и дрались с полицией чем попало — мебелью, зонтиками, гэта. Коммунистическое движение громится ежегодно: стало быть, ежегодно растет.

При министерстве внутренних дел организован департамент по религиозным делам. Раньше его не было.

В институте иностранных языков — забастовка. За сутки до забастовки я читал там лекцию о советской литературе. Разговоры с профессорами. Студенческая шкала: марксисты — спортсмены — бонвиваны (пьют в кафе и барах с кельнершами) — зубрилы — фашисты. Военизация школы: не только военная подготовка, но и собиране фашистской молодежи, их кружки. В массе студенчество уклоняется от военного обучения. Ряд удостоверений об окончании военного образования — как в старину в России фальшивые удостоверения о говении. Университетская инспекция открыто связана с полицией. «Сикэн дзигоку» — точный перевод — экзаменационный ад, — «д е с я т ь з а п о в е д е й». Японский классицизм, вместо европейского греко-латинского, изучает китайский «камбун» — «чистый текст» — и историю древней литературы. «Борьба с опасными мыслями». Забастовки в учебных заведениях — явление бытовое.

Газеты «Осаки», «Июмури» и др. от 16 июня 32-го.

«После ареста писателя Фудзимори Сэйкицы, который был задержан 8/VI немедленно после возвращения из Германии, выяснилось, что он начиная с весны 29-го года передал на восстано-

вление коммунистической партии около 800 эн. Деньги передавались через Курахару, Огава и других. Прокурор токиосского окружного суда немедленно составил протокол относительно нарушения закона об общественном порядке и спокойствии и поместил Фудзимори в тюрьму. Фудзимори известен в Японии как руководитель лиги пролетарских писателей».

Газета «Асахи» и др. от 16 июня 32-го.

«15/VI в Институте иностранных языков в Токио, в связи с забастовкой, устроенной учащимися, арестовано одиннадцать студентов, заподозренных в левых тенденциях. Указанные учащиеся оказались руководителями забастовки и связанными с марксистами. Ожидаются дальнейшие аресты».

Иные фашистские организации принимают религиозную окраску. Раньше этого никогда не было. За церковь взялись, как папа за капитализм.

Газетная корреспонденция.

В связи с маньчжурской кампанией приговорен судом к отсидке буддийский бонза, — за продажу амулетов, освобождающих от воинской повинности.

Газетная корреспонденция.

Такасима. Человек сто солдат ворвались в офицерское собрание и избili офицеров.

Дезертирство из армии.

Раненые на родину не допускаются, лечатся и выздоравливают на стационаре.

«Мертвая» агитация. По деревням развозят урны с пеплом убитых — в Цуругском округе — нагойцев, в Нагойском — цуругцев.

Самоубийства солдат в армии. Самоубийство военного пилота со-спар: он и она разбились с самолетом, сознательно.

Демонстрация по принципу «Потемкина».

В помещениях армейских казарм: новый сторожевой пост — в сортирах, ибо сортиры превращаются в агитпункты плакатов, прокламаций и собраний.

Крестьянский голод на севере главного острова начался с осени 31-го года. Правительственные рисовые запасы гниют на складах.

Отказы итти в атаки под Шанхаем. Роты. Батальоны.

Запасные 14-й дивизии, собравшись по мобилизации, начали бить квартиры офицеров. Их распустили. Суд.

Шанхайские события. Разговор с японцем А.: командование не оценило сил противника, не учло стратегического положения, бессмысленно теряло людей, показало устарелость маневренной тактики и вооружения, — покачнуло авторитет непобедимости.

Солдатский состав армии — на семьдесят процентов крестьянский. Офицерский состав: 50 процентов мелкой буржуазии, 20 — военная среда, 20 — зажиточное крестьянство. Самурайские традиции. Разрыв между старым клановым высшим командованием, генералитетом, сложившимся в эпоху русско-японской войны, и рядовым кадровым офицерством, не имевшим возможности продвигаться дальше капитанов из-за отсутствия больших войн, то-есть больших смертей, когда офицерство обычно быстро продвигается в чинах. Капитанское офицерство, связанное с мелкой буржуазией и крестьянством, совершенно естественно, переживает кризисное состояние вместе со всей страной.

Генерал Араки именно связан с этим капитанским офицерством, с фашистской мелкой буржуазией. Разговор с писателем В.:

— Перед приходом генерала Араки в министерство было арестовано 70 человек офицеров группы Араки, — почему они не были преданы суду и были освобождены? — спросил я.

— Потому, что к власти пришел Араки. Расправиться с этими семьюде-

сстью — это значит расправиться со всем офицерством.

«— Армия (подразумевается офицерство) сейчас превращается в партию, в политическую партию» — не острота, но факт.

Программа «партии»:

1. Борьба с партиями и партийностью, с «парламентаризмом» взяточничества и воровства, все-купли и все-распродажи, с коррупцией.

2. Борьба за национальное правительство и «национальную чистоту».

3. Борьба за улучшение положения крестьянства, рабочих, мелкой буржуазии путем переложения налогового прессы на капиталистов, — иль даже конфискации имуществ концернов, для раздач беднякам.

4. Укрепление армии, усовершенствование вооруженных сил.

5. Твердая внешняя политика. Овладение Маньчжурией. Твердые договора с Маньчжу-го. Война с Китаем и СССР. Несчет с Лигой наций.

Маньчжу-го. Маньчжурские события. Разговоры о социализме.

Д.:

— Я думаю, часть офицерства имеет программу завоевания Маньчжурии, конфискации имущества капиталистов для того, чтоб построить в Японии императорский социализм.

Е.:

— Вы знаете, что японские социал-демократы поддерживают правительство в вопросе маньчжурских событий, ибо они полагают, что овладение маньчжурскими естественными богатствами, японская эмиграция в Маньчжурию, рациональная организация труда маньчжурского населения, — все это поможет японскому рабочему классу, а стало быть, приблизит наступление социализма.

Визит к министру народного просвещения господину Хатояма.

Господин Хатояма считает, что человечеству следовало бы создать всемирное министерство народного образования, ибо того требует эпоха. Господин

министр просил меня передать Стране Советов, как перевел переводчик, что он, господин министр, знает, что некоторые японские круги относятся враждебно к СССР, — но он и его партийные друзья всемерно будут заботиться о дружбе между Японией и СССР и о взаимной как экономической, так и культурной соработе, ибо человечество должно разрешать коллизии не войнами, но экономическим и культурным взаимным пониманием. Господин Хатояма один из лидеров партии сэйюкай.

Встреча с Кикучи Каном. Крупнейший японский писатель. В кимоно и гэта. С лица похож на российского Всеволода Иванова. Очень сдержан. Встретились в ресторане. Очень молчалив. Говорили о странах и о литературе.

Кикучи Кан:

— Политические, экономические и международные дела привели Японию в тупик.

Вопрос Кикучи Кану:

— Что хорошего в современной японской литературе?

Ответ Кикучи Кана:

— Ничего хорошего.

И после паузы — о том, что он, Кикучи Кан, — представитель японской буржуазной литературы, — что (с чуть заметной, быть может показавшейся, иронией) — у пролетарских писателей цели конечно ясны.

Вопрос Кикучи Кану:

— Что надо посмотреть в Японии?

Ответ Кикучи Кана (чуть-чуть строго):

— Нечего смотреть в Японии.

Кикучи Кан:

— Япония так дальше существовать не может.

Содан — магическое, клановое, родовое слово, наслаждение ума от вдохновения души. Надо ли переделывать ванну, или выдать замуж дочь, купить кролика, переменить татами, начать или кончить торговлю, с'ездить к святым, — надо собрать содан, — собрать своих друзей, соклановцев, сородичей, чтобы вместе обсудить эти вопросы, сидя вокруг хибати и раскуривая папиросы иль

трубки, сбрасывая в хибати пепел и прикуривая от хибати. Первым высказывается инициатор собрания, излагающий суть дела, за ним часами, по существу, говорят остальные, обязательно очень глубокомысленно. Соданят по поводу нового граммофона иной раз часов семь под ряд.

Анатолий, племянник, воспитывающийся в Японии у профессора Йонэкава с тем, чтобы в СССР был лишний хороший японовец, проживающий там уже четыре года, от своих восьми до двенадцати, на вопросы по-русски: — «ты не устал? тебе не холодно? — ты не голоден?» — на вопросы, построенные «ты не», — отвечает: «да!» — Да — по-японски и по принципу наоборот.

К слову о Толе. На границе в анкете был вопрос: — цель вашего визита в Японию? — ответил: — писательские дела и встреча с племянником. В Токио, при вселении в гостиницу, полицейские чины очень вежливо советовали пребывать в Японии не в качестве писателя, но в качестве дяди «Тори-чан», предаваться родственным наслаждениям в перманентном родственном состоянии.

Похоронная процессия. Мертвец не лежит, но сидит в ящикообразном гробу с головой между коленями, как в утробе матери. Перед гробом идет отряд солдат и монахи в белом, несущие золотые лотосы. Около гроба несут цветы и блюдо с едой. Сзади идут люди во фраках, у каждого в петлице по белой бумажной розетке. Дальше ползут автомобили и курума. Вошли в парк. Прошли аллею вишневых деревьев. Гроб поставили на стол, обставили горшками со священным сандаловым курением. Бонзы в митрах, похожие на российских батюшек, голосами российских батюшек запели псалмы, то проглатывая слова и ритмы, то растягивая их до скуки. Десяток бонз с бритыми головами уселись вокруг гроба по-буддийски на колени, завывали флейтами, отбивая такт гонгами и тамбуринами. Затем процессия двинулась в крематорий. Хоронили виконта.

— — —
Поездка в Никко.

«Из гроба вставал барабанщик»
В Никко гробницы первых Токугава, первого Токугава — Иэясу. Пословица гласит: «Кто не побывал в Никко, тот не видел Японии». Поездка совпала с годовщиной смерти Иэясу, и из гроба вставали барабанщики. Люди из старых кладенцев достали старинные доспехи, оставшиеся от токугавских дней, панцири, мечи, луки, пики. Под поистине вековыми криптомериями, в средневековой прозрачности, в пустоте и благоуханности горного воздуха, шумящего падающей водой, люди, несколько тысяч чудачков, распределились по кланам и по доспехам. Возникли из древности полки, надевшие доспехи своих предков. Полками командовали даймио. Средневековые дружины здравствовали. Полки в зеленых, красных, синих латах, в кольчугах с мечами, без кольчуг с луками и колчанами, по роду оружия, в музыке свирелей и флейт, среди средневековых храмов, возглавленные даймио на священной белой лошади, полковыми и ротными шеренгами ходили кланяться могилам своих сюзеренов, первых Токугава. Полки состояли из тех, в родах которых осталось старинное обмундирование. Каждый полк в отдельности был вооружен и одет одинаково. Полки шли торжественно. Средневековье было сейчас. Путь полков шпалерами обставляли школьники и зрители, приехавшие на поминки Токугава.

Фантазия японцев усердно поработала на склонах никкских гор. Храмы расположились по горам, как мухоморы. Издали они на самом деле похожи на мухоморов в киновари грибообразных крыш. Храмы обвязаны японо-билийскими канатами из рисовой соломы. В храмах пусто и тихо, под храмами в криптомериях, в пагодах, течет горная река. Перила лестницы, ведущие к могиле Иэясу, заросли густейшим влажным мхом. Хвойный воздух синь от полумрака гор и криптомерий. Кругом пагоды. И там могилы. Камень. Гератический журавль, сидящий на черепахе. Тени. Молчание. Деревенская простая бедность.

Комментировать не стоит, эти полки, восставшие из гробов, очень пригодившиеся бы «Корням».

— — —
Сюжеты для рассказов с «японской рекомендованной психологией».

1. Молодой офицер под Шанхаем спас молодую японскую девушку от пуль. Девушка, совершенно естественно, восхитительной красоты. Офицер отвел ее купцу-отцу. Отец предложил руку девушки офицеру. Офицер отвечал торжественно, что душа, обреченная на смерть, не может связывать себя прозрачными узам.

2. Любовник пробрался в дом мужа, чтобы отрубить ему голову. Отрубил, притащил домой и установил, что в темноте он отрубил голову любовницы, но не ее мужа. Он потрясен. Он прибежал к мужу, пал к его ногам вместе с головою любимой, каясь и прося наказания. Муж заключил:

— Как я могу наказать человека, который так любил и любит?!

3. Удивительное путешествие в Васьбиной японского Гулливера.

Море унесло его на сампане из Нагасак. Он был прибит морем к неведомому острову Вечной молодости и Вечной жизни. Обитатели этого острова, где в три тысячи лет умирало не больше одного человека, заняты были главным образом мечтой о смерти и изобретениями способов отправиться к праотцам. Столы людей были уставлены ядами и отравленной пищей. Стены домов были украшены мертвецами и картинами смерти. Эти люди пребывали в остервенелом обалдении от жажды умереть. И — не умирали, как окаянны, наказанные жизнью.

4. «Зеркало есть душа женщины, как сабля есть душа самурая».

Человек, бедный человек, подарил зеркало своей жене. Жена умирала и умерла. Перед смертью мать отдала зеркало дочери. Мать сказала маленькой дочери:

— Твой отец наверное женится вновь, у тебя будет мачеха. Смотришь в это зеркало, — я буду там всегда.

И девочка смотрелась в зеркало. Мать смотрела на нее из него сначала

горестно, затем грустно, затем нежно, любяще, внимательно, затем мать и дочь сладостно плакали. Шли дни и годы. Лицо матери делалось все яснее и на улыбки девочки оно отвечало короткими улыбками счастья сознания того, что мертвая мать и живая дочь — одно и то же.

5. Факт из жизни. 20/XII — 32. «Токио — Асахи». «Самоубийство подпоручика Нисиио. Нисиио в качестве командира взвода 19-го полка попал в плен вместе с майором Куга. 10 декабря он покончил с собой при помощи фамильного меча. 8 декабря он простился с матерью, сказал ей: «— Я послезавтра направляюсь к Куга. Я хотел бы искупить свой позор красивой, мужественной смертью. Простите, что я причинил вам столько тревоги, не выполнив долга сына. Мой дух будет охранять страну и ваш дом».

По сообщению газеты, вся семья знала, что Нисиио собирается умереть. Все беспокоилось только об одном: чтобы он умер, как подобает военному, а не вешался и не топиался.

Интервью с братом Нисиио: «— Брат хорошо сделал, что умер. Мы установили престиж перед всеми. Я очень рад, что он умер с улыбкой, без мучений, проткнув себе горло фамильным мечом».

В данной газетной справке существенно отметить, что Нисиио покончил с собою без малого через год после майора Куга. Военными властями к харакири он приговорен не был. В харакири его загнали быт и родственники.

Сюжеты оченьгодились бы «Корням».

7

Итак, все, что написано выше, совершенно естественно, написано по поводу писателей Кагава и Пильняка, — да и написано на их материале.

Цитаты. Газета «Миакко» от 6 июня 1932 года:

«Недовольство крестьян всей страны, жизненные условия которых оказались в противоречии с той работой, которую они выполняют, и на кото-

рых давит долг в размере 7 миллиардов эн, вылилось наружу во время заседаний чрезвычайной сессии парламента. В Токио появились ходоки из различных губерний, в первую очередь из Нагано, Ибараки, Ниигата и т. д., с ходатайством о помощи. Со дня появления в Токио они ежедневно обходят представителей правительства, министров и вождей партии. Они просят о принятии срочных мер к оказанию помощи деревне. В число требований крестьянских ходоков входит:

«1. Срочное проведение мораториума крестьянской задолженности.

«2. Обеспечение производственных расходов на сельскохозяйственную продукцию.

«Переговоры с представителями правительства вносят только разочарование в сердца крестьянских ходоков. Но, если крестьянские требования закончатся ничем и представителям крестьянства придется вернуться в деревню с пустыми руками, то есть опасение, что крестьянское движение перейдет в следующую фазу и примет более глубокий и серьезный характер. В настоящее время ведется подготовка к тому, чтоб под крестьянскими заявлениями собрать подписи солдат и подписи союза запасных с тем, чтобы такое заявление было передано императору».

Газета «Асахи» от 7 июня 32-го года:

«... Донесение чиновника министерства земледелия, ездившего по деревням префектуры Ниигато... в уездах Китагама, Хара, Накагамакара и Уонума у крестьян стало обычной пищей то, что предназначено для удобрения, — тук и пр.... Дети продаются за цену от 100 до 400 эн». Газета «Джапан Адвертайзер» от 8 июня 32-го года:

«Вчера в Токио прибыла группа крестьян из префектуры Нагана, представители как арендаторов, так и собственников, с прошением о том, чтобы парламент принял меры для улучшения положения крестьян. Они беседовали со спикером нижней палаты Акита. Они просили также ра-

ботников минвудела, чтоб полиция была снисходительной. Они обратились к доктору Баба, президенту ипотечного банка, с просьбой установления мораториума по всем крестьянским делам. Они беседовали также с представителями столичных газет.

«По рассказам этих крестьян о положении в Гока, одной из деревень префектуры Нагана, имеющей семсот крестьянских дворов и сто землевладельцев, в настоящее время владельцы не пытаются даже собирать причитающуюся им в натуре (рисом) арендную плату. Раньше они пробовали делать это, и деревня Гока была известна своими конфликтами между арендаторами и землевладельцами, — теперь они ограничиваются только практическими вопросами. Собираание арендной платы не практикуется. Молодежь, объединенная пожарной дружиной и союзом молодежи, становится все более и более радикальной. В деревне нет риса и пшеницы, и другие съестные припасы на исходе. Все находится в одинаковом положении Люди, считавшиеся ранее богатыми, — сейчас уже перестали быть таковыми. Они уж не получают арендной платы, и даже арендные конфликты прекратились. В городе Уэда, одном из районов шелководства, школы должны кормить около 10 процентов детей, или 500 человек в день. Между Маруко и Уэда имеется трамвайная линия. Сейчас трамваи останавливаются между своими конечными линиями редко: ни у кого нет денег на проезд в трамвае. Ездят только пассажиры, пользующиеся бесплатным проездом. В Маруко имеется 25 дымовых труб, но сейчас дым идет только из одной. С тех пор, как крупнейшая шелкомотальная фабрика закрылась в конце мая, город фактически опустел. Местечко Нагакубо Синмацзи, в северной части Нагана, известно как единственное место в Японии, где проститутки днем занимаются кормлением шелковичных червей. Нынешней весной они занимались только червями. В городе имеется десять публичных домов, и хотя два или

три продолжают оставаться открытыми для посетителей, таковых не находится.

«В заключение глава этой крестьянской группы Саки Хироси сказал:

«— Мы ни в каких подробностях не преувеличиваем. Даже в дни сыюгуната Токугава крестьяне были в состоянии иметь в запасе некоторое количество пищи. Нынешнее правление является тиранией. Если положение будет предоставлено своему естественному ходу развития, то наша

система самоуправления будет разрушена. Власти должны выдвинуть коренной план смягчения бедствий крестьянства.

«— Мы понимаем серьезность экономического и финансового тупика, — ответил спикер нижней палаты Акита, — лично я не могу ничего сделать, чтобы помочь вам, но, как спикер нижней палаты, я сделаю все, что в моей власти».

И — таблица.

«Население занятое в (исчислено в тысячах):

Отрасли	Хозяева	Служаш	Рабоч с	Всего	Проц
Сел хозяйство	5 155	12	8 961	14 128	50,5
Рыболовство	205	4	348	557	2,0
Промышленность	1 307	315	4 103	5 725	20,5
Торговля	1 677	404	1 106	3 187	11,4
Транспорт	26	140	639	1 037	3,7
Прочие отрасли	1 090	638	1 650	3 378	11,9
Итого	9 692	1 513	16 807	28 012	100,0

Половина японского населения занята в сельском хозяйстве.

Еще таблица:

Распределение земельных богатств (одно те равно 0,992 га):

Размеры владений	Число владельцев в тысячах
Более 50 те	4,3
От 10 до 50 те	46
» 5 » 10 »	115
» 3 » 5 »	228
» 1 » 3 »	889
» 0,5 » 1 »	1 218
Менее 0,5	2 479

К 2 479 000 крестьянских хозяйств, имеющих половину те, надо прибавить полтора миллиона безземельно-арендаторских хозяйств. Арендатор уплачивает различными податями не пятьдесят процентов урожая, как на круг вообще крестьянство, но — восемьдесят. Комментировать эти обстоятельства следует вышеприведенными справками из газет и — следующими справками. Даты газетных справок следует помнить.

На первом месте в сельском хозяйстве японца стоит рис с прочими зерновыми культурами, пшеницей и ячменем, — да шелководство. Рис в национальном балансе давал два с половиной миллиарда эн, шелководство—570 мил-

лионов, — две трети всего народнохозяйственного баланса Японии. Тысяч двести крестьянских хозяйств занимались разведением шелковичного червя. Тысяч сто крестьянских хозяйств разматывало коконы и шелководствовало по бумажным своим измам.

Государственный бюджет Японии, как говорилось уже, — текстильный, ситцевый, шелковый, — растительный. В японском вывозе на первом месте стоит шелк, решающе вывозимый в Американские Штаты, да текстиль. В 1928 г. шелка было вывезено на 742,6 миллиона эн, — текстиля — на 654,2, — итого на 1.396 800 000 эн из 1.972.000 000, то-есть 69,8 процента всего японского экспорта. В том же 28-м году вывоз был: в Соединенные Штаты — 859 000 000 эн, в Китай—539 000 000 эн, то-есть на сумму в 59,7 процента всего японского экспорта.

С Китаем Япония ныне в войне, которую приказано считать «событием», по принципам средневекового ношения париков.

С Америкой — — с Соединенными Штатами. — — —

Основная статья японского экспорта — шелк. Основная статья японского экспорта — экспорт в Соединенные Штаты.

Основная статья экспорта в Соединенные Штаты — шелк.

Поэтому опять газетные справки.

«Асахи», «Нити-Нити», «Дзи-Дзи» и др. от 29 мая 1932:

«О положении на шелковом рынке.

«... Все газеты уделяют чрезвычайно много внимания вопросу о ценах на шелк и перспективам шелковой промышленности, в виду продолжающегося резкого падения цен и общего ухудшения на рынке шелка. Одной из причин, вызвавших беспокойство среди кругов, связанных с шелковой промышленностью, является то, что состоявшееся заключение договора между японским правительством и американской компанией о продаже всех японских запасов шелка пока не реализовано, так как американская компания неожиданно потребовала исправления некоторых пунктов договора».

«Правительство по этому вопросу пока не высказало своего окончательного мнения. В Токио созвана всеяпонская конференция представителей шелковой промышленности. На конференции присутствует свыше 400 делегатов».

«Асахи», «Дзи-Дзи», «Хоци» и др. от 1 июня 32-го года:

«В Токио приехал директор компании Асахи-шелк, который является посредником между японским правительством и американской компанией. Директор компании имел длительное совещание с представителями минземлеса и директором Спэси-банка, где он в ответ на требование о выполнении заключенного договора, ссылаясь на политические перемены в Японии, потребовал исправления некоторых пунктов договора».

«Асахи», «Нити-Нити», «Дзи-Дзи» и др. от 3 июня 1932:

«Вопрос о реализации договора между японским правительством и американской компанией о продаже шелка остается нерешенным. Это оказывает большое влияние на дальнейшее резкое снижение цен. Для ускорения разрешения указанного вопроса 2/VI премьер-министра Сайто посетила деле-

гация в составе председателя всеяпонского центрального шелководческого союза виконта Макино, председателя всеяпонской федерации шелководческих союзов барона Фудзимура и председателя федерации шелкопрядильных союзов Имай Госуки».

Вте газеты:

«Вчера, 5 июня, несмотря на праздничный день, в виду важности вопроса, состоялось чрезвычайное заседание кабинета министров относительно расторжения договора, заключенного между японским правительством и американской компанией на продажу всех запасов шелка, в виду требования со стороны покупателя исправления некоторых пунктов договора».

«Основные пункты решения кабинета:

«1. На основании общего согласия обеих сторон, заключивших договор на продажу в Америку всех запасов шелка, указанный договор расторгнут» —

Итак, стало быть, договор порван.

История с шелком — вещь порядка иллюстративного. В 1928 году кипа шелка стоила 1.300 эн. В январе 32-го года та же кипа стоила 520 эн. В мае она стоила 415 эн. В 1928 г. эна стоила половину американского доллара. После 15 мая по банковским расценкам 100 эн стоили 31 доллар, а на черной бирже, с рук на руки, настоящими долларовыми бумажками, японцы рассчитывались — главным образом бессребренные самураи — — сотнеэнной бумажкой за 22 долларных бумажки. Цены шелковых кип исчислены в энах.

Американцы — вообще друзья японцев, начиная с дружеских пушек коммодора Пирри, кончая барами. Японцы помнят дружескую помощь американцев в Портсмутском договоре с императорской Россией. Японцы помнят «джентльменский договор» 1907 года, джентльменски намекнувший Японии, что она — желтая раса. Японцы помнят сердечную помощь американцев в оккупации Советского Дальнего Востока и в отказе японцев от Двадцати Одного китайских Пунктов. Англичане, амери-

канцы и японцы знают, что американцы на Вашингтонской конференции 22-го года помогли японцам навсегда порвать военный союз с Англией, давнишний, тесный, многолетний союз, после которого Япония осталась сама при себе, при французах, у которых нету дел на Тихом океане, да при поляках, обладающих портом Гдыня. На той же конференции были уничтожены «специальные интересы» японцев в Китае. Японцы помнят, что в 23-м году высший американский апелляционный суд еще раз джентльменски напомнил японцам об их желтой расе, запретив японцам натурализоваться в Америке. Японцы имели в Китае, в Маньчжурии друга — Джан Дзо-лина, которого они ж низвергли и с сыном которого они воюют. Япония помогла другу-мракобесу против национальных революционных войск Китая, посылая своих солдат. Япония, надо полагать, помнит, каким антияпонским бойкотом ответил Китай, — и помнит, как помогали китайцам Юнайтэд-Стэйтс, — так помогали, что вместе с выводом солдат из Китая, вместе с убийством Джан Дзо-лина должен был пасть японский премьер-министр Танака, тот, когорый написал меморандум. Многие японцы помнят и знают, ка-сающееся сердечной любви к ним американцев!

Японцы в частности знают также и то, что войска из Шанхая в мае 32-го

года были выведены не по воле японцев, но по воле американцев, — недаром вслед о приказе отвода войск случилось 15-е мая, — недаром вслед за 15 мая американцы разорвали шелковый договор с Японией, — недаром глаза японских офицеров и дула морских пушек свирепо смотрят в Тихоокеанский Восток!

Недаром политические заправили по миру с красно-синим карандашом в руках спокойно рассуждают:

— а) или японцы нападут на Америку до 36-го года, —

— б) либо американцы разгромят японцев в 36-м году, —

понеже к 36-му году будет переоборудован американский флот.

Недаром японцы прут и прут — в долги, в кризис — в Маньчжурию, чтобы закрепить тылы для войны 36-го года, — лезут в квашню бобовых маньчжурских пространств и партизанства, и в сердечное освирепение всего Китая (даже Лиги наций!), — того, экспорт в который, после Америки, составляет вторую крупнейшую японскую статью дохода.

Но речь идет о писателе. Глава начата крестьянскими доходами. У японцев, кроме шелка, есть злаки. Поэтому — опять газетная таблица.

... Производственные расходы на один тан обрабатываемой площади:

Наименование расходов	На 1 тан заливной земли	На 1 тан сухой земли	Среднее
Стоимость семян	0,45 эн	0,48 эн.	0,46 эн.
» удобрений	—	—	—
а) собств производства	7,30 »	6,83 »	7,09 »
б) покупных	2,46 »	3,15 »	2,77 »
Зарплата наемных рабочих	13,10 »	11,91 »	12,56 »
» членов семьи	1,72 »	1,04 »	1,41 »
Амортизация с-хоз орудий, материалов, строек	2,00 »	2,17 »	2,04 »
Себестоимость	27,03 эны	25,52 эны	26,33 эны

«Таким образом, средняя себестоимость одного коку выражается, принимая во внимание среднюю урожайность на один тан, в сумме 14 эн 33 сэны. К этой сумме надо прибавить арендную стоимость земли, в среднем 2,03 эны на тан, и раз-

личные обложения, приблизительно 33 сэны, — итого сумма производственных расходов одного коку выразится в 16 эн 68 сэн.

«Эти цифры надо сопоставить с ценами хлебной биржи. 7/VI сего года цены на оптовом рынке были

4,80 эны за сто кин, то-есть приблизительно — 10 эн 50 сэн за одно коку».

Комментарии излишни.

Токугавская эпоха знает многотысячелюдные крестьянские восстания. В 1918 году так называемые «рисовые бунты» повели за собой до 10 миллионов человек японских крестьян и охватили две трети территории Японии. Ходоки из Нагана, как цитировано, —

«... просили также работников мининдела, чтобы полиция была снисходительней»... «Молодежь, объединенная пожарной дружиной и союзом молодежи, становится все более и более радикальной»... «Даже в дни съезуната Токугава крестьяне были в состоянии иметь в запасе некоторое количество пищи»... «Есть основание, что крестьянское движение перейдет в следующую фазу и примет более глубокий и серьезный характер».

Все отрасли японского хозяйства, кроме сельского конечно, поставляющие-ро рис ниже себестоимости и женщин в дополнение к себестоимости риса, — все отрасли японского хозяйства синдицированы с божьей помощью парламентаризма. Хозяева — концерны Мицуи, Мицубиси, Сумитома, Ясуда, Окура, прочие. Мицуи и Мицубиси — первые.

Мицуи вырос из старой феодальной трехсотлетней осакской, осакско-гильдейско-ганзейской фирмы. Мицуи командует банками и страховыми компаниями, горной промышленностью, металлургической и машиностроительной, электрической, химической, текстильной, пищевой и торгует всем, имеющимся на земле, в своих универсальных билдингах. Его капиталы подсчитываются в 1.260 000 000 золотых эн. Торговый его оборот, на год, достигает полутора миллиардов эн. Мицуи торгует со всем миром, он хозяйничает в японской международной торговле.

Мицубиси родился в 1870 году мелкой торговой фирмой. Мицубиси командует банками, судоходством и судостроением, городской недвижимостью, тяжелой промышленностью и торгует всем, имеющимся на земле, в своих

универсальных небоскребах. Его капиталы подсчитываются в 600.000.000 золотых эн. Торговый его оборот, на год, достигает миллиарда эн.

Тот и другой командуют машинами, тяжелой промышленностью. Они первые. За ними третьими идут Сумитома, Ясуда, прочие. Но все вместе они — сильней государственного капитала. В 25-й, в успешный год, инвестированные в промышленность миллионы и миллиарды эн располагались так:

Отрасли.	Гос капитал в млн эн	Частный капитал в млн эн
Металлическая пром-сть	220	206
Машиностроение	137	593
Текстильная пром-сть	4	1 131
Прочая пром-сть	108	3 859
Жел дороги	2 500	585
Прочие виды транспорта	—	673

Итого: 2 969 7 047

Если выкинуть 2.500.000.000 и 585.000.000 железнодорожных эн, то государственные эны 469.000 000 останутся позади концернированных частных — без 7.000.000 — на 6.000 000 000 эн, — на шесть миллиардов!

Мицуи и Мицубиси — куда ганзейцы! — куда английские купцы из Лондон-Сити! — это самоновейшие американцы. Чтобы знать их размах, их принципы, их оборудование, надо спосылать любопытствующих на нью-йоркский Уолл-стрит. Куда японским кропперам до Мицу-Мицубиси! — они: впереди государства!

И они командуют (совершенно по-американски) партиями Сэйюкай и Минсэйто Сэйюкай на содержании у Мицуи. Минсэйто на содержании у Мицубиси. Это — по о-кэй-американским правилам — не мешает, само собою, Мицубиси подкармливать сэйюкайцев, а Мицуи — минсейтовцев, по американо-японским, и всемирным, начатым от вигов и торн, с Алой и Белой розы, демократическим, парламентским правилам.

Партия в руках Мицу-Мицубиси.

Парламент в руках Сэйю-Минсэйкай-то.

Но:

Состав кабинета.	Название кабинета.	Дата прихода к власти	Срок нахождения у власти.	Причина ухода
2-й каб Окума (Хидзен)	Досикай ¹⁾	16/IV—14	2 г 5 мес	Скинута войной воен группировкам.
Тарауци (Тьосю)	Тьосю и бюрократы.	9/ X—16	1 » 11 »	Скинута рисовыми бунтами.
Хара	Сэйюкай	29/IX—18	3 » 1 »	Убит
Такахаси	Сэйюкай	13/XI—21	1 » 6 »	Кризис.
К а т о	Верхняя палата	12/VI—23	— 3 »	Умер
2-й кабинет	Санума (бюрократы и Кокусин-крабу ²⁾	2/IX—23	— 4 »	Покушение на императора
Ямамота	Кокусин-крабу ²⁾	2/IX—23	— 4 »	Скинут парлам. коалицией
Кайоура	Кэнкюкай	7/I —24	— 4 »	Умер
К а т о	Коалиционный (Кэнсэйкай, Сэйюкай и Кокусин-крабу)	11/IV—24	1 » 8 »	
1-й каб Вакацуки	Кэнсэйкай и Кэнкюкай ³⁾	28/I —26	1 » 4 »	Финансовый крах.
Танака	Сэйюкай	20/IV—27	2 » 3 »	Убийство Джан-Дзо-лина
Хамагуци	Минсэйто	2/VII—29	1 » 10 »	Убит.
2-й каб Вакацуки	»	- 30/IV—31	—	Свергнут военной бюрократ.
Инукаи	Сэйюкай			Убит.

Мировая война была счастьем!

Сэйю-Мицу-кай-биси цвели, как арбуз в июле. Пароход, ходивший из Йогогамы в Сан-Франциско и обратно, окупал свою стоимость. Тихоокеанско-азиатские воды остались без колонизаторского присмотра. Китайцы подписывали Двадцать Один Пункт — или иначе — двадцать одно требование. Золото росло в японских банках, как грибы в августе. Балансы предприятий росли примерно так же, как в электрической промышленности, где 762 миллиона эн 19-го года выросли до 2 869.000 000 тех же эн 28-го года. Конец мировой войны пришел, как перепойное утро, как смерть, как разорение. И парламент занялся чехардой. Сэйюкай и Минсэйто, энные властители, энные победители, начали делиться властью с кланами и виконто-принце-баронной верхней палатой.

Сказано уже, — в городе — капитализм, а в деревне — феодализм.

В парламенте — парламентаризм, а власть — —

¹⁾ Досикай, Кэнсэйкай, Минсэйто — одна и та же партия, менявшая названия

²⁾ Кокусин крабу — организация средней городской буржуазии и технической интеллигенции, близкая к Минсэйто

³⁾ Кэнкюкай — организация верхней палаты.

Колоссальнейшие в Японии темпы!

И все течет в Японии с тою же быстротой, с коей курума были сменены велосипедами (в 26-м году японцы как-раз переживали эту велосипедную эпоху), с коей велосипедисты меняются автомобилями.

Все течет в Японии, кроме текстильного бюджета, и все меняется, кроме армии в дополнение к текстилю, занимающей в Японии то же место, что во всех остальных странах положено для тяжелой индустрии. Японская армия не меняла своих вождей, клано-сацумотьосьных, подобно чехарде парламента. Армия не знала поражения, прошед победами через Формозу, Китай, Россию и в мировой войне — до — до Шанхая? — В стране, в которой все двигается, даже земля, в которой земля закалила нервы, насоздав легенды, — а ведь действительно иногда сознание переходит в действительность! — легенды о прелести смерти, — в этой стране создались чрезвычайно подвижная, чрезвычайно маневренная армия, с совершенно неподвижным командованием, непобедимым командованием, столетним командованием, полубожественным командованием, — армия, как землетрясение, армия, как шум гэта. К общеизвестным

истинам обращаться не стоит. Евангелия общезвестности — энциклопедические словари — сообщают, что японская армия, японский военный флот — отличны. Американцы ждут 36-го года, чтоб подстроить кораблищ и побить японцев. Военные расходы в японском государственном бюджете стоят, совершенно японски-естественно, на первом месте, — это, в мирное время, — без малого полмиллиарда эн, когда на просвещение, на здравоохранение, на судопроизводство и вообще на юстицию идет всего 167 миллионов; — когда к военным расходам надо прибавить погашение долгов и проценты по ним, миллионов триста; — когда администрация, полиция и двор, армейские помощники, стоят 200 миллионов; — когда в статье транспорта, промышленности и сельского хозяйства (сельское хозяйство!) представлены четыреста миллионов, также добрый кус отдающей армии; — когда по сути дела на социально-культурные нужды остается процентов 20 — 25 государственного бюджета.

Армия! — Тяжелая индустрия — армия. Единственное неменяющееся — армия. Давшая мировое значение Японии — непобедимая армия. Опора императорского двора за каналами посреди Токио, опора божественного императора, Генро, лорда хранителя печати Макино, тайного совета — армия. Детские книжки — о победах — о геройстве — армия. Самурайские сказки — о победах — армия. Построение социализма у социал-демократов, через Маньчжурию, — армия.

И армия — поистине партия, сильнейшая в Японии, управляемая императором, который катастрофически популярен именно потому, что у него нет и никогда не было власти.

Н-но — —

8

Писатель Кагава! христианнейший писатель Тойохико Кагава! ¹⁾ Главы ваших «Камней», которыми начата эта

¹⁾ Т Кагава занимает особое положение в японской литературе, — христианский писатель.

книга о корнях и камнях, — совершенно верные главы. Вы — христианский писатель — вы знаете судьбы Мэйдокай и Оомото. Мэйдокай — это религиозное общество Светлого Пути, образовалось в 1928 году. Во главе его были профессор Киси и медиум — корейнка Ко-Тай-гю. Общество имело три тысячи последователей. В доме профессора был священный алтарь, и он, профессор, проводил сеансы по сношению с духами мертвых, по определенной таксе, — полиция вмешалась в это дело и запретила нелегальную связь с тем светом. И в Оомото — в учении о Великой Основе — также стояла во главе неграмотная баба, объявленная святой. Патроном секты был Дегучи Ванисабуро. Движение охватило не только крестьян, но и интеллигенцию. В составе оомотоистов были адмиралы, адвокаты, профессора. Секта купила газету, так же, как в Америке секта Кристенс-Сайнс, — организовала богословскую академию. За неосторожные высказывания о земной власти секта подверглась разгрому, и Ванисабуро был присужден к нескольким годам тюрьмы. Отбыв срок наказания, он решил снова поднять движение Великой Основы, но на этот раз не на тесных островах Японии, а на материке. После того, как началась война в Маньчжурии, Ванисабуро 2 ноября 31-го года выехал из Киото в Мукден и стал там готовить унию с китайскими даосами, чтобы создать «мировую ассоциацию красного светильника». Он предполагает распространить это учение по всей Маньчжурии и дальше, на Запад. — И вы, Тойохико Кагава, знаете, как 23 августа 31-го года на аэродроме Токио синтоистские жрецы города Куруми и уезда Мацуи провели молебен о ниспослании полной безопасности авиаторам. Восемь бонз на больших пассажирских самолетах аэротранспортной компании совершили полеты над городом Куруми для очищения воздуха от злых духов. Оглы-Фукадзава, его жена Мики, его друг Тимура — это не только японские типы. Их дела, равно как и дела барона Сэнбонги с его женой и белой птицей, — не только европей-

ские и японские дела, — равно как и дела женщины с ребенком-мертвецом на спине, и дела мужей на Хаккайдо. Для вас, христианнейший писатель, совершенно естественно и значимо, куда идут ваши люди и ваши дела.

А поэтому — —

О том, как пришел к власти генерал Араки, — рассказано.

Его приход, кроме всего прочего, красноречив тем, что генерал Араки — не тьосо и не генерал, в сущности, но капитан. Все течет в японских темпах, течет, оказывается, и армия.

29 апреля, в праздник, в японский царский день, японское военное командование Шанхая собралось праздновать праздник. Было очень торжественно, и в торжественность ворвался гром бомбы, разорвавшейся среди японских генералов. Главнокомандующий японскими войсками в Шанхае генерал Сиракава был ранен смертельно. Это было гораздо большим «поводом» «наказать» китайцев, чем те поводы, кои привели в Шанхай японские войска.

Генерал Араки зловеще высказался: о «мерах»...

10-го ж мая японский кабинет министров постановил: о вывозе всех сухопутных японских войск из Шанхая, ни словом не обмолвившись о «наказании» за смерть генерала Сиракава.

14-е мая было субботой. С утра приехал Толя, в ученической форме, с медными пуговицами, с открытыми коленями, в фуражке с ученическим значком. Я спросил его:

— Ты не замерзнешь в автомобиле? Мы поедем к Фудзи-сан.

— Да, не замерзну, — ответил он.

Мы поехали наслаждаться природой. Мы ночевали около озера Асиноко, которое европейцами обыкновенно называется Хаконэ, — плавали ночью на лодке, спали по-японски в кимоно на татами, просыпались на рассвете, чтобы видеть Фудзи, опрокинувшееся в воде озера. Утром и днем автомобиль пронес несколько сот километров вокруг Фудзи, мимо Пяти озер. Фудзи в громадном воздухе, от этих прекрасных озер, был чудесен. Воздух и день на самом

деле были громадны и прекрасны. Открытые стены деревенских отэлчиков, — жареные, как шашлык, угри приветствовали старинной Японией. Однажды в горах, на перевале, откуда Фудзи-сан купался и в синем небе, и в океане одновременно, — в далеком синем океанском горизонте, — мимо проехали автомобилями с японскими офицерами, на заднем ехала молодежь. На нашем автомобиле был дипломатический флажок, — и молодежь обдала нас криком, козырьками у рук:

— Хэррроо! — это «хэррро» показало почему-то вызовом, хотя лица юнкеров были весело-радостны и приветливы.

День, воскресный день, прошел в воздухе, пространствах и прозрачности. В Токио вернулись затемно. И город встретил необыкновенными прожекторными огнями. На перекрестках стояли полицейские машины и кучки господ амовари. Полицейские автомобили вспыхивали прожекторами, слепя глаза встречаемых шоферов, и амовари грабили глазами пассажиров. Из-за этих прожекторов, из-за автомобильного бега казалось, что вдруг по улицам, по толпе проносился ветер, снесивший толпу на сторону, хотя ветра не было. Мы приехали в полпредство. Привратник повсегдашнему отпер для машины ворота. Компания разошлась по дружеским квартирам, чтоб принять ванны и затем встретиться за ужином. Толя пошел в ванну первым.

Тогда, очень быстро поднявшись по лестнице, один из спутников, говорящий и читающий по-японски, с листком «го-гая» — экстренного газетного выпуска, — прошел быстро к внутреннему телефону и позвонил полпреду:

— Александр Антонович, только-что вышел экстренный «Нити». В министерскую квартиру премьер-министра, сняв с пути полицейскую охрану, вошли четверо неизвестных в военной и военно-морской форме. У господина министра Инукаи были посетители. Молодые офицеры ворвались в кабинет Господин Инукаи просил их обождать. Офицеры стреляли в упор. Пули попали в правый висок и в нос премьера.

Новости передают по радио. Включите радио.

Говоривший не успел принять ванны после дороги, под глазами и на ноздрях, рядом с загаром, легла пыль.

Это была страшная ночь. Гогаи выходили каждую минуту. Газетчики, продающие гогаи, бегут с ними, звеня связкой бубенцов, как в старину в России и в ганзейских городах звенели тройки. Газетчики кричат сиротливо-пронзительно, задыхаясь:

— Гогаааай! Гогаааай!

Всю ночь кричали гогаи. Всю ночь сыпались новости.

— Покушение, бомбы, револьверы.

— Юнкера и мичманы, офицеры армии и флота.

— В пять часов дня двадцать минут были совершены покушения на премьер-министра Инукаи. В пять двадцать была брошена бомба, ранившая полицейского, в министра двора Икки. В пять двадцать — в хранигеля государственной печати лорда Макино. В пять двадцать — в пять двадцать —

— Бомбы были кинуты в здание главного полицейского управления, в здание исполкома Сэйюкай —

Мы поехали по городу, посмотреть улицы. Город притих, засыпанный метелью гогаев, охрипшее радио. Радио на перекрестке прохрипело:

— ..осадное положение...

Улицы убрали с себя автомобили. Мчались лишь прожектора полицейских машин да ползли машины с дипломатическими флажками. Перекрестки щетинились полицией. Правительственные здания погасили огни и щетинились штыками.

Радио прохрипело в уши проходившего автомобиля:

— ...в одиннадцать часов тридцать пять минут его превосходительство господин премьер-министр Инукаи Цзуоши скончался от тяжелых ранений...

Следующая радиоглотка:

— ...происходил родом из города Окаяма... родился в 55-м году...

Опять радиоворонка:

— ..дипломатический корпус, в связи... об отмене банкетов и приемов...

Возвращались в полпредство. Опять ездили по городу. Город не спал той ночи. Новости гогаями и радио рождались каждые пять минут. И, потому, что новости рождались каждые пять минут, казалось, что вот в эту самую минуту где-то взрывается бомба, куда-то врываются люди, где-то люди умирают.

— Захвачены электротрансформаторы в Табата, дающие энергию для Токио. Неизвестные в форме — пытались погрузить Токио во мрак. — Обнаружено повреждение трансформатора Иодобаси...

— В таких-то, таких-то, таких-то районах люди в военной форме, раз'езжая на автомобилях, разбрасывали прокламации, подписанные «офицерами армии и флота, друзьями рабочих и крестьян».

— Брошена бомба в здание банка Мицубиси.

— Ранен Нисида — взрыв бомбы — неизвестные скрылись от погони полиции в помещении главной жандармерии. На требование полиции о выдаче скрывшихся начальник жандармского управления ответил отказом.

— Радио из префектуры Сантима — разрушена высоковольтная —

— Несколько морских и армейских офицеров ворвались в квартиру одного из лидеров фашистско-террористической организации Сэйсанто — господина Нисида. В него произведены два выстрела. Нисида ранен в грудь. Нисида находился долгое время под арестом, в связи с убийством Иноуэ и считался предателем среди ряда сторонников Сэйсанто¹⁾.

Брошена бомба в главного камергера двора адмирала Судзуки.

— В час двадцать минут ночи на квартиру военного министра его превосходительства генерала Араки явилась группа офицеров, но не застала его дома, так как господин министр выехал во дворец к императору.

Так прошла ночь.

Всю ночь — сиротством российских троек — кричал гогаями замолкший в

¹⁾ Сэйсанто — фашистская организация.

бессоннице Токио. На рассвете за окном Яматага-отэл запел соловей и чуть толкнуло землетрясение.

16-е продолжало звонки гогаев, бессонницу прошлой ночи. Заседал тайный совет. Кабинет министров «принял решение» и обратился к императору с ходатайством об отставке. Судзуки стал во главе Сэйюкай, сменив убитого, вчера Инукаи, и полагал в интервью, что он будет премьером после Инукаи.

Газеты ждали приезда принца Сайондзи.

И целая неделя прошла в смятении.

— Это было восстание? — Нет. Восставшие не убивают министров, но арестовывают их. Эти не умели даже перерезать электрических проводов.

В газетах от 15 мая было интервью Накано Сейго, собирателя японских фашистов. Накано Сейго говорил:

« — Тупик, в котором находится ныне Япония, должен быть устранен решительными мерами. Правительство Инукаи не в состоянии сделать это. Политика Инукаи ничем не отличается от политики Сидэхара. — Странно, что японское правительство неоднократно заявляло о том, что оно не имеет ничего общего с созданием нового государства в Маньчжурии. Япония не может допустить ни при каких условиях поглощения Маньчжурии Китаем — Япония должна занять непоколебимую позицию».

— Восемнадцать морских и армейских офицеров, участников покушения, добровольно явились в жандармерию.

— Инукаи убит неким Кавакаси, членом Лиги Кровного Братства, приверженцы которой убили десятого февраля сего года лидера Минсэйто Иноуэ и пятого марта — Дана, руководителя Мицуи.

— Товарные и фондовые биржи закрыты.

— В отставке полицейское начальство.

— Араки? — Араки! — Он уходит в кадровый состав армии!

17 мая.

— Баронские и виконтские группы верхней палаты считают весьма вероятным, что участники террористических актов действовали из побуждений подлинного патриотизма.

— Правительство Инукаи не поняло «политического кризиса, перед которым оказалась Япония в связи с маньчжурским инцидентом», — мнение адмирала Кото.

— Асахи: — «Несомненно, что заговор порожден возмущением пороками, присущими существующей системе партийных правительств».

— Военные круги — за оставление Араки в правительстве.

— Военные круги уведомили генерала Араки, что военные отказываются от участия в правительстве, если оно будет сформировано Сэйюкай или Минсэйто.

— Террористические акты связаны с отзывом войск из Щанхая.

— Падение японских, ценных бумаг на Уолл-стрите.

— Судзуки полагает, что организация правительства будет поручена Сэйюкай.

18 мая.

— Тайный совет: «Ни одна партия не в состоянии разрешить». — —

— Позиция военных кругов: — «Армия уверена, что Судзуки назначит членов кабинета с целью создания национального правительства». — —

И так далее.

19. 20. 21.

Военные круги. Сопровождение военных кругов. Тайный совет. Принц Сайондзи. Программа Судзуки. Углубление экономического кризиса.

« — Правительственный кризис привел почти к полной остановке экономической жизни в стране».

Лидеры верхней палаты высказались против Араки, опустившего армию в дисциплине до безобразия 15 мая. Лидеры верхней палаты высказались за Араки.

Молодые офицеры, юнкера и мичманы, герои 15 мая, связаны с Лигой Кровного Братства, с организацией молодых офицеров и с группой Смертников — крестьян. Предполагалось потушить в Токио свет, перестрелять министров,

взорвать банки, партии и полицию. «Лига» связана с молодыми офицерами армии и флота. «Смертники» — крестьянская молодежь. Пильняку довелось говорить с одним из профессоров академии генерального штаба. Несколько участников 15 мая учились у профессора. Профессор говорил, что эти юноши были лучшими учениками, достойными экзальтированными юношами, джентльменами и верными учениками бусидо, эти «офицеры армии и флота — друзья рабочих и крестьян». Они хотели бороться с мракобесием партийного продажничества, лорда Макино, фирм Мицуйи и Мицубиси. Они были верными слугами императора и огненными полководцами империи. Так же писалось и в газетах.

В газетах не писалось, но об этом говорили в городе — и об этом надо рассказать, чтобы передать атмосферу Токио, — о том, что назначение кабинета министров отложено было принцем Сайондзи из-за двух солдат. Два солдата тащили по улице и по военным своим делам пулемет, приустиали и остановились — совершенно случайно — отдохнуть в тени против дома принца Сайондзи. На два дня задержалось назначение кабинета министров из-за этих двух случайных пулеметчиков!

22 мая принц Сайондзи назначил премьер-министром генерал-губернатора Кореи, члена верхней палаты, виконта Сайто. В этот же день сообщалось, что принц Сайондзи принял генерала Араки и генерал Араки высказывался в том смысле, что «— нельзя целиком осудить действия молодых офицеров, участвовавших в покушении 15 мая, ибо они были возмущены обстановкой и тенденциями, характеризующими положение страны». — В интервью газетам виконт Сайто сообщил, что он никак не ожидал того назначения, которое он получил. Сайто сообщил, что им будет составлен национальный надпартийный кабинет. Газеты сообщили, что выбор пал на адмирала Сайто в результате стремления к компромиссу. Сайто не принадлежал к партии.

« — Выдвижение Сайто на пост премьера встречено крайне сдержанно

биржей. В банковских кругах относятся так же настороженно к правительству Сайто, предсказывая недолговечность его существования».

« — В кругах верхней палаты категорически высказываются против кандидатуры Араки на пост военного министра».

Генерал Араки дал интервью:

« — Сегодня, двадцать шестого мая, исполняется 56 лет со дня моего рождения. Этот день является поворотным пунктом в моей жизни. С сегодняшнего дня я буду новым Араки. Пули летают над нашими головами, мы живем в период толчков землетрясения, почва колеблется под нашими ногами, везде орудуют пожары. Очевидно, что теперь не время для споров. У нас есть, на что жаловаться. Как я уже сказал, огни пожаров горят вокруг нас. Прежде всего, мы должны их погасить. Наши братья умирают, и мы должны их спасти. Армия и флот должны объединиться и принести императору спокойствие. Они должны спасти 80-миллионное население Японии. Незначительные интересы не должны в их работе играть роль. Я подвергался большой критике. Я слушал лекции о том, как должен вести себя человек моего положения. Теперь, когда я решил опять вернуться к своему посту, мои критики начнут опять атаку. Они будут меня обвинять в том, что я безразлично отношусь к национальной морали. Но я надеюсь доказать, что нет универсальных моральных уложений. Зло является следствием того, что один пытается забрать чужую собственность, чтобы ее передать другим. Нансю Сайго, Йосио Оити, Хэйхациро Осии, генерал Ноги, Хидэиси Тоиготоми и Йэясу Токугава имели свои собственные правила, чтобы управлять своими поступками. Невозможно ожидать от меня, чтобы я действовал так, как Сайго или Оиси. Оиси не носил траура во время смерти его владыки. Во время смуты он уходил в веселые кварталы Киото и наслаждался. Его прежние друзья обвиняли его, но он не обращал внимания. Он считал необходимым делать то, что ему диктовали его принципы. Сопротивляясь

правительственным войскам в Сирояма, Сайго остался верен себе. Я не имею конечно никаких намерений соперничать с ними, но все, что я должен делать, — это следовать моим собственным принципам. Народ может меня обвинять. Я должен относиться безразлично к тому, что будут говорить. На моем пути лежит шацкий мост. Я знаю, что это опасно, пока я буду проходить по этому мосту. Если я свалюсь в воду, я утону и приду в ложе своего рока. Дорога, лежащая передо мной, не узкая. Я могу потерять свой путь, но я буду в состоянии достигнуть своей цели. Если человек уверен в победе, победа останется за ним. Не будет никаких изменений в политике армии по отношению в Маньчжурии или Монголии и в других вопросах, как результат перехода власти к кабинету Сайто. Я имею решимость не отстраняться от тех задач, которые стоят передо мной. Я имею намерение встретить все вопросы, но теперь еще не время осуществлять их».

«В кругах верхней палаты категорически высказываются против кандидатуры Араки на пост военного министра».

В ночь с 15-го на 16 мая, в час двадцать минут, на квартиру генерала Араки приезжали неизвестные в военной форме, — они не застали генерала, — генерал был во дворце. — Они хотели стрелять в генерала? — неизвестно. — Но по ночам с дружескими визитами, после бомб, разбросанных по городу, — не ездят.

Все газеты от 3 июня сообщают:

«2 июня в адрес влиятельных лиц верхней палаты были присланы письма, подписанные «Братством крови молодых офицеров». В письмах указывалось о том, что Сайто, Макино и Вакацуки будут убиты. Эти письма внесли большое возбуждение среди правительства, членов верхней и нижней палат. Полиция и жандармерия приняли меры к розыску».

Генерал Араки остался на посту военного министра.

Все это рассказывается вам, Тойохико Кагава, — вам, гораздо лучше россиянина, знающему Японию. И это расска-

зывается не потому, что все течет в Японии. Генерал Араки слишком зелен для лордо-виконтов из верхней палаты, — он слишком зрел для молодых «друзей рабочих и крестьян», которые не умеют резать электрических проводов. Это говорится по поводу литературы и к вопросу о молодежи. И следует цитировать «Дни, когда возопиют камни», судьбу героя — студента Йосио, незаконного сына оглы-Фукадзава. Это говорится о методе мышления. Вы рисуете судьбу идеального юноши, христианнейшего студента, христианского социалиста. Эти юноши экзальтированы и благородны, как в старину в России институтки, все совершенно верно. Если бы они умели, они бросили б Токио во мрак, они б перестреляли министров и партийных вождей, взорвали б полицию, банки, — ну, а дальше что? — ведь даже генерал Араки, капитаном пришедший в министерство, стал министром, но не капитаном. Они б поехали всем скопом, позвав с собой рабочих и крестьян, к императору? — они не читали о российском 9 января!.. — Но, быть может, император их принял бы? — они б стали вместе с императором осуществлять свои идеалы? — Они б полезли войной на весь мир? — и стали бы саранчой для мира? — Не вышло бы, даже англичане тогда б объединились с американцами и уничтожили б Японию! — Юноши разделили б богатства Мицу-Мицубиси всем поровну? — чего доброго, они думают, что на круг таким путем придется эн по семьдесят семь на человека? — Не выйдет, капиталы Мицу-Мицубиси в промышленности. Реально растащить их — это растащить по гайкам фабрики, заводы, корабли и железные дороги. Бессмысленно. Эти молодые люди от 15 мая — Араки совершенно прав — заслуживают снисхождения: люди, возмущающиеся миккай-тами парламентского взяточничества, продажности, лицемерия и предательства, мракобесием Макино, полицейской благодетелью, банкирским разбоем, феодальной деревней, — эти люди заслуживают снисхождения. Но никакого снисхождения не заслуживает, как сказано о писателях и геологах,

безграмотность. Безграмотность этих молодых людей — пусть она еще раз подтвердит необходимость писательской грамотности. Пусть эти юноши связаны с крестьянством, пусть они буссидоски или христиански, как Йосио, целомудренны. Именно это христо-буссидо, в частности, никуда не годится. И не только потому, что человечество не может расти вспять, как человек не может вернуться в утробу матери. Бог—царь—народ: христианский национализм — национальный социализм — социализм под гэнно и богом! — безграмотно, не выходит, — кончается 9 января.

Йосио —

«чувствовал в душе какое-то неотразимое желание порвать всякое отношение с политикой вообще». — —

9

В «Камнях, которые возопиют», изложено:

« — Какая радость для студентов нашего времени! Нынче одно слово «студент» заставляет представлять себе сборища марксистов. Но, оказывается, есть молодежь и иной масти» — —

Йосио соработает с офицершами армии спасения, принимает участие в «полевых битвах», то-есть проповедях на перекрестках токийских улиц.

Йосио убежден:

«относительно насущной необходимости бросить свое старое и возродиться в жизни бога» — —

«все ни к чему до тех пор, пока у людей не пробуждается настоящее человеческое сознание, под маской которого работает в настоящее время лишь сознание своей собственной выгоды и собственной прихоти».

А поэтому:

«ему чудилось: больше, быть может, можно найти смысл человека, если все бросить и заниматься чистой уборных».

«В мире все материально. Весь мир есть чистый механизм. Все—абсурд!..»

Чистить уборные можно по-разному: в том числе уборные парламентаризма. Йосио гулял со своей сестрой. К его

сестре пристал «рабочий», «пролетарий», —

«человек лет тридцати, с коротко остриженной головой, неприятной манерой. От него пахло сакэ. Он был одет в старый черный пиджак. Вымогательски он спрашивал денег:

« — В Токио нельзя найти работы. Прошу вас дать мне денег!..»

«Толпа зрителей собралась около красиво одетой женщины, разговаривавшей с рабочим в разодранной одежде».

По тексту нельзя понять, — то ли описывается не рабочий, но шарлатан, то ли автор склонен безработных рабочих считать шарлатанами, — во всяком случае, христианин Йосио, нашедший бога, герой романа, —

«схватил руку рабочего приемом дзюдзицу» —

по христианским правилам.

Рабочий изображен шарлатаном, кажется, не случайно. Йосио—христианин и герой романа. Товарищи по университету привели к нему подпольщицу, скрывающуюся от полиции. Они легли спать на разных футонах в студенческой комнате Йосио. Она рассказывала о своих подпольных делах.

«Рассказами подобного рода Йосио был начинен уже давно. И для Йосио все это, собственно, не представляло особого интереса. Йосио уже начал не отвечать на ее рассказы. Он собирается заснуть. Тогда Нацуко тянет фuton Йосио и не дает ему засыпать».

« — Давайте поговорим еще немножко. Расскажите и вы что-нибудь».

«Не получая ответа со стороны Йосио, она сунула обе свои ноги в постель Йосио. Йосио молча наблюдал за странными действиями Нацуко. Тогда, видя, что Йосио молчит, она начала всем своим телом влезать в постель Йосио. Тогда Йосио уже не чувствовал никакой силы притяжения, видя эту остриженную девушку с чересчур наглыми приемами».

« — Прошу вас, идите туда. Мне страсть как хочется спать. Дайте мне спать.—Йосио хотел прогнать ее обратно в ее постель».

« — Мне скучно, дайте мне заснуть здесь вот, так.

«Нацуко все держалась в постели Йосио. Он встал и пошел в уборную. Он вернулся и опять лег в постель. Тогда она рукой манит его, чтобы он приблизился к ней. Но тогда перед глазами Йосио встала фигура ангела Фра-Анжелико. У него никак не появилось желания увлечься любовью к этой стриженной девушке».

Ужасно развратна! и ужасно характерно для революционерки! — и ужасно тонко подмечено, — как во всех фашистских романах, — о стриженных волосах!

Но это не все. К Нацуко приходила товарка, — страшное дело, — актриса, девушка, которую —

отец собирался продать в гейши, но она, прочитав рекламы в газетах, полетела в Токио и выступает в ревю Асакуса.

«Она возбудила весьма хорошее впечатление у Йосио при первой встрече. У нее волосы были так же стрижены, как у Нацуко, но у нее не было ничего приторно-неприятного, что чувствовалось в Нацуко».

Однако, —

«разговоры между ними (между товарками) касались насчет приборов, связанных с вопросом об ограничении беременности».

Поистине «левые» разговоры! Йосио —

«не мог даже представить себе, как между девушками левого направления в такой полной мере производятся исследования по данному вопросу».

И Йосио пришел к феодальным выводам:

«... — вот почему, — думал Йосио, — Нацуко могла выступать вчера так активно... женщина, таким образом, совершенно свободно производит игру над мужчинами, свободно лоя все новых и новых мужчин. У мужчин же, наверное, больше боли и досады в момент бросания их женщинами, нежели той радости, какую они вкушают при первой встрече любви». — —

Неверно, христианнейший коллега Кагава! — Софья Перовская также была стриженной, но ей было не до любви. Ваши кондукторши подземной железной дороги, опутавшие себя током высокого напряжения, чтобы бастовать, тоже стрижены, а Йосио, который уже задавал рабочему способом дзюдзидзу, после таких рассуждений, надо полагать, окажется в Лиге Кровавого Братства, дабы быть «другом» рабочих и крестьян.

Коллега Кагава! — вы знаете лучше россиянина обо всем, что рассказано выше в этой книге, — вы лучше россиянина знаете вашу историю. Вами в этой книге корней и камня доказывается, что Пьера Лоти и Бориса Пильняка следовало бы отдать под суд за клевету. И вы должны знать — должны знать, чтобы ваши романы были совершенны, — историю развития человечества.

По «Змеям» Кима: —

Япония № 1 императорско-феодально-мицу-сэйю-кай-ная по «Змеям» Кима, во второй половине XIX века, пролетала в течение сорока лет тот путь, по которому белые державы ковыляла в течение четырех столетий. Япония № 2, Япония пролетарско-революционная, которая начала свою настоящую историю с 1918 года, побил рекорд Японии № 1, пройдя столетний путь европейских рабочих до образования коммунистической партии в четыре года. Каждый, кто проследит, поймет сокровенный смысл таких фактов, как каракозовский выстрел Намба, выступление мелконадельников в префектуре Ниигата, сибанская стачка, победы левого фронта профсоюзов — Хьогикай — и так дальше, — и поймет, что дело не в арифмометре, показывающем внушительные цифры, а в качестве этих цифр и в беге ступившегося времени.

Неестественно быстрый рост не проходит даром. Он всегда с патологическими казусами. Япония № 1, имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и Мицу-Мицубиси, одной ногой стоит в средневековьи. Вы знаете, не стоит вспоминать, — распарывание животов, кровавые рецидивы походок

Хидэйоси на Корею, бывших в конце XVI века, культ лисиц, Йосивару и прочее. И Япония № 2, упираясь в первую четверть XX столетия, не может наполовину выкарабкаться из конца XVIII века. Профессорша лондонского экономического института миссис Повер, приехавшая несколько лет тому назад в Японию вместе с Б. Ресселем, попала в интернат для работниц при одной из токийских фабрик, в квартале Хондзю. Изумленно оглянувшись и зажав нос, ученая миссис сказала, что она видит воочию английскую фабрику эпохи промышленного переворота.

Это — жейщины-ткачихи, текстильщицы, хребет японской промышленности, залог японского процветания. Нужны гомерические усилия, чтобы этих, брошенных в XVIII век, безропотных невольниц раскабалить в класс и в людей. Это будет сделано — людьми и временем. Это делается. Сейчас же пока 10 процентов всего фабрично-заводского пролетариата Японии — дети, подростки до 15 лет. Коллега Кагава, возьмите какое-нибудь описание жизни детей на английских фабриках второй половины XVIII века, смягчите немножко углы эпитетов, сократите несколько цифр, выбросьте несколько междометий, вместо названий Манчестер, Бостон, Стокпорт поставьте название японских городов, и у вас получится интересная, изобилующая свежими фактическими данными, повесть — «О положении детского труда в современной Японии». Вам очень поможет в этом Чарльз Диккенс.

До 1918 года была до-история. Настоящая история, плотная, туго набитая фактами и связанная, идет с 18-го года.

До-история состоит из отдельных разрозненных событий, всплесков, отрывочных выступлений. Первые рабочие союзы, созданные стараниями энтузиастов-интеллигентов, вернувшихся из Америки, появились в последнем десятилетии XIX века. То был героический период деятельности идеалистов, энергичных пионеров и непреклонных безумцев. Вот они — первые члены японского пролетарского пантеона. «Японский Роберт

Оуэн» — Сакума Тэйити. Первый организатор союза рикш, впоследствии казненный, — Окуномия Накадзима Хандзабуро — автор и режиссер первой японской стачки на Гавайских островах, зачинщик крестьянского движения в Маэбаси, самоотверженный чудак, окрещенный «сумасшедшим».

Первая в истории Японии рабочая демонстрация состоялась 10 апреля 1898 года. В восемь часов утра восемьсот рабочих собрались в помещении организации, повернулись в сторону императорского дворца, прокричали троекратное банзай в честь сына неба и, надев головные уборы, специально сшитые к этому дню, пошли стройными рядами в парк Уэно под пение первой в Японии рабочей песни, — в парк, где полицейских было больше, чем деревьев. В этот день ответственным распорядителем демонстрации был один юноша, незадолго до этого возвратившийся из Америки, где он блестяще окончил университет со званием бакалавра. Вскоре этот юноша встал на ряду с ачархистом Котоку в первых рядах японских революционеров, а после начала полицейского террора вынужден был эмигрировать. Теперь этого юношу, уже старика, можно часто видеть тихо шагающим по Тверской. Он — неперемный член Исполкома Коминтерна. Зовут его — Сэн Катояма.

В этот памятный день на улицах Токио впервые зазвучала песня, которая начиналась так:

Даже гора Фудзи, что высится в небе, —
 Это только глыба комьев земли
 Товарищи по работе, настало время, —
 Возьмемся за руки,
 Вместе — наступать иль отступать
 Будем биться крепкими рядами
 Ну-ка, перегони гору Фудзи
 В своей крепости и связанности
 Если жарко взяться, что-нибудь да
 выйдег
 Если жарко взяться, что-нибудь да
 выйдег

Эти рабочие организации были эфемерны. Они рождались в результате отчаянных усилий и лопались при первом тычке полицейского пальца иль после первого провала стачки. В это же время когорты революционеров во главе

с Котоку и Катояма пробивала себе дорогу сквозь стену полицейских и охранных столетий. Скрипящие тюремные ворота становились добрыми старыми знакомыми и университетами.

В 1910 году принц Кацура, премьер-министр, генерал, не выдавший ни одно боя, решил уподобиться богу Суаноомикота, некогда отсекшему разом все головы у зловредной гидры. В июне этого года 26 революционеров во главе с Котоку и его женой Канно Суга были внезапно схвачены. В январе следующего года, после приговора верховного суда, с ними степенно расправились. 12 — в их числе чета Котоку — были удушены. В Японии смертная казнь производится при посредстве особой машины «косюдай» — горлодавилки, в которой смерть наступает не раньше, как через пятнадцать минут. Еще 12 были присуждены к каторге на всю жизнь. Один из них сошел с ума. Причины ареста и расправы неизвестны, ибо в печать попало только несколько туманных и кратких, как танка, сообщений о том, что — «Котоку и его товарищи были накануне невероятного преступления, которое, буде оно осуществлено, покрыло бы их извечным позором».

Котоку и его товарищи готовили убийство императора.

Все это вам известно, коллега Кагава. Ликвидация 24-х и политический террор достигли цели — революционное и рабочее движения были стерты с лица земли.

Вместо них в 1912 году адвокат Судзуки робко организовал, оглядываясь на нахмурившего брови минвудеда, Общество Дружбы — «Юайкай» — рабочий союз с вегетарианской программой. В почетные советники был приглашен промышленный даймио — барон Сибудзава. Благодаря удачливой звезде союзик просуществовал до 1918 года, а затем он вдруг стал быстро разбухать, как отрок Момотаро из вашей сказки, коллега Кагава.

Август 1914 года. Война на белом Западе. Вступление Японии в войну. Штурм Циндао. Отчаянное обогащение Японии. Рынки. Военные заказы. Нарикины — скоробогатчики — растут, как

бамбуки после ливня. Рис, то-есть жизнь, — жизнь, то-есть рис, — дорожают. Революция в России. Вторая. Газетные телеграммы о мировом монстре «Рейнине», то-есть Ленине. Учащение пульса в интеллигентских кругах. Дальнейший подъем риса. Одно сьо — около двух литров — двадцать копеек. 21, 22, 25. Совет депутатов уже в Урадзио (Владивосток), в 36 часах от Цуруга. Рис: 26—28—30. Студенты читают статьи Крапоткина и речи Рейнина. Зенит войны. 32—35—39.

1918-й. Он может смело стать рядом с 1848-м, 1871-м и 905-м, на одну ступеньку ниже их величеств — 1793-го и 1917-го.

Коллега Кагава! — перечитайте автобиографический роман одного из рабочих лидеров — Асо — «Расцвет». Первые страницы этой книги посвящены 918-му году. Особенно сильно идейное возбуждение среди товарищей Йосио, у студенческой молодежи. Сообщение о двух революциях в России производит так же впечатление на молодую Японию, как некогда вести о парижских коммунарах на русских идеалистов. Токийские студенты начинают организовать кружки — копии кружков Каракозова, Чайковского, Долгушина и других. Эти кружки — Общество новых людей, Союз народников, Союз творцов, Общество расцветного народа. В этих кружках круглые сутки сидят над социалистическими и анархистскими книгами, особенно над Лениным и Крапоткиным, разбирают случайно добытые декреты правительства Советов, спорят о сроках японской революции и в заключение читают «Новь» или «Отцов и детей». Среди молодежи мода — отпускать волосы до плеч, зачесывать их назад и носить русскую рубашку. Многие перебираются в рабочие кварталы, другие едут в деревню платить долг своим младшим братьям. Неслыханная вещь — лучшая часть выпуска Токийского императорского университета в 18-м году отказалась от бюрократической карьеры и пошла в ряды рабочих организаций. В 1918 году до хрипоты спорили в синих от дыма деревянно-бумажных комматушках о «решающих сроках».

Рис дошел до 45 сэн, а потом, немало подумав, вдруг в первые дни августа скакнул до 50. Август был зноен и душен.

3 августа. Кабинет генерала Тераути объявляет о посылке войск в Сибирь для «восстановления порядка».

5 августа. Главная обсерватория предупреждает об урагане, идущем с юга.

6 августа. В городе Тояма толпа голодных женщин начала громить рисовые магазины. Тоямки дали знак. По всей Японии начались бунты городской и деревенской бедноты, бунты, бушевавшие весь август и в последний раз вспыхнувшие ярким пламенем на угольных копях Кюсю. Правительству, только-что пославшему несколько дивизий для покорения русской революции, пришлось двинуть полки жандармерии против японцев. 10.000 бунтовщиков были загнаны в тюрьмы. Число убитых не установлено, ибо трупы убитых такими войнами не считаются.

Коллега Кагава, вы помните этот рисовый август, который потряс Японию. После него, как после землетрясения, выбрасывающего на поверхность океана вулканические острова, не так ли на поверхности японской социальной жизни вырисовалось аграрное и рабочее движение. 1918-й — высшая точка забастовочной кривой. Тогда начались первые организованные выступления мелконадельников против аграриев, стачки и локауты на полях.

Рост «Общества дружбы» — рост всех рабочих союзов — рост рабочего фронта. Адвокат превращается в лидера рабочих. Он начинает держать себя увереннее при встрече с бароном. И барон находит нужным купить адвоката, ухаживать за ним. Адвокат полнеет. В 1919-м к имени «Общество дружбы» прибавляется название — «Федерация труда». С адвокатом повторилась американская история Самуэля Гомперса. 1920 год. Социалистическая лига. Молниеносный разгон.

Конец войны. Германия — локаут. Государство нарикинов в панике. Масовые самоубийства банков и фабрик. Депрессия. Депрессия растет. Депрессия свирепеет. Имеющих больше 500.000 эн

в Японии — только 2 тысячи человек. Японская пословица — «загнанная крыса кусает kota».

Вы помните, ночью 1 сентября 23-го года, после великого землетрясения, лишенные крова токийцы столпились на пустырях, в парках и переулках, смотрели издали на горящие кварталы, по которым носилась колесница бога Кагуцути, японского Ильи-пророка. Подземные толчки продолжались беспрерывно. Мрак походил на тушь. Люди чувствовали себя беспомощнее метерлинковских слепцов. И тогда среди них заметно родились жуткие слухи о том, что правительства нет, что все министры раздавлены и что на Токио дикой оравой прут корейцы, которые вкуче с японскими революционерами захватят власть и начнут уничтожать уцелевших. Древний ужас охватил всех. В эту ж ночь начали формироваться отряды самообороны. И под гром землетрясения началась расправа с «левыми». Надо быть справедливым — это правда, что полиция и жандармерия спасли много левых от верной смерти, принудительно интернировав их в участки. Но не во всех участках удержались от сладостного соблазна. Жандармский капитан Амакасу не вытерпел этой невообразимой пытки и собственноручно задушил веревкой вождя японских анархистов Осуги, его жену и его девятилетнего племянника. Два больших трупа и один маленький трупик были брошены в колодезь во дворе жандармского штаба. Этакое полицейско-жандармские грехопадения случились еще в ряде мест, например в Камэидо, где была изрешечена пудями куча юношеско-коммунистов и вожаков рабочих союзов. Корейцев не щадил никто — ни люди с пуговицами, ни кимано. Безоружных, не говорящих по-японски корейцев дружно, трудолюбиво истребляли, как в конце XVI века, во время корейского похода Хидэйоси.

Великое «землетрясение» нанесло оглушающий удар левому флангу японской общественности и рабочему движению, но — «после ливня твердеет земля», по японской пословице.

После ливня твердеет земля!.. — «Змеи» Кима закончены. —

Хийоримиха — по-японски значит «следящие за погодой», погодники. Съезд федерации труда в феврале 1925 года, съезд погодников, — прогнал красных. Ушедшие подняли красный флаг Хьюгикай — Совет Рабочих Союзов.

Левые Хьюгикай вместе с левыми Крестьянского союза организовали в том же 25-м Рабоче-Крестьянскую партию. Вы помните, коллега Кагава, — минвудел разогнал эту партию. Тогда погодники с правыми Христианского союза стали организовывать свою «Рабоче-Крестьянскую партию». Минвудел благословил. Минвудел, на ряду с построениями банков и партий, хорошо научился у американцев и принципам «организации» министерского рабочего движения!

Красный флаг открыто был поднят в 25-м году Советом Рабочих Союзов. Но компартия существует в Японии с 22-го года, нелегальная конечно, ибо при императорах, происходящих от солнца, — куда уж коммунизму!.. Компартия, стало быть, не существует в Японии. Поэтому 10 апреля 25-го года правительство издало приказ о роспуске Хьюгикай и Пролетарского юношеского союза, прочих, — организаций, связанных с коммунизмом. В ночь 15 марта было арестовано до тысячи человек коммунистов. Император тогда издал указ, карающий коммунистическую деятельность смертной казнью. Аресты идут каждый год, каждый месяц, вы знаете об этом, коллега Кагава. После ливня твердеет земля!.. коммунистической партии в Японии — нет?

А рабочие? — Эти, тридцать процентов коих работает по сие число больше двенадцати часов в сутки. Эти, где семьдесят процентов женщин-работниц моложе девятнадцати лет. Но восемьдесят процентов рабочих текстиля — женщины. Эти, зарабатывающие от рубля сорока до восьмидесяти копеек в день. — О них, о их делах следует рассказать, чтобы помянуть их геройство, никак не похожее на бусидосское, и чтобы дополнить ваши, Кагава-сан, цитаты из «Камней».

Вы помните, Кагава-сан. Маленький уездный городишко. Завод. Полторы

тысячи рабочих. «Конфликт». Стачка. Штрейкбрехеры, спасители нации и ее чистоты, с ножами и пистолетами. Избиение стачечников, — и штрейкбрехерами, и полицией. Предприниматель уперен и кругом неправ. Полиция арестовала сотню рабочих. Месяц борьбы. Два. Пять. Рабочие выгнаны из своих домов. Город разбился на два класса. Борьба рабочих даже в школе согнала с парт детей рабочих, несколько сот ребят. История стачки, избиений, голода стала известна за городом. Рабочие были так правы, что не только реформисты, но даже промышленные общества склонялись признать правым право рабочих. Рабочие обращались к губернатору, к правительству. На шестом месяце один из реформистских лидеров даже бросился на вокзале в Токио под ноги императору, передав ходатайство о помощи рабочим. Император не пошел по пути 9 января, — он просто ничего не сделал, умыв руки. Вы помните, Кагава-сан, эта забастовка длилась семь месяцев и четыре дня, — вы скажете, что рабочие тогда только полупобедили?

Или другая история. Осака. Текстильная фабрика. Женщины. Четыре тысячи пятьсот человек. Против них и предприниматели, и власть, и газеты, и священные традиции старины. Фабричный двор, где были заперты бастующие, их казармы (где обыкновенно спали две работницы на одной постели, первая, когда работала вторая, вторая, когда работала первая) были забаррикадированы полицией, охраняемые, как охраняются кварталы, пораженные чумой. Водопровод был выключен от арестованных бастующих. Были заперты даже уборные. Мерзавцы по ночам — голыми врывались к женщинам, чтобы избивать их. Так женщины держались, бастуя, три месяца. Предприниматели победили, Кагава-сан? — все стачечницы под полицейским конвоем, по этапу, разосланы были по родительским своим деревням и домам.

Кагава-сан, поистине:

Если можно назвать прядильщицу человеком, То и телеграфный столб может зацвести.

Кагава-сан, я думаю, что этим женщинам-девушкам, семьдесят процентов которых моложе девятнадцати лет, и тем рабочим, которые только полупобедили, надо помочь раньше, чем христианским юношам. И надо помочь знанием и осознанием права. Они уже рождены у японских работниц, чему свидетель только-что рассказанное. Кагава-сан, такая помощь — тоже дело писателя.

У Пильняка 32-го года был раздумчивый разговор с профессором Х. Профессор Х. никак не был ни коммунистом, ни сочувствующим коммунистам. Он был вдумчив.

Пильняк спросил:

— Как вы думаете, будут японцы воевать с СССР? — и когда это будет?

— Не думаю, — ответил профессор. — Вообще нам лучше было бы разобраться в наших внутренних делах, чем заниматься войнами. Чего доброго, эти войны... — профессор помолчал, подумав, — эти войны... вы знаете положение наших безработных рабочих, наших крестьян, нашего правительства. Наши генералы думают, что, воспользовавшись мировым развалом кризиса, когда всем не до Японии, — что они захватом Маньчжурии ликвидируют наш развал... Чего доброго, эти войны превратят Японию в восьмую Советскую республику.

Кагава-сан, — слушайте историю! — писателям нашей эпохи нельзя обходить историю и нельзя отставать от нее. Ваши главы, комментариями коих начала эта книга, — совершенно правильные главы. Совершенно естественно, Кагава-сан, что в организации литературно-разведочного художественно-оборудующего института вы рады были бы принять участие. Этот институт должен будет апробировать и мирозерцание писателя, считая мирозерцание грамотностью.

10

В 26-м году Пильняк писал друзьям письма, отрывки из них:

«... ты спрашиваешь, как я себя чувствую в Японии? Кроме того, что все кругом меня таинственно и чудес-

но, что каждый новый день несет мне новые невероятности, которые я осмысливаю величайшими головными болями, — кроме всего этого, слагающегося из вещей, лежащих перед моими глазами, — мои ощущения, мое состояние в этой таинственной стране определяется еще тем, что я оказался глухим и безграмотным человеком.

«Поистине я безграмотен. Я не могу написать письма и надписать адрес на конверте. Я не могу прочесть ни одной вывески, даже названия улиц, и, стало быть, я не умею написать адрес того дома и той улицы, где я живу, то-есть я не знаю, где я живу. Нечего говорить о газетах, где даже статьи обо мне я воспринимаю, как дикарь, — тем, что там напечатана моя фотография. Но у безграмотного, и у меня в частности, развиваются свои способы ориентации. Я, как волк в лесу, хожу улицами не по печатным приметам, а по приметам домов, световых реклам, перекрестков.

«К тому же я и глухо-нем, ибо я не могу сказать ни одного слова и не понимаю, что говорят мне. На улицах я вынужден говорить знаками, как говорило человечество десятки тысяч лет тому назад. Но и тут меня преследуют всяческие трудности. Ибо мой европейский жест японцы понимают как-раз наоборот. Я говорю жестом — поди сюда — и человек уходит от меня.

«Все же я преодолеваю улицы и прочие расстояния. Не надо много фантазии, чтобы представить, каких трудов все это стоит, когда язык и грамоту я должен заменить глазами и когда до смысла вещей я перелезаю через заборы переводов. Мне иногда начинает казаться, что мои глаза загибаются. И очень часто к вечеру мой мозг оказывается изжеванным, как тряпка, которая перестиралась сто раз».

«... я поехал в Японию не только потому, что я хочу рассказать о Японии в России, и не только потому, что в Японии я хотел рассказать о России. Основная цель моей жизни — писательство, — формирование тех эмоций

и образов, которые прошли через мое сердце и через мой ум, — формирование их в рассказах и повестях. Писатель над бытом и временем, прорываясь через них, должен стремиться к тому, чтобы его творения рассказывали не только сегодняшнему дню. Я должен сказать, что мое путешествие в Японию, вне зависимости от тех знаний, которые я приобрету знанием Японии, — дало мне огромный короб таких эмоций и переживаний, какие не сможет дать ни один университет, ни сотни прочитанных умнейших книг.

«И ничто не статутно на этом шаре земли, где живу я и человеческие цивилизации. Жизнь земного шара очень дряхла, если есть такие культуры, как «восточная» и «европейская», такие, которые тысячелетия жили, не зная друг о друге. Жизнь людей земного шара — очень молода, ибо еще так много надо сделать человечеству, чтобы человек Москвы понял человека Токио и чтобы эти двое поняли человека с реки Конго. В Японии я окончательно почувствовал и понял тот путь, то новое переселение народов, правд и верований, в которые пошли народы и правды в это столетие, когда весь земной шар отправился сливаться общностью знаний и общностью культур, осуществляя геометрическую формулу шара» —

Выписей из писем достаточно. Из всех стран, виденных мною, Япония больше всех сохранила свою национальную культуру — и больше очень и очень многих стран Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу — культуры не национальной, а всечеловеческой, — а стало быть, и социалистической. Забастовки на трубах фабрик и в Институте иностранных языков — это только примеры. И только пример, что все японцы ходят в кимоно и в кимоно читают газеты. Двести тридцать с лишним лет тому назад, при Петре I, когда Россия принимала Запад, одно из первых, что она приняла, это были — платья, манера держаться в обществе, прочее: национальная одежда в России совсем исчезла, и, если она где-нибудь сохранилась, она указывает, что

туда никакая культура не заглядывала, сохранив там, господи, благослови, каменный век. И того, что случилось со мной, когда я в Японии оказался глухим и безграмотным, с японцами — не случается: писатель Акита собирался в Россию, и он изучал русский язык. Если японец приедет в русскую Россию, он будет знать русский язык. Люди на земле идут по пути слияния общечеловеческих знаний. Рабочие Японии всячески готовятся к этой дороге.

И еще цитата, последняя:

«... На рассвете меня разбудили. Мои ину сидели уже в автомобиле. По пустым улицам автомобили понесли нас в редакцию «Токио-Асахи». В редакции спал на столе в кимоно сотрудник, говорящий по-русски. Моих собак собралось внизу штук уже десять. Шоферы в гараже разводили третий автомобиль. В тишине, которая казалась древней, шествовало утро, смоченное росой. Разместились в автомобилях. Два ину, деля видниктошек, сели на сиденье передо мною. Узкими улочками, тенистыми дорогами, рисовыми полями, деревушками — мы поехали на аэродром, за сорок километров от Токио. Фудзисан предстал перед нами еще с автомобиля — розовая в солнце снеговая пирамида, опоясанная облаком

«... роса садится на ботинки. На старте стоят два самолета. Один из них унесет меня в воздух. На нем я полечу над Фудзи, над морем, над японскими горами. С другого будут фотографировать меня в воздухе для газет. Я здороваюсь с человеком — пилотом Осима — с человеком, которого я вижу в первый раз и, должно быть, последний, — который унесет меня в воздушные стихи. Самолет — двухместный биплан. В войну 1914—1918 годов такие аэропланы употреблялись в качестве истребителей. Самолет — рабочий, немолодой, такой, который давно стал уже возчиком газетной корреспонденции «Асахи-Симбун» из Токио в Осака. И я лечу на нем из Токио в Осака вместе с газетной почтой. Начальник аэродро-

ма отдает мне свои кожаные штаны. Я надеваю два пальто, шлем, креплю над моими очками очки-консервы. Каждые сто метров ввысь теряют температуру на один градус. И там, в высоте двух тысяч метров над землей, я буду в страшном ветре и морозе, в зиме. Мое место — место наблюдателя — открыто всем ветрам. Фотограф стреляет в меня аппаратом в тот момент, когда я влетаю в кожу штанов, завязывая их над пиджаком подмышками. Я лезу в кабину. Я привязываю себя ремнем к скамеечке. Я осматриваюсь в новом моем жилище, в том, где я проживу Японию в полете. Тросики хвостового оперения, руля глубины, ответственнойшего рычага управления самолетом, открыто идут около моих колен. Я знаю: если в воздухе я коснусь их, порву их, помну, — машина неуправляема, нам останется только камнем лететь вниз. И я соображаю, что двигаться мне нельзя: это совсем не то, что барину лететь в «юнкерсе». Под ногами у меня отвёрстие, такое, в которое я буду с воздуха видеть все, что будет у меня под ногами. Пилот садится в свою кабину. Мне говорят, что второй самолет поднимется в воздух следом за нами. Когда тот самолет будет около нас и мне махнут рукою, я должен подняться из кабины, чтобы меня было видно, ибо меня будут фотографировать в воздухе. Механик пустил пропеллер.

«Я вижу только голову пилота. Черным покойным глазом, птичьим глазом, он взглядывает на меня, спрашивая — готов ли? — Я отвечаю ему улыбкой. Мои собаки стоят кругом, смотря, вытянув носы. Мы бежим по аэродрому. Земля рвется изпод нас. Земля качнулась под нами. Мы в воздухе. Земля стала набок, аэродром поплыл вниз. Пропеллер ревет. Ветер бьет в лицо и плечи. Люди, стремительно уменьшающиеся, машут нам с земли. Мои ину задрали головы и также машут руками. Я тоже хочу помахать, — и ветер хочет оторвать мою руку. Но рядом с нами

возникает новый рев. В десяти саженях от нас налево я вижу другой самолет. Мне машут оттуда. Я отвечаю. С того самолета стреляют в меня фотографическими пленками. Все это длится несколько секунд, потому, что минуты в воздухе равны часам земли: не только потому, что в минуту самолет проходит почти столько же, сколько человек в час пешком, но и потому, что в стихиях воздуха нервы напряжены в стократ крепче, чем на земле. Мы раскланиваемся, и последний самолет ласточкой оборачивается назад.

«Я один. Я один потому, что за воем пропеллера ничего не слышно. Я один потому, что человеку, который сидит впереди меня, даже если бы я и мог крикнуть, я ничего не могу сказать, ибо он не знает моего языка. Птичий его покойный глаз взглядывает на меня, я улыбаюсь ему. Я один со стихиями. Широчайший простор моря и гор под нами. Только один Фудзи-сан рядом.

«Я один со стихиями. Каждая минута полета равна часам земли. У меня бесконечное количество часов. Я очень знаю упоение полета, — упоение стихиями, упоение борьбы со стихиями, с неподчиняемым, с непознанным. Полет для меня — неизяснимейшее наслаждение, которое невозможно передать словами. Пропеллер рвет воздух. Мимо нас, мимо моего лица рвется и орет ветер, стихия, которую мы покоряем. Земля внизу — земля долин, похожая на шахматные доски, и земля гор, точно горы кто-то просыпал с неба — земля внизу живет своей жизнью. Домики кажутся спичечными коробочками. Города — географическими картами. Горы — теми горушками, которые строятся в луна-парках. Когда с большой высоты на самолете идешь быстро вниз, — звенит в ушах, чувствуешь, как по жилам, густея, бежит кровь, чуть-чуть мутнея: стало быть, чем выше идешь в беспредельности, тем спокойнее кровь, нет никакого звона и есть одно лишь неизяснимое наслаждение полета.

«Я один — мы — аэроплан, пилот и я — мы одни в стихиях. Земли и горы внизу — не в счет. Мы не можем даже сесть на землю, ибо там, в горах, нет такого места, где могли бы мы сесть, не разбившись. И тут, в этих стихиях, рядом с нами, — по-прежнему величественный в снегах, в спокойствии, прекраснейший Фудзи-сан. Только с неба я увидел, как величествен он, в белом спокойствии снегов величествующий над всем остальным, опоясанный облаками, скрывший свою вершину от людей земли и видный только нам, летящим в небе.

«Я один. У каждого должно быть поклонение перед человеческим гением, перед человеческим трудом и умом, перед тем величественным в человеке, что дает ему право покорять стихии, побеждать стихии, подчинять их себе. Самолет — величественнейшее, прекраснейшее изобретение человеческого труда и ума. Здесь, в стихиях, нас двое: пилот и я. Сегодня я увидел его впервые, — должно быть, больше я никогда не встречу его. Я ничего не знаю о нем. Я ничего не могу сказать о нем. И все же я знаю: пилот Осима — здесь, в стихиях воздуха, — мне брат. В том братстве, когда человек человеку брат потому, что оба они человеки. Около меня проходят тросики руля глубины. Стоит немножко мне задеть их, и мы полетим вниз, в лепешки сырого человеческого мяса — или печеного, если от трения с воздухом вспыхнет самолет. Стоит зазеваться пилоту, неправильно нажать руль, — и мы полетим вниз, в смерть. Наши жизни связаны опасностью смерти — наши жизни связаны здравием жизни — и мы — братья, связанные жизнью. Пилот поглядывает на меня птичьим глазом. Я отвечаю ему улыбкой. Я покоен: впереди меня сидит брат-человек.

«И так я думаю не только об этом нашем полете. В том полете земного шара, в тех его путях, которыми мы живем сейчас, — не только Осима-сан и я — братья в праве на жизнь, — но

именно в том праве должны братствовать и народы. По воздуху нас несет самолет. Наши жизни связаны самолетом. Мы летим по воздуху волей человеческих труда и гения, подчинивших стихии машинам: это только поле для размышлений, где нету конца, ибо человеческий гений, облетенный в труд и машину, конца не знает, побеждающего мир.

«... облака заволакивают землю. Мы летим над облаками. На моменты земля исчезает внизу, закутанная облаками. И вот момент, который я запомню навсегда, как прекраснейшее. Земли под нами — нет. Там облака. Мы над облаками. Над нами синее небо и бесконечно-прекрасный свет. И — кроме нас — над облаками — Фудзи-сан. Мы и Фудзи-сан — над облаками, над землей — таинственный, метафизический для японцев Фудзи-сан и мы, залетевшие за Фудзи волей человеческого гения. Непознанные силы природы, мистически олицетворяемые японским народом во образе Фудзи-сан, и человеческий гений труда — встретились за облаками, чтоб побрататься с красотой.

«Есть упоение в полете!..

«Мы вылетели в восемь часов пятьдесят минут. Мы вылетели золотым утром, в солнце и в сини далее. Бегут минуты, которые здесь, в высоте, кажутся часами. Ветер свистит, орет и рвет. Фудзи уже позади. Мы летим над долиной, идущей от Фудзи к бухте Суруга, к сини моря. И вдруг наш самолет становится набок. Мы скользим на крыло вниз. Ветер воет над головой и звенит в ушах. Но мы уже кинуты ветром вверх, встаем на дыбы. Сердце в неизяснимом блаженстве. И опять земля стала к нам боком, боком мы летим над землей, небо слилось под ногами у горизонта с морем, — за небо нам стали море и горизонт. Земля поправила под ногами свое положение. Ветер рвет, орет, мешает дышать. Ветер швыряет, бросает, кидает самолет. Вверх, вниз, направо, налево. Ремень на моем животе то делается в вес моего тела, то тело невесомо, то давит тело на си-

день, точно хочет его продавить. Я понимаю: мы попали в полосу разбойных воздушных течений. Я понимаю, почему пилот уходит все ввысь и ввысь. Там меньше опасности, если самолет будет опрокинут ветром. Нам сейчас опасна только земля. Если мы заденем за нее как-нибудь неловко, не успев выправить положение, — тогда — смерть. Мы в громадной высоте над землею. Холод бежит по лопаткам и леденит руки. Стихии ветра опять кидаются нами. Я сжимаю мышцы, чтобы держаться. Я вижу покойный, птичий глаз пилота.

«Мы вылетели золотым утром широких далей. Я смотрю кругом. Далей уже нет. Не только море, которое слилось с небом, но и земля ушла в синюю мглу, спряталась под облака, слила с небом свои горизонты. Мы летим над морем — над Великим — Тихим океаном. Океан под нами, — и глаз обманывает, точно небо обернулось вокруг нас: небо внизу, небо слева, небо над нами, — и только справа небольшой кусок земли, гористой, там, куда достигает глаз, и похожий на тучи там, где глаз теряется во мгле. Мы идем выше и выше. Мы пролетаем сквозь сырость облаков, рвемся через облака Эти «вечные странники» — тут, рядом окутывают своей холодной сыростью. Самолет рвется через них. Мы над облаками. Земля прорывается внизу так же, как небо, когда смотришь на него в облачный день с земли. Это тут, в этом месте я поздоровался с Фудзи-сан, поклонившись его красоте. Ветер рвет. Ветер кидается облаками и самолетами. Земли не видно. Я судорожно в морозе сжимаю руки. Мы вырываемся из-за облаков. И невероятное зрелище я вижу на земле, такое, которое кажется олицетворением Японии. Под нами идут тучи. Тучи льют дождями. И земля под тучами — она черна, она зловеща, черная в черных тенях облаков — страшная, злобная земля, изморванная горами и долинами, разметанная камнями, полыхающая в свинцовых

тучах молниями, страшная земля, похожая на чертоподобных японских богов. Мы летим в лохмотьях дождевой тучи. Ветер и тучи кидают самолет безо всякого толка. И опять можно думать о непонятности Японии для европейца, о тех двух силах, которые сохранили в Японии чертоподобных идолов и кинули наш самолет за облака. Птичий глаз пилота покоен.

«Но — думать уже трудно. Мышцы немеют от холода и напряжения. Самолет уже беспрестанно мечется ветром. Мне на земле сказали, что мы пролетим два—два с половиной часа. Я слежу за временем. Мы летим уже два часа с половиной. Я вынимаю карту, сверяю те затуманенные тучами и облаками клочки земли, которые видны, — и ничего не понимаю. Кажется, мы сделали только полдороги, если залив под нами есть бухта Исэ, — или — это уже бухта Осака? — но самолет от моря сворачивает на землю. Я ничего не понимаю. Я прячу в карман часы и карту, чтобы вновь неметь от оцепенения в новом шторме воздушных волн.

«Я вновь смотрю на часы. Мы летим уже три часа двадцать минут. Я ничего не понимаю. Я вижу: мы летим к горному перевалу. По вершинам гор идут облака. Чтоб перелететь через эти горы, надо подняться над облаками, ибо в тучах лететь невозможно, ибо в тучах с разлету можно налететь на горы. Тучи и облака стали страшною стеною вокруг нас.

«И — тогда последнее величественнейшее ощущение — там, за горами, за тучами. Вопреки всем моим понятиям об авиации, самолет стал, повиснул в воздухе. Я понимал, что лететь — некуда, ибо полет в облаках все равно, что полет с завязанными глазами. Но как пилот сделал, чтобы самолет остановился? — Я, понял это только потом, когда мне объяснили на земле, что пилот повиснул в воздухе штопором и что — тогда мы были в гибели. Пропеллер ревел, выл мчащийся ветер. Но тучи стали неподвижны. Прежде они летели мимо нас

стремглав, — теперь они только потихоньку, медленно ползли вверх? Я понимал, что творится невероятное. И природа, должно быть, поняла это же, ибо самолет перестал болтаться. Груды туч щемили нас. Я посмотрел на часы, мы летели четыре часа. Я убрал часы, чтобы больше уже не смотреть на них. Мне очень захотелось покурить. Я понимаю, что мы в руках природы, только госпожи стихии, сколько бы мы ни стояли на месте: бензин ведь пределен, и, если тучи не разойдутся, все же вынуждены мы будем итти — и вперед, и вниз. Птичий глаз пилота был покоен.

«И вдруг: качнулись тучи, раздвинулись две громады облаков, в щели между ними стала видна золотая в солнце земля. И камнем, стремительно кинулись мы в эту щель, к земле, за горный перевал.

«Через четверть часа была Осака. Птичий глаз пилота улыбнулся мне. Я весело улыбнулся ему. Пилот рукою указал вперед. В синей мгле в долине я увидал город. Горный хребет был позади. Мы пролетели над феодальным замком и сели на аэродром.

«Окоченевший, с истомленными мышцами, под выстрелы фотографов и в руки осакским шпикам, веселейший, я вылез из кабины. И первое, что я спросил через переводчика, обращаясь к пилоту, было:

«— Какой надо считать сегодняшнюю погоду?»

«Пилот ответил:

«— Мы попали в воздушную бурю!

«Я знаю, что пилот Осима, с которым я никогда больше не увижусь, есть — мой брат, с которым мы вместе крестились правом на жизнь. Я знаю: та машина, на которой мы летели, несовершенна, маломощна, — но, во-первых, эта машина вошла в будничный обиход, она перевозит газету «Асахи», служилая, как любой

экипаж, — и во-вторых, пусть она маломощна, с братом Осимой я полечу куда угодно» — —

Пусть эта запись будет концом книги.

Пилот Осима разбился, упав с воздуха.

Следует на прощание поговорить с читателем и с писателем.

Читатель! Главы Пильняка состоят из цитат «Корней» и комментариев к ним. Если вам, читатель, цитаты «Корней» покажутся более «поэтичными» и «эмоциональными», — стыдитесь, читатель, и вместе с писателем позаботьтесь о грамотности.

И на самом деле, советским классикам и ортодоксам, Сейфуллиной, Николаю Огневу, Леониду Леонову, молодым талантам из хедера Марсея Пруста, давно надо было бы написать не публицистические комментарии к японцам, но отличный роман, множество отличных романов, в коих не надо было бы дочитывать современных персидских стихов о помещичьих идиаллах, ибо они написаны Пушкиным в «Евгении Онегине», иль о японских оглы, ибо они описаны Боборыкиным, Синклером Льюисом и Тойохико Кагава. Этак в метельную московскую ночь, не тратя времени на нью-йоркские скрежеты и на токийские нюбан, Николаю Огневу б бросить в ненадобность отошедшие Киндяковки и скомментировать Союз Социалистических Республик, цементируя его социальной химией, его настоящее, его дорогу. Его дорога единственна. Его дорога пока не повторена никем. Его дорога будет повторена всем человечеством. Его дорога сметет все кагавские христианства.

Николай Огнев, Леонид Максимович Леонов, Всеволод Вячеславович Иванов, Сергей Федорович Буданцев, — товарищи-геологи?!

Лавна, Кольский фьорд.

4 января — 8 февраля 1933.

Человек меняет кожу

Роман

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

Книга вторая

(Продолжение ¹)

Известие о смерти Синеицкой привез на строительство бухгалтер Осип Викентьевич, случайно возвращавшийся из Ташкента одним поездом с Синеицкой и Уртабаевым. Об Осипе Викентьевиче говорили, что в старое время был он управляющим в большом княжеском имении. Скрыть этого впрочем Осип Викентьевич и не пытался: вид его, короткий, усатый и румяный, подтверждал это красноречивее старой фотографической карточки.

О сенсационном происшествии Осип Викентьевич первым делом рассказал в кругу семьи и подоспевших сослуживцев. Из рассказа, во-первых, явствовало, что жена Синеицына сбежала к Уртабаеву, во-вторых, что Уртабаев наутро выгнал ее вон и, в-третьих, что Синеицына, желая ему отомстить, кинулась на его глазах под колеса.

Все охали и ахали, а жена старшего бухгалтера громогласно заявила, что туда ей, шлюхе, и дорога: бросать такого мужа для какого-то таджика или узбека! В этом месте она выразительно посмотрела на жену младшего счетовода, о которой поговаривали, что она крутит любовь с завкооперацией, таджиком Умаровым.

Наспех поужинав, Осип Викентьевич собрался к Синеицыну сообщить печальную новость и первым выразить свое соболезнование. Он хотел было итти не переодеваясь, чтобы кто-нибудь из приезжих не опередил его, но жена настояла — обязательно надеть черный праздничный костюм: во всем мире принято выражать соболезнование в трауре.

Осип Викентьевич обдумал дорогой все, что полагается говорить в подобных случаях, но, очутившись перед Синеицыным, забыл. Он вытер платочком усы и, не будучи в состоянии вспомнить заготовленную вступительную фразу, начал со второй:

— Разрешите, Владимир Иванович, мне, как служащему человеку, хотя и беспартийному, но преданному делу построения социализма, выразить вам свое глубокое соболезнование по поводу постигшего вас несчастья...

Синеицын насторожился.

Осип Викентьевич вытер платком лоб. Определенно начал не с того конца!

— Земля дала, Владимир Иванович, земля взяла, — ляпнул он залпом приготовленную заключительную фразу. В такой редакции фраза должна была звучать вполне материалистично и без религиозных предрассудков.

— Я вас не понимаю, — насупился Синеицын. — О чем вы говорите?

¹) См. «Новый мир», кн кн 5, 6 с. г.

— О безвременной кончине супруги вашей, блаженной памяти... то-бишь всеми нами любимой Валентины Владимировны.

Лицо Синецины дрогнуло:

— Кто вам сказал об этом?

— Сам видел, Владимир Иванович, свидетелем несчастья случайно оказался. Одним поездом из Ташкента ехали.

— Когда это было?

— Три дня тому назад, Владимир Иванович, вечером семнадцатого числа у станции Урсатьевская, не доезжая раз'езда.

Синецины отвернулся.

Осип Викентьевич помолчал.

— Ехали мы... как-раз спать собирались ложиться. Вдруг поезд затормозили. Человек, говорят, выпал. Как случилось, и сам не пойму. Говорят, вышла подышать свежим воздухом на площадку. Поезда какие у нас теперь, сами знаете, трясут, как кулацкая бричка... Много ли надо хрупкой женщине? Рвануло покрепче — и нет.

— Мучилась? — тихо спросил Синецины.

— Вот одно утешение, что не мучилась. В промежуток между вагонами прыгнула, и сразу—голова напрочь. А то другие, бывает, попадет неудачно, — ноги, руки отрежет, и калекой нетрудоспособным на всю жизнь останется. А разве такому жизнь? Одно мученье!

— Да, да, спасибо вам...

— Осип Викентьич...

— Спасибо вам, Осип Викентьич, что сказали. До свидания, Осип Викентьич...

На работу Синецины явился в обычное время. В парткоме в этот день разговаривали вполголоса. Вечером Синецины долго ходил по участку и вернулся домой часов в одиннадцать. Живущий через стенку Андрей Савельевич слышал долго в ночь, как секретарь расхаживал по комнате. Потом скрипела отодвигаемая мебель. Потом и это прекратилось.

Отодвинув кровать, Синецины пробрался в угол. В углу стояла портативная машинка старой конструкции, купленная по случаю в Бердичеве в

1920 году, — подарок Владимира Валентине, — и небольшой Валин чемодан. Синецины открыл чемодан. Тут были старые вещи Валентины, она их не носила последние годы. Синецины вытаскивал осторожно, одну за другой. Юбка, платок, джемпер. Он долго рассматривал узенькое фланелевое платьице. В этом платье он увидел впервые Валентину в восемнадцатом году в Самаре. Ни в одном наряде она не казалась ему такой красивой. По его настоянию Валентина не выкидывала этого платья, хотя оно давно стало ей узко.

На дне чемодана лежали письма, бумаги, фотографии. Он выложил все это на одеяло и стал неторопливо разбирать. Две старые фотографии Валентины он спрятал в бумажник. Фотографии мужчин и две-три группы он положил отдельно и принялся разбирать письма. Большинство писем было адресовано Валентине различными мужскими почерками. Не открывая конвертов, он откладывал их в сторону. Были письма и без конвертов, начинавшиеся словами: «Дорогая Валя!», «Любимая Валя!», просто «Дорогая!», просто «Любимая!». Он откладывал их, не читая. Разобрав все письма, он завернул их в газету вместе с кучкой фотографий и понес в печку. Спички тухли, отсыревшая бумага не загоралась. Наконец газета вспыхнула. Он ждал, пока не почернеет последний белый клочок, и только тогда вернулся к чемодану.

Осталось несколько листков, исписанных рукой Валентины: какие-то адреса, какие-то билеты, какие-то тезисы, конспект какого-то доклада. Три листа были напечатаны на машинке. Листы были датированы разными числами: один — 21-м годом, другой — 23-м, третий — 30-м.

Синецины взял первый листок.

«7.VII. 1921 г.

Задумала писать дневник. Раньше такая мысль никогда, пожалуй, не пришла бы мне в голову. Когда все ясно и понятно, незачем затевать длинные разговоры ни с другими, ни, тем более, с самим собой.

Еще полгода тому назад слово «сомнения» вызывало у меня снисходительную улыбку. В моем словаре пришлось бы искать его на букву «м»: мелкобуржуазные сомнения. Возможно, мое сегодняшнее настроение тоже исчерпывается этим термином. Легче почему-то применять эпитет «мелкобуржуазный» к другим, чем к самому себе.

Иногда жалею, что кончилась война. На фронте все было удивительно просто: победить или погибнуть. Если бы там кто-нибудь сказал мне, что можно выиграть войну и тем не менее проиграть революцию, — я бы восприняла это, как плоский контрреволюционный парадокс. А ведь существует и такая возможность.

Иногда спрашиваю себя: неужели все изменилось с этого случая на вокзале? Или я стала на все смотреть другими глазами? Конечно, сам случай — пустяки. Конечно, задолго до этого я видела и гастрономические магазины, открытые для нэпманской публики, и ресторанчики с музыкой, и дооктябрьские масляные рожки, опять запрудившие улицы. Видела, но старалась не замечать. А вот после этого случая не замечать больше не могу. Это лезет в глаза.

Что думает Владимир? Думает ли он то, что говорит, или старается отвертеться готовыми фразами? Больше мы с ним к этой теме не возвращались. Тогда он нашел, что я говорю, как все христианствующие. Я напомнила ему случай в Саратове, когда говорила как-раз противоположное, и он ответил мне той же готовой фразой. Нет, я не верю больше его фразам. Он просто боится додумать до конца и потому старается всячески загрузать себя работой. Ответ надо найти самой. Никто мне его не подскажет. Пора начать жить своим умом...»

Синицын отложил листок. Он хорошо помнил случай, о котором писала Валентина. Он вернулся тогда поздно вечером с работы, усталый и голодный. Ее не было дома. Он вскипятит чай,

достал хлеб, вытащил кусок колбасы (выдавали в тот день чайную колбасу) и принялся есть. Вошла Валентина. Она без слова сняла пальто и села в углу.

Он: Садись кушать. Наверное проголодалась.

Она: Не буду есть.

Он: Почему?

Она: Так, не хочется...

Он: Что с тобой? Ты чем-то взволнована?

Она: Взволнована? Может быть. А ты ничем не взволнован?

Он: Нет, я просто устал.

Она: Знаешь, я только-что видела, как на вокзале подобрали женщину с ребенком. Оба умерли с голода. Понимаешь? С го-ло-да! Простая деревенская баба и грудной ребенок.

Он: Наверное беженцы из голодных районов.

Она: Ты считаешь, что это в порядке вещей?

Он: Что с тобой, Валя? Ну, успокойся. Конечно, это очень тяжело, но что же можно сделать? Пока не наладим транспорта...

Она: Ну да, причина всегда найдется. Наладим транспорт... а пока давай кушать колбасу.

Он: А если мы тоже не будем есть, то от этого что-нибудь улучшится?

Она: Да, улучшится! Если нехватает для них, должно нехватать и для нас. Не кормите нэпманов! Будем есть все сухой хлеб. Но деревенская баба не имеет права умирать у нас с голода! Для кого мы делали революцию, если не для нее?

Он: Революцию мы делали и для нее, и для себя. Не говори, как ребенок. Вместо того, чтобы проповедывать христианский аскетизм и посыпать голову пеплом, надо просто лучше работать и поскорее наладить у нас жизнь. Тогда ни один трудящийся не будет голодать. А если и наши работники повалятся от изнурения, кто за это будет драться? Разве твоя деревенская женщина?

Она: У тебя на все один ответ. Помнишь, когда в Саратове забастовали рабочие, — им три дня не выдавали хлеба, — я сказала, что надо поставить пе-

ред заводом пулемет и расстрелять их, как предателей. Ты мне тогда ответил то же самое, что и сегодня, будто я требую от людей какого-то религиозного аскетизма во имя революции.

Он: Никакого противоречия между тем, что я говорил тогда и сейчас, нет. Рабочие правильно требовали от своей республики, чтобы она накормила их семьи. Неправильно было то, что они подставляли ей ножку, не учитывая временных затруднений. Нужно было только объяснить им эту простую вещь, и они все встали на работу. А ты требовала от них отречения во имя революции так же, как требуешь его сейчас, в несколько другой обстановке, — всеобщего христианского уравнивания перед лицом наших неполадок...

Он говорил еще долго, объяснял, приводил примеры и, казалось, убедил ее, поскольку к этому вопросу в разговорах с ним Валентина больше не возвращалась.

Синицын взял следующий листок, помеченный 11 мая 1923 г.

«ткпкпкхтпкккпхпхпткхгкргфхкхтгфкпк
 Давно не писала на машинке. Надо прочистить буквы. Машинка чихает и кашляет. ктпхгкпгптпгкфхкпкпкпкхкп
 На дворе весна. ВЕСНА. ВеСнА. ХОРОШО! Сегодня еду в Крым. В КРЫМ. На целых шесть недель! Н. едет тоже. Люблю Н. А может, и не люблю. Нет, люблю. Кажется, люблю. Раз кажется, значит люблю. Все любят, а когда перестают любить, тогда им кажется, что им казалось. Все это пустяки. ПУСТЯКИ. Вот уже два месяца, как длится наш роман. Роман? За целых два месяца мы ни разу не могли остаться наедине. У него дома — жена, ребяташки. У меня — невозможно, кругом знакомые Володьки. Надоело вечно встречаться на улице или в кино. НАДОЕЛО. Н. достал двухместное купе в международном. Володька достал для меня броню в мягком. Обязательно хочет меня проводить на вокзал. Ну, и что же, пожалуйста! Пересяду дорогой.

Володька очень ласков. Сам выхлопотал путевку. Радует: наконец отдохну и поправлюсь. Заботливость Володьки портит мне настроение. Может быть, нехорошо, что его обманываю? Может, следовало бы рассказать обо всем? Рассказать — значит разойтись. Нужно ли это делать сейчас? Во-первых, не знаю еще сама, люблю ли наверное Н. и буду ли с ним жить. Во-вторых, думает ли об этом Н.? У него жена, дети. Когда мы с ним на эту тему не говорили. Поживем в Крыму, там видно будет. И потом, что значит «обманываю»? Что я — собственность Володькина? Неужели мне нельзя любить никого, кроме него? Пустяки. Буржуазные предрассудки. Катехизис. Делаю, что хочу, и буду делать, как мне удобнее. Володька сам больше страдал бы, если б я ему сказала, что от него уйду. Зачем причинять ему боль? В конце концов факт, о котором не знаем, не существует. Володька сам как-то говорил по поводу Астафьевой, поведением которой возмущались наши товарищи, что женщина свободна делать то, что хочет. Если они продолжают жить вместе с Астафьевым, это доказывает только, что их сожителство основано на чем-то гораздо более прочном, нежели простое физическое влечение. Да, да, да! В конце концов революция — это не великий пост и коммунизм — не монашеское отречение от благ жизни. Наоборот, это — борьба за то, чтобы не кучке привилегированных, а всем, всем, всем жизнь давала больше радости и наслаждения. Наше поколение отдало этой борьбе свои лучшие годы: пять лет лишений и отказа от всего. Пять лет, на проценты от которых будут жить будущие поколения. Так неужели мы не в праве выжать из нашей жесткой действительности для себя даже ту каплю радости, которую можем в ней найти? Пустяки! Что же это, выходит, как у Горького: для лучшего человека живем? А откуда я знаю, что будущий человек будет лучше? И что он не будет думать

обо мне со снисходительным сожалением: вот дура была!

Я рада, что мои взгляды совпадают с взглядами Н. Пусть он только беспартийный спец, но в вопросах личной жизни он мыслит гораздо более по-коммунистически, чем Володька с его восьмилетним партстажем.

Ну, пора собираться. Скоро придет Володька паковать мой чемодан».

Синицын взял последний густо испи-санный лист:

«Хорог. 16 ноября 1930 г.

Давно не писала. Пишем посылать некому. Попробую немного размять пальцы. Совсем разучилась быстро писать. Надо будет в течение этой зимы поупражняться. Буду писать дневник. Начинала уже по крайней мере пять раз и никогда не напечатала больше одной страницы. Нехватает усидчивости. Тут, пожалуй, от одной скуки можно сделаться писательницей.

Итак, начнем с сегодняшнего дня. Почему именно с сегодняшнего? Не прикидывайтесь, Валентина Владимировна. Знаете хорошо, почему. Сегодня вам стукнуло тридцать три года. Да, да! Ровно тридцать три. Сегодня вы пробовали подсчитывать на пальцах и хотели обмануть себя, что получается только тридцать два, но ничего не вышло. Тридцать три. Точнее: один день тридцать четвертого. Да-с!

Ровно два месяца тому назад, в этот же день, вы уезжали из Хорога с Муриным. И ровно месяц тому назад расстались с ним в Сталинабаде. Тоже шестнадцатого. Совпадение. Признайтесь, что, уезжая отсюда два месяца тому назад, вы не полагали, что сегодня будете сидеть опять на этом самом месте. Правда, вы говорили для приличия и Володе, и товарищам, и даже самому М.: еду в Сталинабад. А про себя думали: значительно, значительно дальше! И насовсем. Вы спрашиваете: почему же, если не по соб-

ственной воле, вы вернулись? Ведь М. уговаривал вас ехать с ним в Москву. Милая Валентина Владимировна! Я ведь — единственная женщина, которая любит вас крепко и по-настоящему. Разрешите потому ответить вам без фокусов. Вы — умная баба, и вы хорошо знаете, как уговаривают, если хотят с вами строить свою жизнь, и, если иначе, как с вами, этой жизни не мыслят. Одно дело, милая Валентина Владимировна, приехав с экспедицией на Памир, закрутить на крыше мира роман с интересной и неглупой женой секретаря обкома. Это и приятно, и пикантно. А совсем другое дело — пускаться с нею в любовное плавание в Москву. Вы достаточно музыкальны, чтобы уловить, что уже в Сталинабаде М. говорил о вашей будущей совместной жизни октавой ниже, чем в Хороге. Конечно, он предлагал вам ехать с ним дальше, как это сделал бы на его месте каждый воспитанный мужчина. Но вы не станете утверждать, будто он очень уж настойчиво пытался переубедить вас, когда вы ему сказали, что вернетесь в Хорог. За что я вас люблю и уважаю, милая Валентина Владимировна, так это за то, что вы умеете в таких случаях не оттягивать неприятного решения. Когда М. проснулся и узнал, что вы уехали одна верхом в Хорог, он наверное хорошо думал о вас в это утро.

И вот опять в Хороге. Вы загнали лошадь, но зато успели до закрытия перевалов. Надо было быть все-таки более предусмотрительной и не затягивать так долго своего пребывания в Сталинабаде...

Пришлось прервать писание, заходил Володя. Я так неловко заслонила собой машинку, что он повертелся по комнате и сейчас же ушел. Наверное подумал, что я пишу письмо М. Как глупо!

Володька, ясно, догадывается о моем романе с М. Он не говорит об этом ни слова, но, когда я вернулась, он с такой радостью и удивлением сказал: «Ты приехала?», что мне

стало ясно: он не ожидал моего возвращения. Я впервые немного смутилась. Он понял и смутился тоже. И сейчас же стал поправляться: «не рассчитывал, что ты успеешь до закрытия перевалов». Больше мы на эту тему не говорили. Он все эти дни очень ласков и все старается меня чем-нибудь развлечь. Он понимает абсолютно все и жалеет меня. Это угнетает меня хуже всего. Если бы он после моего приезда выгнал меня вон, бил бы головой об стену, я или ушла бы от него навсегда, или вернулась бы, выплакалась и просила бы прощения. Но он не говорит ничего. Он будет притворяться, что ничего не знает, как притворялся и в случае с К., и в случае с Ф., и наверное во многих других случаях. Будет лгать и заставлять лгать меня. Потому что я первая никогда с ним об этом не заговарю

Как-то раз, еще в Харькове, он сказал мне, что я — человек свободный, и он не имеет права оказывать никакого давления на мою личную жизнь. Он считает, что этого требует коммунистическая этика, что так должен поступать по отношению к женщине, с которой живет, новый социалистический человек. Может быть, действительно в социалистическом обществе люди будут так жить, не страдая и не ревнуя друг друга. Может быть, действительно между мужчиной и женщиной выработаются другие, особые отношения, — товарищества и дружбы, которые до сих пор бывали только между мужчинами. Все это очень возможно, но это — дело воспитания еще нескольких поколений в совершенно новых условиях, не похожих на те, в которых росли и воспитывались мы. Сегодня еще таких отношений нет и не может быть. И каждому стопроцентному коммунисту, который будет меня уверять, что он любит человека, с которым живет, и что ему безразлично, с кем еще, кроме него, спит и путается этот человек, — я скажу просто: он врет и играет комедию.

Если бы я знала, что Володька не любит меня, как женщину, а просто дружит со мной и не хочет разлучаться, как с близким товарищем, с которым прожил долгие годы, — в этом не было бы ничего удивительного. Но я ведь знаю, что это не так. Я знаю, что он любит меня именно и прежде всего, как женщину. Я не маленькая, чтобы не различать таких вещей. Я знаю, что он любит меня и ревнует, как ревновал бы на его месте каждый нормальный мужчина. Пока я была уверена, что он не догадывается о моих похождениях, врать ему не представляло никакой трудности. Но врать, когда знаешь, что человек догадывается абсолютно обо всем и сам помогает тебе лгать, становится уже глупо и дико.

Я знаю, что Володька слишком честен, чтобы согласиться на такое положение вещей сознательно: он играет комедию не только передо мной, но и перед самим собой. Он создал себе всю эту ультракоммунистическую теорию невмешательства в мою личную жизнь, и хочет убедить себя, что мучается именно во имя этой новой социалистической этики. Страдания, которые вызывает в нем ревность, окупаются для него сознанием, что он поступает благородно и по-коммунистически. Если бы кто-нибудь сказал ему: «Ты терпишь все это только потому, что боишься ее потерять, боишься, что не сможешь больше обладать ею», — он наверное назвал бы его пошляком.

И он подсознательно, но хорошо рассчитал. Первые годы после того, как я перестала его любить, его невмешательство и молчание было мне просто удобно. И я не думала уходить от него. Теперь, когда я знаю, что он давно догадывается обо всем, обманывать его становится с каждым днем неприятнее и труднее. Но в тридцать три года бросать все и начинать новую жизнь можно только, если встретится уж очень большая любовь. Инерция прожитых лет приковывает к месту.

Вот и остались мы опять вдвоем, отрезанные от мира на восемь месяцев снеговыми перевалами, — честный, образцовый коммунист и его беспутная жена, — играть длинными зимними вечерами, я — верную, никогда не изменявшую ему подругу, он — благородного социалистического мужа, выкорчевавшего из своего сознания буржуазные пережитки мужского собственничества и плотской ревности.

Покойной ночи, Валентина Владимировна!»

В четвертом часу утра настойчивый стук в дверь разбудил Комаренко. Уполномоченный натянул сапоги и, накинув халат, пошел отпереть. На пороге стоял Сеницын.

— Можно к тебе? Я тебя разбудил?

— Заходи, заходи. Пройди прямо в кабинет. Зажги там электричество. Я малость приоденусь и сейчас приду. Где ж это ты так запылцлся? Пешком шел, что ли?

— Да, пешком. Хотел немного пройтись.

— Хорошенькое немного! Ну, заходи, я сию минуту.

Через минуту он действительно появился, застегивая китель.

— Ты меня извини, что я так ночью... — пробовал улыбнуться Сеницын. — Мне с тобой поговорить надо.

— Садись. На, закуривай, слушаю.

— Понимаешь, я пришел к тебе дать показание... Я убил человека.

— Кого это? Когда?

— Жену убил.

Уполномоченный внимательно посмотрел на Сеницына.

— Что это, ты бредишь? Плохо себя чувствуешь? Так бы сразу и сказал. Подожди, я тебе сейчас вскипачу чайку, с коньяком, а? Попросим жинку, она это мигом.

— Спасибо, я не продрог. Пить не буду. Станный ты человек, Федор. Разве убийство должно быть обязательно собственноручным? Ведь я-то знаю, что ее убил. А сказать об этом — не поверят. Вот потому и пришел к

тебе. Понимаешь, рассказывать тут трудно. Расскажу, — может, не поймешь. На, прочти вот это, — он протянул густо исписанный лист.

Комаренко внимательно прочел листок и вернул его Сеницыну.

— Ну, вот, видишь, — Сеницын сушил лист в карман. — Что мне делать, а? Понимаешь, не к кому обратиться. Пришел к тебе за советом.

— Преувеличиваешь ты, брат, здорово. А впрочем тебе видней. Дело конечно сложное. В этой области у нас контрольная комиссия не работает. Тут тебе самому надо.

— Что самому?

— Самому разобраться. У кого из нас старья этого самого нет? Гонишь его в дверь, оно в окно лезет. Кулак с тех пор, как подрубили корни, даже облик старый потерял, в колхозы пролез, стопроцентным строителем социализма прикинулся. Поди его разоблачи! То же самое, брат, и наш внутренний кулак, нутро наше старое. Только разоблачить его еще труднее. Кажется тебе, вытравил его уже каленым железом, а он в подсознании где-нибудь сидит, переодевается. А высушет голову — не узнаешь. Под такую тебе социалистическую идею загримируется, что поди, различи. Тут, брат, каждый — сам себе контрольная комиссия.

— Но ведь я же человека убил, ты это понимаешь?

— Ну, это ты загибаешь. Нервы у тебя разгулялись. Никого ты не убивал, а просто чувствуешь себя виноватым. Чего ж тебе надо? Чтобы тебя другие наказывали? В роде как отпущение грехов? Наложили епитимию: отработал — и чист? Тут, брат, самому поработать над собой нужно. Только без истерики, а спокойно, по-большевистски. Что ж я тебе сказать еще могу?

— Да, конечно, что ж ты мне можешь сказать? Самому надо... Ну, спасибо и на этом.

— Подожди, чай сейчас будет. Не валяй дурака! Никуда тебя не отпущу. Попьешь чайку, отогреешься, потом подвезу тебя на машине.

— Нет, не надо, спасибо. Пройдусь. Ну, как это ты говоришь? Дай бог всякому!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лестница, по которой он подымался, была узкая, деревянная, с почерневшими перилами и стоптанными ступеньками, — такие бывают только в очень старых домах. Зажженные через этаж газовые рожки еле освещали каждую четвертую площадку. Отец жил на последнем этаже, на четвертом или пятом, — он не мог хорошо припомнить. Впрочем весь дом, кажется, пятиэтажный. Между тем он прошел уже минимум восемь этажей, а конца все еще не было. Напрасно он не считал площадок. Во всяком случае теперь уже недалеко. Однако он поднялся еще на четыре этажа, а лестница и не думала кончаться. Он остановился передохнуть. Может быть, спутал дом? Все равно в этом квартале не бывает домов выше пяти этажей. Он поднялся еще на три этажа и остановился запыхавшийся и усталый. Лучше всего спуститься вниз и узнать толком.

Двумя этажами выше внятно слышны чьи-то шаги. Кто-то медленно поднимается по лестнице, шлепая туфлями. Слышно отсюда тяжелое, свистящее дыхание. Должно быть, какой-нибудь старик или старуха. Надо догнать и спросить. Перепрыгивая через несколько ступенек, он пробегал еще три этажа. Медленные старческие шаги слышались попрежнему двумя этажами выше. «Что за чорт! Задача об Ахилле и черепахе?» Набрал жадно воздуха, он опять метнулся вверх, тяжело дыша и отсчитывая в уме этажи: один! два! три! четыре! пять! Шаги остановились. Еще две, восемь, двадцать, тридцать две ступеньки. Вот он наконец!

На повороте следующего этажа стоял дряблый старик в выцветшем халате, перехваченном в талии шпагатом. Старик держал зажженную свечу. Он стоял, тяжело дыша, облокотившись на перила. Воздух в его глотке свистел и храпел, как в трубах органа.

«Неужели я так долго не мог нагнать этого старого хрыча?!»

— Будьте добры, вы не сможете мне сказать, сколько этажей в этом доме?

Старик смотрел тупыми глазами, не отвечая, и продолжал сопеть. Потом, откашлявшись, медленно стал подниматься вверх, дрожащей рукой цепляясь за перила.

«Наверное глухой, надо громче, в самое ухо».

— Сколько этажей в этом доме?! Вы слышите?

Старик безмятежно продолжал свой путь. Только в глазах — две насмешливых искорки.

«Издевается, собака! А ну-ка, потрясем его за грудки!»

— Вы ответите?!

Старик сделал гримасу и показал язык.

«Ах, ты, старая перечница! Я тебя заставляю отвечать по-человечески! А о стенку не хочешь? Вот так! И вот так!»

— Ну! Отвечай, когда спрашивают, старая плесень!

Он схватил старика за подбородок и изо всех сил стукнул затылком о стенку. Свеча выпала и покатилась вниз. Старик присел и соскользнул на пол площадки.

«Вот тебе на! Хорошее дело! Кажется, я его кокнул».

Он нагнулся над стариком и стал тормошить, сгибая и разгибая его руки, как при искусственном дыхании. Глаза старика остеклянели. «Зеркальце. Надо посмотреть дыхание». Зеркальце, приложенное ко рту старика, осталось безукоризненно чистым. «Крышка. Вот тебе история! Надо поскорее смываться, пока никого нет».

Он опрометью кинулся вниз и вдруг двумя этажами ниже налетел на какую-то подымавшуюся женщину.

— Виноват!

Женщина подозрительно поднесла к его лицу зажженную спичку.

— Вам тут чего надо?

— Здесь живет профессор Булькингтон? — он залпом бросил первую подвернувшуюся на язык фамилию и, уверенный в отрицательном ответе, опустил уже ногу на следующую ступеньку.

— Профессор Булькингтон живет двумя этажами выше. Ступайте за мной, я вам покажу.

«Вот так штука! Оказывается, существует какой-то профессор Булькингтон и даже живет в этом доме!» Он ощутил на лбу холодный пот.

— Очень вам благодарен, но мне надо еще сойти вниз к швейцару, я оставил у него пакет. («Какой пакет? Что я говорю?»)

— Вниз вы по этой лестнице не сойдете, она до третьего этажа разобрана для ремонта. Как вы вообще попали на эту лестницу?

— Я... я был тут у знакомых, как-раз на третьем этаже. («Лестница разобрана? Как я вообще сюда попал?»)

— Ступайте за мной, я вам покажу, где живет профессор Булькингтон. Через его квартиру сможете пройти на парадную лестницу и там спуститесь вниз.

— Да, да... Большое спасибо.

Она стала подниматься вверх. Он поспешно следовал за ней. Миновали один этаж, на площадке следующего лежал мертвый старик. «С этого поворота его будет видно, нельзя медлить ни минуты...» Он нащупал в кармане большой ключ от калитки. «Сто двадцать один. (Как на фронте, когда бросали гранату...) Сто двадцать два. Сто двадцать три...»

Женщина издала короткий куриный писк. Рванув ее к себе левой рукой за узелок волос, он с размаху долбанул ключом в темя. Еще раз и еще. Хватит. «Теперь старика и бабу вниз! Подумают — не разглядели, что лестница разобрана, и сорвались с третьего этажа».

Он двумя прыжками поднялся на следующую площадку. Тела старика на площадке не было.

Все ступеньки задвигались под ногами, как клавиши. Он шарахнулся, оступился и полетел вниз с оглушительным грохотом, словно провели палкой по клавиатуре рояля, начиная с низких тонов, кончая самыми высокими и пронзительными...

...Узенькая улочка карабкалась вверх между домов с ажурными ставнями.

Ставни были французские. Такие улочки бывают на Верхнем Монмартре. Расстояние между домами постепенно суживалось. Уличка упиралась в небо, закупоренная огромным круглым солнцем. Вытаращенный глаз солнца смотрел, не мигая, в подзорную трубу улицы.

Бежать вверх было трудно, ноги заплетались на неровных булыжниках. Сзади внятно верещали свистки и гремел дробный топот ног. «Только бы добежать до перекрестка! Нет, кажется, не добегу. Ну, ну, еще немного. Уф! Не добегу. Пропал!» Вверху, на первом этаже, окно открыто настежь. «Если руки выдержат, проскочу».

Последним усилием он уцепился за открытую ставню, вскочил на подоконник и прыгнул в комнату. Ставни за спиной захлопнулись автоматически.

В комнате — полумрак. На столе в двух пятисвечных канделябрах горели свечи. За столом сидели три господина: один — совершенно седой, два — помоложе. Одно кресло было свободно, шведское кресло с высокой деревянной спинкой («такие, как у Свенсонов в Орегоне»).

— Пожалуйста, — сказал седой господин, указывая свободное кресло.

«Где я видел этого седоватого с черными усами? Кажется, он продавал мне перчатки на 7-м авеню».

Господин с белой бородой, подстриженной клином, сдал карты. У правого канделябра топорщилась груда кредиток. «Что это за игра? Надо посмотреть, как они будут ходить. Пойдем с девятки». На руках остались десятка и король пик. «С чего ходить? Есть ли у меня вообще деньги? Пойду с десятки».

Господин с седой бородой собрал карты и подвинул кипу кредиток. «Неужели это все я выиграл?»

Седой господин сдал карты «С чего мне ходить сейчас? С дамы бубен или с семерки? Пойду с дамы.. Оказывается, опять выиграл. И это все мое?» Груда кредиток заняла четверть стола. «Теперь, пока не поздно, надо уйти».

— Вы меня извините, господа...

Он быстро стал закидывать кредитки в карманы пиджака. Невозможно уместить. Кредитки топорщатся и лезут из всех карманов. Он расгерянно оглянулся. Матовый лакей в фиолетовом фраке протягивал ему небольшой чемодан.

— Разрешите?

Туго набитый кредитками чемодан не закрывался.

— Подождите, вот так, коленом.

— Прикажете отнести?

— Нет, спасибо, я сам.

Лакей сгибается в почтительном поклоне:

— Мисс Изабелл ждет у себя в павильоне...

... Длинная амфилада комнат выводит на террасу, уступами сплывающую в парк. Стволы деревьев серебряные, как березы, заканчиваются большими разноцветными зонтиками. По ту сторону палисадника — широкая, усыпанная гравием дорога на Кливеланд.

От белой виллы, такой белой, что почти голубой, отделяется черный крытый автомобиль, оставляя за собой тонкую тесьму бензина.

— Мисс Изабелл? Только-что изволили уехать.

«Скорее, добежать, пока не выехали на главное шоссе! Если бы был револьвер, можно было бы продыривить шину...»

Выстрел.

«Что это? Ах, да, это лопнула шина. Еще максимум триста шагов. Ну, наконец! Как открывается эта дверца? Нажать вправо...»

Автомобиль был пуст. Нет, не пуст. В углу сидел длинный, пожилой господин в черном сюртуке и цилиндре. Господин вынул часы:

— Вы опять опоздали на пять минут. Садитесь.

Автомобиль, покачиваясь, несется вдоль шоссе. Справа и слева бегут дома, сталкиваясь на ходу буферами. Машина дает гудок и останавливается. Господин в цилиндре открывает дверцу и первым входит в небольшой оранжевый дом.

— Сюда. Внизу подождете.

Небольшой холл с широкой резной лестницей. У дверей, ведущих на улицу,

два пестрых, как попугаи, солдата с обнаженными палашами. Арестован...

В комнате наверху, оклеенной зелеными обоями, куда ввели его два солдата, стоял большой игорный стол. За столом, в шведских креслах с высокими деревянными спинками («такие, как у Свенсонов в Орегоне») сидели три господина. Посередине — длинный господин в сюртуке, надевший на голову вместо цилиндра высокий черный колпак. По бокам — два толстяка: один — рыжий, в очках, другой — с длинной шевелюрой и артистическим галстуком, похожий на учителя музыки. Длинный господин вытащил из кармана никелированную монету и подбросил ее в руке.

— Орел — виновен, решка — не виновен.

Оба толстяка склонили головы в знак одобрения. Учитель музыки подмигнул левым глазом. Длинный господин подбросил монету. Монета покатила по столу. Рыжий прихлопнул ее ладонью. Все трое наклонились над монетой.

— Орел, — сказал учитель музыки и подмигнул левым глазом.

Цепкие ладони солдат затяжелели на плечах, как генеральские эполеты («покупали ребятами с Джеком у кривого торговца игрушками, золотые с бахромой...»).

Длинный, сырой коридор, откуда-то знакомый, Голая камера. Нары. Закрывают дверь.

— Хотите пастора?

«Пастора? Зачем? Ах, да, смертникам — всегда пастора. Пусть будет пастор».

В зарешеченное окно виден двор какого-то жилого дома с балконами. На балконах сушится белье...

— Торопитесь, пастор ждет.

Лицо пастора в полумраке блестит стеклышками очков. «Ведь это же отец Джени! Очевидно, меня не узнает. Тем лучше». Пастор вынимает из кармана требник:

— Сын мой, повторяй за мной слова господина нашего:

Птичка клетка попугай
На трамвае кнопка
Хих-хип хоп-хоп
Реверендус бегемот аминь.

Пастор сует в карман требник, наклоняется и шепчет на ухо:

— Есть девочка. Деликатес! — он смачно прищелкивает пальцами, и лицо его расплывается в похабной улыбке. — Пять долларов. Даром. Администрация разрешает приговоренным прежде, чем — фьют! — он проводит рукой по шее, — немножко того... — он делает скабрезный жест. — Маленькое удовольствие и полная тайна. Не разболтают, хе-хе! Пять долларов, меньше никак. Жалованье священника, сам знаешь... семья, жена, дети... Деликатес! Мигом...

Дверь закрывается.

«Эта свинья вытащила у меня из кармана пять долларов. В конце концов — пусть. Все равно.»

Дверь открывается опять. В камеру проскальзывает женщина, закутанная в платок. Женщина отворачивается и начинает в углу стаскивать платье.

— За пять долларов — три минуты! Каждые следующие три минуты — пятьдесят процентов надбавки, — кричит в щелку пастор голосом деловитой телефонистки.

Женщина сбросила платье и повернулась лицом: «Дженни! Продажная шляха! За пять долларов!..»

... Белая прямоугольная комната. Столик. Плетеное кресло. Окно. За окном — большой двор с квадратным водоемом. Облезлая верблюдица кормит маленького сутулого верблюжонка. На глинобитном возвышении над водоемом два перса или турка в чамахах и пестрых халатах играют в кости.

Острая боль в голове. «Кажется, я только-что был в камере...»

Верблюжонок перестал сосать и чешет себе бок, отираясь о ногу матери, как о телеграфный столб. Два черномазых перса кидают кости. «Кто это сегодня кидал кости? Нет, не кости, а монету. Орел или решка. Было ли это действительно, или мне приснилось? Где я вообще нахожусь? Что я здесь делаю?»

Он поднял к глазам правую руку, распрямил и сжал пальцы, сделал кистью несколько движений. «Нет, я не сплю. Я лежу на кровати, но где?»

Он пытался вспомнить, но припомнить ничего не мог. Растерянная память прыгала, как шарик, по вращающемуся рулеточному диску географических долгот и широт, не находя знакомой перегородки. Мысли дутались и скользили на разбросанных то тут, то там, как банановые корки, обрывках воспоминаний. Тупая, ноющая боль в голове заставила закрыть глаза. Открыв их опять, он увидел над собой тот же голубой потолок. Он подумал с тоской, что забыл все, что ничего никогда не вспомнит. Ему стало страшно. Он смотрел расширенными глазами на потолок, словно в рисунке фанерной решетки, разрезавшей его на квадраты, притаилось неуловимое воспоминание, но потолок был незнакомый.

«Может быть, я умер? Но ведь мертвые не ощущают боли? И потом я ведь могу двигаться. А может быть, я сошел с ума? Душевнобольные теряют память. Комната похожа на больничную. Только окно не зарешечено. Но ведь за решеткой держат только буйных». Он почувствовал холод в кончиках рук и ног. «Но ведь сумасшедшие не отдают себе отчета в своем положении. Хотя нет, в моменты просветления...»

Ему хотелось вскочить и кричать, но большим усилием воли он заставил себя неподвижно лежать на постели. «Только не буянить! Тогда обязательно посадят за решетку. Если я даже сошел с ума, то уже самый факт, что я сейчас мыслю об этом совершенно отчетливо и вполне владею собой, свидетельствует о близком выздоровлении. Не надо переутомлять мозг. Попробуем понемножку связать концы. Установить основные отправные точки. Что сейчас: зима или лето? Утро или вечер? Кто я такой? Как меня звать? По крайней мере какой я национальности?» Он повторил последнюю фразу вслух и от волнения присел на постели.

— Я — американец!

Сильная боль в голове заставила опять опуститься на подушку. Он закрыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, повторяя шопотом: «Я — американец, я — американец», как бы опасаясь забыть это открытие. Земной

шар, вращаемый в воображении, остановился, повернувшись к нему лицом Северо-Американских Соединенных Штатов.

Что сейчас? Зима? Лето? Осень?

Он бросил взгляд в окно, увидел верблюда, двух игроков в кости в экзотических чалмах и зажмурился. «Нет, повидимому, я еще не совсем здоров. Почему мне мерещатся эти персы и верблюды? Я — американец. Не надо смотреть в окно. Если смогу постепенно все вспомнить, это марево за окном исчезнет».

Он попытался представить, как выглядит его родина, Америка. Вспомнил узенькую улочку, карабкающуюся вверх, и трехэтажные домики с ажурными ставнями. «Играли в карты. Выиграл много денег. Или мне это тоже снилось? Не надо перебивать!»

Он увидел усыпанную гравием дорожку и белую виллу, такую белую, что почти голубую. «Мисс Изабелл ждет у себя в павильоне...»

«...Вытряхивайтесь» — говорит Фред Риви. Все вылезают из машины. Фред идет через большой холл, прямо в парк. Деревья в парке подстрижены, как настоящие зонтики. У входа в павильон ждуг девушки (десять, больше?). Среди парней — Рыжий Питерс (ах, и он здесь?). Фред Риви делает шутовской церемонный реверанс: «Разрешите представить: наш несравненный чемпион плавания и лауреат Джимми Кларк». («Джимми Кларк! Меня зовут Джимми Кларк! Неужели я мог забыть?») «Тот самый, который обштопал сегодня Рыжего Питерса».

Меня окружают. Рыжего Пигерса выталкивают вперед. Изабелл велит: «Пожмите друг другу руки». Питерс смотрит исподлобья, но покоряется. Мы жмем друг другу руки так, что хрустит. Все кричат. Девушки хлопают в ладоши. Приносят бокалы. Все чокаются и пьют. Девушки пьют, закидывая головы и жмуря глаза, как птицы.

Идем к столам. Столы заставлены всякой всячиной. Я — на почетном месте. По правую руку — Изабелл, рядом с ней — долговязый верзила, потом Рыжий Питерс. По левую руку, между

мною и Гертруд Ситтон, — короткий Фергусон. Изабелл подливает вина. Долговязый подымается: его где-то ждут. Изабелл идет провожать.

Короткий Фергусон жрет, как свинья. Он один с'ел почти все, что было на этом конце стола. «Не жри!» Фергусон с полным ртом: «Не толкайся, не твое». И, глотая остаток пулярки: «Эти Адамсы — настоящие буржуи. Если бы я приходил сюда каждый день в течение месяца и сжирал один все, что они выставили на этот стол, я лопну, а они даже не заметят ущерба. От одного этого сознания можно повеситься. Подвинь-ка мне вон ту тарелку с фазаном. Не хочешь, не надо, сам возьму». Фергусон говорит с нескрываемым презрением: «Ты бы сам лучше кушал, а то хлещешь вино и жрешь только глазами Изабелл Адамс. Все равно не доплунешь. Она крутит любовь с этим долговязым богачом. Ты ей нужен, как собаке пятая нога».

Действительно немного шумит в голове. Это я, кажется, опрокинул стул. И вообще ноги почему-то подгибаются подо мной, как резиновые... Все разбредаются по парку. Длинная аллея. Я крепко прижимаю к себе плечо Изабелл: «Мы встречались уже раньше, только вы меня не помните. Но я запомнил вас хорошо. Я счастлив, что наконец с вами познакомился. Я люблю вас одну и никого больше». Как это все складно у меня выходит. Я ведь никогда еще не говорил о таких вещах с девушками ее круга. И потом, еще вчера я вовсе не думал об Изабелл, и она никогда мне особенно не нравилась. Как она здорово целуется! Ее губы пахнут шоколадом. Хорошо бы подцепить в жены такую аппетитную девочку. Изабелл с характером, наверное уговорила бы Адамса дать согласие на брак. Это был бы номер! Джек и Лиэм сошли бы с ума от зависти.

«Правда ли, что вы крутите любовь с этим долговязым?» Она смеется. Опять на какой-то лавочке. Я целую ее губы. «Теперь, когда я выдержал хорошо экзамены и кончил университет, вы не кажетесь мне больше такой недосягаемой. Я конечно понимаю — у меня

нет денег, но они будут. Вы напрасно смеетесь. Я не буду вовсе инженером, как все инженеры. Я буду изобретателем. У меня уже есть кое-какие идеи. Когда я их реализую, я заработаю много денег и тогда приду просить вашей руки. Нужно только, чтобы вы обязательно подождали — ну, год-полтора — и не выходили замуж».

Она смеется: «Мы уезжаем с папой на год в Европу. Можете быть спокойны, — я выйду замуж только за американца».

Я целую ее шею и грудь. Откуда вернулся этот Фред Риви? «Пора убраться во-свояси. Короткий Фергусон упился встелку. Надо будет отвезти его домой. Девушки устали и уже поздно». Какая досада! «Давай останемся еще немного». Фред неумолим. Надо проститься и ехать. Ах, почему у меня нет своей машины!

Мы укладываем на сиденье пьяного Фергусона. Я сажусь у руля рядом с Фредом. Шумит в голове. С неба летят маленькие звезды, или, может быть, это снег? Хотя нет, сейчас — лето. Фред, должно быть, тоже немного пьян, — машина идет по шоссе зигзагами, и телеграфные столбы перед самым носом автомобиля кланяются и поднимаются, как шлагбаумы...

А потом? Что потом? Только бы не потерять нити! Дыра. Ничего. Нет! Потом был сырой длинный коридор. Или я это видел в каком-то фильме? Нет, потом была камера, и пастор достал из кармана тревник:

Птичка клетка попугай
На трамвае кнопка.

Нет, это не то! Потом Дженни отвернулась в угол и стала стягивать платье: — Не смотри на меня. Я сейчас приду.

...Она пришла на постель совсем голая и теплая... Мы лежим усталые, тесно прижавшись друг к другу. Она кладет мне голову на грудь и прячет лицо: «Знаешь, Джимм, я очень боюсь, мне кажется, я забеременела». Вот так история! «Не надо разводить паники. Может быть, тебе только показалось? Ведь не прошло еще двух недель с тех

пор, как мы сошлись впервые. Давай подождем еще немного, чтобы убедиться наверняка». Дженни плачет. Я глажу ее по лицу. «Не бойся, я не такой и одну тебя не оставлю». Она одевается и уходит.

Как же все это случилось? И как все это некстати. Если б об этом узнала Изабелла! Но Изабелла ничего не узнает. Надо будет перевестись в другой штат. Все это ужасно глупо. Как я смогу объяснить свой отъезд перед фирмой? В конце концов есть же какие-то средства, которые помогают. Только как с этим устроиться в этой проклятой дыре, чтобы не вышло скандала? На кой чорт мне надо было связываться с этой девушкой! Зачем мы ходили тогда к реке? Был такой розовый день и пахла трава. На ней было тонкое платье. И ее обтянутые маленькие груди. А я так давно не имел женщины. И она совсем, совсем не защищалась. Если бы она защищалась, я наверное не стал бы настаивать. Шлюха! Действительно, почему она не защищалась?..

А потом?.. Да, да, я получил от Дженни билетик. Она просит зайти к ним обедать в воскресенье после обедни. Родители удивляются, почему в последнее время я стал так редко заходить. Мы обедаем вшестером: отец Дженни, мать, сама Дженни, я, господин и госпожа Свенсоны. Господин Свенсон все твердит, что отец Дженни произнес сегодня изумительную проповедь: «Очень жаль, что вы не были в церкви и не слышали». Госпожа Свенсон подтверждает: «Я наплакалась так, что глаза у меня будут болеть до следующего воскресенья. Но искренний плач приносит нам облегчение и делает нас возвышеннее и чище».

После обеда все переходят в гостиную. Пастор берет меня под руку: «Пройдемте в кабинет, поговорим на свободе о некоторых вопросах». Пастор закрывает дверь: «Дженни созналась мне во всем. Бог сурово покарает вас за то, что вы посмели так низко обидеть невинную девушку».

Я краснею, как последний идиот! «Вы незаслуженно считаете меня негодяем. Я отдаю себе отчет в своих обя-

занностях и сумею исправить мой поступок». Пастор жмет мне руку: «Я ни минуты не сомневался, что, как джентльмен, вы ответите именно так». Он целует меня в лоб. «Сын мой, да простит тебя всевышний!» Мы возвращаемся в гостиную. Пастор объявляет Свенсонам: «Мистер Кларк уже давно просил руку Дженни. Хотя они обручены, было решено не сообщать об этом никому, пока мистер Кларк не получит разрешения от своих родителей. Теперь, когда он получил отцовское благословение, дети смогут наконец повенчаться».

Господин Свенсон крепко жмет мою руку: «Поздравляю от всей души. Вы должны быть счастливы, что на вашу долю выпало сорвать такой восхитительный полевой цветок». Пастор еще раз целует меня в лоб и шепчет, подымая глаза к небу: «Да простит мне господь ложь, которой пришлось искупить ваш проступок». Нас заставляют поцеловаться с Дженни при всех. Господин Свенсон умиляется: «Как это невинное дитя очаровательно краснеет! Видели ли вы когда-нибудь, мистер Кларк, чтобы так краснели эти ученые девушки в Нью-Йорке?»

Мы — в церкви. Дженни в белом платье и в миртовом венке, как облаком, скутанная фатой. Господин Свенсон урывает: «Она похожа на ангела».

Как все это быстро случилось! Когда они вообще успели все подготовить? Выходит, я уже женат. — А Изабелл? А длинные шуршащие автомобили? А бело-голубые виллы? Как там все незаурядно! А ведь я туда никогда уже не смогу подняться. Ну, и что ж? В конце концов все это внешнее, не это выделяет незаурядного человека из серой массы заурядных. Если что дает нам подлинное право считать себя выше других, то это именно внутреннее благородство. А это внутреннее благородство, не состоит ли оно прежде всего в том, чтобы мужественно принимать последствия каждого своего поступка? Посредственные люди никогда на это неспособны. Потому они всегда стараются увильнуть от последствий...

А потом?.. Потом — квартира с голубыми обоями. Дженни хворает. Нужно

много денег. По вечерам, дома — разработка проектов. Дженни родила ребенка. А ведь прошло всего шесть месяцев? Ребенок нормален, весит пять кило. Мать Дженни уверяет: «Преждевременные роды. Это бывает, но редко бывает удачно. Только потому, что Дженни — очень здоровая девушка, из здоровой и нравственной семьи, все прошло так благополучно. Поблагодарите бога, что у вас родился такой красивый сын».

Все это, по меньшей мере, странно. Теперь нужно еще больше денег. Три месяца спустя ребенок умер. Дженни плачет. Неужели мне его совсем не жалко? Нет, я никогда по-настоящему не смог бы полюбить этого ребенка.

Потом — в штате Калифорния: Дженни хворает. Опять нужно много денег. Родился ребенок. У Дженни пропало молоко. Надо взять кормилицу и послать Дженни на курорт. По ночам — над проектами. За проекты платят гроши.

Неприятности на работе. Они считают, что я задираю нос, и в отместку делают мне всякие пакости. Какие заурядные натуры! Они довольны своим положением и лишены каких-либо стремлений. По вечерам они собираются, пьют виски и играют в покер. Они ненавидят меня за то, что я избегаю их общества. Они не могут понять, что я — им не ровня: эту мизерную жизнь я вынужден делить с ними временно. Никто из них не подозревает, что в ящике письменного стола у меня лежит проект сверхмощного канавокопателя, типа Грейдер-элеватор, не законченный с университетских времен. Своей трудоемкостью и быстротой он разобьет наголову все употребляющиеся до сих пор канавокопатели. Из-за этих проклятых вечерних работ все нехватает времени додумать кое-какие детали. Стоит лишь немного разгрузиться, разработать до конца и реализовать мое изобретение, и я сразу стану богатым человеком, вырвусь из этого болотца. Не надо обращать внимания на их мелкие пакости. Посредственные натуры испокон веков терпеть не могут

тех, чье превосходство над собой ощущают инстинктивно. Однако эти вечные дразги порядочно дергают и затрудняют работу.

Потом... Эти сволочи подложили мне такую свинью, что оставаться было невозможно.

В штате Аризона — условия работы значительно хуже. Дженни брюзжит: «Пора тебе выучиться жить и срабатываться с людьми. Подумаешь, какой неоткрытый гений! Посмотри, как живут все люди, и поучись у них. Они работают вдвое меньше, чем ты, а их женам никогда не приходится считать каждый цент».

Дженни завела уже со всеми знакомство. Она не даст мне покоя, пока я не схожу с официальными визитами ко всем новым начальникам и коллегам. По правде говоря, что мне стоит выучиться играть в покер? Все это ведь временно (стоит лишь выкроить несколько вечеров и доработать проект).

Родился еще один ребенок. Дженни опять хворает. Откуда брать денег?

Потом... На работу приехала инспекция. Во главе — заместитель директора компании господин Джон Питерс. Пришли на участок. Это и есть заместитель директора? Да ведь это же Рыжий Питерс! Он не узнает меня. Или не хочет узнать? Напомнить? Рыжий Питерс сухо приказывает: «Проведите меня по участку».

Как он мало изменился! И как он великолепно одет! Ничто в его костюме не бросается в глаза, а все исключительного, неповторимого качества. Так одеваются настоящие джентльмены. Неужели он даже не поблагодарит меня за то, что я обошел с ним весь участок? Питерс сидит в ожидающий его ослепительный «шевроле». Не изволил подать мне руки.

Инженеры вечером за покером только и говорят, что о блестящей карьере Питерса. «Он пошел в гору особенно с тех пор, как старый Адамс выдал за него свою единственную дочь. Бьюсь о заклад, что до будущего года у старого Адамса будет в руках большая часть акций, и Питерсу, как пить дать, быть директором».

Для них Питерс — недостижимая мечта. Рассказать им, что Рыжий Питерс — мой коллега по университету и что на состязании выпускников по плаванию я обштопал его на шесть метров? Нет, лучше не рассказывать. Все ведь видели, что он не подал мне даже руки.

Дома. Прежде всего надо отказаться от этих проклятых вечерних работ. Разобраться в проекте канавокопателя, проверить вычисления. Рыжий Питерс путался всегда при вычислении бесконечно малых, и все в университете считали его последним олухом. Завтра же надо выкинуть из моей комнаты эти тумбочки с цветами. Притащить небольшой станок. И никакого покера! Кончилось!

По вечерам — в своей комнате. Максимум месяц работы, и проект будет доведен до конца. За обедом Дженни с глазами, устремленными в тарелку: «До конца месяца у нас нехватит денег. Не знаю, чем буду кормить тебя и детей. Все инженеры уже начинают над тобой посмеиваться. Наверное нам опять придется убраться отсюда, как тогда из Калифорнии. Только на этот раз уже неизвестно куда».

«Действительно, как это я посмел отказать от вечерних работ! Я только и ждал, когда ты об этом заговоришь. На этот раз по-твоему не будет, заруби себе на носу! Ты не заставишь меня проворонить всю жизнь! Достаточно долго я работал на тебя, как лошадь. Если я кому обязан тем, что до сих пор не выбился в люди, то это именно тебе. Ты опутала меня с самого начала вместе со своим папашей и, использовав мое благородство, заставила на себе жениться, состряпав с кем-то до меня ребеночка».

Дженни: «Ты — просто хам!»

Истерика.

Не буду больше выходить к столу, буду обедать у себя в комнате.

На третий день: все-таки я поступил по-хамски. Надо пройти к Дженни и извиниться за грубость: «Ты должна понять, когда я кончу свое изобретение, у нас будет сразу много денег, и мы начнем жить по-человечески. Ради этого

можно немножко потерпеть и отказать себе кое в чем».

Инженеры на участке изошряются по моему адресу в колких насмешках: «Наш изобретатель!» Язвительно хихикают за спиной. Посмотрим, кто еще будет смеяться последним.

Модель готова, выдержала все необходимые испытания. Главный инженер, проходясь, говорит Дженни: «У вашего мужа исключительная голова. Он делает карьеру». Дженни краснеет, как тогда, когда нас заставили в первый раз поцеловаться при людях: «Я очень рада!»

Двухнедельный отпуск, чтобы лично съездить в Нью-Йорк и реализовать изобретение в управлении компании. Перед отъездом — ужин. Много инженеров и много вина. Все пьют за здоровье «нашего изобретателя».

В Нью-Йорке. Патент в кармане. Надо купить приличный портфель. Отыскал правление компании. «Доложите, пожалуйста, самому директору. Невозможно? Почему невозможно?» Вот олухи! «Сдайте папку в бюро проектов. Вам незачем ждать в Нью-Йорке. Через месяц, самое большее — через два получите ответ». Ничего не поделаешь, проект придется сдать, но уехать без ответа — ни за что!

«Попросите по крайней мере, чтобы ускорили рассмотрение».

Ежедневно один ответ: «Заходите через неделю, ничего нельзя сделать, очередь не дошла еще до вашего проекта». Телеграмма в Аризону: «Задержусь неделю. Кларк».

К концу третьей недели: «Пройдите к заведующему бюро проектов». Заведующий, на носу бородавка: «Ваш проект отклонен господином Питерсом как несвоевременный. Весь рынок завален хлопком и пшеницей. Компании приходится суживать старые оросительные сети, а не копать новые». Папка с проектом не влезает в портфель. Влезла. «Не в эту дверь. Выход налево». Рыжий Питерс наверное узнал на проекте мою фамилию и в отместку решил подставить мне ножку...

В другой крупной компании. Обещали ответить через неделю. Телеграмма в

Аризону: «Задержусь еще на неделю. Кларк». Через две с половиной недели: «Проект отклонен как несвоевременный».

В третьей компании. Проект держат всего неделю. Ответили отказом.

В четвертой компании. Седой господин в очках, передавая папку: «Не занимайтесь неактуальными глупостями. Раз вы такой изобретатель, изобретите лучше способ, куда девать хлопок и пшеницу».

В пятой компании. Бюро проектов ликвидировано, и никаких новых изобретений компания не покупает. «Возьмите для просмотра, я продам за очень небольшую сумму». Вечером — телеграмма от Дженни:

«В виду неявки к сроку уволили с работы. Как быть дальше? Сижу совершенно без денег».

Вечером — длинные улицы. Из какого-то заведения выходят пьяные люди. Зайду. «Дайте стаканчик виски». Еще один. Это, кажется, третий. Чего от меня хочет этот субъект? Протертый котелок, пиджак, твердый воротничок с галстуком, но без рубашки, — вместо рубашки к жилету приколот булавками лист белой бумаги. Субъект в котелке деловито: «Поставьте стаканчик виски». Забавный тип. «Дайте ему виски, я заплачу». После четвертого стаканчика субъект в котелке: «Чорт побери, если вы принимаете меня, сударь, за простого пройдоху, то вы глубоко ошибаетесь. Я — не пройдоху, а инженер. Да, да, нечего тарашить глаза! Если б я в прошлом месяце не продал за пять долларов свой диплом, я мог бы вам его сейчас показать. К тому же я не такой инженер, как все другие инженеры, а инженер-изобретатель. Вся беда в том, мне нехватает некоторой суммы денег, чтобы закончить свое изобретение. Но я обязательно достану деньги и закончу. Тогда я наконец выйду в люди, и вся эта шантрапа увидит, кто я такой! Если вы, сударь, не филистер, а человек с головой, и если у вас есть немного денег, одолжите их мне, а тогда — шут с вами! — мы поделимся пополам доходами от реализации изобретения... Подождите, куда вы?

Надо заплатить за виски! И потом, я ведь еще не рассказал вам даже, в чем состоит мое изобретение. Я изобрел замечательный...»

На улице холодный ветер. Я, кажется, вырываясь от этого сумасшедшего, уронил шляпу. Все равно.

Две недели в поисках какой-либо работы. Возвращаться в Аризону, если бы даже я не потерял работы, все равно невыносимо. К концу третьей недели приняли чертежником в небольшую техническую контору. Дешевая комнатуха. Первая получка — по телеграфу Джени; денег с трудом хватает на проезд.

Джени приехала. В дороге простудилась маленькая Труди. Умерла на следующий день. Дома — невыносимо. Получил вечернюю работу. Вошел в соглашение со сторожем. Буду отрабатывать в помещении конторы. Лишь бы возможно позже возвращаться домой.

Потом еще три месяца. Потерял всякую работу. Кризис. Потом еще четыре месяца. Требуется инженеры в Россию. Качает пароход. Трясет поезд. Укачивает самолет. Потом — пустыня и экскаваторы. В пустыне роют канал. Угрожающие записки. Голова, вырезанная из газеты. Одноглазый человек со сплюснутым лицом. Канал, в котором рвали скалу. За окном кричит верблюд. Два таджика играют в кости. Потягиваясь, вышел третий. Наверное еще рано. Люди только просыпаются.

Белая комната с голубым потолком, проделав кругосветное путешествие, крепко осела на земле, на границе СССР и Афганистана, недалеко от реки Вахш. Больше припоминать нечего. Стоило ли вообще припоминать?

Кларк зевнул, смежил глаза и уснул.



Голой равниной, по дороге, ведущей с головного на второй участок, ехали два всадника. Желтое выжженное небо догорало на западе сухим прозрачным пламенем. Жара медленно начинала спадать. Всадники свернули с дороги и пустились напрямик к горам. Лошади

пошли шагом. Комаренко вытащил покоровившуюся от пота пачку папирос и, закурив, протянул спутнику:

— Угощайся, Мухтаров!

Ехали молча, не торопя вспотевших коней. Коренастый таджик в защитной косоворотке, выкурив папиросу, потушил ее аккуратно о стремя.

За выступом, в расщелине гор, появились первые кибитки. Всадники тронули поводья и мелкой рысцой вехали в безглазую улицу кишлака. Глиняные хибарки, отвернувшись от дороги, играли спиной немую комедию равнодушия. Миновал десяток домов, всадники свернули на шум ручья и остановились у подвешенного в воздухе желоба, — зачерпнуть пригоршню воды. Узкая металлическая струя тонко сверлила тишину. Они отехали еще десяток шагов и спешились у глинобитного выступа алау-хоны. Мухтаров, приложив руки рупором ко рту, прокричал что-то по-таджикски. На призыв из-за ближайшего дувала выглянул лобастый, большеглазый мальчуган и, шмыгнув через ограду, побегал разыскивать председателя. Вскоре появился председатель, добродушный русобородый дехканин со значком Осоавиахима на халате. Усы, закрывающие рот, мешали ему улыбаться, он улыбался ресницами, бородой, всей своей большой, прочно сколоченной фигурой. Он обеими руками пожал руку гостям. Через мгновение глиняный выступ оброс кошмой, появилось блюдо тутовых ягод и каша кислого молока.

— Вот что, Давлят, у нас мало времени, — остановил суетившегося председателя Мухтаров. — Давай-ка созови колхозников. Надо будет кое о чем потолковать.

Председатель ушел. Комаренко и Мухтаров, прикурнув на кошме, занялись тузовыми ягодами.

— Правление еще переизбрать можно, — заговорил Мухтаров, — хотя придется отстранять лучших активистов. Но другого такого председателя, как Давлят, не найдем. Хозяйственный мужик, грамотный, кандидат партии, краснопалочник, авторитетный, весь колхоз в руках держит. Кого бы ни поста-

вить на его место, никто так с делом не справится.

Комаренко, очистив блюдо, принялся за молоко:

— Если хочешь, чтобы дехкане действительно высказались по душам, — только постановка вопроса о перевыборах всего руководства развяжет им языки. Откроешь собрание, скажи им как секретарь райкома, что и почему, и дай мне слово. Я с ними немножко побалакаю как член правления их колхоза.

Дехкане сходились медленно, по одному, по два и рассаживались большим кругом. Секретарь со всеми здороваяся за руку. Одним из первых явился старик Усман Азимов, тот самый, что в прошлом году побывал с экскурсией колхозников в Москве и, вернувшись, рассказывал по кишлакам, что в Москве люди не работают, а целыми днями гуляют: когда ни выйдешь на улицу, — всегда их полно.

За Усманом пришла вдова Зумрат, уже год, со дня смерти мужа, не закрывавшая лица перед чужими и поговаривавшая с обидой, что советская власть опоздала, ни мало, ни много, лет на тридцать: открой Зумрат лицо тогда, все мужчины окрестных кишлаков сбежали бы на нее смотреть, а сейчас никто даже не обернется, будто и не открывалась.

Вслед за вдовой приплелся Хаким-неудачник, — так называли его в кишлаке за исключительное невезение: его бараны на ровной дороге ломали себе ноги, его бахчи из года в год облюбовывали кабаны, — сколько бедняга ни трудился, так и не смог выкарабкаться из нищеты. Когда начали организовывать колхоз, вопрос о Хакиме-неудачнике стал поводом продолжительных и серьезных прений. Старики категорически возражали против принятия его в колхоз: теперь, когда вся земля должна стать общей и у Хакима не будет своей отдельной полоски, невезение его может передаться всему колхозу.

Прихрамывая, подошел Рахимшах Олимов, первый председатель колхоза. Большой сторонник коллективизации и рачительный хозяин, он разошелся с

советской властью в одном вопросе: в оценке европейского инвентаря. Когда район снабдил колхоз европейскими плугами и боровами, Олимов принял их, как подарки, не выражая своего скептицизма (даренному коню в зубы не смотрят), но оставил их с почетом стоять на дворе правления и продолжал пахать землю отцовскими омачами и царапать ее хворостиной. О неожиданном появлении на горизонте районного начальства предупреждал Олимова обычно стороживший в степи дозорный. Тогда, не столько из коварства, сколько из желания доставить удовольствие щедрым дарителям, председатель быстро перепрадал волов в европейские плуги и с парадом выезжал в поле. Власти долго умилялись образцовой сохранности инвентаря, когда же наконец уловка Олимова была раскрыта, его заподозрели в стремлении к сознательному снижению урожая и смешили, поставив на его место Давлята.

Мало-по-малу площадка перед алаухоной заполнилась народом. Одним из последних подоспел Хайдар Раджебов, тот самый, который ездил недавно на съезд колхозников в Сталинабад и отбил от своей делегации. Его насилу разыскали на сталинабадском аэродроме, с увлечением наблюдавшего вторые сутки, как взлетают и садятся самолеты. Делегация, не дождавшись его, выехала накануне. Случайно в этот день летел самолет с врачом для Кларка. Делегата посадили в кабинку и доставили в район. Летчик рассказывал потом, что делегат, очутившись на земле, низко поклонился самолету и кинулся бежать во все лопатки, не отвечая ни на какие вопросы. Вернувшись в кишлак, Раджебов, и до того не особенно болтливый, приумолк вконец, — он так и не рассказал ничего колхозникам о съезде. Сначала думали, что отойдет и расскажет, потом махнули рукой и стали жалеть, что послали именно Хайдара.

Когда собралось человек пятнадцать, вернулся председатель и сообщил, — больше народа собрать не удастся: Ханназаров и Кари Абдусаторов большие, Рахманов поехал жениться, Фай-

элитдин Ахмедов уехал по делам колхоза в местечко, остальные — кто далеко в поле, кто раз'ехался по своим делам.

— Что же это? Третий раз пытаемся созвать общее собрание, и в третий раз собирается меньше половины колхозников. Куда ж это годится, Давлят?

— А разве их сгоняешь в кучу? Располазайся, как бараны. Говорил, предупреждал. Не хотят присутствовать, и чорт с ними.

— Надо, чтобы были все колхозники...

— А что, я на аркане их притащу? Народ несознательный, своего интереса не понимает.

Посоветовавшись с Комаренко, секретарь решил собрание провести. Комаренко неодобрительно допивал молоко:

— Выходит, что в сборе опять все старое правление, а из колхозников — человек восемь. Кто же переизбирать-то будет, сами себя, что ли?

— Что я тебе говорил? Весь выявившийся актив колхоза представлен в нынешнем правлении, да вот еще пяток более активных дехкан. Остальные довольно инертны. В том-то и беда, что переизбирать особенно не из кого.

— А ты почему знаешь, — может, как назначаешь общее собрание, так их нарочно рассылают по всяким делам?

Последней фразы Мухтаров не расслышал, он открыл собрание и после короткого вступления дал слово Комаренке:

— Говори медленно, я буду переводить.

Комаренко вытер ладонью рот:

— Что ж, товарищи дехкане, я думал потолковать не с пятнадцатью, а со всеми колхозниками. Второй год состою членом правления вашего колхоза и ни разу до сих пор не видел на собраниях больше половины членов колхоза. Никуда это не годится! Политическая несознательность колхозников — не отговорка, а лишнее доказательство, что правление не справляется со своими задачами. Первая его задача в том и состоит, чтобы поднять политическую сознательность всей массы колхозников, вовлечь ее в руководство колхозом, а

не вершить дела в своем узком кругу... Валяй переводит!

— ...Плохая работа правления выразилась не только в этом. Позорная история с Ходжияровым, который до последней минуты состоял членом правления вашего колхоза, бросает тень на весь колхоз и прежде всего на его руководство. Правление не проявило достаточной классовой бдительности, не сумело во-время разоблачить проникшего в колхоз классового врага. Более того, оно пригрело этого врага, выдвинуло его на ответственный пост, помогло ему ввести в заблуждение советскую власть. Ответственность за преступную работу Ходжиярова ложится на все правление в целом... Валяй переводит!

— ...Афганский басмач Ходжияров орудовал среди вас в течение почти трех лет. Не подлежит сомнению, что у него были сообщники внутри самого колхоза. Ссылка правления на то, что якобы единственным лицом, посвященным в замыслы Ходжиярова, был его мнимый брат, протащивший его в колхоз и бежавший вместе с ним в Афганистан, — ребяческая ссылка. Правление не только не сумело своевременно воспрепятствовать бегству двух членов колхоза в Афганистан, но даже после их бегства не предприняло ровно ничего, чтобы выявить сообщников Ходжиярова. Это в лучшем случае свидетельствует о том, что правление лишено всякого классового чутья, оторвано от массы, не знает лица своего колхоза и настроений колхозников. Иными словами, правление в настоящем его составе неспособно дальше руководить колхозом... Валяй переводит!

— Выводы: как член старого правления, я вношу предложение о немедленном перевыборе всего руководства. Это — во-первых. Во-вторых: колхоз, который не помог советской власти разоблачить ее злейших врагов, не достоин носить имя «Красного Октября». Смыть этот позор сможет лишь вся масса колхозников, помогая нам вскрыть и выкорчевать остатки ходжияровщины. Эта же задача встанет с первой минуты и перед новым правлением. По тому, как оно справится с этой задачей, пар-

гия будет судить о его работоспособности... Переводил, я кончил.

Когда шум немного улегся, слово попросил Давлят.

— Товарищи дехкане! Мне как председателю колхоза то, что говорил товарищ уполномоченный, очень обидно. Тем обиднее, что товарищ уполномоченный правильно говорил. Мы, односельчане Ходжиярова, работавшие вместе с ним в правлении, скорее должны были разглядеть его, чем товарищи из района. А больше других виноват я. В прошлый раз спрашивает меня товарищ Мухтаров: «Как же это ты, кандидат партии, мог рекомендовать в партию Ходжиярова, если сам говоришь, что хорошо его не знал?» А разве влезешь в человека и узнаешь, что он замышляет? Почему я, почему все мы знали Ходжиярова? По работе, по разговорам. Разговаривал он, как сознательный дехканин, уважающий советскую власть. А работал хорошо, все могут подтвердить, сознательно работал и числился у нас как лучший активист. Во время последнего налета ходил проводником с доброотрядом и рану получил от басмачей. Потому мы его и представили к почетной грамоте вместе с лучшими краснопалочниками. Теперь выходит, может, его ранили совсем не басмачи, а наши аскеры. Но откуда нам было знать? Весь отряд погиб, а он вернулся в кишлак с аскерами и с большим почетом? А потом наш секретарь ячейки говорит мне: «Что это, Давлят, у вас в колхозе один ты — кандидат партии? Какой же ты работник, если не помогаешь нам вовлечь в партию лучших активистов и краснопалочников вашего колхоза?» А я вернулся, встретил Ходжиярова и спрашиваю: «Почему, говорю, Иса, не вступишь тебе в партию? У тебя почетная грамота от советской власти, и человек ты грамотный, член нашего правления и лучший активист в колхозе. Поддай, говорю, прошение в кандидаты партии». А он говорит: «Я бы подал, говорит, партия мне нравится, и советская власть мне нравится, да не примут меня. Надо, чтобы за меня поручился кто-нибудь из партийных». А я говорю:

«Давай я за тебя поручусь, и Олим Асаметдинов из «Красного пахаря» за тебя поручится». А разве знали мы, за кого ручаемся? Сейчас выходит — неправильно, а тогда все думали — правильно, и даже секретарь ячейки очень меня за это похвалил. Хотел я сделать хорошо, а получается теперь, перед партией виноват и перед колхозом виноват. И выходит, — ни за кого, кроме самого себя, ручаться нельзя. Значит, нет во мне сознания, и председателем колхоза быть мне за это не полагается. И прошу я вас, товарищи, снять меня за это с председательства и назначить другого. А я на такой работе, на какую меня пошлет колхоз, докажу и вам, и товарищам из района, что для советской власти ничего не пожалею и никакому контрреволюционному гаду прохода не дам. И скажу я вам напоследок, товарищи дехкане, что работал я честно и старательно, по своему уменью, а если кому в чем не угодил, то простите меня за это и не будьте в обиде... И еще скажу я вам, что большой для нас стыд, чтобы две собаки так опозорили весь колхоз! В другом кишлаке стыдно теперь показаться. Вчера никто не выехал на колхозный базар, а все через что? Куда ни покажись, везде пальцами тыкают: вот они, из «Красного Октября!» Как дехкане узнали, что Ходжияров хотел убить заграничного инженера, очень плохо стали смотреть на наш колхоз. Потому прошу я вас, товарищи дехкане, ради собственного вашего интереса будьте сознательны. И если кто что знает, пусть сейчас выйдет и скажет, только чтобы больше такого сраму за нашим колхозом не числилось, потому что всем нам это очень неповадно.

Поднялся большой шум. Слово взял Мелик Абдукадыров и сказал, что неправильно взваливать все на одно правление. Виновато не одно правление, виноваты все колхозники. Все знали Ходжиярова, и никто не сумел раскусить, куда он тянет. А касательно Давлята, — лучшего председателя колхоза не найти, человек он грамотный и хороший хозяин, и менять его на худшего — никакой пользы колхозу не будет.

Потом выступила вдова Зумрат и сказала, что Давлята, может, и не трогать, а правление переизбрать будет неплохо: засиделись все больно в руководителях, надо и другим дать дорогу. Тогда и больше народа будет ходить на собрания. И надо еще обязательно, чтобы в правлении сидели не только одни мужики, но и женщины. А то выходит, все мужики сильно сознательные, а баб своих под замком держат, будто им до колхоза и дела нет. А советская власть говорит: женщина—такой же член колхоза, как и мужчина. И если женщинам дали бы слово, они бы давно вывели Ходжиярова на чистую воду. Взять хотя бы то, что Ходжияров неженатый, и за три года жены себе в кишлаке не подыскал. Женщины давно говорили, что человек он подозрительный.

Посыпались реплики и шутки. Слово попросил старик Азимов и заявил, что он тоже за то, чтобы в правлении обязательно были бабы. Все удивленно обернулись, а старик, переждав минуту, пояснил:

— Верно говорит вдова Зумрат, — до чего мужик не додумается головой, баба дойдет до этого другим местом.

Грохнул хохот, но тут собрание взял в руки Мухтаров и, строго отчитав старика, предложил вносить кандидатуры.

Посыпались предложения:

— Вдову Зумрат!

— Она может!

— Товарищи, шутки не к месту. Буду удалять с собрания.

— Хайдара Раджебова.

— Правильно! Он активный. гляди, через полгода и о сталинабадском с'езде расскажет.

— А из прежнего правления выбрать можно?

— Индивидуально можно и из прежнего.

— Товарища уполномоченного!

— Давлята!

— Шохобдина Касымова!

— Кари Абдусаторова!

— Азимова!

В результате перевыборов в новое правление вошли. вдова Зумрат, Хайдар Раджебов, Кари Абдусаторов, Да-

влят, старик Азимов, Ниаз Хассанов и Комаренко. Председателем собрание переизбрало единогласно Давлята.

...После от'езда Мухтарова и Комаренки дехкане, поспорив еще о том, о сем, медленно разбрелись по домам. Последними поднялись Икрам и Мелик Абдукадыров. Близилась уборка. Мелик ходил сегодня на окраинные поля и принес несколько спелых коробок. Икрам беспокоился насчет сбора: окучка на окраинных полях проведена была явно неудовлетворительно.

Они свернули к дому Мелика, посмотреть волокно. В полутемной хоне Абдукадырова они застали старика Азимова, Хайдара Раджебова, Шохобдина Касымова, Ниаза Хассанова и еще двоих дехкан. Все пришли смотреть волокно. Мелик плотно запер дверь щеколдой и прошел на женскую половину. Гости чинно расселись на паласе. Немного спустя вернулся хозяин. Вместо обещанных коробок он нес в руках чайник. Вслед за ним в хону прошла закрытая женщина. Хозяин ей первой протянул пиалу. Когда женщина открыла лицо, оказалось, что у нее борода, обвисшие усы и нехватает одного глаза. Присутствующие молча пожали руку криквему...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Из грузных, брюхатых туч, как из распоротых бурдюков, хлестала вода. Это не был дождь, это был скорее небесный силь Прозрачные комья с шумом хлупались в топкую жижу дороги. Заглушая шелест ливня, по улице приближался барабанный бой. Одинокий осел, мокрый, как напуганная мышь, брел по грязи, гремя пустыми бидонами. В бидоны барабанила вода. Вслед за ослом, с трудом вытаскивая ноги, плелся дехканин в накинута на голову халате В воронках, отмечающих след его ног, булькала жидкая грязь.

Кларк отложил ручку и в раздумьи прошелся по комнате. По потускневшим стеклам текла желтая муть.

Он подошел к столу и взял тетрадь в клеенчатой обложке. Здесь были его русские упражнения, испещренные пометками Полозовой. Он про-

смотрел первые страницы, покрытые рахитическими каракулями и сплошь исчерканные красным карандашом, сравнил их с последними упражнениями и остался доволен. Буквы лежали уже стройными рядами, вид у них был вполне мужественный и благообразный, и следы красного карандаша встречались значительно реже.

Кларк открыл чистую страницу, где наверху рукой Полозовой помечено было сегодняшнее число и заголовок: «Сочинение на любую тему». Он обмакнул перо и призадумался. Потом стал писать, медленно, с усердием выводил буквы. Написав строк шесть, остановился, покусывая ручку. Сочинение давалось не легко. Он порылся в словаре, выписал на клочке бумаги несколько слов, опять взялся за листок, написал еще десять строк, встал, прошелся по комнате, еще раз заглянул в словарь, написал фразу, зачеркнул, еще раз написал, еще раз зачеркнул, раздраженно потербил волосы, минут пять сидел, сосредоточенно обдумывая, и наконец принялся писать. Исписав две страницы, он отложил ручку, перечитал написанное, недовольно поморщился, хотел было зачеркнуть все и начать сызнова, но в эту минуту постучались. Вошла Полозова. Кларк закрыл тетрадь и поднялся навстречу.

Полозова долго отряхивалась, стаскивала высокие, до колен, боты, развешивала на стуле истекающую водой кожу.

— Был у вас сегодня врач?

— Да, — по-русски ответил Кларк.

— И что говорит?

— Говорит, я совсем здоровый. С завтра могу выйти.

— Не выйти, а выходить. Ну, вот хорошо! А знаете, мне за вас от врача здорово влетело.

— Влетело?

— Ну, выругал меня. Это — разговорное выражение, можете еще не знать. Одним словом, отчитал меня за то, что слишком рано начала с вами уроки русского языка, не дожидаясь, пока совсем оправитесь.

— Какой пустяки! Если не вы и не наш уроки, я с ума сошел от

скуки. Скоро три месяца без занятия.

— Не три месяцев, а три месяца. Ну, как, сочинение сегодняшнее написали?

— Написали. Только нехорошо. Дайте срок завтра, я написал еще раз.

— На завтра напишите другое. Теперь уже столько времени заниматься не сможем. Разве только по вечерам. А кончатся дожди, и вовсе времени на учебу не останется: придется нажать с головным сооружением, а то к весеннему поливу не дадим воды на поля. Ну, давайте же терять времени. Где ваша тетрадь с диктовками?

— Вот есть.

— Докончим наш последний диктант о столе. Вы между прочим до сих пор не перестаете путать в разговоре стол со стулом. Не можете привыкнуть, что сидят на стуле и едят за столом, а не наоборот... Прочтите то, что мы написали позавчера и вчера. С самого начала. Только внятно, и обращайтесь внимание на ударения. Нашли?

— Я готовый.

— Читайте.

— «Диктовка номер 47». Заглавие: «Стол».

— Чего ж вы остановились? Слушаю.

— «Был однажды простой стол, простой стол на четырех ногах, которому не везло. Когда срубили дуб, из него сделали два роскошных письменных стола с семью ящиками. А из остатков сделали простой стол. Два письменных стола сразу же были проданы: один — в кабинет известного министра, другой — в кабинет известного литератора. А простой стол купил бедный студент. Студент держал на нем кипу ученых книг, и книги эти давили на стол не только физически, но и морально. Мы напрасно говорим о глупом человеке, что он туп, как дерево. Дерево, наоборот, очень восприимчиво. Каждый знает например, что дерево впитывает воду. А так как в ученых книгах было много воды, то стол впитал ее и быстро стал образованным.

И тогда он стал думать с горечью:

«Почему я родился простым столом на четырех ногах, которому не везет? Я сделан из того же благородного ма-

териала, как и мои братья, которые стоят сейчас в министерских кабинетах и в кабинетах известных литераторов. Почему они войдут в историю, а я останусь на ее задворках?

«Разве у меня нет всех данных стать столом великого полководца, чтобы на мне разворачивали карты мировых войн?»

«Или столом великого государственного мужа, чтобы на мне подписывали исторические международные договора?»

«Или столом великого законодателя, чтобы на мне возникали новые скрижали и хартии прав миллионов?»

«Или столом великого писателя, чтобы на мне рождались гениальные произведения, составляющие гордость нации?...»

Студент обращался со своим столом самым некультурным образом. Он тушил о него окурки, выжигая безобразные прыщи, он брызгал чернилами, покрывая его сыпнотифозными пятнами, чинил на нем карандаши и в минуты рассеянного раздумья бессмысленно скоблил его ножиком. Когда же студент влюбился, то вырезал на нем имя своей возлюбленной.

Изуродованный стол выносил все это со стоической горечью. Он верил, что должен притти день, когда все это изменится. И он дождался. Студент наделал долгов и не смог их уплатить. Тогда его обстановку описали и простой стол на четырех ногах продали с молотка торговцам старой мебелью.

Его поставили в большом складе, сплошь загроможденном столами. С одной стороны стояли дорогие столы: антики с отмеченной на ярлыке генеалогией и современные столы из черного и красного дерева, дубовые письменные столы с пузатыми ящиками и чайные столики, квадратные, прямоугольные, овальные и круглые, столики-дегенераты на одной ножке, и столы-бизнесмены — американские бюро с автоматически захлопывающейся деревянной жалюзи. По другую сторону стояли дешевые столы. Там были преимущественно простые кухонные столы, изрубленные ножом, верстаки из переплетных мастерских, измазанные клеем,

портняжные катки, протертые до глянца, и наконец сосновые канцелярские столы, покрытые дешевым желтым лаком. Туда же поставили стол студента, приклеив к нему карточку с ценой.

Когда люди вышли, стоявший рядом кухонный стол толкнул его ножкой и, придвинувшись к новичку, стал его посвящать в секреты окружения:

— Видишь эти размалеванные столы, украшенные всякими финтифлюшками? Они задирают перед нами нос и кичатся тем, что стоят в салонах и что на них господа распивают шампанею и закусывают марципанами. Кто-кто, а мы-то хорошо знаем их марципаны! Каждый день повар рубил их на моей спине. Посмотри, на мне живого места не осталось. Если бы тут не путались сторожа, мы бы им показали! Но ничего, нашего брата прибывает, — мы до них доберемся. Держись только крепко с нами.

— О нет, — сказал простой стол на четырех ногах, которому не везло. Его оскорбляла мысль, что вульгарные сосновые столы приняли его за своего собрата и не разглядели его породы. — О нет, я вовсе не намерен принимать участие в ваших драках и помогать вам калечить эти породистые столы только потому, что вас больше. Разве правда в количестве? Не сказал ли еще Ницше, что миром должны управлять существа высшей породы, а никогда не серая масса? Олигархия умственной аристократии, — вот современное разрешение вопроса. Я не спорю, может быть, многие из тех столов, которые стоят сейчас в салонах, не заслуживают этого по своим внутренним качествам, может быть, их надо заменить столами более одаренными. Но этого не может решать серая масса, лишенная необходимых критериев. И потом, всегда так было и так будет, что одни столы будут стоять в салонах, а другие — на кухне. Если бы все полезли в салоны, салон моментально превратился бы в кухню. Нет, дорогой мой кухонный стол, вы ошиблись адресом. Я вовсе не из вашего полка, и, пожалуйста, не рассчитывайте на мое участие в ваших авантюрах.

— Ах, вот что! Ты, оказывается, из породы тех канцелярских столов, которые довольны уже тем, что на них каплют чернила с барской ручки, — сказал презрительно кухонный стол и отодвинулся на вершок. И все кухонные столы последовали его примеру...»

Кларк, дочитав до конца, остановился в ожидании.

Полрзова, рассеянно смотревшая в окно, не сразу заметила паузу.

— Все? Возьмите ручку и пишите дальше. С красной строки:

«...Однажды случилось нечто совершенно неожиданное. От большого взрыва в складе вылетели все стекла, и столы, подпрыгнув на месте, сбились в кучу. Тогда в склад бежали полицейские с винтовками. Полицейские говорили между собой, что в городе происходят неслыханные вещи: босьяки захватили здание правительства, громят богатые кварталы и выкидывают из окон на мостовые драгоценную мебель. На улице бабахал пулемет, и весь склад дрожал, как маленькая Япония в день большого землетрясения.

Тогда кухонные столы закричали хором: «Сейчас или никогда!» — и кинулись гурьбой на улицу. Но так как они не привыкли бегать, то скоро запутались в своих ногах и, не добрав до противоположного тротуара, шлепнулись на мостовую. А так как было их много, задние налетели на передние и валились в общую кучу, то в несколько минут из них выросла превосходная баррикада.

А простой стол на четырех ногах, которому не везло, стоял на своем месте в складе, погруженный в горькие размышления. Он думал: «До каких же пор в этом мире будет царить грубое средневековье? Когда же наконец люди и вещи поймут, что нельзя усовершенствовать мир путем насильственных внешних перемен, что мир — это наше внутреннее «я», и единственный путь усовершенствования мира есть наше внутреннее самоусовершенствование? И вообще не безумие ли мечтать о том, что мы в состоянии изменить внешний мир, который для нас непознаваем? Не доказал ли Меерсон, что единственное,

чего добилась наука на протяжении тысячелетий, это — относительная очистка объекта нашего познания от иллюзий, в которые окутывают его наши чувства и наш разум?..»

Пока он так размышлял, в городе произошла революция. Новые люди ворвались в старые дворцы и переоборудовали их в новые учреждения. Они выкинули уродливые, — круглые и овальные, — одноногие столики, непригодные для работы, и заменили их притященными с улицы более прочными и практичными кухонными столами, из которых недавно строили баррикады. Простые кухонные столы заперудили дворцовые залы и вошли в историю. Великие полководцы разворачивали на них карты последней мировой гражданской войны, великие государственные мужи подписывали на них исторические международные договора, великие законодатели писали на них новые скрижали и хартии прав раскрепощенных миллионов, и новые великие писатели сочиняли на них свои гениальные произведения, составляющие отныне гордость не одного класса, а всего человечества.

А простой стол на четырех ногах, которому не везло, остался стоять в опустевшем складе. Потом склад реквизировали, и экспроприированный хозяин перетащил стол к себе на кухню и стал рубить на нем капусту. А потом пришла морозная зима, не было дров, и хозяин топором изрубил его и затопил печку. И, когда он закинул в печку последнюю ножку, горящий стол простонал в последний раз: «Ах, зачем я родился простым столом, простым столом на четырех ногах, которому не везло!»

Полозова прохаживалась по комнате с видом заправской учительницы. Она остановилась за спиной Кларка и заглянула через его плечо.

— Кончили? Поставьте восклицательный знак. Посмотрим, сколько сделали ошибок...

— Ошибки наверно много. Сегодня диктант много трудны слова. И потом, вы всегда делает из мои слова карика-

тур. Сельф-усовершенствование — нет мой репертуар.

— ... Ну, а теперь давайте ваше сегодняшнее сочинение, — она потянулась за клеенчатой тетрадь. Он придержал ее руку:

— Нет, не надо. Я завтра буду писать лучше.

— Что это вы вдруг стали ломаться? Подумаешь, действительно сочинение для печати!

Она раскрыла тетрадь на последней исписанной странице и стала читать вслух:

«Один иностранцы человек...»

— Нет, нет, пожалуста, читайт себе, — Кларк отвернулся к окну.

Полозова пожала плечами:

— Что-то вы сегодня не в своей тарелке. С каких это пор вы стали стесняться передо мной?

Она взяла со стола красный карандаш, придвинула тетрадь и стала читать про себя:

«Один иностранцы человек имел несчасны случай и лежал' долга беспамяти. Када он пришол назад в свои чувства, то забыл все, вес прежни жизн и не мок спомнит. Он очен спугался и стал споминат, споминат и трудом по кусочки спомнил. А када спомнил, думал, что спомнит не стоил. Потом он стал выздоравливайт и часто думайт, что лучше было, если не споминал и начал живит бес прошлово с того дня, как праснулся. Он сказал себе: допустим, я все забыл. Буду живит, какбутто ранше был ничево.

Он долго был бальной и имел много время думайт. Одна девушка учила его чужой язык и чужой жизн. Он претендовал, что учит чужой язык, а учил чужой жизн. Когда полавину выучил, доктор сказал: «Вы здаровый — иди работайт и живит».

Тогда иностранцы человек думал, что его новы жизн связался неразделително с девушка, котора его учил чужой язык. Легко забыт все, что был до этого, но ее забыт никогда будет возможно. Он хотел сказат девушка, что любит ее и чтобы она

его не оставливал. Но он думал, это будет очен баналически: в все плохи романы герой балной и потом любит свою няню и просит ее женится его. Он боялся, девушка, которы знайт его ранше, думайт, что он ест тот самы чужой человек, и не будет связайт свой молодой жизн с стары жизн чужой человек. Он много раза хотел ей объяснят и сказат и не знал как. Тогда он сел и писал «сочинение на любую тему». Но писал нет на любую тему, а на тему та, которую люблю».

— Ай-ай-яй! — покачала головой Полозова. — Зачем же я вас столько времени учила? Такого количества ошибок вы не делали ни в одном сочинении!

Кларк смущенно улыбнулся:

— Я писал, очень взволнованы был. Забыл всех правил. Я вам сказал, это сочинение — не считат.

— Вы, когда волнуетесь, по-английски тоже делаете грамматические ошибки?

— Возможно, тоже. Я никогда до сих пор так сильно не волновался, — ответил по-английски Кларк.

— Запомните раз навсегда, независимо от волнения, что «жизнь» — женского рода и пишется на конце мягкий знак, следовательно, не «новы жизн», а «новая жизнь». Не говорится «любю», только «люблю». И потом, что это за новое слово «девушка»? Это выходит нечто среднее между «девушка» и «девочка»?

Кларк взял тетрадь и вырвал листок с сочинением.

Полозова отняла у него листок:

— Не надо рвать. Что это за непочтительное отношение к учительнице? Сочинение есть сочинение. Вот вам размеченные ошибки. За орфографию вам честно полагаются единица.

— А за содержание?

— Насчет содержания поговорим, когда перепишите все это начисто, без единой ошибки. А слово «люблю», чтобы не забыть ни при каком волнении, напишите мне тридцать два раза на отдельной странице.

Он взял ее за локти и губами отыскал ее губы.

На рассвете у головного сооружения собрались люди в кожанках, бурках и халатах, с простертым над головами большущим плакатом. На красном в белые крапинки ситцевом полотнище (кумача в кооперативе не оказалось) большими белыми буквами выделялась надпись: «Б о л ь ш е в и с т с к и й п р и в е т у д а р н и к а м - к о м с о м о л ь ц а м!» С неба буйными ручьями хлестала вода. Буквы, размытые дождем, капали на потемневшие балахоны музыкантов, бережно укрывших полую горластые жерла труб.

Хлюпая по лужам, прибежал из городка Гальцев и протянул Синецыну размокшую телефонограмму. Синецын с трудом разобрал стертые слова:

«Первый состав узкоколейки прибыл на второй участок в полной исправности в четыре часа восемь минут, без опоздания. После пятиминутного митинга в четыре часа тринадцать минут состав отбыл на головной. Начальник второго участка Рюмин».

Размытые слова пахли «Интернационалом». Синецын сунул бумажку в карман и посмотрел на часы.

— Через пять минут должны быть здесь.

Он обвел глазами собравшихся: Кириш в клеенчатом плаще с накинутым на голову капюшоном, похожий на театральное привидение, Морозов в кожанке и ксжаном шлеме, Уртабаев в насквозь промокшем непромокаемом плаще, Комаренко, весь затянутый в кожу, Осип Викентьевич под большим старомодным зонтом, брызжущим во все стороны водой, как фонтан, Андрей Савельевич, окутанный поверх плаща рыжей клеенкой («захватил наверное со стола»). Прорабы, техники, рабочие. «Человек двести будет. Все-таки собрались, несмотря на такую собачью погоду. Хорошо!»

Где-то вдали внятно заревел паровозный гудок. Со стороны городка страшными окольными прыжками приближалось еще несколько фигур. Гудок выл, не переставая, как на тревогу, все ближе и ближе. Сквозь потоки дождя ничего нельзя было различить. Когда наконец впереди замерещилась брони-

рованная грудь паровоза, состав уже был в ста шагах. В глаза дохнуло густым свинцовым дымом. Музыканты, распахнув балахоны, блеснули ослепительными трубами. Грянул «Интернационал».

Паровоз — запыхавшаяся кукушка, разукрашенная черными от дождя флажками, — затормозил, зашипел, словно раскаленные колеса обмакнулись в студеную лужу, и изошел паром. С паровоза и с вагонеток спрыгнула в грязь орава промокших ребят. Оркестр неистовствовал. Из горла труб, как из пожарных рукавов, вместе со звуками летели в воздух толстые фонтаны воды. Синецын дал знак рукой. Трубы, захлебнувшись водой, захрипели и умолкли.

— Товарищи!.. — Вода плескала в рот, не позволяя говорить. — ...Усилиями нашей героической комсомольской организации... узкоколейка от пристани до головы кана.. проложена... намеченный комсомолом встречный трехмесячный срок...—Вода била в глаза, редела в ушах, сочилась за поднятый воротник кожанки, холодными струйками стекая по спине. — ...Несмотря на чудовищные, вот такие климатические условия... — Синецын махнул рукой, говорить было невозможно.

Он шагнул вперед, навстречу выступившему Нусреддинову, обнял его и прижал к себе. Они целовались долго, взасос, коля друг друга небритыми подбородками. По их щекам слезами струился дождь, — а может, это были настоящие слезы? Трубы, заслышав тишину, сплюнули воду и еще раз зазвенели «Интернационалом».

— Давайте все в клуб! — закричал Уртабаев.

— В клуб! В клуб!

— Надо напоить ребят чаем!

Нусреддинова и комсомольцев подхватили и под звуки хриплого марша понесли в городок.

Пока в клубе шли торжественные приветствия, Комаренко вышел покурить. В дверях столкнулся с Уртабаевым. От промокшего Уртабаева шел пар.

— Угости папиросой. Мои все вымокли.

— Сделай одолжение. Ну, и погодка же у вас, братья-таджики! А еще на недостаток воды жалуетесь. Вам бы ту воду, что за зиму с неба накапает, собирать в резервуары, и никаких оросительных каналов не надо: взял кишку и поливай. Честное пионерское!.. Ну, как у тебя дела? С Морозовым ладишь?

— А почему мне с ним не ладить? Он — хороший работник, организованный, не то, что Еремин.

— Это хорошо. А ко мне почему никогда не заглянешь?

— Да вот работы много. И погода не особенно благоприятствует. Поверишь, вот уже два месяца, как не был в местечке. Приехал, хотел зайти к тебе поблагодарить, да так и не собрался.

— За что же ты меня благодарить-то вздумал?

— За то, что ты в мою виновность не поверил. Ведь из всего бюро ты да Метелкин за мое исключение не голосовали. Думаешь, я не помню? Был я как-то на втором участке, хотел повидаться с Метелкиным, а тот меня завидел и в другую дверь сбежал. Почему, так до сих пор понять не могу.

— Сбежал, говоришь? — рассмеялся Комаренко. — Он себя перед тобой виноватым считает: за экскаватор, что уберечь не сумел.

— А за что его, собственно, вывели из бюро?

— Запивать стал. Очень к сердцу дело с экскаватором принял. Вдолбил себе, что это он тебя окончательно угробил. Раньше был непьющий, в пример другим, можно сказать, — ни единого прогула. А тут, как запил, сразу три дня прогулял. Мы ему за это — строгий выговор. А потом, когда избил трех таджиков, пришлось над ним суд устроить. Ну, и, естественно, вывели его из бюро. Чуть-чуть из партии не вылетел.

— Что ты говоришь! Неужели избил таджиков? Что же это — шовинизм? Или по пьяной лавочке?

— Рассматривали как великодержавный шовинизм. Я один знал приблизительно, в чем дело, раз'яснил. Понимаешь, вдолбил себе парень, что экскава-

тор сломали нарочно. Стал искать следов, и нашел у самого экскаватора в песке бутылочку с насом. Кто-то обронил, а кто — поди разбери, — у каждого дехканина по такой бутылочке. Это его окончательно в тоску вогнало. Вечером напился и пошел в обход по участку. Стоят три рабочих-таджика. Решил сыграть Шерлока Холмса. Вынул бутылочку и спрашивает: «Эй, рафики, не знаете, кто потерял бутылочку с насом?» А тут один из трех возьми да и скажи: «Я потерял». Может, потерял в самом деле, а может, пожевать ему просто хотелось. Метелкин к нему: «Посмотри хорошенько, эта? Наверное?» Тот посмотрел и говорит: «Эта». Ну, тут Метелкин — был немного выпивши — бац его в зубы: «Ах ты, такой-сякой, вредитель! Кто тебя уговорил экскаватор портить?» Те два бросились было к товарищу на подмогу. Но, знаешь Метелкина, парень здоровенный. Наклал всем троим. Ну, конечно по участку поднялся шум: русский рабочий таджиков избил. Устроили суд. Тут еще отягчающее обстоятельство: пьяный. Только благодаря тому, что учли прежние его ударные подвиги, в партии удержался, и то со строгим выговором с предупреждением. Еще раз увидят в нетрезвом виде, — вылетит без разговоров.

— Ну и что? Перестал пить?

— Перестал. Три премии уже с тех пор заработал. По 225 процентов плана каждый день выгоняет и расценку снизил наполовину.

— Неужели ты думаешь, что кто-нибудь нарочно сломал этот экскаватор?

— Всяко бывает.

— А ведь другой экскаватор до сих пор работает и в полной исправности.

— Да, жалко, что один. Один может быть исключение. Если бы два, это — уже другое дело... Скажи ты мне, Уртабаев, по старой дружбе. Дело уже прошлое, сам знаешь, основные неприятности у тебя были не из-за этого. А меня это интересует совсем по другой линии. Верно, что Баркер решался пустить все экскаваторы или, может быть, думал рискнуть сначала одним-двумя,

для пробы, а? Скажи по-правде. Ну, загнул там...

— Даю тебе честное слово коммуниста, что мои показания на бюро слово в слово соответствуют истине. Загнул я в другом, это я признал перед контрольной комиссией. Я не имел права, на основании одной моей договоренности с Баркером, заговаривать всю эту историю, не согласовав ее предварительно с руководством. За это мне влетело, и поделом.

— Ну, я поехал. Остаешься? Заходи как-нибудь вечерком. У меня радио хорошее. Бомбей слушаю. Все больше фокстротишки разные. Ну, дай бог всякому!

...Выскользнув из клуба, не дожидаясь конца приветствий, Нусреддинов зашагал в гараж. Уходил как-раз грузовик в местечко. Керим примостился в кабинке, рядом с шофером.

Сошел в местечке у большого арыка и с колотящимся сердцем обернул в знакомую улочку. Было еще очень рано: Мириам наверное спит.

Он удивился, застав дверь запертой снаружи. Неужели так рано ушла? Наверное поехала встречать его к приходу первого состава. Опоздала, и они разминутись в дороге. Какая досада! Что теперь делать? Возвращаться обратно? Таким образом опять могут разминуться. Лучше подождать здесь.

Дверь запиралась на простую деревянную задвижку. Он протянул руку и остановился. В праве ли он водворяться в комнату Мириам в ее отсутствие? Какой глупый вопрос! Не сказала ли она ему сама: «Переезжай ко мне прямо с грузовика, со свертком. Я устрою, нам будет хорошо...» Что за ненужные церемонии! Уверенной рукой он открыл дверь и вошел в комнату.

Кровать Мириам была не тронута. Не почевала дома? Пустяки! Мириам, всегда такая аккуратная, наверно застелила перед уходом. Он оглядел комнату. Все здесь было, как перед его отъездом. Ничто не говорило о том, что в этой комнате теперь должно жить их двое. Может, Мириам не ждала его приезда?

Но тогда она не уехала бы его встречать. А куда же еще она могла уйти так рано? И потом все строительство знало прекрасно, что первый состав придет именно сегодня. Как же могла не знать об этом Мириам?

Он заметил, что все еще стоит посередине комнаты с узелком в руке. Положил узелок на ящик с книгами. Что-то неприятно защемило внутри. Он решил сесть и подождать, оглянулся, ища табуретку. Единственная табуретка стояла у изголовья кровати. Он взял лежавшую на табуретке книгу — книга была по-английски — и хотел было положить ее на стол. Что-то выскользнуло на пол. Он нагнулся. Это была фотография американского инженера Кларка.

Керим долго вертел карточку в пальцах. Он детально изучал лицо изображенного на ней мужчины, словно видел его впервые: белое, матовое лицо, гладко причесанные волосы, высокий лоб, прямой тонкий нос, красивые, немного печальные губы. Потом положил карточку на место и подошел к висящему на стене небольшому зеркальцу. Из зеркальца выглянуло на него смуглое небритое лицо, с жесткой шапкой непослушно торчащих волос, с неправильным, слишком коротким носом. Верхняя губа подростка в зеркале слегка подрагивала. Керим быстро отвернулся и провел рукой по волосам. Он посмотрел на свои руки, неуклюже вылезавшие из слишком коротких рукавов спецовки, и спрятал их за спину. Потом он подошел к окну и долго без выражения смотрел в мутные стекла. По стеклам текла вода.

Обернулся на шум отворяемой двери. В комнате стояла Полозова. Она одним взглядом обвела узелок на книжном ящике, стоявшего у окна Нусреддинова и густо покраснела. Минуту они оба молчали.

— А, ты приехал? Здравствуй, Керим! — голос ее звучал искусственно, в нем не было ни радости, ни удивления, которые она явно силилась ему придать.

— Здравствуй, Мириам.

Они пожалы друг другу руки как-то слишком торопливо, оба ощущая неловкость от этого приветия. Она начала

старательно отряхивать кожанку, сняла ее и, словно не зная, что с ней делать, излишне тщательно принялась стирать с нее воду.

— Какая ужасная погода! Правда?.. Ну, что у тебя слышно, Керим?

— Ничего, Мириам. Закончили узкоколейку. Вот и пришел тебя навестить... посмотреть, как живешь... В другой раз зайду посидеть подольше. А сейчас пойду... там ребята... — он неловко взял с ящика узелок и, пряча его за спиной, протянул руку. — До свидания, Мириам. Я рад, что ты здорова.

— Подожди, как же ты пойдешь в такой дождь?

Керим улыбнулся:

— Мы в такой дождь, Мириам, последние пятьдесят километров узкоколейки проложили. Я привык.

— Не посидишь немножко?

— Нет, Мириам, ребята ждут. Какнибудь в другой раз зайду. Всего тебе хорошего.

— Ну, до свидания. Обязательно заходи, обязательно...

Он крепко потряс ее руку и исчез за дверями, заслоня собой узелок.

В мутные стекла гулко барабанила вода.

В общежитии Керим задержался недолго. Ребята спали, изнуренные работой последних ночей. Он отыскал свою койку, положил на нее узелок и выскользнул во двор. Ему не хотелось слышать удивленные вопросы товарищей. На дворе, не унимаясь, хлестала вода. Нусреддинов минуту постоял, не зная толком, куда пойти, и, подумав, быстро зашагал в партком.

Партком помещался в новом бараке, отстроенном еще до начала дождей. Керим с трудом отыскал его среди других новых барачков и, перекинувшись несколькими словами со знакомыми ребятами, прошел к Синицыну.

— Как у тебя дела, Керим? Очень рад тебя видеть, очень. Думал уже, так скоро с тобой не встречу.

— Почему? Разве ты не верил, товарищ Синицын, что мы закончим к сроку?

— Насчет того, что закончите, я не сомневался. А вот меня ты мог здесь не застать. Разве не знаешь, что меня сняли с работы? Выездная сессия ЦКК за дело с Уртабаевым.

— Но ведь это ж отменено?

— Да, в Сталинабаде отменили. Решили оставить до конца строительства, благо уже недолго. Ограничились строгим выговором, как Морозову. С Уртабаевым виделся?

— Да, вскоре после его восстановления. Приезжал к нам на узкоколейку.

— Видишь, брат, в деле Уртабаева твоя правда вышла. Помнишь, как ты ко мне тогда приходил? А я тебя слушать не хотел. Зазнался.

— Не надо так говорить, товарищ Синицын. Каждый может ошибаться. А тут дело было трудное. Все ошиблись. Я ведь тоже никаких доказательств представить не мог. Как же можно в таком деле на слово верить?

— Зазнался, Керим. Сам признаю. Нечего меня выгораживать. Я тебя тогда, как мальчишку, отчитал. На моих глазах ты рос, а как вырос, — я и не заметил. Все тебя, как мальчика, опекал. Растить тебе мешал, сам понимаю. Инициативе твоей не давал развернуться. Партия говорит: недооценка местных растущих кадров. И правильно говорит. Только на твоём примере недооценка эта еще ярче выразилась, чем на деле с Уртабаевым. Я это перед контрольной комиссией прямо признал и о твоём предупреждении рассказывал.

— Какое ж это предупреждение, раз я сам ничего обосновать не умел?

— Брось ты это дело. Вот и узкоколейка показала: в первый раз тебе дали возможность развернуться понастоящему, и как здорово с делом справился! Молодец! Рад за тебя, Керим, искренне рад. Поедешь в Москву, подучишься, — большой работник из тебя выйдет.

— Вместе поедем, товарищ Синицын, только строительство закончим. Мне бы уж хотелось поскорее.

— Нет, брат, вместе не поедем. Плакал мой ИКП. Со строгим выговором на учебу не ездят. Надо сначала выговор отработать, на практической работе

показать, что стоит меня учить, что ошибок повторять не буду. А то учебных загибщиков разводить, какая от этого партии польза? Попрошусь в какой-нибудь глухой район, в Матчинский хотя бы, там, где работы побольше.

Керим смущенно посмотрел на Синицына. Оба помолчали.

— Знаешь что, товарищ Синицын, я думаю, мне тоже не следует еще ехать в Москву. Надо сначала хоть год-другой практически в кишлаке поработать. Возьми меня с собой в свой район. Я тебе там комсомольскую организацию налажу. Большую работу сделаем. А путевку, чтобы не пропадала, отдадим Зулейнову. Он — хороший, сознательный работник.

— Что это ты надумал? Не дури! Тебе путевку дают, ты и поедешь.

— Честное слово, товарищ Синицын, я ведь сам лучше чувствую. Мне восемнадцать лет, я успею. Другие в тридцать, в сорок лет начинают учиться и хорошими работниками становятся. Почему? Опыт практический у них большой, фундамент крепкий, есть на чем науке держаться. А какой же у меня практический опыт? Вот ты, товарищ Синицын, со мной сегодня первый раз как со взрослым товарищем заговорил. Очень хорошо говорил. Сам сказал: надо мне дать возможность развернуть инициативу. Вот и дай мне показать ее на практической работе. А учиться поеду потом. Везде я до сих пор работал вместе с тобой, и хорошо работали. Всему, что я знаю, у тебя учился и еще поучиться хочу. Возьми меня в свой район. А потом ты в Москву поедешь, и я поеду.

— А может, я и вовсе не поеду?

— Поедешь. Партия таких работников умеет ценить. Партия нас учит и самое себе учит. Ты меня учил — это партия меня учила. А тебя партия учит — это самое себя учит... Значит, едем вместе? Да? А на учебу в этом году пошлем Зулейнова. Я ему сейчас пойду скажу, он обрадуется.

— Что же это, выходит, ты от учебы отказываешься, чтобы мне компанию составить? Так, что ли?

— Не отказываюсь, а только отложить немножко хочу. Не надо упорствовать, товарищ Синицын. Я все равно буду проситься в тот район, в какой тебя пошлют. Ты ведь не откажешься со мной работать, раз сам считаешь, что я — неплохой работник. Правильно говорю?

Синицын положил руку на плечо Керима:

— На учебу ты конечно поедешь, и очков мне насчет практической работы не втирай, а дружить мы с тобой будем крепко. Ты — хороший товарищ, Керим.

В кабинете Комаренки тяжелыми фестономы висел папиросный дым. День, трудолюбиво начатый на рассвете, и не думал кончаться. С утра нарочный привез секретный пакет из Ташкента. В пакете были сведения о разветвленной вредительской организации в системе среднеазиатских органов Наркомзема, членом которой оказался бывший заведующий механизацией инженер Немировский. Прилагался протокол допроса и копия последних показаний Немировского. Из показаний явствовало, что один из соратников Немировского, член организации, продолжает мирно работать на строительстве.

Заперев документы в ящик, Комаренко отдал приказ о немедленном аресте.

Привели жалкого человечка, бледного до синевы, с неприятно трясушимися руками. Двухчасовой стереотипный диалог: оскорбленность, категорическое отнекивание, утрированная уверенность, поскользнувшаяся раз и другой на собственных ответах, виноватое молчание, потом перечень жалких сумм, заработанных за вредительство, и наконец липкое раскаяние, мутное, как блевотина.

Подписав приказ о доставке инженера в Ташкент, Комаренко позвонил и попросил стакан крепкого чая. Было большое желание помыть руки, как после гнойной операции. Непреодолимое омерзение: такие смеют называть себя врагами! Чай, мутный, как дождь, не рассеял неприятного привкуса.

Зазвонил телефон:

— Мухтаров и Галиев по личному делу.

— Пропустите.

Вошел секретарь райкома в сопровождении судебного следователя, татарина Галиева.

— Здравствуйте, товарищи, присаживайтесь! Чем могу быть полезен?

— У него к тебе дело, — Мухтаров указал на следователя.

— Дело-то, собственно говоря, небольшое, — следователь придвинулся со стулом к Комаренке. — Товарищ Мухтаров сказал мне, что вы являетесь членом правления колхоза «Красный Октябрь» и знаете отдельных колхозников.

— Кое-кого знаю.

— Знаете Хайдара Раджебова?

— Знаю. Член нашего правления. Осенью выбирали.

— Что вы о нем думаете?

— То-есть в какой области?

— Видите ли, Хайдар Раджебов вчера зарезал свою жену. Случай сам по себе банальный, но, поскольку в нашем районе в этом году был уже один факт убийства женщины мужем, необходимо будет устроить показательный суд. Ну, и конечно, по всем данным, придется применить высшую меру.

— Хайдар Раджебов? Тот, который в Сталинабад на съезд колхозников ездил и обратно на самолете прилетел?

— Этот самый.

— Жену убил, говорите?

— Зарезал. На редкость зверское убийство. Голова отрезана почти совсем. Две раны в грудь, и кисти рук перерезаны. Очевидно защищалась.

— А на какой же почве, выяснено?

— Отец и соседи говорят, что уйти от него хотела. Раджебов давно уже будто бы грозил, что ее прирежет, и вообще плохо с ней обращался. Есть только одно противоречащее показание, женщины... как ее звать?.. — следователь поискал в блокноте. — Вдова Зумрат. Вот эта вдова Зумрат знает и убийцу, и убитую и говорит, что во всем кишлаке не было более дружной пары. Ни один мужчина не обращался так

хорошо с женой, как Раджебов. Вот, основываясь на их исключительно дружеских отношениях и обоюдной любви, вдова отрицает возможность убийства жены Раджебовым. Но это — конечно не доказательство. Наоборот, большинство такого рода убийств происходит именно на почве ревности.

— А свидетели есть? Видел кто-нибудь?

— Соседи слышали крик и возню. Дверь была заперта изнутри. Побежали предупредить отца. Отец, когда прибежал, натолкнулся уже в дверях на убегающего Раджебова. Хотел его задержать, но тот замахнулся на него ножом. Раджебов вернулся в кишлак к вечеру, когда на месте происшествия была уже милиция и я проводил как-раз опрос свидетелей. При предварительном осмотре никаких следов на нем не оказалось. Да это и не мудрено при таком дожде... Не говоря уже о том, что мог помыться и выстирать халат в первом попавшемся арыке.

— А что показывает сам Раджебов?

— Когда пришел, — я как-раз сидел в его кибитке, — Раджебов кинулся к убитой и начал громко кричать. Я, к сожалению, плохо понимаю таджикский язык. Но это обычно: позднее раскаяние. Потом, когда его взяли милиционеры, замолк и больше не вымолвил ни слова. Производит впечатление человека, испытавшего сильное психическое потрясение. Выжать из него ничего не удалось.

— Подождите, подождите, я же его недавно видел. Когда это было? Помоему, вчера, здесь, в местечке.

— В какое время, не помните? — насторожился следователь.

— Подождите, сейчас вспомню. Кажется, часа в четыре, когда возвращался с обеда. Тут, на улице, около управления. Знаете, почему запомнил? Встретил в этот день как-раз двух дехкан из моего колхоза: сначала Раджебова, а потом сына Шохобдина Касымова, тоже здесь где-то недалеко от управления.

— Вы уверены, что это было вчера и именно около четырех часов дня?

— Почти уверен.

— Видите, это очень важно. Приблизительно в это время было совершено убийство.

— Понимаете, твердо сказать, что это было как-раз в четыре и что это был наверное Раджебов, я все-таки не берусь. При такой погоде все кошки серы. И потом на часы я не смотрел. Могу ошибиться.

— Так. А насчет личности самого Раджебова не сможете мне чего-нибудь сказать?

— Что ж, о Раджебове знаю, пожалуй; столько, сколько и Мухтаров. Особенной политической активностью Хайдар никогда не отличался. Папаша его жены, Мелик Абдукадыров, в двадцать втором году двух красноармейцев прирезал, во дворе у него ночевали. Но это—старые дела. Мало ли чего тогда не делали по неосознанности и байскому наущению. С тех пор ничего такого за ним не числится.

— А о свидетелях вы не сможете чего-нибудь сказать? О главном свидетеле, соседе Раджебова, председателе колхоза, Давляте, товарищ Мухтаров дал мне самый лестный отзыв.

Комаренко молча созерцал спиральную струйку дыма.

— Знаешь что, Мухтаров, не нравится мне этот колхоз. Что мы, брат, по совети говоря, знаем о его составе, кроме того, что многие теперешние колхозники в двадцать втором году ушли в Афганистан с басмачами, а в двадцать восьмом вернулись обратно?

— Но-но, не надо преувеличивать,—обиделся Мухтаров.—Мало ли кто из дехкан путался в прошлом с басмачами. Кто здесь знал толком в двадцать втором году, что такое советская власть?

— Я не об этом. Я говорю: мало ли

баев, раскулачившись заранее в Афганистане, могло пролезть в такие колхозы? А сколько байских ставленников? В таких колхозах, как этот, необходимо было провести особенно большую политическую работу. Провели ли мы ее в достаточной мере? Бросили ли мы туда достаточные силы? Кого?

— Ну, хотя бы Давлята.

— Помнишь, по осени ездили мы туда с тобой собрание проводить? Приехал я тогда домой, всю дорогу об этом колхозе думал. Не нравятся мне эти активисты.

— Ты про кого?

— Возьми к примеру Шохобдина Касымова, которого мы тогда вывели из правления. Кто он, по-твоему?

— Крепкий середняк. Больше сорока баранов никто у него не помнит.

— А вот прежде, чем сюда вернуться, этот самый Шохобдин Касымов в Афганистане, в Мазар-и-Шерифе, продал приличное стадо баранов. Заверяет, будто бараны не его, а тестя. Иди проверь! А приехал к нам, в двадцать девятом году сразу в колхоз вошел, первый ратовал... Или этот, твой Давлят. Ты на меня, Мухтаров, не обижайся. Я знаю: активист и всякое такое. Но отбрось ты на минуту его активность и хозяйственные способности и сопоставь кое-какие мелкие факты. Где только какое-нибудь темное дело, там уже Давлят тут как тут. Возьми дело с Ходжияровым: кто принимал Ходжиярова в колхоз? Давлят. Кто рекомендовал его в партию? Давлят. Кто представлял его к почетной грамоте? Давлят. Теперь убийство: кто единственный свидетель? Давлят... Так что со свидетелями, товарищ Галиев, будьте поосторожнее. Добейтесь лучше показаний от самого Раджебова.

(Продолжение следует)

Тагам!

Повесть

МАКС ЗИНГЕР

(Окончание¹)

11

В Островном не работает радио. Мы около двадцати дней кружили по тундре, по ее рекам, лесам и горам, в тундряном лабиринте, и мы ничего не знаем, что делается сейчас в Союзе. Наши мешки полны писем зимующих в Чауне моряков. Мы отбросили необходимые для себя вещи, чтобы взять на нарты лишние кило почты. О зимующих моряках еще никто не знает в Союзе, и близкие не получали от них вестей. После того, как на зимующих пароходах погасили котлы и перестало работать динамо, бездействует радио. Его наладят. Но для этого потребуется немало времени, это радио будет перегружено служебной информацией, и частные сообщения будут подолгу лежать в радиорубке.

Но, несмотря на отсутствие радио, в Островном много новостей. Мы узнаем в этом поселке, где сохранилась лишь часть древней крепостной стены, о том, что нового на Колыме и море. Островновцы спрашивают нас о новостях, которые мы слышали в чаунском эфире. Мы рассказываем о пуске Днепростроя, о новой электрической станции во Владивостоке.

Мы под'езжаем к границам замечательной страны — Чукотки, полярного форпоста северо-востока Советского Союза.

И я с чувством неясной грусти покидаю эту землю и ее людей.

Перед нами раскроются за Нижнеколымском другие земли, другие части Советского Союза.

Мы проезжаем мимо поварни, о которой нам так много говорили в Островном. В этой поварне мы мечтали отдохнуть и обсушиться. Но это — изба без окон и дверей, без печки и даже без крыши. Поварня полна, забита снегом, и спать в ней — все равно что в лесу.

Перекладки, на которых держалась крыша поварни, давно обрушились. Прорезы окон пустыми глазами мертво смотрят на нас.

На одной из нарт, выехавшей с нами из Островного, едет Пантелей Мухин, Пантюшка, как зовут его все. Он целый день говорит о том, что на морозном воздухе может с'есть пол-оленя. Пантюшка ищет человека, который бы не поверил этому и с которым можно поспорить на триста рублей. Пол-оленя и триста рублей! Но с Пантюшкой никто не спорит, ему верят и так.

Наши собаки неистово залаяли, очевидно увидели оленей, зайца или сову.

— Ку-х-х-х! Ку-х-х-х! Ку-х-х-х! — кричат передние каюры.

— Кулыма нарта приехал! Кулыма! Нарта! Кулыма! — радостно говорит мне Атык.

Я сбиваю рукавицей сосульки, намерзшие на опушке моего малахая, чтобы

¹) См «Новый мир», кн. 6 с. г.

лучше видеть. Навстречу нам едет нарта в двенадцать собак.

Мы останавливаемся, радостно здороваемся с высоким человеком, у которого из малахая виднеются лишь глаза да кончик носа; как будто мы — старые знакомые и давно ожидаем встречного человека. За двадцать дней в тундре это — первый встречный в пути. Он едет из Нижнего в Островное, где будет работать агентом Союзпушнины.

Мы радуемся еще и тому, что он своей нартой сделал нам дорогу до самого места нашей встречи от самого Нижнеколымска, а он радуется, что мы едем из Островного и тоже проложили ему дорогу.

Агент говорит, что выехал в восемь часов утра, едет уже часов восемь и что до Пантелеихи нам осталось еще километров тридцать пять.

— Пантелеиха рыбка есть, мури возьми! — говорит Атык.

Ему нечем кормить собак, и он мечтает купить для них рыбы в Пантелеихе.

Мы узнаем от агента, что оленные караваны с грузами идут в Островное, в тундру из Амбарчика, с берега Полярного моря, где разгружались пароходы, пришедшие сквозь льды за тысячи миль.

Мультик, Тэдди, Угрунку, с которыми Атык в начале нашего пути так ласково переговаривался, теперь тоже побаиваются каюра. Они устали, и часто слабнут их алыки, за которые они тянут нарту. Атык зорко смотрит за собаками, и чуть только одна ослабила алык, как Атык окрикает собаку по имени. И нет уже прежней ласки в голосе, он кричит на них злобно и негодуя, и часто слышится его: «У-у-у-гу-гу!», словно завывание неведомого зверя.

И собаки страшатся этого голоса и снова туго натягивают алык, но ненадолго, потому что тундра выбила их силы.

— Мури собака плохо! — и Атык задумывается, лицо его становится печальным.

Атык спускает вперед одну передовую. Она быстро отделяется от упряжки и

быстро бежит вперед. Тогда с лаем из последних сил бегут за ней остальные собаки. Это — прием подбадривания уставших собак, он удается Атыку.

Ночью мы в Пантелеихе.

Здесь мы на притоке Колымы.

Сушимся и пьем чай.

Впервые за двадцать суток я вижу и ем хлеб, которого нет в тундре.

Мы останавливаемся у Захарченко, бывшего заведующего островновской факторией.

Я впервые вижу русского, который с таким искусством и тонкостью имитирует интонации трудного для произношения чукотского языка. Человек говорит по-чукотски с придыханиями и запевками, переходя вдруг к страстному или удивленному шопотку, то аukaется, будто в тундре каюры, обрывая фразу на высокой ноте, словно крича:

— Эге-эй!

Во время разговора вдруг встанет сам на колени перед собеседником, как чукча в пологе на оленьей шкуре.

Вареный омуть и строганина лежат горкой на столе и дразнят аппетит, но рассказы Захарченко еще интересней, чем эта пища.

Он рассказывает о том, что много легенд ходит по тундре. Старики говорят про чудинки в тундре:

— Едешь в тундре ночью, вдруг навстречу скачет нарта. Подъезжаешь — никакой нарты нет, пустое место.

Я настаиваю на при его рассказе и думаю, не скажет ли он что-нибудь об огнях в ночной тундре.

— Или вот видишь, как огонь катится навстречу или вслед. Прожужжало мигом — и скрылось. Пыхнет огонь — и исчезнет вдруг.

Так это я вместе с Атыком перед Островным видел в тундре огонь-чудинку. Позднее я узнаю, что это очевидно явление, связанное с электромагнетизмом. А встречные нарты — это мираж в тундре.

... Захарченко укрывает нас широким одеялом из недопесков и заячьими несомыми и теплыми одеялами.

Идут оленные нарты из бухты Амбарчик и в Омолон, и в Пятистенное, через хребты и реки от ледовой

границы, куда подходили с грузами морские черные пароходы-утюги.

И в то время, как мы спим в этой избе, каюры-чукчи где-нибудь в тальниках тундры жгут костры, обогревая себя их огнями, и оттаивают мясо, которое с'едается полусырым. Десятки, сотни нарт движутся по тундре, прокладывая дорогу с грузами в ее глубь или туда, куда подойдут со своими кочевьями чаучу.

Только рассвело—мы уже на ногах. Каюры перевязывают нарты, расстилая на них кукули и оленьи постели, чтобы мягко было сидеть на последнем отрезке пути до самой крепости.

Собаки быстро подвозят нас к избе.

— Еронг! — говорит мне Атык.

Мы заходим в избу. Там уже пьют чай за широким столом под'ехавшие раньше нас каюры. Нас потчуют пирожками, начиненными нельмой.

Мы пытаемся уплатить за угощение, хозяева не принимают от нас платы. На Колыме не принято брать деньги за угощение. У нас нет даже табаку, чтобы оставить хозяевам хоть пачку для взрослых, и нескольких конфет для детишек. У нас все вышло без остатка. Мы едем уже без груза.

Мы выезжаем на Колыму ночью. Глазам больно от темноты, так же, как ушам от тишины в этом безмолвии.

Мороз жжет щеки. Я бегу рядом с нартами по замерзшей и занесенной снегом Колыме, но не могу согреться. От бега совсем коченеет на ветру и деревянеет лицо. Я оттираю его горячими, вынутыми из рукавиц руками. Но не успеваю оттереть щек, как немеют от мороза, пухнут и становятся чужими мои пальцы.

Тогда я поднимаю над собой кушлянку, и я—весь в ней с головой, как в футляре, и дышу тем воздухом, который находится под меховым куполом. Я начинаю приходить в себя и чувствую, как тепло медленно растекается по моему телу и как отходят мои замерзшие было руки и щеки.

— Еронг! Еронг! — кричит мне Атык, и я высовываюсь из своего мехового футляра.

Предо мною Нижнеколымск светится огоньками сквозь ледяные окна приземистых изб.

12

Меня встречают мои старые знакомые еще по осенней Колыме — ее метеорологи Якушков и Штейн. Я у них узнаю о том, что сегодня минус сорок шесть градусов с ветром.

Покормив собак последним кормом, Атык идет на метеостанцию, где ему предоставлен приют.

Утром я слышу, как Якушков чиркает спичкой и тихо на цыпочках, чтобы не разбудить меня, подходит к анероиду. Он стучит по его стеклу несколько раз пальцем. Я спрашиваю его:

— Сколько сейчас времени?

— Без пяти семь.

И назавтра Якушков чиркает спичкой, всматривается в анероид и стучит тихо пальцем по стеклу прибора. Я спрашиваю его:

— Сколько сейчас времени?

— Без пяти семь.

Ночь. На метеостанции скупо светит керосиновая лампа. Она могла бы гореть ярче, но в Нижнеколымск еще не доставили керосина из бухты Амбарчик, и надо экономить остатки запасов горючего.

Комсомолец Штейн согнулся над столом и чертит красивые узоры ветров Нижнеколымска за последний год. Метеорологи зовут эти синоптические чертежи розами ветров, и действительно, временами они напоминают цветы, временами — яркие звезды.

Штейн огорчен. Розы ветров за прошедший вычерчиваемый год получаются некрасивыми. Он винит в этом Северное Полярное море и его постоянные ветры норд-вестовой четверти. Это они делают его розу с вытянутыми лепестками.

Штейн поздно ложится спать, закончив свои розы. Завтра — дежурство Якушкова. Якушков будет растапливать с утра печки и без двух минут семь подойдет к психрометрической будке.

Я возвращаюсь в первую ночь из женуголка, где показывали кинофильм

«Булат-Батырь». Картина из времен Пугачева. Я иду снегами от клуба к метеостанции краем всего Нижнеколымска, в темноте я никак не попаду на тропу, выбитую здесь пешеходами и нартами, перевозящими дрова для колымчан. В черноте тальника, которым затянута берег Колымы, я вижу огонек. Этот огонек движется. Кто-то идет с фонарем.

Я подхожу к метеостанции, и рядом с мной — человек с фонарем. Это метеоролог Якушков, он ходил сейчас на Колыму, чтобы замерить уровень воды и ее температуру.

Над метеорологами в поселке нет контроля, и их работа, такая священно-аккуратная, у дверей Полярного океана, в пяти тысячах километров от железной дороги, кажется мне научным подвижничеством.

Наконец Атык увидел большую рыбу, «мульчой» рыба, о которой он мне говорил по дороге, и ест хлеб, которого давно ожидал.

— Собак Кульма нет! Мури поехал Сухарное, так купи собак, нарту, россомаху, возьми курм¹⁾ собак!

В Нижнеколымске нет свободных собак для продажи, нет излишков корма, и нашим каюрам дают сушеную рыбу счетом до Сухарной заимки. Там много собак и собачьего корма — сушеной рыбы.

— Мури поехал Сухарное и Певек и спать! — радостно говорит Атык, но потом вдруг печалится думой его смуглое лицо: — Мури собаки плохо!

А через минуту снова на лице его играет улыбка.

— Мури поехал Певек! Певек есть пароход, есть факторий. Атык достанет песок, мелочь, Атык купит товар! Певек хорошо!

Каюры собрались рано утром все у метеостанции, где находились их накануне увязанные нарты. Они зашли к нам в дом попрощаться и получить письма от нас на Певек к нашим зимующим товарищам. Пока мы писали письма, чукчи в последний раз сели за большой стол и принялись чай пауркен.

— Ну, прощай, Атык! Спасибо тебе за каюрство! Счастливого тебе пути, землепроходец, человек Севера!

И Атык в ответ пожал мою руку по русскому обычаю (у чукчей это не принято) и тоже сказал мне «спасибо». Я замечал еще в пути, что некоторым русским словам Атык придает свой особый смысл. «Купить», по Атыку, это значит «найги».

— Мури купил кури!

Это значит Атык нашел табак или кисет. «Спасибо» Атык понимает, как конец чего-то, потому что русские благодарят не в начале, а в конце работы. Я выпил кружку чая и возвращаю ее Атыку, говоря «спасибо», это значит, что я кончил чаевать.

— Спасибо! — сказал мне Атык на прощанье.

Это слово означало конец нашего совместного с ним путешествия.

Чукчи умчались вниз по Колыме, звеня колокольчиками нарты. Собаки каюров отдохнули в Нижнеколымске и набрались сил, чтобы вернуться в родной Певек, к Полярному морю, где их хозяева дадут им жирную нерпу, лахтака или моржатины.

Каюры взяли направление сразу к Полярному морю. Они не идут в тундру. Мы двадцать три дня ехали по тундрному бездорожью от Певека до Нижнеколымска. Мы каждый день думали о том, найдем ли не найдем корма для собак, разыщем ли в снегах и горах тундры оленных чукчей-чаучу. Каюры поедут берегом моря к своим ярангам на Певек и мыс Шелагский. В Сухарном они возьмут рыбу до самого Певека, а по пути собаки приведут, быть может, каюра к нерпичьей лунке. И каюры в награду угостят собак вкусным нерпичьим салом. На пути они встретят поварни и в них будут ночевать или дневать, давая роздых собакам. Но чукчей караулит у берега моря пурга. Она может сбить каюров с дороги, обмануть их в своем снежном тумане. Но чукчи не боятся пурги. Они зароятся в снег и будут в нем отлеживаться вместе со своими собаками.

Когда солнце, победив полярную ночь, взойдет над Певеком и горами Чауна,

¹⁾ Корм.

моряки снимут деревянную обшивку с бортов своих пароходов и выстроят в Певеке большой дом для рика и дом для школы-интерната детей чукчей.

Советские моряки привезли на своих кораблях продовольствие для тундры, машины для края земли, новых людей на пробудившиеся реки и уйдут отсюда в Тихий и Великий океан, построив на берегу Полярного моря Дом просвещения.

13

В этом городке я был осенью. В нем «бежали» все дома; так говорили колымчане. Городок без улиц, речной порт без намека на пристань. Война не коснулась этого медвежьего угла, колымчан не брали в солдаты, а революция пришла сюда очень поздно, когда по Советскому Союзу рабочие и колхозники заканчивали уже первую пятилетку социалистического строительства.

«Бежали» все дома, это значит поколымски, что текли крыши всех домов во время осенних проливных дождей или мелкого частого дождика — буса. Когда я осенью спрашивал колымчан о том, почему они не прекращают «бег» своих домов, они говорили мне о том, что через несколько дней, через неделю, придет зима и скует их крыши, сделает их непроницаемыми.

Пришла зима и сцементировала своими морозами и снегами крыши домов Нижнеколымска, и люди целыми днями топили печи в этом городке.

Береговой лес давно повывели жители полярной реки и теперь ездят по дрова на собаках. В морозные дни это трудно и для собак, и для людей. Можно было бы топить два раза в день печи в колымских домах, по утрам и вечерам, но для этого требуется утепленное помещение. А здесь ни одна рама не прилажена к окну, ни одна выходная дверь плотно не прикрывается, и, приходя с улицы непосредственно в теплое помещение, человек выстуживает его клубами морозного воздуха. Здесь люди живут будто не в домах, а в палатках, стоит только на час прекратить отопление и не слышать веселого и жаркого

шума железных печей, как выстывает вся квартира колымчанина. И этот веселый шум печей очень дорог колымчанину, и он не хочет расстаться с ним. Это радость для него — смотреть за огнем печи и подбрасывать в нее дрова и снимать с печи десять раз в день кипящий чайник. Это для него и занятие, и удовольствие, и он не хочет лишиться его.

Ясной морозной ночью, когда созвездие Ориона чуть склонится над горизонтом своим бриллиантовым крестом и алмазным ковшом повиснет Большая Медведица, на северной части горизонта обычно зажигается дугой северное сияние и горит часами на небосклоне.

То, что было на месте триста лет назад, неуместно теперь в социалистической Якутии. Неуместными стали ветхие колымские городки.

В Среднеколымске нет затона для спокойной зимовки речных судов, у Нижнеколымска пристань открыта для всех ветров, и в штормовую погоду нельзя разгружать пришедший с моря от Амбарчика речной пароход с грузами. Морской мелкосидящий пароход с большой опаской доходит до Нижнеколымска и становится на самом фарватере, от которого далеко до берега, и разгрузка производится кунгасами. Это удорожает разгрузку, делает дорогими товары, привезенные морем в Колыму, и удлиняет самый срок разгрузки.

Теперь уже и перед колымчанами стал вопрос о переносе их городов на другие места Колымы, где лучше отстой судов, глубже река, удобнее разгрузка пароходов. Для Нижнеколымска намечают Кресты или Край Лесов, для Среднеколымска — Лабую, теперешний пока единственный затон на Колыме, куда уже переносят радиостанцию из Среднеколымска, Абый переносят на Индигирку, с озера, где городок находится сейчас.

Колымские обветшалые города перемнят свое место.

Впервые в этом году Колыма узнала о всеобуче. И старая Колыма противится просвещению, как противилась ему старая царская Россия.

Каюры — Пантюшка Мухин и его брат Яша Мухин — веселые и остроумные ребята, они знают о Пушкине, Гоголе, но они не знают грамоты и даже русских букв. И так — многие колымчане. Они поют веселые частушки, сами сочиненные, они — виртуозы на струнных инструментах, но они ни разу не вкушали прелестей книги.

Родители просят врача дать справку о том, что их ребенок болен и не может учиться.

Так старая Колыма сопротивляется советскому просвещению, но это — жалкие ее и последние попытки.

Она, эта река с ее лесными берегами, уже огласилась гудками своих первых пароходов, и они разбудят этот край, они прокричали уже на всю Колыму чукотское:

— Тагам!

Колымские города отпразднуют свое новоселье. Этому порукой жадные к учению крепкие якуты.

14

Бегут по снегу чьи-то нарты. Их пути прочерчены реками, вехи нартяных дорог — речные берега, берега оторочены лесом. Когда каюр выгоняет собак за реку и нарты бегут по тундре, только он да собаки знают свою дорогу по ее никем необвехованному простору.

Я стою у широкой Колымы под Нижнеколымском. Бегут по Колыме нарты. Скачут собаки, черные, красные, белые и серые, будто волки, к устью и от устья великой реки, к Полярному океану и от него на юг.

В городке — выходной день. И на снегу, которым запырен тальник и засыпан Колыма, чувствуется праздничность. И это катанье на собаках по реке мне напоминает забаву, полярную масленицу.

Уже пятая почта пришла в Нижнеколымск из Среднего. Собаки привезли ее на нартах. Из Якутска приехали люди в Крепость, из Среднего, из Амбарчика, из тундры и с берегов Полярного моря, с Певека, и каюры — с мыса Шелагского.

С Певека еще проедут люди через Нижний. Колыма — это большая дорога от Полярного океана на тысячи километров к югу. В этом году бухта Амбарчик оправдывает свое название. Там, где не было строений, вырос в несколько недель поселок, где было пустое и голое место, теперь склады, амбары продовольствия и машин.

— Чаю не успеешь выпить, — говорят каюры, приезжающие из Амбарчика, — а трактор уже за дровами с'ездит.

Идут про первые тракторы разговоры на Колыме. Тракторы — это тоже чудинки в тундре, советские чудинки.

От амбаров и складов Амбарчика теперь расходятся вереницы, поезда собачьих и оленных нарт с грузами. Даже лошади бегают от Амбарчика вверх по снежной Колыме. Эти лошади уже успели за одну зиму обрасти здесь густой шерстью, защищая себя от полярной стужи, как и собаки, случайно попавшие сюда с далеких теплых сторон. И коровы бродят по городку Колымы сбросшие, лохматые и закурженные, будто опушка малахая в сильный мороз.

Вторую неделю стоят в Нижнеколымске сорокаградусные морозы. Дни сумеречные, короткие, морозные и ветреные. Ночи длинные, ясные, звездные, пылающие северными сияниями. Солнце не всходит больше над северным городком. Оно показывает себя только наполовину из-за горизонта, словно купальщица, стоя по пояс в воде. Завтра солнце покажется еще меньше и еще глубже спрячется за горизонт. Не чертит светило по небу своего ослепительного пути. Но казачье солнце — луна — светит теперь подолгу. Пять тысяч километров по железной дороге кажутся небольшим расстоянием, и преодолеть его можно за пять суток в удобных условиях поезда. Но пять тысяч километров по обледневшему в торосах морю, по тундре, горам и перевалам, рекам, лесам, на собаках, оленях и лошадях в сорокаградусные и шестидесятиградусные морозы кажутся беспредельно длинными.

С утра за правым берегом Колымы над горизонтом выросли причудливые горы. Их еще не было вчера. Они не исчезают до самого вечера. Их ультра-

мариновые вершины говорят о мощи неведомых горных хребтов. Погас короткий день. Исчезли горы за Колымой. Это — рефракция, она часто тешит взоры колымчан своими необычайными пейзажами.

Днем я иду в кооператив — купить муки и оленины и заготовить на долгий путь пельмени, заморозив их звенящими кругляшками. Колымчанин не берет в дорогу ни хлеба, ни мяса, но пельмени дают ему и то, и другое, да вдобавок прекрасный наваристый суп. Я куплю в кооперативе несколько плиток кирпичного чая и черкасского табаку и буду угощать зайчишек, отдаривать за их гостеприимство.

Я прохожу мимо низкорослого дома. Возле него двое людей. Один из них поливает ковшом с саженной ручкой стену своего сутулого дома, а другой огромной лопатой на смоченное место ловко набрасывает снег. Снежная лепка. Штукатурка снегом. Колымчане обмораживают, леденят дома, чтобы не выстуживали их так скоро морозы и ветры. И дома становятся белыми и нарядными. Домики кажутся вытесанными из снеговых глыб; ярко отсвечивают при свете умирающего дня снежные домики Колымы.

Дома облеплены снегом. Снегом, словно бархат аппликацией, осыпан колымский лес. Снеговым покровом блещет Колыма, и голосисто воют на снегу колымские собаки.

Колыма под снегом.

Еще полгода продлится здесь зима.

15

Кажется, что еще так недавно мы тронулись с Певека, и где-то в отдалении еще звучат выстрелы провожающих нас. Но уже прошел весь ноябрь, и подвинулся декабрь к своей середине, и север во мраке полярной ночи, и море далеко оковано во льдах, и лес анюйский серебрится далеко позади за нами.

Нету больше яранг. Я не слышу поющего говора чукчей. Но снова передо мною нарта и собаки в нетерпении прыгают возле нее, натягивая туго алыки и потяг, торопясь в путь. И снова, как в тундре, каюр войдет нартяные полозья.

— Нарту заповырял! ¹⁾ Садитесь! Держитесь крепче!

Едва только я успеваю сесть на нарту, как уже рванулись колымские собаки. Их всего девять, но они сильнее чукотских двенадцати. И недаром Атык мечтал всю дорогу о колымских собаках.

У моего каюра — потомка колымских казаков, первых русских поселенцев Колымы, — в упряжке среди девяти собак три щенка, три молодых пса.

— Хлестко едем? — спрашивает меня каюр, и я чувствую гордость хозяина в этом вопросе.

Каюр становится на правую полозовину одной ногой, другой цепляет снежную дорогу, и мы летим, словно падаем, вдруг круто вниз с берега на простор Колымы — так, что щемит сердце. Быстро исчезает Нижнеколымск. И этот городок, бывшая крепость с ее людьми и бескрышными домами, теперь — такой же пройденный этап, как стойбище чаучу Калетейгина, как Островное или Пантелеиха.

Наш путь в Среднеколымск пойдет не по реке, но «горой», берегом: Если ехать по реке, то труднее будет найти сменные нарты. Река еще малолюдна, а на горе, на берегу, больше людей.

И мы скоро теряем Колыму и ее укатанную, твердую дорогу.

Завтра с утра из крепости идет нарта в Аллаиху, и через Аллаиху можно ехать в Якутск. Но мне хочется взглянуть пристальней на берега реки, которая ничего еще не дала, но обещает и должна дать многое. И я еду на Среднеколымск горой по якутам.

— Стужа! — говорит мне каюр, показывая из пушистого малахая глаза, крупный нос и усы, обледеневшие на морозе. Он скоро останавливает нарту и подходит к каждой собаке, щупая ей пах. У передового пах стал жестковатым, пес мерзнет, и я вижу, как каюр, порывшись в своем мешке, достает «ошейник» — песцовую горжетку — и повязывает ею пах своего передового. Песцовая горжетка украшает плечи богатых женщин нашей планеты и согревает пах колымских собак.

К вечеру становится холодней. К вечеру! А мы почти не видели дня, и так

¹⁾ Привязал вещи к нарте

и не показывалось солнце. Мы едем полярной ночью.

— Хлестко поедем! Хлестко! — обещает мне каюор. Но к вечеру уже произносит незнакомое слово: — Некось!

Некось! Не катится! Во время стужи плохо бегут нарты по скрипучему снегу, будто по стеклу, это и значит — некось.

Утром, когда меня провожали мои хозяева, нижеколымские метеорологи, я узнал у них, что сейчас сорок шесть градусов ниже нуля. Ночь встречает нас полсотней градусов и слабым лобовым ветром. Я защищаю свое лицо рукавицей и дышу в ее нежноворсистую вольчью серебряную шерсть.

— Некось! — Не катится!

— Невал, — спокойно, нет вала на реке или море.

— Побердует, — отдыхает.

— Заболь! — Верно!

— Мольча! — Зря!

— Морок! — Пасмурное, холодное небо.

Это древние казакские слова, оставшиеся после колымских пионеров на многие столетия до наших дней.

Мы ночуем у первого якута от Нижнеколымска, у Федора Егоровича Сивцева. Здесь говорят по-русски.

Согревшись у камелька, я слушаю через переводчика рассказы старика о том, как он впервые летал на самолете. Он показывает мне письмо, написанное чернилами на почтовой бумаге. Я читаю эту записку вслух по его просьбе:

— «С Федором Егоровичем Сивцевым мы летали восьмого августа из Нижнеколымска в Среднеколымск (два часа сорок семь минут), а десятого августа из Среднеколымска в Нижнеколымск (два часа четыре минуты).

Федор Егорович очень быстро освоился с самолетом, все время следя за окрестностями.

Мы шлем через него свой привет всему населению Колымского округа. Пусть появление нашего самолета послужит началом для дальнейших постоянных воздушных путей на советском Севере вообще и в Колымском крае в частности.

Г. К р а с и н с к и й.

Среднеколымск, десятого августа 1929 г.».

Эту записку старик Сивцев показывает всем проезжим. Изба якута стоит на тракте. Проезжают здесь ежедневно по зимнему колымскому пути, и это письмо здесь — будто лучший красочный плакат о недалеком будущем воздушном пути над бездорожьем.

Мы в Волочке у первых якутов в тридцати километрах от Нижнеколымска.

Я записываю якутские слова, которые мне надо запомнить в первую очередь.

Хорошо — учугэй.

Ехать — бариэх-пыт.

Скоро — турганник.

Понимаю — биябин.

Не понимаю — бильбапин.

Так — сеп.

Подарок — беляк.

Олень — таба.

Есть — бар.

Спасибо — пагыбà.

Здравствуй — доробò!

На стене отсвечивает, словно металл, конский волос. Из этого волоса старик Сивцев вьет сети. Этими сетями старик вместе с сыном добывает мokusна, омуль и нельму. Вить волосяную сеть — большое искусство, и не каждый заимщик умеет это делать.

В избе чисто. Пол выметен. И утром я вижу, как хозяева моют лицо и руки и полощат рот.

Старик Сивцев спрашивает меня о том, почему у нас в Союзе нехватка товаров. Я рассказываю старику. Сын его переводит мою речь на якутский язык, отвечая мне словами отца, что ему понятно мое объяснение.

Старик еще долго что-то говорит мне по-якутски. Он говорит о том, что слышит иногда доклады, но в них не все понятно ему. И я вспоминаю нижеколымского оратора Домошонкина. Он выступает на всех собраниях.

— Товарищи! Объявляю заседание Усухима открытым. Я — человек некультурный, и вы — люди малокультурные, и поэтому мне придется здесь говорить сегодня очень много иностранных слов, — так начал свое слово нижеколымский оратор на собрании, посвященном Осавиахиму.

— А что такое Усухим? — спрашивает вдруг кто-то с места, перебивая оратора.

— Усухим? — переспрашивает Домошонкин.

— Усухим! — подтверждает слушатель.

— А-а?

— Да-а!

— Усухим?

— Усухим!

— Усухим? Я-то знаю, а вот пусть массы скажут. Ма-а-а-ссы! — и Домошонкин делает жест в сторону всей аудитории и становится вдруг в монументальную позу, заложив правую руку за борт пиджака, а левую откинув назад.

Весь в ожидании ответа, Домошонкин вытягивает свое лицо к слушателям. Но зал молчит.

Несколько человек в зале достают свои осовашихимовские книжки и читают вслух то, что там напечатано, пытаются расшифровать мудреное слово:

— Усухим.

— Усухим! Усухим! — несется шепоток по залу.

— Это что-то военное! — вдруг крикнул голос из зала.

— Правильно! — радостно подхватывает Домошонкин. — Это что-то военное!

Докладчик по Осовашихиму не знает сам, что значит Осовашихим, и потому так трудно ему дается доклад, а собравшимся — слушать его тарабарщину. Бедняга не знает, о чем же ему говорить.

Местный остряк и балагур подсказывает ему:

— Скажи о детской консультации!

И Домошонкин радостно подхватывает:

— Да, вот еще о детской консультации!

— Скажи о займе «Пятилетка в четыре года»!

— Да, вот еще о займе «Пятилетка в четыре года»!

— Скажи о больнице!

И Домошонкин мелет обо всем. Зал пустеет. Доклад окончен.

Очень боюсь, что старик Сивцев попадал на доклады Домошонкина и не все в них «допонимал».

Мы встали рано утром в Волочке. Каюр вышел за дверь посмотреть собак.

— Морок! — сказал он, войдя в дом.

— К теплу или к погоде, — сказал молодой якут.

Погоды не было. Но наступила оттепель. Я позднее узнал о том, что в эти дни термометр показывал минус двадцать шесть градусов, и это считалось здесь теплой погодой.

Не стало вчерашней некости.

— Плавко ехать! — радуется каюр, и нарты бегут по скользкой дорожке.

Будто черной лентой, протянулись торопы по Колыме. Здесь Колыма не сразу сдавалась зиме. Ветры разломали колымский молодой лед и наторосили его грядой.

Мы уже проехали девяносто километров от крепости. Мы — в Лакееве. Я сижу в избе и греюсь у камелька, где сидели в царское время проезжие купцы, казаки, стражники или исправники.

По пути в Лакеево мой каюр задержал нарту у займки Соловьева. Здесь у каюра было маленькое капсе — разговор.

— Соловьев сегодня добыл песка!

Эту новость повезет теперь мой каюр по всем станкам Колымы до тех пор, пока не найдет где-либо смены своей нарте.

На тарелке — горка строганины из мороженой нельмы. Мы едим ее без хлеба, обмакивая холодные стружки мерзлой рыбы в крупную соль.

Каюры говорят о волках.

— На Большом Анюе недавно волки гоняли одного паренька, — рассказывает нам Кеша Котеликов — лучший каюр Колымы.

Не двенадцать собак, но двенадцать волков собрал Кеша Котеликов в своей нартяной упряжке. За четыре дня он доезжал от Нижнего до Среднеколымска, не сменяя собак.

— Парень с нарты всю рыбу по одной побросал волкам. Они на рыбу-то и бросились. А он гнал остолом собак во весь дух к своей займке. До самой избы бежали волки за пареньком. А вот на займке Веселой ехал Кузьма Налетов. Слышит вдруг, за нартой бегут. Оборачивается — волки! Девять волков! Налетов отбивался остолом. Хорошо, что

остол был не хрупкий, успели собаки до деревни добежать. Под горой у самой деревни была сложена рыба, возле нее и остановились волки. Забежал Налетов в избу, достал стрихнин и подбросил его волкам, они под горкой его рыбу жрали. Упал один волк, и вмиг его разорвали остальные волки. Еще ноги дрыгают, а волки уж рвут павшего. Рыба у Налетова пропала, и волчьих шкур он не собрал. Все в клочья друг друга изорвали, кроме одного, который пал последним.

— Волк тогда страшен, когда поражает, а так он сам человека боится, — сказал мой каюр.

— Страшен сохатый, когда поражает, — сказал Кеша Котеликов. — А в другое время он человека боится. Мольча, попустому, что сила у него страшная. Но когда поражает и слышит крик или стук о дерево, то бежит на крик или на стук. Он всюду видит своего соперника. Тогда берегись самца. Пропадешь, если дашь промах или только подранишь.

— Скоро волки начнут ипоразовать. Они в марте гуляют, — сказал мой каюр. — По десяти и больше соберутся стаей и бегут, а впереди них одна или две самки. Они из-за этих самок и дерутся между собой.

Мой каюр одет беднее Атыка, хотя сам из середняков и имеет зажиточное хозяйство. Но и не все богатые чукчи так изысканно одевались, как Атык с Певека.

Головным у моего каюра идет Товарищ. И здесь, на Колыме, собака — лучший друг и товарищ человеку.

Мой каюр-казак не бьет остолом своих собак, но и не разговаривает с ними нежно, как, бывало, Атык; я не слышу больше звучно-песенного имени:

— Мата-а-ау!

Я не слышу больше:

— Мультик! Мультик! Мультик!

И Тэдди! Тэдди! Тэдди! — не слышу я. Они бегут теперь уже по Чаунской губе по тинь-тиню или по тундре.

Шея моего каюра такая же бронзовая, как у чукчи Атыка; она закрыта сейчас шалью из черных беличьих хвостов.

— Луна щербнет, — говорит каюр.

Он говорит картаво, по-детски, мой каюр:

— Сынки вместо щенки.

Он не выговаривает звука «ё», заменяя его обычным «е».

— Мерзнет, а не мёрзнет, — так произносит колымчанин.

Он говорит, что на нарте у него сейчас озойный груз, громоздкий груз. Он рассказывает мне о том, что дома у него осталось еще пять собак и, если бы сейчас сюда всю его упряжку, он бы не отстал от котеликовских волков. Но нельзя было взять в дальнюю дорогу всю упряжку, в Крепости надо по воду съездить, по дрова.

— На проходную едем, — говорит мне каюр, и я чувствую жалобу в его голосе.

— Собаки у меня приставшие, не отдохлые, а меня с ними в проходную послали. До Колымской доедем, если корма не достанем, то придется возвращаться в Крепость.

Это каюр страшит меня и тем самым требует закупки ему рыбы в заимке Колымской.

Я покупаю ему рыбу в Колымской — корм для собак, но и после этого я слышу еще много о том, что собаки его — «приставшие» и не «отдохлые».

В Колымской — канцелярия оленсовхоза, который только зарождается на Колыме. Если дело оленсовхоза поведут хозяйственным образом, то оно может стать великим на Колыме, где есть много ягельников — оленных пастбищ. Ведь на Аляске в прошлом веке не было ни одного оленя, их завезли американцы с нашего материка из Сибири, и теперь на Аляске около полумиллиона поголовья, консервные и замшевые заводы.

Пушные заготовки. Молочно-скотоводческое хозяйство. Мясокомбинат. Баржестроение в районе Среднеколымска. Агрономия. Лесоэкономическая экспедиция. Оленное хозяйство. Консервные и замшевые заводы. Сколько проблем предстоит еще решать на Колыме!

Мы ночуем в Колымской, расстелив на полу оленьи шкуры, которые пахнут еще дымом костров, сожженных нами в Восточной тундре и лесотундре из таль-

ника, плавника или сухостоя. И в доме мы залезаем в кукули, и поступаем правильно. К утру все тепло, которое надыхала здесь железная печка, уже вытеснено холодом, и мы торопливо одеваемся. На улице темно, глубокая ночь; звезды и ущербленный месяц спрятались в мороке. Но часы давно уже показывают утро. Мы торопим каюров, которым непонятна наша торопливость и так свойственна колымская медлительность.

Мы снова в меховых рубашках, конайтах и торбазах - щеткарях; у торбазов бородатые седые подошвы. Эти подошвы из щеток оленей, и торбаза потому зовутся щеткарями. Эти щетки срезаются с оленьих ног, и не один олень отдал свои щетки на мои торбаза, данные мне в Певеке, у Северного Полярного моря.

Каюр снова жалуется мне на стужу.

Мы едем по Большому озеру. На озере гуляет ветер. Но, как только собаки забегают на лесную тропинку, сразу становится теплей. Здесь ветер теряет свою силу в частотеле колымского леса. Сумерки полярного дня уже сменились темнотой полярной ночи. Мы ночуем в Холмах у якута Герасима Тарасова, в новорубленной юрте. Между бревнами, которыми выложены стены юрты, я вижу серебро снега и знаю, что здесь, как и во всех колымских домах, к утру будет стужа. Я залезаю поглубже в кукуль.

Едем по новым местам, по озерам и перелескам и потом ночуем в юртах, и каждую ночь у якутского камелька видим другие лица.

Мы входим в юрту и кричим:

— Доробо!

Иногда нам отвечают дружно сразу несколько голосов и помогают снимать надоевшие и заиндевшие кухлянки, иногда мы едва лишь слышим ответное приветствие. Это значит, что в доме уже есть приезжие и тесно будет спать или вообще хозяева недовольны нашим приездом. Мы едем, а впереди нас бежит капсе — разговор. Капсе забегает раньше нас в юрту и рассказывает о том, хороший ли, плохой ли едет человек. Передатчик капсе, торбазное радио — это каюр. И если он обижен на вас, если вы

вдруг отказали ему в табаке или в чем-нибудь, впереди вас побежит по следам дурная слава:

— Едет плохой человек!

Нарты сбегают круто вниз, и мы несемся по снежной Кольме.

— Вон стоит «Партизан»! — говорит мне каюр.

Я вижу колесный приземисто-широкий пароход, приведенный к Кольме «Сибиряковым» из бухты Тикси, от самой Лены. «Партизан» замерз у Карлукова, недалеко от устья речонки Виска. Речники живут на берегу Колымы, и селение выросло в два раза, — вместо трех домов в Карлукове стало шесть жилых строений. Эти люди пришли в Колыму из Якутска, это — первые ленские люди, которые морем прошли из Лены в Колыму, чтобы здесь работать на первых колымских пароходах. Мы заходим в избу. Пряно и тягуче пахнет лиственницей. Впервые на Колыме я вижу двускатную крышу.

На верстаке, у задней стены избы, лежат инструменты и детали, которые здесь ремонтируются механиками. Здесь идет ремонт частей машины маленького «Партизана».

«Лучший подарок Октябрю — ударный судоремонт» —

так говорит плакат, написанный самими речниками в этой лиственничной мастерской. Тиски, сверла, гаечные ключи на верстаке тускло освещены «летучей мышью» — уличным переносным фонарем. Сегодня получен в мастерской с парохода питательный насос для ремонта.

Часть людей с «Партизана» работает по судоремонту, остальные заняты дорожничными работами.

Мы пьем чай у матросов парохода, пионера колымского водного пути. Они спрашивают нас о судьбе морских пароходов, ушедших из Амбарчика этой осенью во Владивосток, и радуются и гордятся успехом «Сибирякова». Здесь никто не цынгует. Речники надеются спасти «Партизана» во время колымского ледохода и завести его при первой подвижке льда в речку Виску для отстоя.

Я уезжал из Певека на собаках в Нижнеколымск. Восемьсот километров

пробежали нарты по тундре, и двадцать три дня я видел впереди себя вершины гор, изгибы горных рек, просторы тундры, закурженный лес и бронзовую шею Атыка. А теперь почти каждый день впереди меня сидит новый человек, новый каюр.

Из Карлукова меня везет мальчик, еще почти ребенок. На вид ему не больше четырнадцати лет. Он — якут, он не знает ни слова по-русски. Серафим, так зовут каюра, не говорит ни со мной, ни с собаками, но часто поет монотонные песни Колымы и Якутии. На одном из поворотов он неожиданно останавливает собак и быстрым шагом по глубокому снегу удаляется от нарт за ближайший холм. Каюр возвращается, неся в руках черкан (ловушку), напоминающую детский самострел, и в нем белеет горноста́й.

— Горноста́ль! — произносит каюр мне свое первое слово, и я читаю в его искрящихся детских глазах великую радость.

Еще несколько раз Серафим соскакивает с нарт для того, чтобы проверить черканы, поставленные им и его отцом, который теперь выметывает сети на Колыме.

Серафим определяется в лесу, как человек в городе. Холмы и пригорки, изгибы дорожки в лесу, поваленные бузреломом деревья или пни, торчащие изпод снега, будто названия улиц, указывают Серафиму, где он ставил свои черканы. И Серафим находит их безошибочно в дебрях колымского леса.

— Чугас (близко)?

— Юрак (далеко)? — спрашиваю я Серафима о том, сколько километров еще до ближайшей юрты, до Ачихи, где смена нарт.

— Полтора биркось.

Я долго думаю о том, что такое биркось, верста ли это, или больше. И только вечером в Ачихе я узнаю, что биркось — это значит десять километров, а полтора биркось таким образом — пятнадцать.

В Ачихе я вижу семью, пораженную трахомой. Сюда, в тысячекилометровые бездорожья, надо послать врачебные отряды. Енисей делает это по своим бе-

регам, и Колыма должна взять с него пример. Передвижная больница — вот что может помочь теперь разбросанному населению не только Колымы, но и тундры.

16

Из Ачихи мы впервые едем на оленях. Я не сижу, свесив ноги, как недавно, с собачьей нарты, подбирая их при встрече с каждым деревом и каждым пнем. Я свободно лежу на широкой нарте, и я вижу впереди быстроногих оленей. Тунгус-старик и мальчик-чукча везут нас на оленях до самого Орелаха, до школы. Олени идут двумя цепочками по три нарты в каждой. Моя нарта идет второй в цепочке, и мои олени не могут убежать с дороги, они подвязаны к передней нарте каюра.

На Темире нас угощают впервые кюорчах — сбитыми Оливками, и белая пена сливок горой вздымается над глубокой тарелкой.

Станочник Темира Иван Третьяков говорит нам, что каюры будут ночевать вместе с оленями в лесу...

— Волк ходит!

Надо караулить оленей. У наших каюров нет ни винчестера, ни даже остола. Я спрашиваю Третьякова, чем же отобьются каюры от волков.

— Будем отгонять криком.

Ночью олени паслись в ягельнике, и каюры были возле них.

Я беседую с мальчиком-чукчей, последним чукчей на нашем пути, и передо мною вдруг встает белоснежная тундра, звонкий торосистый лед Полярного моря, звучный тинь-тинь и дымные яранги.

Тунгус ведет нас к Орелаху в теснинах леса. Ямщик сам тянет оленей за повод, шагая впереди оленного поезда из шести нарт. Ветвистые рога оленей спилены тунгусом, чтобы не задевали о ветви и стволы деревьев. И когда олени заденут нартами деревья, снег с закурженных ветвей осыпается серебром на пушистые вздрагивающие оленишки шкуры, заиндевшие от мороза.

Пугливы олени. Чуть завидят впереди черновину, как уже метнутся в сторону. И человека боятся эти тонконогие кони

Севера. Утром их долго ловят каюры, словно в табуна диких лошадей.

Каждый вечер застаёт нас в новсм месте, и каждую ночь мы беседуем с новыми людьми. В Орелах мы приезжаем ночью. Здесь школа-интернат. Пятьдесят с лишним детей якутов учатся в этой просторной и светлой школе. Я вижу стенгазету детей на якутском языке и крупные буквари-плакаты с тюрко-татарским латинизированным алфавитом. На каждом станке, в каждой юрте я вижу эти плакаты, и почти все наши каюры расписываются латинскими буквами в наших путевых листах, получая «прогоны» — плату за проезд.

Интернат снабжается кооперативом и местными продуктами — молоком, рыбой и мясом. Здесь, как и повсюду теперь на Колыме и во всем Союзе, проводится всеобуч, и советские люди становятся грамотными там, куда доходило раньше лишь лживое учение миссионера.

Учитель-якут Павлов пришел из Якутска морем в Колыму и теперь просвещает колымских якутов советской грамотой и наукой.

Художественное воспитание. Родной язык. Математика. Естествознание с элементами географии. Обществоведение с элементами истории. Труд (политехнизация). Физическое воспитание.

Вот программа школы в Орелах.

Всего вместе с интернатом в Орелах шестьдесят пять учащихся. Тридцать три мальчика и тридцать две девочки. Среди них в школе четверо кулацких детей. Дети бедняков обучаются и столуются бесплатно, а дети середняков доплачивают пятнадцать рублей в месяц.

По утрам чистят зубы. В интернате ежедневное дежурство. Я прихожу во время детского ужина. Я спрашиваю дежурного. Его не оказывается в интернате. Но мне указывают на заместителя дежурного, упитанного мальчика с черной, коротко стриженной округлой головой. Чистота и порядок. Дети спят на нарах, застланных оленьими постелями.

Я расспрашиваю перед стенгазетой учителя Павлова о детских карикатурах.

— Это вот, изображен мальчик, пугающий детей в темноте. У нас был здесь

один такой ученик. В заметке ему дети сказали: «Напрасно ты нас пугаешь в темноте, мы находимся в советской школе и не верим религиозному дурману, и не боимся тебя».

И здесь, в Орелах, в лесу, где из заснеженных и обмороженных юрт с ледяными окнами сквозь широкие трубы камелек выбрасывает в ночную темень снопы веселых искр огня, я вижу радостный огонь просвещения.

Каждый день каюры получают с нас «прогон», и ежедневно новые имена и фамилии, выведенные на расписках латинизированным алфавитом, я прячу в боковой карман своей меховой рубашки.

Я помню кривую речонку, замерзшую неровно, всю в буграх наледей, и высокий мачтовый лес по ее берегам. Это было после Островного, за Большим Анюем. Последняя нарта задержалась где-то в пути и прибыла позже всех. Ее каюром был Пантюшка Мухин. Он говорил о том, что, по всей видимости, не успеет попасть в четверг к восьми часам вечера в Крепость, в Нижнеколымск на кинопередвижку. Он пел у костра песни про колымскую жизнь и говорил о Пушкине. По его бойкости я думал о том, что Пантюшка по меньшей мере кончил семилетку. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что не только он, но и старший его брат, наш флагманский каюр, — оба безграмотны, не знают даже букв.

Якуты опередили медлительных и косных колымчан. Грамота прорвалась мощным потоком в наслеги, в раскиданные по тайге юрты якутов.

Каюр-тунгус с мальчишкой-чукчей довели нас до Орелаха на быстроногих оленях. Там, где в лесу было очень тесно и ветви над головами людей и оленей плели крыши запорошенных вольер, старик-тунгус соскакивал с нарт и шел впереди оленей, ведя их за повод, чтобы лучше было пробираться сквозь лесную чащу. Безмолвно стоял лес, искрясь при лунном свете серебром закурженных снегом ветвей. Ни крика, ни вздоха, ни хруста в этом бесконечном лесу, который идет на тысячи километров отсюда к самой железной дороге и

дальше. Мы пробираемся на оленях по густолесью, словно не люди, а волки или медведи. Только мы одни сейчас скрипим здесь по снегу, хрустим ломающимися ветвями. Ни одного встречного в этом таежном пути.

Я сижу на широких оленных нартах в кукуле и вижу густосинее небо, вытканное узорами созвездий. И в темноте леса передо мной вдруг загорается спол искр. Это не чудинка в тундре. Это где-то горит камелек. Близка юрта. Я соскакиваю с нарт и бегу к дому. Как старым знакомым, я бросаю хозяевам:

— Здорово! Доробо!

И слышу приветственный ответ. Я развешиваю свои торбаза, тяжи, конайты, малахай, кухлянку и обледенелый шарф на грядках под самым потолком возле шумного камелька. Я просушиваю свои обледеневшие одежды. Я отогреваю у пламени камелька буханку мерзлого хлеба, твердого, как лед, и запотевшую от неожиданного тепла банку консервов. Якуты угощают меня крепким кирпичным чаем и мерзлым хаяхом, леденящим зубы.

Оленей сменяют кони. И я вижу впереди нарты мерно покачивающийся в такт шагу мясистый лошадиный круп. Он так широк, что застывает предо мною весь горизонт. Конь бредет шагом и не переходит в рысь. На коне молодая колымчанка в старомодном пальто восседает величественно, но лениво. Она соскакивает с коня лишь только затем, чтобы отогреть замерзшие ноги. И в этой медлительности коня и в старомодном пальто человека я вижу, как в зеркале, старую, толстозадую Колыму. Она величественна, но ленива, она движется шагом. Освоители богатейших полярных рек Сибири прислали к водам Колымы только свой первый отряд. Люди остановились пока у самого входа в полярную реку, словно перед крепостными воротами. Весна разломает лед, откроется навигация. Люди с моря пройдут в глубинные места сонливого края и пропойт его зарю гимном машин и пароходов.

Безлюдна еще Колыма людьми, верующими в ее расцвет и силу. Колыма

ждет сильных людей, которые помогут ей служить для новой жизни на земле.

Но, отправляя людей в Колыму, надо помнить о снабжении, чтобы не удобрять цынготными просторы неохватного края. Колыме должны помочь братская река Лена и Дальний Восток Союза одновременно. Помочь углем и паровым и непаровым флотом. Колыма с притоками — это артерии края, а флот и уголь — кровь и жизнь Колымы. Люди, флот, уголь!

Кони идут похоронным шагом. Не грудью, а спиной тянет лошадь нарту с грузом. Конь, без хомута и дуги. Потяг от нарты забрасывают за седло, на котором маячит фигура ямщика. Нет уже более каюров. Я не слышу чукотского говора. Вместе с тундрой, низовой Колымой и собаками отошли и каюры. Нас теперь ведут ямщики на конях. За Среднеколымском их сменяют олени, они повезут нас к Абыю. Географические точки на стенной карте Союза оживают предо мной с каждым годом, и я смотрю на огромную карту, на кружки городов, на синие изгибы рек и чувствую, и вижу их. Я вижу сурово-скалистый мурманский берег и болотный Север архангельский, и Север ледовый карский, и туманный Енисей — водный красавец-силач, — и высокую радиомачту на острове Диксон и приземистый свинцовый Вайгач, и шумливые водопады Курейки, и Игарку, пахнущую смолой высоких штабелей экспортного леса, Нижнюю Тунгуску, беременную углем, графитом и исландским шпатом, Камчатку, Чукотку, Колыму и весь, весь Север, исхоженный мною. Безмолвные точки на карте и линии рек оживают с каждым новым годом, в который я вижу Север. И полярные точки карт встают предо мной вдруг скалами островов с шумными птичьими базарами. Я вижу плоты на Нижней Тунгуске и игарском Енисее, и подземные улицы Курейского графитового рудника, и самолет над безбрежной тайгой, слышу шум и вижу улицы новых городов Севера, на чьих октябрьна присутствовал.

Медленна поступь коня, так медленна, что хочется встать и пешком итти к Среднеколымску. Но дороги вдруг рас-

ходятся рогаткой, и я не знаю, куда мне держать путь. Нарты выползают из леса на озеро, покрытое зимним убором. На озере гуляет ветер, и мороз щиплет кончик носа, который едва виднеется из пушистого малахая.

Я спрашиваю в селении Келие Екатерину Ивановну Лаптеву, якутку, говорящую по-русски:

— Не надоели ли вам гости?

— А мы ждем гостей! Нам без них скучно! Новости узнаем, капсе¹⁾, — говорит Лаптева.

«Терюролах».

Терюролах! Это по-русски значит «Рождается жизнь». Кооперативное товарищество третьего Мятюжского наследия Талакьюэльского тогоя, местности Орелах. Это — начало колхоза. Первичная его ступень. Пушно-транспортная артель объединяет десятки юрт. При вступлении в члены артели вносят в пай орудия лова, отдают коней, ловушки. И лишь часть из них идет в незыблемый капитал артели.

«Рождается жизнь!» Это звучит гимном, торжественным маршем в глухома-ни тайги.

В юрте за столом несколько человек. Одни просматривают столбики цифр, другие бросают эти цифры на счеты. Председатель артели жалуется мне на безлюдье, на отсутствие работников в таком большом деле, как коллективизация.

Мы уже близки к городу, к Среднеколымску. Нам чаще попадаются встречные, и с каждым из них наши ямщики затевают пространные капсе.

В Дабуе уже появилась цынга. Нет обуви и теплой одежды у Киурта. Об этом нам рассказывает встречный конюх Наговицын. Он едет в тайгу «по сено», закупать его у якутов для киуртовских лошадей. Чтобы доставить два воза сена в Среднеколымск, он везет четыре. Из этих четырех два будут съедены конями в дороге, длинной и тяжелой, и до Среднего конюх довезет из четырех возов сена только половину.

Наговицын вместе с рабочими пришел верхом из Якутска в Среднеколымск

через Оймекон. Семь месяцев ехали рабочие из Якутска в Колыму, выкармливая по дороге лошадей и давая им частые дневки. В пути убили четырех медведей, которыми питались. Белокурый парень не собирается цынговать, он бодр и весел, и за плечом у него гармонь. Я спрашиваю: для чего ему гармонь в глухой тайге в такую стужу?

— Я не знаю якутского языка. Приезжаю в юрту, угостят меня якуты хаяхом или строганиной, я им песни играю, — говорит конюх, скаля крепкие зубы и растягивая лицо в широкую улыбку. — Только вот в одной юрте начал играть, да бросил. Было принялся растягивать гармонь, а тут вдруг как замерячит одна старуха у камелька, — деваться некуда! Чорт с ней, думаю, с игрой, и застегнул гармонь.

Вот и Лабуя, где в затоне стоят сейчас два катера, приведенные в этом году с Дальнего Востока от берегов Тихого океана в Полярный бассейн. Здесь, в Лабуе, зимует «Якут» — пароход, пришедший в Колыму с Лены на буксире сказочного «Сибирякова». Высокий берег отвесно высится над Колымой, и я вспоминаю мыс Шелагский, остановивший нашу флотилию собранными возле себя тяжелыми льдами.

Последние километры перед Среднеколымском. Я вижу огни камельков полярного городка, жизнь которого недолговечна.

Его заменит Лабуя, разрастающаяся в новый город колымского Севера Советов.

Будущий город Колымы увидел первый колымский пароход всего лишь в 1931 году, двенадцать месяцев назад. Это был «Ленин» с величайшей реки Сибири Лены, приведенный сквозь льды Полярного моря из Якутска в Среднеколымск капитаном Бочек.

И той же дорогой, зимними лесами от Колымы в Якутск, которыми возвращался в Москву Бочек, первый капитан колымского «Ленина», прохрустит по смерзшемуся снегу и моя оленная нарта. Этот капитан проводит сейчас полярную ночь у берега Полярного моря, в Чаунской губе, где у подножья горы сутулится дом фактории Певек и дымят

¹⁾ Разговор.

кострами несколько чукотских яранг, а в ледяных торосах стоят зазимовавшие корабли. Я прошел вместе с этим мужественным человеком моря из Тихого океана в полярные страны и простился с ним у белых гор Чауна, сверкавших снегом и солнечной позолотой.

И далеко от меня, теперь уже за тысячу с лишним километров, я все еще вижу стоящие в ледяных торосах пароходы и слышу хруст катанок по смерзшемуся снегу одиноко прогуливающегося у гористого берега начальника Чаунской зимовки капитана Бочек.

Он далеко уходит по утрам берегом моря, которое полонило его вместе с кораблями. Маленький черный силуэт моряка, достигшего мыса Медвежьего в тяжелый второй Международный полярный год, я явственно еще вижу, закрыв глаза, в полугрезе, на своей уходящей в неизвестность лесов нарте. Маленький человек в финской шапке и собачьей куртке, с черными глазами, смотрящий то по-детски мягко, то сурово-властно.

Четыре месяца назад мы встретили за Дежневым лед. Море не пропускает корабли. Командиры судов требуют поворота. Только начальник экспедиции Евгенов и его заместитель Бочек, поддержанные молодым капитаном, коммунистом Караяновым, стоят за поход до места назначения. И я вижу чуть побледневшее, но мужественно очерченное лицо капитана Бочек, произносящего гневную речь на экспедиционном судне. Он требует продолжения похода.

И в затоне Лабуя, который потонул сейчас в белесой мгле полярной ночи, река Колыма принимала на зимнюю стоянку свой первый пароход «Ленин» и ее первого капитана, проложившего новый водный путь. Это послужило началом нового города на Колыме — Лабуи.

В полярном городке Среднеколымске керосиновые лампы и свечи горят в домах и юртах, и клуб украшен красным флагом, и все еще величественно смотрит покосившаяся от ветхости мачта радиостанции. И кажется шумным даже этот безмолвный город после зимнего сна тайги и немых просторов пройденной тундры.

Радиостанция работает с перебоями из-за нехватки горючего для мотора. И при мне граждане Среднеколымска вместо платы за телеграммы приносят с собой литры с керосином. Так начальник радиции мобилизовал горючее и, запустив однажды мотор на два часа, передал скопившиеся радиограммы по назначению. Все обещало на этой полярной радиции: от развалившихся стульев до исторического ключа, которым еще работают радисты. Новому городу Лабуе необходима и новая радиостанция.

Я вижу в клубе подростка лет семнадцати в круглых дымчатых очках и в гимнастерке, нелепо расшитой красными галунами. Улыбка не сходит с его лица. Он черноволос, немного скуласт, говорит, картавя по-детски. Он — колымчанин. Движения его неожиданны и резки. Он то и дело меняет места в ожидании киносеанса и перед самой картиной вдруг исчезает куда-то. Он пришел недавно в Киурт и, назвавшись помощником уполномоченного ГПУ, потребовал выдачи заработной платы одному рабочему, которому в этом без основания отказывали. Работник бухгалтерии немедленно уплатил рабочему следуемую сумму.

Этот подросток приходил не раз в учреждения и даже квартиры города, пытаясь арестовывать людей, сорвавших, по его мнению, снабжение Колымы в 1932 году. О его помешательстве знают все в городе.

Мне показывают отношение (за номером) начальника среднеколымской милиции:

«Доводится до сведения всех учреждений города Среднеколымска о том, что гражданин Сыроватский болен стихийной болезнью. Просим не обращать на него никакого внимания и не дразнить его подобными словами».

Я убеждаюсь еще раз в убогости колымских кадров. Во весь голос хочется прокричать о том, что новой Колыме необходимы легионы новых людей.

Каждый раз, когда, проехав несколько сот километров по таежным тропам на собаках, оленях или лошадях, я сажусь за тетрадь, чтобы вчерне набросать на бумагу мысли и образы, на-

веянные пройденным путем, мне кажутся особенно теплыми и приветливыми юрты и поварни, освещенные мигающим светом камелька, у которых пишется моя полярная повесть, повесть о скитаниях по холодным морям и землям. И забываются сразу морозы, леденящие душу. И кажется, что все это — сон или недорассказанная сказка. Потому, что так долго и так много нельзя ездить ни по одной стране мира, кроме великого Союза Советских Республик.

Островное-Пальхен, Нижнеколымск, Среднеколымск. Количество этапов пройденного пути растет с неделями, и красной нитью протягивается все длинней и длинней расстояние, отделяющее нас от зимующих пароходов. Мы приближаемся к Якутску, к Москве.

А когда садишься на нарту и теряются из виду юрты полярных селений, то кажется, что это движение и есть твоя жизнь, вечная нарта, ползущая в горы, леса, по долинам замерзших рек, в стужу, в ветер, в непогоду.

17

Каюр Андрей Слепцов, якут, везет нас на широких оленных нартах от Среднеколымска, в котором мы остаемся, как и в каждом полярном городе, своих новых друзей. На этот раз это геолог Цирель-Спринсон — познаватель зырянских углей Колымы — и астроном-геодезист Зеленский, сотрудники Комсеверпути — энтузиасты науки, отказавшиеся ради нее на два года от шума столичной жизни.

У геолога Циреля на столе — Александр Блок, Пушкин и новые книги издательства «Академия». Этих книжников еще не видала Колыма.

Через две недели геологи поедут на Зырянку. Первый колымский капитан Горовацкий ездил на Зырянку для того, чтобы узнать, судходна ли эта своявольная река.

От устья река Зырянка оказалась судходна километров на пятьдесят вверх, а до угля еще остается около семидесяти непроходимых рекой километров. Там Зырянка местами шириной до одного километра, но русло ее запол-

нено островами, печками, заваленными плавником, осередышами. Фарватер крайне извилист и трудно различим. Берега осыпаны, обвалысты и покрыты лесом. Большие быстрины местами не замерзают и в зимнюю пору.

От угля до судходной части Зырянки придется строить дорогу берегом прихотливой, горной реки. Уголь Зырянки даст силу колымскому водному пути, его пароходам.

Каюр Андрей Слепцов водил по сорок оленных нарт цепочкой. Недоуздок оленей каждой нарты, начиная со второй, соединен с кобылком впереди стоящей нарты. И, словно поезд в двенадцать оленных сил, мчится наш караван, окутанный паром дыхания разгоряченных животных.

Лес. Озера. Мороз и снег. Снег на реке, на озерах, на пушистых ветвях лиственниц, на мохнатых шкурах оленей и на венчике моего малахая, опущенном полярной собакой. А назавтра — морок. Небо пасмурно. Я мысленно вглядываюсь в пространство мира по широте, которой бегут сейчас мои нарты, и ясно вижу весь север планеты, опоясанной снегами и стужей. Целый день сидишь на нарте, запрокинув голову к небу, где светится самоцветами крест Ориона, искрится и мигает Сириус, детским рисунком протянулся ковш Большой Медведицы и змеится Кассиопея.

Чередуются леса, перелески, реки, озера и застывшие, закрытые снегом болота, гати и топи, и мысли идут в голове вереницей друг за другом, как олени — цепочкой. Каждая мысль сцеплена с другой, будто олень с нартой. Я слышу, как Андрей переходит от монотонной якутской подвывающей песни к песне Демьяна Бедного «Как родная меня мать провожала».

По утрам он сзывает оленей, которые далеко разбрелись по лесу от места нашей ночевки. Он гойкает.

— Гой-гой-гой! — кличет по лесу оленей каюр Андрей Слепцов, идя по их следам, широко вдавленным в глубокий и податливый снег.

Первая ночевка в Ачигей у «населения», как себя называет каждый местный якут, хотя бы он был в единствен-

ном числе на целые сто километров, а вторая — в палатке на берегу озера, окаймленного лесом, который искрится серебром запушенных снегом ветвей.

Мы едем не как в тундре «на проходную», но почтовыми, станционными оленями. От станка к станку, от юрты к юрте. Перегоны в пятьдесят и шестьдесят, и даже сто километров без людей и поварен. Мы ночуем ныне с якутом Андреем в палатке, как некогда в тундре с чукчей Атыком.

Утром слышен звонкий призывный голос в тайге:

— Гой-гой-гой!

Это Слепцов идет, продираясь сквозь лесную чащу, осыпая на свои широкие плечи снег с ветвей лиственниц и хлестко бьющего тальника. Он гойкает, собирает оленей.

— Олень готова! Барда! Барда! — входит в палатку Андрей, внося за собой облачко холодного воздуха.

Андрей во время бега оленей часто соскакивает с нарты для того, чтобы поправить алык, или останавливает всю упряжку, чтобы проверить, не свалилась ли с какой-нибудь нарты поклажа.

Он напоминает мне Атыка, только якут чуть выше ростом и худощавей. Но тот же бронзовый загар на скуластом лице, черная шапка нечесаных волос с синим отливом воронова крыла, во рту — трубка черкасского терпкого табаку. Торбаза у Андрея якутские, выше колен, сохатинные, камусные. Он одевает их сверх своих ватных штанов. Здесь, в Якутии, холоднее, чем в тундре, но якуты одеваются беднее чукчей, и одежда чукчей теплей и красивей. Таких оленей, как на Колыме и в Восточной тундре, нет на Индигирке. У колымского и восточнотундрового оленя мягкая, пушистая, ровного цвета шерсть и хорошо сохраняет тепло. Но одежда Андрея, несмотря на ее якутскую скромность, затейлива и необычна. Пыжиковая, кофейного цвета, кухлянка и шарф из черных беличьих хвостов защищают каюра от стужи. Он спит, покрывшись заячьим одеялом, которое обшито волком.

Бурматов с мыса Биллингса был прав, когда защищал на Певеке у Чаунской

губы достоинства коротких торбазов. Короткие торбаза и сверх них меховые конайты — вот чукотская форма одежды; брюки в длинные торбаза — так ходит якут. Высокие торбаза черпают снег, и ежедневно по утрам, после ловли оленей, Андрей выворачивает торбаза, полные снега.

Андрей часто смотрит не вперед, а назад, и я вижу издали его пытливые глаза, наблюдающие за бегом оленей и ходом нарты. Вдруг облако пара, поднявшееся над оленями, разгорячившимися от бега, скрывает Андрея, и я с трудом в тумане различаю трясущиеся зады оленей своей нарты.

Первая дневка в Эбяхе, в насовете (наследном совете), в огромной юрте, где просторно и холодно, будто на улице.

Ночью светит луна первой четверти. Это уже третья луна, которую мы видим по пути из Певека, от зазимовавших судов. Третий месяц, как мы движемся зимним путем от Полярного моря на запад, но пока еще не на юг. От Среднего мы берем снова на север, поднимаясь к Абыю, и от него к Верхоянску — полюсу холода мира.

Молодые якуты в Эбяхе говорят между собою на языке, который мне еще непонятен, и я часто слышу слово «Буденный».

В юрту входит молодой якут, немного говорящий по-русски. Здесь, за Полярным кругом, в пяти тысячах километров от железной дороги, никогда не было красной кавалерии, и я спрашиваю для проверки у якута — не есть ли слово «Буденный» — якутское слово.

— Буденный? — переспрашивает меня якут.

— Да, Буденный! Что значит это якутски?

— Это известный комиссар красная кавалерия.

— Вы — комсомолец?

— Да.

— Но откуда же эти люди знают про Буденного? — спрашиваю я у комсомольца.

Только к вечеру выясняется, что якуты говорили о нас, часто произнося

слово «Буденный», потому что «бу-ден-ны» означает по-якутски: «эти люди».

— Я спросил в тот вечер комсомольца, знающего настоящего Буденного:

— А знаешь ли ты Максима Горького?

— Знаю! Это — известный писатель!

— А Пушкин?

— Пушкин? — и парень на мгновение зарумянился. — Пушкин? Он... гоже пийшет, — ответил молодой якут.

По пути в Эбах Андрей показал мне следы сохатого и, взглянув на винчестер, сказал:

— Кушай хорошо!

Печь нагревала палатку необычайно быстро и все лишь потому, что вход для дров и поддувало закрывались не дверцами, а колпачками на выступающие железные цилиндры. Получалась такая сильная тяга, что печь гудела и раскаливалась докрасна. Не зная этого колымского способа изготовления железных печей, наши товарищи, зимующие в Чаунской губе, сидят сейчас в дымных каютах.

Олени Андрея пробегали в день по семидесяти километров, могли дать и все сто, но ямщик щадил их. И все же один олень как-то упал с полного хода. Андрей поднял его.

— Что, Андрей, олень сухой? — спросил я.

— Нет, он не сухой, он хитрый, не хочет работать, — ответил мне Андрей. — Он хитрый! — повторил ямщик.

Олень хитрит уже несколько раз, и Андрей, подвязав к нему ботало, оставляет его одного в лесу, приговаривая: «Хитрая оленя! Кусаган!», и гонит его от упряжки.

Он отпускает его на ягельные корма, потому что олень не только хитрый, но и сухой, не жирный.

Через несколько дней на обратном пути Андрей разыщет оленя по следам в лесу и возьмет его в город.

Мы больше не увидим собачьих упряжек. И это — к лучшему. Стоят пятидесятиградусные морозы и часто — с ветрами. На узкой открытой собачьей нарте долго не высидишь, замерзнешь, «ознобишься», как говорят колымчане. На просторной оленьей нарте, где можно

лежать, забравшись в кукуль, значительно теплей, и от поварни до поварни или от станка до станка редко успеваешь сильно простыть.

— Э-э-э! — покрикивает на оленей Андрей. Он пугает их своим диким вскриком. И в этом крике я слышу огромную силу, и этого голоса олени боятся, как удара палки о неспитенные рога. Передним оленям тяжелей; каюр часто перепрягает их, заменяя свежими, которые бегут позади последней нарты без нагрузки.

Я слышу позади себя глухой звон ботала. Это бежит олень, которого ямщик прогнал в лес. Олень не нашёл корма и прибежал, как собака, к своему хозяину.

Мы расстаемся с Андреем в Эбахе. Дальше едет с нами новый ямщик, уже на других оленях.

Мы покинули Эбах, его единственную юрту, в пять часов вечера. Небо было ясное, звездное. Мороз не унимался. Я закрыл лицо шерстяной варежкой и дремал на нарте. Проснулся от сильного холода. Впереди меня стояла нарта без людей, но с запряженными оленями, а позади — ни одной. Я один в лесотундре. Где-то на горизонте чернеется перелесок. Куда девался ямщик? Где мои товарищи?

Я не вижу следов людей по дороге. Белые, как снег, олени лежат на снегу и дремлют. Я охаю на них, так же, как охаю ямщики, но олени не шевелятся. Я решаю: ехать вперед, пробираться к юрте, до которой, не знаю, близко ли, далеко ли. Но олени так устали, что не везут меня: я иду рядом с ними, и они едва тянут нарту, к которой туго привязан мой вещевой мешок. Олени бредут недолго и вскоре останавливаются. Я снова гоню их вперед. Моя нарта брошена ямщиком очевидно из-за оленей, отказавшихся идти дальше. Скоро, должно быть, за мной пришлют свежих оленей из ближайшего станка.

Вдруг мои олени переходят на рысь, сворачивают резко влево, в лесок, и начинают копать снег, отыскивая ягель. Что я ни делаю, как ни бью оленей, как ни кричу на них, — все напрасно. Мне не отогнать оленей от корма. Тогда я

сажусь на нарту и пытаюсь забраться в кукуль, переспать ночь, пока не подкормятся олени, чтобы со светом ехать вперед.

Вдруг я слышу голоса.

Я окликаю людей. Это мои товарищи, с которыми мы держим совместный путь от Полярного моря к железной дороге.

Оказалось, что произошел отрыв двух задних нарт. И сколько ни кричали нам люди с оторвавшейся нарты, ни я, ни ямщик их не услышали. Ямщик заметил отрыв слишком поздно. Видя меня спящим на нарте, он не стал меня будить и пошел с оленями назад, к оторвавшимся нартам. Он прошел за ними шесть километров, и столько же шагали в пятидесятиградусную стужу мои спутники до встречи со мной.

Мы недолго прождали возвращения ямщика. Только позднее я вспомнил, что чувствовал, будто во сне, как Кеша Гуляев, наш ямщик, отвязывал оленей позади моей нарты и куда-то переходил. Я подумал, что ямщик, как обычно, перепрыгает оленей.

Ночевали в Бердигестяхе. Я рассчитал, что в тот день было уже шестое января нового года, который мы встретили в одиночестве с ямщиком, в палатке, в лесу, на берегу озера, вдали от людей, в пятидесяти километрах от ближайшей юрты. Уже две недели, как день пошел на прибыль. Скоро покажется и солнце. Мы увидим его недели на две раньше, чем наши товарищи в Певеке.

Олени падают.

— Кусаган оленя! Бугатын кусаган!

— Плохие олени! Совсем плохие! — говорит ямщик.

Теперь у нас каждый день другие ямщики и другие олени. Мы едем на перекладных, на сменных оленях. Ямщики часто идут впереди оленей. Пятнадцать километров шел ямщик Алексей пешком впереди упряжки и затем бросил свою нарту в лесу, а оленей подвязал сзади «в запас», на случай если кто-либо из тянущих оленей откажется работать.

Худых оленей сменили жирные, они весело бегут с бубенцами, по сто кило-

метров в день. Перед нами — поварня. Мы проехали уже пятьдесят километров «без людей», и это — первый и единственный домик для всего стокилометрового перегона. Избушка, на курьих ножках, без окон и дверей. Окна зияют дырами, никто не вставил в прорезы окон ни, рам, ни льдин, никто не затянул окна хотя бы оленьими шкурами.

Сказочный дом в сказочном лесу, — мне представляется все это небытием, нереальным, легендой о мертвой, онемевшей земле, в которую собираются вдохнуть жизнь. У поварни не было ягельника, и мы пошли на оленях дальше за десять километров, отпустили их в лес и разбили палатку.

Вечером спускались с перевала. На перевале ветер тянет, как в трубу. Жмет лицо ледящей рукавицей. Здесь — водораздел Колымы и Индигирки.

На спуске с перевала нарты набегают на нарты, стуча друг о друга, словно зубы от холода. Это — перевал Сысь, километрах в пятнадцать за поварней ближе к Абыю. Навстречу нам пять нарт из Абыя идут с грузом в Среднеколымск.

Приближаемся к темной юрте. Разжигаем угасший было камелек. Два человека спят на нарах.

От Эбяха мы проехали триста километров, не видя людей. Мы продвигаемся еще по безлюдью. Только это не безлюдье тундры. Там оно отягощено бездорожьем, а здесь хорошо накатанная нартами тропа, и почти ежедневно наши ямщики заводят предлинные «капсе» — разговоры со встречными якутами. И каждый вечер после короткого сумеречного дня перед нами рассыпаются золотые снопы искр из широких труб.

Сто километров промчались на сытых оленях до Шестаковки. Вчера — бесконечный и крутой спуск во мглу, сегодня — на лесной тропе мы считаем ветви своими малахаями, осыпая снежные кружева зимних лесов.

Нарты выбегают на Индигирку. Берега реки изрыты и подрезаны промчавшимся здесь ледоходом. Река широка, и я вспоминаю вдруг ее соседку —

Колыму, которая в короткий срок обогатилась пар.ходами. И бесфлотная Индигирка кажется мне бедной родственницей на празднестве начинающих богатую жизнь водных артерий Сибири.

Скоро Абый! Сутораха—Арытыбу—Дайдалах — Абый. Вот, что осталось нам до городка, в котором два десятка жилых строений.

От Сутораха ехали долго по Индигирке и затем поднялись в гору, в тальники.

В Сутораха ямщик Егор долго объяснял, что от Сутораха до Арытыбу, до Дайдалаха—«берсты средние», от Дайдалаха до Абыя — «берсты самые маленькие».

— Там олени учугей¹⁾ и дорога учугей!

Полная луна заливают ярким светом полярную страну, по которой движется наш оленный караван. Мы торопимся от юрты к юрте, словно в море от мыска на мысок старые поморы-зверобои. Скоро погаснет третья луна и взойдет четвертая, а мы еще не взошли на Верхоянский хребет, не перевалили его.

Сегодня рассказывается семидесятая сказка полярной Шехерезады. А мы все движемся и движемся, и сказка продолжается.

Наутро перед самым Абыем одновременно со всех нарт мы восклицаем вдруг:

— Солнце!

Мы видим его впервые после Нижнеколымска. Мы расставались с этим божеством древних египтян на долгие тридцать дней.

Оно горит огненным, алым полушарием и не в силах оторваться от горизонта, будто отяжелел от зимней спячки в полярную ночь.

Девятнадцать юрт — домов-балаганов, — вот и весь полярный поселок Абый. От него идет вдаль одноименное озеро километров пятьдесят в окружности.

И в юрте, где я греюсь у камелька, мне показывают стихи Петра Черных-Якутского, старательно переписанные в общую тетрадь. Стихи о камельке.

Камелек — это бог балагана,
Яркий факел средь мрака и тьмы,
Он звездою блестит из тумана
Темной ночью якутской зимы.

Чье усталое сердце не бьется
На дороге, завидя огонь?
Даже лошадь быстрее несется, —
Чует отдых измученный конь.

Камелек осветит и согреет,
Медный чайник с водой вскипятит
И дорожные думы развеет,
Сладкой грезой очи смежит.

И забудешь невзгоды дороги
Под приветливый треск огонька,
Разувая изыбшие ноги
В золотой теплоте камелька.

И развесив на грядах высоких
Рукавицы, чулки, торбаза,
На олоне¹⁾ в мечтах одиноких
Ты до утра закроешь глаза

И поток теплоты камелечной
От мороза тебя сохранит
Пусть за стенкой во тьме полуночной
Плачет вьюга и ветер свистит!

Завтра от'езд в Верхоянск.

В Абые мне много говорят о наледях и крутизне Верхоянского перевала. Сейчас январь, месяц морозов и наледей на горных реках. В Абые морозы давно уже перевалили за пятьдесят градусов. Завтра — от'езд в Верхоянск, к полюсу холода, и потом — резкий поворот на юг, к заветному Якутску, к воздушному тракту, переносящему людей под крыльями самолетов на расстояния, непосильные в короткие часы ни собакам, ни оленям, ни лошадям.

Городок Абый перекочует на Индигирку с озера Абый, на котором он опочил, давно прекратив рост. Вслед за колымскими городами меняет и Абый свое место. Он не будет, как прежде, городом иждивенцев, он станет центром новой Индигирки, куда заведут первый речной флот. Индигирские пароходы облегчат работу оленей по переброске грузов в Индигирском районе.

И как будто бы я не был никогда в этом крохотном городке, где стоят, приплюснувшись к земле, снеговые домики-балаганы. У двери, обитой оленьей шкурой, гремят боталами олени. И снова скрип полозьев по снегу, хваченному морозами. Морозы ослабели. Морок затянул ясное небо непроницаемо-серой тканью, и кажется, словно небо нависло

¹⁾ Хорошо

¹⁾ Нары

над самой головой. Уменьшилась видимость. Вдалеке где-то едва чернеется лес, его завесил туман.

18

К Верхоянску я продвигаюсь один. Впереди на нарте — ямщик. За нартой ямщика бегут два оленя моей нарты. Мои олени белые, как снег. Как только начинает угасать день и сумерки ложатся на Абыйское озеро, вдруг исчезают мои олени, становятся невидимыми, и нарта катится, словно самоход. Я не вижу передней нарты, но я слышу заунывную песнь ямщика. Это не песня, это всего лишь несколько звуков, которые, лениво и медленно перемежаясь, плывут впереди меня, как у чукчей по горным замерзшим рекам Восточносибирской тундры, как у колымчан на Колыме.

Нас двое в этом безмолвии.

Куда едет ямщик в эту темень, уже поглотившую Абыйское озеро? Как находит он дорогу в этой белесой мгле, от которой больно глазам? И вдруг перед моей нартой вырастает из темени высокий шест. Это вешка. Путь обвехован по длинному озеру для ямщиков, как на реке фарватер для пароходов.

За двенадцать рублей на первом же станке я покупаю оленью нарту. Она повезет меня по наледям горных рек через леса и горы к Верхоянску и Якутску. Я еду без ночевки на выбитых оленях, которые измучены перевозками по тракту грузов и людей, но все же бегут из последних сил.

Винчестер привязан к нарте крепкой крученой бечевой, и достаточно мне потянуть только за петельку бечеву, как винчестер уже освобожден от привязи и готов к действию. Но против кого? Я вижу днем, когда снег залит лучами лениво поднимающегося солнца, только следы зайцев. Волки, о которых я слышал еще с самой тундры, боятся нападать в одиночку на человека. А медведи у тунгусов и на Енисее не принято стрелять.

— Он тебя не тронет, и ты его однако не пошевели.

Изредка встречается сохатый. В каждой юрте близ камелька оттаивает тушка зайца-тобока, задавленного западней в лесу.

Небывалый набег на Верхоянский тракт зайцев и диких оленей.

В каждой юрте сушатся длинноворсистые шкуры диких оленей. И в первых же станках от Абыя к Верхоянску я слышу разговоры о тарыне. Тарын якутски — наледь.

— Юрах улахан тарын бар!

— Далеко — большие наледы!

Мы кружим с ямщиками в туманах, нависших над озерами, и деревья в ночном лесу, словно живые, вырастают из мглы перед самой моей нартой.

Ямщик вдруг бросает нарты и уходит далеко в ночную темень, и я пересгаю видеть его черный силуэт и не слышу скрипа и шума его шагов. Ямщик ищет дорогу, которую потеряли олени. Если только перед нами в тундре была дорога, никогда собаки Атыка ее не теряли. Олени бегут быстрее собак и больше их могут пробежать за день, но постоянно сбиваются с пути. И часто вместо скрипа полозьев я слышу давящий шум по глубокому податливому снегу тундры. Олени сбились с пути. Они остановлены ямщиком. Ямщик закуривает крепкий листовой табак и уходит от нарт — искать, ущупывать торбазами и палкой потерянную крепкую дорожку, которая выдерживает тяжесть нарт.

Я пью чай с мороженой морошкой. Мороженная ягода разбухает в горячей воде, словно я набросал в стакан ее свежесорванную.

На станции Сорочколах не оказалось сменного ямщика, и мой старый ямщик едет вперед на двадцать километров, где надеется найти смену.

Чем теплей, тем меньше наледей. И, как только ударит мороз, наледы вылезают, словно звери, на поверхность рек голубыми, студеными озерами, страшными одинаково и человека, и оленя.

Сейчас бы ехать да ехать в это тепло, которое, кажется, повисло на опушке моего малахая и, словно росой, окропило мой шарф. А тут, как говорят якуты:

«Наказание да наказание!» Нет сменного ямщика.

Мой ямщик соглашается ехать со мной вперед еще на сто километров, до смены. Сто километров без людей, без жилья, без поварни, на уставших оленях.

- Оленя худюя.
- Оленя сухюя.
- Оленя кусаган.
- Оленя богатин кусаган.
- Оленя — покойник, — слышу я эпитеты, рассылаемые ямщиком.

С горы на гору, с озера на озеро, из перелеска в перелесок нескончаемо бегут нарты. И после Истиняха на горизонте я вижу вдруг очертания причудливо изломанных фиолетовых облаков. Чем ближе мыдвигаемся к ближайшему станку, тем становится яснее, что это не облака, а горы, хребет, «мульчой камень», как любил говорить Атык. И я вспоминаю чукчу-каюра. Он теперь уже давно в родном Певеке у своей неужки — жены, — в пологе яранги, где жирник излучает тепло и свет и пар стоит над огромным чайником. А быть может, Атык мчится на нарте по берегу моря, и передовой Эспикр гордо, не оглядываясь, ведет за собой упряжку, послушно и чутко гаркаясь каюру.

Короткий день убежал, как олень, нависла темень ночи. Снова морок. Мелкий снежок слепит глаза. Снежинки тают на разгоряченном лице, и теплые струйки снеговой воды сбегают на мохнатый и длинный шарф, подвязанный туго, по-якутски. А на озерах, где ветер не знает удержу, мокрый шарф примерзает к моим усам и бороде и опушка малахая обрастает вмиг сосульками величиной в орех.

— Собаки плохо, улени хорошо!

Я вспоминаю это постоянное и любимое выражение Атыка.

Атык ошибается. Мои олени едва бредут по глубокому снегу-уброду, и мы жжем ночью три костра. Мы делаем ночью три привала, чтобы дать оленям отдохнуть.

— Олени кушай, онтон ¹⁾ барда! ²⁾

Так обещает мне каюру.

— Олени покушают, а потом барда — поехали!

Мы сушимся у костра. Плохая эта сушка. Не просыхают наши полярные одежды. Олени копают поблизости снег в поисках ягеля и после короткого роздыха попрежнему едва волочат нарту.

— Суол суох!

— Дороги нет!

Дорогой Атык! Без дороги трудно итти с нартами по глубокому снегу и оленям. С беговыми нартами, быть может, и здесь, по этому уброду, разбежались бы сейчас олени, но, как скафандр на берегу связывает водолаза, так и грузовая нарта не дает ходу нашим уставшим оленям.

Мы сжигаем уже два костра в темени этой ночи, безлюдной, безмолвной и настороженной.

Я иду за нартой. Пять километров я прошел за оленями, едва вытаскивая из глубокого снега свои широченные конайты. Я снимаю сначала кухлянку, потому что мне становится невыносимо жарко. Я бросаю кухлянку на нарту. А за кухлянкой я освобождаю себя от шарфа, который меня душит. Якут-ямщик бодро идет вперед, а я уже едва перебираю ногами.

Олени останавливаются, и здесь мы разводим наш третий костер и в третий раз сушимся, обогреваемся и пьем кирпичный чай. Падают под ударами топора сухостойные деревья, мы расщепляем на тонкие лучины, строгаем якутскими ножами поленья. И костер лижет огненными языками ночную темень.

Это вероятно последние костры на моем бесконечном пути в Москву.

Сто километров без людей, без жилья. Ни голоса человека, ни зверя, ни птицы. Мертвая, заפורшенная тайга.

Горные речки, по которым бегут мои нарты, не угрожают мне наледями. Тепло умерило их ледяной гнев, и ямщик ведет оленей по твердому пути застывших рек.

Ветер.

— Тыл да тыл!

Тыл — ветер — настолько силен, что будто рукой поворачивает мне голову, словно на самолете в открытом кормо-

¹⁾ Потом

²⁾ Поехали

вом отсеке. Ветер находит лазейку в каждую щелку одежды. Но, как только нарты вползают в ущелье, окаймленное высокими — до неба — горами, сразу исчезает тыл, будто кто-то перекрыл кран и нет больше доступа ледяным порывам.

Я в Кресте, на абыйской границе. Из Креста еду, не ночуя. На станках — сушка торбазов, чаепитие, и — барда дальше!

Наледей не было, но хрустящий шум потрескивающего под нартами льда я слышал на горных реках.

— Улахан тарын бар!

— Впереди нас есть большие наледы, — меня предупреждают на станке.

Вода местами доходит до колен. Мои плекеты-торбаза боятся воды, а на станке не у кого одолжить торбазов, которые не пропускали бы воду.

И, как только нарты выкатываются на горную широкую реку Догдо, я слышу впереди себя стеклянный звон льда, ломающегося под ногами оленей. Бежит по разломанному льду голубая студеная вода. Она приближается к моей нарте. Я встаю на сиденье. Сейчас хищная вода промочит мои ноги. Сегодня не холодно, не более тридцати градусов мороза, но я могу потерять здесь, на этой коварной реке, ноги или руки. Олени скользят по льду, закрытому набежавшей водой, и не могут сдвинуть с места попавших в наледь нарт. У барана моей нарты наторошены горы тонкого льда, и я выкидываю его из-под нарты. Волчьи пушистые рукавицы, замоченные в воде, миг обледеневают и становятся звонкими.

Ямщик бредет по воде наледи и тянет за повод оленей, став к ним лицом. Вдруг ямщик поскользнулся и сел в воду. Я не вижу на его лице ни испуга, ни удивления. Он встает. Стеклянной корой сразу покрывается его одежда и обувь, и он снова тянет оленей из опасного места.

Вода прибывает. Она подпирает уже борта нарты и скоро захлестнет лежащий на ней мой кукуль из оленьей постели. Вдруг рванулись передние нарты, а за ними побежали и мои олени. Мы уже на твердом ледовом настиле реки

и оттуда стремимся к камням, которыми завален берег. На этих камнях, по их скачуще-громыхающей дороге наше спасение, и олени чувствуют это. Они тянут из последних сил к берегу. Ледяная дорога перестает ломаться подо мною, и тверда стеклянно-ледовая витрина горной реки. Она тверда потому, что мы гремим нартами теперь уже по камням берега. С камней реки нарты выбегают снова на голубой лед, но здесь он крепче, звенит, но не разламывается.

В станке Курелкане, где ямщик обивает палкой свою одежду, обледеневшую от воды наледей, нам рассказывает старик-якут, что впереди — еще самые большие наледы. Впереди — Курелкань! А в Курелкане — улахан тарын!

Мы лезем на высокую гору. Я иду за нартами, облегчая работу оленей. Спуск. Нарты нагоняют и бьют оленей по ногам, и олени, предупреждая нартные удары, мчат из последних сил вниз, под гору.

С кручи спуска олени выносят нас сразу на голубую наледь реки. Вся река здесь в синих пятнах озер, словно это не река, а запорошенная земля, а вода озер — горячие источники, не замерзающие в абыйские морозы. Звенит разламывающийся лед, и я привстаю на нарте, ожидая набега подледной вожды. Длинной хворостинной гонит ямщик оленей, кричит, будто стонет, или ухает позвериному. Он гонит их совсем не туда, куда направлял их за мгновение до того, как под нами зловеще разбежались линии изломов на голубом, тонком льду. Мы берем направление на другой берег реки.

— Еще одна наледь и конец! — говорит мне ямщик-якут.

Через час я спрашиваю его, далеко ли до наледи. Оказывается, что мы уже проехали ее, не разломав ледяного покрова.

— Тарынь суох!

— Больше наледей нет!

Я угощаю ямщика табаком, и тут же, на ветру, он раскуривает выделанную самим из лиственницы трубку.

Я считаю ночи, которые не сплю в пути.

Уже седьмой день, как я не сплю, как я выехал из Абыя, как ползут в Верхоянск мои нарты.

Вот и Верхоянск. Я вижу огоньки этой столицы безлюдья, сибирских полярных просторов.

Если к Абыю, к самому городку, подошли сейчас дикие олени, то в Верхоянске в домах живут волки. Ночью они возле домов разгуливают на цепи, а днем сидят в избах, нежатся и играют, будто собаки.

— Вася, Вася! — зовет волка его хозяин-верхоянец.

Вася — крупный, матерый волк, но ему всего только семь месяцев. Заслышав голос своего хозяина, волк пригибается к полу избы и ползет на брюхе, как собака, выражая радость приходу своего кормильца. Как-то странно видеть волка, которого кормят не его ноги, а люди — его враги.

Волк таскает поноску, знает кличку, сживается с собаками, играет с ними в доме.

Щенок Пират играет с волком, а собака Венерка даже кусает его.

Возле дома — две якутские собаки. Они прибежали сегодня с горы, где гоняли зайцев. От якутской собаки Хаймут заяц никуда не убежит. Хаймута никто не кормит, — его кормят собственные ноги. Лошади, коровы, олени — на подножном корму. Перед самым Верхоянском на станках оленей сменяют лошади. И, подобно оленям, на остановках почтовых нарт лошади копают снег, выбивая из-под него траву. Все — на подножном корму!

Наледи кончились. Теперь — Верхоянский хребет, Тукулан, крутой перевал, Якутск, самолет и железная дорога.

Тогда прощай, полярный Север и сибирские просторы! Прощай! До слезующей, шестой с тобой встречи, встречи неотразимой.

19

Ночью перед тем, как зазвенели бубенцы почтовых нарт, с которыми я должен был спускаться на юг от Верхоянска, густосиннее морозное небо верхоянской ночи забегало в огнях полярного сияния. Такого сияния я не видал даже

на острове Диксон. Оно протянулось по всему небу и замерло, осветив ночной Верхоянск, подобно тысяче прожекторов из темного неба. Потом сияние чуть погасло, будто ослабела подача электротока, и занавес исчез, как мираж, как встречный пароход.

На улицах Верхоянска выли волки. Казалось, что будто где-то в море ревели пароходные сирены. Это выли девять ручных зверей. Раскатисто-трубно гремела волчья песня в горном кольце полярного городка.

Назавтра утро было морозное.

Верхоянск закрылся туманом, словно якут ночью в юрте пушистым белым, как снег, заячьим одеялом. Над лошадыми, обросшими густой шерстью, стояло облачко пара. Под полозьями нарт скрипела утоптанная морозом, будто стеклянная, дорога.

Коней сменили олени. Олени неслись с горы так же резво, как некогда Атык со своими собаками в Восточносибирской тундре с крутого перевала перед Островным. Словно рота голиафов прошлась по сухостойному лесу и выкорчевала его. На десяток километров лежали поваленные ветрами полярной Сибири лиственницы, распустив веером свои омертвевшие корни. Казалось, что это были не корни деревьев, а гигантские — не оранжевые, но черные — морские звезды, протянув свои хищные щупальцы. Сложить бы костер из этого поваленного леса да обогреть эту студеную землю! Сколько кухлянок, тяжей, торбазов, малахаев, обледеневших в пути шарфов и простывших рукавиц можно было бы высушить у такого костра!

Я еду до Ямской Якутии. Быть может, через много лет этот тракт будет гигантской улицей индустриализованной Якутии, и, подобно московской Тверской, здесь будут Якутские-Ямские улицы. Первая, вторая, третья, четвертая. По трактам теперешней Якутии.

Еще только вчера моя кибитка была на широте Нижнеколымска. Но сегодня олени выносят меня из полосы холода, от Верхоянска, на юг. По юртам я грызу сухари, запивая кирпичным чаем. И назойливо вонзаются в мозг слова поэта:

Насушу сухарей и поеду
 Далеко, далеко на юг,
 Туда, где синее море
 И кипарисы растут

В тундре мы искали яранги оленных чукчей. И раз в два или три дня я слышал вдруг возглас каюра Атыка:

— Утыка чукча ёронг!
 — Здесь яранга чукчи!

Он находил ее не глазами, но своим звериным чутьем издали, за несколько километров. А здесь, на Ямской Якутии, в день по два и по три, и по четыре раза я вижу юрты якутов. Они не так приветливы, как на Колыме. И столы юрт бедны угощениями. Здесь не видно ни кюорчах, ни суората, ни хаяха, и хозяева сами ждут подарков от приезжего.

В ночи перед оленями, у обрыва, в густом лесу, над горной рекой вырастает юрта, словно постамент из белого мрамора, залитого серебром луны.

Я захожу в юрту. Она безмолвна. Погас камелек. Его долго раздувает ямщик, и вдруг огонь охватывает поленья в камельке, и весело трещат сухие дрова, подавая жар в юрту. При мерцающем свете камелька я вижу на нарах под зачьиными одеялами людей. Они безмятежно спят. Я зажигаю свечу и ставлю ее на маленький стол у нар. Я выкладываю из походного мешка осьмушку доски кирпичного чая, несколько кусков белоснежного сахара и горку сухарей. И юрта оживает: со всех нар приподнимаются люди и тянутся к столу.

— Барёх билигин! Поедем сейчас! — говорю я заученные якутские слова. — Мин барэм буостанан, — я еду почтой!

— Ким мигингта барар? — Кто со мной поедет? — Утуй суох! — Спать не буду!

В ответ на мои скупые фразы ямщики засыпают меня щедрым якутским языком, и я не понимаю ничего.

— Бильбепин! Толкуй суох! Понимай нет! — воплю я скороговорящим ямщикам.

Я не сплю по юртам от самого Абыя. Я дремлю на нарте. Я узнаю о том, что спал перегон от станка до станка лишь по тому: видел или нет во сне далекую Москву и близких друзей.

Из Москвы, которая только-что шумела в моем сне, я переношусь сразу в юрту, где пьют якуты крепкий чай и тихо жует жвачку корова, кормилица семьи. В юрте пахнет коровником, теплым и влажным навозом.

Как далека теперь от меня Восточная тундра и зимующие корабли, но как близки, попрежнему зимующие на них моряки! Им осталось пробить в ледовом плену еще пять месяцев. Далеко бездорожные тундры. Здесь — дорога малолюдья.

Ветви надо мной плетут крышу, запошенную снегом. Этот снег осыпается, будто осенью пожелтевшая листва, как только олень заденет ветви своими рогами.

В три дня я пробегаю на оленях триста пятьдесят километров. Встречная почта. Короткое «капсе». Короткий разговор. «Нобости». Обмен новостями, и — снова в снежный путь с горы на гору. Все в горах. Всколмилась вся земля от Яны до великой Лены. Здесь — водораздел этих сибирских рек. Я не подошел к Лене на шхуне «Белуха». Два с половиной года назад нас не пустили к Лене полярные ляды. Я подбегаю теперь к великой реке на оленях.

Я писал в своей повести об Атыке, мастере, каюре-чукче, о бывшем шамане Коравье, о Слепцове, изумительном ямщике-якуте, о комсомольцах, советских светочах на краю земли, о подвижниках науки — колымских метеорологах, о многих писал я полярных людях. Но в повести у меня не видно героя. И все же он есть... Этот герой — движение! Движение вперед! — Тагам! Подъем сознательности! Звериная жажда к знанию! Буквари стенные по всем юртам! Грамотность среди ямщиков! Дети по юртам просят у приезжих не хлеб и сахар, а карандаши и бумагу! Движение! Собаки. Олени. Кони. Автомобиль до авиостанции в Якутске и самолет до железной дороги.

От собак до самолета. Движение! Вот мой герой! Это — герой Октября. Герой социалистической планеты. Движение!

Ночью в лесу, когда слышался вдалеке собачий лай, я вспоминаю вдруг

трубный, раскатистый голос верхоянских волков. Молодой врач Верхоянска Мокровский, три года отдавший служению полярному Северу и его людям, хозяин ручного волка, собирал упряжку из трех волков. Он мечтал на волках приехать из Верхоянска в Якутск, как сказочный чукча Рольтыргин. Один волк поднимал высоко в гору нарты, на которой каюрил доктор Мокровский. Волк слушался каюра, как собака, но не бежал, а стелился, будто по снежной дороге, ко всему принохиваясь, и, завидя чей-нибудь след, уж непременно шел по нему.

В Теньюрэхе я узнаю, что перед нами Верхоянский перевал Тукулан.

На стене теньюрэхской почтово-станции юрты белеется распоряжение управления связи Якутской республики:

«Настоящим ставлю в известность приезжающих с почтой пассажиров и почтальонов, что в виду наличия на прогоне большого, крутого горного хребта требовать перевозки через таковой в ночное время в виду опасности для приезжающих ямщиков и оленей воспрещается».

Теньюрэх стоит в лесу, окаймленный крутосклонными горами. Горы голубеют в снегах, и кажется издали, что это не горы, но облака застилают горизонт.

Мы поднимаемся все выше и выше. Подъем некрутой, и олени берут его бодрым шагом. У самого перевала не ревет ветер, как в Восточной тундре, на ее хребтах. Много снега намело на камни гор, и камни насупились под снеговыми шапками.

С вершины вниз круто бежит дорожка, как горный ручеек. По этой дорожке сойдут вниз оленные нарты, а за ними и я с палкою в руках.

Ямщик останавливает оленей. Он спокоен так же, как его ветвистые кормильцы. Он поднимается на высокий камень и оттуда пытливо высматривает дорогу, не оголился ли где-нибудь каменистый грунт из-под снега. Видно сверху, что дорожка, сбегаящая вниз, сворачивает вдруг, но куда? Вправо или влево? Ямщик хрустит по снегу своими торбазами, чтобы лучше высмотреть путь. Ямщик распрягает оленей и подпрягает их сзади

к нартам. Они будут задерживать стремительный бег нарты вниз с каменной крутизны.

Я снял с себя кухлянку, чтобы легче было спускаться с крутого перевала. Я иду по податливому и задерживающему мое стремление вниз снегу, опираясь на посох, словно библейский патриарх. Борода моя поседела от льдинок. Инеем расцветилась моя тужурка. Мне жарко. Я снимаю малахай и вытираю потную голову. Далеко подо мною внизу маленькие, будто собачки, стоят спустившиеся с нартами олени. И я снова вспоминаю тундру, Атыка, его бег на собаках с горных хребтов и мастерство этого каюра. После горных перевалов Восточносибирской тундры не страшен и грозный Тукулан.

За перевалом Тукулана нарты стучат десятки километров о камни. Я чувствую себя, словно в пустой бочке, которую спустили вниз по камням крутой горы. Слышен звон камней и тревожный стук нартяных полозьев, и кажется порой, будто они уже хрустнули.

Я случайно узнаю, что вот уже несколько станков я миновал с ямщиками-тунгусами.

«Тангус» — называют они себя. Они говорят по-якутски и так же веселы и говорливы, как их собратья на Енисее или на Тунгусах. Их юрты похожи на дома якутов, только камельки по станциям не деревянные, а выложенные из камня.

Станция Мерките. Здесь я прощаюсь с оленями. Отсюда к Якутску меня повезут кони, от Якутска — воздушные кони и от Иркутска — стальная конница.

Не услышу я больше гойканья якутов, зовущих для упряжки оленей по лесу.

— Гой-гой-гой!

— Мя-мя-мя!

Так съезжают якуты оленей с ягельников для упряжки. Иные ямщики, отправляясь гойкать оленей, берут с собой и горсть соли — лучшее лакомство оленя.

Якутские просторы еще не густо охвачены радиостанциями и воздушными путями. Нобости! Это — торбазное радио

Якутии! Капсе! Это — радио, которое приходит в юрту вместе с торбазами каждого приезжего.

Россомашья, Большая Бараниха, Колыма, Индигирка. Яна, Алдан — эти реки и десятки безымянных рек пересечены уже моими нартами.

20

За Алданом-рекой юрты стали ближе друг к другу. Леса перегорожены изгородами, выгонами для скота. Чувствуется близость города, столицы Якутии, самой малолюдной в мире республики. И, когда из лабиринта лесов, озер и рек, подбегающих к Якутску, я выезжаю на широкую Лену, вдруг пронзительно взвыл заводской гудок. Призывный гул его слышен издали, и он волнует меня, словно гудок паровоза, до которого по Лене еще три тысячи километров.

В небе высоко светит луна. Это уже четвертая луна, которую я вижу по пути из далекого Певека, от зазимовавших судов. Уже четвертый месяц, как нарты везут меня вперед от Полярного моря по северным широтам неохватного Союза. Меня встречает морозное и солнечное утро.

И днем солнце поднимается здесь уже высоко. И более длинным стал зимний день.

Теперь и на Певеке, в Чаунской губе, из-за гор показывается солнце. И там кончилась полярная ночь и радостно вздохнули зимующие моряки.

Но сибирская зима уходит, разрежая воздух пятидесятиградусными морозами.

Лютая зима — с туманами, с пургой, с ледящим ветром.

Передо мною большой деревянный город с улицами, кино, электричеством и баней. И впервые за девять месяцев полярных скитаний я вижу автомобиль. Это — полутонна «форд». На зеленом кузове желтеют русские буквы: «Яксельсоюз». «Якутский сельский союз».

По улицам города один лишь я иду в чукотских конайтах и плекетах, в кушанке, закрытой камлейкой, в малахае, с которого виснут ледяные сосульки. Здесь люди одеты по-городскому. Лишь

изредка вместо пальто я вижу короткие дожи. Катанки заменили здесь торбаза. По углам стоят извозчики. У кинотеатра толпится молодежь. Как не похоже это на мой вчерашний день. Милиционер на почте читает якутскую газету. Афиши зовут в драматический театр. Люди ходят с портфелями.

На почтамте я сдаю кожаную почтовую сумку, которую вез из Верхоянска, как сопровождающий почту.

Я слышу треск телефонных звонков и многоголосый шум столицы Якутской республики.

Я впервые вижу себя в зеркале за несколько месяцев. На меня глядит чужое лицо, заросшее густой черной бородой. Какой-то дикий человек в роговых круглых очках. И я чувствую свою одиночество. У меня нет стремления умыться сейчас же. Но сырую оленину или сырую рыбу я бы съел сейчас, нарезав ее якутским ножом, разорвав своими почерневшими в пути руками.

На-днях сюда прилетит самолет из Иркутска и унесет меня из Якутии.

А пока я слышу Иркутск здесь, в этом городе, на всех перекрестках, где кричат рупора радио.

От старого якутского бревенчатого острога осталась лишь одна башня. О старом Якутске рассказывает мне якутский музей. Старого Якутска нет, новый Якутск только создается. Бревенчатыми корпусами поднимаются новые здания Якутска.

Мороз пятьдесят восемь градусов. Весь Якутск окутан туманом. Поглощены туманом все улицы, все дома сурового города. Я ощупью иду по деревянным тротуарам главной улицы города. Я иду недолго. И передо мной, будто пароход на море, встает из тумана башня якутского острога. Я вижу бревенчатые стены, сложенные здесь казаками столетия назад. Это все, что осталось от старого Якутска.

Я стою на берегу зимней Лены и прощаюсь мысленно с золотыми горными речками Чукотки. Все они, от Большой Баранихи до самой Колымы, изобилуют золотом.

Я прощаюсь с рыбной, но неиспользованной людьми Колымой, неизвестной

Индириккой, малолюдной северной Леной. Я пройду самолетом в морозной синеве небес над величайшей рекой Союза — Леной — до самого ее верховья.

И снова — движение! Собачью упряжку сменила оленья, оленью — конная с оглоблями и дугой, коня — автомобиль. Из Якутска на автомобиле я доезжаю до аэродрома, где уже готов на старте и трясется от работы мотора воздушный конь — самолет. От собачьей упряжки до самолета прошли тысячелетия, но в просторах тундры, глухомани девственной тайги, в горах и реках Якутии можно видеть за сто длинных дней весь разнообразный транспорт, используемый человеком с незапамятных времен еще до наших дней. Даже на волах ездят в этой стране, где оттепелью считаются тридцатиградусные морозы.

Чукчи. Атык. Собаки. Олени. Якут Андрей Слепцов. Кони. Ямщики. Яранги. Палатки. Поварни. Зимовьюшки. Юрты. Станционные избы на почтовом верхоянском тракте. И наконец авиостанция Гражданского воздушного флота в Якутске, с голубой вывеской, на которой парит, распластав крылья, самолет.

Живая диаграмма движения!

Всего лишь несколько лет назад в Якутск можно было попасть водным путем или на лошадях, потратив на это томительные недели. Теперь советские воздушные кони, сделанные иркутскими рабочими, мчат в Якутск и из Якутска людей и почту по тысячекилометровой аэролинии.

21

Начальник якутского аэропорта держит в руке стартовые знаки — голубой и красный флаги.

Голубой цвет означает «разрешаю».

Красный — «запрещаю полет».

Нам вскинут голубой флаг, и самолет, подпрыгнув на лыжах, будто гимнаст с трамплина, оторвался от снежного аэродрома Лены и стал набирать высоту. Небо было ясное, день стоял солнечный, и впервые ясно виднелся весь Якутск.

Но мы недолго видим солнце в стеклянные окна кабины. Горизонт мутнеет, и становятся далекими исчезающие ленские берега.

Я смотрю вниз из оконца. Подо мной меняются всхолмленные берега великой реки. Снег и леса. Леса и горы. И снова волнующий шум самолета. Будто над Енисеем распростерлась сейчас левая плоскость самолета, его крыло, на котором огромные буквы «СССР». Я сижу у левого крыла, но вижу правый берег Лены. Около двух лет назад я вот так же парил над Енисеем, Нижней Тунгуской, родственными реками Лены, вместе с нею впадающими в Северное Полярное море. Они, ледяные, так же стоят сейчас в снегах и зимних лесах, и, быть может, одновременно с нами пролетает из Игарки на юг, в Красноярск, к железной дороге, самолет с вестью о полярном рабочем городке.

На авиостанции в Якутске летчики встали с рассветом. Телеграф выстукивал сообщение о погоде, и связист давал по телефону с телеграфа последние сведения начальнику аэропорта. Погода разрешила нам полет после двух дней ожиданий в морозном Якутске. Но она обманула нас за Якутском. Недолго виднелась на Лене зимняя почтовая дорога, тянувшаяся на юг: ее поглотил туман. Воздушная мостовая стала шумней, словно в ней появилось много рытвин и ухабов, выбитых тяжело груженными подводами, и воздушные дворники забыли разравнивать наш путь.

Сильный ветер выдул снег на реке, и льдом блещит подметенная ветром Лена.

Ушла низкобережная река, и к нам навстречу вышли гористые берега. Туманит снегопад. По шифру метеорологов-наблюдателей сегодня видимость — «четверка», погода нелетная. Но наш воздушный Атык летит в эту погоду, потому что нет и не было еще другой. Воздушный Атык — пилот Доронин. Я встречался с ним три года назад на острове Диксон, где стояла на рейде ледокол «Малыгин», проводник карских экспедиций. Доронин был тогда с бородой, которую отрастил за время полетов с Чухновским к Северной Земле. Но и сейчас без этой шелковисто-льняной бороды я узнал знакомого пилота. Все та же большая голова и грузный корпус, веселый смех и прибаутки. Доронин зашагал к машине прогреть

мотор. Пилот был в меховом комбинезоне из черной лохматой собаки. Он шел к самолету медленно, как медведь, взбирался на его плоскости и заползал по-звериному тяжело в пилотскую кабину. За целлюлоидным козырьком я видел перед полетом большую голову в теплой маске от мороза и блестками очков на меховом лохматом шлеме. Доронин прогревал мотор. Это была будничная работа воздушного ящика Якутии. Я спросил пилота, не скучно ли ему после пионерских полетов над неизвестными землями летать годами над Леной. И пилот сказал мне о том, что летает над Леной зимой, над Леной летом, над Леной осенью и весной. И каждый раз Лена другая с самолета, и разные люди в пассажирской кабине. И жизнь воздушника на линии разнообразна. Воздушная трасса Якутск — Иркутск — около трех тысяч километров над горами, тайгой и Леной, над ее каменистыми берегами-щеками. Красноярск — Игарка — воздушный путь над Енисеем короче в полтора раза, чем над Леной. Но и длинный путь над замерзшей рекой Доронин знает так же, как чукча-каюр свою тундру или морские берега; все мысы знакомы воздушному капитану.

Мерно шумит мотор самолета. Видимость сильно ухудшилась. Из снежной мглы вдруг отчетливо вырастают поросшие лесами берега и снова скрываются в тумане суровой ленской зимы.

Мотор замолкает, и мы слышим друг друга в кабине. Неужели замерзло масло в маслопроводе, с которым возился в Якутске бортмеханик перед отлетом? Но полный газ, шумный и бодрящий, вдруг вздымает снизившийся было самолет, и мы снова набираем потерянную высоту. Туман барьером стал перед пилотом, и наш каюр сбавил газ. Машина, потеряв скорость, идет на снижение. Там, ниже, над застругами и торосами ледяной реки, — лучшая видимость, и пилот получит лишнюю минуту для принятия решения, для выбора направления.

Олекминск давал нам по телеграфу хорошую погоду, но похитил ее перед самым прилетом машины. Пилот снова

заставляет притихнуть мотор. Мы мчимся так низко над ледяной Леной, что видна каждая заструга и каждый торос. Мы проносимся над голубым льдом Лены. Это — наледи, я узнаю их. Лыжи самолета едва-едва не касаются наледей. Знает ли пилот их коварный характер? Если застыло масло и Доронин посадит самолет на наледь, она подломится под гигантской тяжестью воздушной нарты, и капот неминуем. Томительно долго, словно отяжелевшая по осени дикая птица, мы низко тянем над рекой и садимся на кочковатую площадку, огороженную зеленым забором елей. Несколько резких ударов лыж о заструги. Самолет прыгает, словно по бревнам. Это — вынужденная посадка на запасную площадку, до которой едва дошел самолет. После трехчасового полета масло замерзло в маслопроводе. Это и вынудило пилота снизиться.

Площадка вся в застругах. Снег крепко утопан ветрами и неподатлив. Самолету трудно будет оторваться.

— Это — буза, а не площадка! Момент — и подломаешься! — говорит Доронин.

Мы идем с пилотом искать ровную дорогу для старта и не находим ее на снежно-рябой Лене. И Доронин делает разбег по изломанному профилю реки. Несколько легких толчков, и — машина в воздухе.

Но перед тем, как машина оторвалась от снежной площадки, я вижу бегущего в рыжем комбинезоне молодого бортмеханика Иванова. Он раскачивал самолет за крыло, чтобы легче могла взять разбег летная машина. Кольчуг-алюминиевый «W 33» побежал на отрыв, а за ним вдогонку и бортмеханик. Он хватается за поручень возле пассажирской кабины. Сейчас он должен вскочить на крыло. Я вижу, как он поднимает ногу, но не может ее перекинуть на крыло. Его не пускает ветер. Вдруг Иванов исчезает передо мною. Он прыгнул на левую плоскость и по ней бежит к своему месту рядом с пилотом Дорониным.

Скоро спуск в Олекминске — первом городе после Якутска по южной ленте Лены. Будто и не летели. А мы уже в шестистах километрах южнее Якутска.

Забыта вынужденная посадка. Перед нами на столе весело шумит самовар. Он обогревает нас после полета.

Синим утром — ранняя побудка. Бортмеханика уже нет на квартире, он готовит к полету воздушные нарты, он у мотора. Телеграф стучит плохую погоду. Летчики хотят лететь, но начальник аэропорта удерживает их.

Мы уже не сушим наши торбаза у камелька. Наши торбаза сухи, и камельков нет на авиостанциях. О них мне еще напоминает запах дыма, которым пронизан мой шарф.

В теплом помещении, где в окнах вместо кусков льда вставлены настоящие стекла, я сплю не на оленьей шкуре, не в чутокском кукуле, а на мягкой пружинной постели. Чуть щемит сердце уходящая романтика далекого Севера, но восторг перед сказочным полетом, в который не веригся, заставляет сердце снова усиленно биться.

Забыта уже ночевка в Олекме, я вижу синий рассвет за окном авиостанции Ньюя. Подъем с короткого разбега. Мотор потрясает воздух гулом и грохотом своего винта. Я слушаю его мерный стук. Вдруг, будто лопнула пружина в граммофоне, мотор захлебнулся и перестал петь свою бодрую песню. Через секунду он заработал, но неуверенно и без прежней силы — она угасла.

Не маслопровод, нам изменяет теперь сам мотор! Люди в кабине прильнули к стеклам окон. Что под самолетом? Тайга или Лена?

Под самолетом, на котором поддыхает мотор, видна черновина тайги, нет спасительной широкой белой полосы Лены, на которую можно было бы сесть, хоть подломав откосы машины.

Нас караулит таежная застава, выставив высоко свои колючие смертельные стволы. Я смотрю на часы. Мы тянем, снижаясь. Мотор захлебывается, словно от кашля коклюшный ребенок. Вдруг показалась Лена в своем радостном снежном наряде. Мы сядем на ее белый ковер. Но тайга колючими пиками снова выставляет под левой плоскостью свою траурную черноту. Ветер жмет машину на лес, и при затухающем, обессиленном моторе воздушный каюр

не может совладать с самолетом. Кажется, что, пролетая низко над деревьями, мы задеваем и шевелим их верхушки. Атык воздуха отводит свою нарту от таежных охватов, и мы скользим над самой Леной. Под нами — пять метров высоты и заструги, которые искалечат самолет. Но что же Доронин не садится? Ведь бортмеханик привязан к сиденью, и не исправить ему в воздухе повреждений на этой машине? Я вижу впереди на реке зеленые ели, ровным рядом всажженные в снеговые кучи. Это — ограждение запасной площадки. До нее и тянул наш проводник. Он сделал это мастерски. Воздушный Атык, ты сделал это красиво. Красиво!

Лопнул один из болтов, крепящих крышку распределительного валика, и лопнула сама крышка. Она заменена запасной, а взамен болта железный обруч от бачка перехватил ее бандажом.

Перед Ичорой снова стуки и вздохи захрипевшего мотора. К нам навстречу бежит тайга, мы снижаемся к ней с большой высоты. Нас будто давит воздушный пресс поднебесья. И снова ветром отжимает самолет от Лены, но даже наш излетавший свои часы мотор напоследок послушен Доронину, и мы снова над Леной. Она белеет радостным полотном. Я смотрю на часы. Минуты накапливаются медленно, и лениво ходит секундная стрелка. Посадка в Ичоре. Бандаж над крышкой разорван силой мотора, и снова лопнула крышка. Оба летчика склонились над мотором, как сиделки над изголовьем больного.

— Летим! — говорит пилот. — Занимайте места в кабине!

Мотор работает гулко и мерно. Мы мчимся к Верхоленску, туда, где истоки Лены. Ленский рейс заканчивается, и самолет идет над квадратами полей, лежащих под снегом. Кое-где чернеются кусточки лесов. Сколько посадочных площадок под нами! Они сверкают, залиты солнцем. Небо синее. Над самолетом — синий потолок, и ярко горит солнечным отливом снежный ковер полей. Маленькие горные речки вьются ужами под самолетом, обледенелые, закрытые снегом. Селения стали частыми, и тянется под нами людный тракт.

22

Мы идем к Иркутску на высоте тысячи четырехсот метров. Дома—спичечные коробки, кони — тараканами ползут по тракту. Вон—цепочка муравьев! Я различаю их — это движутся на север автомобили с грузами. А за ними, километрах в пяти, снова вереница подвод. Грузопоток на север.

Я смотрю с самолета на охваченные великим Союзом просторы. Я вижу, как прорубаются тысячекилометровые просеки в девственной тайге, проводятся новые дороги, телеграфные линии, рубятся новые стройки в глухомани, где вчера хозяйничал лишь черный медведь. Такого строительства не слышала еще земля и не знали ее народы. Это — неслыханное движение. Ему я пою свою песню, песню Севера. Тагам!

Я уже чувствую и вижу Москву, сто-

лицу пролетарской земли — колосс нового мира. Она горит призывным огнем, эта чудинка планеты.

В Иркутске я еду с аэропорта на вокзал железной дороги. Я приближаюсь к Ангаре. Широкая река разломала весь свой ледяной покров и лежит передо мной вся в торосах. Такого мощного торошения я не видал никогда, даже в Полярном море. Это — ледолом, крошево льдов, взгромоздившихся друг на друга. От быстрого течения река взорвала лед, закрывший ей выход на волю.

Так быстрое движение Союза Республики взрывает старые устои жизни. И слышится мощное «тагам» на тысячи тысяч километров.

Союз, тагам!

Тагам, вся планета!

Моя книга закончена, но движение продолжается.

Оно началось с ленинского Октября.

Тисса горит

Роман

БЕЛА ИЛЛЕШ

КНИГА ТРЕТЬЯ

(Окончание¹)

Карл Габсбургский и Петр Ковач оставляют Венгрию

Минута колебания — и он пошел быстро, как человек, вполне уверенный в своем деле. А между тем он еще не решил, какую из двух возможностей выбрать, ни одна ему не улыбалась. В конце концов он остановился на профессиональном союзе кожевников. До металлистов итти далеко. Оставаться на улице при данных условиях было бы рискованно. На бульварах еще туда-сюда, там много прохожих и сравнительно мало полицейских и отрядчиков. В переулках картина совсем иная. Маленькие улицы опаснее — они кишат лакеями Хорти. Патрули в три человека напомнили Петру дни падения диктатуры.

Нижняя Лесная оказалась неожиданно людной. Улицы освещались фонарями, зажженными через один. Только в редких домах горел огонь. Даже в полумраке Петр скоро разобрался, что он ошибся: на Нижней Лесной тоже не пахнет мирной жизнью. Недалеко от угла группа человек в двадцать заняла почти всю мостовую. Из их громкого и раздраженного спора Петр понял, что они идут именно оттуда, куда Петр собрался было итти, от кожевников. Из

осторожности Петр скрылся в ближайшей подворотне.

— Ну, хорошо! — доносился до него чей-то голос. — Я не возражал бы, говори он... ну, скажем, о разведении гусей, об уничтожении клопов. Первое — очень приятное занятие, последнее — полезное. Но говорить об астрономии, о звездных небесах... этого я даже и от него не ожидал.

— Коллега Кенде, вы, как всегда, пристрастны, когда дело касается профессионального совета и социал-демократической партии. И, как всегда, вы неправы. Вы очевидно понятия не имеете, какое значение имеет астрономия для сельского хозяйства, а тем более для пароходства. Астрономия...

— О пароходстве, коллега, лучше помолчите, — перебил его Кенде, — не то, чего доброго, можно подумать, что вы печетесь о Хорти.

— Упаси меня бог! И в голову не приходило.

— Верю, верю. Но, знаете ли, найдутся люди, которые придадут вашим словам именно такой смысл. И как это вам взбрело на ум заниматься такой пошлятиной, когда можно было это время занять лекцией более своевременной? Пушки грохочут не в звездных небесах, а под самой Будой.

— Какое же нам-то дело до этих пушек, коллега Кенде? Не все ли нам

¹) См «Новый мир», кн. кн. 4, 5 и 6 с г

равно, кто победит? — с иронией спросил его собеседник. Петр не мог рассмотреть его лица. Он стоял в тени.

— Нет, не все равно! — разгорячился Кенде. — Можно быть равнодушным к тому, кто сидит на твоей шее, но, если из-за того, кому на ней сидеть, поднимется драка, я не буду, как дурак. сломаю руки, терпеть их возню, а сам возьмусь за них!

— А тот, кто от этого удерживает, — мерзавец! — поддержал Кенде чей-то хриплый голос.

— Не считаете же вы, коллега Кенде, — невозмутимо, с прежней насмешливостью продолжал поборник астрономии, — не считаете же вы, что время и обстоятельства подходящи для провозглашения диктатуры пролетариата?

— С каких пор вы стали таким радикалом? Все, что не диктатура, вас не интересует? А раскрыть тюрьмы, это разве пустяки? Или раздобыть оружие? Устроить публичное собрание, чтобы рабочий воочию убедился, как нас много? Открыто поспорить о политическом и экономическом положении, поговорить о Советской России — это для вас тоже пустяк? И без диктатуры найдется много кое-чего, из-за чего стоит драться! Да, став на вашу точку зрения, надо признать, что все эти «мелочи» — путь к диктатуре. А, кстати, я не знал, что единственное, на чем вы миритесь, — это диктатура!

— Ни единым словом не дал я вам, коллега, права обвинять меня в этом. Я утверждал как-раз обратное. Ни время, ни обстоятельства...

— Полиция! Отрядчики!..

В одно мгновение кучка рассеялась. По середине улицы стояло всего человек пять.

— Где же они? — шопотом спросил Кенде, втянув голову в плечи, словно он желал стать менее заметным для приближающегося врага.

— Никто не идет. Ха, ха, ха! Я хотел только покончить этот идиотский спор, — пробасил тот же хриплый голос.

Петру он показался знакомым. Он вышел из ворот и направился прямо к этим людям.

— Тише, тише! — зашикал на Петра Кенде, коренастый, широкоплечий и, как теперь Петр разглядел, светловолосый, веснушчатый парень, старше его года на три. — Тише, тише! Куда вы поете?

Удача бегства хмелем ударила Петру в голову, а только-что слышанный спор окончательное его одурманил. Ему показалось совершенно естественным, что в городе, задыхающемся от террора, товарищи именно так и встретят его на улице громкими приветствиями.

— Я удрал из Уйпештской тюрьмы, — сказал он так просто, словно общал, что идет со сверхурочной работы.

— Что он, пьян, что ли... или...

Свет электрического карманного фонарика на одно мгновение скользнул по лицу Петра.

— Бог ты мой! — охнул тот же хриплый голос. — Не может быть...

— В чем дело, камерад Сабо? Надеюсь...

— Не шути, Кенде, — строго прервал его Сабо. — Снимай-ка пальто и отдай товарищу.

— Что за безумие! — обратился Сабо к Петру. — Ну, пошли!

Поняв, что Сабо не шутит, Кенде безропотно стащил с себя пальто и отдал Сабо... Пальто было и широко, и коротко для Петра, но так или иначе оно прикрывало его грязный летний костюм.

— До свидания, коллеги! Оставайся и ты, Кенде! А теперь — живо! — И Сабо взял Петра под руку.

— Где вы потеряли здравый смысл? — спросил Сабо, когда они уже шли бульваром. — Подождите, не следят ли за нами... Нет, Кенде, ребят, видно, удалось задержать. Как смели вы появиться здесь, где шпиков больше, чем товарищей? И особенно сегодня. Сплошное сумасшествие! И прямо еще сообщаете... Чорт знает что!

— Я видел — они не удрали...

— Беда в том, что зачастую у них нет никаких оснований бояться полиции. Если человек не пускается в бегство, это не всегда означает, что он смел.

— Гм... об этом я не подумал.

— Видно, счастья у вас больше, чем здравого смысла.

— Должно быть, что так!

— Знаете, грубость не в моем характере. Но на вас я сорвал злобу на самого себя. Я сам сегодня пошел в союз, вопреки запрета. И товарищи будут правы, хорошенько меня выругав. В Будапеште сегодня так работать нельзя. Этих четырех «коллег» я хорошо знаю. Они сочувствуют нам. Но все же... В наше время человек может ручаться только за самого себя, и то лишь... Но почему вы молчите? Если не поднимать крика, здесь на нас никто не обратит внимания. Скажите мне, как вам удалось...

— Удалось, — ответил тихо Петр. — У меня было больше счастья, чем здравого смысла.



В старинной большой комнате, освещенной керосиновой лампой, стоял туман от густого табачного дыма. Вокруг длинного, покрытого потертой плюшевой скатертью стола сидело человек десять. Пар от стирки белья ворвался из кухни вслед за вошедшим Петром. Но вскоре он растворился в едком запахе табака, смешанном с крепким запахом кофе.

— Петр!

Секереш был вне себя от радости. Лихорадочный блеск глаз на секунду затуманился. Он чуть было не заплакал. Но это — минутная слабость.

— Как ты сюда попал, Ковач? — почти строго спросил он.

— Сбежал, брат.

— Прямо сюда? Я спрашиваю, как ты сюда попал?

Петр не понял вопроса. Тон Секереша смутил его. Он беспомощно оглянулся на Сабо. Тот еще не мог отдышаться после крутого подъема по лестнице.

— Товарища Ковача сюда привел я. Я встретился с ним на улице.

— На улице? — с ударением спросил Секереш. Было ясно, что он сомневался.

— На Нижней Лесной, — смущенно проворкотал Сабо.

— Вот как! Значит, ты все-таки пошел на Лесную?

— Кабы не пошел, товарищ Ковач уже сидел бы на улице Зрини.

— Что же, ты предвидел это, что ли?

— Ну, ладно уж! Жаль, что в тебе следователь хороший пропадает. Ну, в чем дело? Ну, я пошел туда. Ну, я признаю, что допустил ошибку. Ведь теперь дело не в том. Товарищ Ковач сбежал из уйпештской полиции всего несколько часов тому назад. И вот он здесь. Я привел его сюда.

— Ну, знаешь ли, парень... — старик Шульд качал головой и так хлопнул Петра по плечу, словно испытывал свою силу. — Ну, слушай...

Остальных товарищей Петр видел впервые. Все — фабричные рабочие. Тот, высокий, — верно каменщик. А вон тот, что опустил свою огромную лапшу на плечо Секереша, плечистый, рыжий, тот пахнет окисью железа.

— Подожди! У нас срочное дело. С Сабо мы поговорим позже. Но что нам делать с этим товарищем? Оставить его здесь мы не можем.

— Разве я вам мешаю обсуждать ваши дела? — обидчиво спросил Петр рыжего металлста. — Мне сдается, я заслужил доверие.

— Несомненно, — невозмутимо согласился тот. — Несомненно также и то, что на это заседание вас никто не приглашал и вы сейчас здесь совершенно лишней.

Жестокость слов великана смягчалась милой, почти детской улыбкой. Улыбка озаряла его широкое, скуластое лицо. Петр хотел ответить грубостью, но эта улыбка обезоружила его. «Ведь по существу он прав» — подумал Петр.

— Ну, что же мне теперь делать, товарищ? Где-нибудь должен же я прикнуться?

— Будьте покойны. На улице не оставим.

Секереш взял Петра под руку. И, открыв замаскированную обоями дверь, толкнул его в какую-то темную каморку.

— Лампу я не могу тебе сейчас дать. Разденешься впотьмах. В углу — диван. Выспишь хорошенько, утром поговорим.

Петр, как был, — в одежде, — бросился на диван. Он чувствовал неимо-

верное утомление, но заснуть не мог. Чередой мелькали самые противоречивые мысли. Таким же непостоянным было и его настроение: то вдруг ему неудержимо хотелось смеяться, то овладевало необъяснимое бешенство. Через закрытую дверь до него доносился пронзительный голос Секереша. Ровный, спокойный — Шульца. Хриплый бас Сабо. Сабо что-то раздраженно объяснял. Говорили все разом. Но низкий бас покрывал всех.

Дверь открылась, вошел Шульц.

— Выпей чашку кофе, паренек. Ты не обижайся на нас за прием. Ведь сознайся — действительно непростительная глупость, что Сабо притащил тебя сюда. Мы все рады, что ты свободен, но привести тебя именно сюда... Ну, будем надеяться, что все обойдется.

Крепкое, горячее, ароматное кофе подействовало на Петра, как теплая, освежающая ванна.

Пока Петр пил, Шульц неустанно говорил. Но у Петра сегодня уже ничего больше не умещалось в голове. Когда Шульц принес ему вторую чашку, он должен был напрячь все силы, чтобы хоть что-нибудь понять из тревожной речи старого товарища.

— Ведь ты же знаешь, — говорил Шульц, — как мы с Андреем бились над тем, чтобы организовать по заводам. Но чтобы всю партию составить исключительно из этих заводских групп, и только... Нельзя же выплеснуть из ванны ребенка вместе с водой... А я боюсь, мы именно так и поступаем. Очень боюсь...

«Теперь я и вовсе не засну» — подумал Петр. И тотчас же заснул.

Утром к Петру зашел рыжий металлист. Принес ему воду для умывания и завтрак. Время было раннее. Петр охотно поспал бы еще с часок. Но вошедший стоял в пальто. Петр вскочил на ноги.

Каморка была без окон. Через полуоткрытую дверь скупо проникал свет.

— Что нового, товарищ?

— Меня зовут Александр Тереш, — ответил тот. — Я бы не разбудил вас,

но мне надо уходить. Кроме меня, в квартире никого нет. Выходить вам в ту комнату нельзя. Днем занавесы на окнах не спущены. Здесь тоже ничего не трогайте.

Петр молча выслушивает инструкции, кивает головой. Рот у него полон.

— Ну, а дальше? — спрашивает он, покончив с завтраком.

— Если устали, — спите. Я уйду на работу.

Тереш ушел, ни словом не намекая, в чем именно заключается его работа.

Лежа на диване, Петр обзирал полутемную камеру. Стул, шкаф, закрытый на замок, диван, на котором он сам лежит, — вот и вся мебелировка.

Из соседней комнаты — через полуоткрытую дверь — ему виден лишь край простого соснового стола. Стол, как тысячи таких же сосновых столов, и все же...

Петр ярко представил вчерашнюю картину. Длинный, покрытый плюшевой скатертью стол. Кофейные чашки. Одна опрокинута, и кофе оставило след на красном бархате. Две жестяных пепельницы, полные окурков. Окурки, пепел — на блюдах.

Вокруг стола — девять, быть может, десять человек. (Так порой считаешь число ударов, когда часы уже пробили.) «Да, десять, — решил он. — Вокруг стола сидело именно десять человек». С того края стола, который Петру сейчас виден, сидели, тесно прижавшись друг к другу, Секереш и Шульц. Перед Секерешем лежали книги, тетради, исписанный лист бумаги и географическая карта. Небрежное лицо Секереша пополнело. За спиной Шульца — Тереш. От него, если подойти близко, пахнет окисью, за в о д о м. Остальные... Петр ясно представил их себе. Один, высокий, — верно каменщик. Другой, лысый, горбатый, — кожевник. Третий, в очках, — либо портной, либо служащий магазина. А впрочем, быть может, и мелкий чиновник.

«Лысый, бесспорно, кожевник» — мысленно повторил он с такой уверенностью, будто ему это известно из официального документа.

Петр пробует отвести свои мысли. Он пытается припомнить споры в комнате Веры. Но странно, — вчерашние образы, так мимолетно промелькнувшие перед ним, затуманили и оттеснили издавна близкие ему лица. Милая фигурка Мартона кажется ему незначительной рядом с мощным торсом Тереша.

«Чепуха! — думает Петр. — При чем же тут рост?»

Он вскакивает. Снова ложится.

«Чепуха! Чепуха! — повторяет он. — Чепуха!»

Он бранит себя. Но это не помогает. Мартон, Вера, Андрей... и тотчас же встает в памяти типографская машина без шрифта. Тереш с его запахом и вся вчерашняя компания, столь сурово его встретившая, напоминает ему о фабричных трубах.

— Э-эх-ма!..

Он проводит рукой по глазам, словно отгоняя какое-то видение.

— Э-эх...

Закрывает глаза. Не думать ни о чем. «Ни о чем!.. ни о чем... ни о чем...» — повторяет он.

Машинально произносит слова, а мысли уже заняты королевским путчем. Тереш ни словом не обмолвился о результатах вчерашнего боя. Выгнан ли король из страны теми самыми людьми, которые еще несколько дней назад выносили Петру приговор «именем его величества»?.. Или победил король и вошел уже в Будапешт?

Петр задерживает дыхание, прислушивается. Напрасно! Ни пушечных выстрелов, ни трескотни пулеметов — ничего! На дворе играет шарманка. Все тихо.

Разбудил его Секереш.

Петр протер глаза и сразу вспомнил вчерашнюю картину. Лицо Секереша на самом деле пополнило.

— Ты растолстел, Йошка.

— Неудивительно, — ответил Секереш, — у меня ведь столько дел... Его величеству опять-таки дали коленкой под зад. С этим королем нам не везет. Его дела не лучше наших. Разница лишь в том, что он со своими богослужениями потерял один день, а мы в перебранке потеряли два. Ему вряд ли удастся по-

править упущенное, а для нас даже упущение — лишь урок. Так как мы работаем, работать дальше нельзя. Впрочем тебя сейчас больше всего должна интересовать твоя собственная судьба.

— Ты ошибаешься. Меня интересует прежде всего судьба партии. Положение партии...

— Партии? Это слишком громко сказано. Да. Слишком громко...

Лицо Секереша растянулось в насильственной улыбке. Выражение довольства исчезло.

— Положение партии таково, что партии у нас пока нет. Нет и не будет, не может быть, пока мы в этом сами себе не сознаемся. Честное слово! Дело обстоит именно так. Не понимаешь? А факты свидетельствуют довольно определенно. К сожалению, даже слишком определенно. Под Пештом идет бой. И, если я хочу связаться с уйпештской или кишпештской организацией, поехать в Уйпешт я не могу, а если бы даже и мог поехать, я все равно не знал бы, к кому мне обратиться. И вот должен я писать в Вёну и гадать: попадет мое письмо в Уйпешт или не попадет? А если и попадет, случится это не раньше чем через две-три недели. И, пожалуй, будет лучше, если не попадет. Ведь пока до уйпештских товарищей дойдут мои сообщения, они настолько утратят свой смысл, что там им может показаться, не занимаюсь ли я древнеисторическими исследованиями? И товарищи будут почему зря крыть мою дурацкую интеллигентскую башку. Нашел, дескать, время чем заниматься! Честное слово. Ты подумай-ка, Петр! Под Будой — перестрелка. Две тысячи бандитов, с одной стороны, и немногим больше студентиков — с другой. И эти опереточные войска решают судьбу страны! Я знаю, вопрос сейчас у же или еще не стоит так: или они, или мы. Вопрос идет о том, кто из них? Но все же нам следовало бы вмешаться в это дело. Социал-демократы, те просто струсили, а мы все готовимся. Единственный жест, сделанный нами в этой суматохе, — это манифест за подписью короля Карла. Товарищ Гюлай именем короля освободил офицеров национальной армии

от присяги, данной ими Хорти. Великолепно, не правда ли? Честное слово. Обидно... А ведь как отлично можно было бы здесь работать, Петр! Честное слово... Ваш процесс сыграл большую роль. Хотя надо признаться: когда узнали о ваших пытках, то столько же народу порвало свои связи с движением, сколько, наоборот, решилось включиться в него. Ваша работа перед арестом — твоя, Шульца, Андрея, — ваш план организовать работу по фабрикам были прекрасны. Мы проводим его в жизнь. И впервые после поражения революции мы сейчас действительно стоим на твердой почве: работой охвачено несколько крупных предприятий. На предприятиях работа идет во-всю... Если мы сами не испортим дела... Я — далеко не наивный человек, но даже самый трезвый расчет говорит за то... Ну, да ладно, не будем вдаваться в планы. Я и то боюсь, что завтра появится еще какая-нибудь новая теория, по которой уже не только уважение перед революционными традициями венгерского пролетариата, но и вера в его будущее будет объявлена неэтичной.

— Ну, кто же говорит такие идиотские вещи? Никто.

— Что же, ты полагаешь, из пальца, что ли, я это высосал? Находятся сопляки, которые только тем и заняты, что позорят память диктатуры. И, чтобы ты знал, идет это из наших же собственных рядов. Каждого, кто смеет защищать традиции нашей революции, клеймят авантюристом. Начинают с прошлого, кончают будущим. Я полагаю, тебе теперь все ясно.

— Ты сознательно сгущаешь краски, Йошка. Критиковать ошибки революции — это не грех. По-моему, это — даже наш долг.

Секереш внимательно посмотрел на Петра.

— Тяжелые дни ожидают тебя, брат, — сказал он тихо.

Бесконечно долго тянулось время. Наконец появился Тереш, сунул ему кусок колбасы с хлебом, несколько газет и тот

час же скрылся, притворив за собой дверь.

Петр при свете свечи прочел отчеты о будапештском сражении. Ядро королевских войск составлял отряд Остенбурга, столь прогремевшего по всей стране в первые месяцы белого террора. При столкновении с вооруженным противником отряд этот оказался настолько же трусливым, насколько бесстрашным. Показал он себя в борьбе с безоружными и закованными в кандалы рабочими. А между тем и противники его были не бог весть какие вояки: вооруженные на скорую руку студенты университета, офицеры «конкурирующих» отрядов. Остенбургцы рассчитывали очевидно больше на обаяние личности короля, чем на силу своего оружия. И, когда оказалось, что появление короля не произвело ожидаемого чуда, они дали тягу. Победители долго не смели верить в свою победу. У них духу нехватало преследовать беглецов. Дело ограничилось тем, что они издали обстреляли королевский поезд.

В соседней комнате послышались голоса. Два мужских, один женский. Говорили так громко, что Петр мог разобрать отдельные слова: расценка, сделанная работа, зарплата, зарплата, зарплата...

В комнату вошел Тереш. Вынул какие-то бумаги из шкафа и вышел, оставив за собой дверь открытой. На одно мгновение Петр мог видеть круглоголового мужчину лет сорока, с черными усами. Он сидел у стола, согнувшись над листом бумаги. Помусолив карандаш, он что-то написал в углу листа. Высокая, молодая, сильная женщина через его голову рассматривала документ. Она положила руку на плечо товарища. И эта широкая, с короткими пальцами рука была твердой, как железо, над которой она работала.

Когда к ужину явился Секереш, Петр неожиданно сказал:

— Слушай, Йошка! Нельзя ли устроить так, чтобы мне здесь остаться? Нужда в людях здесь, верно, больше, чем в Вене.

— Особенно в тех, кого разыскивает полиция и кого она великолепно знает

в лицо. Чтобы всех нас поставить под угрозу? Так, что ли?

— Значит, я должен уехать?

— Что с тобой приключилось, Петр? Утром тебе и в голову не приходило...

Петр молчал. Да что бы он и мог сказать? Секереш высмеял бы его, заикнись он только о том, что Тереш пахнет фабрикой, тогда как от Мартона пахло нищетою.

Секереш принес вечернюю газету.

— Вот почитай-ка!

И он ударил пальцем по столбцу с длинным списком убитых под Будой.

— Дезидерий Альдор, студент-юрист, — прочел Петр указанную Секерешем фамилию.

— Знаешь, кто это?

— Как будто я где-то слышал эту фамилию, но где именно, что-то не припомню.

— Ты, верно, знал его под фамилией Леготан или Бескид. Да, да! Товарищ Бескид умер героической смертью, сражаясь за отечество под флагом его величества короля.

Секереш смеялся, но от этого смеха лицо его не повеселело, наоборот, затуманилось.



Когда на прощанье Секереш пожал ему руку, глаза Петра Ковача — коммуниста, выдавшего виды, — наполнились слезами. Он грустил вовсе не о том, что должен был расстаться с Секерешем. Он уже давно привык к необходимости время от времени расставаться с товарищами, чтобы потом, на каком-нибудь другом фронте мировой революции, вновь с ними встретиться. Это — в порядке вещей. Но после разговора с Секерешем — беседа была короткой, они провели вместе не больше двух часов, — то, что вчера он только предчувствовал, перешло в уверенность. В движении предстоят большие перемены, отчасти они уже произошли. В чем именно эти перемены заключаются, он точно не знал. Когда, вернувшись из Чехо-Словакии, он увидел на Вацком проспекте дымящиеся фабричные трубы, ему сразу стало понятно, в чем дело. Но сейчас

он только чувствовал, что Тереша трудно вообразить себе на дамском велосипеде, распространяющим листовки, так же, как Мартона трудно было бы использовать для какой-нибудь забастовки из-за зарплаты.

То, что Петр услышал от Секереша о партийных делах, он еще не вполне переварил, но он инстинктивно понимал, что все эти факты означают новую стадию движения, новый этап, новую фазу. Новая фаза, логически и органически связанная с предыдущей. Выпрямление линии. Результат критики ошибок и искривлений. Он уже видел и людей, которые на этом новом этапе чувствуют себя, как дома. Да, все это очень хорошо. Все это должно успокоить и воодушевить... Но вот то, что сам он сейчас не мог участвовать в этой работе, пропитанной запахом фабрики, потому, что слишком много работал раньше, — это несправедливо. «Несправедливо! Но с чьей стороны? Корни движения — на фабриках и заводах. Это правильно. Оно так и должно быть. И можно ли, спрашивается, дать мне работу на заводе, но так, чтобы не поставить товарищей под угрозу? Нет, нельзя. Можно ли использовать меня вне завода? Разве что в темной комнате... да... Но все же ужасно, что именно в такой момент я должен эмигрировать...»

Сердце Петра так ныло, словно в него нож воткнули. Почти с ненавистью думал он о Вене, куда он должен был теперь бежать. С боязнью думал он теперь о той обстановке, в которой ему придется там жить, чужими ему казались товарищи, с которыми ему предстоит работать. И с чувством горечи и зависти отрывался он от тех, кто может здесь работать.

Он не заметил, сколько прошло времени после его прощания с Секерешем до той минуты, когда в дверь постучал Тереш. Он не заметил даже, что свеча догорела и погасла.

— Что же это вы в темноте сидите, товарищ?

Петр что-то пробормотал в ответ. Тереш зажег новую свечу и бросил на диван старенький чемодан.

— Здесь вы найдете, что вам нужно: костюм, белье, ботинки. А вот вам паспорт и деньги. Из квартиры выйдете без вещей. А вот по этой бумажке — смотрите, не потеряйте ее — на вокзале в камере хранения получите ваш чемодан. В нем, кроме старого белья, ничего не будет. И то для видимости. Нельзя же ехать без вещей. По совести говоря, я был бы счастлив, если бы вы уже испарились отсюда. Мы переживаем тяжелые дни. У Кенде, — тот, что одолжил вам пальто, — у Кенде сегодня был обыск. Ничего не нашли, но его все же забрали на улицу Зрини. Вот вам ваш паспорт.

Петр взял паспорт и положил его в карман, не взглянув даже в документ. Тереш удивленно посмотрел на него, но промолчал.

— Поезд отправляется завтра утром, в десять тридцать. С Западного вокзала, — сказал он после минутной паузы. — Вот вам деньги, товарищ.

— Спасибо, — ответил Петр. — Когда же я должен ехать?'

Тереш снова удивленно посмотрел на него.

— Утром, в десять тридцать, с Западного, — повторил он. — Завтра в это время вы будете уже в Вене, товарищ Ковач. Там наконец отдохнете, как следует.

— Я предпочел бы работать, — нервно сказал Петр, прислонившись спиной к стенке и в упор глядя на Тереша. Тот сидел на диване и играл со стоявшей на стуле свечой.

— В Вене работы хватит, — сказал он тихо.

— Знаю. Но меня больше тянет к венгерскому движению, — упрямо, почти враждебно ответил Петр.

Тереш с удивлением посмотрел на своего гостя.

— К венгерскому движению? — с ударением переспросил он. — Ладно. Вам охота работать в венгерском движении? — повторил он. — Отлично. Ваше желание напомнило мне одного дорогого товарища, от которого я многому научился. Он был убит на берегу Тиссы в день падения диктатуры. Фамилия его была Немченко. Рабочий из

Харькова. Он попал в плен в Венгрию еще в четырнадцатом году. Мы с ним служили в Красной армии в одной роте. Рота состояла из крестьян, и наши ребята высмеивали его за плохое венгерское произношение. Он не обращал на эти насмешки никакого внимания. Пусть их смеются, лишь бы слушали! И мы, сами того не замечая, прошли с ним целую школу. Так вот, товарищ Ковач, — минуту терпения! Это относится к вам. Этот самый Немченко не раз горячо нам доказывал, что, сражаясь на берегу Тиссы с румынами, он, собственно говоря, защищает Харьков от стоящих на Волге русских белогвардейцев. Тогда нам это казалось смешным. Но я думаю, товарищ Ковач, что вы вполне согласны с товарищем Немченко, защищавшим свой родной город у Тиссы?

Тереш говорил просто, но убедительно.

— Скажите, товарищ Тереш, — сказал наконец Петр, — знали вы товарища Пойтека? Данила Пойтека?

— Фамилию слышал, но лично встречаться не приходилось.

— Жаль.

— Жаль, — согласился с ним Тереш.



Утром скорым поездом Петр покинул Будапешт и к вечеру уже был в столице Австрии.

Переполох, вызванный королевским путчем и мобилизацией соседних государств, значительно облегчил переправу через границу. Звучит парадоксом, но особо строгий контроль помогал делу тех, кто хотел проскользнуть. Бесчисленные отряды охотились за самыми разнообразными «путешественниками». В эту работу было невозможно ввести ту систему, которая была установлена двухгодичным режимом консолидированного белого террора.

Петр ехал с фиумским паспортом. В те дни это было еще редкостью. Дипломатическая война Италии и Югославии за Фиуме — этот единственный морской порт «исторической» Великой Венгрии — была в самом разгаре. При данной ситуации лучшего паспорта Петр

даже желать себе не мог. Он прекрасно мог говорить по-венгерски, и все же считался иностранцем, «гражданином» иностранной державы, не имевшей никакого касательства к королевскому путчу.

Петр ехал во втором классе. Кроме него, на щегольском кожаном диване только что отделанного купе сидели пожилой господин и немолодая дама в трауре.

Пожилой господин был, видимо, словоохотлив.

— Вы, сударыня, если я не ошибаюсь, в трауре? — обратился он к своей спутнице.

Та утвердительно кивнула головой.

— Ребенок или муж?

— Мой сын.

— Ужасно, — сочувственно вздохнул толстый господин и высморкался в огромный, сверкающий белизной платок. — Катастрофа или болезнь?

— За отечество, — ответила женщина в черном, прикладывая к глазам носовой платочек.

— Ужасный удар! — сочувствовал господин. — А с чьей стороны, если разрешите спросить? В королевских или в национальных частях?

— В войсках законного короля, — ответила дама неожиданно строгим голосом.

— Правильно! Весьма правильно!! — поощрял господин. — Выдать короля врагу? Передать пленного короля на английский монитор? Я бы рассмеялся в глаза тому, кто еще несколько дней назад посмел бы утверждать о возможности подобного поступка со стороны венгерской нации, всегда славившейся верностью королю... А теперь... стыдиться должны мы, стыдиться... — обращаясь уже прямо к Петру, говорил он. — Короля, законного короля...

На одной из маленьких станций два жандарма провели трех оборванных крестьян. Они прошли мимо поезда. Один крестьянин с трудом волочил ногу.

— Монархисты, наверное монархисты, — сказал господин в очках. — Теперь по всей стране хвагают верных королю людей.

Глядя на этих несчастных, с трудом вышагивающих впереди упитанных жандармов, Петр не мог устоять против искушения подурочить своего соседа.

— Тот хромой, — сказал он вполголоса, — не кто иной, как сам граф Андраши.

Толстый господин посмотрел на Петра с удивлением. Он было раскрыл рот, но не произнес ни слова.

Петр понял, что он совершил непростительную глупость. Как только поезд тронулся, он пошел в вагон-ресторан и до самой границы в купе не возвращался.

С проверкой документов на границе у Петра все сошло благополучно. Но зато господин в очках был арестован.

У него оказалась чемодан с двойным дном. Он вез в Австрию контрабандную валюту.

Австрия! Свободная земля свободной Австрийской республики... Поезд подходит к красной Вене.

— Не угодно ли австрийских денег? Меняю венгерские пенге на австрийские кроны.

Так приветствовал Петра первый австрийский кондуктор. И, пока они доехали до Вены, подобного рода предложений Петр получил не меньше десятка. В поезде уже никто не говорил о королевском путче и его последствиях, на языке у всех была валюта, кривая валютного курса.

— Австрийская крона падает.

— Доллар, фунт, франк, лей, динар, золотый, доллар, доллар, доллар, доллар...

— Доллар, доллар, доллар, — выстукивали колеса поезда.

Схватка

Тяжелый, густой ноябрьский туман непроницаемой стеной преградил дорогу тысячам многоцветных огней вечернего города, — огни электрических фонарей венских улиц не в силах преодолеть этой сырой свинцовой преграды. Один лишь пронзительный прожектор сумел прорезать себе путь. В этот тревожный,

нервно бороздящий тьму сноп света на миг — то тут, то там — попадали бегущие облака, чтобы тотчас же вновь утонули во мраке.

Туман опускается. Воздух пронизан сыростью. Горящие глаза дуговых фонарей и автомобилей мерцают, словно через мотовые стекла.

— Вена, Восточный вокзал.

Автомобиль за автомобилем. Машины новых конструкций — американские, французские, итальянские.

Зимние пальто из светлого сукна с необычно большими меховыми воротниками.

«Как принарядилась Вена» — замечает Петр.

Северный ветер.

Те, кто вынужден ходить без пальто, — а таких много, — жмутся к стенам зданий.

Ветер борется с туманом.

«Еще полгода тому назад в Вене не было столько оборванцев» — думает Петр.

Он покупает вечернюю газету.

На первой странице — кричащие заголовки:

«Карл Габсбургский — пленник английского монитора...»

«Австрийская корона продолжает падать...»

Ветер крепчает. Как будто хлещет в лицо ледяной тряпкой. Огни электрических реклам врезаются в разрывы тумана.

Петр пешком проходит через Мариангильфе.

Стоило ему ступить на камни этого города, как сильное волнение овладело им: что творится в Вене, в каком положении австрийское движение, венгерская эмиграция? Один магнит отпустил его, и тотчас же притянул другой.

Вена. Вена.

Перед витриной роскошного магазина он просматривает газету.

«... финансовый план Отто Бауэра. Социал-демократический вождь вносит проект, разрешающий создавшееся положение...»

«... Склока среди венгерских коммунистов. Буря в стакане мутной воды...»

Петр мнет газету, сует ее в карман и, пренебрегая туманом, ветром, автомобилями и трамваями, почти бегом спешит в редакцию коммунистического журнала «Пролетарий».

— Ковач! Ужели это вы? Ковач, друг милый! Вот отлично-то! Вот великолепно! Как-раз кстати! Бесконечно рад вас видеть!

Петр и раньше не раз встречал худощавого, тонколицего, сероглазого молодого человека с оттопыренными ушами, который сейчас так радушно принимает его в редакции «Пролетария». Но фамилии его он не знает. А после того, как тот обнял его, называя «дорогим Петром», неловко было спросить: «А вас как звать?»

— Усаживайся, дорогой Петр, и рассказывай, кому или чему обязаны мы столь неожиданным и тем более великим счастьем.

— Я только-что приехал, — ответил ошеломленный Петр. И, вынув из кармана газету, положил ее перед белокурым юношей. — Объясните, что это значит?

Белокурый сразу же наткнулся на сообщение, так взволновавшее Петра. Он читал, нервно покусывал нижнюю губу, поглаживал щегольской пробор.

— Да это так, дорогой мой, — сказал он, пробежав статью. — Дело обстоит именно так. Крысы покинули корабль. Таков уж закон природы, — тут он улынулся. — Ты должен ведь знать, что с тонущего корабля крысы бросаются в воду. Но в данном случае произошло маленькое недоразумение... Подводная лодка опускалась, а крысы, испугавшись, что лодка тонет, попрыгали в воду. Ха-ха-ха! в воду... Ну, и чорт с ними. Поднимется лодка на поверхность, крыс будет на ней меньше. Невелика потеря, неправда ли?

— Брось шутки, товарищ. Давай говорить серьезно, — не особенно дружелюбно оборвал его Петр. — Что творится в партии? С кем я могу поговорить?

— Пока-что ты разговариваешь со мной, — обиделся белокурый. — В пар-

тии, как я тебе уже сказал, — кризис. Повальное бегство. Многие крупные шишки — из бывших левых социал-демократов — вышли из партии. Ни один настоящий коммунист оплакивать их не станет. Я вообще не понимаю, как можно было думать, что такой толстопузый, как Ландлер, может быть хорошим коммунистом.

— Вот оно что...

Петр уже не слушал светловолосого. А тот продолжал разглагольствовать. Петр рассматривал карту на стене — карту Советской России. Гадал, что могли бы обозначать на ней эти большие светлозеленые пятна. Над картой ключьями свисала рвань грязно-желтых обоев.

— С кем из партийных руководителей могу я поговорить? — настойчиво повторил Петр.

— Ниже вождей ты и знаться ни с кем не ждешь? Ну, что ж, ладно. Можешь поговорить с Гайдбшем.

— Где и когда?

— Завтра, в десять утра. Здесь, в редакции.

— Спасибо.



Только на улице Петр вспомнил, что не знает ни одного адреса и ему негде приютиться. Возвращаться в редакцию не хотелось. Он решил пойти в ресторан имени «бюргермейстера города Корка», полгода назад усердно посещавшийся эмигрантами. Официально ресторан носил другое название. Это же прозвище венгерские эмигранты дали ему не столько из уважения к знаменитому ирландскому националисту, погибшему, как известно, от истощения после шестидесятидневной голодовки, сколько потому, что судьба этого героя как нельзя лучше характеризовала качество кухни ресторана.

В циничной шутке не таилось злого умысла. Никому и в голову не приходило обижать погибшего на посту ирландца. Просто-напросто каждому хотелось так или иначе заставить хотя бы немного улучшить свое питание. Эта наивная попытка, к сожалению, окончилась ничем. «Бюргермейстер Корка» принадле-

жал к числу многочисленных ресторанов, организованных на средства благотворительности. На хлебах этих ресторанов жирели организаторы-подрядчики и многие им подобные, но, увы, заботливо оберегались от ожирения именно те, о которых пеклась эта благотворительность. «Коркский бюргермейстер» вполне оправдывал свое прозвище.

— Алло, Ковач! Это ты, брат, или твой дух? Ведь ты как будто сидишь в Сборной тюрьме, Петр?

В «Коркском бюргермейстере», как Петр и рассчитывал, он встретил знакомых. Трех сразу. Правда, по фамилии он знал только одного — часового мастера Шимона. Другой — высокий парень с яйцеобразной головой и профессорским видом — был известен Петру, поскольку он видел, как тот крутился вокруг да около Арваи. Где доводилось встречаться ему с белокурой девушкой, он не мог припомнить, но весь ее облик показался ему удивительно знакомым. Все трое сидели за одним столиком. Освободилось еще одно место. Петр подсел к ним.

— Итак, как же тебя считать — живым человеком или привидением?

— Считаю хоть привидением, дай только мне хорошенько пообедать.

— Вот теперь я тебя окончательно узнаю! Дело не в том, что ты любишь поест, и поест вкусно, — это свойство общечеловеческое, явление, так сказать, надклассовое, да... Узнаю я тебя по детской наивности, по бесконечному оптимизму, с которым ты надеешься в «Коркском бюргермейстере» хорошо пообедать!

«Коркский бюргермейстер» помещался в большой, с тремя окнами, комнате. Стояло двадцать маленьких столиков. Вокруг каждого — четыре стула. Обслуживали посетителей четыре кельнерши, не без риска лавирующие в узких проходах. Тусклый свет двух газовых рожков слабо боролся с мраком.

Пока Петр справлялся с супом, молодой человек в очках — товарищи называли его Гомоннай — без-умолку трещал, широко жестикулируя слишком длинными руками.

— Куруц или лабанц¹⁾? — обратился он к Петру, прерывая свою лекцию о принципах кулинарного искусства «Коркского бургермейстера».

— Я не понимаю вашего вопроса. — И тут же догадался, что Гомоннай очевидно хочет выяснить его позицию в партийных распрах. — Здесь не место говорить об этом, — неожиданно заключил он.

Гомоннай не преминул отметить непоследовательность Петра.

— Вопросы не понимаешь, а знаешь, что о таких вещах здесь говорить не следует. Логично, неправда ли? Что скажете вы, Ленке? — насмешливо улыбаясь, спросил он блондинку. И, обращаясь к Петру, добавил: — Мы не играем в тайную дипломатию. У нас нет оснований секретничать.

Гомоннай протер носовым платком очки. Испытующе посмотрел на Петра. А Петр вдруг понял, почему соседка показалась ему такой знакомой. Она была похожа на Веру. Овал лица был, правда, несколько круглее, но глаза, рот, волосья... Пётр спросил, не родня ли они случайно.

— Родня? Нет. Но мы с ней еще ближе. Мы — товарищи, — ответила девушка, улыбаясь.

— Но это не объясняет сходства.

— А почему бы и нет? — вмешался Гомоннай. — Неужели прерогативу предопределять наше мировоззрение ты все еще приписываешь исключительно внешнему миру? И не допускаешь, что наше, мое мировоззрение в свою очередь влияет на внешний мир и даже на мое собственное тело? Ты весь еще в старых предрассудках. Да, да, мой внутренний мир влияет на мою внешность, соответственно ее оформляет. И таким образом во внешности двух близких по духу людей рано или поздно появляется сходство.

— Портфель например, очки... — пошутила девушка.

¹⁾ Во время национально-освободительной войны и восстаний в Венгрии в XVII и XVIII вв «куруцами» назывались участники этих восстаний, «лабанцами» же — сторонники иноземного — габсбургского — владычества.

— Шутками от таких вопросов не отделаешься, милая Ленке, — преувеличенно серьезно сказал Гомоннай. — А что касается по существу дела, то вторично в партии начата серьезная чистка. Чистка идеологическая и чистка моральная, если можно так выразиться. Обывательским языком положение можно охарактеризовать, как свержение фельдфебельского сапога с престола.

— Ладно, ладно. Поговорим об этом в более подходящем месте.

— Что с тобой, Ковач? Не знаю я, что ли, о чем можно говорить, о чем нельзя? О том, что мы выбросили из революционного движения Бела Куна, об этом говорить можно совершенно открыто. Мы — венгерские коммунисты — сейчас вторично играем роль мирового исторического значения. Первый раз — случай с нашей диктатурой. Тогда мы показали, как не должны поступать коммунисты. Теперь мы даем пример, как должно чистить партию. Впредь в партии будут господствовать разум и мораль, — с пафосом закончил Гомоннай свою тираду.

— Тише вы! Чуть поднос из рук не выбили! — призвала его к порядку кельнерша.

Вокруг тесно расставленных столиков все места заняты. В эти вечерние часы обедающие здесь люди не священнодействуют, вкушая пищу. Почти с бешеным проглатывают они обед, не забывая, несмотря на торопливость, о крошках хлеба, которые заботливо сметают в ладонь и осторожно подносят ко рту. Скорей! Скорей! Скорей! Пока один сидит, другой уже стоит у него за спиной, ожидая своей очереди. Петра и его товарищей тоже торопят. Но безуспешно: кельнерша, обслуживающая столик, куда-то пропала.

— Разум и мораль! — вдохновенно восклицает Гомоннай.

— Короче говоря, «Пролетарий», партиздатство, партийный аппарат — все это в руках узкого круга близких тебе товарищей.

— Партийный аппарат, пресса — лишь внешние атрибуты, дорогой Ковач! У нас в руках самая сущность — идеоло-

гическая тотальность и моральная чистота партии.

— Ты шутишь?

— И не думаю.

— Тогда ты мелешь вздор.

— Да неужели ты, Ковач, не можешь подняться на ту моральную высоту...

На этот раз Гомоннай и на самом деле удалось выбить поднос из рук кельнерши. Суп из восьми тарелок угодил на сидящих за соседним столиком.

— К чортовой матери!..

— Мое единственное платье!..

— Чтоб его!..

— Еще счастье, что суп пролит на товарищей, — невозмутимо утешал Гомоннай.

Но товарищам подобное «счастье» не улыбалось. И, не догадайся Гомоннай во-время напомнить, что устраивать публичные скандалы коммунистам не полагается, не избежать бы ему увесистых пощечин.

Пострадавших удалось кое-как успокоить. А когда Петр оплатил причиненные убытки, можно было даже беспрепятственно «выбраться отсюда».

Разогнав туман, ветер испытывал свою силу на прохожих. Мокрый — как после дождя — блеск тротуаров хранил последние следы тумана.

— У тебя найдется?.. — спросил Петра Гомоннай.

— Найдется.

— Тогда пойдем в «Глухую».

— Пойдем.

Через несколько минут все четверо сидели в кафе «Бетховен».



Петр не раз и прежде бывал в этом кафе, но сейчас все здесь показалось ему чуждым. «Бетховену» очевидно повезло. Раньше здесь пробавлялись бутербродами, пили чай, кофе. Сейчас — фазаны, икра, токайское, шампанское... А публика! Вечерние туалеты, спортивные костюмы — все блистало роскошью. И, несмотря на то, что обстановка ничем не напоминала канцелярию советника уйпештской полиции, оглядевшись, Петр пережил вновь совершенно то же ощущение. Он не отметил ни одной ин-

дивидуальной физиономии. На лицах, фигурах, в шуме кафе — на всем лежала одна и та же ненавистная печать — печать классового врага.

— На кой чорт мы сюда пришли?

— Место омерзительное, — согласился Гомоннай. — Но раз мы сюда уже попали, выпьем, что ли, по чашке кофе. А чтобы не зря деньги тратить, давай по-толкуем спокойненько. Тебе наша информация будет полезна. Вот и оправдаем время, проведенное здесь. В конце концов должны же мы знать классового врага. Оглянись-ка! Кругом — спекулянты-валютчики. Утром покупают, вечером продают. Весь их «гешефт» — обычно это два разговора по телефону. Вот, казалось бы, и все... А погляди-ка, как они живут! От жира бесятся. А послушал бы ты их разговоры... Миллионеры, нажившиеся на войне, представляли отвратительное явление. Но эти... еще хуже. Старые богачи все же, по-своему, были носителями известной культуры...

— Ах, оставим эту «культуру»! — перебил его Шимон. — Оставим...

— Почему оставим? Что правда, то правда. Нельзя же закрывать глаза. Да, да, старая буржуазия имела и имеет свою культуру. Не осознав этого, мы никогда не придем к тотальности...

— К чему? — переспросил Пётр, нервы которого были так взбудоражены этой враждебной ему обстановкой, что он не мог сосредоточиться на разговоре.

— К тотальности, — почти торжественно произнес Гомоннай. — К тотальности. Теорию тотальности, дорогой Ковач, подарил международному рабочему движению Арвай, тот самый Арвай, который развил учение Ленина в странстве, как во времени развил учение Маркса сам Ленин. Арвай на ряду с Лениным идет во главе Интернационала! Я говорю «на ряду с Лениным», потому что хотя как мыслитель Арвай выше и оригинальнее Ленина, но в практической работе он ниже его. Таким образом одно уравновешивается другим, и они оба — приблизительно равноценные величины. Вот этот-то самый Арвай и открыл теорию тотальности.

— Так, как. Но что же это однако за «теория тотальности»?

— Терпение. Все по порядку. Маркс, как известно, только в области экономики сумел доказать банкротство капитализма. В других областях, особенно в области философии, он сделал только первые шаги. Ну, Ленин — тот вообще не разбирается в философии. Таким образом Арваи завершил то, что начали Маркс и Ленин. Своей теорией тотальности он доказал, что не только экономическое развитие, но и путь спекулятивных наук и развитие этических воззрений народов ведут к банкротству капитализма — к победе социализма. У кого после Маркса и Ленина остались хоть какие-либо сомнения, тот, усвоив теорию тотальности, сдаст свои позиции окончательно. Да, да, Ковач. Это тебе не сапог Бела Куна, который и от брызг московской грязи для меня не станет более привлекательным.

— Я во фракционной борьбе с Гюлаем, — вмешался в разговор Шимон, — но то, что сейчас наговорил Гомоннай... Факты свидетельствуют, что путанные теории Арваи...

— Тем хуже для фактов! — кричит Гомоннай. — Тем хуже для фактов! — повторяет он с победоносным видом и так энергично, что маленький Шимон сразу смолкает, и только недовольным покачиванием головы выражает свое несогласие с Гомоннаем. Но последнего это ничуть не смущает.

— Если какой-либо факт, мой милый Шимон, противоречит теории Арваи, этот факт для меня не существует. Арваи говорит: мировоззрение Гайдоша — это мировоззрение кельнера публичного дома. И пусть после этого весь мир доказывает, что Гайдош — металлист; для меня этого факта не существует. Для меня Гайдош раз и навсегда останется кельнером публичного дома. Или возьмем другой пример: Арваи утверждает, что в Венгрии нет и не может быть коммунистического движения, пока не будет устранен Бела Кун и его присные. И пусть завтра в Будапеште вспыхнет всеобщая забастовка, пусть послезавтра грянет вооруженное восстание, и тогда буду я неизменно утверждать: в

Венгрии коммунистического движения нет.

С плохеньким, вывезенным из Пешта чемоданом в руке Петр около десяти часов вечера одиноко стоит перед кафе «Бетховен». Минута раздумья, и он садится в трамвай, идущий в Гринцинг.

Петр решил отправиться к Шмидтам. Почему-то он был уверен, что там ничего не изменилось и все обстоит так, как было полгода назад, когда в дни королевского путча он провел у них трое суток.

Он ошибся. За эти полгода жизнь тронула и Шмидтов. Вот уже четыре недели, как Шмидт работает на машиностроительном заводе в Оттакринге, и за ним восьминедельный стаж возвращения в лоно социал-демократии. На события в России, когда-то так волновавшие его, он смотрит пессимистически. Он разочарован. Он считает, что Ленин идет ложным путем. Прогнать русских капиталистов, чтобы насадить в стране чужих. Что это такое? Неужели путь к социализму таков? Ведь ясно, у концессионеров рабочие будут снабжены куда лучше, чем на советских предприятиях. У рабочего — хозяина страны — слюнки потекут от зависти.

Разве это не контрреволюционная пропаганда? Да... Коммунистическая партия своими собственными руками готовит контрреволюцию, и дни Советов сочтены. На вопрос «кто — кого?» история дает не тот ответ, которого ждал Ленин. Ленин... Никогда он, Шмидт, не мог бы думать, что путь Ленина будет таков. Ну, а если дело обстоит так, если опыт большевиков потерпел банкротство и после четырехлетней борьбы русских рабочих постигнет участь венгерского пролетариата, — чего в Австрии или в Германии случиться не может, так как там достижения революции защищаются, и правильно защищаются, социал-демократами, — если это так... стократ надо поддерживать тогда тех, кто нас всегда предостерегал от большевистской авантюры, кто нам указывал прямой демократический путь... Всеми силами надо поддерживать социал-демократов...

Шмидт вступил в партию, клялся Отто Бауэром. и, удивительная случайность, четыре недели спустя он получил работу, и работу очень неплохую.

Жена Шмидта простосердечно выслушивала политические разглагольствования мужа и вечерами добросовестно просиживала с ним над картой Советской России.

Узнав о совершившемся «обращении», она перестала с ним разговаривать. После семидневной блокады — удача не покидала Шмидта — он слег в постель и четыре дня пролежал в сильном жару. Женщина ухаживала за мужем, ни одним словом не касаясь больной темы.

Шмидт блаженствовал.

На пятый день, как ни прижимал он подмышкой термометр, ртуть не поднималась. Он взгрустнул.

— Пора вставать. Разлежишься — хуже ослабеешь.

Шмидт отчаянно вздохнул.

— Только бы ты на меня не сердилась...

— Я не сержусь, — проронила женщина.

И фрау Шмидт, которая по выходе из тюрьмы решительно отстранилась от какого бы то ни было участия в движении, теперь сама явилась в партийный комитет и просила включить ее в работу.

Гринцингская организация невелика. Очень невелика. Несколько десятков членов. Преимущественно — эмигранты. Маленькая, светловолосая, полная женщина с изумительной энергией и большим практическим чутьем взялась за дело. Четыре недели спустя организация насчитывала уже одиннадцать новых членов, а когда двумя неделями позже была проведена кампания агитации по домам, прибавилось еще человек двадцать. Несколько мужчин — рабочих городского трамвая, большинство женщин.

Приступили к учебе. Теперь уже жена Шмидта таскала домой книги, журналы. Читала. Училась. Бросила шитье, до минимума свела хозяйство. Целиком ушла в партийную работу.

Шмидт, за годы болезни и безработицы свыкшийся с мыслью, что он — че-

ловек неполноценный, теперь поднял голову. Еще бы, он — кормилец семьи.

Вернувшись с первой получкой домой, он вооружился карандашом и бумагой. Он точно распределил деньги, учитывая все статьи расхода, обычно фигурирующие в бюджете солидного рабочего. В плане предусматривалось даже посещение кино.

С неделю все шло, как по маслу. Не состоялось только посещения кино, — фрау Шмидт все вечера была занята.

На второй неделе стало ясным, что финансовый план Шмидта ничуть не реальнее финансового плана Отто Бауэра. И хотя в плане Шмидта не было таких фантастических затей, как у Бауэра, в роде чрезвычайного налогового обложения буржуазии, все же его план провалился.

Осложнения начались в среду второй недели, когда Шмидт получил на ужин не предусмотренные планом телячьи ножки, а просто лишь кусок хлеба с маргарином. Он промолчал, объяснил «неувязку» занятостью жены. Но, когда и на следующий день его ужин ограничился куском хлеба с маргарином, бедняк не выдержал.

— Согласно нашему плану... — начал он.

— Денег нехватило.

— То-есть как это нехватило?

— Не знаю, где ты витаешь, если до сих пор еще же в курсе венских событий. Сегодня обед стоит вдвое дороже, чем неделю назад. Крона падает с каждым часом.

Да, это так. Что крона падает, Шмидт знает. Он понимает: катастрофическое падение курса кроны нарушает равновесие государственного бюджета и угрожает революции. Он знал — со слов Отто Бауэра, — что падение курса кроны можно остановить только беспощадным налоговым обложением буржуазии. Но он не знал, он даже представить себе не мог, что Цюрих может вдруг вмешаться в дело его собственного питания. На заводе он уже слышал, что падение валюты отражается на достижениях революции, но он думал, что план Отто Бауэра... план Отто Бауэра...

Планируя бюджет на будущую неделю, он учел падение кроны. Этот план вышел куда скромнее первого, но зато он был реальнее. Реальнее, но все же недостаточно реальным. Теперь крона уже не падала, она просто таяла в руках. В ресторанах, в кафе лилось шампанское. В ночных кабаре господа во фраках танцовали с голыми дамами. Проституткам в шелковом белье платили золотом. Зато заработная плата, полученная рабочим после обеда в субботу, в понедельник утром уж ничего не стоила. На что сегодня еще можно было купить фунт печенки, через три дня нехватало даже на фунт картофеля.

— Бумаги жалко... — усмехнулась фрау Шмидт, когда ее муж снова взялся за карандаш.

— Жалко, — покорно согласился тот. — Что же будет дальше? Что будет?..

— Я спешу. Мне надо итти. Мы проводим агитацию по домам.

Несколько дней спустя Шмидты, даже во время безработицы редко прибегавшие к услугам ломбарда, вынуждены были заложить свое белье, все до последней штуки.

Последняя вещь очутилась в ломбарде именно в тот день, когда Петр пришел навестить супругов Шмидтов.

Петр разбудил их в одиннадцать часов. Шмидты радушно встретили неожиданного гостя. За чаем с сахарином проговорили до поздней ночи. Петр поведал им о своих мытарствах в полиции, о суде, о своем бегстве.

Постель Петру кое-как смастерили из зимних пальто.



Утром Петр отправился в редакцию «Пролетария». Беседа с Гайдошем продолжалась часа три.

Гайдош сильно изменился. Прошло девять лет с того дня, когда он привел Петра в мастерскую и остановился перед огромным паровозом с поломанным задним колесом. Тяготы этих лет почти не отразились на лице Гайдоша. Но тем ярче бросился в глаза Петру горестный след последних шести месяцев.

Гайдош словно помолодел, — таково было первое впечатление.

Но, внимательно присмотревшись, Петр увидел, что тот похудел, вокруг рта легли глубокие борозды, подбородок заострился.

Глаза остались прежние. И теперь Гайдош смотрел на Петра так же, как девять лет назад, когда на просьбу дяди устроить в мастерскую мальчика — сына человека, умершего в тюрьме, — он ответил:

— Постараюсь! — и мозолистой рукой погладил ребенка по голове.

— Видишь ли, парень, — сказал он. — Покуда мы не базируемся на производственный пролетариат, наша работа — игра. С крестьянской беднотой и батраками мы тоже должны действовать открытую. Арваи говорит: не наши ошибки погубили пролетарскую революцию в Венгрии, — она была обречена с первого же момента своего существования. А это, парень, пахнет тем, что теперь, значит, нет и надобности единодушно провозглашать, что наша программа — революционный захват земли, что на вопрос о строительстве венгерской коммунистической партии нет надобности давать определенный ответ. В вопросах касательно партии, как бы ты ни возражал против жесткой установки Секе-реша, он все же был прав. Я сам понимаю, во фракционной борьбе есть много, много грязи. Это отвратительно. Мы этого не хотели, но уж так вышло, конечно не случайно. Если уж организовалась фракция и началась борьба против нашей линии, мы не были бы коммунистами, если бы бежали от борьбы. Нет, мы этого не сделали. Напротив: когда в нас начали бросать камни, мы ответили целым градом камней — в интересах партии.

Прежде чем отпустить Петра, он предложил ему работу в партийном аппарате.

— Тебе известно, что Гюлай и его товарищи отказались работать. Поэтому у нас нынче большие затруднения. Грамотных среди нас мало.

— Прежде чем принять твое предложение, я хотел бы поговорить с Гюлаем.

— Как хочешь, — ответил Гайдош раздраженно.



В два часа дня, как и было вчера условлено, Петр встретился с Шимоном около кафе «Бетховен». Они вместе пошли к Гюлаю. Дорогой ни словом не обмолвились о фракционной борьбе. Шимон вспоминал о румынском фронте, где когда-то они вместе работали. Правда, работали всего несколько дней, но Петру помнилось, что работал Шимон хорошо.

— Чорт меня подери, сын мой, если я не был уверен, что ты удерешь, — встретил Гюлай Петра. — Боюсь только, как бы ты, познакомившись ближе с нашими делами, не сбежал от нас обратно в тюрьму. Ты уже видался с кем-нибудь?

— С Гайдошем.

Лицо Гюлая потемнело. Он пятерней нервно откинул назад шевелюру. Петр заметил, что Гюлай помысел со лба и волосы его посеребрила проседь. Глаза его, равно и в радости, и в горе блиставшие улыбкой, теперь смотрели почти враждебно, куда-то через голову Петра. Но этот враждебный взгляд не относился к Петру. Гюлай перевел взгляд на Петра, и глаза его вновь улыбались.

— Давно мы друг друга знаем, Петр?

— Лет семь.

— Эти семь лет для нас прошли в борьбе, не так ли?

— Да, в борьбе.

— Я вспомнил о прошлом не из хвастовства. Это все ерунда. Мы исполнили свой долг — и только. Ты знаешь, что прошлое связывает меня с Гайдошем. Мы с ним тринадцать лет проработали бок о бок. Из наших рук вышел не один хороший товарищ. Если память не изменяет, и тебя направил ко мне Гайдош?

— Да, когда как-то на работе я засорил глаз...

— Ну, вот видишь. А теперь, Петр, я должен сознаться, я ошибся в Гайдоше. Он — плохой товарищ. Только лишь бы не драться, он готов скорее стать соглашателем, свернуть с большевистской линии... Не перебивай меня, Петр. Не мешай. Сначала выслушай, потом можешь возражать. О чем идет речь? Мировая революция отодвинута.

Не истолкуй меня ложно, — вопрос о мировой революции не снят с порядка дня и не может быть снят. Но мы ошиблись во времени. Мы должны взять установку на процесс более длительный, чем мы предполагали. Но, поскольку известно, что завтра нам не идти в атаку, спрашивается, каковы же теперь наши обязанности: пропагандировать революционный захват земли? Какой там чорт! Или, может быть, связать все партийные организации друг с другом? Боже упаси! Это — чистейший авантюризм. Венгерский пролетариат не имел такого опыта в подполье, какой имели русские. Не имел и не мог иметь. Царизма у нас не было. Разрешить различным группам, до сей поры изолированным друг от друга, войти в непосредственную связь между собой, — значит дать полиции возможность, в случае провала одной группы, накрыть сразу всю партию. Не знай я, что инициатор этой затеи — Секереш, я утверждал бы, что это — полицейская провокация. И как это, твои товарищи не могут или не хотят понять (Гюлай даже зубами заскрежетал), что гениальный план Арвай обеспечивает нашим ячейкам все преимущества крупной организации. В то же время он страхует их от неизбежных опасностей, связанных с крупной организацией. Наш принцип таков: в каждой группе то или иное предприятие может быть представлено только одним рабочим. Все, что в этой области натворили Андрей и Вера, сделано против наших инструкций. В нашей системе каждая отдельная организация может использовать опыт рабочих нескольких фабрик, но в случае провала одной группы организация в целом гарантирована от провала. А Секереш выдумал организовывать рабочих по предприятиям, связав между собой все заводские ячейки. Кто проповедует такие вещи...

Гюлай не докончил. Он махнул рукой и замолк.

Все послеобеденное время Петр провел у Гюлая. Схватка была горячая. В вопросах организации партии Петр расходился с Гюлаем.

Петр ссылался на собственный опыт. Гюлай выставлял свои аргументы. Ссы-

лался на опыт некоторых товарищей, которых Петр не знал и условия работы которых были ему неизвестны.

Гюлай спорил блестяще. Из этой дискуссии каждый извлек немало полезного, но переубедить противника ни одному из них не удалось.

— Ты взял работу у Гайдоша?

— Пока еще нет. Но думаю, что возьму.

— А я этого не думаю. Ты слишком честен для этого, Петр. Оппортунистом ты никогда не был. Я уверен, на днях ты снова придешь ко мне и скажешь. Гюлай, ты совершенно прав. Давай работать вместе.

В «Коркском бюргермейстере» Петр не встретил ни одного знакомого. Победил наскоро. У выхода столкнулся лицом к лицу с Ленке.

— В «Коркский»?

— Нет, я в «Грязнуху».

— А это еще что такое?

— Неужели не знаете? Это — кофейня, которую облюбовала наша рабочая молодежь. Здесь недалеко.

«Грязнуха», как и «Коркский», вполне оправдывала свое прозвище.

Спустившись по лестнице в шесть ступенек, входяшь в полутемное помещение. Сквозь верхние стекла единственного и грязного окна с трудом можно различить мелькающие ноги прохожих.

Шесть столиков без скатертей. На стенах — давно не беленых — пожелтевшие плакаты, повествующие о днях падения империи.

— Ну, и местечко выбрали!

— Здесь нет валютчиков.

Петр оглянулся.

— И на самом деле их здесь нет.

— Чашку чая без всего, — заказала Ленке.

— Мне тоже.

— Так и вы одним чаем ужинаете?

Вместо ответа Петр заказал бутерброд с маргарином!

— С тех пор, как я в Вене, — сказала Ленке, — у меня два желания. Первое: изучить основы марксизма. Второе: хоть один разок хорошенько, досыта поесть.

И поесть что-нибудь вкусное, скажем, настоящий шницель по-венски.

— Вы давно в Вене?

— Скоро три месяца. С тех пор, как арестовали моего брата. Вы, верно, знали его — Эмериха Вайда.

— Эмерих Вайда? Нет, не знаю.

— Не знаете? Вот это странно, — удивилась Ленке. — Калоча — маленький городок. А он там тоже во время диктатуры работал.

— Но я никогда в жизни в Калочке не бывал.

— Не бывали... в Калочке? Ничего не понимаю.

— Что же в этом удивительного?

— Мне говорили, что при диктатуре вы были в Калаче политическим комиссаром школы плавания.

— Ке-ем?

Безудержная веселость охватила Петра. Он захохотал, громко, от всего сердца, словно никакой фракционной борьбы и не существовало. Зато Ленке очень смутилась. Лицо ее вспыхнуло заревом. И как ни утрашивал Петр, она ни за что не хотела повторить так развеселившие его слова.

Но любопытство победило смущение. И Ленке снова разразилась восторгом:

— Значит, неверно, что до революции вы были инструктором плавания?

— Что правда, то правда, — с серьезным видом отвечал Петр. — Но что это, скажите мне, вас так хорошо информировал?

— Гомоннай.

— Да, да... это правда, — машинально согласился Петр и, чтобы скрыть внезапную перемену своего настроения, стал расспрашивать Ленке о ее личной жизни, о ее отце. Отец Ленке был железнодорожным машинистом. После падения диктатуры старика повесил отряд Остенбурга. Еще до войны Ленке окончила коммерческое училище и до революции работала в кооперативе. При красных училась в рабочем университете. После разрома революции долго была безработной. Жила у дяди. Чтобы избавиться от неприятной родственницы, дядя устроил ее на работу к одному крупному торговцу-суконщику.

В это время из концентрационного лагеря вышел ее брат, бывший во время диктатуры комиссаром по просвещению. Через два месяца брат — за распространение листовок — снова был арестован. Но Ленке не арестовали. Так и не могли докопаться, что листовки размножала именно она. Но с работы ее все же сняли. По постановлению партии она была отправлена в Вену — учиться. В Вену она поехала не в добрый час: разгоралась фракционная борьба.

Время шло быстро. Было около десяти, когда в «Грязнуху» вошел Гомоннай.

— Есть?

— Есть, — ответил Петр.

— Дайте мне только чаю напиться, я покажу вам нечто совершенно удивительное, о существовании чего вы даже и не подозреваете. Я покажу вам разум господина капрала Гайдоша.

— Не понимаю, — сказала Ленке.

— Терпение!..

Пока Гомоннай от дверей добрался до их столика, Петр успел шепнуть девушке, что она и слова не должна сегодня вымолвить по поводу «школы плавания» и его «инструкторства». В знак согласия Ленке кивнула головой. Но не нужно было быть знатоком людей, чтобы понять, как нестерпимо хотелось девушке поболтать именно на эту тему. Чтобы отвлечь ее внимание, Петр попросил газету. Служанка подала вечерний выпуск, из которого они узнали, что крона продолжает падать.

— Ну, если вас интересует...

Гомоннай вытащил из кармана тетрадь.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», — начал он. — Это, разрешите вам доложить, — он сделал жест, каким цирковые акробаты благодарят публику за аплодисменты, — это, разрешите доложить, цитата из Маркса и Энгельса. «Пролетариат потерять может только свои цепи, а выиграть — весь мир». Это тоже оттуда. А вот еще цитата: «Социализм — это советская власть плюс электрификация». Это уже из Ленина. Стоит ли продолжать дальше, милостивый государь и милостивая государыня? Старший унтер-офицер венгерской пар-

тии запишет в тетрадь с полсотни таких премудростей и живет этим. Доведись ему по тому или иному вопросу выбрать себе позицию, он покопается в тетрадке, — и вот его ортодоксально-марксистская точка зрения готова. Теперь, когда мы стащили у него эту тетрадь, заменяющую ему собственные мысли, нашему другу придется худо. Выяснится, что этот «великий вождь» на самом деле — великий осел.

— Разрешите.

Петр перелистал тетрадь, в которой неуклюжими огромными буквами были записаны мысли Маркса, Энгельса и Ленина. Петр вспомнил тетрадь Мартона, и он ясно себе представил рабочего, который по вечерам закорючкой, непривычной рукой заполнял эти листки. Он закрыл тетрадь. Взглянул на Гомоннай. Злобная ярость кипела в нем. Он едва сдерживался, чтобы не съездить кулаком по самодовольно улыбающейся физиономии Гомоннай.

— Слушайте, — сказал он дрожащим от сдержанного гнева голосом. — Слушайте, вы, господин Гомоннай. Более циничного негодяя я в жизни своей еще не встречал. И вы смели назвать себя коммунистом? Мерзавец! Вон отсюда!..

— Что?! В чем дело? Что ты говоришь?!

— Вон отсюда, пока целы.

— Но... Петр...

Ленке положила руку на плечо Петра.

Гомоннай встал. Лицо его посерело. Губы дрожали. Он дошел до лестницы и обернулся. Несколько секунд он молча смотрел на Петра. Медленно застегнул пуговицы пальто. Медленно натягивал перчатки.

— Вот каковы дела, — процедил он, держась за ручку двери. — Вот каковы дела! Теперь по крайней мере я знаю, откуда у вас деньги, чтобы посещать кафе «Бетховен».

И вышел.

У Петра хватило сил не броситься за ним вслед.

— Где вы живете? — почтительно спокойным тоном спросил он Ленке.

Ленке дрожала, глаза ее были полны слез.

— В Гринцинге, — прошептала она, когда Петр повторил свой вопрос. — В бараке номер сорок три.

— В бараке... Отлично. Я тоже живу там поблизости. Я провожу вас.

— Чудно! Пойдем пешком.

— Вы не устанете?

— Я всегда хожу пешком. Ходьбы не больше часа.

Они вышли из кафе.

Пока они сидели в «Грязнухе», прошел редкий дождь. Он лишь омыл мостовые. Тучи рассеялись. Дул легкий, почти весенний ветерок.

Ленке и Петр долго шли молча. Каждый был погружен в свои думы. Они находились уже далеко от центра города, где-то возле Гюртеля, когда Ленке заговорила:

— Знаете, Петр, в эмиграции жить трудно.

— Знаю. Вы не устали?

— Немного.

Петр взял девушку под руку.

Так молча дошли они до Гринцинга.

Они уже подошли к баракам.

— Два года тому назад, — сказал Петр, — я эмигрировал тогда впервые, — я тоже жил здесь. С тех пор мне не доводилось бывать в сорок третьем.

— Зайдите. Вспомните старину.

Петр почему-то надеялся, что Ленке живет в той комнате, где когда-то жила Драга. Но он ошибся, Ленке жила в северном флигеле барака.

На другой день, в послеобеденное время, на улице Петр случайно встретился с Гюлаем. Часа два бродили они под проливным дождем. Увлечшись спором, они не заметили, как промокли насквозь. Петр упомянул о Гомоннае.

— Гомоннай... Гомоннай... Постоянка... Это уже не та ли каланча с яйцеобразным черепом? Философ, если не ошибаюсь.

— Вот, вот.

— Я его знаю. Но отвечать за него не могу. К партии он никак не причастен. Он — эмигрант. Но что заставило его эмигрировать, известно ему одному. Если только он и сам-то это знает. Повторяю, к партии он никак не причастен.

Энтузиастом же нашей фракции он сделался, видимо, по той простой причине, что в прошлом у него была какая-то связь с Арвай, в те времена, когда тот еще был чемпионом по теннису, или чем-то в этом роде. Если из-за каждого мелкого жулика ты будешь так расстраиваться, так действительно садись-ка лучше обратно в тюрьму.

Вечер Петр провел у Ленке. Он вернулся домой очень поздно. Дома его ждал гость — Готтесман.

— Что ты удрал, это в порядке вещей. Но вот как ты мог так долго выдержать на хлебах Хорти?

— Меня, брат, и не спрашивали.

— Не может быть.

— А ты чем занимаешься?

— За неимением лучшего служу поваром.

— Поваром? Разве ты умеешь готовить?

— Готовить — нет. Но посуду мыть умею. Работа — как работа. И, как видишь...

Готтесман указал на стол, где на салфетке лежали два срезка салами, кость от окорока и прочие прелести.

— ... как видишь...

— А что ты скажешь насчет фракционной борьбы? — спросил Петр, уплетая яства.

— Ешь, брат, ешь, — угощал Готтесман.

— А что ты скажешь насчет Цюриха? — минутой позже спросил он в свою очередь. — Запомни, Петр. Обругай меня социал-демократом, если через месяц на улицах Вены не прольется кровь. Я уже присмотрел большой кухонный нож. Орудие подходящее. Хочешь, один могу одолжить и тебе.

И борьба идет...

Франц Гайду явился в одиннадцать — на час раньше открытия собрания — одним из первых.

Неспеша спустился он по узкой лестнице в зал. Зал был пуст. Лишь одна электрическая лампочка слабым светом освещала три бильярдных стола, длинный ряд колченогих стульев вокруг эстрады, выдвинутой на середину зала.

На эстраде — стол, покрытый зеленым сукном, и два стула.

Гайду взглянул на часы и мысленно выругался. Он направился к выходу. Поднимаясь по лестнице, столкнулся с Годоши.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Прошли мимо. Гайду и в голову не пришло сказать Годоши, что в зале еще никого нет.

Наверху — в кафе — обычные воскресные посетители. Собирались посидеть, просмотреть газеты скорее, чем завтракать.

Гайду уселся за столик. Заказал чай с двойной порцией рома. Минуту спустя Годоши занял соседний столик и также заказал чай с двойной порцией рома. В ожидании чая они рассматривали друг друга. Не враждебно, нет! Насмешливо скорее. Как будто каждый из них думал: «Ну, брат, и залез же ты по самую шею в...».

Почти десять лет работали они вместе на Чепельском заводе.

«Целое озеро можно было бы собрать из того пива, что мы с ним вместе выпили, пока удалось загнать нашу публику в профсоюзы» — думал Гайду.

Но в долгие годы совместной работы лилось не одно только пиво.

В апреле девятсот пятнадцатого года вместе присутствовали они на тайном собрании, которое — за спиной социал-демократической партии — обсуждало возможности забастовки и постановило подготовить политическую стачку.

Тысяча девятсот шестнадцатый год. Тысяча девятсот семнадцатый. Тысяча девятсот восемнадцатый.

Гайду был одним из руководителей забастовки, объявленной в дни мирных переговоров в Бресте. Его арестовали. Вскоре освободили. Недели через три забрали в армию и отправили на итальянский фронт.

Годоши — месяц спустя — грозил военно-полевой суд. И вплоть до катастрофы сидел он в тюрьме на бульваре Маргариты.

Образовалась коммунистическая партия. Годоши выгнали с завода. Гайду был арестован.

Тысяча девятсот девятнадцатый год. Двадцать первое марта.

Гайду уехал на румынский фронт. Годоши — двумя неделями позже — против чехов. При отступлении встретились в Пеште. Бежали вместе. Перешли австрийскую границу. Месяца через полтора Гайду снова был на работе.

Румыния. Трансильвания. Забастовка. Сигуранца. Допрос. Пытки огнем и водой.

Пятнадцать лет каторги. Бегство. Словакия. Вена.

Годоши был среди тех, которые вернулись домой, чтобы помочь бежать Отто Корвину... Двух товарищей поймали и замучили на-смерть. Годоши удалось бежать в Югославию. Шесть месяцев проработал он в Пече... И вот он — в Вене.

Вошел Шимон. Подсел к Годоши. Тот допивал третью чашку чая с ромом. Лицо его покраснелось. Он сидел неподвижно и прямо, как солдат на параде.

— Позже, — говорит Шимон подошедшему кельнеру.

Позже — это значит: я сыт. Сейчас ни есть, ни пить не хочу. Немного погодя подойдите принять заказ.

— Ты без работы? — спрашивает Шимона Годоши.

Шимон утвердительно кивает головой.

— Чай с ромом, — заказывает Годоши.

— Без рома.

— Почему без рома? У меня хватит, — говорит Годоши, похлопывая по карману брюк.

— Я — антиалкоголист, — смеется Шимон.

Годоши презрительно машет рукой.

К Гайду подсел Шютэ. Герой воспитания в Каттаро. К ним присоединяется Кеше, только-что вернувшийся из России. Все три года гражданской войны пробыл он на восточном фронте. Ни Шютэ, ни Кеше не раскланиваются с Годоши.

— Нынче у нас этот... кельнер запляшет, — говорит Годоши Шимону нарочито громко. Так, чтобы за соседним столиком было слышно. Но тем не до них. В руках у Кеше московская

«Правда». Он объясняет что-то. Шютэ хохочет. Гаиду одобрительно кивает головой. Голубые глаза его блестят от восторга.

— Подходи, дружок, подходи! — приветствует он вошедшего Фюреди, сапожника из Паапа, который после восьмидневного допроса в Шиофоке в главной штаб-квартире Хорти стал глухим на оба уха. Левая нога не сгибалась в колене. — Сегодня ликвидируемся, брат, что ли?

— Ссылают его на остров Мадейру, — отвечает Фюреди. — Позже, — отмахивается он от кельнера.

К Годоши подошел Мандоки — бывший мишкольцкий учитель. Он что-то объясняет, показывая письмо. Лицо Годоши омрачается.

Кафе теперь полно эмигрантами.

— Позже...

— Позже...

Когда входит Петр, Готтесман громко приветствует его.

— Сюда! Сюда! Я давно жду тебя.

Шимон с жадностью уничтожает остатки еды, принесенной Готтесманом. Он точно похоронил свое лицо в этой просаленной газетной бумаге.

— Ты голоден, Петр?

— Не очень.

— Перекуси что-нибудь. Предстоит долгое собрание.

— На собрании будет представитель Коминтерна, — сообщает новость Шимон.

— Кого послал Коминтерн?

— Кого-нибудь из шишек, — предполагает Готтесман. — Ну, этот-то расправится как следует с Гюлаем и командией! Давно пора.

— Ты думаешь? — сомневается Шимон.

— Я знаю, — говорит Готтесман.

— Значит, ты?.. И я принял от тебя эти...

Шимон протягивает Готтесману просаленную бумагу. Тот не берет. Но увидав, что в бумаге ничего нет, выхватывает ее и бросает в корзину для мусора. Шимон отходит.

— Пойдем вниз, Петр!

У входа вниз уполномоченные обеих фракций требуют легитимацию. У Петра

дело плохо. У него нет никаких документов.

— Я не знаю этого товарища, — говорит дежурный, высокий, русский, молодой рабочий.

— Можешь пропустить! — кричит Гюлай, стоящий поблизости.

Тогда вмешивается второй постовой — Как ваша фамилия, товарищ? Как? Петр Ковач?

— Это не тот Ковач, — грубым голосом вмешивается женщина, похожая на фельдфебеля, — тот сидит в Сборной гюрме.

Наконец с большим трудом Петра «легитимируют».

Зал уже наполовину полон. Все лампы зажжены.

Собираются группами. Шепчутся. Кой-где громко спорят.

— Вы видите только лишь неудачи. На наши достижения вы закрываете глаза или просто отрицаете, что они есть. А достижений немало...

— Революционный захват земли? Эхма!.. Слыхали вы эту песню!

— Диалектика... Спасибо! Диалектику вы понимаете так: если цель расположена слева, то идти к ней надо справа. Спасибо.

— А ваша диалектика в том, что никогда не исполняете того, что обещаете! Хорошее дело...

Венская венгерская эмиграция... Участники первой Венгерской советской республики. Борцы, пережившие ее крушение. Пионеры борьбы за вторую советскую Венгрию...

Когда Кун и Ландлер тотчас же после поражения — из концентрационного лагеря австрийской демократии — вновь приступили к созданию коммунистической армии, венская эмиграция составила первую роту этой армии. Эта рота выделяла из своих рядов смелейших из смелых, направляла их в Венгрию, дабы вновь начать борьбу в наиболее опасных местах свирепствующего белого террора. Сюда стягивались остатки разбитой армии. Здесь беженцев превращали в новых бойцов. Здесь зародился план: путем использования демократии стран-наследниц охватить белую Венгрию сетью коммунистических

организаций, руководя борьбой извне. С той поры демократия стран-наследниц сбросила маску, и сигуранца, «Канцелярия пропаганды», охранка не уступают улице Зрини. Пролетариат стран-наследниц ведет борьбу со своими угнетателями. В Венгрии вновь кипит работа. Убитых заменили новые бойцы. Положение в Вене, значение этого города, задачи венской эмиграции сегодня уже не те, что были два года назад. Тысячи венгерских красноармейцев, прошедших гражданскую войну, сбрасывают форму и возвращаются в Венгрию с опытом русской революции. Там они пожинали плоды, здесь они должны еще вспахать почву. Что годилось два года назад, сегодня стало непригодным. Что тогда было блестящим оружием, сегодня — ржавое железо. В арсеналах венской эмиграции найдется немало хлама, ненужного даже два года назад. Тот, кто боится сознаться в своих ошибках, кто боится поставить свои действия под перекрестный огонь критики, тот к старым ошибкам прибавляет новые. «Нет, не наши ошибки погубили советскую Венгрию, — с самого начала она была мертворожденной».

Ряды первой роты расстроились. С паровой машины сорваны ремни. Колеса еще крутятся по инерции: одно — вправо, другое — влево... Срединное, основное колесо так и бьет энергией. Приближается машинист. Вот он уже подошел. Раскрыл ящик с инструментами. Машину надо ремонтировать. Колеса, еще пригодные к работе, надо поставить на правильный ход... Непригодные — удалить.

— На собрании присутствует представитель Коминтерна.

Собрание открыл Гусак-Киш в пять минут первого. Он пригласил товарищей соблюдать «спокойствие и порядок», достойные «великого прошлого и полного надежд будущего венгерской партии».

Час. Два. Три. Четыре. Пять.

Оратор за оратором. Аргумент за аргументом. Каждый незначительный эпизод, каждая мельчайшая деталь по подготовке венгерской революции, сто-

тридцатитрехдневной диктатуры, ее поражения, работа последних двух лет на каждом фронте, подробности каждого выступления проходят перед слушателями. Каждый оратор освещает какую-нибудь главу из истории последних лет. Каждый воскрешает какой-нибудь забытый эпизод. И каждый эпизод звучит аргументом в ту или иную сторону. Аргумент против аргумента. Вначале характер спора еще насыщен отравленной атмосферой эмигрантских кафе. Но важность трактуемых вопросов не терпит легкомысленного тона. Значение партии... земельный вопрос... партия...

Семь часов. Восемь. Девять. Десять. В зале накурено. Дым — словно уличный туман. Усталые лица. Страсти еще не улеглись, но тела утомлены. Уже трудно следить за речами ораторов. То тут, то там ведутся разговоры вполголоса.

Одиннадцать.

— Товарищи! Внимание..

Киш бьет кулаком по столу.

— Товарищи! Соблюдайте тишину! Закройте двери! Прошу не покидать своих мест. Слово предоставляется представителю Коммунистического интернационала.

В задних рядах не слышат слов Киша. Но видят, что в передних рядах встают. Через несколько секунд весь зал на ногах. Тишина. На эстраде, рядом с Гусак-Кишем, стоит Гонда. Гонда — представитель Коминтерна. Тот самый Гонда, который еще полтора года назад был машинистом на узкоколейке Сольва — Полена и скрывал от товарищей, что глаза его красны от чтения по ночам.

Гонда стоит, широко расставив ноги. Руки в карманах. Вытянув вперед голову. Его смелые глаза перебегают с одного лица на другое.

— Товарищи!..

Собрание кончилось в половине второго ночи.

Рано утром Петра разбудил тот самый молодой рабочий, который вчера не хотел впустить его в зал собрания.

— Скорей! Скорей!

Через десять минут они сидели в трамвае. Через полчаса Петр был у Гонды. Гонда остановился в квартире одного из австрийских товарищей.

Все утро Петр и Гонда провели вместе. Гонда подробно расспрашивал Петра обо всем. Особенно интересовала его не жизнь в эмиграции, а то, что Петр видел, слышал и пережил в Венгрии. Гонда ничего не записывал. Особо важные сообщения он заставлял повторять.

— Много ты горя хлебнул, Петр!

— Ну, а как у вас дела?

— Будь я даже таким хорошим рассказчиком, как ты, и то всего не пересказать бы. Теперь за год все меняется. Помнишь—да как это тебе не помнить!— собрание, которое ты организовал вместе с покойной Лакатой? Когда мы собрались в Мункачском замке. Это был первый коммунистический конгресс в Чехо-Словакии. С тех пор прошло полтора года. А нынче я приехал сюда прямо с первого конгресса чехо-словацкой коммунистической партии! Если бы ты мог быть там, Петр!

Спокойное лицо Гонды раскраснелось. Он был возбужден. Говорил о политическом значении конгресса, о делегатах. Рассказывал о толстом, осторожном человеке; о человеке горячем и подозрительном; о человеке с мозолистыми руками, о теоретике, носителе гусситских традиций... У него был меткий глаз, он отлично подмечал в людях характерные черты и недостатки. Но он не был эмигрантом. Он замечал не только одни недостатки. Он любил и уважал своих товарищей, несмотря на их недостатки. Он подтрунивал над ними и радовался собственному юмору, заливаясь громким, здоровым смехом. Но когда заговорили о предателях, Гонда надулся и стал скуп на слова. Глаза его засверкали сталью. Складки вокруг рта обозначились резко.

— Ну, что бы тебе еще рассказать? Прикарпатская Русь... Ах, если бы ты видел эту мобилизацию, Петр! В секретариат пришли два мужика: «Здравия желаем!» — «Здравствуйте, товарищи! По какому делу?» — «Мы пришли насчет мобилизации». — «Мобилизуем не мы, товарищи, а чешское правитель-

ство». — «Знаем мы это, знаем! Потому и пришли. Ведь призывает-то нас не Ленин и не Бела Кун... Что же нам нынче делать? Игги или затыкать уши?»

Сначала пришли двое, потом еще двое. Дальше шли уже целыми толпами. Представь себе наше положение! Трудящиеся Прикарпатской Руси спрашивают нас: как им быть? мобилизоваться или нет? А мы сидим, как ослы! Ни с Прагой, ни с Венной нет связи. Полиция организована во стократ лучше нас. Она отрезает нам все пути. Мы все узнаем из цензурированных газет: «Карл идет с войсками на Будапешт...» «Малая Антанта мобилизует...» Ну, что тут было делать? Но, видно, прошли мы с тобой одну и ту же школу. Мы поступили так же. Сказали: «Берите, ребятки, оружие и ждите наших распоряжений!» Они поблагодарили нас за совет.

На второй день мобилизации я должен был уехать на конгресс в Прагу. Дорога тебе известна. Местами поезд идет совсем близехонько от венгерской границы. Видны чешские жандармы в плоских кепи бок о бок со своими венгерскими коллегами с петушиными перьями. Вот когда интересно было посмотреть границу! Я видел танки, каких на войне даже и во сне не видел. Как будто мобилизованы не люди, а машины. Людей тоже было немало, но они терялись среди машин. Чешская мобилизация проводилась куда грознее австро-венгерской в четырнадцатом году. Я имею в виду техническое оборудование. Но чего-то не доставало. Чего-то главного. Той массы, которая встречала бы войну криками «ура!». Чешских солдат никто не одаривал папиросами и шоколадом. Никто не засыпал их цветами. Невеселы были солдаты. Правда, они шли с песнями. Но каждый бывалый солдат за их пением ясно мог различить окрики фельдфебеля: «Пойте, сукины дети! или я у вас кишки выпущу! Веселей пойте, мать вашу...» Знаешь, Петр, мне кажется, солдаты начинают соображать, для чего могли бы пригодиться винтовки. Они еще не вполне поняли, но одно им ясно: что если они выстрелят, то и по ним стрелять будут.

Но я врал бы, утверждая, что не видел веселых, воодушевленных солдат. В одном из пригородов Праги я был свидетелем, как резервисты, по мобилизации явившиеся в свои части, кричали «ура!» — Ленину и Советской России. Эти были в хорошем настроении. С таким энтузиазмом распевали они «Красное знамя», что улица дрожала. Вот это было настоящим открытием конгресса. Да!

Ну, что же тебе еще рассказать? Прикарпатская Русь... Заводы, фабрики закрываются. Чехам нужна колония, не имеющая собственной промышленности. Грабеж идет по всей стране... Да!

Да, чуть было не забыл тебе сказать! Ивана Рожош в первый же день мобилизации нашли в его рабочем кабинете мертвым, с простреленной головой.

— Самоубийство?

— Официально да. На самом же деле... Пуля угодила в затылок, пробила глаз... Еще ни один самоубийца не умудрялся так ловко застрелиться. Я думаю, это дело «Канцелярии пропаганды». Ходят слухи, будто Рожош был замешан в королевском пугче. Это похоже на него.

От разговора о венгерских партийных делах Гонда уклонился; казалось, он пропустил слова Петра мимо ушей о том, что он собирается завтра к Гайдошу — просить работы.

Только на вокзале, прежде чем сесть в поезд, Гонда сказал несколько слов, которые можно было понять, как косвенные указания.

— Когда Арвай говорит, — а перед вчерашним собранием я протолковал с ним добрых три часа, — словом, когда я слушаю Арвай, я невольно вспоминаю Давида Корн. Интересно, что даже по внешности они похожи друг на друга. Корн был такой же огромный черный толстяк, как и Арвай, и даже бороду носил точь в точь, как он. Гм... Давид Корн — да не смущает тебя, если его ты не знаешь, — не из политических величин. Он — всего-навсего сын трактирщика из Сольвы. Мы вместе с ним ходили в народную школу.

По окончании школы Давида отправили в город учиться. Я остался пасти гусей. Затем заделался дровосеком. Когда проводили узкоколейку, работал на постройке. Впоследствии, как тебе известно, я стал машинистом. Я, было совсем втянулся в свое ремесло. И вот однажды летом Давид приехал домой в отпуск. По старой дружбе я чуть ли не каждый день возил с собой на паровозе в Полену. Он ухаживал там за какой-то девицей. Как-то раз дорогом ему взбрело в голову объяснить мне природу паровой машины... законы, по которым паровоз движется. Он и объяснил. Я узнал, почему колеса вертятся. Узнал, почему они вертятся именно так, а не иначе. Почему паровоз идет вперед, а не назад. Узнал, почему паровоз тянет вагоны, а не вагоны — паровоз. Одним словом, почерпнул я от Давида много полезного, хоть и понимал его объяснения так же плохо, как плохо знал он паровозное дело. Но говорил он очень умно и так меня запутал, что я стал бояться дотронуться до машины. Для через три мне опять пришлось подвозить Давида до Полены, и опять он толковал мне насчет паровых машин. Он довел меня до отчаяния, и, повтори он еще раз свою лекцию, наверняка покинул бы я свой паровоз и сбежал бы обратно в лес. На мое счастье Давид из-за поленовской девицы повздорил с каким-то монтером. В результате этого столкновения бедняге недели на две пришлось слечь в постель. За эти две недели Давид разочаровался в девице, да и ко мне очевидно тоже охладел. Инженер из Сольвы — далеко не такой умница, как Давид, — за какой-нибудь час примирил меня с паровозом. И, как ты знаешь, из меня вышел непохой машинист. Давид впоследствии стал чем-то в роде директора банка. Я совсем забыл о нем. Но стоит мне послушать Арвай, и я сейчас же его вспоминаю. Тотальность... Гм... Оппортунист Энгельс... Гм... Молодой Маркс против старика Маркса... Скажи мне, Петр, нельзя ли сосватать Арвай с какой-нибудь девицей из Полены?..

На другой день рано утром Петр пошел к Гайдошу.

— Мы подышаем с голоду, товарищ! Мы сдохнем, если будем сидеть так, сложа руки. Сдохнем...

— Не волнуйтесь, товарищ! Человек не так-то легко подыхает. Во время войны мы сильнее голодали.

— Да, но тогда жрать было нечего, А сейчас магазины ломятся от продуктов. Покупать только не на что!

— Выходит так, что вы, товарищ, жалуетесь не на голод, а на то, что магазины полны? За императора, выходит, голодать можно, а за республику нельзя? Руководство профессионального союза прекрасно учитывает положение. Все, что возможно, будьте покойны, будет сделано. План товарища Бауэра, разрешающий хозяйственные проблемы, вам всем верно известен. Ну, что скажете? Можно ли представить себе что-либо гениальнее?

— Но мы подохнем с голоду, товарищ...

— Это я уже слышал, товарищ! Давайте говорить серьезно. Надо запастись терпением. Ради сохранения революционных достижений стоит и потерпеть.

— Будь бы хоть надежда, что положение улучшится.. Хотя бы и не так скоро... Но жизнь становится все тяжелее и тяжелее...

— Тяжелее? А что сказали бы вы, товарищ, если бы оказались в Венгрии, в раю Хорти? Или, скажем, в Советской России. Что бы вы там запели, а? Это вам — не красная Вена!

С раннего утра по городу ползли странные слухи. Говорили, будто рабочие Винер-Найштадта остановили фабрики и направились в Вену. Тридцать тысяч металлистов. Слухи росли. Сорок тысяч! Пятьдесят тысяч... К двенадцати часам уже шопотом говорили о ста тысячах. Оттакринг. Флорисдорф... Двести тысяч рабочих... С красным знаменем! С черными знаменами... с изображением черепа... С ножами во рту...

— Страшные сказки. Это ведь не русские и не венгерцы! Наши рабочие—

не грабители. Они рады, что им дают жить.

— Говорят, нищета страшная.

— Подумаешь! К нищете им не привыкать стать. Практика большая! Уж не голод ли был во время войны, — ничего, вытерпели! Австрийский рабочий отлично умеет голодать. Почитайте, пожалуйста, «Арbeiter цейтунг», тогда не будете клевать на всякие слухи.

— А Винер-Найштадт...

— Нашли чего пугаться! Один из руководителей профсоюзов, для которого я на-днях заключил несколько мелких сделок, словом этот «товарищ» заверил меня, что социал-демократическая партия уже делегировала в Винер-Найштадт несколько трезвых людей. Они легко справятся с коммунистами. Никаких причин для тревоги. Последний цюрихский курс знаете?

— Падение на одиннадцать пунктов.

— Вот видите! Я могу вас успокоить. Переверните австрийские рабочие тысячу раз через голову, и то ничего страшного не случится. Между нами говоря, венгерская корона на-днях тоже покатится вниз. Головой ручаюсь за это! Уже с неделю я только тем и занят, что продаю кроны. Как это вам нравится? А это — ведь только начало. И должен вам сказать, — уже совершенно конфиденциально, — солидные люди считают, что немецкая марка... Крупные немецкие финансисты играют на понижение. Подумать только, Вайс, если немецкая марка... По мне тогда пусть хоть провалится вся Австрия! Германия... Немецкая марка... Но если вопреки здравому смыслу австрийские рабочие все же предпримут что-либо... Что они нам могут сделать? Садимся в автомобиль и проводим несколько дней на Семмеринге. Или делаем экскурсию в Берлин — для рекогносцировки. Что вы на это скажете? Берлин — это блестящая идея, не так ли? А пока-что пойдем в кафе «Габсбург» и выпьем по бокалу шампанского.

— По утрам я не пью.

— Надо приучиться!

Многие торговцы, рано утром закрывшие свои магазины, около полудня их открыли вновь.

В городе спокойно. Безветренно. В воздухе тепло. Легкие облака, заслоняя солнце, почти касаются крыш зданий.



Первые колонны подошли к бульвару часам к двум. Вышли в рабочих блузах, прямо от станка. Не переоделись, не умылись. По боковым улицам стягивались они к центру города — к городу господ. Без знамен, без музыки, без пения. Торопливо. Десятки тысяч. Сотни тысяч.

Под их твердым шагом земля гудит... как перед землетрясением.

Скорей! Скорей! Скорей!

По проспекту Алзер, по Мариагильфе головные отряды стягиваются к бульвару. Перебитые стекла зеркальных окон ресторанов, драгоценности ювелирных магазинов, втоптаные в грязь, — таковы следы их пути.

Под натиском то тут, то там срываются с петель двери. Сотни рук разбрасывают по мостовой куски роскошных материй: бархат, шелк, коробки кружев, серебро, золото, бриллианты... И тысячи ног топчут драгоценные вещи.

Скорей! Скорей! Скорей!

Камни с треском летят в зеркальные окна. Топот шагов заглушает звон разбитых стекол. Ресторанные столики валяются вверх ногами.

На мостовой осколки перебитой посуды. В ярости топчут деликатессы гастрономических магазинов. Обувь набухла от шампанского и токайского, потоками льющегося по мостовой.

Женщины! На их лицах — бедствия войны и нищета мира. Истощенные, преждевременно состарившиеся. Глаза лихорадочно горят. Под глазами черные круги. С серьезными лицами, словно творя суд, топчут они эти недосягаемые, бесценные сокровища продуктовых магазинов.

— Лиза! Лиза! Знаешь ли ты, что ты топчешь?

— Хоть бы только раз, один единственный раз довелось бы мне поплясать вот так на шее жравших это добро! Из-за этих... моего мужа под Дюбердо угнали.

— Бери вон ту коробку!

— Не смей трогать, Тереза! Ногами! Только ногами! В мусор... Если когда-нибудь...

Скорей! Скорей! Скорей!

Через десятки улиц движутся массы, заполняя бульвар.

Здания остались те же, но лицо бульвара изменилось, его как будто покрыли огромным черным ковром.

Мостовая грохочет. Дома дрожат.

Черная волна катится к военному министерству. Вот остановились. Вот движутся вновь. Здания диктуют темп.

Скорей! Скорей! Скорей!

Людская волна захлестывает уличное движение. Остановились трамваи. Автомобили, не успевшие вовремя удрать, остаются растерзанными на месте.

— Долой правительство Зейпеля!

— Смерть!..

Все тонет в грохоте землетрясения.

Женщина с широким лицом и большой грудью привязывает яркокрасный головной платок к стягу флага на здании парламента. Гремит: «Ура!!», «Ура!!...»

— Перед парламентом...

— Отто Бауэр говорил с этого балкона и кричал «ура!» Советской России.

— Коммунисты!..

— Правительство подает в отставку.

Скорей! Скорей! Скорей!

Первая колонна подошла к военному министерству и движется дальше, безостановочно. Несколькое человек забралась на памятник Радецкого и оттуда приветствуют толпу.

Долговязый парень влезает на бронзовую лошадь монумента. Он садится позади Радецкого, рассчитывая рассмешить толпу. Напрасно. Никто не смеется. Толпа движется дальше.

Скорей! Скорей! Скорей!

Вперед! В бешеном упорстве опущены головы. Гнев порой ослабевает, уступая место какой-то великой печали и безнадежности. Если бы кто-нибудь преградил им дорогу, они растоптали бы его насмерть. Если бы правительство выставило против них вооруженные силы, они у солдат вырвали бы внутренности. Если бы кто-нибудь указал им, где их невидимый враг, они задушили бы его голыми руками! Но враг притаился. Не видно и

вождей. Маленькая горсточка коммунистов затерялась в толпе. Самое большое, что удастся им, — это кое-где переключить отчаяние в действие. Но руководить всей толпой они не в состоянии. Социал-демократическая партия стоит на страже, дабы «серьезных нарушений порядка не было».

Головные отряды устали. Но задние продолжают подгонять.

Скорей! Скорей! Скорей!

Из окон «Гранд-отеля» летят на мостовую тяжелые зеркала, фаянсовые вазы, золоченая мебель.

Кривой, скуластый рабочий забрался на газовый фонарь и что-то кричит оттуда. От напряжения лицо его налилось кровью. Но голос его тонет в общем гуле, и рука, указывающая на площадь Шварценберга, опускается.

Тысячные толпы демонстрантов сворачивают с бульвара. Они идут громить Кертнерский проспект.

Тяжелая дубовая дверь «Казино Шварценберга» вылетает с грохотом пушечного выстрела. Осколки венецианских зеркал вестибюля острыми брызгами осыпают передовых.

В огромном зале второго этажа — индийские вигвамы из желтого шелка. Шелк шатров разлетается в клочья. В одном вигваме спят, обнявшись, две полуголые женщины. Их будит дикий хохот. Они вновь закрывают недоуменные глаза, словно хотят спастись от тяжелого кошмара. Их выбрасывают на улицу, передавая из рук в руки.

Толпа напирает. С силой, способной снести плотину из железо-бетона. Но в передних рядах люди устали. За военным министерством начинают замедлять шаг. У памятника Тегетофа ряды начинают редеть. Куда же идти дальше? Какой смысл?

— Который час?

— Половина шестого.

— Поздно. Я должен спешить в больницу кассу. Мой Курт болен. Лежит четвертый день, а врача все нет и нет. Я обещал жене...

— Мне надо бы в ломбард, проценты заплатить...

— Через Бельведер короче.

— Там не пройти, там все еще идут...

Домой!

Домой, в нетопленную квартиру, где ждут голодные дети и отчаявшаяся жена. Ждут, сами не зная чего. Ведь им хорошо известно, что ждать нечего.

Домой!

А завтра снова на завод. Туда придет кто-нибудь из «старших товарищей» и скажет краткую речь:

«Товарищи! Вот куда заводит путь, который проповедают безответственные авантюристы. Теперь вы сами понимаете, почему должно всеми способами удалять с фабрик и заводов так называемых коммунистов, которых пачками выбрасывают к нам Польша и Венгрия. Вы наказаны потерей однодневного заработка. Больше четырехсот ваших товарищей арестованы полицией, и наверняка не одна сотня иностранных рабочих будет выслана из Австрии. Вот каковы результаты вчерашнего дня! Но самое главное, ваша выходка ставит под удар и бесконечно затрудняет реализацию финансового плана товарища Бауэра. Как же можем мы требовать новых жертв, новых денежных жертв от той буржуазии, которая вчера потерпела такие тяжелые убытки?..»

Вот что сулит грядущий день! Да и другие не обещают лучшего.

Сотни тысяч — те самые сотни тысяч, которые стояли под Добердо, на берегу Изонзо, в болотах Албании, в Карпатах! Те сотни тысяч, которые извечно воюют с более сильным врагом — за кусок насущного хлеба. Те самые герои, которых отечество неизменно встречает «с неослабевающей благодарностью» и которых дома ждут голодные жены. Сто тысячная толпа раскалывается на индидуумы, и каждый стонет над своей личной бедой. А бед достаточно!

Не слышится больше подгоняющего:

— Скорей! Скорей! Скорей!

— И так придем во-время...

Головы поникли, но руки сжаты в кулаки.

Горе тому, на кого этот кулак опустится!

По бульвару бродят только отдельные мелкие группы. Окрестные улицы полны

таких групп. Люди расходятся по домам.

Зажигаются дуговые фонари. Небо освещают военные прожекторы. Кое-где в разбитых окнах опустошенных магазинов одиноко светятся уцелевшие электрические лампочки, словно золотые зубы во рту покойника.

Около шести часов начинает накрапывать дождь.

— Пора во-свояси.

По домам!

Теперь на сцену выходит полиция.

К полудню полицейские исчезли, точно их поглотила земля. Теперь они вынырнули, словно земля их выплюнула.

На проспекте Кергнера юни раз'езжают на лошадях по тротуарам. На площади Шварценберга насканивают сабли наголо — на прогуливающих у казино и памятника (от которого площадь и получила свое название), преграждая путь тем, кто остался в казино. Демонстранты пытаются помочь товарищам, попавшим в ловушку. Они пробуют в свою очередь отрезать путь полицейским. Но те не шутят. Расчищают себе дорогу саблями. Какая-то работница со стоном валится на землю. Ленке наклоняется, чтобы поднять ее. Удар сабли оглушает Ленке. Она шатается, но не падает. Она выпрямляется и с диким криком бросается на полицейского. Ногтями она впивается в его лицо. Полицейский зовет на помощь. Его коллега уже заносит саблю. Вдруг сильный удар в живот сбивает его с ног, — Готтесман опередил его.

— Сюда! Сюда, товарищи! — кричит Шмидт, направо, налево раздавая удары тяжелой резной ножкой стула.

Полицейские отступают под напором рабочих.

— Сюда, товарищи! Сюда! Бейте их...

Ножка стула выпадает из рук. Сваливается шляпа. Кровь заливают лицо. Петр подхватывает товарища.

Из окна второго этажа казино на голы полицейских летит фаянсовая посуда.

— Я думала, мы до Берлина не останемся, — говорит Ленке.

— До Берлина? До Нью-Йорка мы могли бы дойти, а то и дальше! Куда угодно! Пусть выругают меня социал-демократом, если мы остановились бы хоть на минуту вплоть до самого социализма... если бы мы только знали... если... если бы нами кто-нибудь руководил...

— Роль партии, — говорит Петр. Он почти несет на себе Шмидта.

Готтесман прикладывает грязный носовой платок к распухшему глазу. Ленке, еще не отдышавшись от бешенства, ощущивает темя, к которому приклеились мокрые волосы. Шмидт шатается, как пьяный.

— Возьми его под руку с другой стороны.

Готтесман без-умолку говорит. То ругается, то строит планы.

— Вена! Вот вам и Вена... прославленная, веселая Вена!.. А что еще будет, когда Прага и Берлин зашевелиются! Сразу все... А? Что будет, когда по-настоящему... Доживем, товарищ Шмидт! Доживем!

Шмидт не отвечает. Он без сознания.

Утром он очнулся. Он был бледен, как повязка на голове. Он словно истек кровью. Лежит неподвижный. Руки плетями свисают с кровати.

— Расскажите мне еще что-нибудь, товарищ Ковач.

Петр не знает, о чем ему еще рассказать. Жена Шмидта уже с час как вышла из дома. А Петр все сидит у постели больного, прикрытого вместо одеяла пальто.

— О чем же еще рассказать, товарищ Шмидт?

— Все равно о чем, — шепчет больной.

— Вы знаете... Москва... — Петр вдруг вспомнил: — Москва обменяет Москва освободит венгерских коммунистов, сидящих в тюрьмах со времени падения диктатуры. Коммунистов обменяют на военнопленных офицеров.

Шмидт не понимает.

Петр объясняет ему.

— Всех нас обменят, — бормочет Шмидт, снова теряя сознание, — всех нас, всех...

Глаза его устремлены на потолок. Он с трудом дышит.

Петру знакомо это дыхание, знаком свиной запах цвета лица.

Спустя полчаса он закрывает глаза Шмидта.

В трамвае, — Петр ехал в город, — стиснутые между пролетарских женщин, сидели двое полицейских. Полицейские молчали. Молчали и женщины. Говорили глаза. Напротив тучных полицейских сидела женщина, укутанная в шотландскую шаль. Ее горящий ненавистью взгляд впился в лицо полицейского. Тот отвернулся. Но, словно притянутый магнитом, обернулся вновь и посмотрел на худое, морщинистое лицо с темными кругами под глазами. Полицейский поднялся. Его взгляд остановился на другом лице: заплаканные глаза, готовые выпрыгнуть из орбит и впиться в его упитанную физиономию.

Полицейские вышли на площадку. На следующей остановке они сошли с трамвая.

В редакции Петр встретил Гайдоша. Поработали с час. Потом вместе вышли на улицу. Гайдоша вызвали в полицию. Петр спешил в типографию. Чтобы сократить путь, они пересекли проспект Кертнера.

Осколки стекол разбитых витрин топтали ноги, обутое в широконосые ботинки и гетры и крошечные лакированные туфельки. В магазинах шла лихорадочная работа. Прибывали партии новых товаров.

Разбитые витрины охранялись полицией.

Господа в светлых пальто с огромными меховыми воротниками и звонко щебечущие дамы с ярко накрашенными губами, с бриллиантами в ушах — величи-

ной с орех — одаривали полицейских сигарами и папиросами, пожимали им руки, похлопывали их по плечу.

Поражение не убило бодрого настроения Гайдоша.

Не так восторженно, как Готтесман, но с такой же непоколебимой верой говорил он о будущем. Об уроках вчерашнего дня. Вчерашний день разоблачил социал-демократию и на опыте показал, какое значение имеет, руководят ли рабочими социал-демократы, или коммунисты.

— Если бы социал-демократической партии не существовало, — вздыхает Петр.

— Но она существует, — страстно говорит Гайдош. — Она существует! — почти кричит он. — И мы должны с этим считаться. Она существует, и поэтому борьба будет долгой и трудной!

На углу Грабена, где готические башни церкви святого Стефана бросают тень на Корсо, они расстались.

Петр остановился на минуту.

— ... долгая и трудная... долгая и трудная... — повторял он.

Публика, наводнявшая Корсо, почти прижала Петра к стене. Вчерашняя забастовка не была темой разговоров. Дамы и господа, расхаживающие по осколкам оконных стекол, среди опустошенных витрин, болтали о Цюрихе, о венгерской кроне, о марке, о новых автомобилях, о драгоценностях, о яхтах. Улица звенела от веселого смеха, от победоносных гудков возвращавшихся в Вену автомобилей.

— Борьба будет долгой и трудной, — повторял Петр, медленно пробираясь к типографии. — Она будет долгой и трудной! Но мы доведем ее до конца!

Роман окончен.

Борьба продолжается.

Петр Первый

Роман

АЛ. ТОЛСТОЙ

Книга вторая

(Продолжение ¹)

Двое на лыжах вышли из лесу на лунный свет поляны. От зимовища тянуло дымком. У саней понуро стояли лошади, прикрытые рогожами, и, привалясь к передку, спал сторожевой солдат, обхватя мушкет рукавами тулупа.

Двое на лыжах неслышно обошли вокруг зимовища. Опираясь на рогатины, стояли, слушали. Месяц обвело бледным кругом, в заиндевелом лесу — тишина. За стеной избы глухо кто-то забормотал. У саней вздохнула всей утробой лошадь. Сторожевой солдат лежал, как застывший, усатым лицом в лунном свету.

Один на лыжах сказал:

— Связать его разве? Спит крепко. Опосля бы в огонь и бросили с молитвой.

Другой, — выставя бороду, всматриваясь:

— Вязать-то, — нашумишь, закричит. Их там десятеро.

— Тогда чего же?

— Раз ткнуть рогатиной. Тут же бы дверь и подперли.

— Ах, Петруша, Петруша, — первый человек закачал ушастой шапкой. — Кто тебя за язык тянет? Кровь-то одна, — человек же, не зверь... В огне —

сказано — крещение примет человек... А ты — рогатиной! Душу погубишь...

— Ну, возьму грех...

— Думать не смей. Не искушай меня, ради Иисуса...

— А то бы — милое дело: и скоро, и тайно...

— Ай, ай! За такие мысли что-то тебе еще скажет отец Нектарий.

— Да я, ведь, как лучше...

Замолчали. Думали, как быть. По голубому снегу неровно побежала тень от совы: лунь почуял поживу, кружился, проклятый. Дверь избенки вдруг скрипнула, полезла оттуда лешачья голова Якима, — за нуждой, видимо... Увидел двоих, ахнул, кинулся назад, поднял тревогу. Эти двое скользнули за оснеженные ветви, побежали, слышали — грохнул выстрел, встревожил лесную тишину на много верст.

Бежали долго, нарочно кружили, путая следы. Пробрались через еловую чащобу к руслу ручья. Было уже близ рассвета, месяц высок. Невдалеке медленно, унывно били в чугунную доску.

Андрей Голиков звонил к ранней обедне. Был он в нагольной лисьей ветхой шубейке, но бос. Переступая, обжигаемыми снегом, посиеньлыми ступнями, повторял нараспев речение Аввакума: «Со мученники в чин, с апостолы в полк,

¹) См «Новый мир», кн. кн. 2, 3, 5 и 6 с г

со святители в лик» — и раз ударял колотушкой в чугунную доску, подвешенную вместо колокола на столбе под кровелькой напротив скитских ворот. Такую епитимью наложил на него старец за то, что вчера, в день постный, возжаждал и напился квасу.

На звон собиралась братия. Выходили из келий, мужчины — особе, женщины — особе. Скит, огороженный тыном, был невелик. Многие жили окрест, по берегу ручья, по краю болотного острова. Шли оттуда лесными тропами. Дальние торопились, боясь опоздать: старец был суровенькой.

Посреди скита — между тесно наваленными ометами соломы — стояла моленная, — низкая рубленая изба с широкой, в четыре спуска, крышей, с одной, посредине, шатровой главой на восьмистенном срубчике. Братия, вступив в ворота, шла боязненно, — опустив головы, приложив руки к груди: мужики, не старые и средних лет, женщины — в холщевых саванах поверх шубенок, в плахах, опущенных на лицо. Глухо и дребезжа — тоскою плотского бытия — в лунном мареве звонило чугунное бухало да скрипел под лаптями снег. Перед дверями люди двуперстно крестились, смиренно вступали в моленную с заиндевелыми бревенчатыми стенами. Перед ликами древнего письма горели копеечные свечки. Это казалось чудом, — свеча в дремучих лесах. Становились на колени, мужчины — направо, женщины — налево. Между ними протягивалась из лоскутов сшитая завеса на лыковом вервии.

Тяжело дыша, те двое на лыжах вбежали в скитские ворота и — громко Андрею:

— Бросай стучать, — беда!

— Скорей скажи старцу, пусть к нам выйдет...

У Андрея вся душа была натянута, как сухая жила, — от поста, от бессонного бодрствования, от вечного ужаса. Испугавшись, он выронил колотушку, задрожал, задышал. Но недаром учил его Нектарий одолевать бесов (а их — тьма тень: сколько мыслей — столько бесов), мысленно торопливо возопил:

«Враг сатана, отженись от меня!..» Поднял колотушку, ударил по бухалу, замотал головой: не мешайте, отойдите прочь...

— Андрей, говорят тебе: тот офицер с солдатами — верстах в пяти отсюда...

— Хоть звони-то легче, — услышат... С ними Яким. По звону он их прямо сюда приведет...

Андрей — сквозь часто стучающие зубы:

— Старец еще в келье, идите прямо к нему.

Сняли лыжи, пошли. Оба они, Степка Бармин и Петрушка Кожевников, были из повенецкого посада, промышляли огородами, рыбой, зверем... За двуперстное сложение повенецкий воевода не раз их грабил и разбивал, свел со двора скотину, и это им надоело. Года уже с два их жены с детьми тайно жили в Даниловом обители — скигу Выгорецком, а сами — в разных местах, — где удобнее для промысла и поглуше. Когда прошел слух, что в скиты едет офицер с солдатами (обритые, мясоеды, на версту смердят табаком — «табун-травой»), Нектарий приказал Степке и Петрушке следить за ними, сбивать с пути, и если возможно, без греха, и вовсе избыть слуг антихристовых.

К отцу Нектариию просто не допускали. В холодные сени вышел послушник, — их у старца было двое: Андрей и этот — хроменький Порфирий, чахлый отрок с подкаченными глазами. Шопотом рассказали ему. Порфирий склонил набок головочку, молвил одним вздохом: «Войдите...» Лесные мужики, сдернув шапки, старались как-нибудь сжаться, вступая из сеней в келью, — неумеренно были крепки, здоровы, грубы. Старец не жаловал буйной плоти.

Стоя у аналая, — маленький согбенный, в древнего покроя черной домотканной мантии, — он покосился на Степку и Петрушку. Узкая борода клином висела едва не до колен, под черными бровями — угли, не глаза. Свеча, прилепленная к изъеденной червями книжной крышке, тихо потрескивала, — к сильным морозам, должно быть... Маром дышала печь, сложенная из приозерных валунов. Бревенчатые стены

чисто выскоблены. Под потолком на мочалках — пучки сухих трав.

У Степки и Петрушки поползли с усов ледяные сосульки, но боялись утеряться, пошевелиться, куда старец не кончит! Он читал грозным голосом. Из темного угла глядел на него, лежа на боку, бесноватый мужик, прикованный поперек туловища цепью к железному ершу в стене. У печи в квашне, прикрытой ветхой рясой, пучилось тесто.

— Ну, вы чего? — Нектарий повернулся к мужикам, двинулся на них седой бородой. Они медведя не боялись, лося один-на-один брали, а перед ним заробели конечно. Степка стал сбивчиво рассказывать про давешнее, Петрушка виновато поддакивал.

— Значит, — мягким голосом сказал Нектарий, — значит, ты, Петруша, хотел того солдата запороть рогатиной, а ты, Степа, греха убоялся?

Степан ему — на это горячо:

— Отец, мы за ними две недели ходим. Яким, проклятый, эти места знает, прямо сюда ведет. Мы уж и так, и так думали... Они берегутся, а то бы — милое дело: дверь в зимовище подпереть, да — огоньку. Помолясь и окрестили бы их... И им хорошо, и нам... Да, видишь ты, не вышло... А разбоем убивать — сохрани Иисус... Нынче только бес попутал...

— Благословил я вас на эту гарь? — спросил старец. (Мужики удивленно поглядели на него, не ответили.) Молитва твоя горяча, значит, Степа, — вот как? — десятерых в огне окрестить? Ох, ох! Кто же тебе власть такую дал? Видишь ты, Петрушу бес толкнул, а ты и беса одолел. Ах, святость! Ах, власть!

Степан насупился. Петрушка моргал на старца, не понимая.

— Порфиша, рыбацька, положи уголек в кадило, раздуй с молитовкой, — проговорил старец. Хроменький Порфирий снял кадило с деревянного гвоздя, заковылял к печи, раздул уголек в кедровой смоле, с лобызанием длани подал старцу. Нектарий длинной рукой, едва не шаркая кадильницей по полу, начал со звяканьем дымить на мужиков и в лицо им, и сбоку и обошел сзади, шепча, кланяясь. Передал кадило Пор-

фирию, взяв из-за ременного пояса плетеную лествицу, хлестнул Степку по лицу больно, потом Петрушку по лицу. Мужики стали на колени. Он, шепча посинелыми губами: «Гордыня, гордыня окаянная», разгораясь, бил их по щекам. Бесноватый мужик вдруг заржал на всю избу, стал рвать цепь, кидаясь, как кобель:

— Бей их, бей, старичок, выбивай беса.

Старец уморился, отошел, дышал тяжело:

— Потом сами поймете, за что, — сказал, поперхав. — Идите со Иисусом...

Мужики осторожно вышли из кельи. Лунный свет помрачнел, — за моленной избой, за черным лесом проступала заря. Сильно морозило. Мужики развели руками: за что провинились? Почему? Что теперь делать?

— Ходили много, а ели мало, — проговорил Петрушка негромко.

— Как у него теперь попросишь?

— Может, хлеба все-таки даст?..

— Лучше ему не показываться. Пойдем так, — опять к энтим. Белку уьем, поедим...

Андрей Голиков влез на печь, дрожал всеми суставами. (Старец, идя в моленную, велел ему бросить звонить, но к обедне не допустил: «Ступай, сажай хлебы»). Остуженные ноги ныли на горячих камнях, от голода мутилось в голове. Лежал ничком, схватив зубами подстилку. Чтобы не кричать, твердил мысленно из писания Аввакума: «Человек — гной еси и кал еси... Хорошо мне с собаками жить и со свиньями, так же и они воняют, что и моя душа, зловонною вонью. От грехов воняю, яко пес мертвой...»

Бесноватый мужик, шевелясь на цепи в углу, проговорил:

— Ночью нынче старичок опять меджрал...

Андрей на этот раз не крикнул ему: «Не бреш!»; крепче закусил подстилку. Сил нехватало больше давить в себе страшного беса сомнения. Вошел этот бес в Андрюшку по малому случаю. Постились втроем — Нектарий и послушники — сорок дней, не вкушая ничего,

только воды, и то небольшой глоток. Чтобы Андрей и Порфирий, читая правила, не шатались, он приказывал мочить рот квасом и парить грудь. Про себя говорил: «Мне этого не надо, мне ангел росую райской уста освежает». И — чудно: Андрей и Порфирий от слабости едва лепетали, — одни глаза ослабли, а он — свеж.

Только ночью раз Андрей увидел, как старец тихонько слез с печи, зачерпнул из горшка ложку меду и потребил его с неосвященной просфорой. У Андрюшки похолодели члены: кажется, лучше бы при нем сейчас человека зарезали, чем — это. И не знал — утаить, что видел, или сказать? Все-таки, заплавав, сказал. Нектарий задохнулся воздухом:

— Собака, дура! То бес был, не я. А ты обрадовался! Вот она, плоть окаянная! Тебе бы за ложку меду царствие небесное продать!

Он стал бить Андрея рогаком, чем горшки в печь сажают, выбил его из кельи на снег в одной рубашке. Мысли от этого на время успокоились. А когда в келье никого не случилось, бесноватый мужик (сидевший здесь с осени на цепи, в тепле, слава богу) сказал Андрюшке:

— Погляди, ложка-то в меду, а с вечера была вымыта. Облизни.

Андрей обругал мужика. В другую ночь старец опять ел мед, тайно, губами мелко прищелпывал, как заяц. На заре, когда все еще спали, Андрей осмотрел ложку, — в меду! И волос седой пристал...

Треснула душа великим сомнением. Кто врет? Глаза его врут, — мед на ложке, волос усяной, сивый (не бесов же волос!)? Или врет старец? Кому верить? Был час — едва не сошел с ума: путаница, отчаяние! Нектарий постоянно повторял: «Антихрист пришел к вратам мира, и выблудков его полна поднебесная. И в нашей земле обретает чорт большой, ему же мера — ад преглубокий». А если так — поди уверь, что он, сам, Нектарий, — не искуситель?.. Возигь по спине рогаком и бес может. Этим не докажешь... Все думно-мысленно, все, как мховое болото, зыб-

ко. Остается одно: ни о чем не думать, повесить голову, как побитому псу, и — верить, брюхом верить, не головой. А если не верится? Если думается? Мыслей не задавить, не угасить, — мигаюг в мозгу зарницами. Это тоже, значит, от антихриста? мысли — зарницы антихристовы? То вдруг у Андрея обмирали внутренности: куда лечу, куда качусь? Мал, нищ, убог... Припасть бы к ногам старца, — научи, спаси! И — не мог: чудились усы в меду... Пришел в пустыню искать безмятежного бытия, нашел сомнение...

Потом от слабости телесной Андрюшка изнемог, мысли притупились, присмирели. Ежедневные побои выносил, как щекотку. Старец лютовал на него день ото дня все хуже, другому: «Порфиша да рыбаенька», а этого, — так и лошадь не бьют. Уйти бы... Но куда? Правда, Денисов говорил Андрюшке (когда в конце декабря доставили на санях хлеб в Выговскую обитель): «Поживи у нас, потрудишь над украшением храма. Когда лед сойдет, pošлю тебя с товаром в Москву. Я тебе верю». Андрюшка отказался, — желал не того: тишины, умиления... Казалось, так и видел — келейку в лесу, старенького старца в скуфеечке на камне у речки, говорящего о неземном свете любезному послушнику и зверям, вышедшим из леса послушать, и птицам, севшим на ветви, и северному соловышку, неярко светящему на тихую гладь уединенной речки... Нашел тишину! Эдакой бури в мыслях и тогда не было, когда во вьюжные ночи дрожал в щели китайгородской стены, слушая, как ударяются друг о друга мерзлые стрелы да скрипят виселицы.

Бесноватый мужик, поглядывая на печь, где лежал ничком Андрюшка, разговаривал:

— Тебе долго здесь не прожить, — хил. Старичок тебя в землю вобьет, — ты ему поперек горла воткнулся. Ох, властный старичок, гордый! Ему святители спать не дают. Начитается Четьи-Миней, и пошел чудить!.. Он бы десять лет на сосне просидел, не слезая, кабы не лютые зимы. И народ он жжет для того же, — любит власть! Царь лесной... Я его насквозь вижу, я, брат,

умнее его, — ей-богу... Я всех вас умнее. Действительно, во мне три беса... Первый — падучая, это — сильненький бес... Второй бес — что я ленивый... Кабы не лень, разве бы я сидел на цепи... Третий бес — умен я чересчур, ужас! Накануне, как меня начнет ломать падучая, ну, все понимаю. Делаюсь злой, все — противно... Про каждого человека знаю, откуда он и какой он дурак, и чего он ждет... И я нарочно говорю чепуху, насмех... Цепь грызу, катаюсь, — смешно, верят... Старичок, и тот глядит, разиня глаза... Он меня, брат, боится. Весной опять от него уйду... А тебе Ондрюшка, он рогаком отобьет печенки, — зачахнешь. А вернее всего, на первой гари ты первый у него сгоришь...

— Ох, замолчи, пожалуйста...

Андрей слез с печи, помыл руки, засучился, снял с квашни покрывку. По другим кельям тесто творили на одну треть из муки, две трети клали сушеную, толченую кору, — здесь тесто было из чистой муки, взошло шапкой. Бесноватый мужик потянулся посмотреть. Зло рванул цепь, выдернул ее вместе с ершом из стены. Андрей испугался было. Мужик сказал, засучиваясь:

— Ничего... Я так часто делаю. Старец вернется — ерш воткну назад, сяду...

Он тоже помыл руки, вместе с Андреем стали валять просфоры, сажать в печь.

— Скука, все-таки, Ондрюшка... Бабу сейчас бы сюда...

— Замолчи... Тфу! (Андрей хотел оборониться крестом от таких слов, — пальцы были в тесте.) Ей-богу, старцу пожалуюсь...

— Я те пожалуюсь... Дурак, по скитам, думаешь, с ветра брюхатят бабы? В Выговской обители их десятка три, как тельные коровы ходят... А уж на что там строго...

— Врешь ты все...

— Этой сласти — гляжу — ты еще не пробовал, Ондрюшка?..

— До смерти не осквернюсь...

— Позвать гладкую бабу и заставить полы мыть. Она моет, ты сидишь на лавке, разгораешься... Крепче вина это...

Андрей торопливо содрал тесто с пальцев. Вышел из кельи на мороз, — постоять... Утренняя заря широко разлилась за лесом, солнцу вот-вот взойти. Следы на снегу налиты теплой тенью, сахарные сугробы нагнулись около избенок, зеленели вершины огромных елей. В приоткрытую дверь моленной слышалось унылое пение. Степка и Петрушка опять пробежали мимо Андрея, крикнули:

— Идут сюда! Затворяй ворота...

Алексей Бровкин послал Якима поговорить с раскольниками: что они за люди и сколько их, и почему не отворяют ворота царскому офицеру? Лошадкой оставил в лесу на дороге, сам с солдатами, велел зарядить мушкеты, подошел к скиту. Из-за высокого тына искрились шапки снега на крышах, синел осьмиконечный крест на моленной, — оттуда слышалось пение, хотя время обедни давно прошло.

Яким долго стучал в калитку. Влез на тын, поглядел, нет ли собак, и спрыгнул на двор. Алексей для страху надел треугольную шляпу и поверх бараньего полушубка опоясался шарфом со шпагой, — здесь, видимо, можно было поживиться людьми, если припугнуть. Едва ли в такую глушь заглядывали под'ячие или комиссары Бурмистерской палаты, собиравшие двойной оклад с двуперстно молящихся. Время шло. Солдаты поглядывали на низкое солнце, — с утра ничего еще не ели. Алексей сердито покашливал в варежку.

Наконец Яким перевалился через ворота:

— Алексей Иванович, удача: Нектарий здесь...

— Так что же он, чортов кум, ворота не отворяет! Я солдат поморожу.

— Алексей Иванович, весь народ в моленной заперся. Видишь, какое дело, — знакомца я здесь встретил — один мужичок новгородский у них сидит на цепи... Он рассказал: паствы человек двести, и есть годные в солдаты, но взять их будет трудно: старец хочет их сжечь...

Алексей недоверчиво, строго уставился на Якима:

— То-есть, как жесть? Кто ему позволил? Не допустим. Люди не его, — царские...

— То-то, что он у них в лесах — царь...

— Будет тебе враты! (Хмурясь, Алексей позвал солдат, они неохотно стали подходить, понимали, что дело необыкновенное.) Долго разговаривать не станем. Ребята, ломай ворота...

— Алексей Иванович, надо бы осторожнее... Моленная в плоть обложена ометами, и внутри у них — солома, смола и бочка с порохом... Лучше я старца как-нибудь вызову. Он сам понимает — не шутка двести человек уговорить сжесться... Ему, Алексей Иванович, уважение окажите, — старичок властный, — полюбовно и сговоритесь...

Алексей оттолкнул болтливого мужика. Подойдя к воротам, попробовал — крепки ли.

— Ребята, неси бревно...

Яким отошел в сторонку. Помаргивая, с любопытством глядел — что теперь будет? Солдаты раскатали бревно, ударили в мерзлые брусья ворот. После третьего удара отдаленное пение раскольников затихло.

— Иди в моленную...

— Не пойду, сказал я тебе, отвязься, — угрюмо повторил бесноватый мужик...

Нектарий вошел со двора, запыхавшись, на бороде — длинные капли воска. Зрачки побелевших глаз сузились в маковое зерно: нето пугал, вернее, был вне себя. Завопил перехваченным горлом:

— Евдоким, Евдоким, настал страшный суд... Душу спасай! Один час остался до вечных мук... Ох, ужас! Бесы-то как в тебе ликуют! Спасайся!

— Да ну тебя в болото! — закричал Евдоким, злобно замотал башкой. — Каки таки бесы? Сроду их во мне не было! Сам иди ломайся перед дураками...

Нектарий поднял лестовку. Бесноватый мужик, нагнувшись, так поглядел исподлобья, — старец на минуту изнемог, присел на лавку. Помолчали...

— Ондрюшка где?

— А чорт его знает, где твой Ондрюшка...

— Нет, проклятый, нет тебе спасения...

— Ладно уж, не причитывай...

Старец сорвался — поглядеть, не схоронился ли за печью послушник, — страха ради живота своего... На дворе в это время бухнуло, затрещало.

— Ворота ломают, — осклабясь, сказал мужик. Нектарий споткнулся, не дойдя до печи, неистово начал дрожать. Парусом раздулась его мантия, когда поспешил на двор, оставил дверь нараспашку.

— Ондрюшка, — позвал мужик. — Дверь запири, студено.

Никто не ответил. Он вытащил ерш из стены, ругаясь, пошел, захлопнул дверь:

— Хорошего здесь не жди. Уходить надо.

Заглянул за печку. Там, в щели между стеной и печью, стоял Андрюшка, — видимо, без памяти, белый. Чуть слышно икал. Евдоким потянул его за руку:

— Умирать, что ли, не охота? Не охота, — и не надо: без огня обойдешься... Ключ найди, слышь. Куда ключ старик спрятал? Чепь хочу снять. Ондрюшка! Очнись...

Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали, прижимая детей. Мужчины — кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой ладонью, кто безмысленно глядел на огоньки свечей. Старец ненадолго ушел из моленной. Отдыхали, — измучились за много часов: ему мало было того, что все покорны, как малые дети... Страшно кричал с амвона: «Теплого изблюю из уст! Горячего хочу! Не овец гоню в рай, — купины горящие!..»

Трудно было сделать, как он требовал: загораться душой... Люди все здесь были ломаные, ушедшие от сельской истомы, оттуда, где не давали обрасти, но, яко овцу, стригли мужика догола. Эдесь искали покоя. Ничего, что лулхи от болотной сырости, ели хлеб с толченой корой: в лесу и в поле, все-таки сам себе хозяин... Но, видно, покой даром

никто не давал. Нектарий сурово пас души. Не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира — антихристу. Ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык издавна — велют, надо делать. Велют гореть душой, — никуда не подашься — гори...

Нынче старец мучил особенно, видимо — и сам уморился... Порфирий на клиросе читал отрешенным высоким голосом. Под дощатым куполом стоял пар от дыхания. Капало с потолка...

Старец неожиданно скоро вернулся: «Слышите! — возопил в дверях, — слышите слуг антихристовых?» — Все услышали тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел по моленной, задевая краем мантии по головам. Вздыхая бороду, сразмаху три раза поклонился черным ликам. Обернулся к пастве до того яростно, — дети громко заплакали. У него в руках были железный молоток и гвозди:

— Душа моя, душа моя, восстани, что спишь? Свершилось, — конец близко... Места нам на земле осталось — только стены эти. Возлетим, детки... В пламени огненном. Над храмом, ей-богу, сейчас в небе дыру вдел преогромную... Ангелы сходят к нам, голубчики, радуются, милые...

Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже кое-кто тяжело засопел...

— Иного времени такого — когда ждать? Само царство небесное валится в рот... Братья, сестры! Слышите — ворота ломают... Рать бесовская обступила сей остров спасения... За стенами — мрак, вихрь смрадный...

Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где были припасены три доски. Приказал мужикам помочь, и сам стал приколачивать доски поперек двери. Дышал со свистом. Молящиеся в ужасе глядели на него. Одна молодая женщина, в белом саване, ахнула на всю моленную:

— Что делаете? Родные, милые, не надо...

— Надо! — закричал старец и опять пошел к амвону. — Де еще бы в огонь христианин не шел? Сгорим, но вечно

живы будем. (Остановясь, ударил молоту по щеке.) Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя... А затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя... Враг за дверями... Антихрист, пьян кровью, на красном звере ездит... Свирепый, чашу в руке держит, полна мерзостей и кала... Причащайтесь из нее! Причащайтесь! О, ужас!

Женщина упала лицом в колени, затряслась, все громче начала вскрикивать дурным голосом. Другие затыкали уши, хватили себя за горло, чтобы самим не заголосить...

— Иди, иди за дверь... Куда пойдешь? Слышите! (Опять — удары и треск.) Царь Петр — антихрист во плоти... Его слуги ломятся по наши души... Ад! Знаешь ли ты — ад?.. В пустошной вселенной над твердью сотворен... Бездна преглубокая, мрак и тартарары. Планеты его кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый... Там огонь негасимый... Черви и жупел! Смола горящая... Царство антихриста! Туда хочешь?..

Он стал зажигать свечи, пучками хватал их из церковного ящика, проворно бегал, лепил их к иконам — куда попало. Желтый свет ярко разливался по моленной...

— Братья! Отплываем... В царствие небесное... Детей, детей ближе давайте, здесь лучше будет, — от дыма уснут... Братцы, сестры, возвеселитесь... Со святыми нас упокой, — запел, раздувая локтями мантию... Мужики, глядя на него, задирая бороды, подтягивая, поползли на коленях ближе к аналою. Поползли женщины, пряча головы детей под платами...

Стены моленной вздрогнули: в двери, защитные досками, подпертые колодом, ударили чем-то со двора. Старец влез на скамейку, прижал лицо к волоковому окошечку над дверями:

— Не подступайте... Живыми не сдвимся...

— Ты будешь старец Нектарий? — спросил Алексей Бровкин. (Ворота они раскрыли, теперь ломились в дверь моленной.) Из длинного окошка боком

глядело на него белое стариковское лицо. Алексей ему — со злобой:

— Что вы тут с ума сходите? — С трудом высунулась стариковская рука, двоеперстно окрестила царского офицера. Сотня голосов за стеной ахнула: «Да воскреснет бог». Алексей хуже рассердился:

— Не махай перстами, я тебе не чорт, ты мне не батька. Выходите все, а то дверь вынесу.

— А что вы за люди? — странно, насмешливо спросил старец. — Зачем в такое пустое лесное место заехали?

— А такие мы люди, — с царской грамотой люди. Не будете слушать — всех перевяжем, отвезем в Повенец.

Стариковская голова скрылась, не ответив. Что было делать? Яким отчаянно шептал: «Алексей Иванович, ей-богу сожгутся...» Опять там затаили «со святыми упокой». Алексей топтался перед дверями, крутил от досады носом. Ну — как уйти? Разнесут по всем ски-там, что-де прогнали офицера. Снял варежки, подпрыгнув, ухватился за край окошка, подтянулся, увидел: в горячем свете множества свечей обернулись к нему ужаснувшиеся, бородатые лица, обороняясь перстами, зашипели: «Свят, свят, свят». Алексей прыгнул:

— Давай еще раз в дверь...

Солдаты раз ударили. Стали ждать. Тогда из чердачного окошка полезли трое (Яким признал — Степку Бармина и Петрушку Кожевникова), в руках — охотничьи луки, за поясом по запасной стреле, у третьего — пищаля. Вылезли на крышу, глядели на солдат. Мужик с пищалью сказал сурово:

— Отойдите, стрелять будем. Нас много.

От дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будь то посадские какие-нибудь людишки, — разговор короткий. Это были самые коренные мужики, их упрямство он знал. Тот, с пищалью, — вылитый его крестный покойный, толстоногий, низко подпоясанный, борода жгутами, медвежьими глазами... Не стрелять же в своего, в такого. Алексей только погрозил ему. Яким вялся:

— Тебя как зовут-то?

— Ну, Осип зовут, — неохотно ответил мужик с пищалью.

— Что ж, Осип, не видишь — господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались.

— Чего он хочет? — спросил Осип.

— Дайте ему человек десять пятнадцать в войско да нашим солдатам дайте обогреться. Ночью уйдем.

Петрушка и Степан, слушая, присели на корточки на краю крыши. Осип долго думал:

— Нет, не дадим.

— Почему?

— Вы нас по старым деревням разошлете, в неволю. Это уж была попытка. Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за двоеперстное сложение хотим помереть. И весь разговор...

Он поднял пищаля, дунул на полку, из рога подсыпал пороху и стоял, коренасто, в снегу, над дверью. Что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель: Некгария не сломить.

— Он упрям, я тоже упрям, — ответил Алексей. — Без людей не уйду. Возьмем их осадой.

Двоих солдат послал за лошадьми, — отпрячь, кормить. Четверых — греться в келью. Остальным быть настороже, чтобы в моленную не было проноса воды и пищи. День кончался. Мороз крепчал. Раскольники похоронно пели Петрушка и Степан посидели, посидели, перешептываясь, на крыше, поняли — дело затяжное:

— Нам до ветру нужно, — стали просить. — На крыше — грех, пустите нас прыгнуть.

Алексей сказал: «Прыгайте, не тронем». Осип вдруг страшно затряс на них бородащей. Петрушка и Степач помаялись, но все-таки, зайдя за купол, прыгнули на солому, подваленную вплоть к моленной. Старец тоже, видимо, понял, что крепко взят в осаду. Два раза приближал лицо к волоковому окну, подслеповато вглядывался в сумерки. Алексей пытался заговорить, — он только плевал. И опять из моленной доносился его охрипший голос, заглашавший пение, молебый, детский плач. Там что-то творилось нехорошее.

Когда совсем стемнело, на крышу из слухового окна вылезло человек десять мужиков, без шапок. Махая руками, беснуясь, закричали:

— Огойдите, отойдите!..

Все торопливо начали раздеваться, снимали полушубки, валенки, рубахи, портки...

— Натe! — хватали одежду, кидали ее вниз солдатам. — Натe, гонители! Метайте жребий. Нагими родились, нагими уходим...

Голые, синеватые, бросались ничком на крышу, терли снегом лицо, всхлипывали, вскрикивали, вскочив, поднимали руки, и все опять — с бородами, набитыми снегом, — улезли в слуховое окно. Остался один Осип. Не подпуская близко к дверям, прикладывался из пищали в солдат... Алексей очень испугался голых мужиков. Яким плачуще вскрикивал в сторону окошка:

— Детей-то пожалейте. Окаянные! Бабочек-то пожалейте!

В моленной начался крик, не громкий, но такой, что — затыкай уши. Солдаты стали подходить ближе, лица у всех были важные:

— Господин поручик, плохо получается, пусть уж Яким в нас пужанет, мы дверь высадим...

— Высаживай! — крикнул Алексей, сжимая зубы.

Солдаты живо положили ружья, опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся. Тяжело сотряслась земля, грохнул взрыв, в грудь всем ударило воздухом. Из щелей под крышей показался дым, повалил гуще, озарился... Языки огня лизнули меж бревен...

Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь горящий, с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали, металась огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже дымились вокруг ометы соломы.

От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв треуголки, крестились, у иных текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за

разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывала тошнота, обмирание. Прислонился к дереву, сел. Сорвав шапку, остужал голову, ел снег. Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса некуда было скрыться.

Он увидел: невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много выше леса над скитом взвивается из валящего дыма огненный язык, в высь уносится буран искр... Другой беснующийся человек тащил за руку небольшого старичка, в скуфье, в нагольном полушубке — поверх рясы...

— Ушел он, ушел, сукин сын! — кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому офицеру. — Разорвать его надо... Через подполье лазом ушел... Меня хотел сжечь, чорт проклятай!..

8

Велено было царским указом: «По примеру всех христианских народов — считать лета не от сотворения мира, а от рождества христова в восьмой день спустя, и считать новый год не с первого сентября, а с первого генваря сего 1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с новым годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевелевых, против образцов, каковые сделаны на гостинном дворе у нижней аптеки. Людям скудным хотя по дереву или ветви над воротами поставить. По дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А — где мелкие дворы — собрався пять или шесть дворов — зажигать худые смоляные бочки, наполняя соломою или хворостом. Перед бурмистерскою ратушей стрельбе и огненным украшениям по их рассмотрению быть же...»

Звона такого давно не слышали на Москве. Говорили: патриарх Адриан, ни в чем не смея перечить царю, отпу-

стил пономарям на звон тысячу рублей и пятьдесят бочек крепкого пагриаршего полпива. Вприсядку отзванивали колокола на звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами, паром от лошадей и людей. Визжал морозный снег. Деревья гнулись от инея. В чаду стояли кабаки, открытые день и ночь. За дымами солнце поднималось румяное, небывалое, — поблескивало на широких бердышах сторожей у костров.

Сквозь колокольный звон по всей Москве трещали выстрелы, басом рывкали пушки. Вскачь проносились десятки саней, полные пьяных и ряженных, мазаных сажей, в вывороченных шубах. Задирали ноги, размахивая штофами, орали, бесновались, на раскатах вываливались кучей под ноги одуревшему от звона и дыма простому народу.

Всю неделю до крещенья гудела, шумела Москва. Занималась пожарами. Хорошо, что было безветренно. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов. Только повалит дым где-нибудь за снежными крышами, — скачут в санях недобрые люди — в овечьих сушеных мордах, в скоморошьих колпаках, ломают ворота, кидаются в горящий дом, — грабят, разбивают все дочиста. Иных ловили, иных народ задавил. Шел слух, будто в Москве гуляет Есмьень Сокол.

Царь с ближними, с князем-папой — старым беспутником Никитой Зотовым, со всешутейшими архиепископами, сам — в архидьяконской ризе с кошачьими хвостами — об'езжал знатные дома. Пьяные и сытые по горло, — все-равно налетали, как саранча, — не столько ели, сколько раскидывали, орали духовные песни, мочились под столы. Напаивали хозяев до изумления и — айда дальше. Чтобы назавтра не с'езжаться из разных мест, ночевали вповалку тут же, на чьем-нибудь дворе. Москву обходили с веселием из конца в конец, поздравляя с пришествием нового года и столетнего века.

Посадские люди, тихие и богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться со двора. Непонятно было — к чему такое неистовство? Чорт, что ли, нашептывал царю мутить народ,

ломать старый обычай — становой хребет, чем жили... Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так, а это не так. Все оказалось дурно, все не по нему... Не признававшие крыжа и щепоти собирались в подпольях на всеобщие бдения. Опять зашептали, что дожить только до масляной: с субботы на воскресенье вострубит труба страшного суда. В Бронной слободе об'явился человек, со зирал народ в баню, кружился, бил себя ладошами по лицу, кричал нараспев, что-де он — господь Саваоф, и с ручками и с ножками, и падал весь в пене... Другой человек, космат, гол и страшен, являлся народу, держа в руке три кочерги, пророчил невнятно, грозил бедствиями.

У ворот Китая и Белого города прибили второй царский указ: «Боярам, царедворцам, служилым людям, приказным и торговым ходить отныне и безотменно в венгерском платье, весной же, когда станет от морозов легче, носить саксонские кафтаны. На крючках вывесили эти кафтаны и шляпы. Солдаты, охранявшие их, говорили, что скороде прикажут всем купчихам, стрельчихам, посадским женкам, попадьям и дяконницам ходить простоволосыми в немецких коротких юбках и под платьем накладывать на бока китовые ребра...» У ворот стояли толпы в смущении, в смутном страхе. Передавали шопотом, будто неведомый человек с тремя кочергами закидал калом такой же вот кафтан на крюке и кричал: «Скоро не велят порусски разговаривать, ждите! Понаедут римские и лютерские попы перекрещивать весь народ. Посадских отдадут немцам в вечную кабалу. Москву назовут по-новому — Чертоград. В старинных книгах открылось: царь-де Петр — жидовин из колена Данова».

Как было не верить таким словам, когда под крещенье приказчики купца Ревякина стали вдруг рассказывать — бегая в рядах по лавкам — о случившейся великой и страшной жертве во искупление мира от антихриста: близ Выг-озера несколько тысяч двуперстно молящихся сожглись живыми, над пожарищем распалось небо и видимо стало море стеклянное и престол, стоящий

на четырех животных, на престоле сидящий господь, ошую и одесную — дважды по двенадцать старцев и херувимы окрест его, — «двомя крылы летаху, двомя очи закрываху, двомя же ноги». От престола слетел голубь, и огонь погас, и на месте гари стало благоухание.

В Ямском приказе какой-то человек, обыкновенного роста и вида, уходя, бросил на пол письмо. Человека этого окликнули: «Чего обронил, эй?» Испугавшись, он побежал и скрылся. На запечатанном письме стояло: «Поднести великому государю, не распечатав». Дьяк, Павел Васильевич Суслов, едва-едва трясушимися руками попал в рукава шубы. Грозя ездовому — спустить со спины шкуру, — поскакал в Преображенское. Караульный офицер с презрением оглянул дьяка от лысины до сафьяновых сапожек на меху: «Нельзя к царю». Павел Васильевич, ослабев от тревоги, сел в сенях на лавку. Народу толпилось много: наглые военные, русские — все большого роста, широкие в плечах, здоровые, как быки, иноземцы — помельче, но приятнее лицом (их, бедняг, за последнее время много начали выгонять со службы за глупость и пьянство); ловкие владимирские, ярославские, орловские ходоки, промышленники, купчишки; рядом сидели два великородных боярина, один — с обязанной головой, другой — опухший, с черным синяком под глазом: видимо, после шумства прибыли бить челом друг на друга о бесчестии; заложив руки за спину, в коротеньком коричневом кафтанчике, в нитяном парике, похаживал, ни на кого не глядя, иностранец, с добрым, голодным лицом в очках — математик, химик, славный изобретатель перлетуум мобиле — вечного водяного колеса и медного человека — автомата, говорящего на четырех языках, играющего в шашки и вино или пиво извергающего из себя согласно натуре. Мате-

матик предлагал царю более ста патентов, могущих обогатить Русское государство.

Время шло. Со двора в сени ввалился Никита Зотов, пьяный, с невиданной толщины человеком: «Не робей, он уродство любит, он тебе казны отвалит» — кричал князь-папа, волок толстяка в царские покои. Тогда Павел Васильевич, загорясь служебной ревностью, подошел к караульному офицеру и в лицо ему крикнул сдавленно: «Слово и дело!» Сразу в сенях стало тихо. Офицер изменился в лице, вытянулся, с коротким дыханием вытащил шпагу: «Идем».

Письмо, поданное Павлом Васильевичем царю в собственные руки (у Петра болела голова, — встретил дьяка угрюмо, нетерпеливо), письмо это — немедленно вскрытое — было подписано Алешкой Курбатовым, дворовым человеком и дворецким князя Петра Петровича Шереметьева. Прочтя мельком, Петр взял себя ногтями за подбородок: «Гм!» — прочел вдругорядь, закинул голову: «Ха!» — и, забыв о Суслове, стремительно зашагал в столовую палату, где в ожидании обеда томилось несколько человек ближних.

— Господа министры! — у Петра перестала болеть голова, глаза прояснели. — Кормишь вас, поишь досыта, духу пускать вы ловки, а прибыли от вас что? Вот, вот, вот! (Тряхнул письмом...) Человечишко худой, холоп, — придумал! Обогащение казны... С какими деньгами воевать? — А вот какими! Федор Юрьевич... (Обернулся к посапывающему от тучности Ромодановскому) Прикажи отыскать, привезти Курбатова, сейчас же.. И обедать без него не сядем... То-то, господа министры, — орленую бумагу надо продавать: для всех крепостей, для челобитных — бумагу с гербом, от копейки до десяти рублей. Понятно?

Конец второй главы

(Продолжение следует)

Из книги „Начало века“

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

І. Валерий Брюсов

В 1901 году подымается на моем горизонте фигура Валерия Брюсова; многие литературные судьбы с ним связаны.

С 1894 года до 1910 на него изливались потоки хулы, после ставшие сдавленным гулом хулы молодых неудачников: нашего стана; в 900—901 годах он ходил по Москве с записной своей книжечкой и с карандашиком, организуя молодых поэтов в партию, сухо налаживая аппараты журналов, уча и журия, подстрекая, балауя, и весь осыпаясь, как дерево листьями, ворохом странных цитат из поэтов, непризнанных, — Франции, Бельгии, Англии, Чехии, Греции, Латвии, Польши, Германии, — сковывая свой гаран стенобитный с воловьим упорством.

Увенчанный лаврами «мэтр»; и — слуга, с подтиральной тряпкой в руке, даже чистильщик авгиевых литературных конюшен, заваленных отбросами, скопьяемыми лет тридцать пять Скабичевским, Ивановым, Иван Ивановичем, Стороженкой и Веселовским; Брюсов ухал на ужас пошлятины ужасом дикости, изгоняя бред бредами; желтая кофта В. В. Маяковского, татуировка «бубновых валетов»¹⁾, кривляние Мариенгофа в эпоху, когда «фиги» стали предметом продажи почти в каждом колониальном магазине, — только повтор былой удали

Брюсова при выполнении затеянной им партизанской войны, уничтожавшей армию трутней: отрядиком маленьким; до Маяковского соединил Маяковского, Хлебникова, Бурлюка с деловыми расчетами и с эрудицией опытного архивариуса, щедро сеющего крупной солью цитат, заставляя принять бронированный «бред», подносимый с практичностью лавочника.

Он умел об'егоривать; и он — любил об'егоривать: дураков.

Скромно, в застегнутой наглухо черной одежде, являлся на вечеринки к Герье молодой человек, им оставленный при университете; удивлял гостей сметкой и знанием:

— «С кем честь имею я?..»

— «Брюсов».

— «Гм...»

Но разговор продолжался до мига, когда изрекалось суждение, например прославляющее Михайловского:

— «А вот Михайловский сказал...»

Молодой человек, вдруг потупясь и дико сверкнувши из черных ресниц, напоминая пантеру, готовую прыгнуть, ливком головы и сложением рук на груди, замирал; красный рот разрывался внезапно отверстием:

— «Он — пустозвон!»

Можно было подумать: в почтенное место являлся сюртук в... черной маске: историка, пушкиноведа или латиниста, чтоб, поговорив о Тибулле, Проперции, маску сорвать: стать оскаленным «чудищем», зубы вонзающим — в горло.

¹⁾ Группа художников, в свое время новаторов

Придет и чарует («Ах, — умница»); просят стихи почитать; поднимается, складывая на груди свои руки, с глазами египетской кошки, с улыбкою почти нежной, дергаясь бледным лицом, чтобы выорнуть нежно и грустно, как тешится лаской с козую он, и как валяется труп прокаженного.

Точно из диких гробов бесноватый врывался в гостиную Петра Бартенева, живой традиции, спорившего с князем Вяземским.

Гнать?

Хозяин, почтенный старик, Петр Бартенев, не гнал.

Уж и мстили, воззяясь в поэзию Брюсова пилами, сверлами и бор-машинами: в ряде годин.

Очень многое в нем—желчь и яд от надсады.

Он, точно наказанный Атлас, стоял с полушарием своей вселенной в безводной пустыне девяностых годов.

Было что-то больное в травлении собственных ран, принуждавшее не алкоголика, не гашишиста, а домохозяина, несшего долг обходить квартирантов своих, чтоб составить понятие о состоянии водопроводного крана и ватер-клозета¹⁾, и после к Бартеневу, в «Русский архив», где служил он, с портфелем тащиться с Цветного бульвара к Воздвиженке, рыться в пылях с добросовестностью, удивлявшей Бартенева; что ставляло вполне целомудренного в разговорах житейских служаку выкрикивать профессорам с целомудренным видом: он, Брюсов, Валерий,—не кто-нибудь, универсант, семьянин,—некрофил, и садист?

Лишь каприз: самотерза.

Я многое верил Я проклял многое
И мстил неверным в свой час кинжалом.

В стихах, посвященных мне, он угрожает мне: если и я приму «сребренники», то кинжал ожидает меня; и когда показалось ему, что на «светлых» путях своих, чуждых ему, но мне свойственных, я оборвался,—он в строгой серьез-

ности казнь измышлял мне, в чем сам он сознался:

Я слепцу вручу стрелу:
Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу²⁾

И мне все объяснило письмо, отвечающее на мой лозунг: «Не только литература». Оно—корень Брюсова; я привожу его, как неизменный эпиграф к трагедии, бывшей меж нами.

«Село Антоновка, 1904.

Дорогой Борис Николаевич! (И это слово—дорогой—примите не в «эпистолярном» значении, а в настоящем, первичном: как знак, что Вы, что всякое приближение к Вам мне желанно, дорого. И как жаль, что мы утратили возможность, всегда, во всех случаях, все слова принимать в их настоящем смысле!) Дорогой Борис Николаевич! Я рад, что Вы написали свое письмо мне; даже больше, чем рад, немного счастлив. Когда я читал его, я вдруг, как в молнии, увидел—Вас, того Вас... которого я опять иногда вижу в Ваших глазах, но далеко не всегда в общежитии, в Ваших разговорах, статьях, даже стихах. Конечно, Вы были неправы, обращаясь в своем письме ко мне с вопросом а м и. Почему не я к Вам?—и, просьба, на эти вопросы скорее Вам отвечать мне. И только моя горькая привычка молчать, пришедшая ко мне после десяти лет жизни, не дала мне бросить все те безнадежные «зачем?» Вам. Думаю, «мы» все равно чувствуем их. И Ваше письмо—были все те же, наши общие, одинокие мысли, которые, когда они вновь приходят, даже нет необходимости вновь продумывать, так как все их пути уже истоптаны раздумьем.

И все-таки хотите ответ? Вернее, не ответ, а грустное признание, мое признание, которое кажется мне тоже нашим общим. Вот оно. Нет в нас достаточно воли для подвига. То, чего все мы жаждем, есть подвиг, и никто из нас на него не отваживается. Отсюда все. Наш идеал—подвижничество, но мы робко отступаем перед ним,

¹⁾ Со слов поэта Муни, обитавшего в доме Брюсовых.

²⁾ Стихотворение «Бельдеру Локки», одно время мне посвященное.

и сами сознаем свою измену, и это сознание в тысяче разных форм мстит нам. Измена... завету: «Кто возлюбит мать и отца больше меня!..» Мы, вместе с Бальмонтом, ставим эпитафией над своими произведениями слова старца Зосимы: «Ищи восторга и испуга», а ищем ли? то-есть ищем ли всегда, смело, исповедуя открыто свою веру, не боясь мученичества (о, не газетных рецензий, а истинного мученичества каждодневного осуждения). Мы придумываем всякие оправдания своей неправды. Я ссылаюсь на то, что мне надо хранить «Весы» и «Скорпион». Вы просите времени в четыре года, чтобы хорошенько подумать. Мережковский лицемерно создал для самого себя целую теорию о необходимости оставаться «на своей должности». И все так. Двое разве смелее: А. Добролюбов и Бальмонт. И я думаю, что у Добролюбова нет этих криков «зачем?», хотя он и облегчил свою задачу, назначив себе строгие уставы, надев тяжелые вериги, которые почти не дают ему свободы двигаться. И Бальмонт при всей мелочности его «дерзновенной», при всем безобразии его «свободы», при постоянной лжи самому себе, которая уже стала без его души истиной,—все же порывается к каким-то приближениям, если не по прямой дороге, то хотя бы окольным путем.

А мы, пришедшие для подвига... покорно остаемся в четырех условиях «светской» жизни, покорно надеваем сюртуки и покорно повторяем слова, утратившие и первичный, и даже свой вторичный смысл. Мы привычно лжем себе и другим. Мы, у которых намерено «сюртук застегнут», мы, которые научились молчать о том, о чем единственно подобает говорить,—вдруг не понимаем, что все окружающее должно, обаяно оскорблять нас всечасно, ежеминутно. Мы самовольно выбрали жизнь в том мире, где всякий пустяк причиняет боль. Нам было два пути: к распятию и под маленькие хлысты; мы предпочли второй. И ведь каждый еще миг есть возможность изменить выбор. Но мы не изменяем. Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей;

не та, о которой наивно мечтал Ваш Чехов («через 200—300 лет»), — жизнь, когда все будет «восторгом и испугом»... Нам не вместить сейчас всей этой полноты. Но мы можем провидеть ее, можем принять ее в себя, насколько в силах,—и не хотим... Мы не смеем. Справедливо, чтобы мы несли и казнь.

Мне жаль, что всего этого я не могу сказать Вам в тот самый час, когда писалось Ваше письмо. Мне жаль, что пройдут дни—много дней— между тем, когда Вы мне писали, и когда Вы будете чигать этот ответ или эту исповедь. Я обращаю ее к Вам так же полно, как — верю — было обращено ко мне Ваше письмо. И так же уверенно подписываю я свои страницы —

Вас любящий

Валерий Брюсов¹⁾.

Брюсов увиделся мне содержанием, запечатанным в двух конвертах; вы разрываете первый; в нем—план: эпатировать здравый смысл Скабичевских «не общим» значением Дюамелей, Верхарнов, Аркосов, Ренье, де-Гурмонов и Ренэ Гилей, тогда не ведомых русскому читателю, чтобы поставить ему новую полочку книги; но смысл плана — заглавие, писанное на конверте, втором, запечатанном тоже: в конце концов проповедь Гиля²⁾—гиль не без задней мысли: подбором поэзии вызвать испуг, им испытанный мальчиком «Валей», пред жизнью обставшей, старухой дикой; в глубинах души его — «ужас многоликий, — призрак жизни, жалкой, дикой, закивал мне, как старуха».

Факт наблюдения: бред о «старухе» ведь свойственен детям на рубеже третьего и четвертого года; «старуха» же — быт, раздавивший Валерия Брюсова в детстве; вот что пишет он в книге «Из моей жизни»: «Думайте раньше, чем подвергать... детей унижениям» (24); «Я рыдал..»

¹⁾ Письмо написано на двух с третьей страницах бумаги с клеймом и штампом Книгоиздательства «Скорпион» «Весы», ежемесячный журнал

Москва, Театральная площадь, д «Метрополь», кв. 23

²⁾ Поэт и теоретик научной поэзии.

от несправедливости» (31); «Я всего более боялся поступать не так, как следует» (21); но тем не менее: «Я... не умел вести себя» (21); бывать «в гостях... было... мучением» (21); «я терялся, горбился» (40); «я... был угрюм и неловок» (42); «я склонен был за словами людей воображать иное, скрытое значение» (29); «я жил... совершенно не понимая, что происходит вокруг» (27); «у меня нашелся... товарищ... Это был... шут, грязный, слюнявый... кричавший: «За что вы меня обижаете... Я сам... недалеко ушел от него» (29); «Ночью у меня начинался бред, я вскакивал, кричал» (18).

«До сих пор... знаю это чувство безотчетного ужаса... не лишнее... сладости» (19).

Вот лейтмотив пыли квартир, засыпавшей его; из нее—рвался к подвигу, ассоциировавшемуся с чувством непонятности, с почитанием деяния раннего соратника, Добролюбова, порвавшего с литературой.

Вот выписки из «Дневников»; пишет 25-летний молодой человек: «Умер... Шперк... Юноша, живущий среди... отчуждения, погибавший в борьбе с нуждой... О, как близка мне его судьба» (стр. 31); «Уйти куда-либо в пустыню» (стр. 40); «В душе возникает вопрос, что если «я» тот, прежний, был лучше и выше?» (стр. 41). О Добролюбова-страннике: «Его отличительная черта—во всем он идет до конца. И он пошел здесь до конца. Он талантливейший и оригинальнейший из нас... Но... в убеждениях он дошел до конца... Он раздает все имущество...» (стр. 42—43); «Лицом он изменился очень; я помнил его лицо... бледное лицо — и горящие... глаза...; теперь черты огрубели...; в лице что-то русское... теперь

он стал прост... он умел сказать что-нибудь и моему братишке... и даже маме...» (стр. 41); «Александр Добролюбов... Что я найду сказать ему, я, теперешний... и я... бессилен... О горе!» (стр. 41).

В дни встречи со мной ходил он, перепуганный жизнью, дебеоло бабищей, выдвинувшийся из нее в... спиритические перемельки и стуки; он интересовался в те дни спиритизмом:

Приподняв воротник у пальто
И надвинув картуз на глаза,
Я бегу в неживые леса
И не гонится сзади никто.

И никто, и ничто — его ужас до «Urbi et Orbi»; со скорбным упорством на этом ничто отлагал, точно ракушку, твердую форму он, нас испытывая, что видеть мы силится «не только формой», подкрадываясь ко мне, к Блоку.

Они ее видят, они ее слышат.

Он — нет. И, —

Железные болты,—сорвать бы, сломать бы.

С хладнокровием физика взвешивал он пыл, готовность на все Добролюбова, Гиппиус, Розанова, Мережковского, студентов; вместо сочувствия к последним,—раз бросил он мне:

— «Что ж прекрасно,—не только словесность... А где она, в чем? Пока — только слова».

Был осознанным противоречием. Но с откровенным отказом от выхода, не находя его, он допускал, что, может быть,—выход есть; коли так,—пусть покажут ему: ощупает; деловитый скруток его часто казался стеной черной тенью на плоскости трезвой, но он был точно с трещиной, в которую садит холодный сквозняк стародавних кошмаров, испытанных в детстве; здесь, думается мне, и происхождение ранних стихов его о «козе» и о том, как он в снах своих мучит знакомых; однажды проснется-де и увидит себя в чужой комнате над... им задушенным: уже не в сне¹⁾.

¹⁾ Таков его ранний рассказ, напечатанный в «Северных цветах»

Его «проверы» под формою будто бы маленьких «подвохов», строимых им нам, имели, в сущности, бескорыстную цель: нас испытать; но это в нем было — игрой самоотверза; такова же и пресловутая «дичь» его юношеских поступков, подрывавшая его «тактику», напминавшую систему подкопов; она — выражение мучительной распятости: самим собою себя; в этом жесте ненужного самораспятия виделся он мне с первой встречи: виделся сложившим на грудь две руки и с лицом, искривленным от муки; но с этим жестом слагал он как бы свои строчки; и таким его Врубель увидел; таким подымали на щит его мы; иронически он утешался принятием лести от тех, кто его поносил: как игрок ставя нас, «Скорпион», символизм, — свои карты, — в угаре азарта, чтобы поставить перед собой на колени еще одного из мастодонтов, сперва издевавшегося над ним; потом — пришедшего к нему с повинной, чтоб не отстать от «моды».

Молодой, еще дикий, порывистый Брюсов встает передо мною стоящим то на эстраде, то вылезавшим как бы из своих невыдирных чашей самоотверза, в которых он рыскал; таким был он: до жуткости диким и пламенным.

.....

Первые встречи: я вижу с Валерием Яковлевичем каждый день; первоклассник я; он же — вз'ерошенный, бледный, в прыщах: семиклассник с усами; меня интригует он умной угрюмостью; я же в рекреационном зале за большой переменной круги пишу вокруг него.

— «Кто он?»

— «Брюсов».

Скоро он пропал для меня, окончив гимназию Поливанова; в 894 году к нам, гимназистам, проникли его первые «дикие» стихи, которые мы затвердили, твердили и пародии на него В. Соловьева; я вспоминал Брюсова-семиклассника, точно волк в клетке, метавшегося по гимназическому рекреационному залу от стены до стены.

Еще до личного знакомства с ним, раз зимой, возвращаясь домой по Арбату, я встретил мужчину в пальто мехо-

вом, в меховой, пышной шапке; он топал калошами, пряча руки свои в рукава; голова прижималась к плечу; как-то странно и дико-радостно дергались красные его губы под заиндевшихими, как черный кокс, усами и бородой; пырскили глаза его ярко: мимо меня; мне казалось, — шептался с собою он: так вытверживают про себя стихотворные строчки, быть может: так бегут в «неживые леса», когда сзади никто не гонится¹⁾).

И осенило:

— «Я видел этого мужчину уже? Где?»

В тот же вечер сказали мне у Соловьевых.

— «Был у нас Брюсов; и — жаль: не застал».

Тут осенило меня: мною увиденный на Арбате бегун, бормотавший с собою самим, был Брюсов.

С. М. Соловьев познакомился с ним у Шестеркина; этот художник с женой заходил к Соловьевым; М. С. симпатизировал Брюсову:

— «Крупный поэт».

В «Дневниках» Брюсова записано: «Был у меня М. С. Соловьев, благодарил за статью о Вл. Соловьеве. После... был у него. Жена его, Ольга Михайловна... мило болтала о Фете... Сын Соловьева, юный Сергей Михайлович, тоже мило беседовал о Корнеле, Расине. Ждали сына проф. Бугаева... (он живет рядом)». (В. Брюсов, «Дневники», стр. 106.)

Видел его в 900 году на представлении «Втируши»; его мне показали в антракте; он стоял у стены, опустивши голову; лицо — скуластое, бледное, с черной бородкою; переметывались, как слезами омытые, черные, очень большие глаза; поразила его худоба: сочетание дерзи с напугом; напучены губы; вдруг за отворот сюртука заложил он угловатые свои руки; и белые зубы блеснули мне: в оскале без смеха; глаза ж оставались печальны.

¹⁾ Я бегу в неживые леса—

И не гонится сзади никто.

В тот же вечер он публично читал; к авансцене из тени, — точно длиннее себя самого, как змея в сюртуке, палкой ставшая, — с тем передергом улыбки, которую уже видел я, — он плыл, прижав руки к бокам; голова — точно на-сторону: вот гортанным, картавым, раздельным фальцетто, как бы отдавая приказ, он прочел стихи, держа руки по швам; и с дерзкою скромностью, точно всадившая жало змея, тотчас же удалился: под аплодисменты.

«Яд» на публику действовал; действовала интонация голоса, хриплого и не богатого, но вырезающего, как на стали, рельефы строк; читал декадент, над которым в те дни Москва издавалась, — не свои стихи, а стихи Бальмонта; чигку собственных стихов ему запретила цензура; собравшиеся ж демонстрировали: «Браво, Брюсов!» Стало быть: он уже нравился наперекор сознанию; рассудком ведь все ругали его.

В тот вечер он голосом, как будто декретировал, над головами, его ругавшей Москве: Яблоновским, Баженовым, Иван-Ивановым, Янжулам и Стороженкам:

— «Всем вам говорю: горе вам!»

ЗНАКОМСТВО С БРЮСОВЫМ

Пятого декабря 901 года я встретился с Брюсовым.

У меня сидел Петровский, когда я получил от О. М. Соловьевой, живущей pseudo мною, записку: «У нас — В. Я. Брюсов: ждем вас»; позвонились, входим; и — вижу: за чайным столом — крепкий, скуластый и густобородый брюнет: с большим лбом; нето — вид геченега, нето — вид татарина, только клокастого (клок стоит рогом): как вылеплен — черными, белыми пятнами; он поглядел исподлобья на нас с напряженным насупом; и что-то такое высчитывал.

Встал, изогнулся и, быстро подняв свою руку, сперва к груди ее отдернул, потом протянул мне движением, рисующим, как карандаш на бумаге, какою-то египетскую арабеску в воздухе; без тря-

са пожал мою руку, глядя себе в ноги; и так же быстро отдернул к груди; сел и, в скатерть потупившись, ухо вострил, точно перед конторкой, готовясь с карандашом: что-то высчитать; точно в эту квартиру пришел он на сделку, но — чуть боясь, что хозяева, я и Петровский его обегорим: коли «заегорим», то — «переегорит» он нас:

А нет, — на авансы пойдет.

Этот оттенок мнительности, недоверия к людям, с которыми впервые вступал он в общение, был ему свойственен в те года: он был ведь всеми травим.

Я понял: еще не зная меня, но «Симфонию» (писанный текст), о которой дал только-что отзыв он, что она-де «прекрасна», прикидывал мысленно, кто я такой: мистик, скептик, софист, образованный или невежда, маньяк или насмешник, юродивый или кривляка; кем бы я ни был, сумел бы и он постоять за себя; этот тон деловой, — понял я, — был им выставлен, точно окоп или деловая конторка.

Помалкивал, слушал, что говорилось, примериваясь и учитывая интонации вспыхами глаз и пылающею наблюдательностью, на меня обращенной; и этим он точно выхватил воздух из моего горла.

После себе в «Дневниках» записал: «Были еще два наших студента-декадента: Бугаев, Борис Николаевич (автор «Симфонии») и... Петровский, чуть-чуть заикающийся» (стр. 110).

Он все время прикидывался; точно учитель словесности перед экзаменом, для вида макал усы: в стакан чая; и приличия ради поддерживал разговор; я наблюдал его с интересом; и думал я: нет в его картавых, поправочных фразочках яркости; в вежливой, косой улыбке из-под нахмур, — нет шарма; я думал: вот примется он мне развивать впечатление от чтения моей «Симфонии», а он, не спуская с нас уха (в глаза ж не смотрел), мимо нас подавал точно рукой свое слово — М. С. Соловьеву, а бровью подчеркивал он свои смыслы; и трезво, и веско, не без архаизма; как будто он пришел к нам из тридцатых

годов прошлого века; так беседовать мог Боратынский; Белинский — уже не мог: Белинский другого стиля.

Ничего в нем не было Рэмбо, Маллармэ!

М. С. Соловьев всем своим видом как бы продемонстрировал Брюсову нас: вот-де какие; Брюсов же смыком смывшеватых бровей отвечал:

— «Будет видно: годятся ли!»

Вдруг прытко бублик он выщипнул из хлебной корзинки.

Стало неловко мне с ним: как атакованный! Я даже испытал раздражение: скажи-ка ему про его диковатые стихотворные строчки — пожалуй, еще услышишь:

— «Вы, сударь мой, дичь не поритека: Пушкин не так писал; у Боратынского нет этой жалкой бессмыслицы».

Думалось: сидит, как в черной «маске»; и делает вид, что — прост. Исключительный «зверь», не особенно неуютный; его не дразни: под себя подомнет, сев в засаду.

Этот подмин под себя я пронес по годам: взвешенность всех выражений с неявно вплетаемыми комплиментами ставила часто впросак, точно в угол, где мой пулемет от теории знания вовсе не действовал, но где рапира софизма его отовсюду меня щекотала; и точно невидимых шопот я слышал:

— «Борис Николаевич, вы не деритесь со мной; я и так вас щажу: будет плохо!»

Еще до обмена словами прошел лейтмотив наших будущих отношений; я, помнится, высказался: нет границы меж здравостью и меж психозами:

— «Я с вами согласен» — отрезал, не глядя, В. Я.; и тоскливо едва передернулись губы, а зубы блеснули; М. С. перевел разговор о «Симфонии»:

— «Ах!» — завозился Брюсов, засунувши руку в карман; стал обсуждать детали ее печатанья: — «Мое мнение о книге известно ведь вам» — бросил с досадой он мне; и, не знай я его отзыва, я мог бы подумать, что книга моя ему неприятна.

Потом мы перешли из столовой в кабинет Соловьева: хозяева с А. С. Петровским пошли к столу; мы же с В. Я.

задержались в тених перед креслом, которое он, на две ножки поставив, раскачивал, поводя туловищем; и вдруг стал узкоплечим каким-то: сюртук — как на вешалке; грудка — совсем дощечка; на верное — ребра пропачены.

Аспид!

И я удивился разительному изменению своего впечатления от вида его; впечатление мне складывало картину прыгающих тарантулов.

С ожесточением я что-то доказывал, защищаясь от казавшейся мне ненормальной внезапной живости этой; он откинулся, держа на весу кресло; и вдруг в потолок дико выорнул:

— «Ах, да зачем с философией вы, когда есть песни и плясти!» — «к а», точно «те», выговаривал он.

И снова выорнул:

— «Мгновение принадлежит—мне!»

И слушал себя, как бы внимая песне из... древней эры, в которой, быть может, воспеваются... бои с бронтозаврами:

— «Я захочу» — взвесил кресло, ударил им в пол — «и вот этим вот креслом кому-нибудь череп пробью!»

Мне увиделось просто какое-то допотопное чудовище, обезумевшее и заявляющее, что оно, «приподняв воротник у пальто и на брови надвинув картуз», — убежит в свои неживые леса¹⁾.

— «Чорт дери, пришибет, чего доброго!» — подумалось мне.

Тут же подумалось:

— «Просто он софист и позер!»

— «Нет, мгновение не принадлежит вам» — осмелился я — «допустим, что вы захотите навеки остаться стоять: здесь. Уйдете все же, потому что вы — гость Соловьевых! А гости вынуждены уйти!»

Представьте мое изумление, когда, став шестом, передрагивая, завопил он:

— «Я» — «цап» — лапа пала на кресло — «останусь здесь!» И кресло пристукнулось.

Бред об извечном стояньи Валерия Брюсова здесь разыгрался в моем воображении: вот — подумалось — все ухо-

¹⁾ Цитата из Брюсова.

дят, а Брюсов — стоит: в той же позе за креслом; его Соловьев выгоняет, — стоит: в той же позе за креслом; М. С. Соловьев — раздевается; Брюсов — стоит; спит, а Брюсов — стоит, озаренный луной, в той же позе; врывается Жанна Матвеевна, жена Брюсова: «Правда ли, что он стоит, тут?» Стоит!

А Брюсов, уже не заживший в воображении, а стоящий передо мною за креслом, неожиданно переменяя разговор, спрятав «дичь» свою, как платок, в боковой карман, изогнулся передо мной как-то чрезмерно любезно, чрезмерно порывисто:

— «Однако мы — отвлеклись от общего разговора: идемте к хозяевам».

И, подойдя к С. М. Соловьеву, с нарочитой невинностью заговорил о каких-то новых изданиях Пушкина; я ожидал, как он вывернется предо мной; ведь обещал, что не уйдет отсюда; и я его пересаживал; стало нудно; поднялся-таки я прощаться; тут он вскочил; и с чрезмерно громкостью, как выорнет, не обращаясь ни к кому:

— «Я тем не менее» — с явной угрозой — «удаляюсь».

И — руки по швам, свою голову на сторону: прямо в переднюю; я — за ним; даже не попрощались друг с другом; я думал: ведь прав он; в миг первого выкрика он издал «свой» декрет; в миг же второго выкрика — его отменил, потому что мгновение, каждое, принадлежало ему.

— «И софистище же» — отдалось где-то во мне.

Проводивши В. Я., мы с Петровским остались у Соловьевых; и я рассказал им свой разговор перед креслом с Брюсовым; М. С. улыбался:

— «Не знал я, какая опасность грозила мне; впрочем, я переменял бы квартиру; с Богдановым, домохозяином, а не со мною бы дело имел он».

На следующий день в той же комнате опять встретились с Брюсовым мы: неожиданно для меня — при Мережковских, о чем пишу ниже; тогда же я подошел к Брюсову:

— «Простите, вчера впопыхах я даже не простился с вами».

Он, выпрямясь и наставляясь ноздрю, обдумывал, видно, ответ; с пыхом выдохнул, проворкотавши гортанно, приязненно:

— «Я думал, что без предрассудков мы будем с вами» — и дернул рукою.

И белые зубы свои показал.

И я себя опять спрашивал: без каких предрассудков? Без приличий, цитат, отдавшись и песням, и пляскам, проткнем, что ли, кольца в носы и украсимся перьями нового быта, устроивши остров Таити, — здесь, в доме Богданова, в квартире номер три?

Такова моя первая встреча с ним.

Еще не знал я, что стиль «брёда», как и стиль «кулака», — только игры его, не задевающие его жизни; он ими испытывал нас; раз я его увидел с Добролюбовым, ставшим сектантом и всех знакомых своих называвшим братьями и сестрами; с легкостью Брюсов отчеканивал на «брат Валерий», к нему обращенное:

— «Что, брат Александр?»

Он хотел поиграть и со мной стилем своих «Шедевров»¹⁾.

ЧУДАК, ПЕДАГОГ, ДЕЛЕЦ

Потом сколько раз — Соловьев, Эллис, я, — собираясь втроем, представляли чудачества Брюсова, и обсуждали: они — что такое? Единственное сочетание из высушенного, как гербарийный листик, софизма и брёда пощечиной вклеивалось, и над ней дергал бровью, недоумевая; начав с пустяка, кончал крупною ставкою: на дичь; измерение неизмеримого, точно рисунок (пятнадцатый век); его он показал мне: в нем изображалися... пытки.

У Брюсова слово «испытывать» значило часто «пытать»; он до пытки испытывал, но испытания эти терзали его; и отсюда же: произвольность мотивов, одетых в сюртук; господин с прирастающей маской к лицу, — таким виделся в эту пору мне Брюсов.

Так: однажды, зайдя с Соловьевым к нему, испугались; осведомившись о делах «Скорпиона», прямой, точно шест,

¹⁾ «Шедевры» — первая книга стихов Брюсова.

он свой рот разорвал; бросил руки по швам; и—скаргавил с восторгом:

— «Условимся так: — завтра я не иду в «Скорпион», потому что я буду лежать на столе и предам свое тело: и сверлам, и пилам».

Ему предстояла мучительная операция челюсти, после которой долго ходил он с разднутой скулой.

Он всегда ужасал меня точностью:

— «Поколотили студентов: а знаете, что на войне?»—нога на ногу; руки сцепились, схватясь за коленку, качающуюся: — «Там — прокалывают!»

Став живым, молодым, сиганул он вихром:

— «Представляете, что это значит? Приставленный штык прободает шинель, которая разрывается; кожи касается четырехгранная сталь; она прободает: мускул, брюшину; штык вводится в тело».

Так у доски занимается перечисленьем условий задачи учитель.

Иль—что за логика?

— «Вы вот за свет: против тьмы. А в писании сказано: свет победит; свет—сильнее; а надо со слабыми быть; почему ж не стойте за тьму и за Гада, которого свергнут в огонь?.. Гада жаль: бедный Гад!»

Иль—зачем он прислал мне стихи под заглавием «Бальдеру Локки»? Он в них угрожал мне стрелой; и кончал—восклицаньем:

Сумрак, сумрак—за меня!

Коль—серьезно, зачем язычок, третьеклассника, «Вали»¹⁾ Стихи были присланы сложенной стрелой из бумаги; такие метают учителю: в спину.

В ту ж пору, зайдя на журфикс ко мне и увидавши гасильник, с прекрасно разыгранным вздрогом гасильник схватил, повертел; приподняв, над гостями к настеннику ткнул его, перегибаясь к матери:

— «Вог как? Гасильник... Позвольте мне, Александра Дмитриевна, посмотреть, как действует гасильник?»

И, опустивши в стекло, погасивши настенник, с разыгранным смехом он матери бросил:

— «Ну, я удаляюсь».

И—выскочил.

Боркман, борясь с судьбою, за палку хватается: так почему же Валерию Брюсову свет не гасить? Жутковатые игры придумывал; и деловито разыгрывал.

Так, провожая Бальмонта в далекую Мексику, встал он с бокалом вина, и, протягивая над столом свою длинную руку, скривясь побледневшим лицом, он с нешуточным блеском в глазах дико выорнул:

— «Пью, чтоб корабль, относящий Бальмонта в Америку, пошел ко дну!»

В ту эпоху меж ним и Бальмонтом какая-то черная кошка прошла: шутка злою гримасою выглядела.

Скоро он перестал так шутить; и его по «Кружку», точно каменного командора, водили:

— «Чудесный директор: навел экономию».

Мы знали больше: директорство, кухня (заведывал ею в «Кружке») — только спорт: в эту пору «Эстетику»¹⁾ гнал он из зал, отведенных в «Кружке» ей: гнал Брюсов, Валерий, директор «Кружка», вместе с Южиным, вместе с Баженовым, над кем смеялся, — Валерия ж Брюсова, возглавлявшего «Эстетику», жалуюсь нам в комитете «Эстетики»: гонит-де нас «Кружок».

— «Кто же гонит-то? Вы?»

Не ответил; художник Серов философски руками развел:

— «Гонят,—надо уйти!»

Серов — понял, другие — не поняли.

редко смеялся: лишь дергал губами; и зубы показывал; если ж его рассмешить (Эллис мог так смешить), то он, бросивши ногу на ногу, схватясь за колено, вцепившись в колено, над ним изогнувшись и бородою касаясь колена, краснел не от холохота, а от задоха; и сухо, и дико откалывал голосом:

— «Кхо... кхо... кхо... кхо!..»

.....

И тянул, и отталкивал—детским кошмаром, в котором мы оба кричали когда-то; таков стиль знакомства, в котором повинен не я.

Сперва связанный с Брюсовым узами дел, я стараюсь, его избегая, быть свет-

¹⁾ «Общество свободной эстетики», им основанное

ским, почтительным, чувствуя род уважения к этой литой, как из бронзы, фигуре; мой стиль он усваивает; иногда же я чувствую перекрещение наших рапир из-за взрыва сулой его, какой-то дикой сердечности.

Кто он,—защитник или подкарауливатель?

В «Дневниках» он записывает: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». (Май—июнь 902 года, стр. 121).

Стихи его, мне посвященные,—жуть: обещается в них... «мстить кинжалом» мне.

Но он вторгнут в мое бытие метеором упавшим; и я получаю короткие письма: он рад будет видеть тогда-то меня; или: он извещает о том-то и том-то; короткие, четкие, внешние фразы; и тут же сухая соль сведений: о Петербурге, о «Новом пути»; в нем зовут-де его секретарствовать; часто предлог для свиданий фиктивен; в нем явно желание: меня привязать к «Скорпиону»; оказывал мне, начинающему литератору, крупную и бескорыстную помощь; в глубинах своих сомнительный еще мне,—внешне он мне повернулся приязню; я видел его Калитой, собирателем литературы: в борьбе с «ханской ставкой»; в горении объединять, он, наш «мэтр», умывал ноги нам; он сносился с маститостями, усыпляя внимание: перед боем; и все — для того, чтобы нас протолкнуть; я обязан ему всей карьерой своей; я ни разу себя не почувствовал пешкой, не чувствовал «ига» его: только помощь, желание помочь, облегчить.

Я сближался не с ним, его видя далеким; «далекий» и был настоящим помощником после М. С. Соловьева: в печатании книг и в приваживании к публицистике; он вырывал из меня, точно с боем, рецензии; в строгом разборе стихов моих чувствовал что-то отеческое; защищая публично, он их разносил у себя на дому, не отнявши надежды; всегда поощрял.

В четко трезвой, практической сфере я чувствовал сердце, огонь бескорыстия; скольких тогда он учил и оказывал гостеприимство, без всякой тенденции: себя подчеркивать; в сущности, был очень скромнен, носясь с идеей союза; и только с эстрады показывал «фиги» величия; с нами был равный среди равных; наткнувшись на лень, несерьезность, пустые слова, он вычеркивал, точно из списка живых.

Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил разгильдяйство и лень, не любя молотьбы языком по соломе; тогда называли нас «псами» его; эти слухи бросались Койранскими, Стражевым, Городецким и всеми, кого отвергали «Весь»; должен здесь же сказать: когда поняли мы, что приходит опасный момент, что уклоны движенье разваливают,—осознав нужность «шефства», — подняли на щит его (Балтрушайтис, я, Соловьев, Садовской, Эллис и др.), но — для других; сознаюсь, щит с тяжелой фигурой этой гнул шеи; но кряхтели без ропота, даже с любовью.

Он, некогда поднятый нами на щит, был внимателен с нами, порою до... нежности; он не держался «редактором»: не штамповал, не приказывал, — лишь добивался советом того или этого; он обегал собойцов, чтобы в личной, порою упорной беседе добиться от нас — того, этого: мягкими просьбами; если ж ему отдавали мы честь перед другими, так это — поволенная нами тактика.

Я оговариваюсь: славолюбие и властолюбие жили в нем; но он диктаторствовал, так сказать, в покоренных провинциях, как-то: в «Кружке», в «Русской мысли», в «Эстетике», с кафедры или с эстрады: в своей метрополии; в центре дружеского кружка он держался, как республиканец, с бойцами, которым помог в свое время; мы помнили это: и были верны ему; если же «псами» казались другим, то — по правде сказать—«пес» всегда симпатичней «осла», добивающегося одряхлевшего льва своим черствым копытом; уже с 907 года такие «ослы» появились.

Мы ж видели роль его — организатора литературы; с 902 года всерьез зазвучала роль эта; так-то я, не сближаясь, скорее отталкиваясь, был им вбран и утилизирован; я не раскаиваюсь: благородно он утилизировал, дав дисциплину рабочую, выправку, стойкость.

О нежной сердечности и не мечтал, одиноко замкнувшись в мирах своих странных, где бред клокотал еще; видя, что Блок, Мережковские перевлекают меня, от меня добивался лишь связи рабочей, которую я, потом разуверившись в Блоке, весьма оценил.

Деликатно в те годы ко мне подходил; помню, как мне на фразу показывал, не обижаясь шаржем:

— «Борис Николаич, стоит тут у вас — «Флюсов, Бромелий», — совал карандаш в корректуру, — «поставим-ка «Брюсов, Валерий» — показывал зубы; и ждал резолюции, но карандаш свой приставил к «Бромелий».

— «Ну, пусть!»

Слова вылетели.

Добивался от меня рецензий.

— «Да я и не умею рецензий писать: никогда не писал.»

— «Ну, а что вы о Гамсуне думаете?»

Я высказываю.

— «Вот и готова рецензия: вы запишите лишь то, что сказали сейчас.»

Или: зная, что я проходил физиологию.

— «Вот, напишите об этой никчемнейшей книге.»

— «Я же не психиатр!»

— «Вы — биолог: физиологически же автор трактует проблему; он — неуч; наверно его вы поймаете.»

Таки добился: читал, бегал даже в музей, чтобы нос сунуть в Мейнерта; и поймал: искажил автор Мейнерта; потирал руки Брюсов: пошляк из «Кружка» декадентским журналом с личностью пойман; позднее увидев, что я роюсь в социологической литературе, он сдался на мою просьбу, напоминающую каприз: давать рецензии на печатающиеся брошюры социал-демократов, социалистов и анархистов; «Весам»,

журналу искусств, эти рецензии не подходили: по стилю; он тем не менее мне уступил; и я, несмотря на свою социологическую малограмотность, писал эти рецензии. Так он уступил мне, считаясь с прихотью, чтобы не оторвать меня от «Весов». Так он уступал многим¹⁾.

Мне открывалась остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова, весьма восхищавшая; как ни был близок мне Блок, — я «рабочего» от символизма не видел в нем; Блок — сибаритствовал; Брюсов — трудился до пота, сносясь с редакциями Польши, Бельгии, Франции, Греции, варясь в полемике с русской прессой, со всей; обегал типографии и принимал в «Скорпионе», чтоб... Блок мог печататься.

Был поэтичен рабочий в нем; трудолюбив был поэт.

Я, бывало, звонюсь в «Скорпион»; вылетает и быстрый, и прыткий, немного усталый, как встрепанный, Брюсов; черной, капризной морщиною слушает; губы напучены; вдруг, оборвав меня, с детской улыбкою зубы покажет: — «Рецензия, — как?.. А!.. Чудесно!»

И локтем склоняется на телефонный прибор; затрескочет и ждет; ты молчишь, оборвав объяснение; в наполненном этом молчании кажешься глупым; убийственна трезвость поэта «безумий»; и — главное: ты говорил «про свое»; он тебя оборвал, хлопоча о «чужой», не своей корректуре; и утром, и днем ее правит, с ней бегаёт; где ж «свое»? Оно — бормотание строк в мельк снежинок меж двух типографий иль на мгновенье прислон к фонарю; шуба — встерзанна; пук корректурный торчит из нее.

Таким у типографии Воронова его видел не раз; он обалдевал, выборматывая между двух типографий свой стих, — в миг единственный, отданный творчеству, в дне, полном «дела», чтоб... я,

¹⁾ Вспоминая свои упражнения в рецензиях на социологическую литературу, разумеется, я отмечаю не свою «компетентность» в социологии, а тот факт, что Брюсовым в редакции «Весов» много допускалось такого, что не входило в официальную программу журнала.

Блок, Бальмонт, Сологуб в «Скорпионе» могли бы печататься.

Делалось стыдно за ропот свой перед «педантом», сухим и придирчивым, каким иногда он казался.

— «Трр-рр-рр» — телефонный звонок; и — прыжок к телефону:

— «Да!.. Книгоиздательство... Да, да... Чудесно!»

Прижавши к скуластому, бледному очень лицу телефонную трубку, он слушает, губы напучивши, трубку бросит: и —

— «К вашим услугам!»

«К услугам» — не нравилось; — что ж иное? Отчеты, петиты, чужие статьи, корректуры, чужие; их сам развезет, потолкует: со «шпонами» или без «шпон».

— «Что вы думаете о...?»

— «Точней выражайтесь: даю пять минут» — говорит пересуленным лбом, отвернувшись, — уродливый, дико угластый татарин-кулак; вдруг пантерой черной красиво взывает.

Во всем, неизменно, — поёт!

Вместе с тем: никогда не вникал в становление мысли моей; результат ее, точно отчет, подытоживал, грубо порой тыкнув пальцем:

— «Не сходится здесь!»

Но порою лицо утомленное грустно ласкало:

— «Сам знаю.. Да — некогда... Вы не сердитесь... Тут, в редакции, — рой посетителей.. Я ж — один».

Иногда, перепутавши несколько мысленных ходов, откидывался и хватался за лоб, растирая его:

— «Пару слов: о делах» — из кармана ташил корректуру.

Порой из редакции вместе бежали: не шел он, а несся, и тростью вертел:

— «Вы куда?.. На Арбат?.. И я — с вами к Бальмонту».

И молодо так озирался; ноздрями широко воздух вбирал, ноздри ширя, бросаясь под локоть рукой, точно с места срывал; припадая к плечу, он плечо переталкивал:

— «Какого мнения», — пляшет, бывало, вместо «ки», — «вы о математити?» — «ти» вместо «ки», — «я люблю математику!»

Нежно, воркующе произносил он:

— «Измерить, исчислить!»

И падал, как на голову.

— «А вы как полагаете, — христос пришел для планеты или для вселенной?»

В ответ на теорию, — практикой, понятой узко: под ноги; ширяний идей — не любил, а любил — поправки на факты; поправкой укалывал; и, наслаждаясь неответом (смутил-таки!), — делался грустным: что толку? Томился своей отделенностью.

.....

В. Я. импонировал: невероятной своей деловитостью, лесом цитат, поправляющих мнение; чрезмерная точность его удручала; казалось, что аппаратом мысли мысль зарезал он в себе; и — давал волю софистике; слабость из силы сознав и сознав силу слабости, не посягал на теорию он символизма, нам с Эллисом предоставляя ее платформировать.

Помню: «Кружок»; К. Бальмонт произносит какие-то пышные дерзости: его едят поедом; попросил слова Брюсов; возвысился черный его силуэт, ухватяся рукою за стул, другой, с карандашиком, воздух накальвая, заодно проколол оппонента Бальмонта:

— «Вы вот говорите» — с галантностью дьявола, дрезжа фальцетто — «что» — изгиб, накол — «Шаль Бодлер...» — дерг бровей. — «Между тем» — рот кривился в ладонь подлетевшую, будто с ладони цитаты он считывал, — «мы у Бодлера читаем...»

И зала дрожала от злости: нельзя опровергнуть его!

Психиатр Рыбаков в реферате прочитанном определил его как симулянта безумий, психически здорового, трудоспособного; было ж обратное: аргументации от Милля, Спенсера — мимикрия; вспомните Спенсера: на протяжении десятков страниц, плоскосерых, убористых, мысль — меньше мухи; доказывается грудой фактиков: тут — быт зулусов, перо попугая, вулкан Титикака, бизон и муха «це-це»; Маяковский бил с кафедрой ором и желтою кофтою: в лоб; Брюсов бил с фланга («мгновение... принадлежит... мне...») и с тыла:

пародиями на Г. Спенсера импровизировал он документальную, почтенную скуку; из сочетания тактик он производил... просто падежи в стане наших врагов; «стан» чрез несколько лет превратился в постыдное переселенье: из лагеря Пыпина в ставку Валерия Брюсова; но и «кадеты», которых «ловкач» об'егоривал, «перегорильты» временно Брюсова, послав на фронт его... корреспондентом военным.

Он этим в себе самом вырастил правый уклон; незаметно «пародия» стала высказываньем, убежденьем почти; он как бы ставил цель: «Ну-ка, дерну по Пыпину: думаете, не сумею? А — вот вам».

Но в первых годах настоящего века такое умение действовать с тыла — расчистило путь: ему, нам.

Педагог!

Скоро я на себе испытал его тактику; взявши стихи в альманах, склонив сборник стихов подготовить к печати, дав лестную характеристику их, вскружив голову, он пригласил меня на-дом и вынес стихи, уже принятые; не забуду я незабвенного для меня дня; от стихов — ничего не осталось.

Схватив мою рукопись цепкими пальцами, выгнувши спину над ней (нога на ногу), оцепенев, точно строчки глазами он пил, лоб морща, клоком перетрясывая; стервенился от выпитого, дрянь вкусив:

— «Ха... «Лазурный» и «бурный» — банально, использовано; «лавр лепечет» — какой, спрошу я, не лепечет?»

Откинулся, шваркнувши рукопись, сблизивши локти, расставивши кисти, рисуя углы:

— «Дайте лепет без «лепет», заезженной пошлости; «лепет» — у Фета, Тургенева, Пушкина. Первый, сказавший «деревья лепечут», был гений; эпитет — живет, выдыхается, вновь воскресает; у вас же тут — жалкий повтор; он — отказ от работы над словом: стыдитесь!»

Кидался на рукопись: тыкать и комкать, кричать на нее:

— «Нет — «лепечущих лавров... кентавров»... В стихотворении у Алексея Толстого опять-таки: «лавры — кентав-

ры»; но сказано — как? «Буро-пегие!..» Великолепно: кентавр—буро-пегий, как лошадь... он пахнет: навозом и потом».

Сжимы плечей, скос бородки над переплетенными крепко руками, — с ужасной скукою:

— «Да и кентавр этот ваш — аллегория, взятая у Франца Штука, дрянного художника... Слабое стихотворение о слабом художнике!»—проворкотал он обиженно.

Я был добит.

Так, пройдясь по стихам, уже принятым им в альманах, он их мне разорвал... в альманахе.

— «Зачем же вы приняли?»

Фырк, дерг, вскид рук; вновь зажим на коленях их с недоумением, значащим: «Сам я не знаю»; и вдруг — алогически, детски, пленительно:

— «Все-таки... стихи хорошие... Ни у кого ведь не встретишь про гнома, что щеки худые надул; и потом: странный ритм».

Я понял: пропасть меж собственным ритмом и техникой; осозналися: проблемы сцепления слов, звуков, рифм.

Его длинные руки выхватывали с поллок классиков, чтоб стало ясно, как «надо»: на Тютчеве, на Боратынском; сперва показал, как «не надо»: на Белом.

Бескорыстный советчик и практик, В. Я. расточал свои опыты, время юнцам с победительной щедростью.

Как он прекрасно читал своих классиков с глазу на глаз, как бы весь перечерчиваясь и бледнея, теряя рельеф, становясь черно-белым рисунком на плоскости белой стены; очень выпуклый, очень трехмерный, рельефный в другие минуты, он в миг напряженнейшего пропускания строк через себя перед выкриком их точно третья терял измерение, делаясь плоскостью, переливаясь в передаваемый стих; звук, скульптурясь, отяжелевая рельефами, ставился великолепно изваянной бронзой, которую можно и зреть, и ощупывать.

Помнились жесты руки, подающей открытую книгу на стол.

Мощь внушения красот — в долгой паузе перед подачею слова; в ней слышались действие лепки рельефов, уси-

лия слуха и произношения внутренне-го; так он, вылепив строчку, вклепывал ее: голосом.

Себя читал, декламируя горько-надреснуто, хрипло, гортанно, как клетот орла, превращающийся в клокотание до... воркования, не выговаривая буквы «ка» (матема-тити), гипертрофируя паузы: «Улица была, как буря» — выкидывал:

— «Улица»...

Долгая пауза:

— «Была»... — пауза поменьше; и — скороговоркой: — «как буря».

Глаголы — подчеркивал голосом, не существительные.

Иногда объяснял себя; мне объяснил свою строчку:

— «Берег вечного веселья...» — «Бе» — «ве» и «ве»: «бе» переходит в «ве-ве»... Почему? «Бе» — звук твердый, звук берега, суши: «ве-ве» — звук текучий, воздушный и влажный; от «бе» в «ве» мы слухом отталкиваемся, как челнок от камней... Вместе с тем: «ве» — смягченное «бе», так что слышится аллитерация».

И, показав свою кухню, он переводил разговор на Граммона иль Бек-де-Фукуера, трактующих проблему звука, у нас неизвестных тогда; мне подкинул Касаня, трактующего стих Бодлера; подчеркивал: Пушкин весьма отдавался ремесленным этим вопросам; любил Ренэ Гиль¹⁾, старавшегося сформулировать кодекс своей научной поэзии; рылся в Потевне, никем не читавшемся в этот период с нележкой руки болтуна, Веселовского (Алексея).

Так был он единственным строгим ученым от литературы среди неученых в сей сфере словесников: вместо того, чтоб сбегаться к профессору этому, свистом встречали не только «козу»: деловитейшие его замечания!

Только Брюсов, Валерий, да Федор Евгеньевич Корш представляли собой Академию слова.

¹⁾ Ренэ Гиль — известный в свое время в кругах французских символистов критик и поэт, ведший свою линию, которую называл «научной поэзией»; он был постоянным критиком «Весов» и пропагандировал начинающих Ренэ Аркоса, Вильдрака, Дюгамеля.

Но Брюсов не был эстрадным чтецом, а чтецом-педагогом, вскрывающим форму, доселе заклепанную; затруждаясь молотками, ударами голоса, сверлами глаз и клещами зубов, как выкусывающих из заклепанной формы железные гвозди, он нам вынимал стих Некрасова, Пушкина, Тютчева иль Боратынского, прочно вставляя в сознание его; так разбор стихов он, смертельно ранив «поэта» во мне, мне расклепал Боратынского; этот день был событием; я, им ободранный, не унывал; уничтожив плохую продукцию, он показал на матерого «зверя» — на стих: как его надо холить.

И тут, столь далекий от Льва Ивановича Поливанова, ярко напомнил он мне: Льва Ивановича Поливанова.

Брюсов был чутким директором в первой им созданной школе: до всех «стихovedческих» опытов; школа была без устава; но списочек слушателей где-то был у него; в нем он делал отметки, включая иных и вычеркивая нерадивых.

Кричали: пристрастен-де Брюсов; так ли? Ошибся ли — Блока, меня, Садовского, С. М. Соловьева, Волошина в список включивши, Койранских же, Стражевых, Рославлевых и бесчисленных Кречетовых зачеркнувши.

Все сплетни о его гнеде, давящем таланты, — пустейшая в глаза, возведенная на него.

Случалось, что и он ошибался: сперва не занес Ходасевича в список «поэтов», но вскоре ж ошибку исправил он.

.....

Помнится белый домик на Цветном; синий номер: «дом Брюсовых»; здесь я бывал у него; я не помню убранств и цветов; мне бросались в глаза: чистота, строгость, точный порядок; стояли все лишь необходимые вещи; в столовой, малюсенькой, — белые стены, стол, стулья; и — только; в смежной комнате, вблизи передней (с дверями в столовую и в кабинетик) седалища: здесь ждали Брюсова; стол, за которым работают, синенький, малый диванчик, и — полки, и полки, и полки, набитые книгой, — его кабинетик.

Квартирка тихая, виделась — черным на белом; ее обитатели — острые, быстрые, дельные и небольшого росточку фигурки, с сарказмом, с умом; никаких туалетов, ничего от декоративных панно, от волос на ушах или жестов, с которыми дамы и снобы ходили за Брюсовым; умная, в черном, простом, не от легкости, а от взбодренности, смехом встречающая Иоанна Матвеевна, жена; энергичная, приткая, маленькая, чуть «надсмешница», ее сестра, Бронислава Матвеевна; преюркая ящерка, с выпуклым лбом, с быстрым выстрелом глаз, черных, умных, сестра Брюсова, — музыкантша, теории строящая; ее дружба ко мне заключалась в том, что, сев рядом, гортанным фальцетто нацеливалась в слабый пункт моих слов: всадив жало, блистала глазами; В. Я. определил раз в игре ее: «Ты — землероетка: милый зверок»; зарывалась она в подноготную; являлся за чайным столом Саша Брюсов, еще гимназист, но тоже «поэт»; ставши «Грифом», он соединился с Койранскими против брата; едкий, как брат, тупая, как петушок, говорил брату едкости; брат, не сердясь, отвечал.

Иногда мне казалось, что в этой квартирке все заняты сухо-игривым подколом друг друга; здесь каждый за чайным столом, софизм выдвинув, им поколов, удаляется, супясь, работать. Семейство сходилось: на колкостях.

Гостеприимный хозяин являлся за стол из редакций; но вскоре же быстро бежал: в кабинетик; и без приглашения зайдя, разве походя с ним перекинешься словом; и будешь сидеть: с Иоанной Матвеевной, с Надеждой Яковлевной.

Впрочем, бывали часы и для «родственников»; раз, зайдя, я увидел закрытую дверь; Иоанна Матвеевна сказала:

— «Валерия Яковлевича — не извлекать: он винтит в эти дни и часы: с отцом, с матерью».

Родственный «винт» (от сего до сего) — дань: семейным пенатам.

В среду вечером (перечень сред, отпечатанный, нам рассылался в начале сезона: со списочком чисел) являлся

кружок из любителей литературы, к которому присоединялись брюсисты, «свои», те, которых он силился в партию вымуштровать.

Разговор — острый, но деловой; треск цитат и сентенций (как надо писать), вперемежку с софизмами; попав сюда, я дивился отчеркнутости интересов; Д. С. Мережковский с «идеями» — был отстранен.

Идеологические расширения были со знателью Валерием Брюсовым вынесены из квартирки, которая — класс иль — ячейка «Весов», «Скорпиона»; и где начинались вопросы «не только» о том, как писать, им чертилась отчетливо демаркационная линия: об этом можно беседовать, о том — не стоит.

Когда я являлся сюда, то В. Я. бросом рук и подставом любезнейшим сгула под ноги как бы предупреждал очень строго:

— «Беседа уже начата; и ширянья — откладываются!»

«Ширянья» им выносились из «сред» — в разговоры вдвоем, на прогулке.

Что-то строго спартанское: дух Диониса отсутствовал; узкая сфера вопросов, дающая много, порой скучноватая, когда ты был не прилежен; класс — с контролем, с экзаменами; у меня и в «Дону» мы ширяли идеями, а отдыхали, резвясь, у Владимирowych.

«Здесь — учились мы.

Здесь же встречался впервые с кружком небольшим образованных очень людей: вот учитель немецкого, тоже поэт, скучноватого, очень почтенного вида, блондин, Георг Бахман (писал по-немецки); вот умница, хищная, влипливая, Черногубов Н. Н., знаток Фета и Федорова, старый коллекционер; вот седой, с красным носом, в пенсне, — остроумец: Каллаш; вот всегда молчаливый Саводник; угрюмец и «демон» Дурнов (архитектор, поэт); вот Курсинский; начитанные, скучноватые, умные люди; а вот робкий блондин, всегда в сером, редискою носик, презоркий, сутулый, какой-то кривой: Поляков — полиглот, мягкий умница и математик, выкапыватель никому неизвестных художников; реденькая и бело-

курая очень борода торчала; являлся и «мрачный, как скалы» (по слову Бальмонта) блондин с красным носом, с усами: поэт Балтрушайтис; сидел здесь Семенов, блондин, анархист, явившийся из-за границы, где он репетировал сыновей Плеханова: что-то заваривал он в «Скорпионе», всегда он с проектом являлся, сидел молчаливый Яворский; ряд юношей: Шик, Гофман, Рославлев, братья Койранские — выпуск студейцев-брюсиков, весьма неудачный.

Являлся потом, бороною, как облаком, ширясь, Волошин; являлся Бальмонт; появлялись: Шестеркины, Минцлова, Ланг и мадам Балтрушайтис.

Здесь Брюсов мне виделся очень покинутым; он, как учитель словесности, был отделен от юнцов и от сверстников; больше сливался тогда он со старшими из «Скорпиона», на почве лишь дела.

Таким был в эпоху начала знакомства со мной.

II. А. Блок

Десятого января 904 года, в морозный, пылающий день — раздается звонок: меня спрашивают; выхожу я и вижу: нарядная дама выходит из меха; высокий студент, сняв пальто, его вешает, счиснув в руке рукавицы молочного цвета; фуражка лежит.

Блоки!

Широкоплечий; прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, — подпирающим шею, высоким и синим; супруга поэта одета подчеркнуто чопорно: в воздухе — запах духов; молодая, веселая, очень изящная пара! Но... но... Александр ли Блок, — юноша этот с лицом, на котором без вспыхивания румянца горит розоватый обветр? Нето «м о л о д е ц» сказок, нето очень статный военный; со сдержками ровных, немногих движений, с застенчиво милым, чуть на-бок склоненным лицом, улыбнувшись мне, он подходит, растерываясь голубыми глазами, присевшими в складки, от явных усилий меня разглядеть; и стоит, потоптываясь (сходство с Гауптманом юным):

— «Борис Николаевич?»

Поцеловались.

Но образ, который во мне возникал от стихов, — был иной: роста малого, с бледно-болезненным, очень тяжелым лицом, с небольшими ногами, в одежде, не сшитой отлично, вперенный всегда в горизонт беспокоящим фосфором глаз; и — с зачесанными волосами; таким вставал Блок из раздумий:

Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердцем беден!

Курчавая шапка густых рыжеватых волос, умный лоб, перерезанный складкою, рот улыбнувшийся; глаза приближенно смотря, явивши растерянность: большую, чем подобало.

Разочарованье!

Мое состояние передалось А. А.: он, конфузясь смущеньем моим, очень долго замешкался с недоуменной улыбкой около вешалки; я все старался повесить пальто; он в карман рукавицы засовывал; и не смущалась нарядная дама, супруга его; не сняв шапочки, ярко пылая морозом и ясняся прядями золотаватых волос, с меховою, большущею муфтой в руке прошла в комнаты, куда повел я гостей и где мать ожидала их.

Сели в гостиной, не зная, как быть и о чем говорить: Любовь Дмитриевна, севши в сторонке, молчала и нас наблюдала.

Запомнился розовый луч из окна, своей сеточкою через штору зарывший слегка рыжеватые, мягко курчавые кудри поэта, его голубые глаза и поставленный локоть руки, опиравшийся в ручку растятого, старофасонного кресла.

А слов я не помню: они — о простых, обыденных вещах, о Москве, о знакомых, о «Г р и ф е», о Брюсове, даже о том, что нам — не говорится, а — следует поговорить основательно; тут же втроем улыбнувшись: визитности.

Лед стал ломаться; все же: Блок — меланхолик; а я был сангвиник; обоим пришлось-таки много таиться от окружающих: он чужд был студенчеству, отчиму, родственникам, Менделеевым, плотной, военной среде, средь которой он жил (жил — в казармах); он испы-

тывал частый испуг пред бестактностью; а к суесловию—просто питал отвращение, которое он закрывал стилем очень «хорошего тона»; скажу я подобием: анапестичный в интимном, он облекся в сюртук свой, как в ямб.

Ямбом я не владел, выявляя себя в амфибрахии: в чередовании перерывистом очень коротеньких строчек; мой стиль выявления — сумятица нервная очень, на людях,—при тихости внутренней; внутренне бурный,—на людях тишел он.

Столкнулись контрастами!

Всякий сказал бы, взглянув на меня, что — москвич: то-есть — интеллигент, такт теряющий; вся моя роскошь—сюртук, надеваемый редко; пиджак же висел, как мешок, потому что его не заказывал, а приобрел в дрянной лавке, ленился примерить. Взглянувши на Блока, сказали бы все: дворянин, натянувший улыбку из тона, как выправку, чтоб зевок подавить; но — душа сострадательно ласковая: к бедным, ближним. Я выглядел интеллигентней, нервнее, слабее, рассеяней, демократичней его; интеллектуальнее и здоровее меня он казался; мы оба не выявили стилей наших поэзий; никто не сказал бы, взглянувши на Блока, что он автор цикла «в и д е н и й» своих: он по виду писал крепче даже Тургенева,—но по Тургеневу, так же охотясь: в больших сапогах, с рыжим сеттером. Взгляд на меня возбудил бы догадку: рифмует — «искал—идеал»; в довершение недоумения Блока; я был перетерзан провалом «Кружка» и запутанными отношениями с Н*.

Вид—не «суть».

Под «дворянскую» маску в Блоке конечно же жили: и Пестель, и Лермонтов; а под моими «идеями» прочно засел методолог, ощупывающий и всегда выжидающий мненья ответного, с виду ж дающий авансы: всем стилем речей, приспособленных для собеседника; так: торопяся, вперед забегая в словах, я был — крепче, спокойней; и, да — терпеливей: он не выносил разговоров, которые я выносил, их отстрадывая.

Вскоре Блок мне признался: был миг, когда он не поверил в меня, в этом пер-

вом сидении, чувствуя, что я—«не тот»; и такое себя отражение в нем—я почувствовал тоже; «Бугаев совсем не такой»—писал матери он из Москвы.

Я в тот день ощутил его старшим (мы были ровесники).

Вот еще штрих: если б А. А. стали расспрашивать о нашей встрече, он словом отметил бы внутреннее, что возникло меж нами, без психологической характеристики и без нюансов; он матери пишет, что: «Дверь соловьевской квартиры с надписью «Доктор Затонский». Буг. и Петр. говорят, что его нет—затонул в тростниках»; ракурс характеристики; или: «Господин... определенный мною: забинтованное брюхо»¹⁾; или: «Сидим с Бугаевым и Петровским под свист ветра. Радуетмся»²⁾.

Я же прислушивался к обертону, к нюансам, слова забывая; весь первый мой с ним разговор позабыт; помню только, что я признавался в трудности с ним говорить; он же точку поставил над «и»:

— «Очень трудно!»

Я—анализировал трудности, вдруг спохватясь, что при первом визите анализ такой неуместен; Блок перетерпел с благодушием; и поразил «тихой силой» молчанья, слетающего с загорелого, очень здорового, розового, молодого, красивого очень лица: безо всякого «рыцаря Дамы»; стиль старых витражей или «средних веков», или Данте,—не шел к нему; что-то от Фауста.

Силою этою он озарял разговор, излучая тепло, очень кровное; «воздуха» ж — не было.

Слушал наклоном большой головы, отмечающей еле заметным кивочком слова свои, проносимые громко, и все же придушенным голосом, чуть деревянным; дымок выпуская, разглядывал, щуря глаза, повисающие и сияющие из солнечного луча светлобрысы ленты.

¹⁾ См «Письма Блока к родным», стр 102.

²⁾ Там же.

Он вызвал во мне впечатление затона, в котором таится всплывающая из глубин своих рыба; не было афористической ряби, играющих малых рыбинок, пырсающих и бросающих вверх пузырьки парадоксов, к которым привык я, внимая—Рачинскому, Эллису; он говорил тяжело, положительно, кратко, с прихрипом, с немногими жестами, стряхивая пепелушки; и все-таки «мудрость» дышала в скупом этом слове; а легкость, с которою будто бы он соглашался на все, была козостью, ленью; прижми его крепко к его же словам: «Может быть, это так»,—он возьмет их назад.

— «А пожалуй, я думаю, что и не так... Знаешь, Боря, — не так».

Не свернешь!

Все то в первом свидании же стало ясно, упорно зывая к работе сознания: я ожидал его видеть—воздушным; меня подавила интеллектуальность его.

Блоки вышли.

Запомнилась стужа, погасшая тускло заря, охватившая грусть; я пошел поделиться своим впечатленьем от Блоков к Петровскому; мы очутились с ним на Никитском бульваре; и я рассмеялся вдруг:

— «Знаете что, он—морковь, а жена его—репа!..» И мы, придираясь к мальчишествам этим, расшучивали наши мысли, игривые, смутные, грустные.

ЗА САМОВАРЧИКОМ

Первые дни пребывания Блоков в Москве я к ним приглядывался; в тот же вечер с Петровским и с ними посиживали у Сережи, в уютной квартирочке в три малых комнатки, куда с усилием втиснули всю мебельровку арбатской квартиры, большой.

С Блоками стало проще, теплее: Сережа, троюродный брат А. А., ближайший мой друг, ликвидировал официальности, перелетая по темам, кидаясь словами, руками, предметами; то темпераментно вскакивал, вздернувши брови, сутулые плечи, качался над чайным столом, руку ставя углом; тыкал в воздух двуперстием; и — перетопатывал, весь исходя громким хохотом; в нем было

что-то пленительное: еще мальчик, а — муж в бурях жизни: без всякой опоры; рой родственников—только куль, тяготивший,—на детских плечах; а Рачинский, его опекун, с жаром, с пылом, с огромной сердечностью, уподоблялся налету растрепывающей, запекающей бури; Рачинский сам зывал к тому, чтобы его опекали.

И Петровский, в те годы бывавший не раз в положении няньки Рачинского, уже выдвигался на пост опекуна: над «опекун о м». В этот вечер Петровский над чашкою чая острил о «Затонском», утопшем в затоне квартиры: здесь под полом; Блок о нем вспомнил в письме: «Очень милый»¹⁾.

Сидели за чаем веселой пятеркой.

Блок юморизировал, изображая себя визитером с перчаткой в руке, наносящим визит обитателям синих московских домков, соблюдающим тон перед псами и галками; с неторопливым поворотом всем корпусом он излагал впечатленья свои Любови Дмитриевне перекрученным голосом:

— «Знаешь ли, Люба,—Сережа, по моему, стол опрокинет».

Со сдержанным юмором он излагал свои домыслы о Мережковском, а губы дрожали от смеха у нас: от тайных, смешных, вторых смыслов, которых не договаривал он, отрясая свои пепелушки, расширив невинно на нас голубые глаза.

Обсуждались «Весы», пробный номер которых с портретами Брюсова, Гиппиус тут же лежал; Соловьев, ненавидевший Гиппиус, вырвав портрет поэтессы со свойственной ему способностью все доводить до конца, ставя даже не точки над «и», а огромные дыры, колом пробиваемые (он шутил монструозно), топтал каблучищем портрет поэтессы — во славу супруги поэта (потом дружил с Гиппиус); Блок, отметив единственность Гиппиус, иронизировал над ее слабостью: ссорить людей.

— «Ну, а вы?»—обратились к супруге поэта.

¹⁾ «Письма», стр. 102.

— «Нет,—я говорить не умею».

Но слушала пристально, ширясь, как кобальт, глазами,—разглядывая; она «старшей» держалась; и Блок называл ее строгой; была всех моложе; с огромною муфтой входила в дома, где была не «своя», точно тупясь над муфтой, которую мяла в коленях.

Сереза, еще гимназист, подавал повод к смеху; зачем-то надел сюртучок, перешитый с плеча Соловьева, Владимира, выглядя купцом; он шею свою повязал белым шарфиком; Блоки дивились откиду, подпрыгу бровей с помаванием шейного шарфика: в пляшущих пепельных космах, — как клюкнувший шафер с купеческой свадьбы; он весь разрывался гротесками—«п о с о л о в ь е в с к и»: с потопами, с орлом, с подкидом столовой доски и с зацепом за скатерть.

Петровский поставил стерляжий носочек в пенсэ; заикаясь, вонзал свои шпильки; и тупился, и розовел, как кисейная барышня, ворох ехидн прикрывая, как шалью; подумаешь, — розочки!

Блок, Соловьев и Петровский мне виделись трио испытаннейших остряков; мой «л и р и ч е с к и й» стиль (не до шуток мне было в те дни)—как надрывная трещина: в вечер забав; Александр Александрович Блок озорным разведением рук незлобиво вышучивал вымученность моей лирики; после умел представлять ои, как просят читать меня; я же, конфузясь, — отнекиваюсь; говорят,—пародировал великолепно; при мне—ни за что. А я карикатурил в лицо ему, в Шахматове, хищно схватывая карандаш и трясяся от жадности, целился взглядом в заостренный нос его иль в лицо «р е п о й» Л. Д., чтоб на смятом клочке быстро зарисовать едкий гротеск: Александр Александрович с идиотическим видом возводит жену на престол Анны Шмидт, ее свергнув с престола; Рачинский же, я, Соловьев, его «б а б и н ь к а» в чепчике, в черной косынке,—кто падая в обморок, кто возносясь, идиотски приветствуем «и м п е р а т р и ц у».

Сереза, меня провоцируя, все подносил к этим шуточным уясам, как на ги-

гантских шагах; от себя не шутил я, но вспыхивал часто от злого острячества Гиппиус, от «м а с т о д о н т о в» Сережиного, как гром, хохота.

Юмор А. А. меня не провоцировал; и без Серезы бывание с Блоками делалось тихим, но грустным уютом; А. А. не шутил: утонченнейше юморизировал, характеристик не строя; он черточкой, поданным метким сражающим словом бил, как наповал; раз он выразил разность меж нами коротенькой фразою: «Ты, Боря,—мот; я—кутила»; «кутила» — способность отдаться; «м о т» — россыпь словесная: от беззащитности, от немоты; и—раздача авансов: долги неоплатные!

Мать говорила:

— «Когда Александр Александрович скажет серьезно, мне хочется расхохотаться».

Движением глаз, головой строил шаржи, подкинув Серезе: на взрыв; если что и высказывал словом, то по старомодному, чинно: по Диккенсу, не по Пруткову.

В тот вечер подчеркивал шарфик Серези, еще гимназиста; и к матери в письмах, написанных ей в эти дни, он подчеркивал гам, поднимавшийся нами: «Пробуждение в полдень от криков Серези»; «Сереза кричит на всю конку, скандалит»; «Сереза с криками удаляется»¹⁾.

С нежностью Блок относился к нему.

Поразила грамматика речи в тот вечер: короткая фраза; построена просто, но с частыми «чтоб» и «чтобы», опускаемыми в просторечии; так «я пойду, чтоб купить» — не «пойду купить»; или: «несу пиво, чтоб выпить»; а деепричастий—не употреблял; говорил без стилистики; фразы—чурбашки: простые и ясные; в них же, как всплески, темнотные смыслы; они, как вода, испарялись; вниманье вперялось за текст; я потом раздражался на ясную эту невнятицу.

— «Блок безглаголен!»—рыкал Мережковский.

¹⁾ «Письма», стр. 102, 103.

Поздней, написав «Против музыки»¹⁾, я написал против фразы такой, точно за нос водящей: как будто все сказано; в сказанном же—ничего; знай, как знаешь; нето апелляция к тайному смыслу; а в сущности лишь безответственность: наобещав горы золота, миною при пред'явлении векселя с видом невинным помаргивать:

— «Не обещал!»

Улыбнуться Аничкову; с ним отобедать; потом в «Дневнике» пристроить: «Идиот»: со всей искренностью! Не откликнешься на смыслы темные, будешь сегодня — «дурак»; а откликнешься, будешь назавтра — «дурак», потому что два смысла, темнотный и ясный, перекувырнутся за год.

«АРГОНАВТЫ» И БЛОК

Блок приехал в субботу, десятого; а в воскресенье, одиннадцатого, он с женой оказался в кругу аргонатов, попавши ко мне; принимали по времени первые, может быть, в России восторженные почитатели Блока: Эртели, Батюшков, мать моя, Челищев, Петровский, Печковский, Владимиров, со своими сестрами, К. П. Христофорова, Янчин, Леснов, Петровская, Нина Ивановна; были: Бальмонт, Брюсов, два Кобылинских, Поярков, мадам Кистяковская, перерастающая даже муфту свою, с овнооким супругом, Часовникова, урожденная А. В. Танеева; всех человек 25.

Небольшая столовая точно взрывалась от криков и выпухов дыма; поэт был любезен; хотя озабочен, попав в это «недро» Москвы, где не только Белинский, но Кетчер, но и Метакса с Репетиловым, даже с Ноздревым, протягиваясь из не столь уж далекого прошлого, отблеск бросали в потрепы обой, в ветوشь штор и оливковых кресел гостинной, где сиживал и Лев Толстой, где Максим Ковалевский и Янжул ораторствовали, где дедушка Блока, Бекетов, меня на коленях держал: а теперь здесь цитировали... Гюисманса!

Лишь мертвой луной поднимая мертвейшие споры о Лотце, Сергей Кобылинский проламывал головы бледным, как скатерть, лицом; братец, Лев, настоящий губан и вампир, ненасытно высасывал Блока, привскакивая, громко грохая стульями; Блок тщетно тшилсь вникать в то, что слышал; и не успевая с ответом, теряясь, сидел с напряженной улыбкой, задеревянев, потемнев; и у глаз появились мешки; мы его увели в кабинет и обсели: Владимиров, Эртель, Петровский, я и Малафеев.

Опять наблюдал я его: он в разговоре не двигался: прямо сидел, не касаясь спиной спинки кресла; одежда не делала складок, когда наклонял рыже-пепельную и кудрявую голову или менял положение ног, положивши одна на другую, качаясь носком, но собрав свои жесты; порой, взволновавшись, вставал: потоптаться на месте иль медленным шагом пройти, подойти к собеседнику чуть не вплотную, открыв голубые глаза на собеседника; и делясь признаньем, отщелкивал свой портсигар, двумя пальцами бил по нему и без слов предлагал папиросу.

С враждебной любезностью, если стояли пред ним, он вставал и выслушивал стоя, с едва наклоненным лицом, улыбаясь в носки; а когда собеседник садился, он—тоже садился.

Такая природная ласковость, с выдержкой, чуть ли не светской, среди «аргонатов», где он возбуждал любопытство и интриговал, проявили взрыв ярких симпатий. Со «старшими», с Брюсовым, с К. Д. Бальмонтом, Блок держался любезно, с достоинством: просто, естественно и независимо.

Помнился Брюсов: монгольской скулою и черным тычком заостренной бородки склонясь над поэтом, рукою летал (от груди и обратно: на грудь), разбирая: такая-то строчка стихов никуда не годится, такая-то строчка годится; а Блок, стоя рядом, стряхивая папиросу, как бы сомневался.

В этот вечер меж ним и Л. Л. Кобылинским возникли какие-то непонимания, в ближних годах углубившиеся; а с Бальмонтом, которому он не понра-

¹⁾ «Весы» за 1907 г.

вился, он не общался почти; на последнего произвела впечатленье супруга поэта.

И все ж: «аргонавты» понравились Блоку; пятнадцатого декабря писал матери он: «Андрей Белый не подражаем»; или «знаменательный разговор — ...и прекрасный» (с Сереей, со мной); он писал о Серее, что «разговор... с ним вдвоем... важен... светел и радостен»; он выражался о Батюшкове: «Будет у нас П. Н. Батюшков, одна из прелестей»; он сообщал о Рачинском, что—«производит впечатление необычайное...»; он писал: «будет... много хорошего в воспоминании о Москве»¹⁾).

Впечатленья свои скоро выразил стихотворением он: «Аргонавты»; в нем строчка имеется: «Молча свяжем вместе руки», этим как бы признавая, что себя чувствует в «аргонавтическом» братстве.

Зато впечатление от старших братьев—иное: «Бальмонт отвратил от себя... личность Брюсова тоже... не очень желательна»²⁾).

Помню, в тот вечер читали стихи: он, я, Брюсов; я—«Гора»; он—«Фабрику», «Встала в сияньи», а Брюсов—«Конь блед»,—если память не изменяет.

Поразила манера, с которой читал, слегка в нос; не звучали анапесты; точно стирал он певучую музыку строк деловитым, придушенным, несколько трезвым и невыразительным голосом, как-то проглатывая окончания слов; его рифмы «границ» и «царицу», «обманом — туманные» в произношении этом казались рифмами: «ый», «ий» звучали, как «ы», «и»; не чувствовалось понижения голоса, разницы пауз; он, будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам.

И лицо становилось, как голос: тяжелым, застылым; острился его боль-

шой нос, складки губ изогнувшихся тени бросали на бритый его подбородок; мутнели глаза, будто жизнь отливала от них, проливаясь в слово; он поступью «Командора»¹⁾ грубо, медленно шел по строке.

Это чтение вызвало бурный восторг; пишет матери он: «Я читаю «Встала в сияньи». Кучка людей в черных сюртуках ахают, вскакивают со стульев. Кричат, что—я первый в России поэт. Мы уходим в 3-м часу ночи. Все благодарят, трясут руку» («Письма», стр. 103).

Но я понял из чтения: он отстранял от себя, очень вежливо впрочем, напористые «санфасоны» иных из московских знакомых, готовых шуметь, обниматься и клаясь, запахив собеседника локтем; мог быть очень грубо пристрастным; так: в дни, когда он расточал свою ласку Серее и мне, он писал потрясающе грубо, а главное, несправедливо об очень культурном, почтенном, для нас безобидном П. Д. Боборыкине: «Маменька бедная, угораздило тебя увидеть эту плешивую сволочь»²⁾). Позднее я сам испытал оскорбительность самого облика Блока в эпоху, когда мы, рассорясь, не кланялись: на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я Блока; зажав в руке трость, пробежал в бледно-белой панаме,—прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих оскорбительных губ; они чувственно, грубо пылали из серо-лилового с зеленоватым потухшего фона простора.

Оскорбил меня этот жест пробегания с щеголеватой тросточкой на перевесе, пыравшей концом перед ним возникавших людей; а слом белой панамы казался венцом унижения мне: как удар по лицу!

— «Как он смеет?»—мелькнуло.

Он не видел меня.

А в период сближения не было меры в желании опуститься перед ним, все

¹⁾ Из «Письма Александра Блока» от 14—19 янв 1904 г (стр. 101—110).

²⁾ Там же, стр. 110

¹⁾ Стихотворение Блока

²⁾ «Письма», стр. 109.

уступить; он — не требовал, он удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности; «п о э т» пересекался со скептиком в нем; и бросалась в глаза непричастность его интеллекта к «лирическим» веяньям; как посторонний, его интеллект созерцал эти веянья: издали! Воля кипела, но — в мареве чувственном, мимо ума, только зрящего собственное раздвоение и осознавшего: самопознания — нет! Оставалось знание: это-де понял; а этого-де не понять; и вставала ирония, — яд, им осознанный, — только в статье об иронии; после он сам написал: «Самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой врачам. Эта болезнь... может быть названа «иронией»... все равно для них: Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба... и все мы, современные поэты, у очага страшной болезни»¹⁾).

Я, не страдавший иронией, или страдавший ей менее, эту иронию силился сделать тенденцией, чтобы бороться с хотей бы Г. Гейне, которого тут же цитирует Блок: «Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо»²⁾), я требовал строго осознанного разделения сфер; и в эпоху борьбы моей с Блоком о Блоке писал: «Самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину»³⁾). И еще об «остротах» меня ужасающего «Балаганчика»: «Удивляет бумажный небосвод и вопль какого-то петрушки о том, что... кровь... жертвы... кровь клюквенная».

Вот на эти-то выпады моей «иронии» против «иронии» Блока он мне отвечал записанием в «полупомешанного», чтоб через год сказать об иронии, переписав мои «полупомешанные» заявления.

Причина иронии — некий толчок, отшибавший А. А. от него самого; отшибал в нем сидевший «остряк», полагающий: «In vino veritas»¹⁾).

С крупным знакомимся по мелочам; запах яда, его погубившего, я раз унюхал в нем: вскоре же; грани меж юмором и меж иронией неуловимы; а я — уловил.

Это было у церкви Миколаы: паршивеньким, слякотным днем; сани брызгали; меркло сырели дома; все казалось и ближе, и ниже, чем следует; навстречу мне Блок; темнозеленое, очень сырое пальто, перемокшая на-бок фуражка, бутылка, которую нес он в руках, мне напомнили студента с Бронной; бутылку показывал (мы с ним на «ты» перешли).

— «Видишь... Таки несу себе пива к обеду, чтоб выпить».

В «таки» и в «чтоб» — острость иронии, вовсе не юмора; я посмотрел на него: ущербленный, с кривою, надетой на-сильно улыбкой; не пепельно-рыжий, а пепельно-серый оттенок волос; и зеленый налет воскового и острого профиля: что-то простое; но — что-то пустое.

Подумалось:

— «Блок ли?»

Я был перетерзан трагедией с Н*: не до «чтоб» и «таки»; он, как локтем, зашиб; распростаясь, от меня в переулочок пошел, чтобы... «чтоб»: есть ли штопор-то? Капало; шаркали метлы; и черные, серо-синявые тучи висели.

АХИНЕЯ

Мы держались, точно хозяева в хлопотах гостя занять, его потчуют, точно ухую, знакомствами; всюду таскали; зачем-то таскали к Антонию: «Сидим у него, говорит много и хорошо»²⁾); гимназистик, Сережа, церемониймейстер, врываясь в распахнутой шубище, в куцод своим сюртучке, с разлетавшейся белою шейною тряпкой, с большущую шапкой в руке, — точно клюкнувший шафер с купеческой свадь-

¹⁾ Собр. соч. Том VIII. (Изд. «Эпоха»), стр. 107.

²⁾ Там же.

³⁾ «Арабески», стр. 485.

¹⁾ См. стихотворение Блока «Незнакомка».

²⁾ «Письма», стр. 105

бы; раз видел его на извозчице; шуба — враспах; тряпка белая билась по ветру: вразлет; снег на грудь ему сыпался.

Он подцепил скарлатину в крикливых раз'ездах, таская уже утомлявшихся Блоков.

Вот выдержки из писем Блока:

«12-е, понедельник. Приходит Сережа... Втроем едем... в Новодевичий... Из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевых гор... Входим в Кремль. Опьянение и усталость. Входим в квартиру Рачинских... Вечером приходит Бугаев... Пьем вино, чокаемся... Ночь»¹⁾; «13-е, вторн.: утром Сережа... Едем в Сокольники с весельем и скандалами... К Саше Марконет... Обедаем у Сережи... Сталкиваемся с Рачинским, Мишей Коваленским»²⁾... Мчусь... к Бугаеву, чтобы ехать в «Скорпион»... Не застаю, приезжаю один. Уходим с Бугаевым... Едем на собрание «Грифов»; заключаемся в объятия с Соколовым; собрание: Соколовы, Кобылинский, Батюшков, Бугаевы (и мать), Койранский, Курсинский... Ужин... Входит пьяный Бальмонт... Кобылинский, разругавшись с ним, уходит... Уходим в третьем часу. Тяжеловато и странновато»³⁾; опять — перемельк; «14-е — среда. Утром: мы, Бугаев, Петровский и Соколова в Донской монастырь, к Антонию... Худой, с горящими глазами..., с оттенком иронии... Идем пешком»⁴⁾.

Каждый день — этот таск: как он выдержал! А в результате: «Мы... здешних... сторонимся»⁵⁾.

В день годовщины кончины М. С. и О. М. Соловьевых «приехали мы в Новодевичий» — пишет он матери; «после заупокойной обедни (монахини хорошо пели) — отправились роем к Поповым: и шумно здесь «ели блины»; и «была масса тостов»; в тот день «перешли» — пишет он — «мы с Бугаевым на ты».

Снег похрустывал; пух падал с елок; был матовый, мягкий, чуть вьюжащий день; вспоминаю соборную роспись: «святых кувыркающихся» (выражение Блока о позах); из тени шли стаи шушукающих, рясофорных, хвостатых, сутулых, чернеющих стариц, склоненных огнями огромных свечей над летающими клобуками.

Волною муаровой в елях присвистывал снег над фарфоровым, скромным венком: из-за веток; и ширилось око янтарной лампы над громко стенающим кладбищем; Блок был серьезен: не с нами, — в «себе».

Л. Л. Кобылинский (псевдоним «Эллис»), влипнув в него таким дэнди потрепанным, быстро рукою под руку ему занырнувши, в рот брызгал громчайше: про что-то свое, не ко времени; бледный, изящный, блестящий, со сверком в глазах, с истерическими перетрясами локтя, с «гигигигиги», — мешал Блоку; и — далее: все у Поповых он лез на него, крутя усики с принципиальными лозунгами, с вымогательством точных, немедленных, длинных ответов ему.

Александр Александрович долго терпел, хоть бледнело лицо, как бы перегорая остатком загара; молчал с папиросою; вдруг, не без вызова, с удалью, точно усиливаясь стряхнуть Эллиса, нарисовал лицом линию, — вверх, выпуская из губ над собою двухвьюнную линию дыма; и что-то капризное, вспыхнув, погасло в нем.

Как бы не так!

Эллис, дьявол и мим, в сюртучке с обороткой, взывал в потолочные выси манжетку резиновую: над поэзией Данта, под кровли соборов, к химерам, от туда повесившим клювы:

— «Нет, вы понимаете?»

¹⁾ Там же, стр. 104

²⁾ Историк, марксист

³⁾ «Письма», стр. 105.

⁴⁾ Там же, стр. 106

⁵⁾ Там же.

Блок уже не понимал, — только вздрагивал от этой фальши в себе, потускнел от теней, проостряющих, как у Пьеро, длинный нос; он потом признавался:

— «Нет, знаешь ли, Боря: Льва Львовича я выносить не могу!»

И понес по годам этот тост у Поповых.

Я был терпеливее, как он, страдая; он — ежась, отвергивался; я ж себя отдавал на растерзья; порою, взрываясь скандалами, то защищая Эллиса, то нападая на Эллиса, как в эти дни; я ругался с Бальмонтом за Эллиса, который его оскорбил: «Андрей Белый написал тут же письмо Бальмонту, что, пока он не извинится перед Кобылинским, Бугаев не может иметь с ним дела»¹⁾.

То было четырнадцатого; а шестнадцатого я, увидев, как Эллис точно выпивает Блока, прилипнув к нему, готов был накласть по загревку ему; пришлось же грудью отстранять Эллиса: даже от Блока; внутренне с Блоком я был на ножах: из-за Эллиса; но, как хозяин, «ц е р е м о н и й м е й с т е р», себя подавив, кое-как отодрал от поэта ужасного «Льва»; Блок не видел совсем: в выдвигаемом Эллисом трезвом, живом историзме (история, остолбеневши, кончалась у Блока), — в живом историзме, конечно отстраданном «экономистом», который-таки в Кобылинском сидел, было много того, чему стоило бы поучиться поэту; в космических «пышностях» Блока — креста, боли не было (потом явилась она); я ж свисал, как с креста, в это время в упорной тенденции ритмы извлечь в коллективе: из скрежетопильных ораний!

И вечер у «Грифа», начавшийся тотчас же после Поповых, еще раз притиснул меня к моей боли. А Блок о нем пишет спокойнейше: будто «С. А. Соколов произвел... впечатлительное фальшивое, вечер был неудачен»²⁾.

Я — думаю: он был разгром для меня, собирающий в фокусе всю безнадежную фальшь глупо стукнутых лбами людей, высекающих с пыжами «ритмы» и не понимающих, что эти ритмы лишь искры из глаз от нелепых ударов (лбом в лоб): с синяками и с шишками; в каждом проснулся свой «монстрик»; и, как «морской житель», на вербе в Москве продававшийся, выскочил из разорвавшихся ртов, чтоб зажить среди гостей — тоже гостем.

И Блок отмечает ужаснейшее настроение Нины Петровской (писательницы); понимаю ее: ее муж, Соколов, наорав всякой дряни рифмованной (кровьде его от страстей так черна, что уже покраснела она!), пузырем надув щеки (набили гагачьего пуха), — рукою на стол:

— «Стол!» — таращась на Блока глазами, как пуговицами ботинок.

— «Что стол?»

И basiщем, таращась на Батюшкова, как столпом Геркулесовым, бух: в лоб!

— «Глядите!»

И все, растарашась на стол, запыхтели: а стол — ничего; он — стоял.

— «?!?»

Увидя, что ждут объяснения, присяжный поверенный Соколов, только-что попавший к спиритам, с достоинством поправляя пенснэ и сконфузившись своего жеста, басил:

— «Стол — гм: но мне кажется, в нашей квартире с недавнего времени...»

Все стояли и ждали:

— «С недавнего времени начались... «стуки».

Он разумел — «спиритические».

При чем стол? Стол, повидимому, не собирался подпрыгивать: стол, покорный, осел, ташил грузы тарелок и фруктов, и вин. Писательница Петровская, — та даже за уши схватилась от такого бессмысленного безвкусиа: как оскорбленная оплеухой, дрожала; стыдно видеть своего мужа таким.

Мы стояли, как на иголках; сели, как на иглоки; и весь вечер томились; а гут возник пренелепейший разговор; присяжный поверенный Соколов высказал

¹⁾ «Письма», стр. 107.

²⁾ Там же, стр. 108.

свои «мистические» воззрения, на которые не отзывался никто, кроме «божьей коровки», младенца с сединками, Батюшкова; тот, схвативши кого-то за руки и патетически дергая руки, — то подбрасывал их себе под микитки, то бросал их себе под живот, с риском их оторвать: для выражения сочувствия к захваченным руками и к присяжному поверенному Соколову.

А Мишенька Эртель, блеснувши зеленым глазком, как кукушка облезлая, закачался; и—задрожал усиным огрызком, выражая свой полный восторг Соколову.

— «Сейгей Алексеич, схватий — гы-ы — нам быка за гога!»

Соколов, надевая пенснэ: томным, бархатным басом:

— «Спасибо, родной: вы меня понимаете!»

Я — чуть не в пол, как Петровская: «аргонавтический» фейерверк, иль — дом сумасшедших!—

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место

Тот вечер сыграл в моей жизни крупнейшую роль, провалив окончательно «стиль», из которого я хотел высечь мелодию искристого социального такта; так вот оно, новое качество в химии душ, в контрапункте сплетенья людей? Не гармония, а — «стол трясется!». Мистерия жизни? Мистерия — мышь родила; вероятно и слово-то «мюс» от «мюстэрион»; «тэр» же по-гречески — зверь; он и вылез: в тот вечер.

И после, в годах, я лишь вздрагиваю, слыша слово «мистерия»; и в 906-м, вспомнив про «грифское» бредище, я написал: «Гора родила мышь... Кто-то на вопрос хозяйки... «Чая?» крикнул: «Чая воскресения мертвых»... В одном доме оказалась просахаренная мебель; нельзя было садиться в кресла: везделило»¹⁾.

Проваливался в этот вечер пред Блоками «аргонавтизм»; я ж сам

пред собою давно провалился; в истории с Н*.

Александр Александрович сердцем почувствовал это во мне; «грифский» вечер связал с ним; он бросил на меня свой встревоженный взгляд через головы «монстриков»; вскоре мы вышли на мягкий снежок, порошивший полночную Знаменку.

ШАХМАТОВО

В начале июля я трогаюсь в Шахматово; неожиданно вовсе со мною поехал Петровский; в вагоне мы перепугались: я—осознавая, что еду впервые в семью, неизвестную мне, без Сережи, с неприглашенным Петровским; он—эжился, что напросился.

С «Подсолнечной»¹⁾ наняли тряскую и неудобную бричку; и верст восемнадцать—болотами, гатями, частым, совсем невысоким леском протрусили; с холмов подымались леса; не Московской,—Тверскую губернией веяло, как и под Клином: и веял ландшафт строчкой Блока; я думал, что ближние станции этой дороги связались с рядом знакомых имен; Химки, или—Захарьины; Крюково, иль—Соловьев, Коваленские; Поворовка, иль—Петровский; Подсолнечная, или—Блоки, Бекетовы; далее же—Менделеев; Клин, или—Майданово, Фроловское, где жилали: Чайковский, Кувшинниковы, дама странная, Новикова; а—Демьяново, где вырос я, где—Танеевы все? А Дулепово, где—Костромитиновы, отдаленные родственники моей матери? А Нагорное (посередине пути меж Подсолнечной и меж Демьяновым), где жгли костры, собирали грибы, где Григорий Аветович Джаншиев жарил шашлык свой.

Вдруг—проредь лесная; и везд неожиданный на проросший травую, просторный, усадебный двор с рядом служб и тающимся в зелени домиком, где жили Блоки; подехали к главному одноэтажному, кажется серому, семиоконному дому; надстройка—в одно полукруглое, очень большое окно; подезд плотно закрыт: никого; отворяем—две тонень-

¹⁾ «Арабески», стр. 321.

¹⁾ Станция Октябрьской жел дороги

кие, невысокого роста, не старые, не молодые, весьма суетливые дамы сконфузились; то — Александра Андреевна Кублицкая, Мария Андреевна Бекетова: мать А. А., тетка. Петровский увял; я с конфуза понес чепуху; вчетвером мы оказались в гостинной и долго не знали, что делать.

Меня поразила весьма Александра Андреевна: в серенькой кофточке, с серой прической от проседи, с малым, редисочкой, красненьким носиком, скромно одетая, зоркая, затрепетавшая: птичка в силках! Этот вид пепиньерки ужасно ее молодил: не чертами, а бойкостью, родом общенья: не мать, а—сестра (одновозрастна); трепет за нас пред «отцами»,— вот, что ее делало столь характерной.

В уютной, просторной, осолненной комнате, где все предметы стояли в порядке, блистая протертостью, как на смотре пред хозяйкой (трепещущей)—трепет запомнился, а не слова несуразные.

После зашелкали пятками два протонченных, худых правоведа; за ними—такая же бледная, легкая, тонная, очень приятная голубоглазая дама, их мать, или Софья Андреевна, третья сестра.

Мы прошли чрез террасу крутыми дорожками сада, спадающими прямо в лес, через лес, на поля; и—увидели тотчас идущих с прогулки супругов; вон там—Любовь Дмитриевна, молодая и розовощекая, в розовом, легком капотике, плещущем в ветре, с распушенным белым зонтом над заглаженными волосами, казавшимися просто солнечными, тихо шла из цветов и высоких качавшихся злаков, слегка переваливаясь; Александр Александрович, статный, высокий и широкогрудый, покрытый загаром, в белейшей рубашке, прошитой пурпуровыми лебедями, с кудрями, рыжевшими в солнце (без шапки), в больших сапогах, колыхаясь кистями расшитого пояса, — «молодец добрый» из сказок: не Блок!

Средь цветов, в визгах ласточек, остановясь, приложив к глазам руку, разглядывала; и...—крупным бегом, с запыхом; он без удивления, став перед нами, с улыбкою руки жал.

— «Вот и — приехали!»

И на Петровского—ласково:

— «Вот, хорошо!»

Тот, запутавшись, только рукою махнул, обрывая себя. Александр Александрович видом своим подчеркнул, что приезд Алексея Сергеевича просто порядок вещей: непреложный!

Л. Д. подошла, улыбаясь, как к старым приятелям; поудивлялись пропаже С. М. Соловьева и поговорили об общих московских знакомых и о пустяках, смысл которых изменчив, которые могут то вспыхивать внутренним светом, то меркнуть; А. А.—освещал молчаливым уютом наш щебет: довольство друг другом; и веяло пряно: ветрами, стеблями и визгами ласточек; так он, приятный хозяин, сумел водворить простоту и уют, проявив обходительность и окружая заботами: не суетливо, но пристально, до пустяков; в нем сказалась житейская, эпикурейская мудрость, привязанность к местности; точно пустил корни и точно рабочая комната—эти леса и поля, и шиповники, густо закрывшие флигель,—покрытые яркопурпуровыми с золотой сердцевинкой цветами (таких я не видел).

Вернулись к террасе; он сильным и легким вспрыжком одолел три ступени; Л. Д., нагибаясь, покачиваясь, с перевальцем, всходила, округло сутулясь большими плечами, рукой у колена капот подобравши и шуря глаза на нас,—синие, продолговатые, киргиз-кайсацкие, как подведенные черной каймой ресницы, составляющих яркий контраст с бело-розовым, круглым лицом и большими, растянутыми, некрасивыми вовсе губами, сказала грудным, глухо мощным контральто, прицеливаясь на меня, — с напряжением: став некрасивой от этого:

— «Ну, а как Н*?»

Не казалась дамой в деревне, — ядреною бабою: кровь с молоком! Я подметил в медлительной лени движений таймый какой-то разбойный размах.

И мы сели, немного опешенные; Александра Андреевна забегала, быстрыми, точно мышата, словами и карими глазками; Марья Андреевна, присевшая рядом, вся в рябеньком, присоеди-

нялася к ней: морготней, передергом лица; «Саша» сел, положив нога на ногу, перебирая свою поясную махровую кисть; и сидел как-то так: раскряченно, с добрым лицом, открыв рот, точно он собирался нам что-то сказать, но затаивал; и вылетало какое-то «хн»; а наклон головы выражал откровенно согласие: слушать, не говорить.

Поразила тяжелая статья его; вспомнился тульский помещик. Шеншин, свои стихотворенья о розах и зорях подписывавший: «А. А. Фет».

Блок «московский» на фоне сидящего так комфортабельно мужа, которого, может быть, мы оторвали от ряда домашних забот, показался вполне псевдонимом того, кто привык, сидя вечером на обомшелом бревне с синеватым дымком папироски, бросать чуть надтреснутым голосом домыслы, чисто хозяйственные; меня приведя к огородику, четко окопанному, взяв лопату, воткнув ее в землю, сказал:

— «Знаешь, Боря: я эту канаву весной копал... Я работаю—каждой весной тут!»

В письмах к родным, относящимся к этому времени, все переполнено: домостроительством; он пишет матери: «Маменька, вот тебе ключ»¹⁾... «поросята — превосходные звери... Две телки остались «на племя». Я написал две... рецензии... Около орешника будет картофель... Сделана новая калитка... Зачем ты велела испортить луг... В Прослове вырубил несколько участков... Боров стоит 21 рубль... Загон для коров — превосходен...»²⁾ и т. д.

Письма наполнены этим; «рецензии» и «разговор с Соловьевым», весной приехавшим,—случайности; Блок здесь — земной, до... чрезмерности, до пейзажа позднейших голландцев, рисующих... зайцев. «Сейчас... принесли сладкий хлеб и бисквит, изготовленный Дарьей... чай... ве-

личину...¹⁾ бледнозаревую с пламезарною оторочкою, нежную, не соленую... Покушав, гуляли...»; «Дарья — аристократическая хозяйка, изготовляющая на любителя: ветчину, битки со сметаной, творог... молоко... суп свареный говядиной и суп с корнями»²⁾. Фламандское есть что-то в «величине» с заревой оторочкой, которую плотно «откушав, гуляли»; «едим хорошо, много... вкусно»³⁾; и перечисление, что именно: «яйца, молоко, чай, хлеб... супы с мясом, битки, ветчина, творог...»⁴⁾ и т. д. Перечисление пищи, оценка, весьма добросовестная, ее качества,—лейтмотивы всех писем к родным. Так и видишь—не «Фета», а плотно покушавшего «Шеншина», пред картиной, опять-таки писанной поздним фламандцем: «Шестнадцать розовых поросят, сосущих двух превосходных свиней... боров с умным и спокойным выражением лица»⁵⁾. Как? Лица!?! У людей — что же: «лики» иль — «морды»?

«Плешивая сволочь»⁶⁾; «молодой жидок»⁷⁾ «забинтованное брюхо»⁸⁾; «дама... скрипящим от перепоя голосом»⁹⁾ и т. д.; «считаю себя в праве умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях»¹⁰⁾; позднее, в эпоху полемики с нами (со мной и с Сережей): «Сережа совсем разжирел, подурнел»¹¹⁾.

Натуральный голландец не спроста явил... «Шеншина»; обертон впечатления—вполне осознался в годах; когда выброшены дневники, биография и переписка с родными, вполне стало ясно: «Шеншин», иль — помещик, жена-

¹⁾ «Величиной» Блок в шутку называл ветчину

²⁾ «Письма Блока к родным», стр. 117

³⁾ Там же, стр. 118

⁴⁾ Там же, стр. 118

⁵⁾ Там же, стр. 113

⁶⁾ Там же, стр. 109

⁷⁾ Там же, стр. 102.

⁸⁾ Там же, стр. 102

⁹⁾ Там же, стр. 102.

¹⁰⁾ Там же, стр. 257.

¹¹⁾ Там же, стр. 236.

¹⁾ «Письма Блока к родным», стр. 114.

²⁾ Там же, стр. 115.

тый на Боткиной, — прежде гусар, за- кадычнейший друг Аполлона Григорьева.

В Шахматове, как в Москве, в первый миг под доверием («Саша» и «Бор- ря»), — испуг друг пред другом мы явственно ощутили; с моей стороны — перед натурализмом, перед «Шенши- ны м», замечающим «б л ю д а», кото- рые ел; даже в первый, московский при- езд, романтический, — он отмечает, что — «з а в т о р ы м у ж и н о м», «будем обе- дать в «С л а в я н с к о м Б а з а р е», «п л а т и л С е р е ж а»¹⁾, иль «ели бли- ны»²⁾.

Но и он — испугался того вероятно, что я бы не мог перечислить блюд, съеденных в Шахматове; Александра Андреевна передала впечатление Бло- ка от первого вечера С. Соловьеву (тот — мне).

— «Кто же он? и не пьет, и не ест!..» — про меня.

Пил и ел; но, измученный историей с Н*, утомленный упорнейшим теорети- ческим чтением последних недель, я конечно не выглядел «натуралистом»; но — волила сознания, мысли, отчетливо- сти, прорабатывал убеждения так, как А. А. огород; кроме чувственных мус- кулов, есть волевые.

Я жилистей был: в сухожилиях си- ла — не в мясе.

Потом: я — раздваивался; протянув- шися к другу, меня обласкавшему, я за- таил от него свое знание о всей перепис- ке прошедшего лета; под черепом этого здоровяка, этой умницы, — чушь, меле- да, о которой понятия даже не может составить он, с детства испорченный тем, что считался родными себя уже сделав- шим Гете, которого «п и к» принимается за прорицанье; мелькало: кто скажет, что здесь от здоровья, а что от спесиво- сти³⁾.

¹⁾ «Письма Блока к родным», стр 103

²⁾ Там же, стр 108

³⁾ Переделывая в этом месте свои воспомина- ния, напечатанные в «Эпопее» в 1922 году, я включаю ряд реальных штрихов, неудобных к опубликованию в момент кончины поэта, когда мы, его любившие, были охвачены ро- мантикой поминовения, теперь, почти через 10 лет после смерти, можно о многом говорить спокойней, реалистичней.

Дружба с поэтом — была мне опорой: в том смысле, что всякая личная друж- ба — опора; но сквозь нее — суетливое, мышью скребущееся за порогом созна- ния знание о полном идейном банкрот- стве, подкрадывающемся к Александру Блоку, так сказать, со спины; и я пере- живал раздвоение: тема «з а р и» стала только «ж а р г о н о м» меж мной и поэ- том, метафорой, теряющей реальный смысл, — вот что удручало меня и делало тем, кто казался Блоку не пьющим и не ядущим; трудно жить в тесной обуви; тесно мне было без «п и р а с о з н а- н и я»; Метнер меня пировать при- учил; так недавно, ободранный жизнью, я прикосновением к Метнеру, к его культурным интересам, почувствовал себя рыбой в воде; здесь же, в Шахма- тове, где все пышило природою чув- ственно-ласковый, где мне было так тепло, комфортабельно с Блоками, — половина меня самого почувствовала себя вдруг без воздуха, в смертельной тоске; точно я за два года пережил всю глубину разногласий, открывшихся вдруг между мной и поэтом уже в 1906 году.

Отсюда и «дерг», без возможности начистоту объясниться; я понял, что в Блоке есть и литературная культура, и вкус; а вот высшей культуры, расширен- ности сознания в стиле Гете, многообра- зия, устремлений, в нем не было! И от- того-то: в кажущейся широкости его бы- ла суженность интересов: слишком мно- гое, чем мы с Метнером волнова- лись всерьез, было ему непонятно и чуждо.

Себя объясняю словами Чайковского, ибо они отражают, что я испытал, что едва ликвидировал, что становилось из- нанкою мизантропической во всех «друж- бах» моих: «Не умею быть сам- им собой... Как только я не один, а с людьми... новыми, то вступаю в роль любезного, кроткого, скромного и при- том будто бы крайне обрадо- ванного новым знакомством человека, инстинктивно стре- мясь... очаровать, что по боль- шей части удастся, но ценой крайнего напряжения, соеди-

ненного с отворачиванием к своему ломанию»¹⁾).

Я ж не ломался,—одною второй сознания ища дружбы с Блоком и соединяясь с ним в посиденье без слов; а другою второй примерял оценку романтиков, данную Метнером, — к Блоку, критически перебирая в уме его пышно таимые «культы», к которым ни я, ни Сережа еще не могли прикоснуться, чтоб опытно, внятно понять, понять в формуле, что аллегория зорь, что от... розового капота, в котором сидит Любовь Дмитриевна, то ли она «облеклась», то ли ее «облекли»; это сказывалось в ее позе актерственной, к нам обращенной с—«неспроста»; Блок матери пишет, что «Анна Николаевна считает себя воплощением... Души Мира... Она хочет играть в Петербурге ту же роль, что Люба в Москве»²⁾).

Как, как, как?!?

.....

Мне запомнилось, как он за чаем сидел, накрывая стаканом рассеянно муху; внимал болтовне: о Москве, о Сереже, о Брюсове, Г. А. Рачинском, с чуть видной улыбкою и с носовым придыханием, перетопатываясь, своим словом как бы снисходя к косолапости, что через год уже раздражало меня, с жестковатою нотой по адресу «Грифа», А. Г. Коваленской; когда говорил «тетя Саша», то голос его становился глухим, а когда говорил «тетя Соня», то голос его становился певучим.

Мне трудно дать текст его слов: в наших трио, квартетах он был — примечанием к тексту иль броской метафорой на полях им читаемой книги, меняющей тексты; без текста Сережиного, моего, Александры Андреевны, ретушь транспаранта, наложенного на рисунок, — невнятица!

Помню,—о Розанове:

— «А Василий Васильевич... Хххн... С бороденкою... Знаешь ли, он—шепелявит... Он — с ужасиком...»

Смыслы—в жесте: покура, покива, качанья носка.

Провоцировал к играм с фамилиями, чтобы выразить степень влияния на нас Брюсова; вышло, как помнится: Брюсов, иль «брю», «сов», вливаясь в нас, изменяет поэзии наши: от «Блока» — лишь «ка» оставалось; он делался — «Брюк» («брю» — влияние Брюсова); «Белый» же делался — «Бесов» («сов»—действие Брюсова).

В шаржах, в пародиях неподражаем он был: нога на ногу, рука на свесе, — другою рукой со стаканом жужжащую муху накрыл; рот смешливый, открытый; спокоен и нем. «Передать шуточный тон... Блока... почти невозможно. Дело было... не в словах, а в тех шаловливых жестах и минах, к которым он прибегал вместо речи»¹⁾).

Так: слушая мой пересказ одной встречи и вспомнив мои же слова, что мне слышится в каждом почти окончаньи на «-ак» (кул-ак иль дур-ак) звуковое подобие танца козлов, он на чей-то вскрик «как», стяхнув пепел, повесивши ногу на ногу, сказал с мрачной сухостью:

— «Да и не как: просто — «-ак»!..»

Соловьев, мальчик взрывчатый, вспыхивал, точно склад пороха; мимика Блока его поджигала, как спичку.

Пороу Блок делался ласковым, нежным,—без слов; разговора как не было: он становился журчаньем; слова, как кристаллы, текли, испаряясь, в ландшафт кучевых облаков, изменяющих форму; а смысл становился—текучим: внесмыслием; сколько на эту текучесть ругался: «Бессмыслица!» Сколько раз сам отдавался, взвивая словесные радуги, точно фонтан, у которого Блоки сидели; Л. Д. отвечала мне вспыхами глаз, края плечи платком; Блок внимал, как кот, у которого чешут за ухом.

Представить текст Блока,—прочесть эккерманову запись: слов Гете; она —

¹⁾ Модест Чайковский: «Жизнь Петра Ильича Чайковского». Том. III, стр. 5.

²⁾ «Письма Блока к родным», стр. 120.

¹⁾ «О Блоке». Сборник литер. исслед. Ассоциации ЦДРП. Издат. «Никитинские субботники». М. Бекетова: «Веселость и юмор Блока».

граммофон; оба тома, без третьего, записи Гетевых жестов,—мертвы.

В отношении Блока я быть не хотел Эккерманом: отказываюсь приводить разговоры, которые в Шахматове обнимали десятки часов; только миги запомнились.

Блоки ведут к флигельку, сквозь шиповник; А. А., зацепясь за ветку, срывает пурпурный цветок; и с усмешкой, как бы приглашая к чему-то хорошему, мне подает; иль, прервав разговор, своим медленным шагом с усмешкой подходит, как бы приглашая к хорошему очень, ведет в уголок: «Пойдем, Боря!» Стоит, потопатываясь, приближаясь глазами: «Все так... Ничего, знаешь ли!» И приводит обратно.

День первый—болтня; обед: два правоведа, любезно отвесив поклоны, прощелкали, сели, прямые, как струнки; и передавали тарелки—подчеркнуто чопорно; Софья Андреевна, другая тетка поэта, держась отдельно, невнятными жестами губ говорила с испуганным, глухонемым, третьим сыном; сидел писик Крабб; Александра Андреевна и Марья Андреевна держались парочкой; после обеда ушли Пиоттухи.

— «Они—позитивисты»—нам Блок объясняет — «не мешают: являются... А про себя презирают... Но будут любезны».

Так, предупредив о черте, отделяющей оба семейства, живущие под одной кровлей, повел сквозь поляну в обстание топких и мшистых лесов с голубыми, болотными окнами; розовое, золотистое небо сияло над горкой; Л. Д. показала рукою на розовое:

— «Там—жила я!»

За горкою — Боблово, где — Менделеевы.

А. С. Петровский—под локоть:

— «Вот поза!»

В «роль» вставилась: нет,—«императорский» тон этой пары нас интриговал; и Петровский отметил подчёрк, подаваемый нам интонацией: в жизни А. А. и Л. Д. есть какое-то «не тронь меня», о котором помигивают и подмаргивают. «Да скажите же?» Как бы не так! И Люба, и Саша — особенные; и мы прибегали

к уловкам: при помощи сверл и стамесок (коварных вопросов) взломать запертой сей комод: с драгоценностями; что, в самом деле, — невнятица, идеология, секта, шутовство, застенчивость? Этот молчок с интонацией, с позой Л. Д., впрочем детской, отметил Петровский, признавшись вечером.

— «Я понимаю теперь, что Сережа и вы пристаёте к ним».

Впрочем, он был очарован хозяевами; став резвящимся мальчиком, в кепи, нашлапанном на голове, был и бодр, и общителен; Блок нас провел в нашу комнату: в верхней надстройке, с окном полукруглым (над крышей террасы); до света возились мы: сон убежал; пересказывали впечатления дня.

Бирюзово-зеленое небо златело краями смугляющих тучек; восток трепыхался мгновенной зарницею.

ТИХАЯ ЖИЗНЬ

Просыпались с ленцою часам к девяти; опускались часам к десяти: пили кофе со сливками при Александре Андреевне; не раз я ловил на себе ее острый, меня наблюдающий взгляд с «растолкуйте»; что, собственно? Не понимала, как мы, она, видно, «не только поэзию», предпочитая, чтоб «Люба» была не «Прекрасною дамой», — женою; а тут что-то малопонятное от метафизики, с ссылками на ряд цитат; на цитатах не женятся; их вырезают и вклеивают (Блок любил вырезать из журналов картинки, их вклеивая в альбом; метафизика—физика Меты? Так, что ли? Писалось же: «жизнь пролью в... крик» (о чем?); или: «мне в сердце вонзили красноватый уголь пророка»; меня упрекал, что в статье моей «Формы искусства» я маской лицо закрываю; писал же ведь про «Петербург, не готовый к нашему приезду из Москвы с требованиями действительной жизни»¹⁾.

Действительна жизнь—молодого супруга, студента-филолога, слушавшего профессора Шляпкина, домохозяина, за-

¹⁾ «Письма к родным», стр. 106.

нятого своим боровом; но не действительно слово поэта-ироника, с углем прощеским жизнь изливающего нето в «Д а м у п р е к р а с н у ю», нето... в мистическую ветчину «б л е д н о - з а р е в у ю, с п л а м е з а р н о ю о т о р о ч к о й, н е ж н у ю, н е с о л е н у ю и м а л о к о п ч е н у ю»¹⁾; тут уж, действительно, жизнь ироническая: нето девушка с русой косой, нето просто с косою в руках, коей косят²⁾; а может быть, девушка эта... к о с а я?

Что Блок соотносит иронию к тяжким грехам³⁾, что он сам был ироником: «В доме... сооружаются мною книжные полки под потолком — ...чтобы достать книги мог тот, кто дорос до понимания их»⁴⁾).

Но на иронии строить — «не только»... поэзию?

Мне было трудно порой с Александрой Андреевной.

Блоки являлись в двенадцатом: А. А.—в рубашке с пурпуровыми лебедями; в широком и «б л е д н о - з а р е в о м, п л а м е з а р н о м» капоте — Л. Д.; после кофе ленились в уютной и светлой гостиной; во всем—своя форма; всему—свое время; о том позаботилась, видно, рука Александры Андреевны.

Она после кофе скрывалась: хозяйствовать; мы вчетвером — Блоки, я и Петровский — посиживали: в мягких креслах; я, стоя над креслом, разыгрывал что-нибудь; «теоретический» мой разговор—точно заигрыш: линия слов, развиваемых к Блоку, чтобы он их окрасил своим: «так»; «не так»; раз он бросил:

— «Не надо: довольно!»

Не к слову, а — к стилю.

Раз, слушая, он наклонил низко голову; но и наклон головы, и поставленный нос выражали растерянно недоуменное: «хн» или «ха», — смесь иронии с беспредметным испугом слепца, раскаряченного не на кресле, — на кочке болотной и перебирающего не махро-

вую кисть, а бандуру с расстроенным строем; вдруг встал; взяв за локоть, увел на террасу; спустились с ним в сад, упдающий круто тропами в лесняк, стали в поле среди трав; с закрившимся ртом разгрызал переломанный злак; выговаривал медленно мысли, подчеркивал, что они—не каприз; нет,— он знает себя, мы его принимаем за светлого; это — неправда: он — темный:

— «Напрасно же думаешь ты, что я светел... Не понимаю я смысла жизни...»

Голос—подсдох: носовой, чуть туманный, надтреснутый; как колуном, колол слово свое, точно прося у меня безответно в чем-то прощения взглядом невидящих и голубых своих глаз:

— «Темный я!»

Мы стояли без шапок под пеклом; мы тронулись медленно, перевлекая короткие, черные тени; он мне говорил о коснении в быте, о том, что он не верит ни в какое светлое будущее, что минутами ему кажется: род человеческий — гибнет; его угнетает, что он, Блок, чувствует в себе косность, и что это, вероятно, дурная наследственность в нем (род гнетет), что старания его найти себе выражение в жизни—тщетны, что на чаше весов перевешивает смерть: все мы—погаснем все ж; иное—вне смерти—обман.

И натянуто так улыбался, и тужился словом, всклокоченный точно, рассеянно-пристальный: мимо меня; мне запомнились: это волнение, непререкаемость тона; как будто попал на исконную тему, которую в годах продумывал.

Тема позднее сказалась поэмой «В о з м е з д и е»; возездие—отец, Александр Львович Блок,—которого он в себе чувствует; а действительно был потеряян: никак не увязывалось с этим мрачным настроением, от которого вяло и скепсисом, и сенсуализмом,—цветущий вид, натурализм, загар, мускулы, поза спесивая старца маститого Гете из нового Веймара, которую родственники вдввали в него.

Силою мысли я не признавал власти рока, границ: бытовых и мыслительных;

¹⁾ «Письма к родным», стр. 113.

²⁾ Калямбур из драмы «Балаганчик».

³⁾ См. его статью об иронии.

⁴⁾ «Письма к родным», стр. 113.

но понимал: философией с этим земным интеллектом, тяжелым и косным, направленным к мысли о борове и ветчине, — не управишься; думалось: поэзию «Прекрасной дамы» и слова его об «угле пророка», вожженном в нем? как увязать с нею слова его родных о том, что «Саша и Люба особенные!» Это ж — Шеншин, скептик, старый чувственник, бывший гусар, приводивший в отчаяние Льва Толстого, В. С. Соловьева. При чем тогда культ поэзии В. Соловьева, им развиваемый?

Все это, как вихрем, взвилось во мне: от появления на моем горизонте «темного» Блока; помнится, что мы шли в полях, и я отмахивался, ища ответа в себе: что ж нужно для уразумения его четкого, но ограниченного интеллекта, чуравшегося даже подступов к гносеологическому сознанию?

Я посмотрел в синеву: и она мне — почернела; в «Серебряном голубе» гораздо позднее я запечатлел впечатление от этого душевного черного «ада»: «Но именно в черном воздухе ада находит художник... иные миры» — писал Блок (уж поздней); описание в «Голубе» черного неба, внушающего жуть, поэт оценил и отметил в статье своей, потому что оно — впечатленье, оставшееся от момента, когда предо мною слетела завеса «романтика» Блока (на мгновение только); и «черное небо полудня» увиделось в нем.

Он же стоял передо мной с переломанным злком в руке:

— «Ты, Боря, — знаешь это переживанье и сам!»

Нет, — тогда еще и не знал: я знал мрак жизни; но этого мрака себя угашающей жизни, приклеенной слепо к чувственности, не знал.

Если бы на миг преднеслось бы мне будущее наших отношений? Блок после писал: «Как я выругал Борю и Эллиса» (из писем к матери)¹⁾; и преднеслось: «Отвалили 35 верст на велосипедах, хотя накануне и напились»²⁾; «Розанов...

показался мне близким»¹⁾; «уже пьянствовали»²⁾; «Надоела холостая жизнь»³⁾; «напиваюсь ежевечерне»⁴⁾; «трачу много энергии... на женщин»⁵⁾; «ужасное одиночество и безнадежность»⁶⁾; «актерки, около которых... зажимаешь нос, как будто от них должно пахнуть потом»⁷⁾; «А. Белого я не видел. Кажется, мы не выносим друг друга»⁸⁾.

Писано через четыре лишь года; поэт скоро потом славил дамский каблук, удаляющий в сердце его; а я написал удающую статью: «Штемпелеванная калоша», направленную против «мистического анархизма», в котором считал Блока повинным.

Мне идеология Блока-слепца невыносима не тем, что не видел логических выходов он: тем, что, живя уже в невылазном душевном мраке, спешиво писал из Москвы о каком-то пришествии «Саши и Любы» в столицу тогдашней «Российской империи».

Чувство протеста против него на миг ожило в моем подсознании, когда я поглядел на него, и почувствовал — что-то незрячее, нищее, медленным голосом точно «псалом» распевующее по дорогам; и вспомнилась спесь его фанфар в письмах ко мне летом 1903 года; прошел всего год, а что-то в нем решительно изменилось.

После этого разговора вернулись мы в комнаты и сидели опешенные: Любовь Дмитриевна, сдвинув брови и морща свой маленький лобик, как будто прислушивалась напряженно к молчанию нашим; и стала совсем некрасивой; и снова поднялся в ней точно разбойный размах; и его погасила она; Александра Андреевна засуетилась, а Марья Андреевна, в рябеньком платьице, стала

¹⁾ «Письма», стр. 228.

²⁾ » » 216.

³⁾ » » 217.

⁴⁾ » » 214.

⁵⁾ » » 214.

⁶⁾ » » 219.

⁷⁾ » » 232.

⁸⁾ » » 236.

¹⁾ «Письма», стр. 224. Год 908.

²⁾ » » 223.

моргать; где-то пели про Ваньку, про ключника — злого разлучника.

Я стал спрашивать, любит ли русские песни А. А.

— «Нет: там, знаешь, — надрыв!»

Он все русское в эти годы считал лишь надрывным; стиль песни, платочки, частушки, — казались враждебными; едва допустишь платочек, — появится «Грушенька» из Достоевского; а «достоевщину» он ненавидел: там — гулы, разгулы; там... Катька «Двенадцати»; «Тройка», стихотворенье, мной только-что напечатанное в «Журнале для всех», народное по духу, было пока чуждо ему.

Я, паяц, у блестящей ramпы
Возникаю в открытый люк.

И было мне грустно при мысли о расставивши руки направо-налево ладонями и пропуская меж них свою голову розовым носиком; бегала карими глазками в платье какого-то серомышавого цвета; за ней суежилась Марья Андреевна.

Я рассказал этой ночью Петровскому о восприятии Блока; Петровский вздохнул, протирая пенсне:

— «Так: сгорел, провалился!»

Но мы постарались ответить все это; и дни проходили в приятнейшей лени; и к завтраку шелкали пятками два правоведа; потом мы сидели; потом расходились; к обеду сходились опять; я бродил по дорогам к селу Тараканову, за Таракановым; тихо посвистывал, бросивши руки за спину: по сохлой дороге с раскатанными в пылевой порошок колеями; земля от засухи пожескла; и пригарью пахла поля; и пылицами перевихрялись дали.

И было мне грустно при мысли о Блоке: предчувствовалась трагедия, легшая меж нами и нас отделившая друг от друга на пять лет; лишь с 1910 года выпрямляются и проясняются наши отношения с поэтом; в описываемое же время в самой психологии дружбы была какая-то дребезжащая нота.

Люди и факты

1. П. Ширяев—Высокая земля. 2. Н. Шкляр—Повесть о Зоопарке. 3. Викторин Попов—Колхозный блокнот

1. ВЫСОКАЯ ЗЕМЛЯ

П. Ширяев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1
Тропа, по которой мы едем, кажется прилепленной к скалам. Внизу — глянуть страшно! — рвет и мечется бирюзовый Нарын. Я никогда не видел воды такого цвета. Как будто под водой, в хаосе камней и обломков скал, зажжены тысячи голубых лампочек, и Нарын светится... Третий день не расстаемся мы с ним. Я видел его в долине, в низких и мирных берегах, поросших облепихой, тальником и шиповником; я встретился с ним у подошвы хребта Нарын-тау; дважды пересек его, и везде, и всегда он был, как редчайшая бирюза. Здесь, в глухом и величавом ущельи Центрального Тянь-Шаня, Нарын особенно чудесен. И буен. Глядя на него здесь, никто не сказал бы, что этот неуемный, бьющийся в скалах голубой зверь дальше, там, в Ферганской долине, превращается в унылую и скучную Сыр-Дарью...

Остановившись на небольшой площадке с кустами барбариса, кизила и вкусной, прихваченной морозом черной смородины, я долго смотрю с обрыва вниз. Уступами громоздятся по скалам тянь-шаньские ели; кое-где видны черные плечи пожарищ, обгорелые пни и мрачные скелеты деревьев, обглоданных огнем. Совсем внизу кружатся беркуты над труном сорвавшейся лошади, а быть может, и человека... У этого ущелья

дурная слава. Киргизы зовут его — Кнлин-тайга. Молодой джигит Килин нашел здесь смерть со своей невестой. В том месте, где он сорвался, лежит грудка камней, и три жердочки огораживают узкую тропу над бездной...

И как-раз здесь бирюзовый Нарын особенно прекрасен. Он вырывается из-под багровой скалы и вспыхивает нежнейшей бирюзой, озаренный внутренним непонятным светом. В мрачном окружении черных прогалин пожара, сумрачных елей и первозданных громад свет этот чудесен...

— Хо-ро-шо-о!.. — говорю я, поворачиваясь к моему спутнику.

Аркадий Васильевич, недавно назначенный директором величайшего в Союзе Нарынского конесовхоза, всегда озабочен: неполадками в строительстве, безденежьем, прорывами в уборочной и прочее. Но на этот раз он улыбается; и я вижу по его лицу, что в эту минуту он забыл о гвоздях, о стекле, о невыплаченной табунщикам зарплате, и ему тоже хорошо.

— Не заночевать ли нам здесь? — неожиданно предлагает он. — Ехать еще порядочно, а дорога — аховая!..

Я не возражаю.

Но коварные те же изменяют наше решение. Те же — горный козел. Заметил их первым Аркадий Васильевич на противоположной стороне ущелья, в за-

рослях арчи. Убить козла — для нас необходимость: в наших курджунах, кроме пресных лепешек, ничего нет.

— Теке, смотрите, теке!!!

Винтовка Аркадия Васильевича осталась у лошадей. Моя — со мной. Я щелкаю затвором и растерянно смотрю вправо, влево, вперед, но не туда, куда нужно. Замечаю козлов только тогда, когда они гуськом, четыре штуки, мчатся по скалистому склону.

— Да стреляй же! — шипит у меня над ухом Аркадий Васильевич.

Раз за разом я бью в переднего. После второго выстрела козел кувиркается, и у меня уверенность — козел готов!

— Есть, капитан! — вскрикиваю я радостно. Для меня, москвича, убить козла в Тянь-Шаньских горах, да еще на таком большом расстоянии, лестно до щекотки в носу... Но... козел, перевернувшись раза два, мчится дальше. Аркадий Васильевич вырывает у меня винтовку и посылает одну за другой три пули. Козлы исчезают в скалистой складке ущелья.

— Поедем дальше, — говорит Аркадий Васильевич, почесывая за ухом, — там, дальше, должны быть архары, а глядь, и на кабана напоремся!..

Ночь застала нас в ущельи. Исчез в темени бирюзовый Нарын. Справа стерегла пропасть. Напряженно всматриваясь вперед, я еле различал мгlistую полосу тропы. Потом она исчезла, и я окончательно вверил себя старому Зигфриду. Шурша, осыпались из-под копыт камни, и мое ухо следило за их шорохами; едва касаясь стремян носками сапог, я готов был каждое мгновение выброститься из седла. В каком-то месте спуск показался мне чрезвычайно крутым; я спешился и, намотав на руку аркан и повод, пошел впереди коня. Вернее, не пошел, а начал сползать вниз, цепляясь левой рукой за выступы скалы. Когда я срывался и падал, то каждый раз мне казалось и я ждал, что сейчас сорвется и мой конь и навалится на меня сзади всей своей тяжестью, и оба мы громыхнем куда-то в бездну. Зигфрид, подвигавшийся за мной чрез-

вычайно неохотно, наконец остановился. Натянувшиеся аркан и повод передали мне напряженную дрожь упершегося коня. Что было впереди, передо мной, — я не знал.

— Зигфрид не идет дальше! — крикнул я Аркадию Васильевичу, ехавшему позади.

— Значит, некуда! — спокойно отозвался Аркадий Васильевич и, помолчав, добавил: — А я сейчас чуть-чуть не угробился, кобыла сорвалась задом...

— Куда же все-таки ехать-то?

— Садись, Зига вывезет!

Я выкарабкался наверх. Осторожно взобрался на седло. Зигфрид тут же начал пятиться, потом круто повернул влево, где, по моему убеждению, была почти отвесная скала, крякнул и полез в гору. Тропа шла здесь. Мне вспомнился джигит Килин и его невеста...

Из ущелья мы выбрались часам к десяти ночи. Поставив коней на рысь, рядом, дружно, поехали по какой-то долине. Вокруг и впереди была все та же обманчивая темень неведомых пространств, в которой утрачивается представление о расстоянии и маленький холмик на пути кажется громадой. Справа нас провожала Большая Медведица, и, посматривая на нее, я почему-то думал, что мы едем правильно, туда, куда нужно. Бурливая и довольно широкая речка преградила нам путь. На другом берегу мелькнул огонек. Аркадий Васильевич решительно сунул свою кобылу в воду, но тут же предупреждающе крикнул:

— Подожди, здесь глубоко-о!..

И выбрался обратно. Поехали дальше вдоль реки.

Вода ночью всегда таинственна и всегда предостерегает. Но человеку ее немой язык невнятен. Нужно быть лошадью, собакой, зверем, чтобы понять его и не ошибиться. Я два раза повертывал Зигфрида к воде, пытаюсь переправиться, и оба раза он упрямо не хотел итти в воду...

Над юртой был светлый нимб от пылающего очага. Остановив коней, мы начали кричать, чтобы нам указали место переправы. Рев воды заглушал наши голоса. Услышали нас сторожевые

псы и свирепым лаем вызвали из юрты людей. Один из них, выкрикивая непонятные слова, пошел вдоль реки, и, когда остановился, мы поняли: переправа — здесь. Я смело в'ехал в бурливую темную воду. Осторожно переставляя ноги по каменистому дну, конь мой подвигался с большой опаской. Сильное течение сбивало его, он срывался, останавливался и раздумывал. Он был уже утомлен... Почти у самого берега мы с ним все-таки опрокинулись в ледяной поток, и в какое-то забывшееся на всегда мгновение я переглянулся глаза в глаза с темной и живой водой. Так близко, до жути, она была от моего лица.

Люди в мохнатых бараньих шапках и драных чапанах сидели вокруг пылающего очага. В огромном казане, похожем на рассеченный пополам глобус, варился баран. Седой старик с лицом скорее кавказца, чем монгола, помешивал длинным ковшом варево. От движений ковша на поверхность бурой жижи, до краев наполнявшей казан, вылезали чудовищные по величине куски баранины и раза два перевернулась целая баранья голова. Наше появление никого не удивило, а старик даже и не взглянул на нас.

— Аман!

— Аман! — обменялись мы приветствиями и уселись к пылающему очагу на почетное место, спиной к низеньким сундучкам, на которых, как на полке магазина, были аккуратно сложены стеганые одеяла. Полдюжины, а иногда и целая дюжина тяжелых стеганых одеял — необходимая принадлежность киргизской юрты. Вы замечаете их прежде всего, когда влезаете в юрту; уснуть на земле в холодную горную ночь, не наваливши на себя три-четыре одеяла, немислимо!

Не успели мы обсушиться, как около юрты залаяли псы, потом заржала лошадь. Старик поднялся и вышел.

— Кышгыр! — проговорил один из киргизов, прислушиваясь.

«Кышгыр» — волк. В этом году волки — бедствие Нарына. За дорогу мы не раз слышали жалобы табунщиков:

— Ружье нет!.. Порох нет!.. Волк много! Чего будешь делать?

Аркадий Васильевич взял винтовку и вышел. Опять заржала лошадь. Потом я услышал крики, возню, визг псов, и раз за разом треснули два выстрела. Юрта опустела. Остался я и две женщины. Одна из них перемывала бараньи кишки и опускала в казан. Киргизы говорят, что баран ест «гуль» — цветок, и когда варят бараний суп — «турап», то вместе с мясом кладут и кишки, так как они особенно вкусны от присутствия в них цветка. И очевидно в этом есть доля истины. Цветы растений имеют большое значение в питании баранов, способствуя наибольшему жированию и отложению мяса. Наблюдения специалистов обнаружили целый ряд растений, у которых с'едаются только цветы, все же вегетативные части остаются нетронутыми..

Женщина, перемывавшая кишки, посмотрела на меня и проговорила:

— Кыш-гыр!

— Кышгыр! — повторила другая и тоже посмотрела на меня.

Мне ничего не оставалось, как повторить то же самое. И я выговорил:

— Кышгыр..

Сгибаясь, в юрту пролез улыбающийся Аркадий Васильевич. Следом за ним, откинув кошму, два киргиза протолкнули в юрту, к очагу, черную овцу. Из шеи у нее обильно шла кровь.

— Вот обнаглели!.. Из-под носу чуть было не уволок, окаянный! — пояснил мне Аркадий Васильевич и начал осматривать овцу. Покорная и смиренная, она смотрела ничего не понимающими глазами на огонь и не делала ни одного движения, чтобы освободиться от руки человека, копавшегося в кровавой ране..

— Ничего, выживет! — кончил осмотр Аркадий Васильевич и вытер об ее шерсть запачканные кровью руки. Киргизы очевидно ожидали другого решения от «дирехтура», несмотря на то, что в казане доваривался целый баран. Баранину киргизы могут есть с утра и до ночи, так же, как тамбовские девки — семечки.

После вкусного турапа, запитого сурпой, мы завернулись в одеяла и улег-

лись. Ночью я просыпался от протяжного и дикого крика около юрты. Это кричал старик, отпугивая волков.

— Аа-оо-э-э!.. Аа-оо-э-э!..

Лаяли псы. И снова тишину и темень ночи раздирал протяжный, непохожий на голос человека крик:

— Аа оо-э-э-э!..

Я слушал и думал о Майн-Риде, о Фениморе Купере и о том, что наконец-то я в Нарыне... В прошлом году моя попытка добраться до Нарынского конесовхоза кончилась в ущельи Джуван-Арык, на скалистой тропе у реки Тюлек... Но в своем печальном возвращении в Москву я увозил неодолимое желанье еще раз, и, может быть, не один раз, посетить «высокую землю»... «Высокая земля» — так чудесно назвала горы девятилетняя девочка, моя случайная попутчица по Боамскому ущелью.

— Мама, а почему здесь земля высокая? — спросила она свою мать, указывая на скалы, нависавшие над дорогой.

И с особым чувством удовлетворения я прислушивался к протяжному крику старого киргиза:

— Аа оо-э-э-э!..

На этот крик здесь не отзовется человек. Его поймет только волк.

С рассветом я вышел из юрты.

Мороз за ночь припудрил инеем долину и горные склоны. Под ногами покрустывало вкусно, как поджаренная корочка. Уткнув морды в лапы, дремали присмирившие псы. В полсотне шагов от юрты, у подошвы горы, разлеглось стадо овец. Среди них на большом камне сидел старый киргиз, закутавшись в драный чапан. С низко опущенной головой, он был неподвижен, как были неподвижны овцы, псы и все вокруг; и его согнутая заиндевшая спина была как бы продолжением камня, на котором сидел он. Чем-то библейским веяло от его безмолвной фигуры и мирных, притихших овец.

Через четверть часа над юртой заструился веселый дымок. После холодной ночи, проведенной почти на голой земле, горячий кирпичный чай с овечьим молоком был большим и необходимым

наслаждением. И я, и Аркадий Васильевич глотали пиалу за пиалой сосредоточенно и молча. В России у крестьян обычай: напившись чаю, опрокидывать на блюде чашку вверх дном и класть на донышко оставшийся огрызок сахара. У киргизов пиала кладется набок. (Смысл одинаковый: наливать больше невозможно.)

К концу нашего чаепития в юрту вошел старик и присел к очагу. Женщина подала ему пиалу с чаем. Он неторопливо выпил, опрокинул пиалу и, переглянувшись с женщиной, протянул назад руку. Киргиз, сидевший позади него, предупредительно подал ему меховую перчатку, висевшую на решетнике юрты. Только теперь заметил я огромную серую птицу на обрубке дерева, у самого входа. Это был беркут. Он подходил на каменное изваянье — до того был неподвижен. На глаза у него был надвинут кожаный колпак-шлем. Старик надел на правую руку меховую перчатку, отвязал беркута и пересадил его с пня на руку. Я видел, как хищно и страшно обхватили руку старика когтистые лапы. Женщина подала старику деревянный ковш с кусками сырого мяса. Быстрым движением старик наклонился к слепой голове птицы и ловко, зубами, сорвал с нее кожаный шлем, закрывавший глаза. Хищник мгновенно ожил. Выпрямился. Вытянул шею и осмотрелся — могучий и гордый. Зрачки глаз расширились, потом медленно сузились. Дернулось крыло, и шевельнулись когти, обхватывавшие перчатку. Старик поднес к клюву ковш. И было, пожалуй, самое впечатлительное и страшное, это — прожорливость и алчность, с какими набросился беркут на пищу. Он схватывал и глотал огромные куски, как крохотные зерна. Было видно, как ползали они по пищеводу, раздувая вытянутую шею. Без передышки, без паузы, кусок за куском, опустошал он ковш. Это был хищник без всяких прикрас, хищник во всей своей обнаженности... Когда он проглотил последний кусок, старик, отбросив пустой ковш, молниеносным движением нахлобучил ему на глаза кожаный шлем. Беркут распустил веером книзу могучее крыло, мотнул головой и втянул шею

в плечи. Старик осторожно пересадил его с руки на пень. И снова хищник превратился в камень. Безучастный ко всему, погруженный во мрак, он будет снова сидеть на обручке дерева и ждать света и кровавой пищи; ждать здесь, с ковша, или в горных просторах, где от него не скроется ни лиса, ни улар, ни даже волк... Он настигнет их всюду и, одной лапой вонзившись в загривок, другой вырвет глаза, ослепит и, послушный, будет ожидать мчащегося к нему хозяина, который наградит его кровавым куском пахучего мяса...

2

Утомительный и нудный под'ем на хребет Кап-ка отнял у нас полдня времени. Приуставшие кони, уже сделавшие около четырехсот километров, брали перевал с трудом и часто останавливались. Я слышал коленами, как усиленно работает могучее сердце Зигфрида. Он весь взмок и в особенно трудных местах под'ема, напрягаясь, кричал почти по-человечески. За эти дни путешествия по труднейшим горным дорогам, вернее, по бездорожью, я оценил и понял исключительные качества киргизской лошади: неприглядная по внешности, она — не говоря уже об ее невероятной выносливости — изумительный акробат в горных условиях! Часто, оглядываясь на какой-нибудь взятый перевал или головоломный спуск, я не верил глазам: мне казалось, не только лошадь, м ы ш ь не сумела бы проползти по такой тропе!

Аркадий Васильевич посмеивался в ответ на мои восклицания, и в его серых глазах я читал удовлетворение человека, которому вверена работа над многими тысячами таких лошадей.

— Вот спустимся в Кара-саз, увидите!

Кара-саз, куда мы пробирались, было одним из урочищ Нарынского конесовхоза. Там на осенних выпасах к моменту нашего прибытия были сосредоточены почти все табуны совхоза.

На вершине перевала мы слезли с седел и пустили коней пастись. Они с жадностью набросились на рыжеватую

редкую траву, покрывавшую горные склоны. Аркадий Васильевич выдернул клок травы и подошел ко мне:

— Это — типец или типчак. Великолепный корм для лошадей. Зимой на тебеневке табуны питаются исключительно им. Откапывают его из-под снега и допают, по-нашему, — тебенюют. Смотрите, как Зига жрет!

Зигфрид действительно с каким-то ожесточением пожирал эту неаппетитную на вид траву. Широко расставив ноги, Аркадий Васильевич наблюдал за ним с любовной улыбкой; потом щелкнул камочкой по голенищу и протянул:

— Вот спустимся в Кара-саз, увидите!..

Я знал: Аркадий Васильевич думал о самом главном, что предстояло увидеть мне, — о табунах... За дорогу мы не раз беседовали о жизни совхоза. Срывы в строительной программе, безденежье, задолженность по зарплате и другие неполадки волновали директора. Помню, однажды на ночевке в какой-то юрте я проснулся среди ночи от холода; смотрю, у очага сидит встрепанный Аркадий Васильевич и ожесточенно курит.

— Что же это вы не спите? — удивился я. — Замерзли?

— Не-ет! Сибиряка-партизана холодом не проймешь!..

— А что?

— Сон видел.

— Должно быть, страшный? — улыбнулся я.

Аркадий Васильевич сплюнул в потухающий очаг и значительно выговорил: — Гво-оздь видел... Огромнейший гвоздь!

Стекло и гвозди были болным местом в жизни совхоза. На одном из хуторов в ударном порядке законченные стройки столовой, школы, общежития и конторы осуждены были за отсутствием стекла и гвоздей итти в зиму, что называется, полураздетыми, без окон и дверей. Я знал, что в Нарынском конесовхозе, затерянном в Тянь-Шаньских горах, и стекло, и гвоздь звучат по-иному, чем например в Москве, и мне было понятно, что директор вели-

чайшего в Союзе совхоза не только волнуется при слове «гвоздь» или «стекло», но даже и во сне видит гвозди...

Но все эти волнения были волнениями и ного порядка, чем та взволнованность, которую я подмечал в Аркадии Васильевиче всякий раз, когда он заговаривал о табунах.

Я понял ее, когда сам увидел нарынские табуны.

Нарынский конесовхоз, или конесовхоз № 53, как он значится в списках Коневодтреста, — любопытнейшая и великолепная деталь социалистической стройки нашего Союза. Его возникновение, жизнь и рост пронизаны подлинной героикой и той романтикой, без которой «бытие подобно смерти».

В Пишпекке, перед моим отъездом в Нарын, ко мне в комнату вошел долговязый, с широченными плечами человек и спросил, правда ли, что я еду в Нарынский конесовхоз. Я впервые видел этого человека. На нем были фланелевая в клетку рубаха, заправленная в штаны и напомнившая мне рубахи ковбоев, грубые сапоги, и в руке — киргизская плеть — камча. Совсем юное лицо привлекало мужественностью, свойственной людям ветров, непогод и схваток с врагом.

— Я два года работал в Нарыне, — уселся он на затрещавший под ним стул, — вот и зашел поговорить.

На столе у меня был арбуз и буханка хлеба. Он посмотрел на арбуз и спросил:

— Можно? Люблю арбу-узы!..

Извлек из кармана штанов огромный перочинный нож и с треском отвалил пол-арбуза. Семечки сплевывал на пол. Потом мы заговорили о Нарыне. Вернее, он говорил, а я слушал до пяти утра... И люди, природа, звери и лошади возникали передо мной по-иному, ломая обычные о них представления

Флайнг-Бой был приведен в Нарын с Северного Кавказа, где в июльские вечера полыхают голубые зарницы и где, как море, просторны горизонты. Флайнг-Бой был великолепных кровей жеребец, могучий и своенравный. Ему дали косяк

в сорок кобыл, — сорок рабынь повелителю. Косяк — гарем. В табунном коневодстве косячный жеребец — главное лицо. Он охраняет и водит косяк. Это он, завидев хищника, подкрадывающегося к косяку, идет к нему навстречу, бесшумный и гневный, с смертельным ударом копыт. В положенный час это он собирает разбредшийся по пастбищу косяк и ведет его к студеной и прозрачной воде горной речки, и, если какая-нибудь из сорока кобылиц, зазевавшись, отобьется от косяка, свирепым хватком за загривок он призовет ее к порядку и послушанию. Он пасется всегда на отлете. Косяк должен быть у него на виду. Он видит и замечает все вокруг. Человек, собака, чужая лошадь, всадник не смеют приблизиться к его косяку: он предупредит вас об этом — хищно приложит назад уши; по-змеиному, с извилами, вытянет шею и, пригибая к земле голову, покажет вам свирепый оскал бледнорозовых страшных челюстей... Тогда не подходите! Даже табунщик не всегда сможет взять из косяка нужную ему кобылу. Про таких жеребцов говорят: «Он прекрасно водит косяк».

Флайнг-Бой был молод, и нарынский косяк был первым косяком в его жизни. Косяк пасся на «джайлау» — высокогорных летних пастбищах. Привыкший к просторам степей, Флайнг-Бой не заметил, как его косяк, увлеченный изобилием и роскошью трав, скрылся за горным уступом. Поднял голову. Косяка нет. Метнувшись в сторону, обратную той, куда спустился косяк, он увидел его внизу, под собой, под обрывом... И гневно заржал.

Флайнг-Бой был молод, и текла в его жилах великолепная, горячая кровь...

— Как птица, распластался он в воздухе, ринувшись к своим кобылицам с высоты более сотни метров. Он не падал, — он лете-ел!..

— Вот та-ак! — растопырил руки и ноги мой собеседник.

«Гибель Флайнг-Боя» — так можно озаглавить роман. Пусть в этих рассказах есть преувеличение, фантазия, пусть даже фантастика, — это чудесно! И это нам нужно, — отвечал я сам себе

на какие-то мысли. — Без романтики бытие подобно смерти. И, развертывая дальше свои мысли, я уже думал, что роман нужно назвать не «Гибель Флайнг Боя», а «Рождение Флайнг-Боя», ибо огненный образ скакуна возник из его гибели.

— А фокстрот вы танцуете?

Володя Болдырев (так звали моего собеседника) выпучил на меня глаза.

Я и сам еще не знал, почему я задал этот вопрос. В этот раз мы его не разрешили. Но все же Володя, не дождавшись от меня пояснения, хрястнул стулом, ухмыльнулся и вымолвил:

— Ду-ша-а вон с га-да!..

И, прикончив арбуз, продолжал:

— Когда мы приехали в Нарын, там ничего не было, ни жилья, ничего! Жили в киргизских могильниках, не раздевались по месяцам, жрали один кумыс — хлеба не было. Форель еще жрали. Этого добра там завали-ись, в полчаса — ваго-он и еще одна тележка!..

— А как вы попали в Нарын?

— Я кончал Зоотехнический. Спал в саду, духоти-ища была, не ночь, а печка!.. Лежу пузом вниз около арыка, не то сплю, не то чорт знает что; слышу, по заднице камчой — вжж-ж-ик-к!.. Эх, как я подскочил, ну, думаю, сейчас душа вон с гада! Смотрю — Гофман, Павел Александрович: «Поедем, — говорит, — в Нарын!» И начали мы разговоры разговаривать, до утра, всю ночь. Как сейчас, все помню!.. Куда там Канада-а с Калифорнией! А главное, махини-ища-то какая! В других совхозах сотня-другая голов, а тут ведь тыся-чи!.. Если и зашьешься, — все лучше утопиться в море, чем в корыте. Бывало, приедешь в косяки, аж сердце раскаляется! Куда ни глянешь — косяки, косяки, косяки! Рыжие, гнедые, чубарые; молодежь звенит, приволье, а кормо-ов — завали-ись! Ляжешь вот эдак на спину, глаза закроешь и слушаешь, а земля бунит; и всех их видишь, каждого сосунка знаешь... Одним словом, наутро я собрал монатки, никому ничего не сказал, ни отцу, ни матери, и айда!.. Э-эх, конь там один есть! — после короткой паузы встрепенулся Володя, — улущенный

киргиз, от сына Брабара и киргизской матки, Чобдар... Не слышали?

О Чобдаре я слышал еще в прошлом году. Герои преданий у других народов — люди; у киргизов — лошади. На тракте Рыбачье — Каракол есть почтовая станция Тур-Айгыр. В переводе — Гнедой Жеребец. Станция расположена на берегу озера Иссык-Куль. Здесь, по преданию, переплыл озеро сказочный «гнедой жеребец», не желая даваться в руки врагам. А озеро здесь около сорока километров в ширину. Это была первая легенда о лошади, которую я услышал в Киргизии. Потом я слышал их несколько, но все это были сказания о лошадях несуществующих, вымышленных. Чобдар, о которм заговорил Володя Болдырев, существовал и имел даже кусок генеалогии: «от сына англо-киргиза Брабара...» Его «открыл» киргизский Кочубей, манап, скотопромышленник и коневод Гали Узбеков, умудрившийся получить в аренду организованной революцией 1-й народный токмакский табун. Открыл и... кастрировал по укоренившемуся обычаю. (Обычай этот основан на убеждении, что мерин резвее и выносливее жеребца.) С полуторалетнего возраста Чобдара начали эксплуатировать как байгиста (скакуна). Чобдар не знал ни одного поражения. В знаменитой меркенской байге — народных скачках — Чобдар бьет всех своих пятьдесят пять соперников на дистанции в 60 километров. В большой тонской байге на 80 километров из 150 участников пятьдесят подымают, не выдерживая скачки, и Чобдар опять приходит первым, опередив соперников на 8 километров. Его хозяин пожинает лавры, иными словами: свитки шелковых материй, слитки серебра, сотни баранов, лисьи шкуры, верблюдов и даже целые косяки лошадей... Гали Узбеков знал, что делал, когда всеми правдами и неправдами ухитрился арендовать 1-й народный табун Киргизии. Это был старый и опытный хищник... Слава непобедимого Чобдара была его славой, и из этой славы матерый бай выжимал деньги и новую славу. Самым волнующим моментом в жизни Чобдара была конечно скачка через перевал Кугарт.

Никогда не бушевали так страсти полудиких кочевников, как в этот раз. В самых глухих и отдаленных аулах и кишлаках имя Чобдара не сходило с уст. Чобдар был живой легендой. В ярости споров закладывались стада баранов, верблюды, косяки лошадей, ковры, ткани и десятки ямб серебра. С одной стороны — восторг и преклонение, с другой — зависть, злоба и обдуманное в глухом и сумрачном ущельи злодейство. Не потому ли и был выбран перевал Кугарт?!. Камни выдают тайну земли, но тайну человеческих деяний — никогда. За перевалом Кугарт непобедимого Чобдара, разбросавшего своих соперников, ждали на свежих, неутомленных скачкой конях завистливые убийцы. Но захватить Чобдара живым, чтобы потом угнать его в Кашгарию или Афганистан, они не могли. Хотя и усталый, Чобдар был сильнее их: недаром он нес в себе племенную кровь Брабара, чудесно освежившую его древнюю монгольскую кровь. И только пуля надломила его великолепный бег. Раненый в бедро, скакун остановился перед расщелиной, преградившей ему путь. Даже и здоровый конь не посмел бы ринуться вниз по головоломному спуску! Не посмели и преследователи, ошеломленные дерзостью Чобдара и его всадника, исчезнувших после минутного замешательства в расщелине перевала Кугарт... В 1927 году, уже изломанный жестокой эксплуатацией, с брокдауном, Чобдар, вырванный наконец из цепких рук маната, попадает в Нарынский конесовхоз.

— Это был изумительный конь! — рассказывал мне о нем П. А. Гофман, один из основоположников Нарынского конесовхоза. — Вся жизнь он скакал некованным; мне приходилось делать на нем по 150 километров на подножном корму, и я всегда поражался его упорному, огромному темпераменту. Не раз он спасал мне жизнь в бураны, над пропастями с почти вертикальным спуском. И был он большой «кочеган» (бродяга), всегда удирал от табуна, в одиночку, куда-нибудь в горы; а иногда уведет за собой и какого-нибудь приятеля...

— Попадете в Нарын, увидите его! — прощаясь, говорил мне Володя Болды-

рев, — поклон ему от Володьки, и всем вообще кланяйтесь, особенно табунщикам Абдрахману, Бекешу, Султану Шимшибаеву... Они помнят меня, и я их всех помню... Эх, кабы опять в Нарын!.. — шумно вздохнул он и, тиснув мою руку, огромный, длинноногий, сажеными шагами пошел вдоль тихо журчавшего арыка.

Я долго провожал глазами его несклепистую фигуру и думал о Нарыне. И Нарын возникал в моем воображении, как сказка.

3

Нарынский конесовхоз родился в жесточайшей борьбе с «киргизским Кочубеем» — бай-манапом Гали Узбековым.

Старый и хитрый делец, богатейший скотопромышленник Киргизии, Гали Узбеков умудрился в 1922 году получить в долгосрочную аренду так называемый 1-й народный токмакский табун, вобравший в себя все лучшее, что уцелело от конского поголовья Киргизии после империалистической и гражданской войн. Четыре года Гали Узбеков распоряжается табуном, как своей собственностью, перенеся в это дело полностью принципы хищника и кулака: эксплуатирует племенных маток, как дойных животных; в погоне за наживой сдает в ремонт лучших производителей; кастрирует для байги выдающихся резвачей и прочее. И пользуется славой лучшего коневода Киргизии... Ремонтеры не хотят признавать других лошадей, как только с тавром «ГУ». Словом:

Богат и знатен Кочубей:
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы...

Приблизительно в это же время на другом берегу изумрудного озера Иссык-Куль возникает первый в Киргизии конский совхоз. Его инициаторы — конники-бойцы гг. Гофман, Раппопорт, Удрис, пересевшие с боевых седел в седла хозяйственников... Они, как никто, понимали нужду Красной армии в хорошем боевом коне; как никто, знали, что значит для бойца иметь под седлом нагоя-

щего коня. Работая не один год в Средней Азии, они учли и особенности Киргизии по сравнению с другими среднеазиатскими республиками. Наличие огромных горных пространств с богатейшими альпийскими лугами, широкие долины с густым и сочным травостоем, обилие горных водоемов, умеренность климата — все это создавало прекрасную основу для развития коневодства на территории Киргизии. С другой стороны, сама аборигенная, киргизская лошадь представляла собой для этого прекрасный материал. Правда, ее положительные качества — неприхотливость к корму, исключительная выносливость, резвость бега и другое — сводились почти на-нет присущими ей недостатками. Она была слишком малоросла и слишком был мал ее живой вес, что делало ее мало пригодной для сельского хозяйства и транспорта и совершенно непригодной для армии. Но эти недостатки легко устранялись прилитием к ней донской и англо-донской крови...

Это и было положено в основу деятельности возникшего на берегу Иссык-Куля первого конесовхоза. И вполне естественно, что мысли организаторов совхоза с первых же шагов работы устремились к табуну, находившемуся в руках Гали Узбекова. Там, в этом табуне, было как-раз то, что было нужно для массового улучшения киргизской лошади и для правильной постановки работы в этом направлении. Там были великолепные экземпляры донцов и англо-донцов, там были донские матки...

И Удрис, Гофман, Раппопорт начали борьбу с влиятельным манапом.

Упорно и долго защищался старый и хитрый волк, пуская в ход родовые связи, прибегая к подкопу, угрозам и лести. И на ряду с этим, предчувствуя очевидно поражение, отбирал лучшие экземпляры лошадей и угонял их в отдаленные и глухие увалы Нарына, быть может, с тайной мыслью перегнать их за границу. Как на каменную гору, Гали Узбеков опирался на рабскую верность своих батраков-табунщиков... Они должны были молчать, как молчат камни. Да и как говорить, как выступать против, когда «богат и знатен Кочубей» и

вот уже четыре года владеет государственным табуном, как своим собственным!? Не пустая ли басня революция, об'явившая войну манапам и баям? И разве сам Гали-бай, приезжая в табуны, не говорил им, что власть — это он, Гали Узбеков, и иной власти нет и не будет!.. Пусть на груди «большевика комиссара» Раппопорта горят два красные ордена, но токмакский народный табун — у Гали Узбекова!..

И все же Гали Узбеков просчитался, как просчитались все враги революции!.. Классовый инстинкт сильнее дурмана традиций. Потомственные батраки-табунщики Бекеш и Абдрахман Даулетпаков первые примкнули к «большевикам» Раппопорту и Удрису. Карабин на-изготовку, по горным тропам, через перевалы, где воют снежные бури и каждый камень грозит предательской пулей, «большевики» открыли запряженных старым манапом коней. Добыча ускользала из волчьей пасти...

День суда над Гали Узбековым и его приспешниками был одним из самых любопытных эпизодов этой борьбы. Судебная зала была до отказа набита многочисленной родней, почитателями и знакомыми влиятельного манапа. Подсудимые явились на суд во всем своем великолепии: в богатых халатах, в шитых золотом тюбетейках, спокойные, важные и уверенные в себе. И был разительный контраст между ними и свидетелями обвинения, скромными и простыми табунщиками Бекешем и Абдрахманом. Для них, этих двух батраков, еще не освободившихся совсем от гнета традиций и суеверия, было нелегко выступать открыто против могущественного манапа. Они невольно ежились под тяжестью ненависти и скрытых угроз, вспыхивавших в глазах друзей и родственников Гали Узбекова, наполнявших зал. Они не могли понять самоуверенности и спокойствия тех, кого должен был судить советский, революционный суд за преступления против советской, бедняцкой власти... Неужели Гали-бай сильнее «большевиков»? Седой, важный манап даже ни разу не взглянул на них, будто их и не было. И в этом безразличии к ним и Бекеш, и Абдрахман угадывали

беспощадную злобу манапа, который не умеет забывать и прощать...

— Когда суд вынес им оправдательный приговор, я обалдел, — рассказывал мне Раппопорт, — у меня было ощущение, будто к глотке нож приставили!.. Посмотрел на Бекеша, на Абдрахмана и на эти торжествующие манапские хари... Понимаете состояние мое и Удриса? Мы вышли из суда, как побитые собаки... Я сейчас же — в комитет партии. В конце концов дело пересмотрели и всей этой байской компании припаяли по пяти лет... Но первый суд я не забуду, жу-уть!

Это было в 1926 году. Хозяйничанью Гали Узбековых был положен предел. И возник Нарынский конесовхоз.

По своим установкам и методам работы Нарынский конесовхоз — чрезвычайно любопытное явление в хозяйстве нашего Союза. Его основная задача — производство высококачественной ремонтной лошади путем табунно-косячного разведения ее и воспитания в суровейших природных условиях. Нарынский конесовхоз — полное и безоговорочное отрицание стойлового содержания лошади. В Нарыне лошадь круглый год — под открытым небом. Летом — на «джайляу» — высокогорных алпийских пастбищах, зимой — на тебеневах, по речным долинам и увалам; она сама себе добывает корм. Постоянное движение, масса воздуха, потоки горного солнца, чистейшие водопой — вся эта сумма условий позволяет выковывать здесь действительно исключительную лошадь с железными ногами и копытом и с могучей внутренней конституцией, т.е. идеальными сердцем и легкими.

— Нам нужна лошадь, которая могла бы «возить и воду, и воеводу», — любил повторять мне П. А. Гофман, — чтоб наш боец знал, когда сядет на такого коня, что этот конь его не подведет! Французский «пшик» нам не нужен.

Строя свою работу на массовом улучшении аборигенной киргизской лошади как в самой себе, так и путем прилития к ней донской и англо-донской крови, Нарынский совхоз собрал в своих табу-

нах ценнейших донских, англо-донских и чистокровных производителей.

Интересен факт довольно быстрого и безболезненного приспособления к суровым нарынским условиям таких изнеженных конюшным содержанием лошадиных «аристократов», какими являются чистокровные производители-англичане.

Привыкшие в заводских конюшнях к тому, чтобы за каждым из них с утра и до ночи ухаживал десяток нянек, сдувая с них пылинку, оберегая от сквозняков и прочее, они, попадая в Нарын, начинают «жить сызнова».

Здесь все по-иному. Вместо душевного и полутемного денника — простор и прихотливости долин, залитых чудотворным светом горного солнца; вместо втираний, флюидов, слабительного и клизм — здесь движение, воздух, прозрачная и вкусная вода ручьев и рек; здесь не надо сдувать пылинок, их здесь нет: здесь воздух чист, как свет. И не положенный рацион в назначенные часы принесет в его кормушку конюх, — к его услугам здесь вся роскошь и изобилие горных пастбищ: ешь, сколько и когда хочешь!.. А весной, когда вся жизнь начнет трепетать и звенеть любовными томленьями и когда беспокойными становятся кобылицы, ему не будет здесь отпускать любовь, как рацион; ему дадут косяк в сорок рабынь, и он уведет их в тишину горных долин, властный и свободный в любовных волнениях и выборе... До поздней осени он будет водить их с пастбища на пастбище, охраняя, как зеницу ока, сурово вмешиваясь в их ссоры и распри, и, когда с гор поползут в долину снеговые кофматые тучи, он сдаст их всех сорок — сорок матерей — табунщикам, а сам, утомленный и исхудавший, уйдет в свой табун, к таким же, как и он, отцам, отдыхать и ждать новой весны...

4

Каждый раз, когда приходилось брать какой-либо перевал, мне казалось: вот доберешься до вершины, и распахнется сейчас перед тобой настезь необозримая равнинная даль, чудесная и неведомая.

И каждый раз получалось не так. За перевалом оказывался еще перевал, еще горы, пригорки, под'емы и спуски, а за ними — новая мощь снеговых и безлюдных громад.

Так было и при спуске в урочище Кара-саз. Понадобилось немало времени, прежде чем мы увидели долину и...

табуны.

Очевидно это слово мне крикнул Аркадий Васильевич. Он ехал впереди на добрую сотню метров. С одного из пригорков, порывисто обернувшись ко мне, он вдруг вытянул руку, на что-то указывая, и стремительно помчался вниз.

Я подхлестнул Зигфрида.

С того же самого пригорка, с которого исчез мой спутник, я увидел внизу, под собой, залитую солнцем, золотисто-зеленую полосу долины Кара-саз. Она была, как днище огромного сосуда. Ворохи гор наваливались на нее со всех сторон. И всюду, куда доставал глаз, по этой золотистой солнечной равнине были разбрызганы темные пятна. Одни из них были неподвижны; другие медленно передвигались, разбредаясь по долине; третьи лениво уползали в горы и увалы. И между ними, от одного пятна к другому, быстрыми комочками перекатывались всадники. Кое-где виднелись серые конусы юрт.

Это были нарынские табуны.

Я остановил коня... После безлюдья, первозданной неподвижности и безмолвия горных громад виденье жизни и движенья было незабываемо. Горы разворотили наконец передо мной свое каменное чрево. Живые существа, люди, лошади, жизнь, замкнутая в грандиозном каменном тереме, оторванная тысячами километров от привычной мне суеты и шума мира, глянула на меня; и была эта жизнь такая же неведомая, как неведома нерассказанная сказка, у которой знаешь одно только заглавие.

Зигфрид нетерпеливо мотнул головой... Рожденный и выросший в горных просторах, сам избродивший в табунах все эти увалы, пригорки и холмы, он просился вниз, туда, к своим...

— Подожди, Зига... Полюбujemy!

Старик вздохнул, крикнул и повернул ко мне голову. Его синий глаз недоумевал. Внизу, по склону, нахлестывая кобылу, зигзагами спускался Аркадий Васильевич. Я нагнал его, когда он был уже недалеко от одного из табунов. Два всадника отделились от табуна и карьером понесли к нам навстречу.

— Аман, дирехтур! — осадил коня первый из них и протянул Аркадию Васильевичу руку, с мотающейся на ней камчой. То же проделал и второй. Были они оба рослые, с коричнево-красными лицами, в драных стеганых чапанах и дырявых ботинках. Мне запомнилась непринужденность и простота, с которой они обменялись с нами рукопожатиями. Ни тени подобострастия и фальши, а ведь как-никак, а Аркадий Васильевич был для них начальником и директором крупнейшего в Союзе совхоза!.. У самого табуна нас нагнали еще двое. Аркадий Васильевич радостно и с особой сердечностью пожал руку первого из них и тут же повернулся ко мне:

— Это — Абдрахман! Смотритель табунов, герой труда, лучший из лучших!..

Я вспомнил день суда над Гали Узбековым... У Абдрахмана Даулетпакова было длинное, худое лицо с острой бородкой и прекрасные голубые глаза. Они так же светились, как светятся прозрачные воды Нарына.

— Абдрахман никогда не мог усидеть на месте при разбивке косяков, — рассказывал мне о нем Гофман, — больной туберкулезом, задыхающийся от мучительного кашля с кровью, увидит, бывало, как табунщик «свалял шляпу» при ловле арканом какой-нибудь лошади, сейчас же — хоп в седло, гриву в зубы и мчится! И уж — будьте уверены! — покажет, как это дело делается! Все лучшие табунщики Нарына вышли из его бригады...

Вшестером мы под'ехали к табуну.

Это был элитный табун донских маток — основной цех конесовхоза, производящий улучшателя для киргизской лошади.

По бугру, залитому ярким светом горного солнца, лениво паслись сотни ко-

был. Были они все золотисто-рыжие, в белых чулках, могучие, с отяжелевшими животами, и спокойные. Одни из них лениво пощипывали типчак, другие стояли неподвижно, припав на заднюю ногу. В их медлительности чувствовалось мощь умиротворенной плоти и осознаншее себя материнство. Наше появление не обеспокоило их. Не меняя позы, они повертывали при нашем приближении одни лишь головы и внимательно рассматривали нас большими лучистыми глазами. Солнце играло на золотисто-рыжих округлых телах и отливало бронзой. Глубокий покой этой картины не нарушала даже молодежь. Большинство жеребят, наевшись доотвала типца и материнского молока, дремали, развалившись на траве под ласковыми лучами осеннего солнца. Я под'ехал к одному из таких. Вытянув по траве шею и ноги, он блаженствовал и никак не хотел подниматься.

— Эй, ты, курортник, вставай! — осторожно надвинул на него свою кобылу Аркадий Васильевич.

Курортник нехотя поднялся, зевнул, отошел шага на три и начал сладостно потягиваться, отставляя и поднимая поочередно задние ноги. Был он особенно очарователен, когда, отойдя еще на несколько шагов, остановился, недовольно скосил на нас отливающий синевой глаз, нагнул плечо и задней ногой начал лениво чесать за ухом... а потом снова брякнулся на землю и раскинулся, как хотел!

Я оглянулся на Аркадия Васильевича. Он улыбался. Улыбались ласково и табунщики. Улыбался и весь день, яркий, теплый и тихий. И светилось все окрест, как светились глаза Абдрахмана, припавшего на луку седла и рассматривавшего кобыл... Я от'ехал в сторону и, прыгнув с коня, лег на траву. Влажная и теплая земля дохнула на меня чуть слышными запахами осенней прели. Из-за бугра, на котором лежал я, лезли в безоблачную, бледно-голубую высь снежные великаны. Надо мной и вокруг была такая огромная, первозданная тишина, что даже звонкие, по-детски острые голоса жеребят, перекликающихся со своими матерями, не тревожили ее; они вспыхивали в ней и бесследно гасли, как

спичка в свете яркого солнечного дня. К Зигфриду, пощипывавшему около меня типчак, подошла рыжая крупная кобыла; у нее была белая проточина во лбу и спокойные ноздри. Некоторое время она рассматривала моего подседланного коня, потом повернулась ко мне. Я видел ее длинные, загнутые кверху ресницы и спокойно вопрошающие глаза. На мою попытку подойти к ней рыжая красавица отвернула голову и неторопливо зашагала вниз по бугру, лениво переваливая округлый круп.

— Милосская Венера! — выговорил я вслух, и почти мгновенно за этими словами возникло во мне припоминание...

... Я с приятелем стоял в Лувре перед статуей Венеры Милосской. Прежде чем зайти в Лувр, мы долго бродили по Тюильри и говорили о далекой России. Оба мы были безнадёжные эмигранты, и наши разговоры походили на тягучий скрип телеги в осеннюю невылазную темень. От скрипучей тоски этой мы и зашли в Лувр...

— Ты знаешь, — говорил приятель, — когда я смотрю на Венеру Милосскую, во мне словно светает... Я с первого раза воспринял ее, как гимн земной красоте человеческой, как гимн женщине-матери, здоровью и неповторимой гармонии духа и плоти...

Около нас были еще люди: сухопарые и клетчатые англичане, пара благоговейных немцев, сытно выдыхающих свои восторги перед бессмертным мрамором; старушки какие-то, чистенькие... Неожиданно приятель щипнул меня за локоть и глазами указал на угол залы. Там в модном светлом костюме стоял... вернее, стояло нечто... Трудно было назвать мужчиной или человеком это существо: покрытое толстым слоем пудры, как вата, белое лицо и накрашенный рот еще резче подчеркивались ярким кричащим галстуком; в петлице — кокетливый цветок и у прищуренных глаз с красноватыми веками — золотой орнит. Это было почти страшно! Тянуло пилью. Чудилось, что под блистающим пробором, в этой узенькой черепной коробке болтается и смердит похотью разжиженный мозг.

— Вертинский и Венера Милосская!..
Лучше не придумаешь! — зашептал мне
приятель...

Ваши пальцы пахнут ла-да-ном,
На ресни-цах спи-ит печ-аль...

От Лувра и Тюильри до Тянь-Шань-ских сыртов прошло около двадцати лет. Венера Милосская оживала в рыжей кобыле. Гимн полнокровной красоте земной продолжался. И, провожая взглядом удалявшийся под бугор золотистый круп, я с разительной яркостью вспоминал того, с пробором, напудренного, и думал: вот бы его сейчас сюда, в эти табуны «Милосских Венер»...

Ва-ши пальцы пах-нут ла-да-ном...

— Душа вон с гада! — сказал бы
Володя Болдырев.

5

По дороге к табунам молодняка нас прихватил буран. Начался он совершенно неожиданно. Сперва — свирепый рывок ветра и несколько белых крупинок, запутавшихся в черной гриве Зигфрида. Я глянул в ту сторону, откуда ударил ветер. С гор в равнину сползала мгlistая, призрачная туча. Была она похожа на седую растрепанную старуху в ранний час утра. Аркадий Васильевич остановил коня и начал надевать долушубок. Я последовал его примеру и не успел снова взобраться на седло, как все вокруг замутилось, и за пять минут до этого солнечный и яркий день словно споткнулся и отброкнулся в слепую белую яму. Параллельно земле длинными непрерывными нитями неслись на нас крупные хлопья снега, залепляли глаза, уши, лезли за воротник и в рукава; и даже Зигфрид отворачивал от них голову и смешно дергал левым ухом. В белой свистопляске исчезло все: дорога, горы, долина... Подхлестывая тупо подвигавшегося коня, я старался не потерять из виду ехавших впереди Аркадия Васильевича и Султана Шимшибаева. Для меня было ясно: потеряй я их — буран закружит

меня и похоронит в какой-нибудь расщелине!.. Я утратил всякое представление о том, куда и сколько времени мы ехали?.. Казалось, мы не движемся, а плываем на одном месте в какой-то молочной гуще. Одежда промокла. Начи-нало становиться холодно. Руки уже не ощущали поводьев. Порывы ветра брызгали в лицо колючей крупой, врывающейся откуда-то в мокрые потоки снега.

Султан Шимшибаев остановил коня, привстал на стременах и, не то при-смотревшись к чему-то, не то прислушавшись, круто повернул влево, против ветра. Впереди, совсем близко от нас, из белой гущи вдруг проступила темная масса, и неожиданно около наших коней возник темный силуэт всадника. Под сугробом огромной бараньей шапки я разглядел краснощекое лицо с черной бородкой и блестящие маленькие глаза.

— Аман, дирехтур!

— Здорово! Какой табун?

— Десять! — за табунщика ответил
говоривший по-русски Султан.

Сбившись в плотную массу, головы по ветру, табун стоял неподвижной, безжизненной глыбой; присмирившие жеребята жались друг к другу в середине табуна; теплое кольцо материнских тел защищало их от жгучего ветра и снега. Время от времени табун вдруг приходил в движение. Удары ветра заставляли находившихся в хвосте лошадей жаться к передним, к теплу, а те в свою очередь напирала дальше, на стоявших перед ними, и тогда весь табун начинал подвигаться вперед, туда, куда гнал неутомимый буран. В такие моменты от табунщиков требуется большое искусство, чтобы удержать табун в повиновении, чтобы остановить это ускоряющееся с каждым шагом движение, которое еже-секундно может превратиться в беспорядочное бегство от жгучего преследователя-ветра; и если сплосают, если не справятся они, буран раздерет табун в клочья и горные хищники доотвала нажрут свежего конского мяса.

Но не всегда можно справиться, и не только искусство требуется от табунщиков в дни, когда свирепствует буран...

Передо мной сейчас рапорт директора одного из конесовхозов. Привожу его почти полностью.

«Перед вечером 27 декабря начался буран, который к вечеру усилился настолько, что табунщики, выехавшие на смену дневных, принуждены были возвратиться обратно, не найдя табунов... Ночью буран достиг высшего напряжения при северном ветре и сильном морозе, который не стих и к утру. Мороз был настолько силен, что воробьи замерзали на лету. Сменить табунщиков и утром не было никакой возможности. Буран был настолько силен и густ, что трудно было ориентироваться даже во дворе усадьбы. Снег забивал глаза. Несмотря на это, смотритель табунов Кушукбаев Жемобай, старший маточник Федорец Антон Яковлевич, табунщик-бригадир Лаврентец Сергей и обездчик Исикеев Ахмет все же, беспокоясь за судьбу табунов и табунщиков, решили выехать для розыска их. Ог'ехав километра два-три, они вынуждены были вернуться обратно, так как снег буквально забивал глаза. Во время этого выезда все они пообмораживали себе лицо, руки и ноги, хотя были одеты достаточно тепло. Часам к четырем вечера буран как бы начал стихать, а потому те же Кушукбаев Жемобай и Федорец Антон решили ехать снова в направлении ветра. Километрах в семи от Майкуля они при снова усилившемся буране наехали на четырех маток, стоявших у озера. Прогнав с собой этих маток, они нашли еще другую группу в десять голов, а дальше и остальной табун. Кушукбаев Жемобай, поручив Федорцу собранный табун держать на месте, сам поехал на Ак-Кабак узнать о положении дела там. На Ак-Кабаке Кушукбаев узнал, что ак-кабакские табуны не разысканы и нет пяти табунщиков, после чего выехал обратно к Федорцу, в направлении на Майкуль, против бурана. Федорца с табуном на месте уже не было. Несмотря на то, что Кушукбаев прослужил в конесовхозе более тридцати лет, знает чуть ли не каждый бугрик, только случайно смог попасть на Май-

куль, отдав себя всецело в распоряжение лошади, которая сама вывезла его на дорогу и привезла в Майкуль. Жемобай возвратился сильно промерзшим и с обмороженным лицом. Федорца не было. Это было около девяти часов вечера. Чтобы помочь Федорцу попасть на Майкуль, здесь давали сигналы звоном в колокол и разложили костер. Федорец, сильно обмерзший, с обмороженным лицом и руками, возвратился только в два часа ночи, оставаясь все время с табуном, и удержал его у Майкуля целиком.

29-го буран продолжался, но уже меньшей силы. Выехали на розыски. Здесь выяснилось, что на Кустамаре не возвратилось одиннадцать табунов и на Ак-Кабаке пять. Из ак-кабакских табунщиков были найдены в степи три табунщика в тот же день. Все они были обморожены, но табунов не бросили, несмотря на то, что сами сильно ослабели. Такое же отношение к охране табунов было и на Кустамаре, но здесь из одиннадцати табунщиков было найдено десять, за исключением одного с лошадьо, которого при всех принятых мерах найти не удалось. Найден он только одиннадцатого января километрах в шести замерзшим вблизи омета мякины. Здесь же возле него ходила под седлом и его верховая лошадь. Табунщики пробыли на буране до трех суток без пищи и плохо одетыми, так как теплой спецодеждой они обеспечены не были. Многие табуны во время бурана смешались и были угнаны ветром с мест тебеневки в направлении ветра, при чем некоторые группы ушли километров на сорок. Были обследованы все поселки в направлении ветра. Часть лошадей была найдена в тот же день, а часть — на другой и третий день. Пока не найдено шесть маток. Кроме того, найдено замерзшими пять жеребят 1932 г. и остатки от двух маток, с'еденных волками.

Несмотря на то, что табуны тебеневали около озер или ометов сена, никто из табунщиков не мог воспользоваться этими естественными укрытиями и никто из них не попал к ним.

Ветер, переходивший в шторм, был сильный, а снег был очень густой и забивал глаза, при чем при морозе глаза замерзали...»

Заканчивается рапорт выразительным списком имен табунщиков.

«1. Смотритель табунов Кушукбаев Жемобай и старший маточник Федорец Антон Яковлевич. Оба, рискуя жизнью, в самый сильный буран дважды выезжали с очевидным для себя риском для спасения табунов и людей, а Федорец Антон, кроме того, сохранил целиком табун абортировавших маток в 140 голов.

Хамазинов Шумарт пробыл в буряне двое суток, сильно обморозился. Нашли его у табуна, при чем он заявил: «А табуна мой не бросал». Отправлен в больницу.

Хамитов Жекитай все время был возле табуна, обморозился. Табун сохранил, возвратясь домой, обогрелся и в тот же день снова выехал на розыски своих товарищей и табунов. Нашел замерзшего табунщика Жамбулова Абдрахмана с лошадьёю.

Нармухатов Какидман, замерзая сам, спасал бывших с ним трех товарищей, зарыл их в солому, а сам сообщил об этом в ближайший поселок.

Мулдабеков Назарбек найден в степи, где он бродил без сознания, с обмороженным лицом, руками и ногами. Отправлен в больницу.

Алшанов Кайрула найден через трое суток у табуна, где, падая, ходил в бессознательном состоянии. Помещен на излечение в больницу.

Жантасов Нартуза через двое суток привел свой табун целиком. Обморозил живот, руки, ноги. Помещен в больницу.

Байгурин Никиф найден через двое суток полузамерзшим. Все время находился у табуна и сохранил его целиком...»

На лежащем передо мной рапорте — пометка: «С подлинным верно». И перед глазами оживает «подлинник». Возникают живые лица безвестных героев, искалеченных стужей; и мерещится белая снежная даль, и где-то

там, в ней, одинокая подседланная лошадь, ждущая четырнадцать суток: не проснется ли ее хозяин Абдрахман Жамбулов, так странно скрючившийся на снегу?..

.....

Спасаясь от бурана, мы заехали в попавшуюся на пути юрту табунщика. У чуть тлеющего очага стояла женщина с грудным ребенком на руках. На земле рядом с ней сидел мальчик-горбун лет семи и сосал грязные пальцы. В дырявую кошму, обтягивавшую «уюк»¹⁾, сыпал снег; по юрте гулял ветер. Ребенок на руках женщины был одет в одну коротенькую ситцевую рубашонку; голые ноги его были от холода красны, как гусиные лапки. Султан Шимшибаев присел на корточки к очагу и из стоявшего тут же ведра начал подкладывать в потухавший огонь комья овечьего помета. Женщина что-то произнесла по-киргизски.

— Говорит — кумыс есть. Хочешь? — перевел Султан.

Изябшим и мокрым, нам было не до кумыса. Зато Султан с наслаждением перелил в себя огромную пиалу холодного напитка. И, словно только для этого мы и зашли в юрту, тут же предложил: — Поедем?

Женщина проводила нас теми же безучастными глазами, какими и встретила. В той же позе, с полуголым ребенком на руках, она осталась стоять у тихо дымившегося очага. Когда мы выходили, в юрту вдруг ударил яркий луч солнца. Я оглянулся. И навсегда запомнил полуопрокинутый казан у входа с пристывшим к стенкам бараньим салом и ведро с овечьим пометом, и сундучок, разукрашенный белой жестью, и горбуна-мальчика, старчески наклонившегося над очагом; заметил я и музыкальный инструмент, висевший на решетнике, — грубый, самодельный, трехструнный «комуз», напоминающий балалайку.

— Вот, братишка, жизнь-то у нас кака-ая! — словно отвечая на мои мысли,

1) «Уюк» — палки, соединяющие решетчатый остов юрты с верхним обрусом крыши.

вдохнул Аркадий Васильевич и сдвинул сумрачно брови.

Буран кончился так же неожиданно, как и начался. Победоносное солнце величаво садилось за снеговые вершины, а на востоке, припадая к увалам и складкам горы, трусливо уползали последние охвостья растрепанной тучи. Вокруг все было ослепительно бело. Снег искрился и отливал розовым. В прозрачном воздухе четко и твердо обозначились цепи отдаленных хребтов. Они стали словно ближе. Можно было разглядеть незаметные раньше морщины и складки на склонах. Мы ехали на запад. Оранжевый диск солнца постепенно розовел; по снегу ложились предвечерние фиолетовые тени; а позади нас, в хаосе нагроможденных снеговых громад, разгорался пожар, начинали пылать снега, и в их пурпурном пиршестве роскошной смертью умирал день и рождался вечер.

Ночевку у предрабочкома Султана Шимшибаева мне хочется сравнить с тканью, в которой из незатейливых линий и красок чудесно возникают узоры, напоминающие своей причудливостью сновиденья...

На подушках, у очага, в позе китайского божка сидела женщина; на голове у нее огромным белоснежным куличом возвышался «элечек» — традиционный головной убор из кисеи. Скуластое лицо, плотно обрамленное платком, было безжизненно, как у куклы. На наше приветствие она ответила лишь одним движением глаз. Рядом с ней стояла молодая девушка в бархатном малиновом бешмете. Это были родственники Султана, приехавшие из отдаленного аула на торжество обрезания его сына. Просторная и опрятная юрта была освещена, помимо очага, крохотной керосиновой лампой без стекла. Около лампочки, согнувшись, сидела третья женщина с милым лицом и что-то тщательно выводила на клочке серой бумаги грызком карандаша.

Султан сейчас же, как вошел, принялся за приготовление турапа, а когда

кончил, подсел к нам и, кивнув на молодую женщину с карандашом, проговорил:

— Это — мой марджа (жена)... Писать хочет. Писать надо, читать надо...

— А ты умеешь? — спросил я.

Султан утвердительно, не без гордости, кивнул головой. Потом опять посмотрел на жену и вздохнул.

— В Пишпек учиться надо... Я учиться, марджа учиться, а как пойдешь?! Отец старый, мать старый — никак не пойдешь! Пишпек далеко. Ты был Пишпек? Пишпек школа есть, товарищ там, письмо писал — приходи Султан учиться. В Москве киргиз тоже много, письмо тоже нам писал... Директур сказал — Токонтай в Москву скоро пойдет учиться. Токонтай знаешь? Абдрахман брат.

Шимшибаев раскурил потухшую цыгарку и смолк.

Было и грустно, и радостно после его слов. Жажда учебы в душе полудикого кочевника, его бесхитростная тоска о невозможности уехать в недостижимый Пишпек, его безгрешная и какая-то светлая зависть к судьбе более счастливых товарищей звучали здесь, в убогой юрте, отрезанной тысячами километров от культурных центров, особенно трогательно...

В старенькой солдатской шинели, нагнувшись на глаза войлочную шляпу, Султан раздумчиво смотрел на очаг и молчал. Сопела и возилась над клочком бумаги его жена. Утомленный Аркадий Васильевич дремал с потухшей папироской в зубах, положив под голову кобур с револьвером.

Глядя на Султана и его жену, я пытался представить их обоих в Москве, в вечерних огнях улиц, пронизанных гудками и звоном трамваев, в лекционных залах, среди веселой и шумной толпы молодежи...

Из-за ситцевой занавески у входа вылез старик. Подсев к очагу, он поправил огонь, заглянул в котел, помешал в нем и молча протянул к Султану руку. Султан так же молча передал ему жестяную коробочку с махоркой и клоч газеты. Около юрты послышались голоса, смех; и один за другим, сгибаясь при входе,

в юрту пролезли раскрасневшиеся от быстрой езды табунщики. Мокрые, рваные, в лохматых шапках, они весело здоровались со мной и проснувшимся Аркадием Васильевичем и подсаживались в кружок к очагу. Это была дневная смена, закончившая свой трудовой день. Приземистый чернобородый Сапубек извлек откуда-то домру и начал наигрывать несложный мотив заунывной киргизской песенки. Кто-то из табунщиков попросил его спеть про марджу. Сапубек обвел всех лукавыми глазами и начал не петь, а скорее рассказывать под аккомпанемент домры. Очевидно рассказывал он очень веселые вещи, потому что табунщики то и дело прерывали его смехом и поощрительными восклицаниями. Я не понимал смысла рассказа, но Сапубек так неожиданно и так разнообразно менял выражение своего плутоватого, краснощекого лица, что и я, и Аркадий Васильевич в смехе не отставали от других слушателей. Даже чванная родственница Султана, сидевшая все время в той же позе китайского идола, и та удостоила Сапубека веселым подергиванием плотно сомкнутых губ.

— Он говорит про марджу, — перевел мне потом Султан, — джигит увез молодой, красивый марджа у своего товарища. Увез ночью. А днем увидел не марджа молодой, а старый бабка. Он ошибку сделал и взял вместо молодой стабын женщина.

К концу рассказа Сапубека в юрту вошли еще трое. Двое — русские: смотритель табунов Седельников и старший табунщик Махоньков. У обоих — энергичные, резко очерченные лица, оба — в коротких дубленых полушубках и лохматых шапках, оба — с винтовками через плечо.

— Вот кстати! — обрадовался Аркадий Васильевич, — завтра утречком учиним производственное совещание и поговорим о зимовках!

Третий был мальчик лет пятнадцати. Он вошел в распахнутом бешмете, шапка заломлена на затылок, протиснулся к очагу и с чудесной улыбкой, оглядев всех блестящими, черными глазами, прозвенел, как колокольчик:

— Селям-aleyкум!

Словно прозрачный горный ручеек вскользянул в юрту, и все потянулось к нему — улыбкой, жестом, ласковым взглядом...

— А-а, Токонта-ай!..

— Алейкум-селям!

— Аман, Токонтай!

— Здорово, дружище, как дела? Якши?..

— Якши, директур!

— В Москву едем?

Не успевая отзвываться на шутки, Токонтай в ответ расплескивал свою ослепительную улыбку, и его лучистые глаза перепрыгивали от одного лица к другому. Стремительный в движениях, он был гибок и грациозен, как кошка; он все слышал, все замечал и на все мгновенно реагировал. Когда Султан Шимшибаев начал извлекать из казана сварившуюся баранину, Токонтай куда-то исчез, а через минуту уже очутился передо мной и Аркадием Васильевичем с кувшином теплой воды, тазом и полотенцем. После нас он обошел всех сидевших в юрте и делал это с веселой и какой-то приятной охотливостью; табунщики вытягивали над тазом грубые, заскорузлые руки, шутили, смеялись, и весь обряд омовения превращался в улыбочатое и ласковое кольцо. Так же быстро Токонтай заметил, что у меня (кажется, у единственного из всех находившихся в юрте) нет ножа, и с готовностью передал мне свой...

Отец Султана взял с деревянного блюда баранью голову, выковырнул ножом сперва один, потом другой глаз и протянул мне и Аркадию Васильевичу. Я растерялся. Проглотить этот почетный кусок для меня было невозможно, с другой стороны, не хотелось обидеть гостеприимных хозяев. Аркадий Васильевич лукаво улыбался, посматривая на меня. Улыбались Седельников и Махоньков. Я чувствовал на себе десяток глаз, одобрительно подтверждающих жест старого киргиза и молчаливо приглашающих меня съесть почетный и лакомый кусок. Спазмы подступали к горлу. Я даже взглянуть боялся на сморщенный бараний глаз, лежавший у меня на ладони. Султан разлил по пиалам пахучий и густой бульон (сурпа).

— Обмокни и глотай, пройде-ет! — посмеиваясь, посоветовал Аркадий Васильевич и сам проделал это: окунул глаз в пиалу и отправил его в рот.

«Хотя бы землетрясение сейчас ахнуло!» — безнадежно куная бараний глаз в сурпу, думал я; и наконец, зажмурившись всеми моими внутренностями, впихнул его куда-то за щеку. Там я и продержал его до удобного момента, а потом незаметно вытолкнул в носовой платок. Один лишь Аркадий Васильевич отметил усмешкой мое плутовство; все остальные были увлечены бараньими мослами, самодельные ножи работали, как хирургические инструменты, и каждая кость выходила из рук табунщика идеально очищенной от мяса, как будто она побывала в пасти десятка голодных псов. Но на этом еда не кончилась. Оставалось самое главное — турап. В деревянную миску были сложены мягкие куски и жир. Отец Султана с неподражаемым искусством вскрыл обглоданную баранью голову и добавил оттуда в миску мозги. Два табунщика, наточив о камень ножи, подсади к миске и начали готовить турап. Захватив в пятерню мясо и жир, каждый из них почти неуловимым для глаза движеньем ножа крошил мясо и жир в миску. Отточенный нож с такой быстротой мелькал около пальцев, что я каждый момент ждал: вот-вот сейчас вместе с бараньей полетит в миску и кусок человечины!.. Когда все мясо было искрошено, в миску подлили немного сурпы и те же два табунщика начали тискать и хлюпать своими пятернями содержимое миски. Ели турап руками — захватывали всеми пятью пальцами и, запрокинув голову, пхали в рот. Жирный сок стекал по бородам, капал на бешметы, лоснились подбородки и щеки, глаза туманились от наслаждения: турап — любимое блюдо киргизов... Седельников и Махоньков проделывали это с ловкостью коренных киргизов; у меня и у Аркадия Васильевича выходило хуже, жирная масса попадала вместо рта за воротник, падала на кошму, и наша неловкость смешила табунщиков...

После еды начали разговаривать о зимовках. Шутки смолкли. Прекратился

смех. Веселый Сапубек отложил в сторону домру, и его плутоватое, краснощекое лицо стало серьезным. Выбор зимовки для табуна — один из ответственных моментов и для директора, и для каждого табунщика. Чтобы благополучно провести табуны через суровую и долгую зиму, надо учесть целый ряд обстоятельств: наличие подножного корма, его качество, водопои; близость колхозных табунов и отар, могущих занести инфекцию в совхозные табуны; возможности переброски сена для подкормки слабых экземпляров и на случай «джута» (гололедицы); сообщение с хуторами, вопросы продовольствия и топлива; и целый ряд других мелочей, из которых каждая может оказаться роковой в условиях горной капризной зимы...

Было очень поздно, когда разошлись табунщики. Кроме нас и хозяев, в юрте остался Токонтай. Султан предложил чаю. Мы с радостью согласились. Бараний глаз был у меня в кармане, но я все время чувствовал его за щекой — глоток горячего чая был для меня необходимостью.

— Ну как, Токонтай, в Москву едешь? — хлопнул по плечу мальчугана Аркадий Васильевич. — Это — брат Абдрахмана Даулетпакова, мы отправляем его в Москву учиться! — пояснил он мне.

Токонтай оскалил белые зубы и ничего не ответил. По-русски он знал лишь несколько слов. Заговорил сидевший рядом со мной Султан.

— Токонтай один не хочет итти в Москву. У него есть товарищ. Говорит — вместе пойдем, один — нет.

Токонтай слушал, переводил лучистые глаза от лица к лицу и улыбался. Потом сел на корточки против меня и, указывая на Султана, произнес:

— Султан ильберс якши...

Я не понял. Шимшибаев застенчиво ухмыльнулся.

— Он хочет сказать, что Султан барса живем поймал! — догадался Аркадий Васильевич.

Я с нескрываемым удивлением взглянул на Султана: о табунщике Султানে, пойманшем барса, мне год тому назад рассказывал Гофман. Я никак не предполагал, что этот, скромный, в сол-

датской шинели, предрабочком, сидевший со мной на кошме у очага, и есть тот самый «младший табунщик Султан»...

Султан не был потомственным «джилкаши» (табунщиком), и аркан в его руках был предметом насмешек для других. Даже миловидная Сафар смеялась над его неумением владеть арканом. Не смеялся лишь один Абдрахман. Тот самый Абдрахман Даулетпаков, чьи глаза светились, как прозрачные бирюзовые воды Нарына, а аркан которого был так же верен, как клюв беркута, поражающий горную индейку. Молчаливый и тихий Абдрахман учил Султана терпенью и упорству.

— Один раз нет, другой раз нет, третий раз нет... — спокойно утешал он Султана в его неудачливых выступлениях на ловле арканом кобыл, — не бывает, чтоб всегда нет! Скачет шурга один день, скачет другой день и третий, и много дней; хлеба нет, юрты нет, огня нет, умираешь много дней и ночь; ушел шурга, пришел солнце; огонь есть, хлеб есть, юрта есть... Когда ловишь коня, говори так: не поймаю коня — умирать надо! Тогда конь будет твой..

Жадно слушал Султан тихие слова Абдрахмана, а когда тот на разбивке косяков без промаха валил своим арканом коней, Султан ловил и запоминал каждое его движение, посадку, взмах руки над головой и стремительный полет неумолимой веревки.

— Султан, иди на Каракуджур ловить баран! — шутили товарищи.

Абдрахман научил Султана не только терпенью и упорству, но и молчанию. Султан молчал на шутки табунщиков и часто уезжал на гнедом своем коне один в горы. Там много-много дней и недель сложил он из часов, проведенных в упорной учебе владеть арканом. Он зарканывал камни, выступы скал, деревья; его глаз с каждым днем становился верней, твердела рука, и ее короткий взмах все больше и больше напоминал взмах Абдрахмана; аркан из веревки превращался в крылатую змею...

«Султан будет ловить коня. Пусть другой идет на Каракуджур к бара-

нам! — твердил про себя Султан. — Не поймаю коня — умирать надо. Султан — джилкаши. Не смейся, Сафар!»

С табуном маток, лучшим из всех табунов, Султан встречал рассвет в глухой котловине Карогомана. Когда плотная темень осенней ночи стала разлетаться, как поношенная ткань, с скалистых уступов гор в котловину медленно поползли облака. Сбившись в плотную массу, дремал неподвижный табун. Завернувшись в чапан, Султан сидел на камне под выступом скалы. Рядом с ним дремал его укрючный конь, низко опустив голову. Султан бодрствовал. Он был учеником Абдрахмана Даулетпакова. Спать в табуне — значит никогда не быть табунщиком. Пожимаясь от сырости, Султан терпеливо ждал дневную смену. Она придет с первыми лучами солнца. Обволакивая табун, по котловине расплзался туман, а на противоположной стороне, над зубчатой стеной вершин, небо быстро светлело и горы меняли окраску — из темных и мрачных они становились мягко-бархатными и знакомыми. Уже можно было различать тропы на них. Султан встал. От его движения встрепенулся дремавший конь. Подтянув подруги, Султан поправил аркан у седла и вдруг насторожился. Ему послышалось — в другом конце табуна тревожно заржала лошадь.

«Кышгыр?! Волк?..»

Султан прыгнул в седло. Тропа, по которой он ехал, находилась метров на пятьдесят выше расположения табуна. Завалы камней на каждом шагу преграждали путь. Султан то и дело останавливал коня и прислушивался. В ясную погоду с тропы табун был виден, как на ладони. Но в это утро туман застилал почти весь табун, и лишь кое-где он проступал темными, расплывчатыми пятнами. Подхлестывая коня, спускался зигзагами все ниже и ниже Султан, чуткий и настороженный к каждому звуку. Ему было слышно, как кашляла внизу простуженная лошадь. Он знал, это — темногнедая Онарча. Ее давно пора отправить в дазарет.

На бледнолазоровом фоне неба четко обозначались снеговые верхушки хребтов. Они начинали розоветь, начинали

искриться — могучее солнце уже улыбалось в высоких увалах и складках. Густел туман над табуном, приготавливаясь к бегству, и в нерешительности застыло облако, сползшее с гор до самой тропы, по которой спускался Султан...

И опять тревожно заржала лошадь в том же конце табуна. Чутким ухом Султан на этот раз безошибочно определил, кому принадлежал этот голос: ржала старая золотисто-рыжая лопаткинская кобыла. И опять мелькнула мысль:

«Кышгыр?..»

Волки в Карогомане — неутомимый и постоянный враг табунщиков. Совсем еще недавно двое детей Забавника поплавились жизнью за свою шаловливость, оторвавшую их от табуна.

Султан привстал на стременах, всматриваясь вперед, где по его расчету должен был дежурить другой табунщик, весельчак и балагур Сапубек. В это время косой луч солнца ударил из-за хребта и зажег мириады искр в росистом типчаке; туман вздрогнул и начал медленно свертываться; поредело и облако, развалившееся на тропе впереди. Каждый камень, каждый выступ буро-красноватых скал на этой тропе знал Султан. И в том месте, где тропа, круто повернув, начинала стремительно падать к табуну, образовывая в своем повороте полукруглую и просторную площадку, в ворохе серых обломков скалы Султан вдруг разглядел незнакомые краски. И мгновенно остановил вздрогнувшего и насторожившего уши коня. Желтое пятнистое тело распласталось в камнях там. Десятка полтора метров отделяли его от Султана.

«Ильберс!» — ударила мысль.

На мгновенье глаза Султана замерли на усатой голове хищника. И барс заметил всадника. Приподнявшись на передние лапы, он медленно вытянул подобранную шею, повернул голову назад и весь изогнулся, готовясь к прыжку на скалу, в гору, прочь от человека. Рука Султана метнулась к аркану. Откинувшись назад, он коротко взмахнул над головой, и со свистом разрежала воздух веревка. Барс не успел распустить собранных для прыжка мускулов. Горло сдавила петля. Как струна, натянулся

аркан и опрокинул его на спину. Повернув коня, Султан гикнул, и конь ринулся назад по тропе, волоча через груды камней пятнистое извивающееся тело. Барс рычал и визжал, бил по веревке лапами, захватывал ее зубами, кувыркался через голову, — петля сдавливала горло все сильней и смертельней. Верный конь без передышки взмахивал на крутые под'емы, стремительно прыгал через каменные барьеры, аркан дрожал в руке Султана, ни на миг не ослабевая, и, лишь когда визг барса перешел в kloчущий хрип, Султан оглянулся, сорвал с плеча берданку и, повернув коня, в упор подлетел к хищнику. От страшного удара в голову приклад ружья разлетелся в щепы. Вздвигнувшись конь всею тяжестью железных копыт обрушился на передние лапы зверя, схлестнувшиеся крест-накрест на аркане. Сбросив чапан, Султан в руках с ним прыгнул с седла и накрыл им бархатное пятнистое тело страшного врага. Запасной веревкой и арканом он, как сетью, опугал барса. Одна из передних лап зверя была переломлена копытами коня.

«Не поймаешь — надо умереть! — улыбнулся Султан и вытер вспотевший лоб. — Султан не пойдет на Каракуд-жур ловить барана. Не будет теперь смеяться Сафар!»

Яркое солнце радостно освещало обратный путь Султана Шимшибаева. Он возвращался к юртам, как Цезарь. На аркане волочился сзади плененный живьем горный царь.

— Кто из джилкашей поймал живого ильберса?..

И солнце, и горы, и ручьи отвечали: — Султан!

А когда молчаливый Абдрахман увидел приязанного у юрты Султана живого барса, он тихо улыбнулся и, обращаясь к собравшимся табунщикам, проговорил:

— Султан — настоящий джилкаши!

Эти слова были самой большой похвалой для Султана.

Закипел чайник. Аркадий Васильевич, уткнувшись в блокнот, что-то записывал.

Вероятно распределение зимовок. Седельников и Махоньков мирно посапывали рядом. Для них барсы, волки, басмачи и бураны — не занимательная повесть, а быт. Они излазили не хуже волка все ущелья и тропы Нарына. Пусть слушает с раскрытым ртом рассказы Султана «бледнолицый», — им после семидесятикилометрового перегона нужен каменный сон. Через неделю-другую каждый из них со своими табунами будет отрезан снегами и вьюгами на три-четыре месяца от всего мира...

— Что же ты сделал с пойманным барсом? — спросил я Султана.

— В Нарын, в питомник отдал. Говорил директор — теперь в Москве он. Токонтай пойдет в Москву — смотреть будет. Ты видал?

Я дал обещание Султану обязательно сходить в Московский зоопарк и посмотреть его «ильберса».

Перед сном, вынимая из кармана плавок, я совершенно забыл о злосчастном бараньем глазе в нем. Глаз выпал на кошку, к ногам Султана. Султан поднял его, посмотрел с улыбкой на мое смущенное лицо и отправил «почетный кусок» в рот...

День кончился.

6

С восходом солнца к юрте Султана съехались все свободные от работы табунщики. Юрта не могла вместить собравшихся. Производственное совещание происходило на свежем воздухе, около юрты. Мне запомнились два момента. Когда директор объявил список имен табунщиков, получающих премию, один из премированных попросил слова. Переводчиком был Махоньков, не только в совершенстве владевший киргизским языком, но и умевший придать бедной словами и звучаньем речи особую выразительность и даже изящество.

— Садык Тюлькубаев протестует против премирования табунщика Касыка. Касык при осмотре табуна комиссией обкома отогнал в увал художонных маток, попросил говоря, сжучничал! — перевел Махоньков заявление молодого, с энергичным лицом табунщика.

Аркадий Васильевич свистнул и разыскал глазами Касыка.

— А ну, Касык, как же это ты?!

Я ожидал, что Касык неминуемо нальется злобой к Тюлькубаеву, вышибающему у него из рук присужденную награду. Я ловил каждое движение его глаз и лица. Касык с виноватой детской улыбкой посмотрел на Тюлькубаева, на директора и без малейшего намека на обиду признался, почесывая под шапкой:

— Правильно сказал. Виноват, директор! Сплутовал немножко. Штаны худые, рубаха нет.

Премировались табунщики мануфактурой!

— Придется премию тебе отменить, будешь в другой раз знать, — сказал Аркадий Васильевич. — Как, товарищи, отменить?

Ответ был единогласный:

— Отменить!

Сам Касык первый поднял руку.

Во всем этом инциденте ни на одну минуту не почувствовал я столь обычной в таких делах склоки или завистливой обиды, или желанья подставить ножку ближнему. Передо мной был крепко сколоченный, преданный делу коллектив. И было все трогательно просто...

Когда дошла очередь до Абдрахмана Даулетпакова, Аркадий Васильевич взволнованно встал.

— Товарищи! За образцовую, самоотверженную работу, за преданность делу социалистического строительства, за прекрасное состояние вверенных ему табунов, за отличное воспитание молодых табунщиков, за безупречную многолетнюю службу, начатую в ожесточенной борьбе с манапами и баями, бывший потомственный батрак, теперь — смотритель табунов Абдрахман Даулетпаков награждается месячным окладом, мануфактурой и почетной грамотой героя труда. Кроме того, дирекция отправляет его на легочный курорт для лечения за счет совхоза, а его брата Токонтая — учиться в Москву. Да здравствует герой труда, ударник товарищ Абдрахман Даулетпаков!

В нарынских горах не умеют аплодировать. Табунщики повскакали со своих

мест и тесным кольцом окружили директора и Абдрахмана. Лица у всех были радостно взволнованы. Блестели глаза. В улыбках ослепительно сверкали крепкие зубы.

— Якши, директур! Якши, Абдрахман! Правильно, директур! Абдрахман якши! — перебивая один другого, восклицали табунщики. — Ой, якши! Ой, якши!..

Окруженный взволнованными товарищами, Абдрахман бережно держал в руках почетную грамоту, и выражение его прозрачных глаз было немного растерянное. По окончании собрания он подошел ко мне, вытащил из-за пазухи клеенчатый бумажник и, порывшись в нем, протянул какую-то бумажку. Я прочитал. Это было удостоверение из санатория на Иссык-Кульском озере, где год тому назад лечился Абдрахман, направленный туда дирекцией совхоза.

— Хорошо там было?

— Якши! Очень хорошо! Двенадцать фунтов прибавил. Ел много, отдыхал много. — Совсем новый стал!

Весело, со смехом и шутками раз'езжались табунщики по своим табунам и юртам. Острили добродушно над Касыком. Садясь на коней, под'езжали ко мне и Аркадию Васильевичу и прощались за руку.

— Кош, директур!

— Кош, джалдош! (До свиданья, товарищ!)

— Кош! — отвечали мы по-киргизски.

Радостное настроение этого утра омрачил племенной швицкий бык. Из стада, пасшегося километрах в двух от юрты Султана, прискакал пастух с известием, что заболел лучший производитель нарынского стада. Мы поехали немедленно туда. Бык лежал около юрты и не поднимался. По внешнему виду он был совершенно здоров. Общими усилиями заставили его подняться. Он встал, но при попытке передвинуться припал резко на заднюю ногу, странно подвернувшуюся внутрь. Было такое впечатление, что у него начисто сломана нога. Аркадий Васильевич приступил к осмотру, ощупал кость и недоуменно заключил:

— Кость, по моему, цела. Очевидно вывих. Надо ветеринара.

На клочке бумаги он тут же набросал служебную записку ветеринарному фельдшеру и позвал одного из пастухов.

— Джергачко знаешь?

Джергачко был один из хуторов Каракуджа — ветпункт этого района.

— Поезжай сейчас. Без ветеринара не возвращайся. Понял?

— Якши, директур! Кош!

— Кош!

Карьером пастух понесся по долине.

— А сколько километров до Джергачко? — поинтересовался я.

— Тридцать пять.

— Туда и обратно — семьдесят?

— Да.

Мы помолчали. Мы думали об одном и том же.

— Вот так и живем! — посмотрел на меня Аркадий Васильевич.

7

Этим вечером я по-настоящему расшифровал смысл названия «Кара-саз». В переводе «Кара-саз» означает — черная топь, черное болото. Пропутавшись до вечера по табунам, мы возвращались на ночевку к Султану. Переваливая какую-то гору, я отстал на полкилометра от моих спутников — Аркадия Васильевича, Султана и еще одного из табунщиков. На какое-то время я потерял их из виду. Старый Зигфрид был изрядно утомлен, и мне было жаль понукать его. Увидел снова я моих спутников при спуске с горы: крупной рысью они уходили влево по другой стороне долины. Желая сократить расстояние, я свернул с тропинки, по которой проехали они, и помчался, разрезая по диагонали зеленую полосу кочковатой равнины. Смеркалось. Из розово-фиолетовых горы становились сиреневыми. Мягкая ретушь вечера приятно живила их и словно приближала... Зигфрид, шедший галопом, вдруг перешел на рысь, потом на шаг. И шаг его — я это почувствовал сразу — стал неуверенным, а уши обеспокоенно зашевелились. Я поднял плеть и... задержал ее в мгновением и жутком ощущении, что внизу, подо мной и Зигфридом, колышется бездна, прикрытая

обманчивой зеленой тканью сочной травы. Зигфрид остановился. Я глянул назад. Рыжая кайма типчака, граничившая с зеленой полосой долины, поднялась куда-то вверх, я и Зигфрид словно спустились в люльку. «Черная топь! — резнула ледяная мысль. — Скорей назад...» Я дернул повод. Зигфрид повернул лишь голову, но сам остался стоять на месте и тихо вздрагивал плечевыми мускулами, — коленами я отчетливо ощущал эту дрожь.

— Да ну же!.. — снова потянул я за повод.

Зигфрид вздохнул и осторожно начал поворачиваться, и почти сразу, с первого шага, ухнул вниз, разрывая всеми четырьмя ногами зыбкую ткань болота. Я спрыгнул на кочку и видел, как Зигфрид сейчас же вытащил переднюю ногу и вытянул ее вперед, выпрямив, как жердь. Кочка подо мной медленно погружалась. Тихо булькала грязная жижа, наползая на круп коня, на мои сапоги, заливая траву. Вокруг — ничего! Ни кустика, ни деревца, за что можно бы уцепиться. И никого!.. Сумерки и топь. Топь и сумерки. И гибель. А далеко впереди, через долину, — сиреневые горы... Среди тысячей мыслей —

самая страшная: «Лишь бы не рванулся Зигфрид в попытке освободиться из объятий болота!..» Тогда все кончено! Тогда лопнет и разворотится гнилая ткань, и медленным глотком втянет меня в свое темное чрево Нарынская топь. Тогда высоко-высоко поднимутся сиреневые горы и исчезнут, блеснув последний раз снегами.

Был мудр старый Зигфрид.

Ни единым мускулом не пошевелился он, пока я заматывал ему вокруг шеи повод; он оставался недвижимым все время, пока я с кочки на кочку, балансируя и срываясь, удалялся от него к рыжей кайме типчака. И лишь когда я окончательно выбрался из страшной люльки болота и свистнул ему, он бешеным рывком взмыл над топью и то на коленях, то на боку, то прыжками, прорываясь задом и передом, вымахнул ко мне, как дьявол, с сверкающими глазами, мокрый и грязный, тяжело дыша огненными ноздрями...

Что-то крича, по другую сторону топи скакали мне на помощь мои спутники, заметившие мою оплошность.

Я с благодарностью смотрел на Зигфрида, сохранившего мне вечерние, сиреневые горы.

Май. 1933 г. Москва

2. ПОВЕСТЬ О ЗООПАРКЕ

Н. Шкляр

Посвящая КЮБЗ

«...от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике»

Ленин.

1

Весна нынче ранняя. В Зоопарке уже с конца февраля по утрам стали «бормogatь», «чуфыкать», взлетать верху краснобородые тетерева, стали подымать лирой хвосты, опускать крылья и, переходя с места на место, оставлять на снегу тройные следы — «чертежи». Стали «точить» глухари.

В эти дни рано утром перед вольерами не редкость встретить заправского охотника. Приходят посмотреть на тетеревиный и глухариный ток.

Сейчас середина апреля. Стоят теплые весенние дни. На прудах шумная, крикливая птичья жизнь. Утки-кряквы свободно летают с пруда на пруд, перелетают через улицу на новую территорию, улетают на Москва-реку. Пробуют подняться и пгицы с подрезанными крыльями, взлетают бочком. Гогочут гуси, казарки. Лебеди-кликуны дерутся изза самок, бьют огромными белыми крыльями.

У пруда, на старой территории, перед входом в зеленый домик — помещение юных натуралистов — стоят два парня в фартуках, залитых известкой: камешники с соседней стройки. Над входом надпись: «Кружок юных биологов Зоопарка». А под нею, пониже: «КЮБЗ».

Я стою рядом, перед большой картой, на которой отмечены места, где побывали члены кружка, и нарисованы животные и птицы, которых они обследовали. Веселый Максимыч, член кружка, рассказывает мне, кто и куда едет на лето и что прибавится на карте к осени.

— Готовлю к приезду оду, — говорит он, поблескивая живыми черными глазами и золотым зубом:

Воспой, о кюбзовская лира,
Камчатку, Туруханский край,
Высоты горного Памира
И славу кюбзовцам играй!

— Отец, — окликает меня старший из парней, — скажи, пожалуйста, который раз хожу поглядеть на эту кюбзу, а все заперто. Какая она? Говорят, в роде ящера.

Я беру Максимыча под руку и подвожу его к парню.

— Вот она в живом виде! Смотри! Их, таких, — сто шестьдесят штук, всех возрастов: от одиннадцати и до тридцати годов. Этому — 20 лет. Кличка — Максимыч...

Максимыч хлопает глазами, поворачивается боком, спиной, открывает рот и показывает золотой зуб.

Парень обижается.

— Я всурьез, отец, а ты насмешку над нами делаешь.

Максимыч принимает степенный вид, мы объясняем, в чем дело, и парень хохочет громче всех.

— Кюбза! Ну, скажи на милость!.. Кюбза!.. А!..

— Вот видите, Максимыч, — говорю я, — восемь лет вы существуете, водружаете знамена на высотах Памира, а вас не знают. Смешивают с рептилиями. Мало знают даже в школах. Нет о вас книжек. Главный пропагандист, ватагинский Мишка, сидит на Садовой и молчит. А почему вы не используете для пропаганды скверик на Кудринской

площади? Фонтан с нелепейшими мальчишками?

— Насчет скверика надо подумать. И насчет фонтана тоже. А почему вы не пишете о нас? — упрекает меня Максимыч.

И я даю обещание написать о КЮБЗ. А парень, подружившись с нами, просит:

— Отец, приходи ты завтра с утра, как откроют. Выходной день. Я артель подберу, наши давно собираются. Главное дело, коновода у нас нет. Вот ты нам и расскажешь. Специально. А про кюбзу ребятам нашим не сказывайте!

— Ладно. А как тебя зовут?

— Миленушев Иван.

— Ну, смотри, Ваня, не опаздывать!

— Не сумейся, отец! Девять часов — и мы тут. Как из пушки! Ребята артельные. Церковь тут разбираем.

И вот хожу коноводом по выходным дням. То тверские, то владимирские, то рязанские. До двенадцати тысяч бывает по выходным в эти длинные весенние дни.

2

В инсектарии, на новой территории, у искусственного муравейника, стоит кучка людей: дети, подростки и взрослые. Вокруг муравейника, в цементированной канавке, — вода. Над нею, наискось, снизу вверх, от муравейника к барьеру, проложен деревянный лоток, оканчивающийся стеклянной кормушкой. Кормушка открыта и над нею надпись: «Брось муху!»

Действие этих двух слов изумительно. Ими вызывается великий дух эксперимента.

Мух ловят и бросают в кормушку. Дети делают это просто и весело. Взрослые стесняются. Ваня Миленушев ловит на всю артель.

Муравей хватается муху и тащит ее по лотку вниз. Каждый следит за своею мухой.

— Вон мою куды утащил!

— Нет, дяденька, это наша, артельная!

— Ваша побольше, а моя маленькая.

Стоят и смотрят. Некоторые прослеживают свою муху до самого муравей-

ника, пока она не исчезнет в его недрах. Отходят, добродушно и раздумчиво улыбаясь.

— Крошка, а какую ношу тащит!..

— Энтузиасты!.. Общественники!..

И идут дальше, к стеклянному улью.

Я похож на человека, кинувшего в муравейник муху. Но я кинул ее не в этот, маленький, а в большой, занимающий старую и новую территорию. И мое любопытство влечет меня все дальше, все глубже, по живым каналам его сложной жизни, ведет к большим вопросам, интереснейшим загадкам и удивительным открытиям.

И я не могу оторваться.

3

Опытно-показательный питомник соболей помещается на новой территории парка, сейчас за инсектарием. На первой вольере, в трех шагах от дорожки, по которой проходят тысячи посетителей, надпись: «Соболенок родился 6/IV 1932 г. от соболюшки Галочки, родившейся в Зоопарке 3/IV 1929 г.».

Этой краткой записью в историю советской биологии вписана страница, достойная внимания.

Сибирь — единственное место на земном шаре, где водится соболь. За живого соболя американцы давали нам несколько тысяч долларов. На зоофермах Америки и Европы из всего семейства куньих разводятся лишь американская норка и сконс.

Промышленники Оби уже давно пытались приручить соболя и ставили ряд вопросов по технике разведения этого ценнейшего и уже исчезающего хищника. Некоторым из них удавалось вырастить молодых соболят под кошкой.

Но до 3 апреля 1929 г. нигде в мире в неволе ни соболь, ни куница не размножались.

Почти через два года после этой замечательной даты Мих. Пришвин в одном из очерков писал: «И вот вдруг недавно Мантейфелю в Зоопарке удалось получить приплод от соболей».

Нет, не вдруг. Это — не случайная удача. Это — результат многолетней,

организованной, методологически правильной научной работы целого коллектива.

На последней вольере питомника скупая надпись: «Изучив подлинные потребности этих зверей, Зоопарк добился размножения их в неволе».

— Зоопарк добился. Это — работа коллектива, которым руководит П. А. Мантейфель¹⁾. Этот коллектив — кружок юных биологов Зоопарка — КЮБЭ.

Кружок возник в 1924 году и сейчас насчитывает до 160 человек. Из них не меньше 120 человек работает постоянно.

Научно-исследовательская работа ведется в шести секциях. Работает около двадцати бригад. В тесной связи с ней идет политико-просветительная работа: экскурсии, беседы, выезды на фабрики, в колхозы, в красноармейские части с докладами и демонстрацией животных, семинары для экскурсоводов. Налажена связь с Обществом пролетарского туризма, со школами, организуются живые уголки. Идет большая работа по кролиководству, по рыбному хозяйству с показательной выставкой и постоянной консультацией. Большинство членов учится, часть служит, некоторые старшие члены кружка заведуют отделами и участками Зоопарка.

4

Конец апреля. Утки разбились на пары и начинают выбирать себе гнезда. Пловучие домики для гнезд поставлены уже заранее на льду. Начинают гнездиться гуси и лебеди. Облюбовывают себе места в устроенных на пруду каменных островках. Им подстилают солому.

Токуют серые и каменные куропатки. На прудах новой территории начинается ток у бакланов.

¹⁾ Имя Мантейфеля широко известно по всему Советскому Союзу и далеко за его пределами. Будучи заместителем директора Московского зоопарка, Мантейфель воспитал не одно поколение натуралистов, биологов, охотников. На крайнем Севере Союза, по поляриным зимовкам, на безлюдных островах, избивающих ценным пушным зверем, сейчас работают ученики Мантейфеля.

Попытки строить гнезда можно заметить и у крупных хищников: у орла-беркута, у степных орлов.

В этом году построили гнездо и положили яйца альпийские галки.

Идет шумная, голосистая, неумолкающая с утра до вечера весенняя жизнь.

А рядом с этой жизнью изо дня в день я наблюдаю жизнь большого, хорошо работающего организма — КЮБЗ. От центра токи бегут на периферию, отдельные органы повинуются с той точностью, которая говорит о хорошей организации, сигнализируют центру о результатах, получают новые сигналы. Токи встречаются, скрещиваются, переплетаются в сложные комплексы.

Это совершается на глазах, будто стоишь перед стеклянным ульем.

Около Мантейфеля всегда движение. Приходят, говорят о деле, получают то короткие указания, а то и целые тут же написанные на листке инструкции и уходят. Никакой суетоки. Минимум разговоров. Понимают друг друга с полуслова.

Завсекцией млекопитающих Гуляев открывает дверь и, улыбаясь, сообщает: — Дядя Петя! Есть!

Мантейфель, не отрываясь от работы, улыбается и кивает ему. И «Гульки» уже нет.

Иногда помолчат вместе. А то он соединит два, три тока, — и вот искра новой мысли. Часто смех, шутка — признак здорового самочувствия целого.

Эта живая жизнь не укладывается в рамки времени и места. Трудно сказать, где и когда кто будет. Будет там, где надо. Но жизнь не затихает с утра до вечера.

Часто я прихожу в маленькую комнату, заставленную шкапами, скелетами, чучелами, препаратами в банках, и не могу пробраться к столу, над которым в застекленной рамке висит мех соболя Мусика, не могу получить ответ на вопрос, ради которого пришел. Но я сижу, слушаю, наблюдаю. И получаю ответ на ряд других вопросов или становлюсь перед новыми вопросами. Это почти правило: придешь за одним, а получишь другое. И часто это другое изменит и твой вопрос, или окажется, что

его и нет вовсе. Попутно я знакомлюсь с планами работ, инструкциями, просматриваю дневники, таблицы, зарисовки.

Мантейфель часто говорит: «Поговорите с бригадой!» — или: «Приходите с кем-либо из бригады ночью, сами увидите!» — или: «Спросите у Маруси!» А то вспомнит что-то, улыбнется и скажет: «Обратите внимание на Федю».

Он не любит «отшельников мысли», «келий под елью», уютных «лампочек с абажуром», отдельных «горшков».

— Все, что добыл, тащи в общий котел! Всякое свое наблюдение выноси на свет, обжигай на общем большом огне. И на этом обжиге обжигайся, закаляйся сам.

Из своих наблюдений и выводов он никогда не делает секрета. Его творческая мысль похожа на тонкий аппарат за стеклом. Она бьется на виду у всех. Часто в живой беседе, до начала заседания или после него, он делится своими соображениями, а иногда расскажет целую историю интересующего его вопроса, с живейшими подробностями, почти всегда со смешком. Эта щедрость и открытость его остро-наблюдательной и насмешливой мысли придает таким беседам особую привлекательность. Вокруг него свой особый, свежий, бодрящий воздух.

Он издевается над всяким бюрократизмом.

— Все торжественные поздравления отправили, а страусенка поручили какой-то бабушке, она накормила его гречневой кашкой, он и подох. А телеграмма идет...

Высмеивает мелкое честолюбие и всякое «ячество».

— Отыщет на большой дороге перышко с пятнышком и сейчас же назовет его своим именем. Систематик!

Работу без целевых установок он расценивает как пустое времяпрепровождение.

— Человек два года потратил на исследование крови у паука и у мухи. А какая связь? Какая руководящая идея? Какие выводы?

Он очень не любит слова «по-моему».

— А чем питается эта птица?

— По-моему...

— Нет! Давайте так: не по-моему и не по-твоему, а по-птичьему.

Как-то в начале нашего знакомства я обратился к нему с такой просьбой:

— Познакомьте, Петр Александрович, с главнейшими научными проблемами, над которыми работает КЮБЗ под вашим руководством.

Он помолчал. Потом, улыбаясь, сказал:

— Для ответа на ваш вопрос придется оторваться от работы недели на полторы.

Помню два разговора, следовавшие один за другим. Первый — о работе желез внутренней секреции. В связи с длительностью беременности у соболей он высказывал кому-то свои предположения о сезонных особенностях гормонов. А второй — с представителем Союзплодоовоща на тему: как хранить на зиму морковь?

И в том, и в другом разговоре он был биологом, накрепко связанным с живой жизнью.

Я насчитал пятнадцать научных организаций, с которыми Зоопарк связан по своей научно-исследовательской работе. Этот список далеко не полон.

Я не собираюсь ни перечислять, ни освещать всех больших научных и практических проблем (а здесь они всегда связываются), которые выдвинуты, а частью и решены работой Зоопарка. Моя цель иная. Я хочу указать, как на этой работе над живой жизнью растет и складывается новый исследователь, новый биолог, совсем не похожий на старого книжника, который начинал с априорных построений, часто папахивающих виталистическим духом, и кончал схемой, который с легким сердцем «экстраполировал» от морских свинок к тигру, слону и к человеку.

История о рождении соболей в неволе занимает меня именно с этой стороны.

5

Еще в августе 1928 г. Мантейфель писал, что необходимо точно знать природные условия жизни зверей, с которыми начинают работу в питомниках, не игнорировать так называемых «био-

логических мелочей» и в первую очередь не упрощать вопроса о пищевом режиме, т.-е. не ограничиваться выполнением соотношения белков, жиров и углеводов и соблюдением калорийности.

Ссылаясь на жизненные наблюдения, на свой богатый охотничий опыт и на трехлетние научные опыты, поставленные в Зоопарке над некоторыми хищными птицами, Мантейфель приходил к выводу об особом значении в пищевом режиме передней части поедаемых животных, в которой — вернее всего в головном мозгу — имеются особые химические компоненты, необходимые организму животных, ими питающихся.

Большой процент лецитина в головном мозгу, бедность содержания его в других тканях и органах (кроме половых желез и печени), потребность в мозгах у растущих и особенно у размножающихся хищников выдвинули тогда же ряд вопросов, на которые должны были дать ответ соболя и куницы Зоопарка.

К концу зимы соболя были переведены на новую территорию и размещены в специально построенных просторных вольерах. Под наблюдением было одиннадцать соболей: пять самок и шесть самцов, привезенных из разных районов Севера.

Начиная с марта и весь апрель 1928 г. в пищевой режим соболей были введены телячьи мозги, а в некоторые дни им давались живые голуби, голуби, изрезанные на куски, с неошипанными перьями, и куриные потроха при соответственном уменьшении обычного рациона.

Результаты были следующие.

В то время как в 1927 г. возбуждение проявилось только у одной пары, при чем самка потомства не принесла, в 1928 г. после изменения пищевого рациона и введения в него мозгов спаривание произошло у четырех пар.

Все соболя, проявившие возбуждение и спарившиеся, с жадностью поедали головной мозг телят и голубей, особенно в период спаривания, и, наоборот, соболя, не проявившие возбуждения, к мозгам относились равнодушно. Головы, шеи, печень охотнее поедались самцами, чем самками. У соболей, перешедших на

мозговой рацион раньше, соответственно раньше проявлялось и возбуждение.

Следующий, 29-й, год показал, что опыты шли по верному пути. Соболюшка «Кривой Зуб» и куница принесли детенышей и дали первый ответ на следующие основные вопросы: 1) чем следует кормить соболей и куниц в неволе? 2) в какое время года спариваются эти хищники? и 3) каков срок их беременности?

До указанных опытов Зоопарка эти основные вопросы либо оставались без конкретных ответов, либо разрешались неверно. Относительно пищевого режима соболей ограничивались общими указаниями, что соболь кормится бурундуками, сеноставцами, ест ягоды, орехи и т. п. Срок спаривания приурочивался к так называемому февральскому гону, который оказался ложным. В соответствии с этим извращался и срок беременности, его определяли в два месяца. В настоящее время он установлен точно: от 261 до 266 дней — 9 месяцев.

В том же 1928 году был поставлен вопрос о том, почему темная шерсть канских, уральских, алтайских и некоторых других соболей заменяется в Зоопарке более светлой.

Опыты, поставленные в этом направлении, уже в 1931 г. дали основание думать, что на окраску соболей влияют не суровые климатические условия вообще, а температура и сила ветра, сопровождающие период линьки и отрастания шерсти. Скорейшее разрешение этого вопроса было необходимо для предупреждения ошибок в выборе места под производственные питомники. Практическая важность вопроса о цвете меха определяется большой разницей в цене светлого и темного соболя.

6

Чтобы ответить на все эти вопросы, надо было создать и выполнить сложный план работ, произвести тысячи наблюдений, взвешиваний, анализов, обмеров: самого соболя, содержимого сотен собольих желудков, кормов, фекальных масс, сравнить данные по наблюдениям в природе с данными о жизни в неволе,

составить качественный и количественный табель дач, изучить сезонность кормов и значение попадающих в пищу сезонных насекомых, вести наблюдения во время гона, изучить период беременности, роды и послеродовой период, вести статистику роста и развития молодняка, следить за отношением к нему самки и самца, изучить кормление детенышей матерью молоком и отрыжкой, вести наблюдения над прозреванием, прорезыванием зубов, сменой ювенального покрова, изменением голоса, выяснить влияние солнца и тени, тепла, холода и ветра, электрического света, шума, вдуматься в смысл и значение других существеннейших «биологических мелочей» жизни и быта соболей.

Вести эту работу необходимо в течение ряда лет и вести методом комплексного изучения, т.-е. рассматривая каждое явление не изолированно, а в постоянной, живой, динамической зависимости с остальными явлениями, характеризующими жизнедеятельность зверька.

И вот кюбзовцы ведут систематические наблюдения и записи, наносят на таблицы тысячи цифр, придумывают остроумные технические приспособления, проверяют каждое предположение, не верят ни авторитетам, ни собственному поверхностному наблюдению, выжигают с корнем всякий антропоморфизм.

Большинство молодежи работает, служит, учится, одолевает всякие трудности и недостатки, часто забывает о собственном желудке и никогда не забывает о желудке зверей.

Каждодневные записи в дневнике Зоопарка обычно начинаются так:

— На складе Зоопарка нет овса, яиц, соломы, яблок.

— Сена для животных осталось на один день.

— Привезли сено гнилое.

— Не доставили молока для животных.

— На складе нет сахара, отрубей, моркови, сухарей, яблок, молока, хлеба.

Редкий день обходится без такой или подобной записи.

Приходится ломать голову, недостаточный продукт заменять другим, при-

думывать экстренные меры, вести собственные заготовки. Над вопросом о заготовке и хранении моркови работает специальная бригада.

Живая жизнь требует неослабного внимания и заботы.

Маруся проводит ночи в вольерах. Таня ночует в Зоопарке, а рядом ручные куницы и хорчата.

Заведующий террариумом привозит рептилий из Туркестана в хорошем виде, но сам болел малярией и приезжает весь в ярывах. Чтобы кормить животных в дороге, длившейся 25 дней, пришлось самолично ловить по дороге собак и вести с собою падаль в пятидесятиградусной жаре.

Максимиц, укушенный гюрзой, занят не столько извлечением яда, сколько изучением его действия.

Заведующий секцией млекопитающих идет к тигру, случайно выпущенному из загона в коридор, с таким хозяйским видом, что зверь чувствует это инстинктом.

Это — факты из жизни кюбзовцев. И это — этапы на путях рождения нового биолога.

Создается новый комплекс, в котором рождение соболя в неволе сочетается с рождением нового ученого, нового человека.

7

5 апреля у соболушки Галочки родилось двое соболят. Один пал, а другой, сынок, жив. Это — второе поколение, рожденное в Зоопарке. 11-го и 12-го апреля принесли соболят Марусяка и Зубанка.

17 мая — в неволе первый раз в мире — родились белки. Их взвесили и описали. При взвешивании белка бросилась в лицо и укусила одного из ребят за нос.

В этот же день родились песцы. Самка была белая, самец голубой, песчата вышли голубые.

Песцовая бригада спорит с беличьей, чьи лучше.

— Ваши белки голые, а наши — пушистые!

— Ваших белок пять, а наших песчат десять!

Всю эту молодежь кюбзовцы измеряют, взвешивают, зарисовывают, следят за ней изо дня в день, ведут дневники с подробными записями, не спят по ночам. Подсматривают, подслушивают, изоощряются в искусстве наблюдать живую жизнь.

8

Художник умеет смотреть, видит в природе краски и оттенки, не заметные неизощренному глазу.

Мантейфель умеет смотреть, как биолог, владеет искусством наблюдать живую жизнь. И учит этому искусству своих учеников.

— Походишь с ним рядом, — говорит один из кюбзовцев, — и будто станешь выше ростом. Глаз становится в роде телескопа. Тоньше слышишь. Он такое подметит и так скажет, что запомнишь на всю жизнь.

Сегодня утром после долгих поисков я нашел Мантейфеля перед аквариумом с только-что пущеными щуками.

Мы стоим рядом. Щуки еще ничего не ели и только начинают осваиваться. К ним пустили мелкую рыбешку. Карасики трепещут наверху, напоминая мотыльков. Щуки стоят и ходят понизу и смотрят вверх. И вдруг, нацелившись, щука стрелой летит кверху. Карась исчезает в огромной пасти. Щука медленно отходит в тень. И повадкой, и формой она очень кого-то напоминает.

— Начинают осваиваться наши крокодилы, — говорит П. А., и мы невольно улыбаемся. До смешного подлинно это подмеченное им сходство.

— Иной раз такое увидишь, — говорит он, — что не забудешь всю жизнь. Разве это свойство памяти? Вы интересовались оводами, приходите сегодня к семи...

9

Я прихожу раньше. Он инструктирует туристов по Подмосковному району.

— Есть вещи, которых нельзя забыть, — говорит он, — и дело тут отнюдь не в свойствах памяти...

— Сидит зайчиха, пыжится — родить надо. А рядом заяц. Он — в роде ни к чему, мешает. Зайчата родятся и сей-

час же — под брюхо и сосут мать. Решаем взять последнего и взвесить его до насоса и после. Явный барыш: узнаем вес молока, высосанного зайчонком, приблизительный вес молока, высосанного всеми зараз. И пошла цепочка. Взвесили. А зайчиха взяла и надула. Отказалась кормить нашего зайчонка после взвешивания. И он пал. В чем же дело? Сейчас же после родов и первой кормежки все меняется. Комплекс материнский сменяется комплексом супружеским. В работе молочных желез наступает перерыв. Покормив последнего и конечно не дожидаясь конца наших экспериментов, зайчиха сходит с самцом. Потому-то он и сидит рядом. И в течение следующих четырех-пяти дней она вовсе не кормит зайчат. Обратите внимание: коровье молоко содержит 3½ проц., а заячье — 24 проц. жиру. Зайчата живы первой порцией. И только через 4—5 дней получают вторую. Разве это забудешь?

А в течение этих пяти дней они сидят под кустиком, под листиком, за камушком и не двигаются. А почему они так сидят? А потому, что это всего безопаснее. Инстинкт самосохранения. У них еще нет запаха, и ни собака, ни лисица их не слышат. А сова неподвижно сидящих не трогает. Запах издают только потные железы на лапках. Через пять дней по этому запаху зайчат находит мать. Покормит, и опять зайчата сидят 4—5 дней. А на 9-й, 10-й день они уже могут есть траву. Разве это забудешь? Все это я рассказываю вам о зайце-беяке. У русака своя биология. Дети рождаются раньше, не на 50-й, 52-й день, как у беяка, а на 43-й, 45-й день. Сидят кучкой. Мать кормит их часто.

— Или вот такая картина. Вскрыта самка бобра. И я исследую задний проход. Брем пишет, что у бобра половое отверстие и мочеточники соединены вместе и выходят в прямую кишку. Выходит, в роде как у утконоса или у ехидны, или наподобие птичьей клоаки. Смотрю и вижу совершенно отчетливо семь отверстий: вверху — мочеточное, под ним — половое, ниже — бурсовы железы, парные, под ними — мускульные железы, парные, а внизу — прямая

кишка. Семь отдельных отверстий со своими сфинктерами, а весь проход, как кошелек с отделениями, закрывается одним общим, наружным сфинктером.

Он рисует схему и показывает всем нам.

— Ну, разве эту картину можно забыть? Умирать будешь, взглянешь и скажешь — самка бобра. А Брем был честный человек. А вот Бюффон двести лет тому назад в своей «Естественной истории млекопитающих» тоже описал бобра, и оказывается, что описание это, хотя и не полное, более правильно, чем некоторые работы нашего времени. И выходит, что двигаться вперед можно, только хорошо зная прошлое. А то как-раз «убьешь бобра».

— Турист должен учиться наблюдать, хорошо разбираться в следах изучаемых зверей и птиц, знать отпечаток их лап. Науку эту можно пройти в Зоопарке. Надо довести свою наблюдательность до того, чтобы, пройдя по лесу, отметить все следы живой жизни.

— Турист должен агитировать охотника-промышленника. Если бы Зоопарк получал то, что не нужно охотнику, — зобы и желудки, — то вопрос о кормах промыслового зверя и птицы был бы изучен гораздо лучше.

— Туристы — легкая кавалерия. Они ревизуют и дополняют то, что мы узнаем, и то, чего не можем узнать из официальных сообщений. Разговорившись с приятелем на охоте или с местным человеком за стаканом чая, узнаешь такое, чего ни в какой официальной бумаге не вычитаешь.

— Оно конечно, — скажет дядя Ермил, сплюнув на сторону, — хоша на бумаге и пишут, ну, а на деле...

И беседа с туристами превращается в целую программу научного исследования. Заказники и заповедники Подмосквового района, хищническая охота, лесные пожары и кочевья лосей, урожай хвойных и перекочевка белки... Есть ли рысь в Серпуховском районе?

— Белка дает около двадцати пяти миллионов валютной, а как мало мы о ней знаем! Проследите за перекочевкой белки в связи с урожаем хвойных, выясните, помогает ли охотнику за белкой

клест? Клест сбрасывает еловые шишки на землю и заставляет белку спускаться вниз и оставлять на снегу следы. Все это — серьезные вопросы, а ответа на них мы не имеем.

Отмечая то, что ему известно о жизни животного мира, — а знает он очень много, — он с особой настойчивостью подчеркивает то, что еще не известно.

— Недостаток наших музеев в том, что они не стимулируют к исследовательской работе, не толкают мысль вперед. Напишут: «Белка питается еловыми шишками». Как будто это все, что надо знать о пищевом режиме белки. А надо написать так: «Вот то немногое, что нам известно о белке», — десять строк, — «а вот то многое и самое важное, чего мы еще не знаем». И тут десятки вопросов. Очень мало мы о ней как следует знаем. А дерем с нее семь шкур. На двадцать пять миллионов!..

Результат таких бесед один. Группа туристов заражается энтузиазмом, пре-
вращается в живой научно-исследовательский аппарат.

10

Он учит не только искусству наблюдать, переключать внимание, направлять его на ряд пунктов, связанных в один комплекс.

Он учит молодежь уменью приспосабливаться к изучаемой среде, ориентироваться в новых условиях и, попав на воду, держать себя не так, как тот «сухопутный энтомолог», который, стоя в лодке и стремясь поймать пролетающее насекомое, шагает за борт.

Сегодня вечером, перед заседанием по оводам, он вспомнил об экскурсии с ребятами к Волге, по дмитровскому направлению, по трассе будущего канала Волга — Москва, верст около двухсот.

Участвовали в экскурсии: он, гидробиолог и человек двадцать ребят в возрасте 14 — 16 лет. Часть шла с ним, без дороги, по компасу. Часть отправилась по реке в лодке, с гидробиологом. Комплексный план обследования был разбит по специальности, и у каждого участника было свое задание.

— За несколько дней до экскурсии, — рассказывает Мантейфель, —

стали ходить ко мне мамыши. Больше из интеллигентских семей.

— Петр Александрович, я к вам. Вы берете и моего Пепочку. Имейте в виду, это — натура болезненно-впечатлительная, требующая особого внимания. Вы конечно учтете все это. И конечно первое правило — не спать на земле. Мы с мужем страшно мучаемся...

— Бросьте мучиться! Все разумные правила будут соблюдены.

Приходит вторая.

— Петр Александрович, я много слышала о вашем педагогическом такте.

— Не всякому слуху верь!

— Вы шутите! Но мой Вавочка — исключительный. Его нервная система — это натянутая струна. Она дрожит. Всякий перегруз очень опасен. Я вас убедительно прошу...

— ...уделить ему особое внимание. И чтобы не спать на земле — это первое правило...

— Благодарю вас! Вы поняли меня сразу!..

Приходит третья. И сразу в слезы.

— Я не могу, товарищ Мантейфель!..

— Перестаньте плакать!

— Я не могу!.. Ведь вы берете и нашего хулигана. Но вы не знаете, что это за хулиган! Вы ведь всего не знаете! Если б вы знали, что он сделал с нами весной!..

— Знаю. О нем писали в «Вечерней Москве» так: «Один из московских архихулиганов плыл под Бородинским мостом на льдине и, когда ему кинули канат, крикнул: «Не принимаю! Приму под Москворецким!..»

— Верно! Верно! Вы знаете, мы с мужем пережили такой позор, такой позор! Отец чуть не убил его...

— Напрасно. Очень подходящий па-
рень.

— Но, ради бога, если вы уж его берете, то будьте вы с ним строги! Беспощадно строги! Иначе он опять такое выкинет. Мы за него не ручаемся!..

— Хорошо. Не надо ручаться.

И вот идем все вместе четвертый день. Темнеет. Дело к ночи. Ребята все поприели и мечтают о запасах, оставленных в лодке. И вдруг лес кончается, вдали река, и огонек на берегу. Кажет-

ся, совсем близко. И тут все, и болезненно-впечатлительные, и исключительные, и архихулиганы, срываются и шпарят на огонь. Прохожу еще с версту, слышу, кричат. Подхожу. Это они посыпались вниз с обрыва. Издали его не видно. Саженой на двадцать. И кричат мне снизу:

— Дядя Петя! Тут не ходи! Круто! Тут, как с печки! Держись левее! Тут полегче!

И вдруг у костра песня:

Начнем, друзья, с разведки.

— Наши! Дядя Петя! Наши! Вышли в самую точку!

Спускаемся. Подходим к костру.

— Ура-а!

Считаю. Одного нехватает. Болезненно-впечатлительного.

— А где же Пепочка?

— А он, дядя Петя, пропал еще днем. Только штаны и остались. Да шапка.

— Не утонул?

— Нет, дядя Петя! Гидробиологи не тонут! Он без штанов, за стрекозами охотится. Так удобнее.

— Дядя Петя! А мы почти все съели! И консервы, и хлеб, и конфеты, и сахар. Осталась картошка.

Мои ребята чешут в затылках. Но картошка уже закипает. Подсаливают ее покурочу.

— А крупа есть?

— Крупа еще есть.

Через четверть часа, услышав шепот, появляется и Пепочка. Голый. Трусики и сумка через плечо.

— Дядя Петя! Теперь мы все стали гидробиологи! Смотри! Первая в Европе коллекция стрекоз!

Болезненно-впечатлительный Пепочка бьет себя по голому животу и по сумке и пляшет вокруг костра.

— Завтра буду их описывать!

Ночуем у костра. Утром я просыпаюсь и не узнаю ребят. Все речные — краснокожие, сухопутные тоже хороши, хотя значительно светлее. У исключительной природы кожа на носу начинает лупиться. Аппетит у всех потрясающий...

Рассказ перебила Настя, служительница из соболиного питомника.

— Петр Александрович! Надо принимать серьезные меры. Опять сторож, не спросясь, накормил соболей галками. Как же мне вести пищевой учет? Собирать собрание надо.

— Ну, а вы, Настя, ему объяснили?

— Не доходят до евонных мозгов мои слова. Поговорите с ним всерьез, не откладывая. Далеко ли до беды! Я который раз замечаю. А сегодня всхожу, вижу — перья...

Петр Александрович с Настей уходят. И мне пора уходить. Опять пришел за одним, а узнал другое.

11

Июнь. На прудах первые выводки, белые, желтые, серые пушистые комочки. С каждым днем птичьего молодняка все больше.

24 июня из Перми привезли двух лосят: Лешку и Дочку. Им по полтора месяца. Привезли в очень тяжелом состоянии. Самец с поносом. 26 июня он отказался от ивовых веток, а 27-го пал. Дочка жива. За ней ходит Таня. Иногда и спит вместе с нею, положив руку ей под голову. А рядом спят привыкшие к ней выдрята и хорьчата. И едят рядом. Выдрята и хорьчата бегают за Таней и за Марусей по парку. Приходя утром, Таня волнуется, жива ли Дочка. Подойдет и окликнет: «Дочка! Дочка!» А та лежит тихо и не всегда сразу подымет голову.

Дочка, видимо, выхаживается. Сегодня пришла за Таней на собрание клубовцев.

У Мирдзы нелады с родителями из-за ее увлечения работой в Зоопарке.

Отец Маруси тоже недоволен. «Но я надеюсь его переубедить» — заявила она мне сегодня.

12

На собрании кружка загсворили о журнале. Материалы по научной работе кружка, доклады, отчеты нигде не публикуются, залеживаются, не получают широкой огласки и коллективной проработки.

Противником журнала оказался Зоря, выступивший с горячей речью в защиту стенгазеты. Он доказывает, что с появлением журнала пострадает газета, и с жаром говорит о полит-культ-просветной работе КЮБЗ.

В углу, на лавке, в стороне от стола, обхватив руками колени, сидит белокурый подросток лет семнадцати, босой, в коротких потрепанных штанах и в старой, вылинявшей майке.

Когда оратор окончил свою горячую речь, подросток с места спокойным и медлительным сибирским говором отвечает:

— Вопрос старый. И по сути дела, и по размерам материалы чисто журнального характера. Дело говорит за себя. Почто трепаться?

Меня поразило сочетание детского лица, босых ног, продранных штанов и спокойной, взрослой деловитости суждения. Больше о журнале не дискутировали.

— Кто это?

— Шура. Работает по мелким грызунам.

После собрания я сижу у него в препараторской, рядом со львятником. Крохотная комнатка. В углу нехитрая печурка для выварки черепов и костей. По стенам самодельные полки с чучелами, банками, препаратами, с завернутыми в бумагу тушками. На обитом железом столе, — неотработанный череп грызуна, ножи, ножницы, пинцет, проволока и толстый том проф. Олева. В крохотной комнатке тесно двоим. Пахнет формалином. Во всю стену большое окно с мелким переплетом.

Сижу и слушаю.

Шулая меня серьезными серыми глазами и как бы прокладывая дорогу неспешным, осторожно идущим за мыслью словам, он рассказывает мне о путях своей восемнадцатилетней жизни.

Рассказ немногословен. Он отмечает только основные точки и повороты на той извилистой, но верной тропе, что из глухой сибирской деревни под Тюменью привела его в Москву, довела до Зоопарка, до лаборатории МГУ и Пушного института, где он сейчас учится и работает.

— Начать придется, пожалуй, с того, как отец весной разорял вороньи и галочьи гнезда на нашей усадьбе. А я подбирал голых птенцов. В первый раз заинтересовался тогда этим делом. Голые, прожорливые, орут. Спрятал их за сараем и тайком от отца стал заниматься. Поначалу попало от отца по затылку...

Он улыбается, показывая ямочки на щеках.

— Значит, начал я с орнитологии, по собственному желанию и с отцовского благословения в виде подзатыльника.

Ямочки пропадают.

— Отец жил с мачехой... В восемнадцатом году старшая сестра вышла замуж за пленного мадьяра. Народ не плохой, но очень горячий. Бросались с отцом друг на дружку с топорами. Ходил я в школу. Так прожили года три. А тут вышло мадьяру разрешение ехать на родину. Сестра с ним уехала. Стало плохо с мачехой без старшей сестры. Прожил еще год. Уехал от отца в Тюмень к другой сестре. Ходил во вторую ступень. Школа дала мало, почти-что и вовсе ничего. Много читал. Брал книжки по животным. Познакомился с краеведами и завел дружбу с одним учителем. Очень подходящим оказался человеком. Организовал кружок по местной фауне. До нас насчитывали в нашем крае 213 видов птиц. А мы отыскали 214-й — клест-сосновик. Поэтому клесту и стали называться: кружок сосновиков. Не клеста окрестили своим именем, как, скажем, «лошадь Пржевальского», а себя по имени открытого нами клеста... Живу у сестры. Понимаю однако, что не дело. У них свои дети. Куски считанные. Надо подаваться дальше. Долго не думал. Линия ясная. Решил ехать в Аскания-Нова, в заповедник. А я полóжил за правило: решёное дело не откладывать. Продам барахлишко, какое было, одежонку, книжки лишние. Сколотил сорок рублей. Поехал через Москву. Утром пришел в Зоопарк. Встретился с Петром Александровичем. Ну, — он улыбается, — не больно много говорили. Остался в препараторской. Работаю тут третий год...

— Чучела делаете?

— Нет. Тушки.

— А почему тушки?

— С чучелами начучелить можно, — улыбается он. — Тушка много серьезнее. Если тушка в порядке, с черепом и с этикеткой, вот как эти на полке, — это серьезная вещь. Это — точный международный научный язык. А чучело есть чучело. Тут заводится всякая фантазия. Из вороны можно дракона сделать. Да и места много занимают. Это тоже учесть надо.

Я рассматриваю лежащую на столе тушку грызуна.

— Но чучело дает более полное представление о животном.

— Более полное? — Он щурится. — Сказки и детские рассказы дают еще более полное. А какое?.. Вот давеча вы говорили об обезьянах. Вы употребляли такие слова: «капризность», «задумчивость», «грусть», «коккетство». И даже употребили слово «человечность». Это же явный антропоморфизм. Те же сказки...

— Дело не в названиях, — возражаю я. — За этими словами стоят представления и понятия о человеческих свойствах. Но аналогии естественны. Они помогают подойти к животному, приоткрыть его сущность, иногда построить правильную догадку...

— А чаще неправильную! — возражает он. — Очень часто извращают сущность! Словами и аналогиями никакой новой сущности не откроешь. Ее надо исследовать. Точно установить новый комплекс и назвать его не старым, а новым, непутающим словом. — Он смотрит на меня твердо и улыбается.

Я согласен с его мыслями и понимаю его упорство. И, несмотря на это понимание, чувствую, что во мне сидит старый словесник, а он — юный натуралист.

— А почему вы работаете по мелким грызунам?

— Я по мелким грызунам, потому что тут всегда материал под рукою. А сделано по ним мало. Пожалуй, именно потому, что они рядом. Вот у нас Сушеный занялся домашней мышью, — это дело. А обезьяна, кенгуру, тигр —

это экзотика. Их можно наблюдать только в клетке.

— А где вы ночуете?

— В помещении КЮБЗ. На лавке.

— А кормитесь?

— А тут столовая. А то хожу в Краснопресненскую.

— Заходите ко мне. Если вздумаете, можно с ночевкой.

— Будет дело, зайду. А так, без дела, «в гости» не хожу...

— А когда вы уезжаете и куда?

— В Ташкент. Повезу зверей: обезьян-резусов, рысь, хорьков, куницу. Еще кое-какую мелочь. Ну, и постараюсь поработать по своей линии. Это у нас такая установка: пользоваться каждым удобным случаем. Недели две побуду на их содержании... Там туркестанская крыса, мышь Северцева. А главная моя цель — летучая мышь...

Он щурится и улыбается, думая о предстоящей поездке.

Я ухожу. В парке темно. Останавливаюсь. Стою в темноте перед золотым окошком. И не могу оторваться.

— Вот он, новый Фауст. Всей жизнью, всей мыслью, всей своей удивительной для его восемнадцати лет организованностью повернутый к огромному окну науки...

Dass ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkenskraft und Samen,
Und thu nicht mehr in Worten kramen ¹⁾.

13

С 23 мая поставлены наблюдения над жизнью и развитием собольего молодняка. Систематические наблюдения над детенышами соболя никогда нигде не проводились: удерживало опасение, что самка либо загрызет их, либо бросит.

Под наблюдение взяты дети прирученной соболюшки Муськи: Цыганка и Пятнышко. Наблюдения записываются в особый дневник. Каждый день соболят взвешивают и промеривают.

¹⁾ И чтобы силы естества
И их живые начинанья
Дался мне, как подлинные знанья,
А не как мертвые слова.
(Гете. «Фауст». Перев. Струговщикова.)

До 30 дней соболята питаются молоком матери и ее отрыжкой. Материнская отрыжка вводит в желудок детеныша и недостающую соляную кислоту. В дальнейшем мать начинает кормить соболят своей пищей.

Привожу несколько записей из дневника Маруси в подлиннике.

«25/V. Муськиным соболятам уже 43 дня. Интересно выяснить, кормит ли она их отрыжкой. Наблюдала вчера и сегодня. Получив мясо, Муська брала один кусок и тащила его в домик. Подержав минуту во рту, она бросала его в нераскусанном виде на дно. То же самое проделала и со вторым куском. Затем она выскочила из домика и начала есть мясо. Соболята же, как только кидали им мясо на дно, сейчас же с жадностью принимались разгрызать его на волокна, а затем и проглатывать. Материнской отрыжки ни в домике, ни возле него не заметно.

25/VI. Соболят отлучили от Муськи. Они игривы и между собой довольно дружны. Придя вечером в соболятник, я увидела Цыганку, лежащую внизу с вытянутыми назад задними ногами. Потом она начала волочить зад по земле. Соболенка отсадили в отдельную клетку малого размера.

31/VI. Цыганка уже может бегать, но еще очень неуверенно. Когда ее посадили к Муське, она очень обрадовалась и начала бегать, и от сильного возбуждения с нею сделался короткий припадок, выразившийся в судорогах. Цыганку отсадили от Муськи.

9/VII. Сегодня вечером у Цыганки был сильный припадок, выразившийся в судорогах и сильном крике, постепенно утихавшем. После припадка соболенок сильно ослаб».

На Новосибирской зооферме припадки соболей в 1930 году приняли массовый характер с большим процентом падежа.

Яркое описание острой формы заболевания дано бактериологом Тервинским и заведующим Новосибирским питомником тов. Мельниковым; они много работали над изучением эпилепсии у соболей, но не установили причин болезни.

«Заболевание наступает внезапно. До самого последнего момента корм выведен весь. Нарушений в водопое не замечается. Часа за полтора-два соболь проявляет видимое беспокойство, начинает усиленно бегать по клетке, как бы разыскивая выход. Взбирается быстро на сетку и так же быстро спрыгивает, останавливается, внезапно и чутко к чему-то прислушивается, втягивает усиленно носом воздух, что-то нюхая. Впечатление получается такое, что за соболем кто-то гонится, и он встал в защитное положение, улавливая противника. Движения вполне нормальны. Внезапно с резким и сильным криком отскакивает в сторону, продолжая смотреть в угрожаемом направлении, оглядывается по сторонам, как будто выбирая новую позицию, встречаясь взглядом со своим хвостом, с силой бросается в сторону, оборачиваясь мордой к месту, где сейчас только-что стоял. По всей картине видно, что соболя преследуют призраки. От них он прячется за гнездо, забирается в угол и снова отскакивает, оборачиваясь назад. На внешние раздражения не реагирует. Наше присутствие у клетки не фиксирует его взгляда, точно так же и вхождение в клетку не останавливает процесса преследования, и картина протекает в том же виде. Глаза широко раскрыты, наполнены ужасом, округлены, горят, зеркальце сухое. Каждый прыжок сопровождается сильнейшим криком ужаса. После прыжка спина согнута, ноги напряжены. Поза говорит за то, что соболь готов вновь сделать прыжок. Такое явление длится минут пять, после чего у соболя заметно подергивание головы и конечностей. Еще новый прыжок, и соболь с диким криком падает набок, и начинается сильнейший пароксизм, во время которого он весь трепыхается, делая круговые движения вокруг своей оси, перевертываясь через голову, одним словом, крутится во всех направлениях, в бессознательном состоянии стуча челюстями. Такой пароксизм длится одну-две минуты, и соболь успокаивается, лежит без движения, дышит тяжело. Передышка длится очень недолго — 0,5—1 минута. Снова повто-

руется такая же картина прыжков, испуга и припадка. После первых двух-трех припадков движения соболя расстраиваются, становятся не такими уверенными, и весь организм ослабевает. Болезнь длится один день. Смерть наступает во время припадка».

14

В Зоопарке наблюдались единичные случаи так называемой эпилепсии у соболей и куниц. Припадки случались в жаркие дни, особенно на солнечном свете, если соболя почему-либо сильно волновались. Некоторые соболя впадали в обморочное состояние всего лишь один раз за все время их пребывания в Зоопарке. Случай падежа во время припадка был только один: в июле 1930 года пала старая баргузинская самка, которая свалилась с дерева, где сидела полчаса на солнечном припеке.

О наблюдениях и опытах в этой области Мантейфель рассказывал на собраниях:

— Два года тому назад, в 1930 г., Всекоохотсоюз обратился в Зоопарк с просьбой принять из Новосибирского питомника 10 припадочных соболей для установления причин этой болезни. Мы ощущали недостаток в подопытном материале, а потому охотно согласились принять новосибирских соболей, которые и прибыли 24 июня 1930 г. Мы поместили их отдельно от соболей Зоопарка, на изолированном и отгороженном участке ветеринарного пункта, в небольших, удобных для наблюдения вольерах.

Один из соболей, байкальский самец, еще за два дня до отправки в Москву впал в обморочное состояние и не приходил в себя и в пути. В Зоопарке он лежал неподвижно, на уколы иглой не реагировал и автоматически глотал мелкие кусочки мяса, которые вместе с яйцом клали ему в рот. Соболю редко дышал, зрачок глаза временами реагировал на свет. Был созван консилиум врачей и бактериологов. Соболя, не умерщвляя, вскрыли и из бьющегося сердца взяли кровь для посевов на питательных средах. Посев из крови жи-

вого сердца дал чистые культуры стрептококков.

Путем инъекции ими был заражен хорек. Через восемь дней хорек пал с признаками эпилепсии.

Но тут вышла промашка. По причинам случайного характера посевов из крови хорька своевременно сделать не удалось. Чистые культуры стрептококков, полученные от соболя, погибли, и работа оборвалась.

Пробы крови от эпилептических новосибирских соболей, взятые из хвоста и других частей тела, не давали результатов. Бактерии, живущие в сердце, попадая в кровеносные сосуды, очевидно ликвидировались там лейкоцитами. Случаев же, позволявших взять кровь из живого или только-что остановившегося сердца, ни в 1930, ни в 1931 г. не представлялось.

И вот два года я держу в голове мысль о стрептококках, гнездящихся в области сердца, и о дальнейших опытах с заражением падучей, а затем, в дальнейшем, и об опытах с прививками против падучей. Наличием стрептококков в области сердца хорошо объясняется усиление припадков при волнении и на солнцепеке. Солнце или волнение зверя вызывает усиленную работу сердца; пульс кажется неуловимо частой дробью, кровь обрабатывается с громадной быстротой, и возможно, что токсинные яды бактерий и сами бактерии могут попадать в мозг в таком количестве, которое расстраивает работу координирующих центров. Необходимы дальнейшие опыты. Я жду случая.

15

Со 2 июля начался соболиный гон. Под наблюдением находятся самки: Муська, Зубанка, Беянка, Галочка и Строгая и самцы: Ачинский, Енисей и Москвич.

Каждый день гона подробно описывается в дневнике, начиная с того момента, когда самец и самка, сидящие отдельно, спускаются в одну вольеру, и до того, пока их снова не разделят. Отмечается поведение самки и самца во всем доступном наблюдению комплексе:

звуки, движения, игры, раздражение, злоба, преследование друг друга, равнодушные, индивидуальные особенности в отношениях данной пары.

Сегодня я видел ватагинские зарисовки соболиной петли в разных стадиях. Девять рисунков с предельной яркостью и научной точностью зафиксировали состояние петли от стадии полной сухости — 0 до стадии полной открытости — $\frac{8}{8}$, и эти математические обозначения приняты для записи стадий течки.

Уже в первой половине гона обозначилось, что моментом, наиболее гарантирующим спаривание, является стадия $\frac{8}{8}$. Дальнейшие наблюдения укрепляют этот вывод.

Наблюдения идут не только днем, но и ночью.

Сегодня Маруся рассказывает:

— Стоим ночью перед вольерами и смотрим. Над вольерой горит электрический фонарь. А соболи наши встали на задние лапки, передние сложили и на фонарь смотрят.

— Дядя Петя, смотрите, соболя на электрический фонарь богу молятся!

И дядя Петя стоит и смотрит.

— Нет, — говорит, — они не такие дураки. Смотрите наверх!

Смотрим. Об электрический фонарь бьются сотни насекомых: жучки, бабочки. Обжигают крылышки и падают вниз. А внизу наши богомольцы ловят их и с удовольствием с'едают.

— Теперь видели?

— Видели, дядя Петя! Целое открытие!

И вот мы ставим новую тему: роль сезонных насекомых, поедаемых соболями, в их пищевом режиме и их специфическое влияние.

Бригада занята следующим вопросом: у некоторых подопытных соболюшек кривая петли, опустившись с $\frac{8}{8}$ до $\frac{1}{8}$, вновь начинает подыматься. Не стоит ли этот под'ем в связи с ночными пиршествами под электрическим фонарем?

31 июля, в самом конце гона, во время ночного дежурства пала от припадка

падучей новосибирская соболюшка Стрoгая, которая до этого времени не страдала эпилепсией.

Ночью же был разбужен бактериолог товарищ К — ая, которая из свежего сердца взяла для посевов кровь. Через 18 часов, т.-е. 1 августа, при проверке засеянных сред оказался чистый рост стрептококка.

3 августа культурой стрептококка был заражен хорек.

Мантейфель дождался случая.

В этот день я возвращался поздно и шел через новую территорию по пустому парку.

Птицы на пруду затихали. На турье горю, у кормушки, под навесом сгрудились туры, мирно жевали сено. Дремали рядом огромные яки. Где-то журчала вода. Наверху, на скалах, как высеченные из камня, неподвижно чернели на золотистом небе огромные грифы.

Я стоял у решетки. Як терся о сетку, кротко подставляя мне курчавую, безрогую голову.

Вспоминалось древнее кочевье.

Я думал о тысячелетнем инстинкте, заставляющем человека приручать зверя

Сейчас искусство приручения вступает в новую фазу. Одомашниваются новые дикие животные. Разведение пушных зверей в неволе становится злободневной темой. В недалеком будущем гибридизация создаст новые формы, которых не видела природа. Уже несколько лет идут разговоры об удивительных опытах с человекообразными обезьянами.

Ко мне подошел незнакомый человек, и, стоя рядом, мы разговорились на эту тему.

Оказалось, что он несколько лет работал в Аскания-Нова и вел там интереснейшую работу по восстановлению зубра. А сейчас работает над планировкой новой территории Зоопарка в Останкине. Под Зоопарк там предположено отвести до шестисот гектаров.

Мы вместе вышли из Зоопарка и долго сидели в сквере на Кудринской площади.

— Надо создать для зверя условия, наиболее близкие к его естественной среде. В естественных условиях у него

и к человеку нормальное отношение. И нет ничего труднее зверя, в детстве избалованного близостью к человеку. Я имел дело с самым гну, выросшим в Аскания-Нова. Это был форменный хулиган. Мне стоило огромного труда обуздать это разнузданное животное, внушить ему утраченное уважение к человеку. Но у меня не было в нем никакой уверенности. Излишняя близость с человеком перестроила всю его натуру, создала из него капризного и неприятного неврастеника.

Я вспомнил разговор Мантейфеля с мамашами и рассказал моему собеседнику о «болезненно-впечатлительных», «исключительных натурах», «архихулиганах».

— Да, но исправить зверя труднее, а испортить его еще легче. И тут, и там делу вредит одно: излишняя и ни на что не нужная возня с молодняком. У зверя создается условный рефлекс, что, как только к нему подходит человек, весь нормальный ход вещей должен измениться, и он настораживается, нервничает, злится. А надо так: я делаю свое дело, а ты — свое, и мы друг другу не мешаем. А этого почти никогда нет. Человек эгоцентричен, требует, чтобы все вертелось вокруг него, плясало под его дудку. К тому же большинство ухаживающих за животными недалеко ушло от деревенских пастухов, которые в одно лето портят самого спокойного быка.

— В чем секрет влияния Мантейфеля? — неожиданно заканчивает он свою мысль.— В том, что у него нет никакого эгоцентризма. Он делает свое серьезное дело и этим воспитывает и молодежь, и взрослых. А посмотрите, какой театральной походкой ходят наши знаменитости. За версту видно. Вот идет индюк, то-бишь знаменитость!..

Я рассказываю ему об опытах с падучей. Оказывается, он уже знает об этом. Все ждут, что будет дальше.

17

15 августа, около 12 часов дня, хорек, зараженный стрептококками, пал. Уже 14 августа поведение его резко измени-

лось. Зверек проявлял беспокойство, бросался из стороны в сторону, взвизгивал, дневная порция мяса оставалась нетронутой.

Труп тотчас был вскрыт. Эмульсия из органов павшего хорька была привита двум другим хорькам, кошке и лисе.

Соболя Рыжего отправили в лабораторию искусственного климата на время линьки. Там он находится в температуре минус 12° и подвергается влиянию ветра. Длительный опыт должен укрепить или опровергнуть предположение о том, что цвет меха зависит от температуры и ветра в период линьки.

18

Конец августа. На прудах—затишье. На воде — много пера и пуха. Совсем не видно взлетов. Птица линяет. Молодняк растет. Маленькие стайки уползают далеко от матерей.

Медвежата на новой территории вошли в силу, перегрызлись, и молодой медвежонок пал.

В Свердловский зоопарк оправляют двух подросших львят и шесть штук обезьян. В Ташкент отправляют: рысь, самку, семь штук обезьян-резусов, четырех хорьков, куницу, волнистых попугайчиков. Везет их Шура.

Кавказские олени и олени-маралы чистят рога. У северных оленей рога совсем очистились.

Вчера северный олень Васька схватился с молодым самцом и чуть не убил его. Молодого перевели в другой загон Олени неспокойны.

Стало свежее. Сегодня воздух прозрачен по-осеннему. Дальше видно. Лучше слышно. И мысли перестраиваются на осенний лад.

В парке пусто. Все раз'ехались. На-днях уехал Мантейфель.

Сегодня я зашел в домик к человекообразным. Старик В. готовит для своих питомцев кашу с молоком. Подсыпает сахару, пробует, чтобы каждому было по вкусу. Разговаривает со своей любимцей, орангом Фриной. Фрина сидит тихо, слушает.

— Ах, Фрина, понимаешь ли ты, что тебе, быть может, суждено показать

людям живое подобие их предка? А? Ведь, если это случится, и ты родишь получеловека, о тебе заговорит весь мир. Ты это чувствуешь? Люди придут к тебе посмотреть на свое живое прошлое. Твое дитя окажется моим прадедом, пращуром человечества. А? О тебе напишут книги, сложат легенды...

Фрина сидит, задумавшись. Кажется, что она все понимает и что ей грустно от больших и глубоких дум, и она недоумевает, зачем тревожить это темное прошлое.

— А чем окончились, — спрашиваю я, — опыты в Сухуме с оплодотворением человекообразных?

Старик морщится и пробует кашу.

— Давайте вовсе не говорить о Сухуме! Все это очень тяжело. Я слушал их доклад. И что же я услышал в первую очередь? Обвинение нас в том, что мы тратим на каждую человекообразную от десяти до пятнадцати рублей в день. Они предложили два рациона. Один — на 1 р. 30 к., другой — на 2 р. 50 к. в день. Бананы они заменили морковью! Фрукты — репой и другими овощами! Калорийность соблюдена, а это, по их мнению, — самое главное...

Он разливает кашу по судкам.

— Мы им ответили так: — Зоопарк ставит своей целью сохранить человекообразных. Вы ставите своей целью — сохранить средства. Но сохраните ли вы обезьян? Для нас тут нет никакого вопроса! Мы все это уже пережили. Когда к нам 4 июня 1926 г. прибыло целое семейство: Густав с самкой и крошкой Фриной, мы измучились с их питанием. Мы бродили в потемках.

И дело наладилось только тогда, когда мы ввели бананы. Со дня получения бананов Фрина сразу переменила свое отношение ко всей той пище, которую отвергала раньше. — Старик отрывается от судков и подымает палец. — Ведь малюток оранга, выросших в Зоопарке, имеем только мы и еще Дрезденский зоосад. Мы — свою Фрину, а они — своего Буши. Но Буши вырос при матери, а Фриночка росла сиротой... Понятно, что мы так ответили этим новаторам!..

Он энергично стучит ложкой по судку.

— И вот всем известно, что из этого вышло! Ничего иного и выйти не могло! Нет, давайте не говорить об этом...

Шимпанзе протягивают сквозь сетку руки.

— А что касается калорийности, — говорит он, помешивая кашу, — то в каменном угле калорийность еще выше. Почему бы не кормить их каменным углем? А?.. Фрина! Кило каменного угля! А?..

Он идет к шимпанзе. Самец и самка встречают его нетерпеливыми криками, прижимаются к нему, обнимают, целуют, садятся к нему на колени, как дети. Он кормит их с ложки по очереди.

Они до смешного напоминают непоседливых, шаловливых и совершенно не дисциплинированных ребят.

Проглотив по ложке вкусной молочной каши с густыми пенками, они сразу срываются с места, взбираются по стене вверх и, сделав круг, возвращаются за второй ложкой.

— Вот видите! У них нехватает терпения проглотить две ложки под ряд. Ну, — грозит он им ложкой, — если вы будете безобразничать, я вам каши не дам!

Он прикрывает чашку рукой. Они отстраняют руку, с'едают несколько ложек под ряд и опять уносятся под потолок.

Наевшись, они начинают играть с едой и, набив обе щеки, выплевывают ее на пол.

Самец прыгает к старику на колени и становится вверх ногами. Он жelaет есть, стоя на голове.

Вместо каши он получает шлепок и с преувеличенно обиженными криками взбирается кверху и, сидя в кольце, не перестает орать.

Старик собирается уходить. Самец моментально прыгает сверху, вдвоем они хватают старика за руки, за ноги, тянут сзади за штаны.

Старик выбирается из клетки, вытирает пот и кивает на публику, которая хохочет, глядя на это представление.

— Со стороны это смешно. Эта клоунада кажется проявлением ума. Их

считают умнее орангов. Но это же хулиганы!

Он запирает дверь всяким замком и подмигивает мне.

— Посмотрите, что они будут делать, когда я отвернусь!..

— У них в характере, — продолжает он, — все перепутано, это — скопище всяческих противоречий: добродушия и злости, ласки и жестокости, шуток и зверства. И никакой сосредоточенности! Они ни в чем не знают меры. Их ласки грубы. Никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Он целуетя, но он тут же может и укусить, если ему вздумается, а это небольшое удовольствие, — он показывает синяк на руке. — Особенно Петька! Мимоза умнее...

Старик берет другую чашку и начинает готовить кашу Фрине. Как только он показывает спину, оба шимпанзе бегут к дверке и, плутовато поглядывая друг на друга, начинают трясти замок, пробовать, хорошо ли он заперт.

— Видели? — показывает старик. — Замки у нас дешевые. Как-то я плохо запер, и они ухитрились открыть. Что тут было! В одну минуту стекло вдребезги!.. Хорошо, что это случилось при мне. Ведь могли же обрезать, могли и простудиться. Бить стекла — наше первое удовольствие. Я вам говорю: хулиганы! Уличники!

С чашкой в руке он идет к Фрине.

— Ну разве же можно сравнивать их с этими умниками, с моей милой Фриной!

Фрина сидит, задумавшись, и мирно протягивает мне свою удлиненную руку. И, — пусть простят кубзовцы мой закоренелый антропоморфизм, — я пожимаю эту удивительную руку.

— Здравствуйте, Фрина!

Она ест спокойно и держит мою руку в своей. Я с волнением ощущаю ее теплую, сухую ладонь. Коричневатая рука Фрины чуть теплее человеческой, — температура оранга — 38°, — и сверху покрыта рыжеватыми волосами. Ногти узки и синеваты, под ногтями — синяя полоска.

Фрина ест и пожимает мою руку. Я поворачиваю ее руку и рассматриваю ладонь.

Старик кормит Фрину и беседует со мной.

— Смотрите: пальцы ее удлинены, особенно нижний сустав. Если вы всмотритесь в верхнюю подушечку пальца, то увидите, что завиток на ней не простой, как у нас, а двойной. Такой же завиток и на нижнем суставе. Это стоит в связи с особой тонкостью осязания.

Фрина ест, слушает и тихонько покалывает мою руку ногтем большого пальца. Он не только короче, но и тоньше остальных.

Оранг Мориц терпеливо ждет. Старик кивает ему, и Фрина протягивает Морицу сквозь сетку другую руку и продолжает есть, держа за руки меня и Морица.

Окончив еду, Фрина ложится спиной на толстый канат-качели, головой к сетке, отделяющей ее от Морица, и, придерживаясь за кольцо ногами, заигрывает с Морицем, протягивая ему обе руки.

Старик кормит Морица.

— Вы спрашиваете: в чем проявляется их ум? Ну, скажите, кто научил их пользоваться рычагом? Они подняли палкой доску пола. А когда мы отняли у них палку, они поставили качалку дыбом, засунули концы в щель и использовали ее как рычаг. А кто научил их устраивать из веревки качели, продевая конец с узлом в отверстие сетки? Заходите на этих днях. Я принесу дневник с моими записями и почитаю вам.

Сухумские опыты не могли привести ни к чему уже по двум причинам. Во-первых, нужен правильный пищевой режим. Во-вторых — близость к зверю. Нельзя думать, что если у вас в руках веревка, палка и шприц с семенем, то вы имеете налицо весь комплекс полового акта...

Входит Нина. Фрина протягивает ей сквозь сетку губы. Шимпанзе весело кричат.

Мориц улыбается, обнажая огромную, страшную пасть.

— Ну, Михаил Алексеевич, — говорит Нина, — намаялась я с вашей Фриной за вашу болезнь! Капризничает, не желает есть из моих рук. Сидит и смотрит в дверь — ждет вас. Насилу я ее уломала.

Старик молчит.

— Я часто думаю об этом. А вдруг... Как вы думаете, — обращается он ко мне, — сколько мне лет? — И не дождавшись ответа: — Семьдесят пять. А до Фрининого совершеннолетия еще не меньше пяти лет. Вот и задумаешься.

Я ужоу. Фрина провожает меня долгим взглядом.

— До свидания, Фрина!

Она молчит. Нина разрезает фрукты.

19

Сегодня заседание КЮБЗ не состоялось. Народу пришло маловато. А главное — в помещении кружка, в зеленом домике, погасло электричество. Я хотел было уходить, но встретил Юру. Мы присели на лавку и разговорились о летней поездке.

В комнате рядом пели и шумели, но скоро разошлись, и мы остались одни и сидели в темноте. В Зоопарке уже никого не было. От пруда в открытом окне тянуло свежестью, сквозь черную сетку деревьев были видны сторожевые огни с золотившейся под ними песчаной дорожкой, а из ближайших аллей глядела густая темнота августовской ночи.

И вот тут-то Юра и рассказал мне про этот «случай». Я слушал его с особой внимательностью, обостренной темнотой, тишиной парка, далеким шумом города и необычными ночными звуками, долетавшими из обезьяньих клеток.

— В тот вечер, — начал Юра, — на повестке стоял доклад Симы о поездке его за гадами в Туркменистан. Вернулись они с Максимычем в июне с большой добычей. Привезли две кобры, две гюрзы, одну эфу, — водится в Африке, в Аравии, в Индии, а у нас — редкость, — и 85 варранов. Но приехал он больной, с малярией и весь в нарывах. Провалился больше трех месяцев и выходился только к зиме. А в январе поставили на повестку его доклад и еще какие-то текущие дела.

Но началось нескладно. Писанный его доклад затеряли в больнице. Пришлось ему говорить. И вот он стал блуждать около своей темы. А блуждать он стал потому, что и в самом деле заблудился

там, в Кара-Кумских песках, в пустыне, под Новым Мервом.

Промолчать об этой истории он не мог. От нее все его беды начались. И, видать, за свою болезнь он не раз о ней думал. И он не только не промолчал, но как-раз с нее и начал: как вышел со станции Кара-Бата на заре в пустыню, как попал в песчаную бурю, как потерял солнце, как... И пошел крутить и трепаться. Так что доклад отражал его поездку стопроцентно. Там заблудился и тут блуждал..

Почему он заблудился? Это конечно существенно. Но сейчас уже не столь важно. И об этом потом...

Словом, блуждал он в пустыне почти двое суток. И если бы не случайная встреча с декханином, пропал бы там и вовсе. Вернулся он на станцию на четвереньках. От обуви ничего не осталось. Руки, ноги, лицо были в крови. Глаза закрылись. Днем в песках было 80° жары, а ночью — меньше десяти, и он трясся и от холода, и от ран, и от ожогов. Хорошо, что басмачи не прикончили.

И только прокрутив весь этот приключенческий фильм, начал он наконец по вопросу: о Кара-Кумских песках и о рептилиях.

И тут мы еще раз послали за Петром Александровичем. Он хотел доклад слушать, и все его ждали. Но Петр Александрович опять не пришел.

— Почему не идет?

— Сидит, — говорит Настя, — под кустом на снегу и на белок смотрит. Я позвала, а он не слышит.

— А ты бы еще позвала!

— Я и еще раз позвала, потому что, говорю, заседание началось, и Сима наш докладает. А он говорит: «Иди, не мешай, заседание назначить можно, а этого не назначишь». Так и сейчас там сидит, без шапки, а мороз здоровый...

— Ну, Маруся, сходи, отнеси ему шапку!

А тут он и сам входит. И стали все вместе слушать. Ну, с ним конечно все по-другому. Докладчик развернулся всюю. К теме подтянулся вплотную. Забирает все глубже. Доклад — что надо. в европейском масштабе. А что непи-

санный, так даже лучше. Не зря в Кара-Кумах трепался. Видел, как ящерица-скаптейра пожирала тарантула, весной видел переплетающиеся следы варранов, поймал волкозуба—змею; про варранов все заслушали — честь честью. И видать, что еще на десять докладов хватит.

А тут входит Степан, из лаборатории, Шепчет Петру Александровичу на ухо, — к телефону или что-нибудь срочное.

Петр Александрович выходит. А по дороге одного за руку, другого под локоть, третьего за плечо, мне глазом мигнул, — он слов не любит. И вот мы потихоньку за ним выходим — семь человек. А в бухгалтерии двое служителей дожидаются с кольями в руках и с сачком, метра в два, брезентовый, с кольцом железным.

- Айдайте, ребята, барс сбежал!
- Как? Что? Откуда? Куда? Где?
- На новой территории.
- Ну, что ж, метлы брать?
- А не пушки же!

А они метел страсть боятся. Взяли метлы, веревку с петлей. Идем, как на пружинах. Посмеиваемся: «Мы это, да он у нас, да в два счета!..» Бежим все скорее... Не разберешь, холодно или жарко. Пробежали Кабанихиным переулком в калитку. Идем по новой территории. А сторож с ружьем из будки нос высунул: вон, говорит, там у болота!.. А сам опять в будку.

Смотрим — в углу, перед болотцем, у сетчатой стенки сидит на снегу, в низинке. Слева — сетка, справа — сетка, подходим цепью. Оскалился, рычит, зубы поблескивают. Луна. Хорошо все видно.

Петя сачок наладил — раз ему на голову! Отбил лапой, прыжком через нас и вдоль сетки мягким ходом к забору. А забор в три метра, сверху колючая проволока в три ряда. Вдруг косым прыжком раз через забор — на соседний двор! Двое — за ним через забор, мы — через калитку в переулок. А входа во двор нигде не видно, опять забор. Петр Александрович — к забору, на него—Миша, на Мишу — я, по спинам через забор. К сараям. А сарай — один за другим, в линию. Перед сараями —

бревна, ящики, барахло разное. По ящикам опять следы — на крышу. Жарим по крыше с сарая на сарай, все выше. Глянул я вбок — снег под луной блестит, а по снегу, по скату, черные тени друг за дружкой, как в кино, и всё безголов почему-то. Странно, почему такой пустяк запомнился?.. А в самом конце в роде жилья — трубы, и крыше конец. И положение такое: крыша на одну сторону, направо — скатом, налево — ребро, по ребру — в ряд трубы, между трубами и ребром — только человеку пройти, по борту. Смотрим, а он на самом борту присел, в тени за трубами. Ульянов вперед забежал, нажимает на него с морды, а я подхожу с хвоста. Пятится ко мне задом. Вот петлю наброшу... Покопался, как махнет через трубы, наискось, по крыше. На самом краю остановился, подобрался в кулак и вниз — ух!.. Смотрим, а Ульянов с Колесниковым ногами в жолоб уперлись, держат что-то. Подскочил я, а они барса за хвост держат. Хвост в руках, а барс висит вниз головой, взвизгивает. Уцепился и я за хвост. Держим. Смех разбирает. На третьем этаже мы оказались. А снизу шумят, жильцы нас кроют:

- Что вы, хулиганы, ночью по чердакам стреляете, всех ребят поразбудили!.. Слезайте!
- А мы кошек, гражданки, ловим!
- Время нашли кошек ловить!

Подвели сачок кольцом под морду, подтянули кверху, сидит в сачке. Концы закрутили, завязали веревкой, на палку повесили. С крыши спускаем. Внизу — Петр Александрович и наши ребята.

— Не беспокойтесь, гражданки, сейчас слезаем!

Сидит тихо, как котенок. Цел и невредим. Несем. Тихо, мирно.

— Идите спать, гражданочки, не волнуйтесь!

По переулку прохожих обгоняем. Донесли спокойно до клетки. Открыли, впустили. Забился в угол, только усы ходят. И весь трясется.

— Ну, покойной ночи! Петуляя—и будет. И чтобы впредь без бузотерства.

Пошли доклад дослушивать. И вся эта канитель не длиннее десяти минут

показалась. Однако провозились больше часу.

Входим. А там шумят. Симу за романтику кроют.

Дослушали. Вынесли резолюцию. По существу весьма одобрили. За бесплодное и вредное геройство здорово взгрели. Переходим к текущим делам.

И тут после неотложных дел Петр Александрович просит слова и сообщает коротенько: сбежал, мол, барс, да его на соседней крыше за хвост поймали, водворили на место. Сидит сейчас дома. Просит зря не беспокоить.

Ну, тут пошумели. Всех прорвало. Недаром всю дорогу молчали. Накопилось.

А как отшумели, подымается зоолог из Тимирязевки, Карпов. Вы его знаете. Он у нас начинал. Открывает свою «папочку», вынимает «рисуночек». Смотрим. Что такое? Сидит у сетки на снегу наш барс. Вылитый: полосатый, пушистый, зубы скалит. Оскал живой! Тень на снегу.

А зоолог извиняется:

— Видно прекрасно. И луна, и близко. А сидеть не захотел. Разворчался, побежал дальше...

Мы рты разинули. Ничего не понимаем.

— Да вы что, с природы? Да вы где его видели? Когда? Как?

А тут заведующий инсектарием Щербаков и рассказывает.

Оказывается, от них весь сыр-бор загорелся. Они вдвоем с Карповым шли из инсектария через новую территорию к нам на доклад. Вдруг мелькнуло.

— Сразу не разберешь. Нам показалось — тигр!

Щербаков поворачивает назад. А Карпов — вы его знаете — открывает свой чемоданчик, разворачивает «папочку», вынимает «карандашик», начинает «зарисовочку», пробирается поближе. А он, дьявол, на туров за решеткой устался, как рывкнет!

Щербаков кричит:

— Что вы делаете! Куда вы прете!

Тянет его за руку. А тот уперся.

— Не толкайте, говорит, под руку! В первый раз такой случай — зарисовать барсика на свободе... Если бы

вам, говорит, такое редкое насекомое попало, вы бы тоже случая не упустили.

— У меня, — говорит Щербаков, — волосы на голове шевелятся. Вы, говорю, с ума спятили, Карпов!

— А чорт с ним, говорит, и с умом, раз такой случай! Идите, говорит, звоните Петру Александровичу, а я порисую.

— Побежал я звонить, а он чемоданчик в сторону отодвинул, присел на корточки, рисует. Не драться же...

Да, да... Этот рисунок у нас в музее хранится. Этот самый. Ну, вот вам... Случай из «текущих дел» с некоторыми подробностями и с иллюстрацией. И никакой романтики. Совсем не по Лермонтову.

И мы сплелись, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей..

Ничего подобного! Карандашик и зарисовочка.

— А потом, — говорю я, — за хвост и сачок на голову. Совсем просто.

— Ну, за хвост и в сачок — это счастливая случайность. А вот этот рисунок дорогого стоит. Ведь тут уж без всякого «пыла борьбы». Спокойное самозабвение. И никакого «ячества»! Вы Маркова знаете?

— А почему он чемоданчик в сторону отодвинул?

— А там у него рисунки, статьи из иностранных журналов. Ценный материал... Да, да! К нам нес. Последние новинки.

— Да как же он ушел?

— Кто, — смеется Юра, — барс?..

Вы наши загоны, рвы на новой территории представляете себе ясно? Он с разбегу косым прыжком — на стену и рикошетом через борт — наружу. Молнией! Это тогда же по следам на снегу установили... А вы не задумывались, по каким расчетам построены эти наши загоны? Они конечно рассчитаны на разного зверя. А мне всегда думается: посади в этот загон зверя с волн, с неослабленным инстинктом, неизвестно, долго ли он усидит... Ведь большинство наших зверей под потолком выросло.

Рефлексы уже не те, что у зверя с воли. Изменились...

— Вам сколько лет, Юра?

— Мне? Минуло двадцать.

— А вы тут давно?

— Четвертый год. А что?

Я молчу, раздумывая над изменением рефлексов и над этим «случаем».

— «Невероятная история о том, как ребята на крыше барса поймали и в мешок посадили...» В наше время, — говорю я, — такая история разыгралась бы совершенно иначе. Начать с того, что дело не обошлось бы без полиции. Зверя непременно пристрелили бы. В «Русском слове» появился бы трогательный фельетон про неизвестного героя, про ребенка, игравшего на песке, и про даму с собачкой... Но чтобы так просто, по-хозяйски, без лишних слов, на свою ответственность, без фельетонов... И без всякой паники...

— О панике, — говорит Юра, — говорить вообще не приходится. Паника — от бога Пана. А боги ликвидированы... А вот романтику мы все еще не изжили. У нас к тигрице нос сунуть, над медвежатником по стенке или по козырьку пройти — это еще случается. Пашка волка оседлал было. Ивана-царевича вспомнил после Третьяковской галереи. Эти бородавки прижигать надо... Нечистоплотно...

Я настораживаюсь.

— Я думаю, Юра, что тут различать надо. Смотреть в корень. Романтика, которая уводит от жизни, поворачивает назад, размагничивает, это — одно. Ну, а романтика, которая повышает целеустремленность, помогает строить новую жизнь? Романтика разбухшего «я», из-за которого человек ничего не видит, вредна. Ну, а романтика общей работы для будущего? А сколько разных оттенков... Почему Кругликов в пустыне заблудился?

— А вот по этой самой причине... В безбрежных песках Кара-Кума! Пустыня и я! Я и вечность! Звезды и я! Только бога не хватает. Вот на этих установочках носы и расшибают. Мог жизнью полатиться. А ведь стоящий паничень. Очень, говорит, испугался, как слепнуть стал... Пальцами глаза разди-

раю, а они опять забухают... Вот, как на четвереньках к станции приполз, тут бы и снять фотографию: «Я и вечность!» И в музее повесить... Детскими болезнями многие еще не переболели: удаль, озорство, хулиганство. Максимка у кобр что наладил! Приспособил ламповую щетку. Одной рукой опустит ее сверху в люк и вертит. Кобры раздуются и на щетку. А он другой рукой клетку чистит, поворачивает их сбоку набок. А ведь до того злобны, что через стекло на народ кидаются. Все морды себе поразбивали. Закрывать стали стекло газетой...

— Озорство оттого, Юра, что еще не нашел, куда девать силы. А найдет выход, станет стоящим парнем.

— И Петр Александрович так говорит. У нас со многими так было. Сначала: «Ах, Пашка — хулиган! Куда от него деваться!» Потом, проживут вместе: «Да нет, он уж не такой плохой парень!» А в конце концов: «Да как же без Пашки? Да без него, как без рук!..» Не раз так было...

— А что, Юра, в неволе у кобр яд ослабевает?

— А вот мы ставим по этому вопросу интересный опыт: о работе ядовитых желез у змей в неволе.

Мы выходим. На прудах вскрикивают птицы.

— Пойдете днем, — тихо говорит Юра, — посмотрите этот ров. Это — где написано: «Тигрята родились в Зоопарке в октябре 1930 года». Барс — самка была. Старая. Левая передняя лапа без двух когтей. Капканом отрезало. А как махнула! Это месяца за два до того, как окотиться. Беспокоиться стала, искала логова, а в загоне негде. Материнский инстинкт. Они вообще трудно приспособляются. Потолка не выносят... Это я вам в порядке самокритики распространился про этот случай...

Идем по темным дорожкам. Тихо. Только в обезьяннике кто-то все всхлипывает. Будто плачет.

— Скулит ночью, — говорит Юра. — А почему — не знаем. Может, сны видит...

Я иду и думаю о романтике, об обезьяньих снах, о кобрах в неволе... И о новом человеке.

20

22 августа пала кошка, зараженная эмульсией из органов хорька, павшего 15 августа. За несколько дней до смерти поведение кошки явно изменилось... Она свалась, мяукала, в день смерти наступил паралич конечностей, прекратилась реакция на внешнее раздражение, была заметна нервная дрожь. Картина вскрытия каких-либо отклонений от нормы не дала. Эмульсия из органов кошки была привита лисе.

21 сентября пал хорек, зараженный подкожно эмульсией из органов хорька, павшего 15 августа. Выделена культура стрептококка из посевов сердца и мозга.

21

К концу сентября птица перелиняла, сбросила старое перо, оделась в весенний наряд и повеселела. Заметны взлеты. Утки после линьки готовятся к перелету. Фазаны токуют. Тетерева «бормочут» по утрам.

Началась весна у некоторых птиц южного полушария. Они живут по своему календарю. В этом году черных австралийских лебедей пустили на болото. Одна из самок села на яйца.

Олени беспокойны. Пятнистый олень, старый самец, пробил бок молодому.

Северный олень Васка стал бить всех и не пускает служителя убирать загон. Ему отпилили рога.

Кавказский олень на старой территории в волнении сломал себе левый рог.

Северный олень Митька подрался через сетку с другим оленем, пробил себе левое ухо и через пять дней пал.

Сегодня я в первый раз слышал, как трубил олень-марал. Звук высокий, резкий, волнующий, — гаммой. Похоже на звук охотничьего рога. Самки волнуются.

22

Строят новый страусятник для австралийских страусов эму.

Работа кюбзовцев над страусами эму началась с 1925 года и ведется до настоящего времени, принимая с каждым годом более углубленный характер.

Взрослый страус-самец дает свыше 30 килограммов высококачественного мяса и жира, а кормов при возвращении требует значительно меньше, чем куры, индейки и гуси. Пара страусов может дать около 20 страусят в год при инкубационной системе вывода и в условиях правильного ухода за птицей.

Период носки у страусов соответствует весеннему времени в Австралии — от половины декабря до половины марта. Насиживает яйца самец. В течение всего периода насиживания самец не ест и не пьет, теряя в весе до 15%.

Страус хорошо переносит зимний холод. Густое оперение, подобно кавказской папахе, охраняет его и от жары, и от морозов до 40°.

В наших северных условиях зимние корма страуса недостаточно витаминизированы. Это понижает жизнеспособность зародыша, и его приходится освобождать из яйца искусственно.

Углубленные наблюдения над составом яйца, над способом его хранения, установление правильной температуры и влажности, постоянное наблюдение над состоянием и развитием зародыша и налаженная техника искусственного вылупления птенца привели к тому, что в течение последних четырех лет в Зоопарке страусы регулярно дают приплод. В 1930 году вывелось шесть, а в 1931 году — одиннадцать страусят.

Зоопарком выдвинута широкая хозяйственная проблема промышленного разведения страусов эму в крупных хозяйствах южной части Союза, в совхозах Закавказья, Северного Кавказа и Южной Украины, где продолжительность вегетационного периода и наличие свежих, витаминизированных кормов обеспечивают зародышу правильный рост и нормальное развитие и исключают необходимость искусственных мер в процессе вылупления страусят.

В недалеком будущем страус эму может стать заурядным обитателем совхозов и колхозов нашего Юга, и черноглазая колхозная красавица, отбиваясь от долговязого австралийца, крикнет:

— Ну, ты, балуй, трехпалый дьявол! Птица, а лягаться здоров, что твой жебенок!

И накинёт на длинные ноги лыковые путы.

Рассказывая мне о неудачах с приплодом этого года, Юра вспоминает:

— Я не спал две ночи. Следил, чтобы птенцы не задохлись, и дело шло удачно. А на третью ночь заснул — и двое задохлось. Тут спать надо с оглядкой... А вот Петр Александрович слушает яйцо и по тому, как дышит птенец, определяет выход с точностью до одного часа!..

23

Приехал из Ташкента Шура. Сегодня я зашел в препараторскую. Он загорел и похудел. Поездкой доволен.

— Собрал серию гуркестанских крыс. Поменьше наших, хвост подлиннее, брюшко почти белое, а верх чуть рыжее. Двенадцать штук. А основная задача была поработать по летучим мышам... Ну, облазил все старые узбекские мечети. Старый Ташкент теперь хорошо знаю.

— А как же вас пускали?

— А я норовил так: либо до прихода муллы, либо после ухода. Все их порядки изучил. А то случалось и так: оба в раж войдем, он орет в мечети, а я на чердаке мышей ловлю, и друг другу не мешаем! — Он улыбается. — В разных плоскостях и на разных высотах работаем. Сходило с рук...

— А если б поймали?

— А поймали, посчитали бы ребра. У них на этот счет строго. Меня за почтаьона больше принимали. С сумкой. Познакомился там с одним подходящим человечком. Тоже по летучим мышам работает. Водил он меня в лесовые пещеры по берегам Каракамыша. Сверху — в роде колодца. А внизу — пещера и выход к речке. Множество таких пещер и щелей по берегам. Пастухи, и те не знают, что там внизу. Подивились, как мы туда по веревке полезли. А летучим мышам там самый вод. Убили там двенадцать белых бухарских мышей — бухарский подковонос называется — и двух азиатских широкоухов. Всего привез двадцать шесть штук, восьми разных видов. В определении этого

восьмого вида мы сильно расходимся. Профессор Огнев говорит одно, Бобринский — другое, а у меня — своя мысль.

— Вы стали серьезно интересоваться систематикой?

— Серьезнее, чем раньше.

— А мне кажется, что систематика, построенная на внешних признаках, не столько наука, сколько путеводитель по животному миру.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что в основу подлинно-научной систематики должны быть положены не внешние, морфологические, а внутренние, биологические признаки.

— Начинать-то приходится с внешних признаков.

— Начинать — да, но с развитием биологии старая систематика может совершенно потерять свой смысл. Ведь раньше и история писалась по таким внешним признакам, как, скажем, цари, а основному фактору — экономике — не уделялось должного внимания...

— То история, — говорит он и вдруг неожиданно запальчиво: — Умирать буду, не соглашусь с такой точкой зрения! Систематика не может стать бесполезной! Накопленные знания не должны быть выброшены за борт!

— Выбрасывать за борт ничего не надо, но накопленные знания могут быть пересмотрены, приобрести новый биологический смысл.

— Да, но внешний вид всегда будет отправной точкой...

Я вспоминаю «кружок сосновиков». Смотрю на развернутый том Огнева и думаю, что сейчас он больше всего занят восьмым видом летучей мыши, о которой у него своя мысль. Потом мне приходит в голову, что он переживает какой-то серьезный момент в своем развитии. Мне кажется, что он, один из способных учеников Мантейфеля, начинает подвергать критике основные установки своего учителя. Это — этап.

Мы прекращаем наш спор, чтобы вернуться к нему впоследствии.

17 сентября в дневнике Зоопарка имеется следующая запись:

«В семь часов вечера при загоне молодого тигра, по кличке Горбатый, в помещении оказалась не закрыта решетка,

и тигр вышел в помещение. Дежурный Т. видит, что тигр ходит в помещении, бросился в свою комнату и заперся. В саду играли в футбол и прибежали на помощь. Гуляев и Савельев приняли меры и загнали тигра в клетку. Жертв не было. Все обошлось благополучно».

Я знаю, что во время этой истории вместо тигра кто-то угодил Гуляеву в спину железным фомкой. И как-раз в это время случайно погасло электричество, и несколько минут люди и тигр находились в одном, совершенно темном помещении. Гуляев не потерял сознания, хотя рентген обнаружил у него назавтра трещину в лопатке, и великолепно справился с положением.

Когда я заинтересовался подробностями, Гулька показал мне дневник и сказал: «Тут все подробности». Больше от него я ничего не добился. Тигра загнали не меньше двух часов.

24

Сегодня, 11 октября, общее собрание работников Зоопарка. На повестке — доклад Мантейфеля о научно-исследовательской работе за истекшее время. Большое помещение столовой полно. Многие пришли прямо с работы, и скромные запасы буфета исчезли очень быстро.

На скамьях — работницы и рабочие Зоопарка, служащие по уходу за зверями, уборщицы. Научных сотрудников немного, кюбзовцев маловато — еще не с'ехали. За столом — представители Моссовета.

Докладчику дано сорок минут. Он улыбается.

— Постараюсь...

Меня занимает, как отнесется к докладу эта неподготовленная к научным докладам аудитория. Вопрос становится еще занимательнее, когда докладчик объявляет, что познакомит с работой Зоопарка по грибам, глистам и бактериям.

Но уже по началу видно, что слушают очень внимательно. И это не только потому, что форма доклада проста и конкретна. Разгадка живого интереса глубже и кроется в самой сущности до-

клада. Он целиком связан с жизнью Зоопарка, с наиболее серьезными и большими ее местами. Эти болячки — на виду у всех, беспокоят каждого. И доклад — ответ на них научной мысли.

В Зоопарке дохнут птицы. Отчего? И докладчик рассказывает, что научно-исследовательская работа Зоопарка выяснила, что особый грибок оплетает дыхательные пути птицы и приводит ее к гибели. Грибок этот найден на пшенице и на мясе.

В Зоопарке падают от паратифа животные. Бактерии паратифа найдены на мясе.

Соболя гибнут от припадков падучей. Стрептококки найдены в самом сердце больного соболя. История нахождения стрептококков в области сердца, прививки стрептококков другим животным, их результаты, заминка и дальнейшие достижения в этой области, предстоящие опыты — вся эта интереснейшая, блестящая страница научно-исследовательской мысли заслушивается с живейшим интересом.

Рядом со мной сидит молодая работница Зоопарка. Она смотрит на докладчика во все глаза и, улучив минуту, когда он роется в таблицах, шепчет своей соседке: «До чего явственно! Ну, вот, берет свою науку пригоршнями и кладет тебе в башку!» И, глянув на меня, улыбается. «Умна я тут стала, ну, на все сто процентов!» «Вы тут давно?» — спрашиваю я. «Второй год».

— А что ж, и у людей падучую тоже лечить будем? — бойко спрашивает она докладчика.

Мантейфель остерегает от столь смелых выводов, подчеркивает, что к изучению загадочного заболевания соболей только приступлено и что только всестороннее изучение вопроса даст ключ к разрешению столь важной задачи в деле развития пушного звероводства, и переходит к следующему вопросу.

А я не могу оторваться от мыслей о таинственной болезни, о стрептококках и о творчестве Достоевского... и об этом празднике науки, внедряемой в сознание щедрыми пригоршнями...

Мантейфель говорит о гельминтофауне — о глистах у животных и птиц.

Сорок минут истекают. Аудитория предлагает продлить докладчику срок.

— Пусть докладает обо всем!

— Не каждый день такое услышишь! — говорит моя соседка.

— Выкладывай до конца! Очень сочувствуем! — говорит старик-сторож.

Докладчику дают еще сорок минут.

И тема о гельминтофауне приобретает острый интерес. Глистами заражены и птицы, и звери Зоопарка. Как бороться?

И вот слушают, как попадают глисты в организм, как весной они держатся на концах травяных стеблей и поедаются животными вместе с травой, как полон ими желудок птиц весной и летом, в период обильного питания, и как освобождается птица от них осенью, поедая смолистые иглы хвои, как эти иглы, наподобие ламповой щетки, очищают от глистов кишечник и как наконец лучше всего бороться с зародышами глистов, выбрасываемых вместе с калом, и уничтожать их при помощи негашеной извести, которая является наиболее подходящим и верным средством.

За глистами следует вопрос о хранении моркови, который занимает аудиторию не менее остро. Морковь играет существенную роль в кормовом рационе обитателей Зоопарка, и сплошь и рядом ее нет на складе Зоопарка. Опыты привели к выводу, что наиболее рациональным является хранение моркови в тесных и наглухо закрытых помещениях, куда не проникает свежий воздух. Выделяемая морковью углекислота убивает гнилостных бактерий. Плесень заводилась только в тех местах, куда случайно проникал свежий воздух, в закрытых же плотно помещениях морковь сохранялась свежей в течение восьми месяцев.

Докладчик рассказывает об опытах с хранением овощей, которые ставит Союзплодоовощ, и говорит о предстоящей работе по заготовке и хранению моркови Зоопарком.

И наконец я слушаю историю о борьбе с оводом, уже давно занимающую меня одним интереснейшим и, как оказывается, уже проверенным предположением Мантейфеля.

Овод причиняет огромный ущерб нашему оленеводству. Откладываемые ово-

дом личинки развиваются под кожей оленя, усеивают спину оленя огромным количеством свищей, доходящим до нескольких сот, портят шкуру, истощают животное, уменьшают молочность и представляют собою зло, борьба с которым должна быть поставлена на серьезную научную почву.

Зоопарк вместе с рядом других научно-исследовательских организаций разрабатывает план работ по борьбе с оводом и уже наметил основные способы борьбы. Выработанная инструкция утверждена Ветеринарным управлением НКЗ СССР и разослана в места распространения оленей.

В процессе работы внимание Мантейфеля остановило одно обстоятельство: в свищах личинок оводов нет гноя. Связав это обстоятельство с нахождением в свище личинок, докладчик пришел к выводу, что стерильным началом являются особые яды, выделяемые личинками в определенный период и убивающие гнилостных бактерий. Установив это обстоятельство рядом опытов, докладчик поставил и следующий вопрос: исчерпывается ли действие этих выделений областью свища и не оказывают ли они, всасываясь в кровь оленя, каких-либо более глубоких и значительных влияний. Наблюдения над действиями измельченных личинок, вводимых во внутрь некоторых животных, показали, что они уничтожают глистов. В этом убеждает и одно интересное наблюдение: песцы двигаются за стадами оленей и поедают олений кал. Очевидно не кал, а личинки оводов, уничтожающих глистов.

Таким образом, проблема борьбы с оводом из области чисто ветеринарных мероприятий передвинулась в более глубокую, биологическую плоскость. Борьба с оводом отнюдь не отпадает, но ставится на подлинно-научную высоту.

Доклад Мантейфеля со всеми отсрочками длился больше двух часов.

Когда, после обстоятельного доклада директора Зоопарка т. Климэка, двух содокладов и обмена мнений, я выходил из столовой, была поздняя ночь. Я шел с одним из членов КЮБЗ.

— Вот так всегда после его докладов, — заметил мой спутник после дли-

тельного молчания, — идешь ночью и думаешь. И будто огни горят впереди...

— Скажите, а что с соболем, который в лаборатории искусственного климата?

— С Рыжим? Говорят, очень потемнел. Поговорите с Марусей.

25

Собираются на заседание по оводам. Толстый профессор-специалист входит и оделяет всех присутствующих рукопожатиями. Это не очень приятно. Но профессор так занят собой, что ничего вокруг не замечает. Ни к кому не обращаясь и глядя куда-то поверх голов, он громко спрашивает:

— А где же виновник торжества? Открыватель Америк по оводам! Ужели открывает новую?

Все молчат. Профессор самодовольно смеется, смотрит на часы, усаживается и громко сморкается.

— Ученые ветеринары не любят биологов, — говорит мне тихо мой сосед, кюбзовец.

Я выхожу и встречаю Марусю. Она очень взволнована, чуть не плачет. Соболю, который находился под опытом в лаборатории искусственного климата, найден мертвым, с разбитой головой.

— Что это значит?

— Трудно сказать. Может быть, случайность, а, может быть, и небрежность. Во всяком случае нужно сейчас же выяснить, как и отчего это произошло. Ведь это срывает трехмесячную работу! И соболю пал зря.

— А что говорит Петр Александрович?

— Он говорит, что никогда не надо жалеть о том, что непоправимо. Выясняет это дело сейчас по телефону. Надо ехать туда сейчас же. Одолели эти овода! И поговорить, как следует, некогда. Подумайте: уже потемнели ушки, лапки, спина. Посмотрите на ватагинскую зарисовку и на то, что сейчас!..

— Значит, опыт уже дал результаты?

— Да, но он все-таки не доведен до конца! И разве можно так обставлять научные опыты! Если б у нас была своя лаборатория, этого никогда бы не случилось! Там — чужие люди. А это

ведь — наш сынок, сын Зубанки! Нет, надо ехать туда сейчас же! Подождут овода...

Маруся убегает.

26

Сегодня я встретил Мантейфеля на новой территории.

— Вас можно поздравить, — говорю я, — ведь опыты с соболями говорят от огромной победе.

— До победы еще очень далеко, — улыбается Петр Александрович, — неизвестных величин еще очень много. Но... не все же одни неприятности. Сейчас я говорил об этом с молодежью. Все наши успехи были бы невозможны без их работы. Биология ставится сейчас вверх ногами, вернее говоря, вверх головой, так как раньше она стояла вверх ногами. Вы вспомните, что было в наше время! Студент учился по схеме, по препарату, по скелету, в лучшем случае на морской свинке. Он проходил полный курс наук, подходил к живому зверю и спрашивал: «А что это за зверь?» Он живьем его никогда не видал. Что общего между морской свинкой и волком? Теперь мы изучаем живого зверя, запускаем руку в самые сокровенные его тайны, изучаем его в естественных условиях, а то, до чего в естественных условиях докопаться не можем, продолжаем изучать в лабораториях Зоопарка... А наши посетители!.. Охотник придет посмотреть на тетеревиный ток, встретится с другим, зайдет потолковать, поделится опытом. Зоопарк — не плохой плацдарм. В этом году тут перебивало два с половиной миллиона!..

— Такая установка, — продолжает он, — в корень меняет и вопрос об открытиях. Когда живой объект изучен до предела, тогда открытие — не неожиданность, а неизбежность. Было бы неожиданностью, если бы его не было. Когда руками молодежи мы прощупали зверя вдоль и поперек, тогда не надо большой фантазии, чтобы притти к открытию...

— Вы считаете, что при такой постановке дела меняется роль интуиции?

— Нет, интуиция необходима, особенно на дальнем прицеле, при обстреле

далеких горизонтов. Если вдуматься в наши опыты с соболями... При правильной постановке научного исследования мало исследовать кровь вообще, необходимо исследовать кровь из всех органов, и в том числе и кровь из сердца. А тогда открытие неизбежно. Почему раньше открытие казалось чем-то неожиданным, чудесным? Потому что наука брела в потемках, ощупью, из ста точек твердо знала одну и не знала девяносто девяти, ну, а, когда мы узнаем пятьдесят, семьдесят пять, девяносто девять точек, тогда дело меняется. Руками молодежи мы стараемся прощупать все сто точек. И при этом ничего не принимать на веру, без критики, не верим ни в «чих», ни в «глаз», ни в авторитет. Когда мы исследовали сотни собольих желудков, присланных в Зоопарк, тогда мы действительно узнали, чем питается соболь... Так на изучении живой жизни растет новая биология. Ну, а вместе с тем растет и новый биолог...

Мы останавливаемся у входа в Зоопарк и стоим перед ватагинским медвежонком.

— Теперь тут хозяйничает молодежь, — говорю я, — а знаете вы, что было тут в бытность мою студентом?

— А вы окончили Московский университет?

— Да. Слушал Тимирязева и Мензбира. А жил тут рядом, на Живодерке, на Патриарших прудах. И очень хорошо знаю все эти старые сады в Кудрине. Тут, начиная от бывшего Вдовьего дома, шли огромные поместья с садами: купца Найденова, графини Толстой, фабриканта Морозова, Софийской детской больницы, князя Волконского... и так почти до самой Живодерки.

На месте, занятом сейчас новой территорией Зоопарка, был приют для престарелых священников, с огромным садом и прудом с купальней. Там, где сейчас плавают лебеди, купались и ловили карасей старые попы. Вход посторонним был строго воспрещен. У входа в сад сидела на цепи овчарка. И знаете, что должен был делать студент 35 лет тому назад, чтобы попасть в этот поповский заповедник?..

У входа в приют висела карточка: «Доктор Кашкадамов», я выдавал себя за племянника приютского доктора, рассказал дворнику целую историю о том, как я поссорился с дядей, и вызвал у дворника сочувствие. Я прикармливал овчарку хлебом из комитетской столовой на Малой Бронной, где я обедал, и всеми неправдами так «освоил» это место, что весной, перед экзаменами, ходил сюда заниматься, помогал дворнику косить сено и даже купался вместе с попами...

— А вы помните, — перебивает меня Мантейфель, — еще совсем недавно надпись на Московском университете: «Свет христов просвещает всех». Ведь нельзя придумать более подлой, поповски хитрой надписи. Да, пока хозяйничали купцы, фабриканты, попы...

За нами бегут, кричат, машут руками Таня и Мирдза.

— Дядя Петя! Дядя Петя!

Останавливаемся. Догоняют и, задохнувшись, не могут сказать ни слова. Потом выпаливают сразу:

— Родила! Родила!

— Кто родила?

— Она!

— Ну, хорошо, что не он. Кто?

— Да барсучка!.. Барсучка!

— Ну, с новорожденными!

— Дядя Петя! Значит, срок — 357 дней! А все, что пишут: то четыре, то шесть месяцев, — вранье! Мы только об этом и хотели сказать!

— Сколько?

— Трое!

— Я не нужен?

— Нет. Завтра покажем. И акт составим.

Они поворачиваются и убегают.

— Вот видите, — говорит Мантейфель, — некогда отдаваться воспоминаниям...

У самых ворот нас догоняет Маруся. Она сейчас ведет наблюдения над линькой.

— Дядя Петя, чем завтра покрасить горностая? Фуксином?

— Нет, лучше хной.

— Один сантиметр или больше?

— Нет, больше. Хребет и бок. А насчет соболя, Маруся, не горюйте. Ры-

жий умер почетной смертью мученика науки. И он свое доказал. Мы имеем точную зарисовку до опыта и имеем его шкурку сейчас. Это — документы. Вывод всем ясен. А барсучат видела?

— Видела!

Маруся убегает. Мы прощаемся.

— А вы крепко приросли к Зоопарку, — говорит мне Мантейфель.

— Я похож на человека, бросившего муху в ваш муравейник.

Он смеется.

— Вот подождите! Скоро мы развернем работу на шестистах га. Тогда вы из нашего муравейника и совсем не выберетесь. На-днях приезжают наши — с Памира, с Камчатки. Приходите послушать!

Темнеет. Я иду мимо огромной стройки. И опять, как и тогда, после его доклада, мысли уходят в будущее.

Впереди огни.

3. КОЛХОЗНЫЙ БЛОКНОТ

Викторин Попов

†

У порога конторы ребята замялись. Пожалуй, насмех подымет... А, ребята? — держась за скобку, сказал один из них, с веснушками во все лицо, мелкими, как икринки. — Не такое время, чтоб о гулянках думать.

— Только бы лошадь выпросить, ведь двенадцать километров, — подбодрил первый по селу гармонист, — хотя гармонь не страсть кладь какая: и так донесу!

Помялись, помялись у дверей и наконец вошли. Сидя у стола счетовода и вода кургузым пальцем по цифрам книги, председатель колхоза складывал в уме итоги последних удоев. Счетовод срывающимся басом утверждал зрелость своих шестнадцати лет, называл председателя по имени и по отцу, хотя для всех в колхозе тот был просто Помпеичем — от фамилии.

— Что, ребята? — зажав пальцем цифру, как блоху, спросил Помпеич, увидя ввалившуюся в контору ораву.

— Дело к тебе, — сделал шаг вперед гармонист. — Сенокос мы покончили, а в Быструхе завтра гулянка.

— А дело в чем?

— На девочки гулянки нам бы лошаденку.

— Хотя бы самую худящую, — встрял комсомолец.

— Так... На гулянку, значит?

— В роде так, — мотнул гармонист

вихрами, словно уже раздувал меха заливчатской гармошки.

— Слушайте, ребята, — сказал серьезно Помпеич. — Если в самом деле на гулянку, так не на худящей: моего Бодрого коренником, саврасых в пристяжку, пролетку рессорную, справу хорошую. И лошади чтоб как зеркало, и пролетку пройти лаком, и бубенцы проверить, чтоб все чувствовали: не зама-рахи какие, а колхозники гулять приехали!

Счетовод покрылся румянцем, может, удовольствия, а может... зависти.

Весь день ребята ладили пролетку, чистили лошадей, а подвечер на лакированные крылья пролетки со всего размаху било солнце, когда тройка улетала по улице под разудалый перебор гармошки.

Помпеич долго глядел ей вслед, вот она скрылась в овраге, и он сказал обступившим его старикам:

— Разве наш колхоз не имеет права на песню? Гляди: зароды, зароды, зароды! И куда только девать сено? Одному государству можем сдать на шестьдесят тысяч. Разве наша жизнь не стала звончей и просторней? А?.. Понимаешь, дорогой товарищ? — горячился Помпеич, обращая свой восторг к милиционеру Степке, партизану. — Вот если в учреждении ножка у стула сломается, все засуетятся, потому-де стул в инвентарной книге записан, номер свой имеет. С человеком куда про-

ще: вычеркнули — и нет его, даже инвентарная комиссия не соберется. А ведь человек уважения требует. Или вот с молодыми: они — с крыльями, им летать охота. А у нас так: чуть поднимется, — хлоп его по крыльям, и ползет тогда прибитым гусаком. Пусть жуют, пляшут, ведь тогда и на работу животом падают...

— А нам что ж, Помпеич... пусть так, пусть... наше дело с горошину, — ответили подслеповатые, от времени охолодевшие на глаз и на сердце старики. — Известно, Помпеич, над прежней жизнью и воробы смеются.

2

Два месяца назад прямо с парохода, которым прибыл из Архангельска в Холмогоры милиционер Степка, пешком он добрался до Верхнегорского колхоза. Председатель колхоза, Помпеич, беседовал с человеком в макинтоше, настоятельно требовавшим наряда на тридцать рабочих для какой-то надобы на сторону.

— Ясно сказал: в эти дни не дам! — в десятый раз отказывал Помпеич. — Сенокос, по-твоему, под снег пустить? Это такое головотяпство будет! Оставить без кормов холмогорку?

— А что холмогорка? — обиделся тот. — И на пароходе о холмогорке, и в Даме крестьянина, и в райкоме... только и разговоров о корове.

— Э, дорогой товарищ! Не понимаешь, значит, ни хрена. Разве не читал резолюций партсъезда? Корову — на первое место, а о нашей холмогорке особо сказано, — коровка-то мировая!

Помпеич горделиво посмотрел на портрет всеоюзной рекордистки Мальки — той самой холмогорки, которая выдаивает в год до двенадцати тысяч литров молока против одной тысячи литров среднего удоя «потаскух». Фотография — под стеклом и в раме — в углу, как символ колхоза.

Макинтош сухо попрощался. Уходя, он наградил портрет взглядом, каким дарят злых тещ в день развода с женой.

— Это еще ничего, — обратился Помпеич к Степке. — А то обвиняг в делячестве. Вы, говорит, революцию на корову променяли. А мы сквозь корову на всю международность смотрим. А?

Холмогорка — в нектором роде «классическая» корова. О холмогорских тельцах упоминает Державин, описывая гульбище у Потемкина по случаю взятия Измаила. В гоголевском «Ревизоре» Хлестаков жалуется на хозяина гостиницы: «...говядину подает мне такую твердую, как бревно...» Городничий (робея): «Извините, я право невиноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего». В старое время ее «походом» гнали ко дворцу. Прасолы скупали холмогорку, и корова лучших племенных качеств резалась на мясо.

В наше время эта корова должна породить стадо страны, передав ему качества высокой молочности. Те самые прасолы — «люди трезвые и поведения хорошего» (по-нашему, просто кулаки) — неистовствовали, вырезая холмогорку. Главным колхозным бойцом на коровьем фронте был Помпеич.

...Помпеич был когда-то и на другом фронте.. на человеческом фронте. В Степкиной памяти хорошо удержались эти воспоминания.

...То был лихо-партизанский 1919 год. У самых окон рвались красные и белые гранаты, тарахтели пулеметы. И вот в лазарет втащили человека, перерезанного по животу бандитским пулеметом. В беспмятстве раненый кричал:

— Куда? Бежишь, щучий сын? Революцию сдавать?

Спустя три дня, громыхая сапогами, ввалилась делегация партизан. Сапогами вытребовала главврача.

— Ты здесь главный доктур? Ты Помпеича лечишь?

— Я лечу.

— Ну, как с ним?

— Плохо с ним.

— Так вот. Мы от хронта, значит. Лечи, зеленая мать, во все глаза лечи. Хронт постановил: если Помпеич померет, тебя уьем!

Врач очками только вскинул:

— Чорт те что! Какое положение создается!

С этого дня у дверей палаты возник часовой: когда нянька несла Помпеичу куриный бульон, он перегораживал дверь винтовкой:

— Отпей сама, может быть, стерва, отраву несешь!

В это время за голову Помпеича, партизанского командира боевого участка, белые объявили награду, — белый халат няньки мог тогда казаться подозрительно буржуйным.

Помпеич произнес однажды первые пересохшие слова, и эти слова объявили поправку ему и жизнь главному врачу, — между койками Помпеича и рядом лежавшего Степки возникла дружба с той силой, с какой она может возникать только на виду смерти.

Как-то входит из соседней палаты партизан с рукой на перевязи.

— Здорово, Помпеич! Ранятый? И я ранятый. Ай не помнишь? Я на убег кинулся, а ты в меня из маузера стрельнул...

Этот стал третьим в их коечной дружбе.

Когда из партизан Помпеич вернулся слесарствовать в мирном строительстве, нужно было откачивать, пускать рудник, но не было технического персонала. Высший персонал в феврале семнадцатого вывезли на тачках. Только об одном инженере тогда в этом тачечном смысле сомневались: о Карле Карловиче. К нему пришли на квартиру. Говорил слесарь Помпеич, говорил от полувика, от порога, чтоб не наследить, — то была мокредная весна:

— Из комитета мы: всех вывезли, тебя только, и — баста.

— Ну, что ж. Раз это нужно.

Карл Карлович сам опустился в тачку. У мусорной кучи Карла Карловича вывалили. Карл Карлович отряхнулся и зашагал, как с церемониала.

Прошли годы, рудник пускать надо было во что бы то ни стало, и опять к Карлу Карловичу:

— Иди, Карл Карлович, к нам работать, — выдавливая партизански тугие желваки скул, сказал Помпеич.

— При одном условии, — ответил из-за канделябров инженер, — если на рудник ввезете на тачке.

На тачку постелили ковер, кресло с плюшем поставили и от мусорной ямы подвезли его к конторе. «Подумаешь, заноза!» — сплюнул забойщик Степка. Карл Карлович поднялся в тачке (он был дородный, уже облысевший, с лицом, отливавшим синеватым цветом) и, как с трона, держал речь:

— Я об'ехал весь свет: на поездах ездил, на пароходах плавал, на аэропланах летал, но в первый раз, — тут он сделал паузу и обвел всех презрительно сощуренными глазами, — в первый раз еду... на дураках.

Помпеич торжественно прошествовал к нему и ударил по гладкой синеве дородного лица всей ладонью. Карл Карлович отряхнулся, как тогда, и пошел.

Рудник восстановили без Карла Карловича.

— Разве это личность? Это — хлам революции, — матерился Помпеич и телячьи радовался, когда некоторое время спустя вторую пощечину — звонкую, на весь мир — влепил Карлу Карловичу пролетарский суд по шахтинскому процессу как вредителю...

Суэта пространств Сээрии развела Помпеича и Степку в разные широты. Но мир тесен для человеческих встреч, они вновь столкнулись на родине Михайла Ломоносова, у заполярных Холмогор, у города, бывшего местом торжищ, сходок, базаров для заволоцких купцов, два века назад охиревшего и два века несшего в себе «судьбу безлюдия и бедности».

В селе Верхнегорском, где некогда воеводствовал воевода, в селе, которое два века русской истории жило в «незнаменательных и скудных чертах», брошенный на переделку феодализма в социализм, с мудрым спокойствием, которое дается боями суеты, Помпеич бьется ныне за корову.

— Коровка-то мировая! сквозь корову мы на всю международность смотрим. А?

Однажды утром счетовод передал Помпеичу заявление скотницы Пелаген:

«Придя сего числа в телятник, нашли, что молоко, приготовленное для поения телят, испорчено дегтем. Не иначе — классовый враг».

Помпеч шел к скотному двору, который был высок и светел, так что залети воробей, как под открытое небо. Помпеч говорил об автопоилках, о доильных машинах, о всякой механизации, но голос его был расстроенный, чужой.

У ограды церкви встретили звонаря Хряпичева.

— Все колокольчиками болтаешь? — с'язвил расстроенный Помпеч.

Ни по пиджачной одежде, ни по строгому, с прямым, сдернутым книзу носом лицу Хряпичев не был похож на юродствующего, какие обычно сторожили и звонарствовали в старых церквях.

— Ты — языком, я — колоколами, — не сгибая прямой шеи, отгрызнулся Хряпичев. — Дороги не могут построить, — проворчал он, перенося парнишку через колдобину, — а тоже коммунистическое общество задумали.

В избе у Хряпичева я жил.

— А что мне председатель? — бурчал он часто под нос. — Такой же корявый мужик. Все дело, что галифе с кожаной обшивкой, как у комиссаров, какие картошку отбирали...

— Вы служить у нас будете? — как-то обратился он ко мне с опаской. — Так не будете наверное бычков покупать? — он погладил по голове голубоглазого парнишку и продолжал: — Я вот малых ребят люблю: чисты, как роса. Есть ли на свете такой чистый человек, как ребенок? Какой чистоты человек ни будь, а обязательно какая-нибудь гадость в нем содержится. Вот взять таких, как Крапоткин или Либкнехт, а смотришь, за квартиру, может быть, не платили или еще чего?

В свободное от церкви время Хряпичев вязал метлы, это был его побочный заработок и утеха старости. За метлами приходили со всего села. И ругань открывалась спозаранку.

— Кого учишь? Наперед тебя родился, сам знаю: метла хороша осенняя, а что по весне наломана — видимость одна, — открывая перебранку, кричал через порог Хряпичев.

— Давай весеннюю, только не такую трепаную, — отвечал голос.

— Вот и не дам, на всех вязать не обязан! Из колхоза, небось?

— А тебе что за дело? — возмущался голос.

— Ты, зараза, не расходишься! Ты у меня смотри! — вскидывался Хряпичев, потом отхаркивался: — Эх, вы, лицемеры! Товарищи! Ваши товарищи в Брянском лесу.

На троицын день весь колхоз работал субботником на котловине под силовую башню.

— Работаете? — ехидно спросил Хряпичев, проходя мимо от обедни.

— Работаем, дружище, работаем.

— А если плясать заставят, и плясать будете?

— Если охота будет, станем и плясать.

— Лицемеры! — сплюнул Хряпичев в сторону котловины. — Разве имеете в чем понятие, так — легче пустоты людишки!..

Вечерами, когда Хряпичев вязал метлы, мы затевали долгие беседы. Поговорить он любил, часто вздыхал: «Ну, короче говоря» — тогда терял нить.

Однажды принес ему «Известия».

— Ну, что новенького? Нет ли дополнений, изменений каких? — поинтересовался он, доставая из деревянного, как у плотников, сундучка добела обтершийся футляр с очками. Он долго и благоговейно прилаживал спянные во многих местах заушины, а приладив, развернул газету во весь лист и принялся читать.

— В Китае-то, аминь пирожкам? Чепуха одна получается: генералы соединились, пройдут теперь неводом, все партийное дело и выловят.

Спустил газету на колени, ощупал меня косым взглядом.

— И мы туда же: воевать! Кишка тонка! Все золото у кого? У американца. Аэропланов у Америки миллион, как грачей в ненастье на подсолнухе. Да. На комсомольцах далеко не уедешь, рикошет может получиться. Туда же воевать! Ишь ты, храбрецы!

Все читаемое находило в нем отклик, но с совершенно неожиданной стороны.

— Вот бестии, американцы-то! — принимался он за очередное удивление. Точку, и ту с весу изучают. Сперва на бумажке написали «и» с точкой — на весы, потом «и» без точки — опять на весы. Что значит научный народ! Куда уж! Самые буржуи, а «и» с точкой признают!..

Он отложил газету, поднял очки на лоб, науку он уважал, как уважал густой чай, чтоб «ложка стояла».

— Большак в прошлом годе приезжает ко мне, к отцу своему то-есть, гостевать. Ну, в субботу страстную по хозяйству возились, а на первый день светлого христового сели за стол, торжественные гости были, всякий разговор пошел, про науку сказывали, — уж больно она, мол, точная: ни взад, ни вперед, а как есть в самый раз. Большак и говорит: «Все мы, папаша, от обезьянки род имеем, только у нас хвосты пообтерлись». «Ах, ты,—говорю,—недотеп! Наперед твоего гипотезы читал. Уж ежели гостевать приехал, так—говорю,—соблюдай себя!..» «Разрешите кусочком вашего хлеба воспользоваться?» — обратился он ко мне и потянулся рукой. Такую вот пищу, что в лавке возьмешь, не наладишь, а что про пайки, — прямо не говори: весь живот обложит, руки не машут, нутро от духоты завертывается. Кушать можно, сколько хочешь, а климат сумасшедший, вот, скажи, тает здесь человек, да и все... Да, так вот про науку. Раз присылают к нам на село отношение, — тогда я еще писарем состоял, — спрашивают: произведен ли учет для Укомбежа? Что делать, головушка моя горькая? Ни в какой науке не сказано, что такое Укомбеж? Я к партийным, у одного спрашиваю. «Вы есть,—говорю,—путеводные звездочки и должны про эти темные дела знать». Короче говоря, они тоже отмахиваются. И чего только не придумают большевики!

Чайник пуг, очки в футляре.словно от долгого бега, раскрасневшееся солнце сползло к горизонту. Северная полночь. Хряпичев расправил по лавке кожих овчиной кверху, взбил подушку в засаленной, потерявшей цвет наволочке, размял по табурету портянки, затем,

прикрывшись пиджаком, улегся. Зеленым туманом потек дым от цыгарки. Кусала мошка.

— Комар тяжесть имеет, а эта мошка невидная, а как кусает, — поскребывая тело, проговорил Хряпичев.

За окном слышались мерные шаги сторожевой колотушки. Звонарь криклет, ворочался с боку на бок, потом, как бы сам с собою, начал такой рассказ:

— Да... Цыганка взяла мою руку и говорит: «Будет тебе казенная дорога и хлопоты». «Куда ж,—спрашиваю,—дорогая?» «А вот тогда,—отвечает,—сам увидишь». Вы не спите? Говорит: «Сам увидишь». Да... Кинулся я тогда скорее сено убирать, никто в подмогу не идет, за сорок верст работника нанял. Сложили сено в стога, лежу ночью, не спится. Жена спрашивает: «Чего не спишь?» «А куда, — говорю, — казенная дорога?» Ан вон как дело обернулось! «Вы, — допытывал у меня следователь, — там-то были?» «Почему, — отвечаю, — не быть?» «И там-то были?» «Ну, так что ж, и там-то был». «А про такую штуку говорили?» «Сказывал» — отвечаю. «Да вы, — говорит следователь, — нелояльный». А я вскочил и кричу ему прямо в лицо: «Ото,—говорю, — если я скверно про советскую власть сказываю, так уж, по-вашему, я нелояльный?» Короче говоря, задаю ему напрямки такой вопрос: «А чего, — говорю,—большевики сделали изо всей программы?» Следователь глазами моргает, отвечать-то нечего. «Только, — говорю, — окаянные и сделали, что вместо фунтов килу ввели». Да... Трудна была арифметика... Зимой в позапрошлом годе сюда, к дочери, какая за псаломщиком, и ввалился, как в яму...

Хряпичев приподнялся на локте, чтобы проверить: действительно ли я сплю?

— Лучше замолчим. Что с вами: два слова, и остановка. Не поговоришь...

Он рассерженно подтянул пиджачок повыше к плечам, зевнул, перекрестил рот.

— Эх, ты, доля, эх, ты, воля, до чего ж ты меня довела: до умственности, да же до тупика! Ну, ладно. И сегодняшний день прочь.

Я долго не мог заснуть. Проходили смутные мысли о днях и людях, в беспорядочных сочетаниях вставляли образы и радости, и отвращения.

Наутро Хряпичев вызванивал в колокола. А днем пришел к Помпеичу проситься в колхоз.

— В колхоз, значит? Так, так. А все обдумал? Выдержишь? — не находил, о чем говорить с ним Помпеич, которому уже стало известно, что Хряпичев при царе два года урядничал, был сельским писарем, был сельским адвокатом, что со своей родины сбежал от судебного следствия. Было известно и о дегте, и о прочем.

Подвечер старший милиционер, бывший партизан Степка, на колхозной телеге доставлял классового врага в Холмогоры. Хряпичев сидел, свесив ноги, шея попрежнему была чудовищно прямой.

4

— Жив-здоров, Помпеич? — спросила скотница Пелагея хриплым голосом.

— Мерси, мерси, — поблагодарил Помпеич французским словом, какое вывез с крымского курорта. — Чтой-то голосок у тебя подгулял?

— Простудившись, Помпеич. Вот, скажи, ломит спину, тянет всю.

— И то: глаза мутные, словно корова хвостом выхлестнула... На работе была?

— Сейчас со скотного.

— Так. Значит, помирай человек, а на работу выходи, будто колхоз — кабала? Да хрен с ней, с работой, человек важней. Пока здоровой не станешь, чтоб я тебя и не видел на скотном дворе.

— Да как же, Помпеич, можно? Работы-то не впроворот.

— Всего не переделать. Работа не волк, в лес не убежит, пусть дома на печке лежит. Вот если не хочешь склоки со мной, то слушайся. У доктора была?

— Обойдется, Помпеич. Итти больно далеко.

— Ну, уж это ты, баба, не то: кабы единоличкой была, так, небось, запрягла б и поехала. А колхоз — могила, что ль?

Помпеич потащил ее к конному двору, сам запряг своего, председательского, Бодрого и передал ей вожжи.

— Старальщица! По колхозной корове тоже сохнет. А ну вали, подхлестывай! — и Помпеич саморучно вlepил первого кнута Бодрому по широкой спине.

Два года назад пришел к Пелагее председатель сельсовета Берданов.

— Как живешь, Пелагея? — спросил высокий Берданов, боясь разогнуться, чтоб не стукнуться головой в низкий потолок.

— Хлеб, молоко есть, и ладно, — приветливо ответила Пелагея. — Хошь, принесу крынку?

От печи стался по избе дым.

— Изба у тебя никудышная, — заметил председатель, усевшись и качая ногами под лавкой, — дым с улицы назад в нее лезет.

— Невелика, зато тепла, а дым не стыд, глаза не выест.

— Я, Пелагея, по делу к тебе. Решили мы счастье тебе совершить. Кулаков спугнули, ну, вот и предоставим тебе в роде барских хором. Кому, как не первой беднячке, кулацкой наживой пользоваться?

— Что ты! — отмахнулась в испуге Пелагея. — Своя изба — свой простор. Свыклась.

— Дом-то во! Хотеева-кулака, Федора Григорьевича, из Шатилова знаешь?

— В другую деревню? Ни по что не двинусь. Рази только силом потащишь.

Спустя два дня, когда, посунув в печь чугульки со щами и с картошкой, Пелагея мела избу, к окнам, заскрипев полосьями, подехал Хотеев. На санях — узлы, сундуки с добром, бочонки с солениями. С ним Берданов.

— Вот что: переезжать пора! — строго сказал Берданов, насупя брови.

— От картошки пар валит, можа, отобедать сперва? — уставившись в пустой подойник, робко произнесла Пелагея.

— Нет уж: горячую с собой повезешь. Видишь, перед окном сколько приданого привезли, боимся сватов за-

морозить. А ну, шевелись, крути задом да попроворнее!

Замоталась Пелагея. Наперво опростала лохань, дала подзатыльника старшему Сеньке. Потом хотеевское добро таскали в избу, а ее пожитки — к саяням.

В Шатилово в'езжали в полдень. Толкая друг дружку в снег, рассыпались по домам школьники.

— Смотри! — крикнул розовощекий в треушке. — Цыгане к нам.

— Дай, я ему сопатку расквашу, — шилом подняло старшего Сеньку.

— Цыц! Захлебнись! — осадила Пелагея.

— Цыгане! Цыгане! — орали галчата.

— Нехорошо, ребята: это бедняков в кулацкий дом переселяют, — об'яснил прохожий в блестящих, еще липких калошах на валенках.

Мотнулась женщина в длинной оренбургской шали, из-под шали — сборчатая кашемировая юбка. Она испытующе оглядела воз, Пелагею, лошадь с хвоста до гривы. У тесового дома Хотеева истошно прокричала в лицо:

— Чтоб тебе чужим добром до смерти поперхнуться!

В хотеевских комнатах просторно и гулко. В первой — раздвижной стол с ногами, как у слона, и тяжелый с пузатыми дверцами буфет. На полках буфета — порошки в пожелтевших обертках, черенок от деревянной ложки, дохлые мухи кверху лапками, иссохшие пучки душистых трав и прочая сорная дрянь. Во второй, гостевой, с потолка свисает люстра со множеством окутанных паутиной стекляшек, переливчато звенящих всякий раз, когда нога ступит на трясучие половицы. В простенках между окон — невцветшие квадратики обоев от фотографий. В спальне лысым и голым толстяком неуклюже сидит на корточках старомодный комод, со следами клопов, будто мраморная, кровать, на какой вся Пелагеева семья может разместиться поперек. Но ни стула, ни табурета.

— Куда такое помещение? Сюда бы канцелярию, — с тоской вздохнула Пелагея. Долго она сидела на кухне, за-

крыв глаза. Очнувшись, принялась расставлять чугунки, развешивать одежонку. Ребята ходили по дому с опаской.

Попутру холодище: вода в ведре ледяной слюдой покрылась, изо рта, — как у лошади на морозе, густой пар. Ребята едва шевелили посиневшими губами и отогрелись только после того, как поели горячей картошки.

Тесовый дом оказался холодным. Только и проку, что большой да парадно сложен. Сам Хотеев подумывал его перестроить. Утром Сенька убежал в отцовских обносках в школу, меньшие играли в прятки, залезая в буфет, в ящики комода. И тоскливо становилось по вечерам от гудящих ветров, от мертвой пустоты.

А Хотеев остался доволен избою. Однажды, когда стемнело, приходит незванно. На рожу счастлив. Бутылку вина для куражу принес.

— Как и благодарить тебя, Пелагеюшка, — передом кланяется, боком глядит, задом щупает. От вина вздулся, как тесто на опаре, лестью душу вынимает. — Век, — говорит, — не забуду одолжения.

— Ну, что ж, пользуйся Федор Григорьевич на здоровье, коль моя изба по душе пришлась, — желтела с досады Пелагея.

Жизнь пошла холодная да неприятная: ребята кашляли, сама занемогла.

— Пропади оно пропадом! — ругалась Пелагея. — Маяться так да еще укору слушать. Ну и барские хоромы, в морозе да на кухне жить, куда лучше своя изба.

Оставив Сеньку смотреть за малышами, Пелагея в заплатанном и в лысынах мужнином тулупе кинулась в сельсовет.

— Переведите обратно в избу, — взмолилась нечесаная Пелагея с платком, накинутым на затылок. — Холодище лютый, хворые все, а тут еще с уха на ухо молву носит...

— Пусти уши в люди, всего наслушаешься, — строго перебил секретарь. — А как же с Хотеевым? Не обратно же?

— Это уж ваша забота, куда кулака сунуть, мне ж хотели помочь.

— Ты — беднячка, это понимать надо. Должно же быть у тебя в башке свое сознание?

— Что с того, что беднячка? — не сдавалась Пелагея. — Сама, пятеро ребят, с утра до ночи на печи хоровод водим. Так и помирать, раз беднячка?

Секретарь послунывал пакет с очередной сводкой о ходе коллективизации, прищурил в задумчивости глаз и обещал подумать.

Секретарь оказался человеком отзывчивым к чужому горю. После этого случая он каждое утро присылал к Пелагее свою жену, чтоб помогать по дому и уходу за больными детьми. Дверь в чистые комнаты заложили рогачом, заставили скамьей, но из щелей дуло, как из погребка.

Прошло две недели. Однажды к Пелагее пришел сам секретарь.

— Ублаготворили тебя, Пелагеюшка, — объявил он радостно, будто дело касалось его собственной семьи. — В свое село поедешь.

— Неужто? Наконец-то, — боялась поверить Пелагея. — А то детей сгубила, колхоз забросила.

— Хороший дом подыскали.

— Ай опять не в свой?

— Что ты, Пелагеюшка! Разве мыслимо, чтоб опять в кривую избу? В кузнецовский дом, вот куда! Осмотрен, согласовано. Теперь без ошибки, — потирал он ладони.

Поздно вечером, чтоб не на людях, Пелагея покидала «барские хоромы». Кузнецовский дом оказался куда удобней: тепло и вид жилой.

— Никуда отсюда не тронусь, — объявила Пелагея и принялась устраиваться накрепко.

Но... Кузнецова, как выяснилось, в кулаки зачислили неправильно, комиссия постановила дом вернуть.

— Это — надругание! — кричала обессиленная Пелагея. — И силком отсюда не пойду.

— Не слушать бы таких слов от знательной колхозницы, — пропел новый председатель сельсовета, сменивший Берданова. — Сама должна понимать: середняку вертать дом неминуче.

— Половину имущества в переездах растеряла, засмеяли все, перепелкой зовут. Хуже кулака раскулачили. И за что такое наказание?

Но то было два года назад. О старом теперь позабыто. Ныне Пелагея — первая колхозная старальщица.

Как-то заболела самая удойная на колхозном дворе корова Манька.

— Ну-ка сдохнет? Кабы своя, — прирезала бы, а то колхозная, — рассуждала Пелагея. — Могила сравняется, а худой славы не покроет.

Кинулась она к ветеринару, а другая скотница, подслеповатая Степаша, еще раньше привела знахарку: на корову накиннули Степашкину посконную рубашу, рот забит краюхой хлеба. Знахарка делала во весь горб поклоны и причитала:

— Защити ее, святой Егорий, Власий и Протасий...

Стоявшая рядом Степаша тупо глядела в жалобные Манькины глаза.

— Уходи прочь! — закричала вне себя Пелагея. — А ты чего глядишь, как гусь на зарево? — обратилась она к Степаше.

— Помолиться-то надо? — прервала заговор старуха.

— Из одного дерева, что икона, что лопата. Не засти, говорю! Иди наружу и молись на лопату!

— С тебя, потаскуха, станется и этого, — зло сплонула знахарка и пошла, пряча образок за пазуху.

У больной Маньки Пелагея безотходно провела пятеро суток. Спала на тулупе тут же, в стойле. Полтора кило своего сахара извела на пойло и на клизмы, но корову выходила. Кому как, кому что, а вот для Пелагеи и колхозная корова... пафос.

— Вот, Пелагеюшка, — часто похлопывал ее по плечу Помпеич, встречая при обходе коровьего «санатория», — каким хвостом у нас с тобой дело-то поворачивается... Тебе, Пелагеюшка, теперь бы партбилет за пазуху, под сердцем: так два сердца у тебя, значит, и будет... Дольше, баба, проживешь!

За рубежом

ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ У ВЛАСТИ

Е. Гнедин

Статья вторая

1. Кризис расшатывает здание „третьей империи“

Быстро пролетели в фашистской Германии дни, когда каждый унтер-офицер разговаривал языком Фихте, а каждый лавочник чувствовал себя Вильгельмом II. Под холодным ветром суровой действительности быстро отцвели цветы патриотического красноречия. От веселых костров, где горели марксистские книги, остался зловещий пепел. Добрые бюргерши, которые в апреле, глядя на факельные шествия и на пламя костров, восклицали: «Какое чудесное время!», сейчас участвуют в рыночных протестах против растущей дороговизны. Штурмовики, бодро шагавшие по улицам городов и считавшие себя хозяевами, загнаны в казармы, и от них требуют рабского повиновения. Фашистские вожди издали приказ о том, что революция закончилась. Многомиллионные массы, обманутые национал-социалистами, должны оглядеться по сторонам и трезво спросить себя: что же происходит? Куда нас привели и какие перспективы нас ожидают в ближайшие дни?

Германский фашизм сбрасывает одну за другой маски, скрывавшие от масс его подлинное классовое лицо. Близится тот момент, которого давно опасались руководящие круги германской буржуазии. Газета крупных концернов «Дейче альгемайне цейтунг» — конечно, до своей «унификации», 14 февраля, — писала следующее:

«Действительные трудности начнутся лишь тогда, когда снова отчетливо проявится антикапиталистическое движение снизу вверх... Наступит день, когда будут заняты все посты, когда закончатся все шествия, когда замолкнет победное ликование. Однако капитала будет попрежнему недостаточно. Пособия по безработице никак не станут более высокими. Армия безработных может уменьшиться лишь незначительно. Идея 4-летнего плана, конечно, блестящий пропагандистский трюк, но она должна будет выдержать столкновение с этими мрачными фактами. Тогда наступит испытание для выносливости высоко поднятого национального энтузиазма, который мы все с удовлетворением переживаем. Тогда для канцлера Гитлера, который хочет перестроить нацию, наступит час решения: возможно ли и каким путем может удалась действительное вторжение в ряды марксистских батальонов».

Этот день, о котором писала газета германских капиталистов, наступил. Прежде, чем мы ответим на вопрос о том, удалось ли действительно Гитлеру «перестроить нацию», удалось ли ему осуществить действительное вторжение в ряды марксистских батальонов, скажем несколько слов о том, в каком положении находится экономическая база, на которой строится легковесное здание «третьей империи».

Еще 15 апреля английский журнал «Экономист» констатировал, что

судьбу гитлеровского режима решит в первую очередь экономика. Трезвый посторонний наблюдатель указал, что положение германского народного хозяйства, расшатанного кризисом, в высшей степени безотрадное. Бюджет дефицитен, и нет никаких перспектив для его сбалансирования. Безработные требуют работы. Между тем развитие кризиса не сулит оживления в промышленности, а организация общественных работ наталкивается на отсутствие источников финансирования: внутренние займы невозможны, внешние займы исключены, ибо Германия фактически обанкротилась. Остается путь инфляции, но инфляция — это удар как-раз по тем слоям населения, на которые опираются национал-социалисты.

Что же сделано национал-социалистским правительством за четыре месяца его существования такого, что могло бы повести к разрешению хозяйственных задач, стоящих перед германской буржуазией? — Ничего. Единственное конкретное мероприятие — это те законы, которые должны улучшить положение крупного помещичьего хозяйства и кулацких хозяйств. Ни для промышленности, ни для среднего сословия правительством ничего конкретного не сделано и не могло быть сделано, ибо даже такие «отборные представители расы», как Гитлер, Фрик, Геббельс и Геринг, не могут преодолеть стихию кризиса.

Очень трудно судить об экономическом положении Германии в настоящий момент, ибо фашистская статистика превзошла все рекорды в подтасовке цифр и их извращении. В качестве примера можно привести хотя бы тот факт, что в индексе германского Конъюнктурного института и Статистического управления не отражены даже те сдвиги, о которых говорится в их собственных отчетах. Индекс не отражает ни ухудшения положения промышленности в конце 1932 г., ни ухудшения в начале 1933 г., о котором говорилось в отчетах учреждений, публикующих индекс.

Фашистская пресса очень много шумит о том, что хозяйственное положение Германии улучшилось. Однако в действительности речь может идти лишь о

некотором оживлении государственных строительных работ стратегического характера и подъеме в военных отраслях индустрии. Вид промышленного сырья, наиболее интенсивно ввозимого в Германию, это — металлолом, необходимый для военных заказов.

Германским экономистам, ныне расписывающим оживление строительства, не мешало бы напомнить, что Германский банк строительного и земельного кредита в марте 1933 г. на основании тщательного анализа категорически заявил, что никак нельзя рассчитывать на серьезное расширение жилищного строительства. Этому препятствует не только наличие большого количества незаселенных домов и квартир, но и широкие ножницы между процентом на капитал и стоимостью строительства. Кроме того, имеется громадное количество незаконченных домов. Строительство новых квартир было в первой четверти 1933 г. на 16 проц. ниже, чем в предыдущем году. Германский журнал «Виртшафтсдинст», рассматривая этот вопрос в конце мая, констатировал, что большая часть жилищного строительства проходит за счет субсидий из общественных средств, и подчеркнул, что «в текущем году не может быть и речи о серьезном, подлинном оживлении рынка строительства». О промышленном строительстве не заикается даже фашистская пресса. Зато и ей трудно скрыть тот факт, что строительная промышленность загружена даже во время летнего сезона только на 23,5 проц.

Улучшение наблюдалось в производстве легковых автомобилей, но одновременно имело место ухудшение торговли автомобилями, а экспорт машин упал. В дальнейшем снова сократилась автомобильная продукция, что привело к середине лета к новым банкротствам. Некоторое улучшение наблюдалось в текстильной промышленности (изготовление обмундирования!). Но вывоз резко падает. Этими данными исчерпывается «хозяйственное оживление» в Германии.

Зато весьма конкретное ухудшение наблюдается в целом ряде ре-

шающих промышленных отраслей. Добыча угля систематически падает. Запасы угля на складах Дурской области от начала апреля до начала июня оставались на одном и том же низком уровне. Суточный сбыт каменного угля в Руре был в июле 1933 г. ниже, чем в том же месяце прошлого года. Машиностроительная промышленность загружена на 31 проц. Производство все время падает как в первой, так и во второй четверти 1933 г. Заказы на экспорт резко сократились. Единственным положительным моментом, не могущим однако задержать общую тенденцию к падению, является некоторое увеличение заказов железных дорог. Отметим, что это обстоятельство не мешает тому, что из 22 паровозостроительных заводов работают только 9, и притом с неполной нагрузкой. Чрезвычайно катастрофическим является положение в электротехнической промышленности. Знаменитый трест «Всеобщая К^о электричества — АЭГ» терпит большие убытки.

При таком положении промышленности является совершенно естественным отсутствие всяких серьезных перспектив рассеивания безработицы. Сколько бы ни шумели, ни болтали, ни выдумывали фашистские газеты, всякому мало-мальски грамотному наблюдателю ясно, что безработица в Германии не может сокращаться. Наоборот, она может лишь увеличиваться. Самые максимальные цифры сокращения безработицы (в действительности неверные), которые проводит фашистская пресса, сводятся к 1 млн. Если даже эту выдуманную цифру считать правильной, то и это ничего не говорило бы, ибо простой анализ фашистской статистики (проделанный виднейшим немецким экономистом Кучинским), показывает, что официальной статистикой не охвачено приблизительно 2 млн. безработных. Уже простое сопоставление этого фальшивого миллиона безработных, «получивших работу», и скрытых 2 млн., не числящихся безработными, но на самом деле работы не имеющих, сводит на-нет все фашистские разглагольствования об уменьшении без-

работицы. И в самом деле, статистика унифицированных профсоюзов говорит о том, что процент безработных членов профсоюзов составлял в мае тек. года 44,7 против 43,3 в мае 1932 г.

Фашистская «кампания против безработицы» связана с «всеобъемлющим» законом о борьбе с кризисом, который был издан германским правительством 1 июня. Этот закон о мерах по уменьшению безработицы составляет «план» первого года фашистской четырехлетки. Закон предусматривает ассигнование министерством финансов 1 млрд. марок на сельскохозяйственное переселение и на ряд общественных работ (строительство каналов, газопроводов и т. д.). Этот миллиард должен состояться из «добровольных пожертвований», которые вносятся в погашение неоплаченных налогов. Как видим, источник довольно сомнительный. Далее устанавливаются налоговые льготы для предпринимателей, которые займут большее количество рабочих при производстве работ, необходимых для поддержания и ремонта оборудования. Третье мероприятие заключается в том, что государство согласно предоставит ссуду в 1 тыс. марок тем безработным женщинам, которые выйдут замуж. Правда, одновременно эти женщины снимаются с пособия по безработице. Следующее мероприятие предусматривает льготы для тех, кто будет нанимать домашних работниц, а раньше ими не пользовался. Эти льготы, кстати сказать, устанавливаются за счет снятия домашней прислуги с социального страхования.

Вот и вся программа первого года фашистской «четырёхлетки». Она отличается двумя чертами: во-первых, она конечно никак не может иметь практических результатов; во-вторых, она при своем проведении неизбежно наталкивается на чрезвычайно серьезные финансовые затруднения. Программа Гитлера точно так же, как и нашумевший в свое время план фон-Папена, предполагает обременение бюджета последующих лет за счет ныне предоставляемых налоговых льгот. Кроме того,

закон вообще оставляет открытым вопрос об источниках финансирования общественных работ, а это вопрос чрезвычайной важности, ибо попытка действительно провести в жизнь план общественных работ с абсолютной неизбежностью означает переход к политике инфляции.

Откуда же таким образом берется 1 млн. людей, якобы получающих работу? Этот миллион составляется фашистскими публицистами на основании расчета о том, сколько человек получили бы занятия в случае проведения вышеупомянутого закона о мероприятиях по борьбе с безработицей. Все делается очень просто. На работах по поддержанию в целости законсервированного оборудования промышленности «будет занято» 250 тыс. чел. Нужды нет, что подобные работы производятся во все меньшем размере. Но если бы даже эти дутые цифры были верны, они говорили бы лишь о том, что временно некоторое количество безработных получит работу. 200 тыс. женщин, — говорят фашисты, — будут очастливлены тем, что, выйдя замуж, получат ссуду в 1.000 марок и одновременно перестанут получать пособия по безработице. Этот «довод» в комментариях не нуждается. 200 тыс. человек каким-то таинственным образом должны получить работу в сельском хозяйстве, хотя прекрасно известно, что процесс разорения сельского хозяйства происходит ускоренным темпом. 400 тыс. безработных должны утешиться тем, что они будут заняты на тяжелейших работах по дорожному строительству, строительству каналов, по прорыву газопроводов, при чем зарплаты они получать не будут, за ними лишь сохраняется право получать нищенское пособие по безработице. И наконец еще 200 тыс. человек должны быть заняты на «других работах». Вот и весь миллион «спасенных безработных».

Безработица в фашистской Германии не может уменьшиться и не уменьшится. Все цифры и все выкладки фашистских экономистов говорят либо о том, что часть безработных лишится пособия, оста-

ваясь без работы, либо о том, что часть безработных, получая то же нищенское пособие, вынуждена будет по принуждению работать не по специальности, в очень тяжелых условиях, либо о том, что горсточка безработных получит временное занятие, и притом, как общее правило, за счет сокращения зарплаты еще занятых рабочих.

Положение рабочих, еще не выброшенных на улицу, при фашистском режиме характеризуется двумя основными чертами: во-первых, полным бесправием, ибо коллективные договоры фактически отменены, профсоюзные организации не существуют, фабрично-заводские комитеты разогнаны, и, во-вторых, непрерывным снижением реальной зарплаты в связи с ростом дороговизны, которой не в состоянии скрыть даже фашистская статистика.

Нисколько не улучшилось, а во многих отношениях ухудшилось и положение тех слоев населения, на которые непосредственно опирается национал-социалистская партия. Прежде всего надо указать на ухудшение положения крестьянства. Число банкротств мелких и средних крестьянских хозяйств за последние месяцы увеличилось, в то время как число банкротств помещичьих имений уменьшилось.

Вопрос об аграрной задолженности разрешен в соответствии с требованиями банковского капитала. В этой области действует закон, изданный еще Гугенбергом и вызвавший резкую критику нынешнего национал-социалистского министра земледелия Дарре. Гугенберг считал возможным снизить процент по аграрной задолженности до $4^{1/2}$, а Дарре требовал снижения до $2^{1/2}$. Когда Дарре пришел к власти, он заявил, что закон Гугенберга отменить невозможно, — он остается в полной силе. Позднее Дарре еще дополнительно разъяснил, что он не намерен ни в коем случае продавать с торгов крупные помещичьи имения, если их существование «освящено традициями» и если... этого не хотят владельцы. Фашисты ничего не сделали и не намерены делать для облегчения положения мелкого и среднего крестьянства, о чем они так много шумели не

только до, но и после захвата власти. Мероприятия, проводимые правительством в области торговой политики, не только не идут навстречу потребностям среднего крестьянства, но, наоборот, бьют по его интересам. Сельскохозяйственный протекционизм, закон о запрещении ввоза иностранных жиров, мероприятия, ведущие к поднятию цен на корма, соответствуют интересам владельцев крупных помещичьих латифундий, ведущих зерновое хозяйство, но бьют по интересам мелкого и среднего крестьянства, которое в Германии в громадном большинстве занято птицеводством, переработкой продуктов животноводства. Для этих слоев крестьянства удорожание кормов является тяжелейшим ударом.

Наконец следует еще указать на изданный в Пруссии 1 июня закон, устанавливающий, что крестьянское хозяйство, крестьянский двор после смерти его владельца переходит обязательно к его старшему сыну. Этот феодальный порядок наследования означает, во-первых, фактическое прикрепление к земельному участку, ибо крестьянин лишен возможности им распоряжаться, и, во-вторых, увеличение кадров сельскохозяйственного пролетариата, ибо вся семья, кроме старшего сына, после достижения совершеннолетия должна идти по миру.

Таковы пока те плоды фашистского режима, которыми он «осчастливил» крестьянские массы.

Если мы обратимся к положению городской мелкой буржуазии, мы также не заметим никаких признаков улучшения ее положения, не сумеем установить никаких мероприятий, которые свидетельствовали бы о серьезной помощи фашистского режима мелким лабочникам, торговцам, служащим, мелким предпринимателям и т. д. Мелкие торговцы и ремесленники видят главную причину своего разорения в конкуренции крупных капиталистических предприятий. Эти предприятия целиком и полностью сохранились. Кроме того, ремесленники и мелкие торговцы страдают от высоких ростовщических процентов. Даже ряд крупных фашистских деятелей был вынужден признать, что проценты

на ссудный капитал продолжают держаться в Германии на чрезвычайно высоком уровне. Нечего говорить о том, что фашизм не может улучшить положение мелкой буржуазии уже просто потому, что он не может создать хозяйственного оживления, которого нет.

Однако мелкой буржуазии грозит еще новая гораздо более серьезная опасность: это — опасность инфляции. Мы уже указывали, что дефицит государственного бюджета неизменно растет. Растет не только дефицит, но прямое банкротство муниципалитетов и местных общин. Ожидать увеличения платежа налогов не приходится. Сокращение расходов также является исключенным. 31 октября истекает срок защиты сельскохозяйственных предприятий от продажи с торгов. Продление этого закона означает необходимость установления мораториума для всех сберегательных касс и кредитных товариществ, капитал которых заморожен в сельском хозяйстве, а это может повести к мораториуму во всем хозяйстве. Если фашисты организуют из военно-стратегических соображений широкие общественные работы, то появится необходимость изыскания дополнительных средств. Вот те причины, в силу которых печатный станок в Германии должен будет усиленно работать. Если мы к тому же напомним, что во всем мире происходит валютная война, что обесценение валюты становится после отказа Америки от золотого стандарта мировым явлением, что под ударом находятся франк, итальянская лира и германская марка, то перспективы инфляции для Германии станут еще более отчетливыми. А инфляция — это разорение всей многомиллионной массы нынешних сторонников фашизма. Это сильнейший удар и глубочайшее разочарование для деревенской и городской мелкой буржуазии. Инфляция может пробить глубочайшую брешь в фашистском режиме.

Таковы экономические перспективы фашистской Германии.

Крупная буржуазия конечно всецело отдает себе отчет в положении. Для того и была установлена фашистская диктатура, чтобы можно было пустить

в ход аппарат угнетения против обнищавших масс. Газета рурских угольных баронов «Дейче бергверксцейтунг» еще в середине мая с похвальной откровенностью призывала примириться с ростом нищеты. Газета указывала, что придется в значительной степени ограничить потребление мяса и потребление жиров. Далее газета писала:

«Будем опять без ложного стыда носить заплатанную обувь и брюки, а шерстяная материя после того, как износится, будет снова переработана в искусственную шерсть. Жизненный уровень должен быть понижен. Это требует крепких нервов. Но министерство пропаганды сумеет их укрепить. Только теперь нищета, вызванная проигранной войной (о кризисе — молчок! — Е. Г.), стучится в германские дворы с такой силой, что все это слышат. По официальным данным, розничная торговля по сравнению с 1929 г. упала на 50 проц., и мы полагаем, что она должна будет сократиться еще наполовину, чтобы удержаться на определенном уровне. Мы должны, таким образом, ожидать крахов и привыкнуть к ним...»

Но захочет ли германский народ «привыкнуть» к нищете, к капиталистической эксплуатации, к фашистской диктатуре. Даже национал-социалистические патриоты в этом, повидимому, сомневаются. Вот почему вся тактика, вся стратегия германского фашизма сводится к завинчиванию гаек жесточайшей классовой диктатуры.

2. Ликвидация старых партий

Нам уже пришлось писать в предыдущей статье о том, что так называемая «унификация» является универсальным средством, универсальным методом, при помощи которого фашизм укрепляет в Германии диктатуру крупного капитала. Эта «унификация» привела за последние месяцы к полной ликвидации всех других буржуазных партий. Здесь речь идет не только о борьбе национал-социалистов со своими конкурентами, — монополистический капитал хочет за-

купорить все каналы, по которым могло бы получить проявление растущее недовольство самых широких слоев населения.

Одна за другой прекратили свое существование три крупные партии, на которые опиралась буржуазия в течение послевоенных лет: социал-демократия, партия центра и партия германских националистов.

Банкротство германских социал-демократов характеризуется двумя важнейшими вехами: первая из них — это бесславная сдача профсоюзов, захваченных национал-социалистами 2 мая, т.-е. на другой день после шумного «праздника национального труда». Капитуляция профсоюзов по своему позорному характеру, по проявленной ими трусости, по лакейству вождей, по бессилию аппарата может сравниться только с капитуляцией социал-демократического правительства в Пруссии 20 июля 1932 г., когда лейтенант и трое полицейских изгнали правительство Брауна—Зевринга из его кабинетов.

Второй вехой банкротства германской социал-демократии уже после прихода фашизма к власти является голосование социал-демократической фракции под руководством Лебе 17 мая за резолюцию доверия правительству Гитлера после оглашения канцлером его внешнеполитической программы. Это голосование даже престарелый ренегат Карл Каутский вынужден был назвать «недоразумением». Однако ползание на брюхе перед фашистской диктатурой не помогло германской социал-демократии. Ей не удалось сохранить ни части насиженных мест, ни права играть роль «легальной оппозиции его фашистскому величеству». Социал-демократическая партия была запрещена, ее организации распущены, а некоторые наиболее ретивые лидеры посажены в концентрационные лагеря. Здесь не место анализировать значение политического банкротства германской социал-демократии. Это факт огромного значения в развитии международного революционного движения. Это важный этап в ликвидации II Интернационала, в укреплении рядов

сторонников III Интернационала. Результаты позорного банкротства германской социал-демократии еще будут сказываться на протяжении ближайших месяцев и выразятся они в усилении коммунистического влияния среди германского рабочего класса.

Почти одновременно с социал-демократической партией прекратили свое существование националисты и партия центра. Ликвидации националистической партии предшествовал насильственный роспуск ее боевых организаций и добровольный переход организации «Стального шлема» в ряды национал-социалистов. Любопытно, что одной из причин ускорения в конце июня роспуска организации националистов являлось, по заявлению фашистских лидеров, то обстоятельство, что в этих организациях проявились «марксистские тенденции». Это объяснение не означает ничего иного, как признание того, что в низовых организациях даже националистической партии получило свое оформление возмущение масс в связи с полной бесплодностью хозяйничанья фашистов.

Уход с политической арены партии националистов получил свое наиболее яркое внешнее отражение в отставке лидера националистов Гугенберга, который в момент создания правительства Гитлера 30 января получил в свое ведение три министерства и явно намеревался быть фактическим хозяином кабинета. Уход Гугенберга означал, что национал-социалисты не будут делить власть и что фашисты вместе с тем заслужили доверие крупного капитала в такой степени, что они могут заменить матерого слугу монополистического капитала, каким является Гугенберг. Действительно, мероприятия, проведенные правительством Гитлера после ухода Гугенберга в отставку, ярко демонстрируют, что фашисты заслужили доверие крупной буржуазии.

Бесславной смертью умерла и партия центра. Мелкая буржуазия вместе с разоренным крестьянством пока еще ищет выхода из кризиса на путях фашизма. Партия центра, являвшаяся сильнейшей партией республиканской Германии, уже не пользовалась доверием масс мелкой

буржуазии. Если же эти массы начинают колебаться и отходить от фашизма то они ни в коем случае уже не возвращаются в центр. Важнейшим рычагом, при помощи которого центр сохранял свое влияние на массы и поднимал свои акции на политической бирже, являлся католицизм. Партия центра была наиболее крупной массовой организацией католической церкви. Поэтому решающим ударом для партии центра явилось то, что папа предал своих друзей в Германии. Заключение конкордата между Ватиканом и германским фашистским правительством окончательно лишило партию центра права на существование. Центр сам себя распустил, а католическая церковь обеспечила свои интересы благодаря уступчивости правительства Гитлера. Содержание конкордата еще не известно, но можно не сомневаться, что это один из тех документов фашистского господства, который возвращает Германию обратно во времена средневековья.

В настоящий момент национал-социалистическая партия является единственной партией германской буржуазии. Старые партии прекратили свое существование. Всякие попытки создать новые партийно-подобные организации пресекаются в корне. Когда 8 июля прусский министр-президент Геринг заявил о создании прусского государственного совета, он предупредил, что в его состав будут назначаться только персонально отдельные лица или персонально отбираться представители определенных предпринимательских организаций. Но даже составленный таким образом государственный совет не будет голосовать, не будет иметь права окончательного решения, а будет являться совещательным органом. Таким образом, исключается всякая база для партийной деятельности. Но мало того, когда после оповещения о создании государственного совета некоторые организации просили о предоставлении им представительства в этом совете, в газете «Берлинер берзе нд ейтунг» была напечатана специальная заметка, в которой указывалось, что всякие попытки группового представительства находятся в прямом

противоречии с сущностью фашистских принципов.

В унифицированном государстве унифицированными методами должна провести корабль крупного капитала сквозь бурные воды кризиса и социальных боев. Но можно «унифицировать», можно заставить замолчать, можно запретить всякую политическую деятельность сторонникам фашистского режима или тем слоям населения, которые не видят в фашистской диктатуре классового врага. Но как быть с пролетариатом, антиподом буржуазии, который в своем подавляющем большинстве прекрасно понимает, что фашистская диктатура есть средство борьбы против рабочего класса?

Несмотря на всю фашистскую «унификацию», классовое размежевание происходит в фашистской Германии весьма быстрыми темпами, и линия классового фронта проходит глубочайшей трещиной в здании «третьей империи».

3. Попытка загнать рабочих в казарму

Все, что до сих пор предпринимал германский фашизм, его лихорадочные старания склотить и передать в руки монополистического капитала острое оружие классовой диктатуры, его террор против масс, его беспомощные попытки создать собственную «идеологию», — вся эта деятельность германских фашистов в конечном счете преследовала одну единственную цель — разбить рабочий класс, заковать его в кандалы, поставить его на службу буржуазии в условиях небывалого кризиса. Эта задача не удалась.

Уже вскоре после первой волны фашистского террора в Германии ЦК германской коммунистической партии мог с полным основанием заявить в своем постановлении:

«Разгром революционного авангарда коммунистической партии, эта решающая задача, которую поставил перед собой фашизм, абсолютно не удалась, несмотря на применение безудержного террора, несмотря на дикие провокации, широкий под-

куп и ничем не ограниченную демагогию».

Германская коммунистическая партия — революционный авангард рабочего класса — не только существует, несмотря на то, что десятки и сотни ее лучших представителей заключены в тюрьмы, подвергнуты пыткам, казнены, но усиливает свое влияние в среде рабочего класса. Коммунистическая партия Германии может с гордостью сказать, что она является единственной партией германского рабочего класса, его надеждой, его боевым руководителем.

Рабочий класс не разбит, рабочие кварталы не завоеваны фашистами. Руководители фашистской политики конечно прекрасно понимают это обстоятельство. Именно поэтому как-раз к концу первого полугодия своего существования германский фашизм переходит к все более крайним мерам борьбы против пролетариата. Дело заключается не только в том, что отдельные вылазки полиции и штурмовиков становятся все более беспощадными, не только в том, что пытки становятся все более жестокими, облавы все более широкими. Общий стиль, тактика фашистского государства по отношению к рабочему классу делается все более обнаженной. Фашизм начинает выступать открыто как враг рабочего класса, как союзник капитала, каким он являлся всегда. Фашистская диктатура монополистического капитала поворачивается всеми своими бастионами, дулами пушек, всей своей громадиной против германского пролетариата. Фашисты, гонимые ветром событий, сами идут навстречу гражданской войне.

Для того, чтобы понять значение самых последних событий в Германии, надо приглядеться ближе к постепенному развитию «рабочей политики» германского фашизма после его прихода к власти.

В течение первых 2 месяцев пребывания у власти правительства Гитлера террор против коммунистов, массовый террор в рабочих кварталах сопровождался фантастической демагогией. Фашисты пытались задушить классовый инстинкт в тяжелом дурмане патриоти-

ческого угара. Кульминационным моментом этой тактики германского фашизма явилось «празднование 1 мая».

При его подготовке были пущены в ход все трюки, какими только располагали национал-социалисты. Вся клавиатура фашистской, националистической демагогии была использована в надежде, что таким образом удастся сыграть 1 мая победный фашистский марш.

Национал-социалистические газеты и ораторы распространяли неслыханную ложь, будто бы фашисты и вообще «германские патриоты» десятки лет боролись за возможность празднования 1 мая; теперь эта возможность достигнута, и все добрые бюргеры ликуют. Трудно себе представить, чтобы подавляющие кадры германских пролетариев, хорошо знающие историю своего класса и своей страны, хоть на мгновение поверили этой выдумке. Общеизвестно, что праздник 1 мая не только встречал противодействие со стороны буржуазного государства, но был предметом жесточайших нападков со стороны всех тех, кто себя объявлял германским патриотом. В частности национал-социалисты никогда, даже в период самой разнузданной своей демагогии, не пытались объявлять 1 мая праздником, в котором они считали бы возможным принимать участие.

Вторым приемом, при помощи которого национал-социалисты пытались вовлечь рабочих в организуемое ими 1 мая торжество, явилось использование предательства социал-фашистов. Гитлеровцы «предались воспоминаниям» о том, как социал-демократический берлинский полицей-президент Цергибель стрелял в первомайскую демонстрацию в 1929 г. Правда, не сочли нужным сказать о том, что он стрелял в коммунистическую демонстрацию при несомненном сочувствии национал-социалистов. Правда, забыли о том, что в то время как на первых страницах фашистских газет накануне 1 мая печатались возмущенные «воспоминания» о Цергибеле, на 3-й, 4-й страницах были опубликованы заметки о широкой победе в рабочих кварталах, произведенной штурмовиками. «Огорчались» по поводу того, что

Цергибель в 1929 г. стрелял в рабочих, и пытали в это же самое время рабочих в концентрационных лагерях.

Пустили в ход фальшивую филантропическую фразеологию середины XIX века, раздались сладкие разговоры о «добром работнике физического труда», о «честном рабочем», который хочет жить в патриархальной дружбе со своим хозяином.

Были использованы и писательские силы, художники, актеры, перешедшие на службу к фашизму. В «Фелькишер беобахтер» например Йоганн Риман опубликовал накануне 1 мая статью под названием «Рабочий и художник в едином фронте». В этой статье буржуазный интеллигент внезапно открыл в себе чрезвычайную симпатию и уважение к «германскому труду». Он восторженно заявляет, что фашизм открыл для искусства широкое поле деятельности и дал возможность художникам и рабочим облегчать... руководство народным хозяйством и финансами. Мелкие буржуа, питающиеся подачками со стола крупной буржуазии, думали, что они могут прельститься подобными лакейскими перспективами германских пролетариев.

Правда, в эти же дни на страницах фашистских газет в высокопарных тонах, прославлявших «праздник национального труда», раздались голоса «мытарей во храме». Целые страницы центрального органа национал-социалистической партии «Фелькишер беобахтер» были например посвящены объявлениям различных капиталистических предпринимателей, построенным на первомайской фразеологии. Громадными буквами можно было прочесть на одной из страниц национал-социалистической газеты следующий лозунг: «3 тысячи рабочих умственного и физического труда празднуют день национального труда в качестве служащих объединенной фабрики шарикоподшипников», а посему — «покупайте только нашу продукцию». На другой странице красовался лозунг: «Уважайте германский труд». Эта надпись была дана над громадным объявлением химического треста, рекламировавшего бензин своей продукции.

* Само собой разумеется, что подобное использование демагогических лозунгов для увеличения предпринимательской прибыли является лишь одним из многих блюд того фантастического варева, какое фашисты преподносили населению, агитируя за организованный ими для обмана и предательства рабочего класса «национальный праздник труда». Крупные предприниматели рассматривали первомайскую затею национал-социалистов как серьезно продуманную попытку одним сильным рывком загнать рабочий класс в дисциплинарные батальоны крупного капитала. В газете «Дейче альгемейне цейтунг» была 30 апреля опубликована «первомайская» статья управляющего делами Союза германской промышленности — Герле. С трудом процедив сквозь зубы торжественные фразы о первомайском празднике, этот капитан германской промышленности делает следующее предупреждение:

«Хозяйство связывает с этим днем особую надежду, что национальная дисциплина — одна из основных идей первомайского праздника — будет действовать и после этого дня в том направлении, какое указано в заявлениях руководящих правительственных и партийных инстанций; именно во всех отраслях государственного хозяйственной и культурной жизни должно произойти установление стабильного правового порядка...»

Не трудно понять, какие «особые надежды» связывал крупный капитал с фашистским 1 мая. Он полагал, и совершенно справедливо, что речь идет о торжественном оформлении диктатуры, которой под лозунгом единства национального труда должны были бы подчиниться все рабочие.

Гитлер прекрасно учел пожелания монополистического капитала и в речи, произнесенной 1 мая на грандиозном митинге, заявил, прославляя «единство германского народа»: «Мы приняли твердое решение связать воедино немецких людей, а если они этого не хотят, заставить их объединиться» (gegeneinander zwingen). Так как не

возникает никаких сомнений в том, что буржуазия ничуть не возражает против того «единства», которое проповедуют фашисты, так как рабочий класс боролся и продолжает бороться против фашистской «унификации», на деле означающей террор против рабочего класса, не приходится толковать угрозу Гитлера, сделанную им в торжественной речи 1 мая. В полном соответствии с пожеланиями крупной буржуазии Гитлер в этой демагогической «праздничной» речи угрожал рабочим, что фашистская диктатура заставит их подчиниться воле крупного капитала. Об этом же писал с полной открытостью в праздничном номере «Фелькишер беобахтер» ближайший соратник Гитлера, известный в качестве застрельщика антисоветской кампании, Розенберг. Розенберг цитирует вдохновенно слова Ницше о том, что между предпринимателем и рабочим должны быть солдатские отношения. В этом Розенберг видит подлинный революционный мотив первомайского праздника при фашистском режиме. Оказывается, марксисты хотели, чтобы рабочие были мятежными рабами, а фашизм хочет, чтобы они были дисциплинированными солдатами. Нет нужды полемизировать с Розенбергом относительно того, как марксисты смотрят на рабочих. Достаточно констатировать, что, по его мнению, фашисты должны добиться того, чтобы рабочие не бунтовали, а подчинялись предпринимателям, как в буржуазной армии солдат подчиняется офицерскому командованию.

Нам уже приходилось указывать в предыдущей статье, что солдатская идеология, палочная дисциплина представляет собой последнее слово фашистской мудрости и краеугольный камень их политики. Это в полной мере проявилось в организации первомайского «праздника национального труда». Увечанием всей этой солдатской демагогии явилась статья руководителя организации трудовой повинности, полковника Хирля, который в том же праздничном номере «Фелькишер бео-

бахтер» от 30 апреля высказывал надежду, что

«первого мая следующего года вместо различных и разнообразных «добровольных дружин» отряды трудовой повинности будут шествовать крепко сколоченными частями немецкой армии трудовой повинности».

Перед одуревшим солдафоном уже маячили великолепные образы единой армии, которой командуют старые кайзеровские офицеры и в которую включены все без исключения германские рабочие. «Первая колонна, марш», «вторая колонна, марш»,—этот любимый лозунг юнкеров снова прозвучал в Германии.

Не следует думать, что речь идет только о лозунгах, о мечтах отставных полковников. Нет, повторяем еще раз, военизация режима на предприятиях, подчинение рабочих солдатской дисциплине, превращение предприятий в казармы — стержневые моменты в стратегическом плане германского крупного капитала, в тактике германского фашизма. Если в течение первых лет кризиса можно было снижать зарплату, удлинять рабочий день или выбрасывать рабочих на улицу, не нарушая коллективных договоров, благодаря содействию социал-демократов, то в дальнейшем оказалось необходимым отменить коллективные договоры и поддержать экономическое наступление на рабочий класс при помощи террора. Потом и этого оказалось недостаточно. Наступил период открытой фашистской диктатуры. Но и при фашистской диктатуре предприниматели не рассчитывают добиться возможности ограбления рабочего класса ради сохранения тающих при кризисе прибылей иначе, как путем милитаризации рабочего класса.

В крупнокапиталистической «Дейче альгемейне цейтунг» еще 2 апреля была опубликована статья берлинского профессора Кайюса Фабрициуса под названием «Мобилизация для отечественной трудовой повинности». Берлинский профессор констатирует, что наступили

решающие дни в жизни Германии. Он приветствует политический переворот, произведенный фашизмом, но призывает и дальше действовать в спешном порядке. Профессор не закрывает глаз на действительность. Он констатирует, что: «все еще германский народ — умирающий народ; все еще миллионы влчат тяжкий образ жизни под бременем безработицы». Однако профессор не видит никаких средств для ликвидации той чудовищной нужды, того угрожающего вырождения, которое он сам ярко обрисовал. Он не верит в то, чтобы возможно было пустить в ход народное хозяйство при помощи финансирования. «Как это может случиться, — говорит он, — когда в стране нет денег». Он не верит в то, чтобы можно было ожидать серьезного оживления торговли; он не надеется на возможность использования технических изобретений для германского народного хозяйства. Профессор приходит к следующему выводу: «Мы не должны начинать при помощи материальных средств, ибо мы бедны...» Нужно начать, по мнению профессора, с совершенно другого конца. Он хочет поднять на ноги всю нацию, он хочет «организовать всеобщую мобилизацию германского народа для чрезвычайной обязательной отечественной трудовой повинности». Он мечтает о том, чтобы тысячи молодых людей были принуждены работать «при благородной муштровке» более для того, чтобы служить, чем для того, чтобы зарабатывать». Он считает крупнейшим недостатком добровольность трудовой повинности, он требует ее обязательности. В этом он видит единственное спасение германской буржуазии. Германский профессор мечтает о создании «грандиознейшей, необычайно сильной и в то же время весьма эластичной организации».

Не нужно думать, что мы имеем дело с бредовыми идеями кабинетного ученого. Нет, то, что изложено в статье профессора Кайюса Фабрициуса, пытаются провести в жизнь фашисты. Организация «единого рабочего фронта»; о котором так много пишется в

газетах, является прямым осуществлением требований, изложенных в цитируемой статье. Вся рабочая политика германского фашизма именно направлена к тому, чтобы заставить рабочих служить, не имея права претендовать на заработную плату, чтобы заставить безработных работать на капиталистов без выплаты рабочим зарплаты, ограничиваясь только подачкой в виде нищенского пособия по безработице. Чудовищный план берлинского профессора является чудовищной действительностью сегодняшней Германии.

Национал-социалисты приступили к осуществлению этой «мобилизации для принудительной трудовой повинности» тотчас же после первомайского «праздника национального труда». 2 мая были захвачены германские профсоюзы. Крупный капитал не сомневался в преданности реформистских вождей, тем более, что они изо всех сил старались показать, что готовы служить фашистской диктатуре, но осуществление широкого стратегического плана закабаления германского рабочего класса требовало «унификации» и в этой области. Поэтому тотчас же после первомайской шумихи были заняты здания реформистских профсоюзов и ликвидированы германские профсоюзные организации, существовавшие много десятков лет.

Через 10 дней после 1 мая был созван всегерманский «рабочий конгресс». Само собой разумеется, что делегаты на этот конгресс не избирались, а были выделены местными национал-социалистическими ячейками, охватившими считанное количество рабочих. Гитлер выступил с большой речью на конгрессе. Он заверил рабочих в том, что национал-социалисты чрезвычайно любят и уважают германский рабочий класс. Он клеветал на марксистов, взывал к патриотическим чувствам и наконец любезно сообщил, что национал-социалисты намерены выступать в качестве «честного маклера» между рабочими и предпринимателями. Накануне «рабочего конгресса» Гитлер выступил перед штурмовиками в Киле, где тоже клялся в том, что, по мнению национал-социалистов,

немецкий рабочий, немецкий солдат, немецкий матрос являются людьми, заслуживающими полного доверия и уважения.

Эти речи Гитлера, вместе с выступлениями главы «единого рабочего фронта» Лея, можно назвать последними торжественными декларациями, при помощи которых национал-социализм пытался завоевать сердца рабочих. После этого началась черная работа сколачивания аппарата угнетения рабочего класса, а потом наступили черные дни, когда фашистским вождям уже было не до объяснений в любви к рабочим, когда не только дела, но и слова германских фашистов отразили их глубочайшую ненависть по отношению к рабочему классу.

4. Как фашисты куют кандалы для рабочего класса

За время существования фашистского режима национал-социалисты создали два основных типа организаций для закабаления германских рабочих. Безработных загоняют в отряды и лагеря трудовой повинности, в которых истощенные и обездоленные люди принуждены работать, как древнеримские рабы на галерах, подчиняясь жестокому надсмотрщикам и палочной дисциплине. Рабочие в обязательном порядке включаются в организации так называемого «единого рабочего фронта», где они, лишённые всяких прав, должны подчиняться диктатуре предпринимателей.

На ряду с организацией «единого рабочего фронта», о структуре которого мы сейчас будем говорить, фашисты принялись за укрепление своих национал-социалистических ячеек на предприятиях. Был издан приказ, в котором члены национал-социалистических производственных ячеек предупреждались, что они должны следовать указаниям свыше и особенно «во всех вопросах снижения зарплаты». Это было существенным предупреждением, потому что среди низовых национал-социалистических организаций были достаточно сильны иллюзии, будто теперь окажется возможным регулировать зарплату снизу. Задачи национал-социалистических

ячеек охарактеризовал достаточно откровенно сам Лей, руководитель «рабочего фронта», сказавший, что национал-социалистические ячейки должны быть «резервом для выделения офицеров и унтер-офицеров немецкого рабочего фронта». Неплохо высказался по этому вопросу и орган промышленной аристократии, знаменитого клуба господ, журнал «Ринг». В номере от 5 мая журнал указывает, что «еще в течение неопределенного времени важнейшей задачей национал-социалистических заводских организаций явится наблюдение за марклизмом», т.-е., иными словами, служба шпионажа. Для характеристики состава этих национал-социалистических ячеек, в которые принимаются в первую очередь особые «патриоты» и так наз. фронтовики, следует указать на официальное разъяснение последнего термина. Фронтовиками объявляются далеко не только участники мировой войны. Фронтовики — это, оказывается, те люди, которые боролись против большевизма в Прибалтике, а внутри страны проявили себя в качестве ретивых борцов против спартакистов, сепаратистов и прочих врагов «национального возрождения». Совершенно ясно, что национал-социалистические активисты на предприятиях — это в подавляющем большинстве преданные опричники крупного капитала, головорезы, шпионы, провокаторы.

Обратимся теперь к той основной организации, при помощи которой фашисты хотят обеспечить свое господство на предприятиях, свою диктатуру над рабочим классом. В состав «единого рабочего фронта» входят и предприниматели, и рабочие. Вступление в эту организацию является для рабочих обязательным под страхом лишения германского гражданства. «Единый рабочий фронт» имеет верховное руководство, в котором сидят ставленники фашистского руководства во главе с пресловутым Леем, местные организации, которые объединены с торговыми палатами и наконец низовые ячейки. Если в верховном руководстве находятся крупные

работники национал-социалистической партии, то в большинстве местных организаций, судя по газетным сообщениям, руководителями являются сами предприниматели. О фашистском «едином рабочем фронте», пожалуй, достаточно сказать, что согласно его структуре в главе фабрично-заводского комитета должен находиться... предприниматель. Он в качестве главы местной ячейки «единого рабочего фронта» должен разрешать споры, которые могут возникнуть между ним же как хозяином предприятия и его рабочими. Вряд ли надо приводить еще какой-либо аргумент, факт или иллюстрацию для доказательства того, что «единый рабочий фронт» это — механизм удушения рабочего класса, находящийся в руках предпринимателя.

Однако создание подобной диктатуры предпринимателя на предприятии не было признано фашистами достаточной гарантией от выступлений рабочего класса. Вообще надо сказать, что в настоящее время «единый рабочий фронт» уже оказался в сильнейшей степени скомпрометированным, ибо конечно рабочие быстро раскусили его классовую сущность. Поэтому фашистские законодатели дополняют его организацию рядом других драконовских законов против пролетариата. Предвидя, что рабочие могут оказаться неудовлетворенными решениями главы национал-социалистического заводского комитета в лице предпринимателя, фашисты создали должность окружного судьи. Этот фашистский «защитник рабочих интересов» получает право лишать гражданства и приговаривать к 10 годам каторги тех германских пролетариев, которые взбунтуются против предпринимателя.

Но и этого оказалось недостаточно. Фашисты постепенно приходят к тому, чтобы установить единоличную диктатуру при разрешении вопросов и споров, касающихся зарплаты и вообще материального положения рабочих. При организации «единого рабочего фронта» были созданы должности так наз. «доверенных лиц труда». Люди, назначенные на эту должность, должны были являться организаторами «рабо-

чего фронта». В середине июня было назначено 12 «доверенных лиц труда», которые должны были действовать в важнейших частях Германии. Небезинтересно дать характеристику людям, которых фашисты избрали в качестве вождей «единого рабочего фронта». Это — профессиональные специалисты по борьбе за снижение зарплаты, по подавлению забастовок, по организации массовых увольнений. В Силезии «доверенным лицом труда» был назначен некто Нагель, который прежде работал в качестве государственного третейского судьи по трудовым делам. Такое же прошлое у Клейна, возглавляющего «рабочий фронт» в Вестфалии, у Кимиха, ведающего «рабочим фронтом» в юго-западной части Германии, у Визеля, крупного промышленника, действующего в Средней Германии. Пригодность Клейна для защиты рабочих интересов в фашистском духе характеризуется еще тем, что он с 1927 г. являлся крупным работником правления германского химического треста; в этом же крупнейшем германском тресте прежде работал организатор «рабочего фронта» в Нижней Саксонии Мартер.

Этим доверенным лицам крупного капитала предоставлены широчайшие полномочия для подавления рабочего движения в качестве «доверенных лиц труда». Для иллюстрации их деятельности можно привести распоряжение уже упомянутого Клейна, в котором говорится, что всякие забастовки запрещены, и что для всякого нового урегулирования условий труда необходимо личное решение «доверенного лица», т.е. Клейна. Формальные полномочия, предоставленные «доверенным лицам труда», обязывают предпринимателей снижать зарплату только с санкции «доверенных лиц», но все прошлое «доверенных лиц», их практика дают полную гарантию предпринимателям, что эти люди не предадут интересов своего класса и сделают все, от них зависящее, для того, чтобы помочь удушить рабочее движение.

Все элементы фашистского государства — местная национал-социалистическая ячейка, завком, возглавляемый

предпринимателем, окружные судьи, доверенные лица крупного капитала в роли «доверенных лиц труда», министерство хозяйства, возглавляемое крупным капиталистом, — все это звенья единой цепи, при помощи которой фашисты пытаются заковать в кандалы рабочий класс.

5. Подлинные хозяева выходят на авансцену

Создав и оформив небывалую организацию принуждения и подчинения рабочего класса, установив единоличную диктатуру предпринимателей для разрешения всех споров о зарплате, мобилизовав некоторое количество безработных для принудительных работ по дорожному строительству, канализации и т. п., фашисты пришли к тому, чтобы окончательно легализовать власть предпринимателей, крупных трестов. Предполагая, что скованный по рукам и ногам рабочий класс не сумеет противостоять открытой диктатуре, они решили, что пора раскрыть карты и тем самым облегчить дальнейшее проведение политики монополистического капитала.

Первым сигналом о том, что фашисты свертывают социальную демагогию и готовы передать в руки, непосредственных представителей крупного капитала руководство народным хозяйством, явилось назначение преемником Гугенберга в министерстве народного хозяйства бывшего генерального директора крупнейшей германской страховой фирмы Шмидта. Его назначение встретило самые сочувственные комментарии со стороны органов отдельных крупных капиталистических группировок. «Франкфуртер цейтунг» сообщила, что Шмидт — «известный противник анти-капиталистических экспериментов и большой поклонник «предпринимательского духа». Дейче альгемейне цейтунг», одобряя назначение Шмидта, указала, что это человек, понимающий «значение частнокапиталистического накопления»,

и что «имя Шмидта является залогом того, что не будет проведено никаких экспериментов за счет интересов держателей бумаг, акционеров и держателей облигаций».

Руководство германской хозяйственной жизнью передано в руки представителей крупного капитала, заведомых противников всяких, не только «социалистических экспериментов», но вообще всякого ограничения предпринимательской инициативы и в первую очередь свободы действия крупных трестов. Шмидт, нынешний министр народного хозяйства, является членом наблюдательных советов целого ряда крупнейших акционерных компаний. Помощником Шмидта назначен известный национал-социалистический «теоретик» Федер, автор теории о необходимости ликвидировать «рабство процентов». Однако обремененность национал-социалистической «теорией» и слава борца за «национальный социализм» не помешали Федеру после принятия дел заявить о необходимости отозвать всех национал-социалистических комиссаров из предприятий, ибо «вмешательство в хозяйство стало невыносимым».

Комбинация из Шмидта и Федера является весьма поучительной. Несомненно, что здесь имеется попытка сочетать политику крупных трестов со взглядами сторонников более сильного государственного регулирования народнохозяйственной жизни. Неслучайно представитель крупного финансового капитала и автор теории об уничтожении «рабства процентов» оказались на общей платформе в фашистском министерстве народного хозяйства. Дело заключается не только в том, что борьба против рабства процентов была пустой и лживой демагогией, на удочку которой улавливались голоса отчаявшейся мелкой буржуазии. Дело заключается в том, что национал-социалистические теории по существу представляли лишь массовые издания тех взглядов, при помощи которых представители монополистического капитала обосновывают необходимость подчинения государства влиянию крупных трестов.

Назначение Шмидта, заявление Федера и даже неоднократные декларации Гитлера о необходимости поддерживать частную инициативу являлись лишь предвестниками более открытых и более решительных выступлений руководителей фашистского режима. Эти выступления состоялись в начале июля. 1 июля Гитлер выступил с большой речью на сезде руководителей штурмовых отрядов в Рейхенхале. Эта речь представляла строгое предупреждение о том, что необходимо прекратить неорганизованные террористические акты и надо покончить со всякими «социалистическими» иллюзиями. Гитлер разъяснил, что «социализм — это не что иное, как естественный порядок, соответствующий природным способностям данного народа». Нет нужды, что подобное бессмысленное определение социализма буквально ни в какие ворота не лезет, расходится со всем, что имеется в литературе человечества за все время его сознательной жизни. Цель этого заявления Гитлера проста и ясна. Нельзя отказаться вообще от прокламирования социалистических лозунгов, но надо разъяснить, что под социализмом следует понимать то, что фашистская диктатура будет создавать во время своего существования. Социализм — это не то, чего должно добиваться, а это то, что будет существовать в фашистской Германии. Нельзя признать за этим определением социализма большой научной глубины и даже логики, но во всяком случае это очень удобное для фашистов объяснение. В той же речи Гитлер объяснил штурмовикам, что конкретная цель национал-социалистической «революции», это — «установление порядка внутри как предсылка для развертывания сил вовне». А мы знаем, что под «развертыванием сил вовне» фашизм понимает в первую очередь подготовку антисоветской интервенции.

Наконец в той же речи Гитлер заявил, что важнейшей задачей является борьба с безработицей, и что от этого зависит судьба национал-социализма. Но как нужно бороться с безработицей,

Гитлер не об'яснил. Нам уже пришлось показать полную бесперспективность фашистских проектов борьбы с безработицей.

Дав необходимые раз'яснения заблуждающимся штурмовикам и предупредив их о необходимости строжайшей дисциплины, указав, что следует понимать под социализмом, Гитлер через несколько дней, 6 июля, на конференции имперских наместников сделал новое декларативное, программное заявление. Смысл этого заявления сводился к следующему. Революция проходит несколько стадий; в настоящий момент фашистская «революция» вступила в стадию... эволюции. Революция — это эволюция. Подобное определение несомненно отличается таким же остроумием, такой же логичностью и теоретической глубиной, как и приведенное выше определение социализма.

Тем не менее это заявление Гитлера является чрезвычайно важным. В этом заявлении Гитлер бил отбой в отношении социальной демагогии и счел возможным раскрыть карты. Он изложил принципы хозяйственной политики национал-социалистического правительства, он требовал чтобы «хозяйственник», т.е. промышленник, банкир, торговец в первую очередь оценивались по их хозяйственным способностям. Гитлер подчеркнул, что необходимо «сохранить в полном порядке хозяйственный аппарат». Как известно, существующий в Германии в настоящее время хозяйственный аппарат, за сохранение которого ратует Гитлер, есть аппарат капиталистический, аппарат крупных трестов, аппарат финансового капитала, аппарат эксплуатации и угнетения рабочего класса. Гитлер потребовал от имперских наместников пресечения стремления каких бы то ни было организаций или партийных инстанций, т.е. местных национал-социалистических партийных инстанций, присваивать себе правительственные полномочия и решать вопрос об увольнении и назначении людей.

Обе речи Гитлера, перед штурмовиками и перед имперскими наместниками, прозвучали грозным окриком по адресу

мелкобуржуазных масс, которые были использованы фашистами для захвата власти. «Игра в революцию» прекращается, начинаются будни фашистской диктатуры крупного капитала.

Но национал-социалистические руководители не ограничились двумя принципиальными речами Гитлера. Министр внутренних дел Фрик издал специальный приказ об окончании революции. Он приказал ее прекратить, он об'явил циркулярно, что... революция закончилась.

Само собой разумеется, что эти выступления национал-социалистических вождей (а мы привели только самые важные) вызвали чрезвычайный восторг стороны предпринимательских кругов. Орган тяжелой индустрии «Рейншпехт и Вестфалише Цейтунг» заявил: «Если революция будет продолжать идти по этому пути, то мы не боимся за будущее страны». «Франкфуртер Цейтунг», откликаясь на речь Гитлера и приказ Фрика, писала: «Национал-социализм только теперь полностью взял на себя ответственность за хозяйственно-политическое руководство, и программное заявление канцлера с полной ясностью отобразило основную линию, которая всегда была ясна тем, кто не поддавался распространяемым в общественности громким фразам». Иными словами, готовность служить крупному капиталу всегда составляла основную линию национал-социалистов и это понимали капиталисты, не поддававшиеся страху в связи с громкими демагогическими фразами, при помощи которых национал-социализм укреплял свое влияние среди масс. «Франкфуртер Цейтунг» с удовлетворением констатирует, что

«три принципа: частная собственность, частная инициатива и частная ответственность ни на минуту не оспаривались с тех пор, как победил национал-социализм».

6. Навстречу гражданской войне

Однако фашистским рыцарям капитала не удалось почивать на лаврах. Издали приказ о «прекращении револю-

ции», отправились на отдых в загородные виллы, опубликовали в прессе хвалебные статьи и... вдруг оказалось, что не так-то просто открыто провозгласить диктатуру финансового капитала, ничем не ограниченную власть предпринимателей в стране, потрясенной кризисом, в стране, где десятки миллионов людей голодают, где миллионы людей исполнены отчаяния и ненависти к существующему строю. Фашисты думали, что наступил момент, когда можно снять «лес», окружавшие здание диктатуры; они устранили национал-социалистических комиссаров над промышленностью; распустили непокорные штурмовые отряды; стреляли в бунтующих штурмовиков, как это случилось в Бреславле; издали приказ об окончании революции; Тиссен сообщил, что руководители национал-социалистической партии считают его хозяйственным диктатором, и его решения обязательными; министр земледелия Дарре разъяснил, что имени крупных помещиков являются неприкосновенными; пресса пыталась прикрыть дымовой завесой маневры фашистов, — и зашумела о том, что безработице нанесен «решительный удар». В такой обстановке предполагалось на полном ходу провести фашистский корабль в спокойную гавань оформленной, закрепленной, устоявшейся диктатуры против рабочего класса.

Но это не удалось.

Буквально в течение 2 недель обнаружилось, что «не все спокойно в королевстве Датском». Трудно судить, что происходит и произошло в июле в Германии, но все признаки говорят о том, что произошли события, не ставшие еще широко известными, но представляющие чрезвычайно грозный сигнал для фашистского режима. Речи Гитлера, приказы Фрика, надменные заявления главы металлургических трестов Тиссена, повидимому, вызвали громадное брожение не только в широких слоях рабочего класса, но и среди рядовых сторонников национал-социализма. В самом деле, трудно допустить, чтобы диничный отказ от социальной демагогии, жан-дармский приказ о подчинении предпринимательской диктатуре были приняты

безропотно массами, которых сами фашисты так долго подстегивали, так долго соблазняли социальной демагогией. Достаточно указать, что как-раз в те самые дни, когда Гитлер провозгласил наступление «периода эволюции», в Бреславле состоялась демонстрация 50 тыс. членов национал-социалистической организации молодежи, на которой их руководитель заявил: «Мы разбиди наших противников в марксистском лагере, теперь в том же духе мы хотим низвергнуть реакцию». И вдруг в этот самый момент по рядам национал-социалистических сторонников дается распоряжение о прекращении всякой борьбы, о том, что наступила эволюция, о том, что порядок и подчинение существующему капиталистическому аппарату является требованием дня.

Мы не знаем, что в действительности произошло в Германии, но о значении этих событий мы можем судить по тому, как действовали гитлеровцы. Прусский премьер-министр, главный помощник Гитлера, Геринг внезапно вернулся из загородного пребывания в Берлин. Он созвал экстренное заседание прусского совета министров, вызвал в Берлин всех полицей-президентов, начальников штурмовых отрядов и организации тайной полиции. На этих совещаниях был принят проект закона, который должен открыть шлюзы для новой волны жесточайшего террора против рабочих. Согласно новых драконовских законов Геринга к смертной казни должен присуждаться и тот, кто обвинен в убийстве фашистскими властями, и тот, кто обвинен в попытке убийства, и тот, кто переправляет нелегальную литературу. Члены семьи осужденного должны подвергаться остракизму. Пожизненная каторга должна стать обычной мерой наказания.

Комментируя эти необычайные законы, которые оказалось необходимым издать через кратчайший срок после декларации о наступлении мирного спокойного периода существования диктатуры, берлинский орган национал-социалистов «Ангрифф» писал: «Прусское правительство не остановится ни перед какими суровы-

ми мерами для защиты нового государства от грозящей опасности». Газета помещиков «Дейче тагесцейтунг» увидела в этих законах Геринга проявление открытого классового террора и восторженно назвала мероприятия прусского правительства «последним звеном той цепи, которая связывает дух Потсдама с лучшими традициями прусского государства великих Гогенцоллернов». Мы уже говорили в предыдущей статье о преклонении фашистов перед «духом Потсдама», перед довоенным кайзерским режимом. Теперь, усиливая аппарат фашистской диктатуры, устанавливая смертную казнь путем отсечения головы топором, они получили новое «свидетельство о благонадежности» со стороны газеты восточнопрусских юнкеров.

Но что же собственно случилось? Как объясняют фашисты необходимость новых законов о смертной казни? Геринг, мотивируя издание этих законов, высказался с полной определенностью. Он заявил:

«Государственный враг, как это оказалось, преодолен лишь внешне. Фактически коммунизм снова поднял голову».

Газета «Дер таг» писала по этому поводу:

«Мероприятия Геринга безжалостно раскрыли перед нами, насколько серьезно наше положение, но мы не боимся этого. Мы должны крепко взять себя в руки, иначе мы не сможем пойти по намеченному нами пути».

Нет надобности комментировать эти откровенно панические заявления. Тактический план фашистской диктатуры не удался. Не удалось, завинтив гайки, создав новый аппарат угнетения рабочего класса, открыто прокламировать

власть крупного капитала. Обманутые национал-социалистские низы поднимаются против фашизма. Широкие слои рабочего класса группируются вокруг коммунистической партии.

Законы о смертной казни сопровождался рядом чрезвычайных полицейских мер. Была проведена полилинно всегерманская облава. В Берлине в утренние часы производился строгий контроль автомобильного и пешеходного движения. Железнодорожная полиция контролировала все прибывающие и отходящие поезда. В зданиях вокзалов, в камерах хранения багажа был установлен специальный контроль. По ночам и на рассвете по рабочим кварталам носились с грохотом мотоциклы, проезжали полицейские автомобили, двинутые для проведения массовых арестов, и несомненно, во многих местах раздавались выстрелы, о значении которых, о причинах и последствиях удастся узнать лишь в будущем.

Эти скрытые события в Германии, находящие свое внешнее выражение в волне фашистского террора, являются лишь провозвестниками будущих волнений и тревог. Национал-социалистский министр пропаганды Геббельс, выступая с речью в Гамбурге, еще 17 июня заявил:

«Германия увидит в этом году внутренние волнения, по сравнению с которыми то, что мы пережили до сих пор, является лишь прелюдией».

С этим заявлением Геббельса можно согласиться. Все, что происходило до сих пор, — только прелюдия к ожесточеннейшим классовым боям, к решающему столкновению между германским пролетариатом и буржуазией. Германия идет навстречу гражданской войне, в которой конечная победа пролетариата обеспечена.

Литература и искусство

1. Д. Горбов — Мастерство жизненной правды. 2. М. Полякова — Об избранных произведениях Веры Инбер. 3. Н. Богословский — Роман о Ломоносове. 4. Инн. Оксенов — Борьба за лирику

1. МАСТЕРСТВО ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЫ

(О Новикове-Прибое)

Д. Горбов

I

Для широких читательских кругов нашего Союза, для нашей молодежи в первую очередь, А. С. Новиков-Прибой — один из самых любимых писателей.

В чем тайна его успеха?

Очень богатый необычным материалом рассказчик, он сумел снабдить свои произведения занимательностью повествования, увлекательностью фабулы, яркостью описаний и другими притягательными особенностями, которые приковывают к ним читательское внимание.

Однако все эти черты в наших условиях способны лишь содействовать успеху, но сами по себе не могут создать его.

В наших условиях стремление к внешнему богатству, само по себе никогда не создающее подлинного художественного успеха, может даже вредить ему. Случается, что вредит оно и Новикову-Прибою. Это нужно отметить сразу, потому что, только определив уклонения писателя от свойственного ему пути, только выделив его слабости, мы сумеем определить и самый его путь, и приущую ему силу.

Когда мы слышим от Новикова-Прибоа, что от гнева у одной из его героинь «на висках узловато вздулись жилы», что другая его героиня «рас-

крылась для любви, как роза в утренний час», что «за дверью» комнаты, где укрылись влюбленные, «повисло ухо пожилой женщины», что у капитана во время шторма «веки вспухли, точно по ним хлестали веником», что девушка улыбается «очаровательной улыбкой», а «от близости любимого мужчины» у нее «синей далью пламенеет душа», — когда мы слышим все это, нам ясно, что Новиков-Прибой вступает на ложный путь форсирования впечатлений, усиленного нажима на педаль читательского интереса. Или, стремясь к той же цели, он поспешно берет готовую, но уже отслужившую форму-штамп, который дается легко, но именно поэтому цели не достигает.

Естественно, что мы проходим мимо такой «занимательности», она нас несколько не занимает, и мы прощаем писателю эти срывы только потому, что его творчество ими не исчерпывается. Внимание непрестанно растущего читателя нашей страны может занять в литературе лишь то, за чем стоит сама жизнь во всей своей неисчерпаемой занимательности.

Но «занимательность» жизни называется иначе. Она называется правдой.

Новиков-Прибой по своим возможностям, по своей писательской напра-

вленности, — подлинный художник-реалист. Как-раз поэтому он и не умеет быть занимательным, когда намеренно старается быть им. Ведь, какие бы цели он себе ни ставил, в конце концов он в глубине души чувствует себя связанным высокой ответственностью: сделать свое слово орудием добытой им из жизненной глубины общественной правды.

II

Особенность этого писателя в том, что у него нет никакого разрыва между жизнью и творчеством. Работа художника на этот раз не служит восполнением того, в чем жизнь отказала человеку. На этот раз творчество — лишь повторение в слове, лишь передача общественному суду того, что художнику довелось пережить в действительности. Огромным богатством своим и глубоким социальным содержанием жизнь писателя подкрепляет лучшие его страницы, сообщая им вескость человеческого документа, основательность подлинного реализма.

В первую очередь это относится к деревенским его рассказам, заслоненным морскими повестями не вполне заслуженно. Новиков-Прибой, как мариинист, не мог бы дать того, что он дал, если бы он не был выходцем из самых недр трудовой России. До Новикова-Прибоя никто еще не глядел на морскую жизнь глазами русского мужика, вырвавшегося во флот из-под сапога урядника, пережившего царскую казарму, Цусиму, 1905 г., ссылку, эмиграцию и октябрь 17-го.

Красочность, авантюризм, экзотика — все это выглядит у Новикова-Прибоя особенно. Только переработанное его социальной природой, только проведенное сквозь призму того, что пережито им вместе с его классом, только подчиненное этому высшему началу, выходит оно убедительно под его пером, звучит музыкой жизни на его страницах.

Об этом очень хорошо говорит герой «Рассказа боцманмата»: «Эх, эти тропические ночи! Здорово на воображение действуют... Иногда про свою деревню

вспомнишь, Просяную поляну, и станет обидно до слез. В лесу она стоит, сугробами завалена. Темные люди живут в ней, слушают зимнюю вьюгу, бьются в нужде, с нуждой умирают. И никогда им не узнать, как велика земля, кто населяет ее, какие есть моря...»

Недаром мотив этот красной нитью проходит через все морские повести Новикова-Прибоя, всплывая на поверхность повествования в самые решительные и психологически важные моменты. Свое лучшее, то, что войдет в литературу, Новиков-Прибой создает в те мгновения, когда Просяная поляна отчетливо стоит в его памяти, когда он меряет пестрые впечатления своего богатого жизненного пути той социальной силой, которая послала его в море и сделала писателем.

III

Именно в этом оригинальность и привлекательность таких жестких вещей Новикова-Прибоя, как его деревенские рассказы «Порченый», «Лишний», «Векковая тяжба», где предреволюционная деревня показана во всей суровой убедительности непомерных тягот, возложенных на нее классовым аппаратом царизма. Социально - психологические этюды эти, полные жизненного драматизма, выраженного в жестком, но правдивом образе, останутся в литературе надежным источником познания эпохи, отошедшей в безвозвратное прошлое, о котором однако новые люди должны помнить.

К группе деревенских рассказов прилегают охотничьи очерки («На медведя», «Среди топи»), где борьба человека с природой — на этот раз лесной, а не морской — служит отправным пунктом, чтобы показать внутренний рост человека, приобретаемый в отставании себя против грозящих гибелью обстоятельств.

Здесь однако человек борется еще в одиночку и против врагов, причиняющих гибель физическую. Не на этом пути мог осуществить себя Новиков-Прибой — писатель большого социаль-

ного чутья. Уже в «Порченом» и «Лишнем» он отдает свое внимание целиком конфликту классовому, гибели социальной личности в борьбе с враждебными общественными явлениями. «Порченный» не умирает, изломанный медведем, как старый Савелий в очерке «На медведя», — он гибнет задолго до своей физической смерти, внутренне исковерканный соблазнами гвардейской службы и возможностью стать «выше» односельчан, опираясь на полицейский аппарат. «Лишний» не засасывается лесной топью, а искалечен на японской войне, — его счастье вдрызг разбито машиной царского самодержавия.

IV

Очень значителен автобиографический рассказ «Судьба». В нем показан переломный момент в жизни писателя, определивший всю его дальнейшую судьбу, — сделавший сухопутного крестьянина-хлебороба морским скитальцем, активным участником великих социальных сдвигов и революционным писателем. Встреча с матросом, пленившим крестьянского парнишку рассказами о далеких странах, дана здесь в резком социальном контрасте к обычному в прежнее время для сельской «интеллигенции» «божественному» пути. Мать, набожная мечтательница, в религии видящая единственный выход из тягостей крестьянской жизни, желающая блага своему ребенку и, естественно, наталкивающая его на мысль о монастыре; реалистически-трезвый, активный крестьянский мальчик, воспринимающий идеал матери совершенно своеобразно; наконец вольный матрос, странник морей, человек бывалый и много видавший, а потому свободный от предрассудков, тяготеющих над оседлым и порабощенным крестьянским сознанием, — вот слагаемые этого рассказа. Именно со стороны отрешенности от всяких пут и связей, в царское время мешавших трудовому крестьянину вольно дышать, дана здесь фигура матроса, ставшая для Новикова-Прибоя центральной и разрабатанная впоследствии в ином углу-

блении. Конец рассказа опять-таки подчеркивает отрицательный момент освобождения от крестьянского мира:

«Победитель бурь», этот таинственный и чудесный корабль, плавающий где-то в далеких водах, не выходит у меня из сознания. Матрос зажег в моей голове новые звезды, раздвинув передо мной мир, открыв широкие возможности. Я уже не закисну в темной и придавленной, как чугуновой плитой, жизни села. Нет! Мое будущее там, где-то очень, очень далеко, в других замечательных странах, на синих морях, на беспредельных океанах, куда, как на орлиных крыльях, уносит меня юная фантазия».

Как оттапливание от крестьянской косности, это выразительно. Романтическая же односторонность в данном случае оправдана, поскольку речь идет о ребенке.

Легко видеть, однако, что подобная романтика, не проконтролированная каким-либо иным началом — трезвым, реалистическим, — может увести очень далеко. Ведь сама по себе она — пустая форма; социальное содержание ее — лишь отрицательное: только бы не закинуть в темной и придавленной жизни села! Но отказ от оседлости, бегство от тягостных социальных связей могут обернуться и в чистую экзотику, в любование калейдоскопом невиданных форм жизни, в восхищение неслыханными подвигами, — и это обычно предлагается авторами многочисленных буржуазных морских романов для юношества. Или же они могут вылиться в воспевание одинокой воли предпринимчивого индивидуалиста, находящего радость в преодолении природы своими собственными силами, строящего свое личное счастье вопреки враждебным стихиям и людям — конкурентам в борьбе за существование, — и это пафос Джека Лондона. Или же наконец они могут наполниться мечтательной влюбленностью в даль, в изящно-законченное и характерное в природе и нравах (Лоти, Фаррер) или в тонкую психологическую музыку, пробужденную в душе одиночки своеобразным

условий, в которые кинет его судьба (Д. Конрад)...

Пойди Новиков-Прибой по одному из этих путей, — мы имели бы в его лице писателя-мариниста, далекого от большой дороги нашей литературы, идущего по иным, не только чуждым, но и враждебным путям. Не приходится сомневаться в том, что на этих путях его творчество никогда не достигло бы полного развития и писательская фигура его не могла бы выпрямиться во весь рост. Отдельные срывы в голую занимательность, отчасти уже отмеченные нами, кажется, довольно внятно подтверждают это. Дело в том, что индивидуализм органически несвойствен Новикову-Прибою, не говоря уже о мечтательном романтизме, — и голая авантюризм по сути дела чужда этому вышедшему из трудовой крестьянской семьи в пролетарскую революцию реалисту.

К счастью, весь жизненный путь Новикова-Прибоя сложился так, что классовая правда, вынесенная им из глуши тамбовской деревни, получила суровую закалку и развитие. Сколько ни носил Новикова-Прибоя таинственный и чудесный «Победитель бурь» по волнам морским и житейским, он никуда не унес его от Просяной поляны. Правда, «темная и придавленная, как чугунной плитой, жизнь села» осталась далеко, навсегда отступив в сознании перед широкими горизонтами не только географическими, но и социальными, оказалась заглушенной шумом бурь не только океанских, но и революционных. Однако от классовой правды этой сельской жизни Новиков-Прибой никуда не уплыл: она отправилась в плавание вместе с ним, — в числе самых необходимых пожитков матроса, с которыми он никогда не расстаётся. Сила Новикова-Прибоя в том и состоит, что на всех этапах своего сложного пути, — в царской казарме, под Цусимой, в революции 1905 г., в ссылке, в эмиграции и в Октябрьской революции, — социалистически перевоспитываясь, он хранил в то же время крепкий союз со своей собственной крестьянской основой.

V

В произведениях Новикова-Прибоя всегда очень ясно проведена черта, отделяющая правду от выдумки. Этот писатель не умеет лгать. Правдивость — вот мерило, бросающееся в глаза при чтении его романов, повестей и рассказов. Нет, не чарованием морских вымыслов господствует он над нами, как ни склонно подчас к фантастике его повествование, но силой правды о морской жизни. Правда эта высказана у него с угловатой и жесткой, но сильной прямоотой деревенского простеца, взошедшего на высокую гору и увидевшего жизненный кругозор, о котором ему только грезились, пока он был ограничен условиями деревенской жизни.

Но эта правда только выглядит деревенски просто: в ней есть волевое содержание и точность охвата явлений, которые выводят ее далеко за пределы деревенского кругозора и включают в ряд явлений ведущей — социалистической — культуры.

Если реалистические, даже натуралистические страницы Новикова-Прибоя сильны жесткой правдой о жизни, а лучшие из них тем самым входят в область типизирующего и раскрывающего общие связи искусства, нередко подымаясь до подлинного мастерства внутреннего восприятия действительности, то романтическая струя в творчестве этого писателя принимается нами далеко не целиком и не бесспорно.

Мы принимаем фантастику Новикова-Прибоя, поскольку фантастика, романтизм, невероятное даны им как неотъемлемая часть матросской жизни, поскольку в фантастике, романтизме, невероятности ищет труженик моря отдыха и восполнения душевными силами, растрачиваемым в невероятной работе мускулов и нервов.

Иначе говоря, фантастическое, поднятое над бытом принимается нами у Новикова-Прибоя лишь в тех случаях, когда оно естественно вырастает из того быта, который этот писатель изображает подробно, с большим знанием дела.

Мы радуемся лжи, которую сообщает товарищу Петрован Силкин о своем знакомстве с итальянской красавицей на берегу («Под южным небом»). Мы верим правде, вложенной в анекдот об удачливом портном, «известный в разных вариантах среди моряков под всеми широтами и под всеми долготами мира» («Соленая купель»). Мы охотно следуем за Новиковым-Прибоем, когда он ведет нас по прихотливым, петляющим зигзагам своего «Ералашного рейса», с добродушной серьезностью мешая страшное и смешное: ведь именно так поступает жизнь во всех своих формах.

Это — правдивая ложь, потому что она с необходимостью порождена логикой реальных жизненных отношений.

Но мы решительно возражаем против всяких попыток писателя привлечь наше внимание занимательным образом, положением или повествованием, если выдумка его не служит раскрытию жизненной правды, а выступает произвольно, пытаясь говорить сама за себя. Это происходит всюду, где художник фантазирует на свой страх и риск, забывая о том, что он неволен в своем вымысле, что силен-то он не выдумкой своей, а только в том случае, когда фантазия его выступает как верная поденщица действительности. Ибо дарование Новикова-Прибоя таково, что выдумка у него хороша лишь как одежда для суровой правды жизни, послушно облегающая ее члены, верно подчеркивающая их простые и значительные линии.

VI

Рассматривая произведения Новикова-Прибоя под этим углом зрения, мы легко отстраним то, что есть в них искусственного, введенного писателем в свой мир реалиста беззаконно, под давлением самовольного, индивидуалистического намерения дать нечто более значительное, чем сама жизнь, от имени которой он только и в праве говорить.

Мы уже указывали на преувеличения стиля, прорывающиеся на общем фоне простого и мужественного но — приходится отметить — часто не доработанного, не доведенного до необходимой сжато-

сти, не вполне согласованного с важностью замысла языка.

Мы могли бы указать также на длинный ряд положений, созданных писателем без достаточного прислушивания к тому, на что его уполномочивают жизнь и его собственное место в ней. Такие положения например, как трепет Тани («Женщина в море») при известии о возможном самоубийстве матроса Бородинкина, которого она не любит, или объяснение между шкипером и Елизаветой Николаевной («Ералашный рейс»), во время которого героиня в волнении отрывает одну за другой пуговицы на своем жакете, так что к концу объяснения не остается ни одной, — подобные моменты колют глаза своей надуманностью.

Но если мы захотим дать себе отчет в причинах этих отступлений Новикова-Прибоя от своего пути, этой замены органического творчества на основе жизненной правды созданием образа преднамеренным, а потому крайне неудачным, то, быть может, яснее всего эти причины обнаружатся, если мы взглянем на такую подробность в рассказе «Зуб за зуб»: белый офицер капитан Прибылев, жестокий и коварный усмиритель восставшей против Колчака сибирской деревни, сидя на военном совещании. «по обыкновению был спокоен... Он поймал муху, оборвал ей крылья и ножки и стал внимательно рассматривать ее». Но на ряду с этим бросающимся в глаза промахом, который вызван желанием достигнуть эффекта по линии наименьшего сопротивления, Новиков-Прибой в этом же рассказе дает потрясающую сцену отпевания и погребения заживо сельских активистов по распоряжению того же капитана Прибылева, при чем в сцене этой дана выразительная и действенная характеристика жертв.

И вот возникает вопрос: как может сочетаться в одном писателе такая сила правдивой выразительности с режущими ухо срывами? Тут мы можем сделать одно наблюдение. Дело в том, что Новиков-Прибой силен в массовых сценах, в изображениях внутренних движений коллектива, а также в изображении

внутренних движений личности, роднящих ее с коллективом, к которому она принадлежит. И наоборот, его писательская сила изменяет ему всякий раз, как он ставит себе задачу дать образ замкнутой индивидуальности или индивидуалистического душевного движения.

Именно коллективное и внутреннее, именно сочетание этих двух моментов легко дается Новикову-Прибою. Что внутренние движения замкнутой личности ускользают от цепких глаз этого реалиста, — это мы видели. А вот пример того, что и жизнь коллектива отказывается подчиняться его образотворчеству в тех случаях, когда он пытается захватить ее внешними, чисто пластическими, т.-е. формальными, приемами. Этот пример особенно показателен тем, что взят нами из последнего, лучшего произведения нашего писателя — «Дусима». В очень сильном эпизоде нападения на автора толпы интернированных в Японии русских солдат, сагитированных офицерами, читаем: «Мысли стыли от ужаса, когда я смотрел на их напряженно вздущиеся лица, с'ехавшие набок рты, вывернутые глаза». И на этот раз сила Новикова-Прибоя обращается в слабость: цепкость, напористость, конкретность его реалистической хватки, пущенные по линии абстрактно-внешней, по существу формальной изобразительности, приводят к тому, что «натура» трещит под их напором. Там, где нужно провести характерную, резкую, но тонкую черту, писатель рубит сплеча, и образ получается искаженный, чрезмерный, шаржированный. Но стоит ему подойти к тому же предмету изнутри, и все становится на свое место: перед нами — выразительная, реалистическая, полная правды работа художника.

Это утверждение можно было бы без всякого труда подтвердить анализом любого рассказа, любой повести, любого романа Новикова-Прибоя. Возьмем ли мы «Женщину в море», — как хороша там матросская масса, о коллективных переживаниях которой писатель сообщает нам немало тонких, любовно-иронических, интимных наблюдений, и как, в сущности, искусственно, лубочно, ба-

нально выглядят рядом с этим великолепным жизненным сгустком любовные переживания Тани.

Возьмем ли «Соленую купель», — роман этот увлечет нас подробной, правдивой, яркой летописью матросской жизни, ее радостями и огорчениями, ее бедным, но по-своему содержательным весельем, ее тяжким, но по-своему упительным трудом. И рядом с этим как бледна, схематична, надуманна фигура католического священника Лутатини, завербованного автором на пароход как бы со специальной целью иллюстрировать перерождающую роль коллективного физического труда. Но простой показ матросской жизни, сделанный руками такого знатока, как Новиков-Прибой, убеждает нас в этом как нельзя лучше; потому что трудно читать эти страницы, не испытывая на самом себе их сильного влияния, — с таким мастерством правды написаны они.

VII

То же самое можно было бы проследить и в «Ухабах», и в «Подводниках», и в «Море зовет», и в других произведениях Новикова-Прибоя, отделив наслоение литературности от всего, что составляет истинную писательскую природу Новикова-Прибоя.

Относительно этого писателя такой анализ произвести особенно легко, потому что напор общественной правды в нем очень силен. Цельная, реалистически-резкая, но и реалистически-честная природа его, в сущности, сама не терпит голой выдумки, сама с головой выдает ее. Будь он поверхностней, писатель сумел бы приспособить тощий замысел к требованиям занимательности. Но замысел Новикова-Прибоя социально-полновесен, и писателю нет возможности сложить с плеч своих эту нелегкую, но бодрящую ношу. Всякая попытка его в этом направлении, к которой он прибегает в минуту слабости, сразу обнаруживает свою несостоятельность. И мы тем решительней вступаем в спор с ней, что дело идет об определенных ценностях, которые художник может и должен дать нам, но которые он дает дале-

ко не всегда. Основная, — и самая трудная, — проблема искусства — о переходах, связывающих всеобщее и частное, абстрактное и конкретное, — в частности личность и коллектив, — нужно признать, далеко не вполне разрешена нашим писателем для себя, в его живой художнической практике, в непосредственном ощущении им действительности. В противном случае не пришлось бы ему заполнять разрывы чисто внешним, абстрактным, надуманным или стертым, выветрившимся, отслужившим материалом — в языке, образах, положениях. Борьба с этим «диким мясом» составляет едва ли не основную задачу писателя при создании всякого подлинно художественного, а тем более реалистического произведения.

Новиков-Прибой имеет данные для ее разрешения. Мы уже видели, как сильны своей правдой его рассказы о деревне. В дальнейшем эта особенность его творчества возрастает. До появления «Душимы» самым сильным созданием его были, несомненно, рассказы из русско-японской войны. Как известно, он был участником ее на ряду с тысячами других русских мужиков, одетых в матросские куртки и прошедших свирепую муштру царской казармы. О казарме этой Новиков-Прибой тоже сказал нужные слова. «Рассказ Бодманмата», «Словесность», «Одобренная крамола», «Попался», «Певцы», «В запас» должны войти в хрестоматию как образцы беспощадно правдивого и в то же время исполненного любовью к человеку показа нашего страшного прошлого.

И вот, проведя читателя твердой рукой по первому кругу Дантова ада и утешив нас улыбкой трудовой человечности, лучи которой упорно пробиваются сквозь темничную решетку, писатель заставляет нас следовать во второй круг преисподней, перед которым бледнеет все только-что пережитое. На обреченной эскадре адмирала Роже-ственского подплываем мы к дальневосточным берегам императорской России.

«Между жизнью и смертью», «Побежденные», «Две души» — это живые записи пережитого. Только сила их — не

в механическом повторении фактов, а в произвольном раскрытии их смысла. Но раскрытие смысла фактов возможно лишь при условии личного, кровного, заинтересованного отношения к ним. Только при наличии такой кровной, органической, по форме личной, а по существу классовой заинтересованности в фактах имеет право художник говорить о них. И только в этом случае откроют они свой общественный смысл на его страницах.

VIII

Трезвые, жесткие, подчеркнуто реалистические рассказы Новикова-Прибоя о русско-японской войне не содержат в себе никакой литературной занимательности. Но они больше чем занимательны: они захватывают. Читая их, мы не любопытствуем, но соучаствуем в том, что там изображено. Это нас расстреливает японская шрапнель, это мы тонем в придавленном вечерним сумраком море, брошенные на гибель императорской Россией, которую мы вместе с простыми героями Новикова-Прибоя наивно считали своей родиной. Это мы, поддаваясь стихийному буйству толпы, участвуем в самосуде над одним из наших товарищей и потом, в горестном сознании того, что покинули правильные пути, спешим загладить страшное своей неосмысленностью преступление сердечным обнаружением своей настоящей природы. И это мы наконец возвращаемся с фронта искалеченные и обезображенные, с ужасом видим страшную черту, отделившую нас от нашей прежней жизни, и различаем руку, навсегда вырвавшую нас из круга наших надежд и привязанностей.

И мы отрываемся от книги, тронутые не одним тепловатым сочувствием тому, что в ней описано, но измененные пережитым, с глазами, раскрытыми на многое, о чем мы знали смутно и что теперь оставило прочный след в нашей душе.

Понятно поэтому доверие, с которым мы следуем потом за писателем повсюду, куда ему ни вздумается повести нас вслед за своими скромными героями.

Развернет ли он перед нами картину мирной жизни тружеников моря в таких вещах, как «Злая весть», «Море зовет», «Под южным небом», «Забавный водолаз», поведет ли он нас в поход в своих «Подводниках», «Женщине в море», «Ералашном рейсе», «Соленой купели», «Коммунисте в походе», блосит ли в революционное наступление в «По-темному», «Шалом», «В бухте Отрада», «Ухабах», — мы уже не созерцаем всего этого холодно и со стороны. В простых героях Новикова-Прибоя мы видим жадных искателей общественной правды и настойчивых борцов за нее. Мы уже не читаем о них, а делим с ними общую судьбу.

IX

Тема цусимского разгрома стала узловой в творчестве нашего писателя. Вернувшись к ней через три десятка лет после первых, сделанных по горячему следу записей, Новиков-Прибой развил ее в то, что можно назвать эпопеей, развернутым отображением эпохи в ее массовых, коллективных движениях.

В эпопее «Цусима» (мы имеем в виду не только 1-ю, законченную часть, но и 2-ю, данную в очень значительных фрагментах «Бегства») уже не патетика отдельных эпизодов, но законченность, цельность и глубина целого решают судьбу произведения, определяют место его.

Новиков-Прибой берет здесь сдержанный, деловой тон, не останавливаясь и перед сухой конкретностью путевого журнала. Иному читателю, быть может, покажется: да ведь это не произведение искусства, а всего-навсего очень богатый историческим содержанием и очень просто написанный «человеческий документ»! Конечно, даже если бы это было и так, даже если бы в лице автора «Цусимы» мы имели лишь зоркого соглядатая и пунктуального протоколиста, и тогда заслуга его была бы немало важной: дать точное представление об историческом событии, послужившем сигналом не только к открытой массовой борьбе против русского царизма, но

фактически и к мировой пролетарской революции, — не значит ли это сделать большое и полезное дело?

Но не может быть сомнений для всякого наделенного способностью воспринимать образы искусства во всей их особенности, что подобная оценка «Цусимы» в корне неверна. Да, эта книга — человеческий документ: ведь в ней так много лично пережитого. И она же — ценный документ исторический: материал истории воспроизведен здесь со всевозможной фактической точностью, без «поэтических» прикрас, «фактографически», коммуникативно.

Но всмотримся в этот мир, и мы воспримем другое. Книга действительно очень проста и точна. Однако отнюдь не простой натуралистического копирования действительности, не точностью добросовестного протокола. Она проста простотой цельного художественного замысла, точно точностью продуманного и в основе своей скупого воплощения этого замысла в образ. Перед нами редкое сочетание: социально-проста, т.-е. трудовая, не разложившая принадлежностью к паразитарной культуре личность превращена в кристаллически-прозрачную форму, сквозь которую мы можем видеть наполняющую ее исключительную социальную сложность эпохи. Это сочетание — само по себе акт мысли художника, свершение именно в области искусства.

В этой книге жизнь предстает не разрозненной на отдельные внешне воспроизведенные явления, но в полноте своих внутренних связей. Автор отнюдь не соразмеряет свои приемы с описываемым по частям, а, связав все концы, все устремляет к единой цели. «Цусима» Новикова-Прибоя проста и точна, потому что художник ведет нас от единичного рассмотрения различных сторон действительности, в котором ее солнечный свет предстает разложенным в переливающиеся, играющие, пестрые цвета спектра, — через такое рассмотрение. — к другому: к избранному куску действительности как цельности и — далее — как части еще большего целого. При этом обратном восхождении пестрого спектра к белому солнечному свету,

как к источнику сложности, мы, разумеется, возвращаемся к некоей простоте, — однако нетрудно видеть, что на этот раз перед нами усложненная, познавательльно-обогащенная простота осмысляющего действительность художественного образа.

Счастливо выбранный предмет, с одной стороны, исключительно благоприятный в социальном отношении созерцательный пункт, с другой, — вот обстоятельства, которые определили художественную удачу Новикова-Прибоя и привели его к созданию большого и серьезного реалистического произведения.

Впрочем говорить о пункте созерцания — значит в данном случае выражаться очень неточно. Новиков-Прибой, — и в этом то особенное, что сообщает его книге своеобразный отпечаток и размах, — не созерцает свою тему, но живет и действует в ней. Он живет и действует в ней, даже воплощая ее в образ, перенося таким образом свою действительность даже в созерцательный, переключенный, как бы отрешенный от непосредственной практики (хотя в действительности никогда не оторванный от нее, всегда вырастающий из нее и на нее же направленный) мир образов Оттого-то мир образов, созданный Новиковым-Прибоем, выглядит исключительно жизненным, воздействует на читателя в высокой мере активно, поглощает его безраздельно. И поэтому же достигает писатель этого исключительно эффекта очень простыми средствами, которые способны обмануть иного читателя, натолкнув его на мысль о том, что простота внешних приемов тождественна с простотой внутренней формы и содержания...

Можно парить на высоте нескольких тысяч метров над землей и можно брить землю сниженным полетом, идя всего в нескольких метрах от ее поверхности. Профан скажет: ближе к земле — значит легче, безопасней; лететь близко от земли — ведь это почти-что ходить. Летчики знают: бреющий полет — самый трудный, самый опасный. Бреющий полет еще меньше высотного похож на

ходьбу. Огромное искусство пилотажа нужно для того, чтобы провести аппарат над самой землей, не разбив его о наземные преграды, не надеясь ни на какое пространство, чтобы выправить его.

Автор «Цусимы» отнюдь не шагает по действительности в виде пешехода-протоколита. Он — художник, в полете. И это уж наша задача — не проглядеть расстояние, отделяющее образы его эпопеи от природы: они охватывают действительность плотно и всесторонне именно потому, что, из нее воздымаясь и тесно примыкая к ней в бреющем полете, в то же время не перестают вышаться над ней.

Х

Книга полна напряженного пафоса вещественности, предметности. Только существенное, только действительное сообщается в ней. Ничего — или почти ничего — неподвижного, созерцательного, никаких нюансов. Говоря языком Гегеля, мы не встретим здесь никаких «мгновенных», «субъективных представлений, произвольных мыслей, плодов воображения». Нет, мы имеем здесь лишь такие образы, которые самоочевидно заключают в себе некое «всеобщее», «само по себе сущее» содержание, представляющие собой необходимые орудия познания истины, — именно подлинной исторической реальности. Мы видим: художник не выдумывает. Жизнь сама раскрывает свою трагедию на этих страницах, не подталкивая художника, не заигрывая с ним и не допуская никаких заигрываний с его стороны. Она скорее позволит ему быть с ней грубым, простым, порой даже банальным, несходительно сохраняя за ним и тут права художника. И взамен требует от него только одного: подлинной правды о ней самой.

Привлекательность неукрашенной, небурной, спартанской музыки, вдохновившей «Цусиму», — в простых и ясных линиях, в обширности кругозора, в полноценности, вещественности, плотности немногих, но зато подлинных предметов, заполняющих его.

Взгляд художника на действительность здесь прост, но многообразен и точен. Он умеет тонко расчленить действительность, охватить ее не только в целом, но и в деталях. И эта сложность на службе у простоты такова, что сила реалистического мышления возрастает многократно.

Рассказчик вышел из каюты. «Ничего не изменилось. Около нас жидко дымили в небо другие суда».

Дальше — отплытие. «Два буксирных парохода, сильно отбрасывая водные буруны, медленно выводили броненосец на рейд. Небольшой ветер беспечно забавлялся с поверхностью Финского залива, покатывая мелкие волны... Скрываясь за мглой, солнце светило густо, словно под водным светом».

Это очень просто конечно. Но однажды один художник взял из пепельницы окуроч, окунул в чернила и провел раза два по лоскуту оберточной бумаги. Все удивились: к чему эта мазня? И вдруг увидели: на лоскуте оберточной бумаги расцвел такой же вот пейзаж. Хорошо, убедительно, ярко. Раздались похвалы, восклицания: простой окуроч — и такой пейзаж! Было похоже на чудо. Это потому, что внимание всех поразил окуроч, секрет же был в пальцах, которые держали его. Все оказывалось проще — и в то же время сложней. Одно было ясно: так тоже можно делать искусство. И мелькала мысль: может быть, все искусство можно делать только так: кистью или окурочом — неважно, но непременно — концами пальцев, в которых спрятались ум и страсть.

Так Новиков-Прибой делает свои «цусимские» пейзажи. Кроме жидкого дыма от кораблей, подводного солнечного света и водных бурунов, гонимых буксирными пароходами (разве не дышит море во всех этих мелочах?), он рисует и такое:

«На транспорты жутко было смотреть. Казалось, что каждый, из них, свалившись на тот или иной борт, никогда уже больше не поднимется. Но они выпрямлялись и шли вперед наравне с правой колонной броненосцев. В общем все четырнадцать кораблей являли со-

бою изумительное зрелище, окутываясь в лохмотья пены и беспрестанно совершая бешеный танец. Иногда какой-нибудь из броненосцев, шедших впереди нас, совершенно скрывался между волнами, показывая лишь верхушки мачт. Это происходило внезапно, с такой быстротой, словно у него отвалилось днище и судно сразу тянуло в пучину. Но проходили секунды, и тот же корабль, словно выпираемый сверхъестественной силой, снова взбирался на кипящий гребень водяного массива».

Можно ли проще и убедительнее показать сухопутному сознанию силу океанской волны, как заставив ее так вот шутя подбрасывать многотысячтонного броненосного великана? И попутно обнаружить свою писательскую силу, мертвой хваткой схватившую эту скользящую деталь...

«Пловучие морские крепости маршируют» у Новикова-Прибоа «по воде с такой легкостью, как взвод солдат на суше». На далекой чужбине они, долгожданные, даже «топают, роняют... Шесть штук». Крупная зыбь с зюйд-веста, катаясь, ударяет «в скулу броненосца». Эскадра идет «курсом норд-ост, подпираемая с кормы за свежившим за ночь ветром».

А вот шторм, стирающий даже социальные грани:

«Шторм, повидимому, закуралесил надолго... Слепой шторм не разбирался в чинах... Куда девалась прежняя солидность начальника... Благодаря тому, что из-под ног у него уходила опора, все его движения были неверные, порывистые, с внезапными остановками, с неожиданными бросками в сторону, словно он получал нивидимый толчок в бок. Ветер дерзко рвал его лихо закрученные усы и обдавал густым соленым душем, смачивая на нем все платье с ног до головы. Чтобы лучше слышать друг друга, Сидорову и его подчиненным приходилось кричать, а это производило впечатление, что между ними происходит ньяная ссора».

Повсюду мы видим: орудие, которым нарисовано все это, находится в умных, сильных, искусных пальцах. Эти пальцы не просто набрасывают эскизы. Они

напряженно думают, они внятно чувствуют свой материал. Природа (морской ветер, морская волна) приближена к нам магучим толчком, проведенная через морской матросский быт, через морское ремесло матроса: волна играет матросским жилищем — броненосцем, ветер становится соучастником тайных, бунтарских замыслов гонимого на смерть экипажа, предупредительно удаляя опору из-под ног у начальства. И от этого сближения двух стихий — природного и социального — между ними пробегает, их обоих ярко освещая, молниеносная вспышка искусства.

XI

В других местах они не столь сближены. Но и разведенные, они сильны тем, что соотносятся друг к другу. Иногда это соотношение обнажено. Тогда социальное выступает в суженном виде, — в форме технического, что обосновано местом, которое занимает техника в морском быту.

При переходе через экватор в южную половину земного шара матросы с изумлением замечают, что солнце катится по небу «не слева направо, а совсем наоборот». Это явление тут же получает рациональное объяснение, и попутно сообщается происхождение механических часов, сделанных по образцу солнечных в северном полушарии и потому следующих движением своей стрелки за движением солнца в северных широтах. Но это не технологический экскурс; вернее, не только он. Это еще и прием характеристики матросской точки зрения на окружающее, которая возникла в рациональной обстановке сложной системы механизмов и сносится с природой между прочим (хотя и не исключительно) через нее.

В другом месте при виде «вз'ерошенного» океана морской инженер, «выкрикивая слова», говорит:

«Какая сила растрачивается напрасно! Если бы человек сумел использовать всю энергию бури, что можно было бы с нею натворить!»

Любуясь, он производит расчеты: длина волны доходит до четырехсот

футов, а высота равняется сорока футам. И мы ясно ощущаем это не как «фактографическую» информацию, а как обоснованный художественно-характеризующий прием.

Только вскользь упомянем о мировых вентиляторах, порождающих бурю: «С невероятным напором и гулом несся ветер, словно где-то за горизонтом, за пределами нашей планеты заработали вентиляторы колоссальных размеров». Этот отблеск мифотворчества, введенный в повествование мимоходом, с искусной произвольностью, как бы замыкает связанный круг морского быта и психологии, очерченный писателем во круг нас.

Любопытно, что и голые цифры в руках автора «Цусимы» приобретают значение выразительных художественных средств:

«Ухающие раскаты вздыбленной воды, удары ее о железный корпус судна, завывания в рангоуте, свист в углах надстроек, непрерывный гул всего простора, — все эти звуки сливались в одну нескладную, но могучую симфонию. Броненосец начал черпать кормо сразу по несколько десятков тонн воды».

«... в течение той же минуты броненосец в миллион пудов весом поднимался шесть раз на высоту четырехэтажного дома, — и все это с такой легкостью, как будто оно не превышал тяжести детской люльки».

Мы не должны удивляться: дело не в окурке, а в пальцах, которые держат его. И еще вспомним: условия бреющего полета не те, что полета высотного. Многое, невозможное там, здесь просто необходимо.

XII

Ведь точка зрения на пейзаж в «Цусиме» совсем особая, необычная в пейзажной живописи и литературе.

«Несмотря ни на что, он шел вперед десятиузловым ходом. Вместе с ним и мы испытывали четырехмерное движение. В это время чем бы человек ни занимался, — думал ли он о жизни или смерти,

зубрил учение Христа или Маркса, мечтал о счастье или отчаивался, работал или спал, творил молитвы или ругался, — буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как на лифте, вверх на сорок футов».

Вот поистине действенное соприкосновение с пейзажем, когда наблюдатель — сам часть пейзажа — познает его четырехмерность (!) собственным участием в его движении и даже принимая пейзаж (через морскую болезнь например) в свой собственный организм. Моторные восприятия в этих условиях выдвигаются на первый план, превращая зрительное созерцание, обычно господствующее, в подчиненное и дополнительное. Даже в наиболее пассивные моменты в роде вышеописанного это оно руководит созерцанием, определяя активную природу всего комплекса (ибо моторное восприятие по самой природе своей активней зрительного).

Трудовые образы, в которых коллективный воспринимающий субъект уже не только «подбрасывается шесть раз в минуту на сорок футов», но, наоборот, в свою очередь воздействует на стихию, естественно вырастают из этого действенного замысла книги, как из зерна. «Цусима» переполнена картинами коллективного труда. Погрузка угля в открытом море, учебная стрельба, уборка корабля, стирка белья, работа у машины под тропиками, учеба управления кораблем, маневры, приготовление обеда и его распределение среди команды, — эта длинная цепь эпизодов, в которых раскрывается трудовая активность матросского коллектива, занимает большое место в первой части «Цусимы», исчезая в «Бегстве» только для того, чтобы очистить поле для трагичнейшей формы наивысшего трудового напряжения, в которой создающий и организующий труд переходит в свою собственную противоположность: в разрушительный, хаотический, дезорганизуемый, гибельный и для субъекта, и для объекта, ожесточенный морской бой (а что бой есть труд для его участников, именно самый тяжкий вид труда, — об

этом знало еще древнее песенное сознание, сравнивавшее поле битвы с пашней).

Как бы то ни было, подлинное зерно «Цусимы», основной угол зрения ее автора, то существенно особенное, что определяет его как художника, дано как раз в приведенном выше отрывке. Это — точка зрения, движущаяся вместе с окружающим и внутри него: «вместе с ним и мы испытывали четырехмерное движение... буря не переставала мотать его в разные стороны и шесть раз в минуту поднимать, как на лифте, вверх на сорок футов». Моторное, движущееся, действенное — психологический фундамент всей описательной стороны эпопеи.

Но не только динамика «цусимских» пейзажей определена этим особым углом зрения, — им определен и весь стиль «Цусимы». Сознание, породившее книгу, в свою очередь порождено движущейся, бурной, штормовой эпохой и, несмотря на внешнюю незыблемость, положительность, вещественность, предметность, стремительно движется внутри нее, в ее ритме, вместе с ней.

Вещественность, предметность, незыблемость, — все то, что делает «Цусиму» произведением по внешности натуралистическим, это — лишь одна сторона книги. А в основе ее — могучая волна мировосприятия, наивно-реалистического, неподвижного, констатирующего лишь «в себе», но в действительности, в общей связи эпохи — бешено-динамического, взметенного на огромную высоту внутреннего действия.

Под внешним покровом статических описаний книга рвет «трехмерную» данность — весь геометрически-неподвижный уклад быта — буревыми взметами «четырёхмерных» т.е. заново перекраивающих действительность, переосенков.

XIII

Чтобы покончить с пейзажами «Цусимы», нужно сказать, что есть там и другие, не столь тесно связанные с основной — подвижной, противоречивой — магистралью, как бы более свободные от нее.

Но, воспринимая их в контексте (а ведь это необходимое условие их восприятия!), мы видим, что и они вправлены в художественное единство, соотносятся с той же стержневой темой, окольным путем возвращая нас к ней. Своим отличием от нее они подчеркивают ее непреднамеренность, произвольность, органичность. Выступая в этом естественном разнообразии, свойственном в конце концов каждому не предустановленному взгляду, динамическая тема «Цусимы» еще более убеждает нас в том, что мы имеем в ней не намеренное, формально-стилистическое ухищрение, не выисканный ради оригинальности наблюдательный пункт, на котором художник чувствует себя не вполне в своей тарелке, но, напротив, возмнение на вещи, с необходимостью вытекающее из его социальной природы.

Игра светотеней на море от луны, «детски-беззаботная, а вместе с тем простая и мудрая, как вечность», в погожие дни — «черемуховый цвет» на гребнях атлантических волн вперемежку с солнечными бликами, тропический дождь через пятнадцать-двадцать минут из маленького облачка, как из «опрокинутого чана», гроза у берегов Мадагаскара, жизнь океанской фауны, время от времени подающая сигналы на необозримую поверхность, — все эти пейзажи, разбросанные по «Цусиме» рукой художника и очевидца, — пейзажи, то эмоционально окрашенные, то объективно-описательные, — внешне не связаны со стержневым приемом «Цусимы»: природа и человек встречаются здесь как бы вне борьбы социального с природным. Однако легко видеть, что и на этот раз стержневая тема подчиняет себе материал — и притом изнутри: расчлененная точность описаний, рассчитанная, хотя и непринужденная сдержанность эмоционального начала, скупость штрихов, складывающихся в убедительное и экономное целое, — разве все это не симптомы того же движения, в ранее приведенных отрывках выступавшего открыто, а теперь затаившегося во внешне-статическом, эпически-созерцательном облике, которое в свою очередь не может быть исключено художником-

реалистом, как одна из необходимых форм движения...

И вдруг на ряду с этой скупой точностью, наперерез ей, автор внезапно погружает нас в наивный мир полудетских впечатлений. Мы перевертываем страницу, нетерпеливо ожидая дальнейших сообщений о трагическом плавании, а перед нами заманчивой тропический ландшафт, картинка, которой, помнится, мы уже когда-то любовались в старом журнале, вычитывая из нее все сладостно-таинственное, о чем только могла подозревать наша тогда еще не израсходованная фантазия. Все труды и тяготы жизни на время забыты (они — за плечами, на рейде, где стоит наш проклятый корабль). Дивные деревья (целый ботанический атлас!), сладострастно щекокущие небо плоды (среди них ананасы, которые мы потом, во время тайной матросской пирушки на борту корабля, будем разгрызать с хрустом, как огурцы) и — верх наслаждения! — женщина, смуглая красавица, со взглядом, от которого у нас, бедных взрослых детей, гонимых на убой, раздуваются ноздри. Весь примитивный матросский рай, чувственный, материалистически-детский, потребительски-мужицкий, — рай конкретный, осязаемый, но блеснувший фата-морганой на пути от чистилища флотских будней к аду Цусимы...

При всей неожиданности этой вставки и она — в цельном повествовании отнюдь не разрыв. Эта сказочная скатерть-самобранка, расстилаемая с методичностью ученых описаний Жюль-Верна, выдает все ту же действительную, материалистическую, вмешивающуюся в действительность «корыстную» заинтересованность нашего реалиста. Первая неожиданность прошла, и мы видим: перед нами опять один из тех бросков «четырёхмерного» движения, которые заставляют нас проделывать буря, «мотающая нас в разные стороны и шесть раз в минуту поднимающая, как на лифте, вверх на сорок футов».

Нет, с Новиковым-Прибоем мы не на твердом грунте, а на бурно движущемся океане, — не шагаем по дороге, а летим над самой землей. Внешнее спо-

койствие его реализма, четкая статичность опасений и простота орудий письма уже не обманут нас.

XIV

Статический мужицкий фламандизм, — эта скатерть-самобранка, иногда помноженная на Жюль-Верна, иногда просто так, не помноженная ни на что, — богато представлен в «Цусиме».

Он раскрывается в подлинно пантагрюэлевых фестивалях, а попросту сказать — знатных обжорках, устроенных матросами тайком от начальства дважды во время плавания: на масленицу и на пасху (последнее сопровождалось уклонением от участия в заутрене, обязательного для всей команды). В этих секретных пирушках, устроенных за двойным бортом или даже на готмачте (!), фигурируют ведра с бананами, апельсинами, ананасами, самодельные противни со свиной: казенную свинью тайком спустили в кочегарку — это надо уметь! — зарезали так, что не пикнула, опалили паяльной лампой, — и вот вам свинины шесть пудов. В кочегарке блины пекут и варят, и жарят. Растопленное сало шипит, потрескивая, — «как женское сердце, кипит без сгня». Из чайников льется ром, да не казенный, пополам с водой, а цельный — 80 градусов: трюмные машинисты добыли его при переливании из купленных бочек в цистерны, просверлив пробегющую по этажам трубку, воткнув в нее резиновый шланг и отведя таким образом около десяти ведер драгоценного напитка.

Всех этих картин и штрихов, думаясь, не отказался бы одобрить сам Рабле. Материальный, статический, плотский, потребительский реализм их, кажется, заполняет все поле зрения, до отказа нагружает сознание «неизреченностью животной», сковывает внутреннее движение, ограничивая его движениями внешней материи.

Итак, перед нами натуралистический бытовизм, от которого раздуваются ноздри и текут слюны, но который бессилен расширить душу и вызвать слезы на глазах?

Нет, и на этот раз мы не можем забыть: ведь вся эта цветущая плоть во все не неподвижна. Раблезьянски-торжествующая и фламандски-самоутверждающаяся, она движется, пробегая расстояния в 18.000 миль и — еще того больше — всю бездну, отделяющую скудную, трудовую, но правдой труда осмысленную жизнь у себя на родине от жестокой, мучительной, бессмысленной агонии и смерти во вражеском море.

Нет, несмотря на весь фламандизм, путешествие это трудно признать простым внешним движением по земной поверхности. Несмотря на весь фламандизм, оно представляет собой полет над землей, — правда, очень тесно к земле прильнувший.

Матрос, до блеска обгладывающий мясную кость, в закоулке, — это быт, несомненно. И он лукаво смеется. Но матрос, стоящий на баке с костью в зубах по приказу начальства, — со здоровенной костью от бычьей ноги, — «словно собака»... нет, как человек, «бледный, не знающий, куда спрятать глаза от стыда», — что это? Тоже быт конечно... Но, пожалуй, не только он. Во всяком случае лукавый смех его погас.

Заутреня на броненосце под тропиками, с крестным ходом, с христосованием, с хором певчих, с мельканьем сотен рук, тоже могла бы быть только бытом. Но из глубин быта, уже готового радостно улыбнуться, разрывая его, встает «нелепость»:

«Мы встречаем праздник, называемый праздником всепрощения любви, готовясь к бою...»

Не будет больше смерти, этой страшной и неумолимой разрушительницы всей живой твари. Она сама поправа распятым на кресте. Не будет больше смерти? А что же будет?.. Все пушки у нас заряжены. У каждой из них дежурили комендоры...». «Как все это связать с величавыми словами молитвы, провозглашающими торжество жизни?»

И радостная улыбка быта исчезла, смятая этим гамлетовским вопросом, выдвинутым из недр эпохи, более глубоких, чем быт.

Однако быт не сдается. Ведь сегодня его ночь — праздник примирения, снятия всех противоречий, даже такого, как смерть. В образе доброго приятеля быт подходит к нам и шепчет на ухо: «В кильватер за мною держи!». И мы лезем за ним на грот-мачту. Здесь, поднявшись на несколько сажен над палубой с ее заряженными пушками и над трюмами, полными пороха и смертоносных снарядов, примостившись на малом пространстве обнесенной железным бортом круглой площадки под названием марс, — у чорта на куличках, между небом и землей, — быт думает отыграть и за пирком, уснащенным славными историейками об офицерах и попах, похотать добрым утробным хохотом.

«Коли в море попадешь, то скорей хватайся за воду — не утонешь. Что за проклятая страна! Посылает нас на смерть и не может снабдить даже обувью...».

Нет, не выходит и хохот...

А внизу уже назрел и ждет только нас бунт из-за дохлой коровы.

Эта дохлая корова и все, что с ней связано, вовсе не ничтожный предмет. Она — очень важный момент повествования. Картина погрузки быков с сакалавской пироги на броненосец полна яркой, выразительной, подавляющей жизненности. Фламандизм справляет здесь свой праздник. Но, несмотря на это, весь эпизод глубоко укоренен в трагической основе книги, уводит непосредственно к ней.

Плоть и ее быт здесь, как и во всем повествовании, напряженно чувствуют смерть, только не знают, когда наступит она. И в конце концов фламандизм рушится, он лежит перед нами в виде дохлой коровы, которая идет в пищу матросам по воле начальства и порождает бунт. Травоядный быт издыхает, чтобы плотью своей напитать драконов социальной бури.

Именно это перерождение повествования, переход его от поверхностного бытовизма к углубленной социальной трагедии и составляет весь пафос книги, — весь ее творческий заряд.

XV

Социальный охват «Цусимы» огромен. Вся царская Россия накануне революции в основных чертах своего облика отражена здесь. И притом как во внутреннем своем содержании, так и в международных связях.

Перед нами проходит вереница морских начальников — карьеристов и держиморд (Бирилев, Курош, Вредный, Воробейчик, Бер, Баранов, — во главе их сам адмирал Рожественский со своим штабом безличных служак и подхалимов). Они протягивают свои щупальцы в матросскую массу в виде согладатаев и шпионов (Синельников, Саем). Наряду с ними — люди, свободные от бюрократического формализма, глядящие на свою ответственную роль командиров серьезно и вызывающие поэтому сочувственное отношение в матросской массе (Небогатов, Лебедев, Блохи, группа молодых офицеров-передовиков с революционером Васильевым в центре). Далее целая галерея матросских фигур, написанных резко, просто, точно, характерно.

Новиков-Прибой меньше всего занят лепкой образов ради них самих. Верный своей основной теме — внутренней жизни коллектива, — писатель выводит все свои образы из того целого, к которому они принадлежат. Каждый образ как бы вылупывается из этого целого (матрос из команды, командир из своей группы) и, в основном приобретая индивидуальность, тем не менее остается частью его. Таким образом, каждый предстает не введенным в повествование по прихоти автора, а существенно необходимым для познания основной темы всей эпопеи, — именно эпохи, которая осуществляет себя в них. Все эти люди далеко не случайны: необходимое, историческое, эпохальное и проступает порой слишком явственно, проступает сквозь их скромную или вздувшуюся индивидуальность, как сквозь случайную форму.

Так же отнюдь не случайны, а, напротив, необходимы все эти корабли, из которых каждый тоже представляет собой индивидуальность, получает ис-

черпывающую характеристику, паспорт, но в целом — художественный, а не протокольный; мы узнаем в большинстве случаев историю каждого из них от самого рождения, он проходит перед нашим взором в становлении, и это потом содействует силе впечатления, обостряя горечь утраты. Видно, что Новиков-Прибой любит с свои корабля, как хозяин. Они у него отнюдь не предмет обстановки для выдуманной драмы, не мизансцена беллетристического вымысла, а, напротив, живая часть действительности. И мы чувствуем: это так не только потому, что повествование ведет моряк, плававший с этой эскадрой и чувствующий себя в ней запросто в качестве профессионала-знатока, а потому, что он — художник, овладевший исторической драмой, сумевший войти в ту флагманскую рубку, из которой целая эпоха открывается взгляду в своих всеобщих связях.

Деля всю массу своих персонажей на дурных и хороших (это деление отчетливо проходит как в группе командиров, так и в массе матросов), Новиков-Прибой все же не стрижет всех под одну гребенку. Есть свое хорошее и в плохих: вот например мужественная гибель командира броненосца «Осляби», бюрократ и бонвивана Бера, относившегося к матросам с тупым и жестоким формализмом, а в момент потопления броненосца кричавшего им, чтобы они отплыли подальше, в то самое время как он добровольно погибал с папиросой в зубах.

Нет, не плоскостной отчетливостью хочет воздействовать на нас писатель. Ему незачем вульгаризировать и упрощать. Несмотря на внешнюю простоту, у него другой источник выразительности: с того пункта, с которого он смотрит на жизнь, взгляд может свободно добраться до противоречий жизни и видеть их рельефно, в «четырёхмерном» пространстве, исполненном многообразного движения.

И если индивидуальное и в «Цусиме» порою выглядит не в полной мере конкретным, если оно и здесь иногда воплощено лишь в общих чертах, если и на этот раз переход от общего к частному

бывает слишком поспешен и прям, — и это ведет к словесным излишствам и банальностям языка, вынужденного заменять внутреннее внешним (что видно хотя бы и во многих приводимых нами отрывках) — если и на этот раз воплощение не всегда отвечает замыслу, то мы все же видим, что случаи такого расхождения здесь сравнительно редки, конкретные фигуры преобладают, а самое расхождение, — в тех случаях, когда оно имеет место, — не идет столь глубоко: ложное в положениях и образах отсутствует, сказываясь только в излишествах стиля и в еще непреодоленной внутренней малоподвижности фигур.

И нужно признать: если персонажи «Цусимы» унижены и превознесены, то не на основе субъективных авторских пристрастий, не произвол художника унижает и превозносит их, производя над ними самовольный, а значит, и лицепрятный суд. Нет, приговор произнесла история, и ее верный рупор — художник — лишь повторил его.

Перед нами две России: императорская, бюрократическая, неподвижная, обреченная, но господствующая и демократическая, живая, стремительно вздымающаяся, но еще задавленная, не созревшая, существующая почти исключительно «в себе» и лишь начинающая существовать «для себя», понимать, что ей суждено победить лишь как марксистской и пролетарской.

Все эпизоды повествования — от царского смотра в Балтийском флоте до секретных бесед матроса-революционера с революционером-командиром в каюте последнего — говорят, кричат, вопиют об этом контрасте, стремительно поднимающемся на высоту грандиозного исторического конфликта. Дух истории насыщает эпопею, но отнюдь не в «объективном», «бесстрастном», «научно-нелицепрятном», т.е. буржуазно-фальсифицированном, виде. Напротив, он царит здесь действенный, живой, противоречивый, катастрофический.

Приговор, произносимый автором, как нельзя более основателен: в лице дурных офицеров перед нами не просто испорченные властью бюрократы и карье-

ристы, но представители отжившей формации, служаки парусного флота крепостнических времен, зубры, упорно цепляющиеся за старину в морской технике и во взглядах на дисциплину. Историческая характеристика, даваемая этой группе, отнюдь не архивная справка, а документально-художественный прием большой реалистической выразительности. Им противостоят не просто гуманные по своим личным свойствам начальники, но люди новой формации — техники и инженеры в офицерском мундире, совершенно иначе понимающие задачи комсостава в технически переоборудованном, на передовые капиталистические основы переведенном флоте и роль матросов в нем, иначе понимающие вследствие этого и военно-флотскую дисциплину, и отношения между офицерским составом и командой. Лучшие из них, наиболее дальновидные способны даже, по примеру Васильева, подняться до понимания того, что только ведущая теория марксизма, воплощенная в жизнь революционными действиями пролетарских (и в частности матросских) масс, способна осуществить порядок, при котором лучшие чаяния демократии смогут найти реальное, а не словесное только осуществление.

«Цусима» полна историческими реалиями: история порта Ливаи, свидание Вильгельма с Николаем II и первый замысел русско-японской войны, гибель порт-артурской эскадры и падение Порт-Артура, Гульский инцидент, позиция Франции, Англии и Германии в вопросе о походе 2-й эскадры, разоблачительные статьи адмирала Кладо, патриотическое возражение на них адмирала Бирилева и впечатление, произведенное на эскадру этой полемикой, мукденское сражение, широким и смелым мазком написанная фигура адмирала Рожественского, встреча с эскадрой адмирала Небогатова, выбор Рожественским пролива при вступлении в Японское море, живая характеристика японского морского офицерства английской выучки и т. д., и т. п., наконец выдающееся по силе и яркости в батальной литературе описание боя эскадры адмирала Рожественского с японской эскад-

рой адмирал Того в «Бегстве», — все эти и многие другие достоверные исторические явления и события доотказа насыщают повествование «Цусимы».

XVI

И здесь, в этом главном пункте, имеющем отношении уже не к отдельным моментам книги, а ко всему ее целому, опять создается иллюзия, что перед нами — чисто историческое произведение, сотканное рукой острого наблюдателя, мыслящего человека, историка, документ эпохи, но не искусства. Так заполнено наше внимание захватывающим историческим материалом, так значительна эпоха, в которую запросот, глубоко вводит нас автор, что мы, пораженные, как бы забываем быть благодарными ему.

Между тем перед нами выдающееся мастерство — скромное, скупое, тушующееся, но настойчивое, умное и — в конце концов — победоносное. Здесь художник отвлекает наше внимание от своих пальцев, выдвигая вперед простое орудие, которым они производят свою работу. Здесь человек искусства упорно делает вид, что он не летит над землей, а спокойно ступает по ее поверхности. Здесь динамический реалист прячется за кажущуюся неподвижность натуралистической детали.

Но внимательно читателю не слишком трудно будет разоблачить маскировку: ведь сама выбранная художником натура и точка зрения на нее — обе столь динамичны, что одно это выдает его с головой. И, раз заметив эти попытки художника скрыться за материал, мы уже не можем позволить ему обмануть нас. Мы слишком ясно видим, — не можем не заметить этого, если бы даже хотели: осторожно, исподволь, без нажима, но упорно, настойчиво, неуклонно организует Новиков-Прибой свой материал. Нет, он не довольствуется его внешней скульптурностью, неподвижной всескостью, выразительностью статуарной. Вводя его в действие, он доподлинно заставляет его действовать, не позволяет ему лежать, мобилизует его для полета.

Вся «Цусима» — переключка образов. Быка погружают на броненосец, — он чувствует смерть всем своим существом. И это не только о быке, — больше, чем о нем. Потом — возведение в степень: человек, раздобывший кость у приятеля-кока, и человек бледный, навытяжку, как собака, с костью в зубах. Это — фарс, шутовство, в степени драмы. И еще — интегрирование, т. е. типизация: Рождественский Новикова-Прибоя — не только портрет адмирала Рождественского, но тип царедворца чеканки времен Александра III, точно так же как тип — и талантливый, счастливый японский мальчишка, обнажающий палаш, четко командующий кораблем и говорящий по-английски, которому невтерпех поглядеть на упавшего, как с неба, к нему в руки командира всей русской эскадры.

А какая значительная, страшная — и мастерски уловленная — царит у Новикова-Прибоя тишина во флагманской рубке русской эскадры в момент начала боя! Рождественский стал на колени и молчит, вливаясь взглядом в противника. И все кругом молчит. Разве это не искусство? Он рожден самой жизнью — этот перерыв жизни, движения, но подслушать его у жизни мог только художник. Складка на согнутой, напряженной шее Рождественского, выступающая из адмиральского воротника, выглядит натуралистически, протокольно? Правда, это — сама наглядность, сама жизнь. Но где почерпнул ее Новиков-Прибой, какой документ подсказал ему эту деталь? Он взял ее оттуда же, откуда берет эти вещи всякий подлинный художник: из непосредственного опыта живых восприятий действительности. Без этой полнокровной, напряженной шеи начальника русской эскадры, без этой тишины и коленопреклонения из-за слишком высокого роста, — без этой счастливой выдумки артиста мы наверное не попали бы в боевую рубку Рождественского, — да и сам писатель, несмотря на все изученные документы, не попал бы туда.

И вот, раз войдя в это углубленное, под верхними пластами повествования пролегающее русло, раз вступив в живую стихию мысли художника, мы видим: душа книги именно в этом. Вся

книга отнюдь не протокол, не документ, не фотография эпохи, но подлинное произведение искусства, система переплетающихся образов, игра осмысленных соответствий. Сама она — единый образ, выведенный художником из глубин эпохи, но обладающий особым качеством, собственным движением, самоценным единством.

XVII

Все перечисленные нами исторические реалии «Цусимы», вместе с теми, которых мы не могли перечислить, и вместе с совсем другим материалом книги — биографическим («из Тамбовской губернии в Крошштадт»), идеологическим (интернациональные моменты в матросской психологии, неприменимость толстовского непротивления злу к условиям матросской жизни и т. п.), Лирическим (любопытное письмо, составленное рассказчиком по просьбе товарища к жене последнего) и др. — звучат только потому, что все это подымается над бытом, над данностью, над документом, над натурой и идет вместе с ней, но — бредущим полетом, в своем собственном ритме, — над нею.

Своеобразный ритм повествования «Цусимы» — в том драматизме, с каким великая социальная трагедия не дается нам готовый, но, как все детали ее (о чем мы уже говорили), так и в целом, рождается на наших глазах. Дух становления витает над книгой, проникает все ее эпизоды, оживляет ее.

Юмор «фралашного рейса» еще играет на первых страницах (например в расквашивании севшего в самом начале плавания на мель броненосца перебежкой команды с одного борта на другой), чтобы дальше уступить место трагикомедии дон-кихотства: подобно рыцарю печального образа, не приспособленному к новым общественным условиям и потому видящему достойных себе противников в стаде баранов и бурдюках с вином, и наша печальная эскадра — живой обломок феодальной России, хотя с грехом пополам и закованный в усовершенствованную броню передовой капиталистической техники, — в панике перед несущей

шествующим противником обрушивается всей своей тяжестью на жалкие рыбацкие лодки и столь удачно расстреливает их, что слава об этом подвиге разносится повсюду и производит мировой скандал. На этот раз мы уже не знаем, смеяться нам или дать волю подозрению: мы начинаем серьезно опасаться, что сила, столь успешно действующая против них в чем неповинных рыбаков, при встрече с грозными японскими кораблями обнаружит боеспособность, обратно пропорциональную мощи противника.

Первая оторопь берет нас, и при этом мы вспоминаем, что и с самого начала наше отплытие сопровождали не только комические неудачи, но и довольно зловещие признаки: дезертирство, вредительство. Вначале они появлялись в виде пробегающих намеков. Теперь мы начинаем понимать, что намеки эти были не зря. Дальше волна их идет, нарастая: английские крейсера непрощенно сопутствуют нам, бесцеремонно в нас вглядываясь. Отплывая от Танжера, мы зацепили телеграфный кабель и, разрубив его, погрузили город во тьму. Опять о нас недобрая слава. В бухте Ангра-Пекена потеряли якорь: железная громадина в 15.000 тонн, двигаясь по инерции, разорвала якорный канат; что теперь будет от адмирала?

Чем дальше мы от Петербурга, тем более истощается запас юмора и у рассказчика, и у нас, все менее плавание наше похоже на ералашный рейс и все более... на Цусиму. С театра военных действий надвигаются черные тучи: гибель порт-артурской эскадры, падение Порт-Артура, мукденский разгром...

С переходом в Индийский океан мы — на переломе повествования. Зловещие признаки, ранее аккомпанировавшие главному действию, скользя в глубине, теперь выступают на авансцену. Несчастные приметы, в роде утери якоря или порчи кабеля, уступают место страшным явлениям реального ущерба. Случаи сумасшествия, самоубийств, смертей завершаются «поломкой шлюп-балки» на одном из броненосцев: это умер адмирал Фелькерзам. Чтобы не тревожить команды «судов, Рождественский приказывает: «Оставить до Владивостока»; и

вот эскадра идет в бой в буквальном смысле со смертью на борту; после цусимского разгрома цинковый гроб с телом адмирала барахтается в волнах вместе с обреченными на гибель живыми. Эскадра, вплоть до высшего командования, одержима галлюцинациями: всюду ей чудится противник. И как на грех, однажды темною ночью в ее составе внезапно обнаружен таинственный лишний корабль. Правда, тут же все улаживается: прибудное судно оказалось мирным немецким грузовиком, к тому же еще и порожним. Но хаос опять дохнул на эскадру леденящим дыханием.

Во второй половине плавания явно наступает начало конца. Происходит катастрофическое падение дисциплины. Мичман кричит: «Нас посылают на Голгофу. Ну, а если я не могу быть Христом, тогда что? Насильно потащат меня?». Уклонения от аврала, аварии учащаются. На месте длительной стоянки у берегов Мадагаскара, в Носси-Бэ происходит полное разложение. К месту стоянки эскадры со всех концов слетаются гарпии — проститутки всех национальностей, спекулянты всех мастей. Расцветают притоны, шныряют японские агенты, — один пробрался даже на флагманский корабль. Идет картежная игра, пьяные оргии, разврат. Цены стремительно лезут вверх, воинская дисциплина распадается. Матросы развращают туземных женщин, устраивают драки между собой, случается, нападают и на офицеров. С флагманского корабля сыплются грозные приказы. Они не помогают. Памятью о пребывании русского флота в сказочной стране странной гримасой остается матерный привет в устах веселого сакалава, прозванного матросами Гришкой.

Наконец по эскадре, уже вступающей в боевую обстановку, прокатывается волна бунтов: бунт на «Руси», бунт на «Адмирале Нахимове», бунт на «Терек», два бунта на «Орле».

Цусима нависла над эскадрой черной свинцовой тучей. Буря близко. Резко холодает. Порывы ветра взметают смерчи. Становится темно. На этом фоне — две вспышки отдаленного, слабого света: встреча с кораблями адмирала Фель-

керзема и с эскадрой Небогатова. Но это всего-навсего призрачный, беглый свет молнии: мрак от него еще черней; помощь невозможна, эскадра обречена.

Как далек теперь от нас «ералашный рейс»! Не только юмор его, но и трагикомедия российского дон-кихотства — гульбская стрельба из пушек по воробьям — далеко позади. Трагедия созрела и уже готова вылупиться на свет. Сейчас грянет буря... «О, русская земля, ты уже за шеломенем еси!»

Но в последнюю минуту, — перед тем, как раздирающий треск расколется небо и землю, и буря бесповоротно захлестнет и помчит нас к гибели, — смех «ералашного рейса» — вот штрих, брошенный художником на полотно! — еще раз блеснет нам в глаза, на этот раз — горькой усмешкой: последние маневры во вражеском море, накануне боя, при чем корабли не могут выполнить ни одного приказа, поворачиваясь «последовательно» по команде повернуться «все вдруг»; далее последний — боевой — приказ, в котором крейсера получают смутное распоряжение «действовать самостоятельно, сообразуясь с условиями момента», а главные силы — без сигнала — «сосредоточить огонь по возможностям, на головном или флагманском корабле неприятеля»; наконец намерение подтягивание адмиралом Роже-ственским боя с японцами, который неминуемо должен явиться для нас разгромом, к 14 мая, дню коронавания Николая II, — вот штрихи высокого комизма, счастливо принесенные повествователем к самому порогу трагедии, чтобы отчетливо, резко и тонко оттенить ее.

И, наконец, уже дойдя до катастрофы, которая вытекает из повествования тщательно подготовленной, напряженно ожидаемой и тем не менее — как все существующее в жизни — неожиданной, внезапной, нарисовав в «Бегстве» неизгладимые картины страшной расплаты, писатель как бы мимоходом, в обрамляющем введении, приоткрывает другое: рождение к бытию новой — революционной, рабоче-крестьянской — России, в творческих муках, но неизбежно расцветающей как-раз после Цусимы и преодолевающей ее. Но и она не возникает

внезапно, а имеет подготовку в повествовании, на его периферии, как противоречие к его основной, обреченной линии: статьи Кладо, газетные вести о демонстрациях и забастовках в России, наконец кровавое воскресенье 9 января и политработа на корабле — все это, естественно, снимает исключительность, ограниченность трагедии, связывает ее реальными жизненными связями, протягивает от нее нити к тому движущемуся целому, частью которого она действительно была.

Так, играя планами, через юмор и отчаяние, пробегающими намеками, переживаниями контрастирующих и переходящих друг в друга начал, — через стремительное, но планомерное нарастание, взлет, катастрофу и выход из-под дымящихся развалин новых побегов, — ведет нас писатель по следам жизни, в ногу с ней, но не следуя за нею, как раб, а как художник, в меру своих усилий приближаясь к овладению ею, в глубине ее внутренних переходов, разрывов и связей.

XVIII

Организирующее, воздействующее, воспитательное значение творчества Новикова-Прибоя бесспорно. Такая книга, как «Цусима» например, строит свою концепцию жизни с такой простотой, что она убедительна для всех возрастов, которым только доступно сознательное чтение книги.

Неоспоримое знание среды и эпохи, неподкрашенность, неподкупность впечатлений, стремление к самым существенным связям, ощущение напора коллективной жизни, бодрящее, словно купанье в океане, простота и самоочевидность социальной правды труда, примат действенного начала над созерцательным, наконец огромность раскрывающегося политического кругозора, — все это говорит о том, что Новиков-Прибой — это «водолаз», который, подобно всякому подлинному художнику, только прикидывается «забавным», а на деле — при наличии строгого отношения к своему писательскому делу — в силах извлекать на свет ценности, способные утолить нашу жажду глубины.

2 ОБ ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЕРЫ ИНБЕР

М. Цолякова

Читатели Веру Инбер любят. «Мне приятно бывает видеть, как затрепаны они (мои книжки) в читальнях», — пишет Инбер в автобиографии. Но она знает, что не всякий успех есть победа писателя. «Я знаю, что я нравлюсь, — сказала писательница на пленуме оргкомитета, — но мне хотелось бы знать, тем ли я нравлюсь, что нужно, хорошо ли, что я нравлюсь». Критика до сих пор не ответила на этот вопрос Веры Инбер. Отношение ее к писательнице своеобразно. Слегка похваливая за литературные достоинства, подавляющая часть критики неизменно попрекает ее за несерьезность творчества. Стало почти традицией сожалеть, что у Инбер есть то-то и нет того-то, есть юмор, но нет глубокой социальной сатиры, есть занимательность, но нет больших социологических обобщений и так далее.

Требовать от писателя того, чего у него в силу глубоких социальных причин нет и быть не может, и сокрушаться об этом — занятие никчемное. Гораздо важнее понять, что есть у Веры Инбер, умеет ли она пользоваться тем, что у нее есть.

В чем социальная сущность творчества Веры Инбер и причина ее успеха? Начало творческого пути Веры Инбер не совсем обычно для советской писательницы. Выступив в печати еще в 1913 г., писательницей-профессионалкой Вера Инбер стала только через пять лет после революции. «Почему я не писала раньше? — задает Вера Инбер вопрос себе самой и отвечает: — Потому, что мне хорошо жилось и без писания».

В книжечках ранних стихотворений Веры Инбер, как в зеркале, отражается та «хорошая жизнь», которую вела писательница как представительница той молодежи начала XX века, которая не знала ни борьбы за существование, ни серьезных общественных интересов, не путалась в политику, не занималась проклятыми вопросами, а жила чисто потребительской жизнью и преимуще-

ственно на доходы родителей или мужа, снимали сливки буржуазной культуры, обычно за границей, где и Вера Инбер провела долгий ряд лет. Потребительское бытие формировало соответствующую психологию. Культ красоты, в частности культ красивых вещей, вздохи о сказочном дворянском прошлом, следы которого можно найти в антикварных магазинах, беззаботное, поверхностное отношение к жизни, апатизм — всем этим пронизаны книжечки «Печальное вино» и «Горькая услада».

Неудивительно, что для Веры Инбер этого периода литературный талант был не орудием жизненной борьбы, а только дорогим украшением. Писательницей-профессионалкой сделала Инбер революция.

Наивно было бы думать, что организационно разорвав со своим классом, оставшись на советском берегу, принес свой талант и культурность на службу Советской России, отдав свое сочувствие революции, Вера Инбер могла по щучьему велению изменить все свое поэтическое мироощущение. Бесспорно, что за годы ее пребывания в рядах советской журналистики и литературы она очень выросла как художник, но бесспорно и то, что именно в ее социальном прошлом лежат истоки ее стиля.

Рост Веры Инбер как художника сказался прежде всего в том, что от своих сюжетных стихотворений в 1924 г. она перешла к прозе.

Проза Инбер органически спаяна с ее поэзией, мало отличается от нее по формальным приемам, но в ней Вера Инбер более углубленно и расширенно отображает действительность. Музыкальная, занимательная, остроумная инберовская проза лишена глубины. Ни к глубоким чувствам, ни к глубоким мыслям не располагала легкая и приятная жизнь, лишенная труда и борьбы.

Легко и весело написана одна из лучших вещей Инбер и наиболее крупная повесть «Место под солнцем». А меж

тем эта повесть говорит о трудных годах голода, холода и разрухи, о крушении «бывших хозяев города», в тесном кругу которых Вера Инбер встречала 22-й год. Кажется, что у Веры Инбер художественное зрение устроено так, что оно не воспринимает мрачных сторон жизни. Мимоходом сообщает она о смертях, о грудах трупов, лежащих в подвалах больниц, как «сухие поленья», и тут же на трех страницах подробно и с одушевлением рассказывает анекдот о главвраче, который вздумал стать ветеринаром и которому пациентка-корова разбила пенсне. Революция поворачивается к Вере Инбер своей анекдотической стороной. Анекдоты, которые щедро поставляла эпоха ломки быта в первые годы революции, — основное звено повести.

Художественный такт побудил Инбер начать свою повесть с момента эвакуации белых. Думается, что не в средствах Веры Инбер было бы написать о гражданской войне. Для этого нужны были бы другие, более веские и значительные слова.

Жизнерадостность Веры Инбер поконится в конечном счете не на основе глубокого познания жизни и преодоления ее противоречий. Она — плод известной поверхностности жизненного восприятия. Это сказывается и в отношении писательницы к революции.

«Место под солнцем» — это прежде всего повесть о крушении материальной стороны быта, о бунте вещей, о физических лишениях, обо всем том, чем оборачивалась революция к интеллигенции обывательского склада и что, по существу, не может быть объектом для трагедийных изображений, так как во всем этом нет ни следа какого-нибудь нравственного конфликта. В этом смысле «Место под солнцем» совершенно противоположно аналогичной по теме повести Вересаева «В тупике», в которой эпопея бытовых неурядиц занимает совершенно второстепенное место, а на первом плане — именно нравственная трагедия старой дворянской революционной интеллигенции, оказавшейся между двух лагерей. Это объясняется тем, что у той социальной группы, которая

выступает в «Месте под солнцем» и представительницей которой является Вера Инбер, не было никакого революционного прошлого, никаких резких общественных стремлений. Группа эта жила всегда только для себя, если не эксплуатируя, то служа тем, кто эксплуатировал. Ей решительно нечего было противопоставить революции в идейном смысле. Вопросы этические и общественные мало волнуют героев Веры Инбер. Вопрос о принятии революции для героини «Места под солнцем» — прежде всего вопрос о своем личном положении, о своей личной роли, узкий вопрос о профессии.

Если вересаевская Катя после своего прихода в революцию должна была стать убежденной коммунисткой, активным общественным борцом, то героине «Места под солнцем» ничего не оставалось, как прийти в революцию в качестве талантливого, сочувствующего ей специалиста. И действительно, повесть «Место под солнцем» — это повесть о поисках специальности.

Присоединение Веры Инбер к конструктивизму, который один из наших критиков правильно определил как идеологию спецовства, было не случайно. Конструктивизм явился для нее неплохой школой литературного мастерства.

И в своих новеллах Инбер тяготеет к изображению неглубоких переживаний. Это не значит, что она не изображает горестей и страданий. Без этого невозможно изображение жизни, но горести, которые она описывает, из тех, что легко забываются: героиня «Уравнения» страдает от того, что не может постичь веса загадочной рыбы, Рита Грин (там же) — от отсутствия интересных частушек, Лея Велихова («Клопомор») томится той тоской двадцатилетнего сердца, «которая есть предчувствие счастья».

Неудивительно, что герои Веры Инбер легко исцеляются от своих печалей. Задача решена, Лея Гойх получает рекомендательное письмо, частушки реют где-то для Риты Грин, Лея Велихова находит себе любовь. Героиня «Места под солнцем» также побеждает все препятствия, она находит свое призвание и

свое «место под солнцем» в Советской России. Инбер — оптимистка и любит счастливые развязки.

В то же время все эти неглубокие горести и неглубокие переживания изображаются ею с большою жизненной убедительностью: «именно так решают задачи неудачливые математики» («она не решается»), «таких рыб не бывает», именно так томятся девушки в предчувствии «еще неведомой любви», именно так жила и боролась за свое существование в голодные годы интеллигенция, как в «Месте под солнцем». В сочетании этой беззаботности и жизненности — один из секретов успеха прозы Инбер. Читатель получает редкую возможность увидеть жизнь, живую и подлинную, но освобожденную от всего мучительного, трагического и безысходного. Горести у Инбер часто кончаются смехом. Элемент комического очень силен в ее творчестве. Так же, как конфликты, смех Веры Инбер легок, безобиден и беззаботен. Посмеется у нее читатель то над ребенком, во время налета прежде всего спасающим плюшевого зайца, то над старым писателем, который, став заведующим яичным подотделом, на весь мир смотрит с точки зрения курицы, над сумасшедшей бабушкой, осведомляющейся в 1922 г. о здоровье наследника, над Левой Симцисом, ожидающим, что, как только он приедет в столицу, товарищ Луначарский даст ему ордер на Москву, над наивной Анелью, рекомендующей старому подпольщику посылать прокламации по почте, над комической любовью портного Соловья к кинокрасавице, над комическим синтаксисом диалогов в советской кухне.

Комическое у Веры Инбер рождается из мелких нелепостей быта. Оно — выражение мелкой нецелесообразности, несоответствия человеческих мыслей и чувств и действительности, несоответствия крошечных забот ребенка и большой опасности, провинциальных мечтаний Левы со столичными масштабами, жалкой наружности Соловья с объектом его любви.

Бездумностью, беззаботностью и легкостью отмечены почти все произведе-

ния Веры Инбер. Тематика ее новелл очень женственна. Из тридцати одной новеллы пятнадцать посвящены детям и воспоминаниям детства.

К детям Вера Инбер подходит в своих рассказах очень своеобразно, не только как женщина, но как женщина-литератор. Как писателя-профессионала ее интересует психология детского творчества, особенности детского восприятия. Она — большая охотница до забавных детских каламбуров, крылатых детских словечек. Детскому словотворчеству посвящены рассказы «Легендарь» и «Ежовые рукавицы». В первом — семилетний мальчик соединением слов «календарь» и «легенда» охарактеризовал то историческое для него и невозможное, по его мнению, время, когда на улицах Москвы люди стреляли; во втором — пятилетний ребенок окрестил ежовыми рукавицами лайковые дамские перчатки.

Известный рассказ Веры Инбер «Тосик, Мура и ответственный коммунист», — в сущности, не столько рассказ о живых детях, сколько собрание детских каламбуров. Слишком явная установка на каламбур, перегруженность ими речи детей ослабляют художественную силу рассказа. Это — рассказ из категории тех, над которыми раз посмеешься, и этим дело кончается.

Интересные наблюдения над психикой детского восприятия находим мы в автобиографических рассказах «Славка», «Смерть луны».

Неудачен рассказ «Отчего плачет Нинель». Почему, собственно, плачет Нинель, для читателя остается неясным. Правда, Инбер утверждает, что это оттого, что она познала истинную природу вещей, но столь отвлеченное метафизическое объяснение ничего не дает читателю.

Весьма неудачен и конец рассказа «Майя».

Той же бездумностью и беззаботностью отмечены очерки Веры Инбер «Америка в Париже». Советская журналистка борется в них с беспечной туристкой, и вторая часто побеждает. Поменьшей мере половина их занята описаниями кафе, кабаре и выставок. Каких только выставок не нашла Вера Инбер

за границей! Здесь и кошачья выставка, и выставка картин, и выставка платьев, и авиационная выставка, и колониальный музей — выставка чудес порабощенного Конго. Писательница с неподдельным увлечением, проявляя свойственный ей вкус к вещам и упоение поэзией вещей, столь характерное для женщины, происшедшей из потребительских слоев общества, описывает все это. Своим увлечением она заражает и читателя. С не меньшим подъемом передает Вера Инбер содержание театральных постановок, кинокартин и кабарежных обзоров. Делает она это в блестящей форме, проявляет большое знание и понимание всех родов искусства. Вот «крупный план» книги. Общественные мотивы в этих описаниях есть, но звучат они довольно робко.

Отчасти повинуюсь внутренним влечениям, отчасти, повидимому, под напором критики, Инбер вводит несколько рассуждений на экономические и политические темы, впрочем мало оригинальных. Найдем мы в очерках и ряд картинок социальных контрастов и мрачных сторон заграничной жизни. Некоторые из них удачны, как например изображение старой проститутки или общежития художников, другие сухи и формальны. Много конечно осталось за пределами книги Веры Инбер. Ни глубокого анализа общественных явлений западной жизни, ни больших синтетических картин в книге нет. Она прочтется увлекательно, с удовольствием, и этим ее значение кончается.

Одна из причин, привлекающих к Вере Инбер читателя, это — ее стиль. У нее богатый словарь, гибкий, разнообразный синтаксис. Она великолепно умеет пользоваться своим богатством. Сила инберовского языка — в ее сравнениях, эпитетах и метафорах, всегда уместных, точных, нужных. Такие эпитеты, как «стальной и стеклянный ветер», «длинный и злой скрип колес», несмотря на свою простоту, врезаются в читательскую память. В ее сравнениях есть все, начиная со «строфы Гомера» и кончая «неродящим полем». Они говорят о большой культуре и разносторонней художественной впечатли-

тельности. Инбер — писатель-живописец. Она прекрасно передает движение красок, смену света и тени в живой и мертвой природе. Ее пейзажи декоративны, праздничны, нарядны и в то же время очень реальны. Особенно удается ей море. «Закат этого дня был тоже ярок и жарок. Мраморное море стало совсем шелковым. Оно шелестело, словно крылья голубя. Запрокинутый закат смотрел в эту голубиную глубь. Море шелковело и таяло. Оно прошло все оттенки алого, голубого и розового, пока не стало серебряным, и таким осталось на всю ночь. А ночью взошла луна. Она была молода, но уже ослепительна. Мраморное море сделалось похожим на озеро, только-что рожденное и всплывшее на поверхность земли».

Вера Инбер очень любит и одухотворяет вещи. Вещи бывают добры и злы, утверждает она. Вещи живут в ее рассказах и играют большую роль в их сюжетах. В «Клопоморе» все настроения Лели Велиховой познаются через ее отношение к пряникам, которые она продает и которые ненавидит. Пряники оказались ей вкусными впервые, когда она полюбила. Психологически это очень верно. Психология показывается здесь через отношение к вещам. Простая подошва играет большую роль в рассказе «Бывают исключения», френч и галифе — в рассказе «Соловей и роза». Сюжетные приемы Инбер вообще очень своеобразны, она любит неожиданные вступления. Рассказ «Ежовые рукавицы» начинаются с описания ежей, повесть о замерзающем безработном — с того, что Сахара была некогда морским дном («Шведские гардины»). Только Вере Инбер могло прийти в голову начать рассказ о забастовке с того, что Анна-Мери с'ела мышь. Анна-Мери оказывается кошкой, презирающей мышью. Мышь она с'ела потому, что ее три дня не кормили. Так начинается рассказ о забастовке. Мы уже говорили о социальных корнях стиля Веры Инбер. Сама она прекрасно охарактеризовала себя в «Месте под солнцем». «Я читала, раз'езжала по свету, беседовала с друзьями, словом, вела приятную и легкую жизнь. Естественно, что я нако-

тила много приятных и легких слов». Бесспорно, что блестящий стиль Веры Инбер, ее легкость, ее беззаботность, безбидный характер ее юмора, отсутствие глубины в ее живом, психологическом рисунке есть плод легкой и приятной жизни. Но все эти качества она обратила не на услаждение зарубежной буржуазии, а принесла в советскую литературу. В этом — ее заслуга. В меру своих сил она старается художественно отобразить советскую действительность, и в ее лучших рассказах, в особенности в «Месте под солнцем», где писательница сумела запечатлеть многие, прекрасные и трогательные черты молодой революции и рассказать о ее людях, ей это удается.

Неудачи ее закономерны, как и все в природе. В под'емах и провалах Веры Инбер есть своя внутренняя логика. Лучшие новеллы Инбер: «Клопомор», «Соловей и роза», «Уравнение с одним неизвестным», «Бывают исключения» и другие — это те, в которых она изображает камерный быт советского маленького человека без покушений на большие обобщения, без стремлений разрешать какие-нибудь сложные идейные задачи. Камерный бытовой рассказ — вот настоящий жанр Веры Инбер, где она сильнее всего как художник. Как только она пытается взять за рога большие идеологические проблемы и разрешать их с помощью того же быта, художественная почва ускользает из-под ее ног.

Примером может служить ряд рассказов, написанных в защиту рационалистического мировоззрения, в частности рационалистического воспитания («Сады в цвету», «Майя», отчасти интересный рассказ «Смерть луны»). Явно нарочитый и натянутый подбор фактов, примитивные параллели и наивные аллегории — вот характерные для этих рассказов недостатки.

«Проблемы» в рассказах Веры Инбер напоминают те анекдотические пояснительные надписи на рисунках горе-художников, которые самими рисунками не в силах показать то, что им хочется изобразить. Мастер изящного афоризма, Вера Инбер решительно не в состоя-

нии справиться с проблемной тематикой. Отвлеченные идеи пришиваются ею к бытовому материалу явно искусственно, носят чисто головной характер, облечь их в плоть и кровь писательница не умеет.

По понятным причинам мало удаются также Вере Инбер рассказы о классовой борьбе западного пролетариата, о забастовках и о безработице («Александрпляц», «Трубка мира», «Шведские гардины» и др.). Они литературно очень гладки, но в них нет ни капли той конкретной психологической насыщенности, которой богаты комические рассказы Веры Инбер о советском быте. Ситуации рассказа часто малоправдоподобны. Своего безработного в «Шведских гардинах» она ставит в условия настолько исключительные (в суматохе героя принимают за уголовного, и, спасаясь от полиции, он разбивается о камни), что история его теряет всякую типичность и становится эпизодом хроники происшествий. В рассказе «Трубка мира» Инбер захотела сразу, на нескольких страницах, убить двух зайцев — разоблачить одновременно жестокость предпринимателей и ужас империалистической войны — и, как всегда бывает, не убила ни одного. Рассказ о мальчике, сыне инвалида империалистической войны, которого ресторатор выгоняет за неосторожность со службы, чем-то неуловимо напоминает модернизированный рождественский рассказ о погибающем беспризорном и о жестокосердии богачей.

Характерно, что все лучшие новеллы Веры Инбер написаны ею в период 1924—1927 гг. Неудачи же почти все относятся к 1928—1929 гг. Очевидно, что покорное подчинение Веры Инбер рапповской критике, ее проповеди рационалистического мировоззрения и погоня за злободневной тематикой сослужили Вере Инбер плохую службу как художнику.

Хорошо ли, что Вера Инбер нравится советскому читателю? Мы думаем, что неплохо.

Веселость, беззаботность и отдых, которые дает Вера Инбер, — тоже крупница для дела социализма. Мы не монахи и не пуритане. Нам нужны монументаль-

ные произведения, большой философской глубины и психологической тонкости, но и легкий, веселый и вместе с тем советский рассказ имеет право на «место под солнцем» в нашей литературе. Веселые рассказы Веры Инбер—советские рассказы. В них много вкуса и

нет ни капли пошлости, и хотя содержание их неглубоко, но оно все же несомненно. От бессодержательности, беспредметности и упадочности своих ранних стихотворений эпохи «печального вина» и «горькой улады» Вера Инбер успела избавиться в своей прозе.

3. РОМАН О ЛОМОНОСОВЕ

Н. Богословский

В эпоху революционной ревизии прошлого естественен расцвет исторического жанра. Исторический роман играет сейчас очень большую роль. О громадном интересе к нему со стороны советского читателя говорит уже то, что лучшие романы нашего времени: «Кюхля», «Смерть Вазира Мухтара» Ю. Тынянова, «Петр I» Толстого, «Разин Степан» А. Чапыгина, «Одеты камнем» Ольги Форш, выдержали за несколько лет множество изданий.

Наша историческая беллетристика резко и выгодно отличается от дореволюционной. Изменились социальные установки писателей, определилась целенаправленность произведений, чрезвычайно обогатились приемы и художественные средства и поднялся качественный уровень. В дореволюционной литературе преобладал патристически-сулальный, «школьный» исторический роман. Исключения можно пересчитать по пальцам. И хотя такой тип романа, соответственно видоизмененный, появляется время от времени в наши дни (А. Алтаев, М. Марич), он все же случаен и обречен на совершенное вымирание. Романы такого типа основаны не на пытливом пересмотре известного периода времени, а на легкой перекраске или даже на подкраске описываемых событий и лиц.

Но есть писатели, не останавливающиеся перед трудностями коренного пересмотра прежних точек зрения и установления нового взгляда на ту или иную сумму исторических явлений. И хотя работа их не всегда безошибочна, то есть не всегда на высоком теоретиче-

ском уровне, она значительна и интересна уже тем, что, выдвигая ту или иную историческую проблему, ломает укоренившиеся представления.

Общая тенденция нашей исторической беллетристики, это — стремление к документальности, к освобождению от легенд, к трезвому пересмотру фактов, к изучению среды и социальной обстановки.

Все это характерно и для нового романа Георгия Шторма, посвященного трудам и дням величайшего русского ученого Михаила Ломоносова, который опередил в некоторых отношениях научную европейскую мысль на двести лет. Наши слова о тяготении к документальности не следует понимать так, что дальше препарирования документов, дальше монтажной работы писатель не идет. Мы говорим об овладении документом, о творческом отношении к нему, о выражении документа в художественном образе.

Биография Ломоносова замечательна. Заслуги его перед наукой неисчислимы. В «Мыслях на дороге» Пушкин писал: «Он... сам был первым нашим Университетом». Известно, в каких условиях прокладывал дорогу науке Ломоносов, впервые установивший закон сохранения вещества, рассеявший заблуждение о теплороде, предвосхитивший ряд открытий знаменитого Лавуазье, предваривший атомистическую гипотезу и т. д.

«Я выбрал его, — пишет Шторм, — эмпирика и рационалиста, грубияна и задиру, потому что его труды были первинами русской научной мысли, а дни — упорной борьбой с косностью

быта и академической рутинной, потому что он мечтал о времени, «когда из наших университетов произойдут многочисленные Ломоносовы», мечтал об этом, оставаясь один».

«Подготовительная работа состояла в сравнительном изучении документов, представленных в собраниях биографических материалов», — свидетельствует автор в *post-scriptum*.

Кстати сказать, следы тщательного изучения этих материалов¹⁾ не бросаются резко в глаза, что говорит о тонкости мозаичной работы, сделанной Штурмом.

К чести автора надо отнести и то, что он не увлекся такими сюжетно заманчивыми, но по сути дела случайными фактами биографии Ломоносова, как вербовка его в прусские солдаты и бегство из крепости Везель, не говоря уже о недостоверном предании (опять-таки сюжетно заманчивом) о тайном побеге юноши Ломоносова в Москву. Подобная элементарная занимательность была бы как-раз характерна для псевдоисторической беллетристики «школьного» направления.

Вообще биография Ломоносова в «обозрении» Штурма развита не шаг за шагом, а дана яркими пятнами. Благодаря такому распределению материала Штурму удалось показать Ломоносова не изолированно, а на анекдотическом фоне Петербургской академии наук, что «пошла от кунсткамеры, от проспиртованных, скрюченных в банках уродов, от кабинета нелепостей, от двух собачек, которые родились от девки шестидесяти лет».

«Труды и дни Ломоносова» построены чрезвычайно свежо и своеобразно. Автор счастливо нашел форму обозрения — цепь эпизодов, «долженствующих в общем создать цельную картину возможной сгущенностью содержания и «пошла от кунсткамеры, от проспиртованного рядом вводных новелл, «иллюминаций», состоящих из мало известных исторических анекдотов, не связанных с действием и лишь его акцентирующих,

¹⁾ Главным образом «Материалы для биографии Ломоносова», собран. акад. Билярским, «Ломоносовский сборник» и мн. др.

играющих роль комментария к эпохе, расширенных эпиграфов внутри главы».

Построение обозрения отличается изяществом в самом хорошем смысле этого слова. Каждая глава с заключенной в ней иллюминацией внутренне самостоятельна, она не служит непосредственным продолжением предыдущей, то есть не связана с ней единой сюжетной линией, и тем не менее обозрение оставляет впечатление совершенной цельности.

Теперь о документальности. Если бы Ломоносов и прочие действующие лица в книге Штурма говорили только цитатами из своих писем и каждый поступок их был бы «прикреплен» к тому или иному документу, книга рисковала бы оказаться сухой, скучной, лишенной творческого начала. Но не пренебрегая документами, работая в направлении, подсказанном ими, Штурм остается художником. Поясним это на примерах. Вот одна из лучших иллюминаций — центральная иллюминация — «Готторпский глобус».

После вынужденного отречения от своего глубоко верного взгляда на ошибочность теории флогистона, прочно укоренившейся в науке XVIII века, после вынужденного обещания исправить свою диссертацию вопреки убеждению, Ломоносов в волнении выбегает из залы профессорского собрания и, перебега бесцельно из этажа в этаж, попадает в гигантский готторпский глобус, внутри которого профессор Делиль читает слушателям лекцию об устройстве вселенной. Потрясенный Ломоносов входит в глобус как-раз в ту минуту, когда Делиль, иллюстрируя учение Галилея о вращении земли, зачитывает его знаменитое отречение.

В действительности этого могло и не быть. Может быть, этого и не было. Но в этом есть своя правда. Тут вступает в свои права художник.

Приведем другой, менее значительный пример. Автор, создавая портрет жены Ломоносова, Елизаветы Цильх, не располагал материалом, хоть сколько-нибудь полно характеризующим ее. Правда, благодаря этому портрет дан острожно, легким очерком, но в нем от-

существует какая бы то ни было надуманность и нет ни одной лишней черты.

В письме к И. Шувалову Ломоносов, описывая трагическую гибель убитого молнией академика Рихмана, с которым он одновременно производил опыты в области электрических явлений, рассказывает: «Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтоб я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала». (Далее описывается, как появляется человек Рихмана с известием о его гибели.)

Вот это же письмо в переводе на язык художественной прозы: «Ломоносов в шафроке, с раскрытой грудью сидел за столом... В углу поблескивала на солнце электрическая машина. Вошла Елизавета, рыжая, располневшая; половицы гнулись под ней. Села у окна, стягивая в иглу нитку.

— Lenchen! Wo bist du? — прокричала она во двор и принялась за шитье.

Он (Ломоносов) прислушался:

— Кузнечик кует, — нас с тобой выживает. Слышишь?

— Was ist das кузнешик? (Она упорно не хотела говорить по-русски.) — И опять: — Lenchen! Wo bist du?

Куском впадало в окно синее, полное зноя и грозы небо. В углу на двух кирпичках стояла стеклянная банка с медными опилками. От металлического прута шла выведенная на крышу проволока. Железная линейка с шелковой нитью висела отвесно. Внезапно нить отскочила, из линейки с треском посыпались светлые искры, и некоторое время с нее наподобие синей ниточки стекал свет.

— Гляди! Нитка за рукою гоняется! — восклицает Ломоносов, подходя к машине и растопыривая пальцы. Подошла и она, тоже потянувшись к линейке и тотчас отпрянула, ощутив сильное потрясение в руках.

— Dummer Spass! — сказала она с сердцем. — Also können wir verbrant werden!

— Что ты знаешь? Да для сего и сгореть не жаль: вижу теперь, что с помощью железных прутков у туч огонь отнять можно...

— Dummer Spass! — повторила Елизавета.

— Ну, полно! — сказал он и направился к двери. — Ежели кто придет, то я в лаборатории. — Шея его была согнута. Он разозлился.

— Bald werden wir mittagessen! — резко прозвучало ему вслед.

Все это подсказано «стынувшими щами».

Образ самого Ломоносова дан не «иконописно», а диалектически. Ломоносов упорно боролся с академической рутинной, но в силу исторических условий и сам иногда оказывался на позициях рутинера. Возьмите сцену столкновения Ломоносова с историком Миллером, которого Ломоносов уличает в злонамеренности на том основании, что у Миллера «на всякой почти странице русских благополучно бьют» (181 стр.). Ломоносов считал, что иностранцы не должны писать что-либо предосудительное о России.

Несмотря на предельный лаконизм (подлинная сгущенность содержания и письма), Шторму блестяще удалось воскресить образы ломоносовской эпохи и придать книге подлинный исторический колорит. Он делает это скупой, штрихами, но тонко, выразительно и умно. Таковы главы, где Ломоносов показан на пирушке в студенческом погребке в Марбурге; такова вечерняя прогулка его с фрейлен Елизаветой у «Ручья еретиков» в марбургских предместьях; таков придворный маскарад, куда Ломоносов приезжает после гибели Рихмана, чтобы выслушать издевательства врагов над покойным Рихманом и над их общими «неудачными» опытами «удержать гром и молнию»; таков литературный «клуб» (трактир Ягужинского у Цепного моста), где сочинители, газетеры, цензоры, служащие типографии Академии наук дискутируют о «делах, до российской словесности принадлежащих», и мн. др.

Портрет Ломоносова в обозрении Шторма — это портрет человека не-

обыкновенной внутренней силы, ясного сознания, железного упорства и воли, не сломленной ужасающими социальными условиями того времени. Недаром Ломоносов с гордостью вспоминал о своей «благородной упряжке».

Сначала унижительная бедность на чужбине («Студентам, кроме одного талера в месяц на карман, не выдавать никаких денег на руки, а между тем объявить везде по городу, чтобы никто им не верил в долг» — инструкция «командира» академии Корфа). Потом по возвращении на родину — та же дикая нужда («Безвременье, смутная, грозящая вовсе пресечь науки, пора. Не было жалованья. Оно выдавалось «Уложением Алексея Михайловича», экземплярами «Грациана — придворного человека»).

Далее ожесточенная сословная борьба, бесконечные интриги доносителей, бездушный круг придворных сановных холопов, постоянные раздоры внутри академии, вынужденное рабство перед двором. Кстати сказать, глава, посвященная императрице Елизавете, — одна из лучших глав в книге Шторма. Здесь очень тонко «обыграны» стихи коронованной «поэтессы»:

Ныне уж не знаю,
Как на свете жить,
И недоумеваю,
Что больше творить..
Ах, трудножато жить!

Не менее хорошо описывается и посещение Ломоносова Екатериной II, где Шторм разрушает приторную и лживую легенду о «высочайшем покровительстве»:

«... А когда все уже высмотрели, он стал показывать последнюю свою машину, которая, поднимаясь кверху сама, могла поднять маленький термометр. Что-то не ладилось. Он пыхтел, старался, но все не выходило. И она отвернулась, зевнула, а его словно ожгло, и он от злости потемнел.

Он потемнел, выдрымился и положил руку на ящик с коллекцией минералов. И рука была влажная — стекло затуманилось, а под ними пробы: сибирский и уральский камень. И так он стоял,

опираясь на Сибирь и на Урал. И вспомнил: во Фрейберге... седой бобр задыхается, выгоняет из кабинета... Ящик взлетает над головой. Щель трещат на полу, и пестрые сиениты, фонолиты и кварцы твердыми брызгами бьют по ногам... Кого? Генкеля?..¹⁾ Высокую даму в атласной робе?.. И тут — пухлая ручка тянется к его губам. Она отбивала.

И он заспешил и поцеловал пухлую ручку, изобразив усердие и верность всею своей фигурой. Ему улыбнулись и милостиво кивнули. Чего же больше?.. Но он-то знал — это ведь она писала Олсуфьеву (и, значит, нельзя верить!): «Адам Васильевич! Я чаю — Ломоносов беден: зговоритесь с Гетманом, не можно ли ему пансион дать, и скажи мне ответ».

Время его пришло к закату, он был мелочью, оставшейся от прежних лет.

Эпиграф к книге, взятый из Гете («Некоторые идеи созревают в определенные эпохи — так плоды падают одновременно в разных садах»), как бы лирически перекликается с концовкой книги о стареющем Ломоносове: «Он лежал в саду под яблоней, разложив на теплой земле рукописи и книги. Имение прилегало к морю. Оеень выжелтила луг со службами и стеклянным заводом, зажглась за соломенным валом, у мельничной плотины, острой кровью рябин... Тепло и сухо пахло елью. Клейкая, путаясь, не могла слететь с дерева паутина. Он снял парик и вытер им потное лицо. Череп его был гол и блестящ. Шея стала такою же, как у отца: медной от солнца, иссеченной в крупную косую клетку. «Умер Виноградов, — подумал он, — Ряхман, Крашенинников. Профессор Клейнфельд удавился. Он у меня учеником был». Яблоко упало в траву, сгоревший лист, кружась, слетел на раскрытую книгу».

В заключение надо сказать и о недочетах книги. Тут прежде всего хочется отметить некоторый схематизм в сбрисовке общесоциального движения эпохи. Так, выход на историческую

¹⁾ Речь идет о ссоре Ломоносова с Генкелем, происшедшей в студенческие годы Ломоносова во Фрейберге (Германия).

арену русской буржуазии (одним из проводников сознания «которой в феодально-крепостническом государстве был Ломоносов») Шторм рисует чуть ли не аллегорически. В начале книги (гл. 2-я) описан неудачный визит русских купцов в Англию с партией пеньки, которую пришлось сжечь на пристани за отсутствием сбыта. В конце книги (гл. 9-я) рассказано, как у причала Петербургского порта вырастают английские галиоты и англичане отправляются покупать пеньку к тому же купцу, который взыскивает теперь с них «за костеришко свой, за прежнюю нашей торговли худобу». Внешне это обрамление книги может показаться даже искусным, но по сути дела оно мало убедительно. Встречаются неудачные публицистиче-

ские отступления, написанные очень сухо и лекционно: «В России XVIII века производство, основанное на наемном труде, было невозможно: не существовало класса свободных рабочих» и т. д.

Это тем более неприятно, что в «Трудах и днях Ломоносова» мы находим много публицистических отступлений, данных непринужденно, остро и убедительно.

Шторму следует отказаться от прищущей ему в какой-то степени витиеватости и вычурности, которые ничуть не способствуют развитию его подлинного дарования.

В целом «Труды и дни Ломоносова» надо отнести к разряду весьма удачных и талантливых книг.

4. БОРЬБА ЗА ЛИРИКУ

Инн. Оксенов

Было время — еще сравнительно недавно, — когда на страницах наших журналов и сборников стихов нельзя было найти ни одного лирического стихотворения. Были конечно и исключения, например Пастернак, упорно отстаивавший свои права лирического поэта. Не будем сейчас говорить об идейно-философских установках его лирики, о сложных путях, которыми Пастернак приближается к современному пониманию задач поэзии, отметим лишь одно: «личная» лирическая тема у Пастернака почти всегда поднята на большую принципиальную высоту и тем самым становится общественно значительной. Можно и следует спорить с Пастернаком, бороться с его теоретическими позициями, но нельзя отрицать, что лирика Пастернака есть подлинная «большая» лирика: в ней слышен голос поэта, с которым нельзя не считаться. Поэт говорит о личном, о своем отношении к миру, касается так называемых вечных тем — природы, любви, смерти, — и эти чисто лирические темы становятся в его стихах общественно важными, хотя бы мы и не могли согласиться с их трактовкой.

Не будем останавливаться на некоторых других крупных поэтах, продолжавших за последние годы борьбу за лирику. Положение Пастернака, Багрицкого и других было очень сложным, потому что лирика была снята с порядка недавнего литературного дня. На то были причины более глубокие, чем отдельные критические заскоки или рапповская литературная политика последнего периода в целом.

Проблема лирики была отодвинута на задний план самими поэтами. Трудности были очевидны. Но из этого конечно не следовало, что поэтам надобно по линии наименьшего сопротивления, т. е. просто обходить вопрос о современном лирическом стихотворении.

Теоретически все было ясно. Необходимо создать действительно современную лирику, стоящую на высоком идейном уровне. Казалось само собою понятным, что лирический поэт нашей эпохи должен показать наше эмоциональное отношение к миру, к поэтической теме, должен преломить идейное содержание нашего мировоззрения в эмоциональных образах. Как же прак-

тически разрешается проблема лирики самими поэтами?

Чтобы разобраться в этом вопросе, возьмем стихотворные отделы некоторых наших литературных журналов, в частности ленинградских, за текущий 1933 год. Возможно, что нам попадется при этом не самый характерный материал, но это будет во всяком случае материал наиболее новый и свежий, который не раньше, как через полгода-год войдет в сборники стихов.

Вот в № 1 «Звезды» стихи П. Антокольского, название которых, признаемся, похищено нами для заглавия нашей статьи. Эти слова — «Борьба за лирику» — звучат в заголовке стихотворения крайне ответственно и «программно».

Антокольский — культурный и опытный мастер стиха, взвешивающий каждое слово. «Борьбой за лирику» он назвал два стихотворения, объединенных темой страсти. На эту тему написано много прекрасных стихов старыми поэтами от Лермонтова до Брюсова и Блока. Старая, «вечная» тема, но несколько не «запретная» в наше время, вполне законная, так как все дело заключается в ее разработке, в ее освещении поэтом. Вспомним, с какой новой трагической глубиной, характерной для кануна революции, была в свое время поставлена тема страсти в «Облаке в штанах» Маяковского.

У Антокольского — «страсть, несущаяся вскачь, будто пудель на арене». Образ страсти, как «зверя», литературно не нов, встречается например у Гумилева («Укротитель зверей»), где этому образу приданы черты геральдического животного («Он — золотой, шестикрылый, молчаливый...»). У Антокольского в первом стихотворении страсть — «сволочь», «тварь», — образ, нарочито сниженный и грубый, но это, как пытается представить поэт, — одна видимость:

Укрощенье этой твари
Занимает весь раек,
Но раек поймет едва ли,
Что сказал я между строк.

Мы совсем не сторонники буквально-го понимания стихов, но в этой строфе,

да и в стихотворении в целом, звучит очень старая нота, которую когда-то называли «чистым искусством», «искусством для искусства» и т. п. Здесь не место исследовать, что это такое, можно только напомнить, что обычно такая тенденция представляет собою известную литературно-общественную позу, в которую иногда становятся поэты и которая всегда скрывает за собою известную классовую установку.

В последней строфе этого стихотворения героиня Антокольского — страсть — исчезает, «воя древней пантомимой... Вся в поту и в мыле мимо человечества летя». Туда же — «мимо человечества» — стремятся «пролететь» и эти стихи. В известном смысле это удается поэту. За какую же лирику борется Антокольский? Может быть, второе стихотворение скажет об этом яснее.

Второе стихотворение Антокольского внешне значительно более лирично и просто. Но это — сложная простота, за которой скрывается богатая литературная родословная — от Инн. Анненского через Блока и Пастернака:

Я люблю тебя — в дальнем вагоне,
В желтом комнатном нимбе огня.
Словно танец и словно погоня,
Ты летишь по ночам сквозь меня

Я тебя не забуду за то, что
Есть на свете театры, дожди,
Память, музыка, дальняя почта...
И за все, что еще впереди!

Это — стихи вполне законченного мастерства, они производят подкупающее впечатление своей видимой непосредственностью. «Что же, — спросит читатель, — там была «поза», а здесь настоящее «переживание»?» Нет. Нельзя поэта так растаскивать по кускам. Поэтический метод, поэтическое мировоззрение Антокольского конечно одно и то же и там, и тут. Но в первом стихотворении, кроме конкретного лирического «переживания», содержится своего рода декларация, раскрытие принципиальной позиции. И оказывается, что индивидуализм — это то слово, которого не выкинуть из этой «песни». Любая эмоция, любое психологическое состояние может либо соединять, либо раз-

«единять поэта с обществом, с коллективом. Лирическое переживание страсти в этих стихах Антокольского противопоставлено «райку», «человечеству», оно раз'единяет поэта с социальным его бытием. «Поэза» Антокольского в этих стихах давно известна по истории литературы. В наших условиях такая поэза — или позиция — реакционна, она по существу беспочвенна в самом прямом смысле этого слова. Та ли это лирика, которая нам нужна? Поднимается ли здесь лирическая тема до желанных нам общественно-идейных, философских вершин? Нет, это не та лирика, к которой мы стремимся. За такую лирику бороться не стоит. Скорее надо бороться против такой лирики.

Пожалуй, к этим стихам Антокольского приложимы строки из стихотворения К. Вагинова в той же книжке «Звезды»:

Вчерашний день терзает, как музей,
Где слепки, копии и подражания,

потому что лирика, подобная данной лирике Антокольского, это — действительно вчерашний день русской поэзии, даже не только вчерашней, вернее plusquamperfectum, давно прошедшее время, и подобные стихи в 1933 году не могут быть восприняты иначе, как искусный «слепок» с образов дореволюционного буржуазного поэтического мастерства.

Сам Вагинов, давший после долгого перерыва три стихотворения, также пытается по-своему разрешить ту же проблему лирики.

Творчество Вагинова интересно тем, что поэт, внешне формально стремящийся к разрушению, смещению, даже пародированию старой поэтической культуры, на деле внутренне оказывается в прочном плену всех индивидуалистических понятий и представлений. «Переработка» классического наследства, которую пытается дать Вагинов, оказывается иллюзорной потому, что творческие позиции поэта внутренне порочны, они еще не выходят за пределы того круга, который поэт стремится разорвать. Оттого-то творчество Вагинова производит странное впечатление раз'ятого на части

мира, мира обломков классики, расставленных, правда, в своеобразных сочетаниях и поворотах, но при этом торчащих и выпирающих своими острыми углами.

Новые стихи Вагинова не изменяют этого впечатления. Характерна его «Баллада», темой которой являются взаимоотношения между поэтом и его произведением — «звукopodobием». Как увидим дальше, подобная тема интересует теперь не только одного Вагинова. Эта издавна лирическая тема занимает в наши дни и поэтов совершенно иного склада. Как же решает эту задачу Вагинов?

«Звукopodobие», т.е. созданное по этому произведение, живет таинственной жизнью автомата, оживленного изваяния, переходящего «в разряд людей». Оно обращается к своему автору как равноправное с ним существо. Все стихотворение представляет собою монолог «звукopodobия», которое противопоставляет себя поэту:

.. Я ухожу, себя проклянешь
И постарайся отнять
Глаза Психей, сердце вынуть
И будешь в мастерскую звать
Теперь враги мы Безнадежно
— Остановись! — воскликнешь ты
Звукopodobие другое
Ты выставишь из темноты.
Оно последует за мною,
Быть может, враг. быть может, друг.
Мы будем биться иль, ликуя,
Покажем мы пожатые рук

В этом сомнамбулическом стихотворении, в основу которого поставлен чисто гофмановский образ оживающего автомата, нетрудно вскрыть руководящую идею. Создание искусства живет своей самостоятельной жизнью, не зависящей от воли его автора, и выполняет свое назначение порою вопреки этой воле. С этой мыслью стихотворения можно было бы согласиться. Ведь в самом деле мы знаем исторические примеры подобной «независимости» литературных произведений от намерений и замыслов их авторов, — достаточно назвать хотя бы Гоголя или Бальзака, произведения которых по своей идейно-общественной ценности выше классового мировоззрения этих писателей. Все это так. Но,

«когда два человека говорят одно и то же, это не одно и то же». В стихотворении Вагинова раскрытая нами мысль имеет иной оттенок, — она стремится к утверждению интуитивного характера искусства в старом, почти мистическом духе эгих представлений. Отсюда неизбежно вытекающий вывод о безответственности поэта, не властного остановить или направить на другие пути развитие своих созданий. Поэтические произведения враждуют между собою и с написавшим их поэтом, и нельзя предвидеть, «враг» или «друг» выйдет из-под его пера. Тем самым очерчивается роль сознательного контролирующего начала в работе поэта. Стоит ли говорить, насколько чужда и враждебна нам подобная постановка этого вопроса.

Вагинов — талантливый поэт, однако носящий в себе те «трагические» или псевдотрагические «изломы», которые когда-то (уж очень давно) считались необходимым признаком одаренного поэта. Он до сих пор бродит в мире призраков и теней — старинных поэтических и ложнопоэтических «истин» и догматов. Надо как-то ему помочь найти выход из этого душного лабиринта, иначе все его — несомненно искренние — декларации о «перестройке» останутся одним только благим намерением.

Возвратимся однако к нашей теме и посмотрим, как решают вопрос о современной лирике другие поэты, менее обремененные, чем Вагинов, культурным наследием прошлого. Поищем снова принципиальных высказываний о задачах поэта, о лирической теме, — сейчас поэты довольно щедро раскрывают свои мысли на этот счет. Обратимся теперь к новым стихам Марии Комиссаровой, напечатанным в № 1 «Литературного современника» и в № 5 «Звезды».

Для этих стихотворений (а их всего пять) характерно прежде всего именно возвращение к лирике в самом первичном и основном смысле этого слова. В первую очередь это касается самой тематики данных стихов. В своем втором сборнике «Переправа» (1932 г.) Комиссарова пыталась значительно расши-

рить круг своих тем, о чем могут дать представление хотя бы названия циклов этой книжки («Женщина в гражданской войне», «Бригадный фронт» и другие). Эти попытки были ценны и достигали цели постольку, поскольку в них имелась налицо «личная заинтересованность» поэта в теме, поскольку публицистическая тема получала эмоционально-лирическое оформление и тем самым идея становилась полнокровным художественным образом.

В ряде стихотворений «Переправы» Комиссарова этого достигала, что и было справедливо отмечено критикой как свидетельство творческого роста поэта.

По природе своего дарования и по своему более отдаленному литературному прошлому Комиссарова — лирик по преимуществу. В первом из своих новых стихотворений она дает нечто в роде лирической декларации о задачах и целях поэзии:

Мне не надо славы лирохвостой,
Не в моем дому она в чести, —
Мне бы, горя нахлебавшись вдосталь
Запросто к читателю войти.

Я не пляю голоса навывказ.
Что в том толку? Стих дойдет стихом,
А не глоткой, треснутой от крика,
Сорванной на топоте лихом.

Есть еще такие тараторы,
Громяхают словом, как ведром.
Только в них и проку, что задорны,
В строчку ж надо вламываться лбом.

Чтоб, как кровь, почти неотделима
От предсердий сердца своего,
В строй стиха она вошла без грима,
Настоящей, песенной, живой..

Далее стихотворение развивается в тех же лирико-полюемических тонах и заканчивается вариацией первой строфы.

Если вскрыть основное положительное содержание этих стихов, оно окажется довольно тощим и неновым: требование поэтической «искренности», которая, как известно, в лирике является условием необходимым, но недостаточным. Второе, что можно извлечь из стихов Комиссаровой, — стремление «запросто к читателю войти», т. е. установка на «простоту» стиха. Опять-таки «поэтическая простота» — понятие отно-

сительное и не такое простое, как кажется на первый взгляд. Но мы безусловно согласимся с поэтом, что подлинная простота (какими бы сложными путями она ни достигалась) есть действительно признак всякого большого, волнующего и зажигающего искусства.

К этой простоте Комиссарова стремится и в своей лирической «практике». Но вот что интересно. Ее последние стихи резко отличаются от стихов «Переправы» не только своей подчеркнутой самим автором простотой и лирической эмоциональностью, но и тематикой. Комиссарова, которая в «Переправе» ставила себе в заслугу то, что она —

Вздохом жалостным не славил
Ни встреч любовных, ни разлук,

теперь посвящает три больших стихотворения именно теме любовной «разлуки». Это характерно для нашей поэзии, вновь начинающей овладевать забытыми было лирическими темами. Процесс этот сам по себе необходим, потому что, как мы уже говорили выше и готовы повторить еще и еще, наши поэты должны научиться владеть «вечными», большими темами природы, любви, смерти, поднимая их оформление на уровень наших идейно-философских понятий и воззрений. В частности начинает возрождаться женская лирика, вопрос о которой приобрел недавно особую остроту в связи с остроумными, хотя и неглубокими, статьями Веры Инбер в «Литературной газете». Женская лирика имеет все права на существование, и Комиссарова дает именно ее образцы. Другой вопрос — та ли это самая современная женская лирика, которой мы ждем от наших поэтов вместе с Верой Инбер? В свое время Анна Ахматова дала в своей поэзии классический образ женщины буржуазно-дворянского круга со всем идейно-психологическим комплексом ее внутреннего мира. Этот внутренний мир у советской женщины-работницы или интеллигентки — конечно совершенно иной и по содержанию, и по форме. Старые внешне, как мир, любовные конфликты переживаются и разыгрываются ныне в СССР совершенно иначе, нежели у

ахматовской героини. Должно изменить-ся и лирическое выражение соответствующих настроений и чувств. Что же мы находим у Марии Комиссаровой?

Искренность, простота, эмоциональность — прекрасные качества, если они связаны с действительно новым и глубоким освещением темы. Какую угодно личную тему может взять поэт (в частности женщина-поэт), но от его художественного такта, чутья, мастерства, в конечном итоге от широты его кругозора и органичности мировоззрения будет зависеть то, чтобы стихи на личную тему не остались бы только «личным делом» самого поэта.

В стихах Комиссаровой любовный конфликт переживается героиней замкнуто, уединенно.

Не знаю — заботой зовется,
Любовью, разлукой с тобой,
Все то, что из сердца берется,
Поется, как песня, взапой

Придешь и уйдешь, и надолго
Опять я останусь одна
Страна, колыбель моя Волга,
Тебе эта блажь не нужна!

И песня, влюбленная сдуру
В зеленый газон у окна,
В повадку висков белокурой,
Тебе ни на что не нужна

Была бы покуче размахом,
Пожарче, поярче, позлей,
А эту бросайте на плаху,
Никто не заплачет о ней!

Зачем и кому это нужно,
Чтоб сердце знобила тоска?
Зачем же, когда тебе скучно,
С девчонкой валять дурака?

А мне и взаправду, как в детстве,
К твоей бы руке прислонюсь,
Заплакать, затихнуть, согреться,
Лицом не ударить бы в грязь

И вырасти, выступить разом,
В глазах твоих свет заслоня!
Поймешь ли ты вздох этой фразы?
Прочтешь ли, как надо, меня?

Художественная сила этих стихов несомненна, но впечатление, производимое ими, «вторичного» порядка: как перепевы хороших в своем роде старых образцов. Все это потому, что Комиссаровой здесь не удалось поднять свою личную тему до той высоты, где «лич-

ное» становится общественно важным и ценным. Не удалось ей сделать этого и в двух других стихотворениях того же цикла, в которых — что тоже показательно — звучат давно знакомые ритмические построения Блока и С. Горюхиного:

Он прошел, не улыбаясь,
Мимо сердца моего
Ширь — дорога столбовая,
Ты ли вдаль звала его?

Не знобил ли ему плечи
Встречный ветер-сиверок?
Где девался синий вечер,
Папирос его дымок?

Сын мой, вздох мой, сиротинка,
Паутинка-голосок,
Где взялась твоя тропинка?
Где уляжется в песок?

Руки начисто развязаны
Вот она — разрыв трава,
И работы непролазной
Неотступные права.

Как видим здесь, в этих стихах не достигнуто то сочетание «работы» и «любви», к достижению которого призывает Вера Инбер наших поэтов. У Комиссаровой как будто даже наоборот — не синтез, а противопоставление «влюбленной песни» и «непролазной работы». Но советская женская лирика вообще находится еще в зачаточном состоянии. В этом Вера Инбер права, хотя она и не учитывает массового женского литературного движения, которое несомненно выдвинет своих представительниц в «большую» советскую поэзию. Немногие же образцы женской лирики за последнее время (например книжка Варвары Наумовой «Чертеж», стихи Елены Рывиной) еще не выходят за пределы ученических попыток. Создание лирического образа современной трудящейся женщины во всяком случае еще впереди. Это — одна из очередных задач нашей поэзии.

Возвратимся однако к «мужской» лирике. Вопрос о лирическом воздействии на читателя, об эмоционально «заражающей» силе поэтического слова волнует например Бориса Корнилова. В стихотворении «Ящик моего письменного стола» («Звезда», № 4) поэт, загля-

дывая в будущее, подвергает критическому обзору свое собственное, оставаемое потомству, поэтическое наследство.

Слушай —
и дребезжанье лиры
донесется через года
про любовные сувениры,
про январские холода,
про звенящую сталь Туркьсба
и «Путиловца» жирный дым,
о моем комсомоле, ибо
я когда-то был молодым

И качаюсь, большой, как тень, я,
удаляюсь в края тишины,
на халате моем сплетены
и цветы изображены.

(Заметим мимоходом, что в цветах этого поэтического «халата» есть известный оттенок самолюбования. Вообще это одеяние было бы больше к лицу какому-нибудь маститому эстету, чем молодому советскому поэту.)

... Но наполнено сердце песнью,
и в зрачках моих торжество
потому, что я слышу песню
сочинения моего.

Вон летит она, молодая,
а какое горло у ней
Запевают ее, сидя
смаху конники на коней

Я сижу над столом разрытым,
песня наземь идет с высот
и подкованным бьет копытом,
и железо в зубах несет.

Мы вполне согласны с Борисом Корниловым в том, что эффективность лирики — сила ее воздействия на читателя — проверяется практикой. Если стихотворение стало песней, — если оно вошло в быт, если его вспоминают или поют у станка или на военной учебе, — значит, «действие словом» (образ Н. Брауна) достигнуто. Предоставляем читателю сравнить отношение поэта к своей задаче, взаимоотношения между поэтическим произведением и его автором у П. Антокольского, К. Вагинова, М. Комиссаровой и Б. Корнилова. На этой основной лирической теме вскрываются все различия между названными поэтами, характерные для некоторых течений современной лирики.

Приведенные стихи Корнилова имеют декларативный характер, и невольно возникает вопрос о его лирической «практике», о реализации его поэтических лозунгов. Ответом на это могут явиться два стихотворения Б. Корнилова: «Весна» и «Осень» в № 1 «Литературного современника».

Здесь нас постигает разочарование. Правда, и «Весна», и «Осень» — весьма неплохие лирические стихи, но в них нет внутреннего упора, читатель не ощущает, ради чего, собственно, эти стихи написаны и зачем они должны существовать. Тема природы, проходящая сквозь оба стихотворения, приобретает более интересный поворот лишь в «Осени», где эта тема связана со своеобразным «оправданием лирики»:

.. Мертвенна, облезла и тягуча,
что такое осень для меня?
Это — преимущественно туча
без любви, без грома, без огня

Но, кичась непревзойденной силой,
я шагаю в тягостную тьму —
попрощаться с яблоней, как с милой,
молодому сердцу моему.

Встану рядом, от тебя ошую,
ты, пустыми сучьями стуча,
чувствуя печаль мою большую,
моего касаешься плеча

Дождевых очищенных миндалин
падает несметное число, —
я пока еще сентиментален
оптимистам липовым назло

Полуиронический тон, характерный для начала стихотворения, переходит в чистую лирику и в утверждение «сентиментальности». Но, для чего эта сентиментальность нужна поэту, остается неясным. Ведь лирика сама по себе в оправданиях не нуждается, а кроме того, она и не обязана быть непременно сентиментальной. Для сокрушения же «липовых оптимистов» существуют другие, более верные средства, например философски продуманный, выношенный оптимизм.

Если же стать последовательно на путь оправдания сентиментальности как таковой (к Корнилову это конечно не относится, у него достаточно художественного такта), то могут получиться

такие «образцы» любовной лирики, как например стихи некоего А. Коваленкова («Любовь», «Красная новь», № 4):

Я вспомнил все твои по-
ступки (?)
Фигуру, голос и лицо,
Спортивного покроя юбки
И с красным камушком кольцо
И осторожность в разговорах,
И недоверие ко мне,
И те прогулки, от которых
Грустят и мечутся во сне

Так нет-нет и вдруг промелькнут на страницах нашего толстого журнала этикие альбомные стишки, вздыхательные, гладкие, мелодичные, страстные, идущие по прямой линии от Ивана Молчанова и раннего Иосифа Уткина. Правда, это единичные явления, не представляющие серьезной опасности. Но отметить их следует.

Еще одна лирическая тема — тема смерти — нашла свое отражение в стихах Бориса Соловьева («Звезда», № 4):

Я жить хочу, но мне то время снится,
Когда я руки урюно мои,
А в голых и обглоданных глазницах
Свою заварят кашу муравьи...

Разработка этой темы требует большой философской глубины и особого литературно-общественного чутья, чтобы избежать и банальных сожалений о личном уничтожении и «липового оптимизма». Наша философская точка зрения на смерть личности конечно известна Б. Соловьеву. Поэт, овладевший марксистско-ленинским мировоззрением, должен преодолеть тему смерти, растворив ее, эту тему, в том подлинном оптимизме, который дается слиянием с жизнью целого — социального класса, человечества. Такую именно попытку и делает Б. Соловьев, переходя от картины распада «своих» останков к социальному осмыслению темы:

Но — как поток эпохи ледниковой —
Я не бесследно шел своим путем,
В других веках мое иное слово
Тяжелым, может, ляжет валуном
В нем виден облик, слишком своенравный,

Палящей лавы, вставшей на дыбы,
В нем — в каждом шраме — проступают
явно

Клинки и клики классовой борьбы!
 Гадай, гадай ты, будущий историк,
 Каких пород ох и каких эпох,
 Но будет мне невыразимо горек
 Растущий изо рта чертополох!

Достигнут ли, завершен ли здесь замысел поэта? Мы полагаем, нет. Правильный по существу замысел при прикосновении к социальной стороне темы смерти оброс неуклюжими образами («облик лавы, вставшей на дыбы», «клинки и клики») и не мог преодолеть «горечи чертополоха». А тем самым синтез личного и общественного остался недостижимым.

Нам представляется, что сущность нашей лирики должна с течением времени измениться. Возрождение лирической тематики, в некоторых своих примерах показанное нами выше, идет еще в значительной степени по старым путям: это — скорее реставрация старых лирических мотивов, чем диалектическое движение вперед. И вместе с тем это — исторически понятная реакция против того небрежения к лирике, которым был отмечен недавно миновавший период развития советской поэзии:

О, лирика, стань на колени,
 Твой труп по проспекту несут.

Так формулировал Сергей Спасский (в сборнике «Да») момент умирания старой лирики, провозгласив одновременно возрождение «лирической ноты» нового содержания и формы:

Но смена настала ночная,
 И вывесил лампы завод,
 И толяр, сверлить начиная,
 В подручные зовет
 Она остановится о бок,
 Клепальщику даст молоток,
 В румяное зарево топок
 Закутается, как з платок
 Жива, только стала взрослее
 И вдумчивей стала чуть-чуть...
 О лирика, смелость и нежность,
 Раста, имена изменя,
 Как новой весны неизбежность,
 Хотя бы помимо меня.

По поводу этих и других стихов Спасского приходится сказать то же самое, что и в отношении других поэтов: поэтические декларации звучат

превосходно, лирическая программа поэта ясна. Но как только дело доходит до «практики», до реализации лирических лозунгов, тут-то и обнаруживается отставание лирики от ее теории.

В последней книге стихов Спасского — поэта с большим стажем — мы находим мастерство высокой культуры, опирающееся однако на заведомо ложные, обреченные идейные позиции, и потому неизбежно повисающее в формалистической пустоте. Верный ученик Б. Пастернака, Спасский повторяет и углубляет ошибки своего учителя. Пристрастие к острому, парадоксальному образу деформирует и искажает самые ответственные лирические признания Спасского:

Есть верность ремеслу И навык
 С которым я в эпоху вхож,
 Не как торговец за прилавок,
 А будто в тело входит
 нож¹⁾

Или.

Искусство — поезд И оно
 Сметает всякого, кто против

Лирика Спасского в целом, поглощенная поисками «отзвуков прекрасных», насыщена манерностью и эстетизмом (не считая некоторых стихотворений, в которых поэту удается прорвать тяготеющие над ним традиции). Но, несмотря на то, что лирический путь Спасского — не путь для нашей лирики, все же следует отметить у него, как ценный момент, стремление, хотя и не всегда достигающее цели, к обобщению лирической темы, к ее поднятию на известную философскую высоту.

Лирика наша, возобновившая свое существование, должна перестроиться, при чем эта перестройка должна идти как по линии всеобщих лирических тем, получающих теперь новое освещение и оформление, так и по линии изменения самого существа лирического стихотворения, наполняющегося новым социальным содержанием, в котором сливается личность и эпоха, внутренний мир поэта и внеш-

¹⁾ Подчеркнуто мною — И. О

няя действительность. Неслучайно крупнейшие явления современной поэзии имеют лирико-эпический характер, как например значительная часть творчества А. Прокофьева или поэма В. Луговского «Жизнь». Было бы поистине праздным занятием вычислять, сколько «процентов» лирики и эпоса имеется налицо в этих произведениях. Эти произведения значительны может быть, именно потому, что в них достигнуто органическое слияние поэта с эпохой, лирики с эпосом. На какую тему написана «Жизнь» Луговского? О самом поэте, это несомненно, — там показаны различные моменты формирования его личности, поэма конечно автобиографична, и в то же

время это — большое, волнующее произведение на тему о величайшей исторической эпохе революций, капиталистических кризисов и гражданских войн. Такого же синтеза достигал и Багрицкий в ряде своих лучших стихотворений, как например «Тбс».

Наш обзор конечно очень краток и далеко не охватывает всех явлений и моментов развития современной лирики. Однако смотр всех наших лирических сил и не входил в наши задачи. Может быть, нам все же удалось подметить хотя бы некоторые характерные черты лирического движения нашей поэзии. Вообще же тема о лирике требует подробного изучения и обсуждения с привлечением большого материала.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»

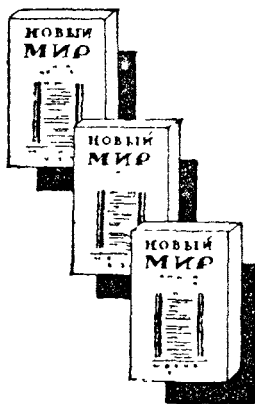
А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
Редакция: В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов,
А. Г. Малышкин,
В. П. Ставский.

Отв. редактор: И. М. Гронский.

Издательство „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“
Москва, 6 Пушкинская площадь

Продолжается на **2-е**
прием полугодие
подписки (июль-декабрь)
1933 г. на

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



Редакция:

А И Безыменский
Ф В Гладков
В В Григоренко
И М Гронский
(отв редактор)
Л М Леонов
А Г Малышкин
В П Ставский

НОВЫЙ МИР

(9-й ГОД ИЗДАНИЯ)

В ВЫШЕДШИХ КНИГАХ
журнала „НОВЫЙ МИР“
№№ 1-6 напечатано:

**РОМАНЫ, ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ:**

Ал ТОЛСТОЙ — Петр I, кн 2-я
А С НОВИКОВ-ПРИВОЙ — «Орел» в
бою В ЗАЗУБРИН — Горы Бруно
ЯСЕНСКИЙ — Человек меняет кожу.
Бор ПИЛЬНЯК — Камни и корни.
Г НИКИФОРОВ — Единство Вела
ИЛЛЕШ — Тисса горит, кн 3-я
Г СЕРЕБРЯКОВА — Юность Маркса
Л ГРОССМАН — Бархатный дикта-
тор И ЕВДОКИМОВ — Архангельск
А ВОРОНСКИЙ — Бурса И СКЛЯ-
РОВ — На разезде С СЕРГЕЕВ-
ЦЕНСКИЙ — Львы и солнце МАКО
ЗИНГЕР — Тагам И СОКОЛОВ-МИ-
КИТОВ — Ленкорань

ПЬЕСЫ:

Ал ТОЛСТОЙ и А СТАРЧАКОВ —
Патент № 119 Вс ВИШНЕВСКИЙ —
Оптимистическая трагедия П СУ-
ХОТИН — Человеческая комедия.
В КИРШОН — Суд

СТИХИ И ПОЭМЫ:

Н НЕЗЛОБИН Ник АСЕЕВ П ОРЕ-
ПИН В КАМЕНСКИЙ Павел ВА-
СИЛЬЕВ Влад НАРБУТ Ник РЫ-
ЛЕНКОВ

СТАТЬИ:

А ЛУНАЧАРСКИЙ К РАДЕК.
И М ГРОНСКИЙ В ВОГДАНОВ-
ВЕРЕЗОВСКИЙ А БЕЛЫЙ В КО-
ВАЛЕНКО А СЕЛИВАНОВСКИЙ.
А СТАРЧАКОВ А ГВОЗДЕВ.
И НУСИНОВ Е БРАУД А ВИ-
НОГРАДОВ В Е ЛЬВОВ Проф.
НЕМЕНОВ В ВАСИЛЕНКО В ЗАР-
ЗАР Л ВАРШАДСКИЙ Е ГНЕ-
ДИН Н ПИКСАНОВ С. СЕРГЕЕВ-
ЦЕНСКИЙ
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

6 м-цев	3 м-ца	1 м-ц
15.-	7. 50	2. 50

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЧТОЙ, ПИСЬМОНОСЦАМИ И ОРГАНИ-
ЗАТОРАМИ ПОДПИСКИ на предприятиях

ТРЕБУЙТЕ

журнал «Новый мир», в книжных магазинах, во всех
кiosках «Союзпечати», на станциях жел дорог и у
газетчиков

ЦЕНА ОТД. НОМЕРА — 2 РУБ 50 КОП

ЦЕНА КНИГИ № 7-8 (ДВОЙНОЙ) — 3 РУБ 50 КОП.